



**БИБЛИОТЕКА
ПОЛУНОЧНИКА**



**РОБЕР
МЕРЛЬ**

**ПАСКАЛЬ
ЛЭНЕ**

**ПОЛЬ
ГИМАР**



Київ
БМП "Борисфен"
1995

ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН

ББК 84.4ФРА
Ф84

Переклад з французької
Л. Зоніної, О. Бабун

Укладання
О. Севастянова

Художнє оформлення
Т. Лесик

Оформлення серії
Б. Кравченка

В книгу включены произведения известных писателей второй половины XX века, представляющих различные направления во французской прозе. Первые два произведения посвящены майским событиям 1968 года во Франции, потрясшим всю страну. В повести «Радости бытия» автор раскрывает трагедию человека, попавшего в автомобильную катастрофу, показывает хрупкость и незащищенность человеческой жизни.

Ф 4703010100—056 Без оголошення
95

ISBN 5-7707-7635-8

© БМП «Борисфен», оформлення, 1995
© «Эй-Ди-Лтд», укладання, 1995

ЗА СТЕКЛОМ

РОБЕР МЕРЛЬ



Робер Мерль родился 29 августа 1908 года.

Своим творчеством писатель продолжает давние традиции французского реализма. Его перу принадлежат романы «Воскресный отдых на южном берегу», «Смерть — мое ремесло», «Остров», пьеса «Сизиф и смерть», хорошо известные нашему читателю.

Предлагаемый вашему вниманию роман «За стеклом» по мнению критиков является самым ярким произведением, посвященным теме студенческих волнений в мае 1968 года во Франции.

ЗА СТЕКЛОМ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Замысел этого романа не датируется майским кризисом, он возник раньше. Еще в ноябре 1967 года, то есть за несколько месяцев до баррикад, я поделился с моими студентами планом этой книги и попросил помочь мне — я хотел узнать их поглубже. Речь шла о том, чтобы каждый рассказал о себе, ничего не приукрашивая и ничего не утаивая. Поначалу они соглашались неохотно, но, по мере того как распространялся слух, что эти беседы «занятны», увлекались все больше. Я тогда отметил не без некоторой внутренней иронии, что профессору, чтобы быть «занятым», даже незачем открывать рот — достаточно уметь слушать. Впрочем, я нисколько не ставлю себе это в заслугу. Я ждал от студентов откровенности, она превзошла все, что я мог вообразить. Осмелюсь даже сказать, что временами я просто не знал, куда деваться.

Вероятно, я мог бы обойтись и без их интервью, поскольку, проведя свыше сорока лет в университете, я знал все тайны этого двора. Но хотя я и всегда общался со своими учениками, мне подумалось, что представляется подходящий случай пройти «курс повышения квалификации», умножив эти контакты. Благодаря им я добился, несмотря на мой возраст, — как бы это выразиться? — ну, скажем, известной степени сближения, во всяком случае на уровне идей и языка. Более того, временами у меня даже возникало бодрящее ощущение, что я — один из них. Но я готов признать, что это была иллюзия. Или, возможно, некое раздвоение личности, бесполезное для моего замысла.

Майские события пролили новый свет на мою затею, не изменив ее существа. Я собирался описать будничную жизнь студентов Нантера, а эта жизнь, разумеется, так и осталась будничной для большинства из них даже тогда, когда движение протеста самой активной части приобрело характер дра-

матический. Вот почему после долгих размышлений я избрал в качестве объекта повествования один день — 22 марта 1968 года. Для двенадцати тысяч нантерских студентов в этих сутках не было ничего из ряда вон выходящего. Они прожили этот день, как обычный день конца утомительного второго триместра. Однако для ста сорока из них день 22 марта увенчался оккупацией административной башни и зала Ученого совета.

Я отлично сознаю, что 22 марта, которое в тот момент представлялось всего лишь одним из эпизодов гошистской гегерии против властей предрержащих, было освящено *последующими событиями* и приобрело для участников оккупации особое значение, стало символом, дало имя движению, претендовавшему на то, что оно полнее, чем любое другое, воплощает «дух революции». Однако для романиста, который стремится восстановить истинную сущность момента, освободив его от торжественного грима, наложенного Историей, 22 марта — часть нантерского быта, и этот день не может быть вырван из повседневности.

Меня ни в коей мере не смущает сосуществование в моем романе персонажей реальных (декан Граппен, ассессор Божё, ученый секретарь Ривьер, студенты: Кон-Бендит, Дютей, Тарнеро, Ксавье Ланглад) и вымышленных (все остальные герои романа, которых я здесь не называю). Мне было бы, однако, неприятно, если бы стали подбирать ключ к этим последним. Подобно тем художникам средневековья, которые, забавляясь, изображали в уголке полотна, в толпе мужчин и женщин, своего соседа-булочника, мне случалось написать с натуры — причем вполне доброжелательно — два-три третьестепенных характера. Но все персонажи первого плана вымышленные, их портреты составлены из черт разных людей, с которыми мне довелось столкнуться за годы моей преподавательской деятельности, не обязательно даже в Нантере. Я хочу здесь особо подчеркнуть, что Нунк — персонаж, к сожалению, вполне достоверный — был мной придуман. Точнее говоря, я перенес в Нантер многое из того, что наблюдал, о чем раздумывал не только там.

Осуществляя свой замысел, я использовал — надеюсь, обновив его, — прием, «вышедший из моды» (далее станет понятно, почему я беру эти слова в кавычки), бытовавший в литературе тридцатых годов нашего века и именовавшийся тогда, если я не ошибаюсь, «симультанеизмом». Речь идет об изображении персонажей, чьи жизни протекают обособленно друг от друга и параллельно в одном и том же месте и в

одно и то же время. Я использовал именно этот тип повествования, потому что в исповедях студентов тема одиночества и некоммуникабельности сразу же встала передо мной как главная тема студенческой жизни в Нантере. Так что я выбрал этот прием не случайно. Он был мне навязан самим замыслом.

Я подчеркиваю эпитет «вышедший из моды», поскольку еще в 1962 году некий критик; выступая по радио, охарактеризовал этим словом (разумеется, в уничижительном смысле) манеру, в которой был написан мой роман «Остров». Должен признаться, что я до сих пор не понимаю, как интеллигент может видеть в моде критерий оценки литературного произведения.

В развитом индустриальном обществе, где необходимо подстегивать спрос ради увеличения прибыли, навязчивая реклама прививает публике ненасытную жажду нового. Это заразительно, наше сознание привыкает в мистике потребления, разлитой в атмосфере, и страсть ко всякого рода новомодным штучкам все сильнее охватывает даже области, которые, подобно искусству и литературе, не имеют прямого отношения к техническому прогрессу. Тут мода проявляется с тем большим деспотизмом и непрерываемостью, что она еще произвольней. От романа, например, новая вера, насчитывающая уже несколько лет, требует ломки повествования, ликвидации фабулы, уничтожения персонажей. В конечном итоге автор ставит под сомнение себя самого и самоистребляется.

Я вообще отношусь с опаской к системам, которые считает необходимым создать себе художник. Я уже не раз замечал, что скорее всего устаревает именно то, в чем тот или иной писатель усматривал необычайное новаторство. И если его творчество продолжает жить, то в силу совершенно иных достоинств. Возьмите Золя — крайности его натурализма кажутся нам весьма устаревшими. Но его лиризм не утратил силы. Предвзятое эстетство Оскара Уайльда, казавшееся в его время отчаянно смелым «воплем моды», сейчас выглядит допотопным, чего никак не скажешь о великолепном реализме «Баллады о Редингской тюрьме». Поистине, в этой удаче заключена некая ирония. Уайльд как художник достиг здесь подлинных вершин именно потому, что изменил собственной системе.

Я не против приемов саморазрушения романа, как таковых, хотя мне как читателю они кажутся довольно утомительными, монотонными и, как это ни парадоксально, конформистскими. Пусть нас и оповещают периодически о смерти ро-

мана, этот жанр настолько живуч, что может, подобно Уголино, питать себя, раздирая собственную плоть. Однако приемы такого рода не соответствовали самому характеру моего замысла.

Я не исходил из абстрактного замысла, который затем все сводит к отрицанию. Я хотел, как уже сказано, описать повседневную жизнь Нантера на протяжении обычного дня, закончившегося, однако, в вечеру событием, как считали его участники, из ряда вон выходящим. Мне нужны были, следовательно, достоверные персонажи, реальные ситуации, связное повествование. И главное, мне никак нельзя было публично совершать самовлюбленное харакири — ведь для того, чтобы придать своей фреске определенный смысл, я должен был оставить в живых автора с его субъективным взглядом на все происходящее.

Однако именно субъективный авторский взгляд вызывает у меня здесь некоторую тревогу. В «За стеклом» впервые после романа «Смерть мое ремесло» я отношусь к событиям, которые воспроизвожу, со смешанным чувством. Я не хочу сказать, что до сих пор был манихеистом, вовсе нет. В романе «Смерть мое ремесло», например, вынося беспощадный приговор коменданту лагеря Освенцим, я при этом описывал персонаж изнутри, возбуждая временами у читателя чувство жалости, которого он сам стыдился. И тем не менее в этом романе, так же как впоследствии в романах «Остров» и «Разумное животное», было ясно, на чьей стороне симпатии автора. Не совсем так обстоит дело в романе «За стеклом».

Если я не ошибаюсь, кажется, Толстой, воздав должное таланту и дару наблюдательности Чехова, добавил, что «до сих пор нет у него своей определенной точки зрения» на жизнь¹. Когда мне стало известно это суждение, я, помнится, полностью с ним согласился. Мне представлялось, что тщательное описание реальных персонажей не может быть самоцелью, оно должно подводить, хотя бы косвенно, к «определенной точке зрения». «За стеклом» ни к чему похожему не подводит, и, таким образом, я вступаю в противоречие со своим собственным кредо.

¹ Современная Чехову критика адресовала ему тот же упрек в еще более схематичной форме уже как драматургу: его философия объявлялась «расплывчатой», потому что ей удавалось быть «одновременно и оптимистической и пессимистической». Я не убежден, что как раз эта «расплывчатость» не оценивается сейчас критикой по-иному, как способность объять всю изменчивость реального мира. — *Прим. автора.*

Если это ошибка, я признаю себя виновным. Я пытался точно передать те чувства, которые вызывала во мне нантерская действительность, а эти чувства были по меньшей мере смешанными — одобрение соседствовало с антипатией, неодобрение с сопричастностью. Я прекрасно понимаю, что подобное сосуществование противоположностей выливается в ряде мест романа в ироническое отношение к тому, о чем я пишу. Между тем можно любить иронию за целостность и богатство восприятия действительности, но в то же время опасаться этой иронии, как жизненной философии. Я лично предпочел бы ответить на события, которые наблюдал, с большей определенностью. Но, с другой стороны, я не вижу, почему, во имя каких государственных соображений я должен прикидываться уверенным, когда это не так.

Р. М.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Там, где ныне высится Нантерская церковь, в Средние века юные девицы, зачав по неосмотрительности, молили святую Женевиэву избавить их от нежелательного материнства. Они являлись из столицы, и покровительница Лютеции, простирая свою заботу и на этих заблудших парижанок, порой внимала их молитвам. Однако шли века, и святая мало-помалу утратила то ли свое могущество, то ли дух сострадания. Паломничества прекратились, материализм одержал верх. И вскоре парижане стали приезжать в Нантер только для того, чтобы насладиться его колбасами, пирожными и винами.

Незавидное благоденствие. Нантер прозябал, хотя и мог похвастать тем, что во времена Луи-Филиппа через него прошел, плюясь и пыхтя, первый во Франции железнодорожный состав. Пожарные сидели дома, греясь у своего огонька. Доходы лавочников упали, политические страсти угасли, девицы блюли чистоту, а пуще всех хранила ее Роза Невинности, ежегодно избираемая местным муниципалитетом с благословения кюре. Как ни сильна была крестьянская подозрительность, питавшая право вето, которое молчаливо признавалось за исповедником, его участие в церемонии, как ни странно, показалось неуместным префекту полиции Второй империи. «Я не нахожу в документах, — писал он мэру города, — никаких указаний, которые могли бы оправдать вмешательство священ-

нослужителя в обсуждение вопроса». На следующий год аббат остался дома, так что первая Роза Невинности, не освященная церковью, была избрана в Нантере еще до установления Третьей республики.

Полвека пронеслось над Нантером, не нарушая его девственного спокойствия. С момента установления Третьей республики и до зари XX века население увеличилось всего на несколько тысяч душ. Симпатичный городок с извилистыми улочками, теснившимися вокруг мэрии в стиле рококо, Нантер в 1900 году был окружен бескрайними полями, среди которых были разбросаны редкие деревни и фермы. Одна из таких деревушек — Лафоли — едва насчитывала десяток лачуг.

Приобретенные муниципалитетом или ставшие предметом спекуляции пашни и луга вокруг Нантера мало-помалу пришли в упадок. Между годом, когда землю перестают обрабатывать и годом, когда она начинает «застраиваться», ее поражает обычно долгая и коварная болезнь запустения. Земля, заброшенная человеком, никем и ничем не занятая, превращается в нечто отвратительное — в пустырь. С уходом последних огородников землю окончательно перестали возделывать и вокруг старинного городка простерлась пустыня в тысячу гектаров. Ею завладели сорняки, нечистоты, свалки, каркасы вышедших из строя машин и сарайчики последних садоводов. Эта «зона» уродовала Нантер. Пустоши, заброшенные участки, где присутствие человека выдавали только едва возвышавшиеся над землей деревянные развалюхи, утопавшие зимой в грязи, — весь этот обширный район был безотраден, как чистилище. Автомобилист пересекал его не останавливаясь, не глядя по сторонам, торопясь достичь счастливой гавани: Шату или Левезине — на западе, Рюэй-Мальмезон — на юге.

Пустыня Нантера, однако, таила соблазн для машиностроения и металлургии, жаждавших расположиться со всеми удобствами и не слишком далеко от делового центра. В период между двумя войнами они воздвигли свои кирпичные строения на обширных просторах вдоль берегов делавшей здесь петлю Сены, которая служила транспортной артерией, напротив трех островов — Шату, Флери и Сен-Мартен, — фактически соединенных наносами в один.

Внедрение промышленности продолжалось здесь и после второй мировой войны. Париж в это время прорвал свои границы и начал захватывать на востоке, за Нейи, дальние пригороды.

Столица испытывала огромную нужду в административных помещениях. Она перешагнула Сену, колонизовала другой берег. Там вознесла она пятнадцати- и двадцатизэтажные здания, в которых крупные компании разместили своих первосвященников, писцов и священные машины — машины говорящие, пишущие, фотокопировальные, счетные, думающие, приказывающие. Едва опускаются сумерки, над мостом Нейи на темном небе вспыхивают бесчисленные квадраты окон, и все они светятся, ни одно не затемнено. Ибо в этих аскетических кельях никто не спит и никто не ищет уединения.

Столица пожирала пространство все дальше и дальше на запад. Она была ненасытна: ей нужны были пути сообщения, автострада, развязки, стоянки для автомашин, исполинский выставочный павильон. На другой берег Сены была переброшена, как гигантское предмостное укрепление, площадь Ладефанс. Наступление продолжалось. Заводы Пюто и Курбеуа отступили под давлением этого нашествия на ближайшие свободные гектары — в Нантер. Они заняли часть — незначительную — пустовавших земель, которые простирались от площади Лабуль до площади Шарльбур.

Но в Нантере еще оставались необъятные возможности для застройки. Сначала виноградники XVIII века уступили место огородным культурам. Потом огороды — пустырям с редкими садами. Теперь исчезли и эти сады, вытесненные бидонвилями. Стенные панели, куски опалубки, подобранные на стройках, ржавые листы кровельного железа, слепые окна из изореля — поселки рабочих североафриканцев возникали повсюду, ничем не защищенные от глины и непогоды, лишенные воды, электричества, канализации. Заводы нанимали иностранных рабочих, не обеспечивая их жильем, как того требовал закон. Это делалось без разрешения властей, но мэрия Нантера была бессильна воспротивиться — она не располагала полицейскими полномочиями. Полиция же не получала приказа и закрывала на все глаза. Что касается компаний, которые приобретали эти участки, то их пугали расходы на выселение и охрану территории. Плодом всей этой длинной цепи беззаконий, скупости, бессилия и попустительства были лачуги бидонвилей. Однако наступал день, когда разрешение на застройку бывало получено, планы завершены, капиталы собраны, тогда без всякого предупреждения приходили бульдозеры и сравнивали с землей нищенские поселки, выбрасывая людей в грязь.

Пустующие участки рождают бидонвили. Но земля поблизости от Парижа — неоценимое богатство. Из всех ок-

ружающих столицу милых пригородов, застроенных и засажженных до последнего клочка, один Нантер еще обладал этим сокровищем — неиспользованными территориями. Когда Париж перешагнул Сену, проказа Нантера составила его счастье. «Зона» открыла перед ним будущее. Здесь были, как принято говорить, «участки для перепродажи», и в самом деле началась бесконечная перепродажа — под заводы, конторы, стандартные жилые массивы. Нужно было строить, и строить быстро, чтобы расселить жителей, число которых с 1900 по 1967 год возросло с пятнадцати тысяч до девяноста пяти: рабочие, служащие, мелкие торговцы. Буржуа среди них почти не было. В 1935 году тридцатитрехлетний коммунист отбил мэрию у сонных эдилов, добавив таким образом еще одно солидное звено к «красному поясу», окружавшему Париж.

В те же шестидесятые годы, когда столица начала наступление на западные пригороды, Сорбонне стали тесны ее старые стены. Университет задыхался от наплыва студентов. Им приходилось являться за полчаса до занятий, чтобы захватить, если повезет, местечко на скамьях или хотя бы на полу в аудиториях.

Избыток сырья тормозил нормальную работу механизма. Пробка парализовала движение. Надо было принять нелегкое решение. Ибо в конце концов приходилось признать, что часть детей столицы уже не может получить высшее образование в самом Париже. Скрепя сердце, университет это признал. Естественные науки эмигрировали. Филологический факультет в последнюю минуту вырвал кусок из собственного тела, оглянулся, куда бы его сунуть, и забросил на пустыри Нантера. Будущему филфаку предстояло возникнуть между Руанской улицей и станцией Лафоли. Было предусмотрено, что в студгородке разместится также Институт политических и экономических наук.

Тогда же было принято решение, что в Нантере будут готовиться к сдаче экзаменов на лиценциата студенты, живущие в западных районах столицы. Пасси, Нейи, Плэн-Монсо пришли в волнение. Как? — восклицали отцы, — наши дочери, которых мы так заботливо пестовали, будут изгнаны в промышленное предместье, заражены коммунизмом, изнасилованы бидонвилями? Пресса, которой присуще пылкое воображение, подбавила жару. Кровь так и лилась у вас на глазах. Еще до того, как первая студентка рискнула ступить на территорию Нантера, североафриканцам уже был вынесен обвинительный приговор.

В Сорбонне все же нашлись три профессора-добровольца, готовые покинуть Alma mater к вящему возмущению своих более косных коллег, не обладавших духом пионеров. Один из этих последних решил весной 1964 года лично ознакомиться с грозящим злом. Он рискнул доехать на машине до станции Нантер-Лафоли и с трудом разыскал стройку. Небо было свинцовым, лил дождь. Он увидел кубы бетона в океане мягкой ржавой глины, в которой нога тонула по щиколотку. Окрестности — бидонвили, закопченные кирпичные заводы, серые жилые массивы стандартной застройки — были до слез тоскливы. Визитер поспешил вернуться в свою величественную Сорбонну и, встретив в коридоре одного из «пионеров», удовлетворенно сказал ему: «Мой друг, вам предстоит жить в дерьме».

В 1964 году, в самый разгар строительства, новый филологический факультет открыл студентам свои грязные дороги, и в том же году западные пригороды столицы были выделены в новый департамент Верхняя Сена. Нантер — город-завод, город-дортуар и город-университет — удостоился ранга префектуры. И точно болезнь гигантизма непременно должна была поражать все, возникавшее в бывшей «зоне», число студентов филологического факультета за три года возросло с двух тысяч до двенадцати. Фак, еще не достроенный, стал уже тесен.

II

22 марта 1968 Жюда, 6 часов утра

Я слышу будильник Каддура и тут же принимаюсь грызть себя за то, что вот уже полгода не могу набраться мужества и посещать после работы вечерние курсы. Я записался на экзамены, чтобы получить аттестат об окончании начальной школы, но сам понимаю, что в этом году уже не сдам. Я втягиваю в себя воздух. Ледяной. Телу тепло в спальном мешке, к тому же на ночь я закручиваю тюрбан из свитера, не слишком туго, чтобы его не испортить: этот свитер мне недешево обошелся, он очень красивый — рыжий с крупным черным рисунком. Но когда просыпаешься утром, все, что не под свитером — глаза, нос, щеки, подбородок, — все, право слово, ледяное. А мне ведь холод не впервой. В январе у нас, на Оре-се, друг, пробирает до костей. Но солнце на своем посту. У нас в деревне есть стена, выбеленная известкой, в полдень

братья любят посидеть возле нее. Присядешь на корточки, завернешься в бурнус, а солнце пригревает тебе лоб, руки, ноги. Морозно; но ясно. Ни облачка. Все в тебе так и поет, даже если жрать нечего. Время от времени какой-нибудь старик заговорит, но никто не отвечает. К чему говорить? По ту сторону стены — дорога, по ту сторону дороги — опунции. Дорога по большей части пустынна. Изредка проедет повозка. Мальчишка на осле, вытянувшись во весь рост, головой к хвосту, в руке прутик. Девочка с двумя тугими косичками и стеклянными бусами на шее. Она бежит бегом, ноги у нее красные от хны, платье красное с зеленым. Только подумаю об этом — сердце сжимается, комок подкатывает к горлу. Ну нет, я не заплачу, друг, мне уже двадцать лет, не хочу. Иногда я задумываюсь: во Франции, правда, жрешь досыта, зато все серое, серое, серое, просто умереть. Целые дни на стройке Фака, смертная тоска, друг. Грязь, дождь, ни просвета. Ну и вот, иногда я говорю себе: Абделаизиз, и чего ты тут торчишь? Ты уверен, что не просчитался? Что лучше: солнце без жратвы дома или здесь жратва и холод?

Отсюда, сверху, с одной из трех двухъярусных коек, мне Каддура не видно. Но я слежу за его движениями по звукам, каждое утро одним и тем же. Каддур у нас, «холостяков», вроде доверенного лица. На улице Гаренн в Нантере, понимаешь ли, друг, три лагеря: один — семейный, другой — лагерь португальцев, третий — наш, «холостяцкий». Ну, в общем, это так говорится, мне двадцать лет, я и вправду одинокий, но другие братья почти все женатые. «Холостяк» это просто значит, что жена осталась там, а ты тут живешь один, как можешь.

А улица Гаренн, ты думаешь, это улица? Ничего подобного. Просто дорога, которая идет в гору, и оттуда, сверху, хорошо видна стройка Фака, которая издали ничуть не красивее, чем вблизи. А по обе стороны «улицы» Гаренн нет ничего. Ни одного дома. Пустырь. На самом верху две колонки, повернешь рукоятку — течет вода. К этим двум насосам ходят за водой все три лагеря. Два крана на три тысячи человек. Иногда три часа прстоишь, чтобы наполнить свои бидоны. Притащишь туда свои канистры на тачке с велосипедными колесами. Если ты богат, цепляешь тачку к велосипеду с моторчиком. Кое-кто приезжает даже на старых машинах. И давай, жди своей очереди. Под ногами грязь. Идет дождь. Вечно идет дождь. Насчет дождя тут, во Франции, богато! Дорога тоже грязная, несмотря на асфальт, из-за тяжеловозов: они расшвыривают грязь во все стороны, оставляя позади

себя хвосты глины. А грузовики здесь потому, что полностроек. Говорят, одна из них — будущая префектура Верхней Сены, как раз напротив нас. Ну что ж, в таком случае у господина префекта будет прекрасный вид на три лагеря.

Вдоль улицы Гаренн, по склону, — торговый центр бидонвиля: арабское кафе, бакалейщик, мясник. Понимаешь ли, в самом Нантере, конечно, может, и дешевле, зато здесь, в бидонвиле, лавочники отпускают в кредит, особенно семейным — у них ведь пособие на многодетность. И потом, нам нужен мясник-мусульманин. Семейные просят самое дешевое мясо. Сам понимаешь, не какую-нибудь там заднюю часть или отбивную. Или уж совсем крохотный кусочек. Попробуй-ка, попроси баранины на два франка у мясника-француза, он подумает, ты над ним смеешься, только обругает: «Будь они неладны, эти распроклятые бико».

Метрах в двадцати от последней колонки — деревянный забор, на нем пять или шесть громадных почтовых ящиков. Не тонуть же в грязи по колено на улочках бидонвиля почтальону-французу. У «холостяков» ящик за номером 150, большой, с висячим замком, ключ от замка у Каддура. Он раздает письма в нашем лагере. Тем, кто не умеет читать, он их читает. А если кто не умеет писать, он за них и отвечает. Все свое свободное время он пишет. Он посылает переводы, посылки. Подарков он никогда не принимает. Он терпелив, вежлив. Роста он среднего, но очень сильный, лицо худое, энергичное. Он никогда не улыбается. А уж если рассердится, сам не захочешь взглянуть ему в глаза. У него усики, которыми он очень дорожит.

Как только прозвонит будильник, Каддур встает — всегда первым. Я знаю, что он слезает со своего насеста, потому что скрипят перекладыны. Потом я вижу свет на грязном изореле потолка: он зажег маленькую бутановую лампу; я закрываю глаза — забавно угадывать на слух, что он сейчас делает. Вот он надевает ботинки, вот берет канистру, льет воду в кастрюлю, ставит кастрюлю на плиту, сжимает в комок газету, чтобы разжечь огонь, и, пока закипает вода для кофе, моется в красном пластиковом тазике. Чтобы побриться, он подвешивает бутановую лампу к проволоке на потолке, ставит зеркальце на перекладину лесенки, приставленной к его койке, и пошло: скребет, скребет. Бреется своим скребком. Дольше всего возится с усами. Подбрасывает сверху, снизу, кончики чуть-чуть приподняты, срежешь лишку с одной стороны, уже не поправишь, придется срезать с другой. Я махнул рукой, обойдусь без усов, но у Каддура терпения хватает. У

него на все терпения хватает — на письма, которые нужно прочесть, на переводы, на всю эту жизнь во Франции, на жену и детей, оставшихся там. Усы, ну, к чему, спрашивается, вообще усы? Но, как знать, может, для Каддура это важно. Может, он и встает-то первым из-за своих усов, чтобы ему никто не мешал. Эта халупа так мала, что двоим в ней не развернуться.

Отсюда, сверху, я прислушиваюсь к поскребыванию бритвы — пауза, опять скребет. Жду, секунда подъема точно известна: когда на меня упадет с потолка первая капля.

За ночь изорель покрывается льдом, а утром, едва начинает топиться плита, сосульки подтаивают одна за другой и — кап, кап дождик, холодный вдобавок. Говорю тебе, ужас. Начинаешь день, а в доме дождь. Вытягиваю себя из спального мешка и, стоя на перекладине приставной лесенки, скатываю его, кладу посредине матраса, скатываю матрас, заворачиваю все в кусок зеленого брезента, который спер на стройке. Вбираюсь опять на койку и, прежде чем одеться, закрываю крошечное окошечко в изножье своей постели: вчера вечером я его чуть-чуть приоткрыл, оставил щелочку для воздуха. Нас по трое на каждом этаже, всего шесть человек, барак маленький, нужно же все-таки дышать чем-нибудь, но как раз из-за этой струйки воздуха мы чуть не прикончили друг друга — Моктар и я.

Моктар сначала спал на койке подо мной. Тридцать пять лет, сорок пять, разве скажешь, сколько ему? Да он и сам не знает. Он феллах из глухого захолустья, хороший мужик, но неграмотный, упрямый, колючий, как кактус. И вот этому Моктару моя щелочка ни к чему, он против. Для Моктара, который только и видел в жизни, что свою халупу, воздух — первый враг. Пойди объясни ему. Как-то утром хватает он молоток и гвозди из ящика с инструментами и кричит в ярости: «Ты уморишь меня своим холодом, я твое окошко заколочу». Но я его опередил, подбежал к лестнице раньше него и перехватил его там, стоя на перекладине с самым беспечным видом. Моктар просто взбесился. Заикается, трясет молотком над моей головой, а я ему говорю насмешливо: «Ну что? Хочешь мне голову размозжить?» И улыбаюсь вызывающе, мне двадцать лет, я сильный, я гибкий, как пантера, а он старый шелудивый деревенский пес. Все это заключено в моей улыбке; бедняга Моктар все размахивает своим молотком, не зная, что делать, сгорая от злости и унижения. Тогда Каддур говорит, не повышая голоса: «Моктар, положи этот молоток туда, откуда взял». Моктар смотрит на Каддура, тот сидит перед своей чашкой кофе, лицо его освещено бутановой

лампой, он даже не поднялся, руки его лежат на столе, он спокоен, не сердится, он приказал — и все. Проходит секунда, и Моктар выполняет приказание, может, он понял, что так сохранит лицо. Как бы там ни было, молоток в ящике для инструментов, а Каддур смотрит на меня. Ну и взгляд, друг. И говорит: «Думаешь, это очень умно, Абделаиз, дразнить брата?» Я отворачиваюсь, не говоря ни слова, и, поскольку я стою на лесенке, взбираюсь на свой насест, сажусь, спустив ноги, закурываю, хотя обычно до кофе на курю, и оттуда, сверху, вижу братьев, сидящих вокруг стола, освещенного бутановой лампой. Каддур больше на меня не смотрит, и я чувствую облегчение. Бросаю взгляд на Моктара. Он сидит рядом с Каддуром, он пьет кофе, но лицо у него красное и руки дрожат. За столом еще Али, Юсеф и Джафар все молчат. Юсеф тоже старик, он работает на строительстве Фака вместе со мной, а Джафар молодой, он мой приятель. Мой табурет рядом с Джафаром, он не занят, а я сижу наверху, на своей койке, курю, затягиваюсь. Я смотрю на Моктара, руки у него трясутся, а мне так стыдно, что я даже не смею слезть вниз.

III

7 часов

Будильник заверещал с пронзительной силой. Люсьен Менестрель катапультировался с кровати и зажег свет. Нечего валяться после звонка, идет второй триместр, решающий. Он нащупал под кроватью кнопку будильника, резко надавил на нее пальцем и громко сказал: «Заткнись, болван». Швырнул пижаму на кровать и потянулся всем своим угревшимся телом. Не доходявшая до потолка перегородка под красное дерево отделяла кровать от туалетной комнаты — в сущности, от раковины умывальника, ничего больше там не было. Не было даже биде, как у девчонок. Явная дискриминация. А в биде между тем очень удобно мыть ноги. Менестрель зажег лампочку над зеркалом и тщательно причесался. У него были светлые волнистые волосы, завивавшиеся колечками на шее, пышные светло-каштановые баки до самого подбородка. Причесавшись, он стал к зеркалу вполоборота, обозрел себя со стороны и подумал: у меня вид наполеоновского генерала, я похож на маршала Нея.

Он вернулся в комнату. Эти комнатухи в общежитии — настоящие кельи. Между кроватью и комодом едва могут разойтись два парня средних габаритов. Менестрель, голый,

прижался к стене, точно ему предстояло командовать собственным расстрелом. Над головой была тонкая, едва заметная черточка — метр семьдесят пять. Следовало нагнать два сантиметра. Он уперся ногами в пол, задержал дыхание и из всех сил потянулся вверх. Эту операцию он повторил десять раз, потом сделал вдох и перешел ко второму упражнению. Руки вверх, пальцы вытянуть к потолку, ступни не отрывать от пола. Главное, плотно прижать пятки. Это научно, старик. Между позвонками существует интервал, который может быть увеличен на один, два миллиметра. Само по себе это немного, но если умножить на число позвонков, получается два лишних сантиметра, возможно, даже три. Возражение: что же, ты так и будешь тянуться всю жизнь? Менестрель решительно вскинул голову. А почему бы и нет? Он повторил вслух: «Почему бы и нет?» — и приступил к третьему упражнению.

Покончив с гимнастикой, он опять перешел в крохотную умывалку, встал перед зеркалом и принялся прыгать, глядя на свое отражение и нанося ему удары. Сделал финт и уклонился от ответного. Испробовал несколько различных приемов: прямых, крюков и апперкотов, закончив своей излюбленной комбинацией — два быстрых, как молния, прямых левой и тут же сокрушительный — правой.

Когда его отражение было, наконец, нокаутировано, Менестрель вытащил из стенного шкафа против раковины чайничек для заварки, включил электрочайник и, пока вода закипала, намылил торс и низ живота. Менестрель очень гордился своей мужественностью и, моя эти части тела, воздавал им своего рода дань уважения. Впрочем, стоять нагишом перед зеркалом, чувствуя, как по коже стекают струйки воды, вообще здорово приятно. Радость почти что преступная. Законодатели моды в общаге не брились, не мылись, надевали грязные свитера прямо на голое тело. Опрятные ребята вроде Менестреля были чуть ли не на подозрении, как носители буржуазного и контрреволюционного духа. Забавно, что такие простые вещи, как вода и мыло, возводятся в ранг жизненной философии.

Менестрель брился не без некоторого чувства неловкости, поскольку сознавал, что тяжкий груз наследственности (тщательно скрываемой от товарищей) едва ли не лишает его прав на широту взглядов: мать Менестреля обитала в департаменте Тарн, в очень красивом замке эпохи Возрождения и подписывала свои письма Жюли де Бельмон-Менестрель, как бы напоминая, что Менестрель она звалась при жизни мужа-пле-

бея только в силу некоего несчастного случая. Вот зануда. Свой Бельмон она зато именovala не иначе, как «этот большой сарай», подразумевая тем самым, что слово «замок» употребляют только мещане. Тоже снобизм, да еще самого худшего сорта, замаскированный, прикидывающийся своей противоположностью. Менестрель со злостью поболтал бритвой в теплой воде (в этот час до его этажа горячая вода еще не доходила), я, во всяком случае, живу на стипендию и на то, что удастся подработать в ожидании, пока мне ее выплатят, — никаких подарков от госпожи матушки; я лично ношу фамилию Менестрель. И пусть она катится куда подальше со всеми своими предками.

Чайник запел. Менестрель мог бы позавтракать в ресте, открытом с семи тридцати, но рест слишком далеко. Обуваться, чапать по грязи, потом тащиться обратно, мерзнуть, терять время. Куда приятней сидеть за своим столом, лицом к широкому окну, еще затянутому угольно-серыми шторами, которые отделяют от холода, жидкой глины стройки, бидонвилей, тусклого рассвета.

От чашки с чаем шел пар, Менестрель разрезал батон вдоль, рот его наполнился слюной. Есть — это, в сущности, одерживать победу: на пищу бросаешься, ее берешь силой, поглощаешь. Жевать было весело. С каждым глотком он ощущал прилив мужественности, мощи: победитель, солдат, огрубевший в сражениях, римский центурион, которому отдан на поток и разграбление завоеванный город. Менестрель шел по улицам Коринфа, обнажив короткий меч, ширия грудь под латами, радуясь солнцу и победе; одним ударом ноги он вышибал дверь, — перед ним стояла девственница! Она не убегала, нет, она стояла перед ним, она обнажала грудь и восклицала по-гречески с неопиcуемой улыбкой: «Рази, центурион!» У нее были великолепные груди; круглые, твердые, как у девушки на баррикаде с полотна Делакруа. Я бросаю меч, хватаю ее в объятия, прижимаю к своим латам, она сопротивляется. Картина вдруг замутилась, поблекла, расплылась. Менестрель колебался. В принципе, учитывая обстоятельства, само собой напрашивалось насилие, но, поскольку Менестрелю пока не доводилось спать с женщиной, он побоялся осложнить свое положение. Девственница вдруг прекратила сопротивление, тело ее обмякло в его объятиях, внезапно она стала нежной и сговорчивой, более того, она руководила им, впрочем, она была вовсе не девственницей, а прекрасной юной матроной. Отсюда и пышные формы, и опытность, и готовность. В коридоре раздались голоса, кто-

то протопал мимо, Менестрель взглянул на часы, допил вторую чашку чаю и поднялся.

Убирая со стола и ополаскивая чашку (только чашку, заварку в чайнике он сохранял из экономии, чтобы еще раз выпить чая до обеда), Менестрель попытался вновь вернуться к теме центуриона. Никакого удовольствия. Картина была бесцветна, перипетии неувлекательны, эмоции вялы. Он искал новые подробности. Например, у молодой матроны была юная сестра, он овладевал сперва одной, потом другой: никакого впечатления. В сущности, все эти штуки хороши главным образом в первый раз — импровизируешь, забываешься. В этом вся прелесть. Он вернулся в комнату, дернул за белый шарик правого шнура, угольно-серая штора поползла вдоль окна. Он повторил операцию с левым шнуром и сел. Окно занимало всю стену и в хорошую погоду давало много света, но сейчас утро было мутное, даже грязное, вид из окна наводил тоску. Может, года через три-четыре тут и будет красивый университетский городок с прекрасными газонами, но пока это всего лишь стройка — впрочем, год назад было куда хуже: огромный развороченный котлован периферийного метро и грохот с восьми часов утра — землечерпалки, бульдозеры, бетономешалки, самосвалы, так и валят.

Взгляд Менестреля посуровел и он громко прочел записку, висевшую на стене:

1. Закончить лат. пер.

2. Перечитать текст Ж.-Ж. для сем.

Бумажка была приколата кнопками — способ, который администрация предвидела и, естественно, запретила в правилах внутреннего распорядка. В общежитии было запрещено решительно все — даже передвигать пепельницы, переставлять кровати или принимать у себя в комнате собственную мать. В принципе, конечно, потому, что на самом деле... Такие ребята, как Шульц, Жоме, Журавль, принимали у себя девчонок, когда им вздумается, и сами к ним ходили. Менестрель обвел глазами комнатушку. Была бы у него девочка. Принимать бы ее здесь, оставаться вместе всю ночь, а утром завтракать вместе. Менестрель опустил глаза на свои руки, они лежали неподвижно, ладонями вниз на латинско-французском словаре. Будь у меня девочка, смог бы я заниматься? Мне бы хотелось все время разговаривать с нею, все время быть с нею, с утра до вечера не вылезать из кровати. В висках у него застучало, он посмотрел в окно: на горизонте стройка — юрфак, справа от нее бетонные коробки филфака. Стекло,

бетон, алюминий, кубы, квадраты, прямоугольники окон. Огромный завод по производству лицензиатов, производительность низкая, крайне низкая, 70% отсева, а что ждет неудачников — известно, я не могу себе позволить быть неудачником, не могу потерять стипендию, застрять на годы в классных надзирателях.

Менестрель сел, раскрыл словарь, принялся за работу. Становилось светлее, в комнате было тепло. Он чувствовал себя в форме, голова была ясная, мускулы крепкие, он сидел перед своими книгами в непринужденной позе — серые фланелевые брюки, голубая бумажная рубашка, темно-синий пуловер под шею, уголки воротничка выпущены, галстука нет, верхняя пуговичка рубашки расстегнута. Он два года проучился на подготовительном, и лат. пер. не затруднял его, он испытывал приятное ощущение, что работает быстро и продуктивно. Заковыристые фразы сдавались одна за другой после разумного сопротивления. Мучительнее всего было подавлять неумержимое желание вскочить, подвигаться. Менестрель написал на полях черновика: «Спротивляться собственной непоседливости. Помнить, что месяц назад мне стукнуло двадцать». Он подумал: двадцать лет, это немало. Что-то щелкнуло у него в голове, и он принялся рисовать на полях голую девушку. Лицо он едва наметил, как не имеющее, в сущности, значения, но тело вырисовал четко, две округлые груди, довольно пышные, широкие бедра, тяжеловатые ляжки. Ляжки он положил одну на другую и легким штрихом отчеркнул лобок. Это было красиво — маленький треугольничек, завершенный, замкнутый.

Текст Тацита смотрел на него. «А, черт», — сказал Менестрель, отвечая взглядом на взгляд. Это было выше его сил. Он встал, пошел в туалет, вымыл руки, хотя уже мыл их после завтрака. Молодой наполеоновский генерал глядел на себя вполоборота, намыливая свои руки человека действия. Схватив гребенку, он причесался, хотя нужды в этом не было ни малейшей. Тацит, ладно, Тацит, превознесем до небес его лаконизм, ну а содержание? Вы находите, что «Диалог об ораторах» так уж интересен человеку, которому исполнилось двадцать лет в феврале 1968 года? Одно дело поднатореть в переводе, поскольку ты изучал латынь девять лет (хочешь не хочешь), другое — любить ее и верить в ее магические достоинства (излагаемые профами с религиозным благоговением). Менестрель снова сел за стол, он был полон еретических мыслей. Суют свою латынь куда надо и не надо, даже если ты занимаешься современной литературой. А ведь если бы я эти де-

вать лет изучал вместо латыни русский, я бы мог читать Толстого в подлиннике. Это тебе не Тацита долбать.

Взгляд на часы. Время приниматься за Руссо. Левассер рекомендовал студентам внимательно прочесть текст, который будет разбираться на семинарских занятиях. Шестая книга первой части, стр. 180. На полях он прочел: Даниель Торонто. Бедная девочка, ну и текстик ей достался. А она такая робкая, скованная. Он нашел страницу. «Как бы то ни было, маменька увидела, что для того, чтобы предохранить меня от заблуждений юности, настало уже время обращаться со мной как со взрослым мужчиной; и она это сделала, но таким необычным способом, каким женщины в подобных случаях никогда не пользуются. Она придала своему виду больше важности, а речам больше нравоучительности, чем обычно». Нравоучительность мне по вкусу. Это хорошо сказано, нравоучительность. Но маменька мне не по вкусу. По-моему, в такой момент Жан-Жак мог бы позволить себе не называть госпожу де Варанс маменькой. «Начало ее речи, ощущение, что она что-то подготавливает,— все это встревожило меня: пока она говорила, я, против воли задумчивый и рассеянный, не столько старался вникнуть в смысл ее слов, сколько угадать, к чему она клонит речь; и как только я понял, в чем дело (понять это было не легко), новизна мысли, ни разу не приходившей мне в голову за все время, пока я жил подле нее, захватила меня целиком и лишила возможности думать о том, что она мне говорит. Я думал только о ней и не слушал ее». Пронзительно заскрежетал бур, задребезжали стекла. Менестрель поднял голову и рассеянно поглядел в окно. Длинный, размеренный период, который завершается короткой фразой, точно удар в лицо. Насчет стиля он силен. Так силен, что заставляет тебя своей музыкой поверить во что угодно, например в то, что ему даже и в голову никогда не приходило — переспать с госпожой де Варанс. Как сказать, сударь. Если память мне не изменяет, за пять лет до того, в день, когда вы ее увидели впервые... Менестрель поклонявил указательный палец и принялся лихорадочно листать книгу, ища нужное место, вот, стр. 42, я еще при первом чтении подчеркнул карандашом: «Я представлял себе хмурую набожную старуху... Я вижу исполненное прелести лицо, прекрасные, полные нежности голубые глаза, ослепительный цвет кожи, очертания обольстительной груди» (заметим эту грудь), и дальше: «У нее был вид нежный и ласковый, взгляд очень мягкий, ангельская улыбка, рот одного размера с моим...» (я отмечаю также и этот рот, так точно измеренный заранее), нет, нет, он вовсе не хотел с ней переспать,

за пять лет ему такая мысль ни разу даже, как он выражается, «в голову не приходила», никогда! А между тем, сразу же как он ее увидел, ему захотелось ее поцеловать и он глаз не мог оторвать от ее буферов.

Взгляд Менестреля упал на часы, он вскочил, мигом собрал вещи, торопливо влез в твидовый пиджак. Он не опаздывал, но если уж он двигался, то любил двигаться быстро. Насвистывая, он запер дверь на ключ, сделал пританцовывая два шага по коридору и стукнул кулаком в дверь Бушюта — два прямых левой с короткой дистанции, пам-пам! «Да-а», — сказал плаксивый заспанный голос. Этот слизняк еще в постели. «Я бегу, — сказал Менестрель громко, — догоняй».

IV

8 часов 30

Давид Шульц — двадцать один год, рост метр восемьдесят два, глаза карие, волосы черные выющиеся, лицо овальное, кожа матовая, черты правильные, отец хирург, мать не работает, студент второго курса отделения социологии — долго шурился в полумраке. Потом взгляд его остановился на угольно-серой шторе и луче света, который пробивался из-под нее. В тот же момент он почувствовал, что у него затекла левая рука, медленно повернул голову и увидел в полумраке голову Брижитт на своем плече, вздернутый нос, полуоткрытые губы под копной светлых волос. Ее левая нога лежала на его бедре, поразительно, как тяжела женская нога. Ничего не поделаешь, только так тут и можно спать — один на другом. Койки в общежитии узкие, конурки крохотные. Для студентов создан особый холостяцкий мир, одиночные камеры, девочки по одну сторону, ребята — по другую, как в тюрьме. Каждому отведено минимальное жизненное пространство, нормированная кубатура воздуха, восемьдесят сантиметров для сна, вместо подруги — сексуальная ущемленность. Эта ущемленность все еще существует, даже сейчас, когда мы покончили с правилами внутреннего распорядка и свободно ходим к девчонкам. Сколько ребят в конечном итоге остается ежедневно в женских корпусах? Думаю, не больше двадцати, это мало, очень мало. Мы положили конец сексуальной сегрегации, но табу все еще сильны, они действуют скрытно, изнутри, но они всемогущи. И даже девчонки, которые спят с ребятами, не свободны по-настоящему. Давид вздохнул и с грустью подумал, что в ито-

ге все студентки делятся на две категории: одни слишком заторможены, чтобы спать с ребятами, другие слишком заторможены, чтобы получать от этого наслаждение. Пример — Брижитт.

Он подвигал левой рукой, часто и резко сжимая и разжимая кулак. Стало еще хуже, мурашки забегали сильнее, почти до боли. Тысячи ничтожно мелких покалываний при каждом движении. Интересно, сколько требуется времени, чтобы восстановить кровообращение. Мурашки не проходили, напротив, закололо еще сильнее. Он взял себе на заметку, что нужно как-нибудь прохронометрировать возвращение затекшей руки к нормальному состоянию. В сущности, социология занимается только человеком, животное недооценивается, это — ошибка. Прежде чем подступиться к человеческому сообществу, следовало бы посвятить год изучению общества животных. Таким увлекательным проблемам, как защита своей территории, иерархия в стаде, господство отдельных особей, эротический ритуал.

Брижитт пошевелилась.

— Ты не спишь? — сказала она робким, несчастным голосом.

Он не любил такого тона и ответил коротко:

— У меня мурашки.

Она повернула голову и поцеловала его в шею. Его это тронуло, но он тотчас подавил в себе нежность. Он не хотел привязываться к Брижитт. Инстинкт, согласен, сексуальные потребности, здоровое, откровенное животное влечение. Что касается «чувств» (в кавычках), из этой собственнической мелкобуржуазной ловушки я давно уже выбрался: мой носовой платок, мой галстук, моя жена. Смех. Ханжество. Отчуждение в последней степени. В сущности, идеалом было бы сообщество девчонок и ребят, в котором каждый принадлежал бы всем. Он заговорил громко и агрессивно:

— Чертовски противно — мурашки.

— Тсс, — сказала Брижитт, — не кричи.

— Почему? — сказал он, не понижая голоса. — Трусись? Что подумают соседки?

Он сжал губы и замкнулся во враждебном молчании. Она приподнялась на локте так, что ее глаза оказались на уровне его лица, и, пока он лежал, упрямо уставившись в потолок, она любовалась им. Темные нечесанные курчавые волосы, кольцами спутанные на лбу, черные сверкающие глаза, худое лицо, красивый рисунок рта, изящный, почти женственный, и, главное, этот отсутствующий вид, точно Давид

витает где-то далеко, какая прекрасная голова Христа. Если говорить о внешности. Потому что его манера выражаться... Особенно ее восхищали впадины небритых щек и твердая лепка скул, она вовремя удержалась от желания прикоснуться к ним губами — нежность была самым верным средством потерять Давида. У нее вдруг задрожали руки, ее ожег страх — но я его потеряю, я все равно его потеряю, как теряла всех других. Она им отдавалась, чтобы их удержать, но толку от этого не было никакого, ее холодность быстро вызывала в них отвращение. Ее захлестнуло ощущение несправедливости, она подумала с возмущением, я ведь не вещь, не машина для наслаждения. Я человек. Господи, если бы хоть один, один испытывал ко мне каплю чувства.

Она сказала с некоторым раздражением:

— Не могу понять, почему тебе непременно захотелось провести ночь у меня. Чем хуже было в твоей комнате?

Давид пожал плечами.

— Ты не понимаешь. Когда девочек пускали к ребятам, это было всего лишь попустительство, ханжеская терпимость, нам-то в женский корпус входить запрещалось. Мы завоевали это право. Не терпимость, а право. Чтобы его добиться, нам понадобился целый год борьбы с деканом и всем его кодлом. Так. Ну и вот, я хочу досыта насладиться своим правом. Даже если это не по вкусу твоим соседкам,— добавил он, повышая голос.

— Ну кто тебе сказал, что им это не по вкусу,— слабо воспротивилась Брижитт.

Он поднял руку.

— Во всяком случае, мне на них плевать,— сказал он громко и отчетливо.

Он посмотрел на свои часы.

— Только так. Полдевятого. Не пора ли им пошевелить своими толстыми задницами. Но эти барышни,— продолжал он саркастическим тоном,— опять поздно легли. Они жарят себе блинчики. И чешут языки, лакомясь ими. Они принимают друг друга в вечерних туалетах (эта деталь была ему известна от Брижитт). Фольклор, местный колорит! — он хлопотал от возмущения.— Представляешь, в вечерних туалетах! В Нантере! Барышни,— заорал он, стуча пальцем в перегородку,— вам не вечерний туалет нужен, вам нужен...

Брижитт заткнула ему рот ладонью.

— Замолчи, Давид, прошу тебя,— сказала она умоляюще.— Ты не соображаешь, что говоришь. Ведь мне жить с ними, не тебе.

Давид резко отбросил руку Брижитт, вытянул свои длинные ноги и, уставившись в потолок, заложил руки за голову. Брижитт, опершись на локоть, в тревоге склонилась над ним.

— Я спрашиваю себя,— сказал Давид, внезапно обретя полное спокойствие,— почему женщины так часто сами себе враги? Почему до сих пор есть девочки — и девочки просвещенные («просвещенные» он взял в кавычки), рассматривающие себя как запломбированный товар, сорвать пломбу с которого имеет право только покупатель? Какой отвратительный торгашеский взгляд на женщину. Если ты не имеешь право располагать своим телом по собственному усмотрению, ты уже не человеческое существо, ты предмет потребления.

Брижитт молча глядела на него. По существу, она была с ним согласна. Возражения ее касались частных вещей. Когда Пейрефитт, опираясь на фальсифицированный зондаж общественного мнения, заявил, что «студентки, живущие в общежитии, не желают пускать юношей в свой женский мир», ей было слишком хорошо известно, что такое «женский мир», столь высоко ценимый министром. Девушки, которые чувствуют себя ущемленными, подавляют в себе желания, мыкаются в ужасающем одиночестве или, хуже того, льнут друг к другу, живут в гнусной атмосфере гинекея, сплетен, извращенных отношений. Поверьте, господин министр, если у вас есть дочь, пусть уж лучше к ней, как ко мне, ходит парень, даже если он и анарх вроде Давида.

— Ты согласна?— спросил Давид, не глядя на нее.

— Разумеется,— сказала Брижитт, позволяя себе в свою очередь пожать плечами.

Разумеется, она согласна. Но есть и другая сторона. Если говорить о принципах, то общественная позиция Давида в женском вопросе была благородной. Да, благородной. А конкретно? Со мной? Если говорить о человеческих отношениях? С девочкой по имени Брижитт?

— Это, во всяком случае, еще не причина, чтобы оскорблять моих соседок,— сказала она.— Какой толк в твоих провокациях?

Давид хохотнул:

— Твоими устами вещает «Франс-суар». Усвой, лапочка: провокация, как мы ее понимаем, отнюдь не бесцельна. Это весьма полезное оружие в политической борьбе. Она вынуждает противника сбросить маску и раскрыть свою подлинную природу.

Она сказала язвительно:

— Не ради этого ли вы в январе намяли бока декану, обозвав его легавым и нацистом?— И добавила:— Насчет наци вы попали пальцем в небо: он участник Сопротивления. Давид пожал плечами.

— Прежде всего, декана только слегка помяли без заранее обдуманного намерения. Повторяю: слегка. Сначала мы лишь протестовали против дела об исключении, заведенного на Дани¹. Но ты сама знаешь, как получается. Припелся декан, и все приняло иной оборот, его попрекнули, что он прибегает к помощи полиции. Впрочем, он тут же доказал, что упрек был обоснован: воззвал снова к своим дорогим легавым. Как в шестьдесят седьмом.

— В шестьдесят седьмом?

— Тебя тогда здесь еще не было.

— Но вы обозвали его наци.

— Ну и зануда ты! Я уже сказал тебе, это была ошибка.

— Ничего ты не говорил.

— Хорошо, говорю теперь. И не думай, что ты должна непременно защищать декана только потому, что ты германистка. И откуда у тебя этот отделенческий шовинизм?

— Вовсе не шовинизм, а дух справедливости.

— Ну откуда мы, по твоему, можем знать, что делал декан в сороковом? Мы родились в сорок шестом! И вообще, если человек вел себя достойно в сороковом, это еще не значит, что он может себе позволить быть подлецом в шестьдесят восьмом или шестьдесят седьмом.

— Почему все-таки в шестьдесят седьмом?

Давид сбросил одеяло и задрал вверх свои длинные худые ноги.

— Я встаю. Мне надо поразмяться. Пожрать есть?

— Хлеб в шкафчике, а масло снаружи.

— Обожди, сначала помочусь.

Он исчез за перегородкой под красное дерево, и она услышала, как он прокликает все на свете, раскрутив кран. Вот, изволь, пользуйся раковиной, чтобы не шокировать этих барышень, появившись в их клозете на лестничной площадке. Сдохнуть можно, поклоняются они, что ли, своей моче? Брижитт засмеялась, но он не откликнулся на смех, он намыливал руки, уныло глядя в зеркало. Подумать только, они находят его красивым! Не много же этим дурам нужно! Я себе просто-напросто противен. Стоит на меня посмотреть, сразу видно, что я всегда жрал только продукты высшего

¹ Даниель Кон-Бендит.— Прим. автора.

качества. Блевать хочется, когда видишь в зеркале эту гладкую ряшку папенькина сына, напяль на меня жокейское кепи и высокие сапоги, я все равно буду выглядеть пай-мальчиком, который обучался верховой езде и хорошим манерам в Сан-Луи де Гонзаг. Голова зудела, он уже протянул руку за расческой Брижитт, но тотчас стоически подавил в себе это желание. Давид считал гигиену буржуазным предрассудком. К несчастью, у него было слишком тонкое обоняние, и, когда ему становился неприятен запах собственного тела, он принимал душ (два или три раза в неделю), и кожа у него была чересчур чувствительная, приходилось бриться, когда щетина слишком ее раздражала. Короче, только отказ причесываться он соблюдал неукоснительно, но, поскольку волосы у него вились, это было не так уж заметно. Он шагнул два раза и оказался уже у стола в комнате.

— Снаружи?— сказал он.— Ты сказала, что масло снаружи? Где снаружи?

— За окном. Осторожней, не сбрось его, когда будешь открывать.

— Смешные вы, девчонки,— сказал Давид.— Вечно вы думаете о подобных мелочах. Ни одному парню в голову не придет повесить масло за окно в целлофановом мешочке, чтобы оно не испортилось за ночь.

— Иначе говоря, мы думаем о мелочах, а вы о мировых проблемах.

— Мимо,— сказал Давид, перерезая веревочку.— Я не женоненавистник. Ни в какой мере. Для меня что девочка, что чувак, никакой разницы. Только с чуваками я не сплю,— добавил он усмехнувшись.— Есть хочешь?

— Да.

— Тем хуже. Я оставляю тебе половину твоего хлеба.

Она благодарно засмеялась. Она любила этот шутливый тон. Он ее успокаивал. Но мальчики теперь редко шутили. Политика пожирала все, даже веселый треп.

— Я сделаю тебе кофе,— сказала она, вставая.

Она тоже спала голой и, чтобы доставить удовольствие Давиду, подавила в себе сейчас желание накинуть халат. Налив воду в электрический чайник, Брижитт присела, чтобы вставить вилку в розетку, и вдруг почувствовала себя униженной. Сидеть на корточках голой, в этом есть что-то роняющее твое достоинство, я похожа на какую-то скво индейского вождя. К тому же ей было холодно. Она подумала с горечью: «Что девочка, что чувак; никакой разницы»,— разумеется, но почему же всегда именно девочка подчиняется

парню, а не наоборот? И вообще, она ненавидела это слово — «чувак». Но у Давида и его компании оно не сходило с уст.

— Я не буду ждать кофе, помираю с голоду,— сказал Давид.

Он сидел спиной к окну, голыми ягодицами на листах черновика немецкой работы Брижитт, разбросанных по столу. Ему было славно, он жевал, с удовлетворением поглядывая на пухленькую, длинноволосую, белокурую, зеленоглазую самочку, передвигавшуюся по этой конуре. В сущности, прав был не царь со своими «цивилизаторскими» идеями, а духовоборы, которые ходили нагишом. Они пытались вернуться к состоянию невинности, к миру до грехопадения, обрести непосредственную связь с богом. Разумеется, бог — устарелый лексикон той эпохи. То, что они называли богом, на самом деле — инстинкт.

— Ты не ответил на мой вопрос,— сказала Брижитт, спласкивая чашки в умывалке.— Что же все-таки произошло в шестьдесят седьмом?

— В марте шестьдесят седьмого, лапочка. О!— сказал Давид торжественно, потрясая в воздухе своим бутербродом, но эта мизансцена пропала даром, поскольку перегородка под красное дерево мешала Брижитт видеть Давида.— Именно тогда-то все и началось! Движение протеста в Нантере вылупилась из марта шестьдесят седьмого, как цыпленок из яйца.

Брижитт вошла в комнату с чашками и коробкой сахара в руках. Подойдя к столу, она возмущенно закричала:

— Что за хамство! Убери немедленно свой зад с моей курсовой.

— Мой зад,— сказал Давид, вставая,— это, вероятно, именно то, чего она заслуживает. Впрочем, курсовая по природе идиотизм. Идиотизм и угнетение.

— Мне известны твои идеи по этому вопросу,— раздраженно сказала Брижитт, собирая листы.— Ты мне их уже развивал. И вообще,— добавила она без всякой видимой связи,— мне холодно, я хочу завтракать так, как мне приятно!

Она схватила с кровати свой халат и яростно натянула его. Давид неодобрительно прищелкнул языком: «Ц-ц-ц». Ясное дело. Ходить нагишом это для нее грех. А халат-то каков! Из натурального шелка, в китайских цветах. По меньшей мере четыреста монет. Жить в студгородке, вдали от родительского гнезда — это для Брижитт уже верх аскетизма, но свои шмотки «из недорогих» она приволокла с собой. Доказательство, что среда прирастает к коже, как панцирь к черепахе. Он поглядел на струйку кофе, от которого шел пар, втянул

аромат и с удовольствием сжал в пальцах обжигающий стакан. Пить утром кофе, голышом, в девчачьей комнате — таково мое представление о счастье. К сожалению, девочка оставляет желать лучшего. Вчера — полчаса бесплодных усилий. У меня аж все болело, так я сдерживался. Девочки должны быть ближе к природе, не спрограммированные, не деформированные буржуазным мировоззрением. Например, девушка из народа, фабричная работница. «Ах! — подумал Давид, сжимая в правой руке горячий стакан, — спать с работницей!» В этот момент Брижитт села, ее переливающийся халат распахнулся, он увидел круглые белые груди. Его захлестнуло желание, но он тут же устыдился. Вот гадость, просто возмутительно — приоткрытый шелковый пеньюар, фривольное неглиже с эстампа XVIII века, буржуазное распутство. Нет, это не по мне. Либо уж совсем нагишом, либо ничего не надо. Разумеется, Брижитт набита общепринятыми предрассудками против наготы. Она напичкана всяческими табу; эта девочка заторможена до мозга костей, политически совершенно неграмотна; Давид вовремя оборвал себя; он не мог позволить себе презирать ее. Нет, нет, подумал он в приливе революционной праведности, презирают только реакционеры. Мы считаем, что всякий человек поддается перевоспитанию.

— Даже среди нас, — сказал он терпеливым голосом, — есть чуваки, которые недооценивают март шестьдесят седьмого. Они считают, что все это фольклорные штучки. Я не согласен. Значение марта шестьдесят седьмого в том, что именно тогда мы впервые нанесли массированный удар по одному из основных табу, установленных властями. И, главное, это произошло само собой, стихийно. В принципе на заседании Г. А.¹ общаги была принята резолюция протеста против сексуальной сегрегации, но прошло уже десять дней после голосования, а она так и оставалась мертвой буквой. Никто не действовал. И вдруг вечером в киноклубе — в то время для студентов, живших в Нантере, единственным развлечением был киноклуб раз в неделю... Опупеть! И показывали-то нам одну дрянь; в тот вечер, как сейчас помню, фильм был идиотский, ну, чистый идиотизм! А ты знаешь, что происходит, когда смотришь дерьмовый фильм — сам чувствуешь себя дерьмом. Честное слово, всех просто тошнило. Ну и вот, после окончания картины какой-то чувак, заметь, я говорю какой-то, я даже не знаю, кто это был, никто не знает, он был даже не из наших и вообще не принадлежал ни к одной груп-

¹ Генеральная ассамблея. — Здесь и далее примечания переводчика.

пе, короче, какой-то чувак поднялся и заорал: «Все к девочкам!» И поскольку, с одной стороны, уже была та резолюция, а с другой, фильм был такой идиотский и вообще вся наша жизнь в Нантере была идиотской, все пошли. И на следующий день тоже, и на третий день опять. И вот в этот третий день декан и призвал фараонов. Ночью они захватили женские корпуса и нас всех, кто там находился.

— Да, я помню,— сказала Брижитт с заблестевшими глазами.— Я читала тогда в газетах. Ну, и что же произошло у девочек?

Давид развел руками.

— Да ничего, конечно! Никого не изнасиловали, если ты это имеешь в виду. Страдающие запором заперли свои двери, а остальные братались с нами.

— Братались!— смеясь, сказала Брижитт.

— Да нет, даже этого не было. Ребята, у которых были знакомые девочки, пошли к ним в комнаты, а остальные торчали в коридорах, трепались.

— А потом?

— Да ничего героического. Нас было всего человек сорок, а фараонов больше сотни. Мы ушли, вот и все.

— Значит, декан выиграл битву?

Давид поставил стакан, посмотрел на нее, глаза его заблестели.

— Проиграл,— сказал он, отчеканивая каждый слог.— В дальнейшей перспективе — он проиграл. Подумай сама. Вот проф, у которого трения со студентами, и вместо того, чтобы попытаться разрешить их путем диалога, он вызывает полицию!

Давид раскинул свои длиннющие руки, казалось, они перегородили комнату во всю ее ширину, касаясь обеих стен.

— Что станут думать о нем студенты? Вот в чем поражение,— сказал он громко,— утрата авторитета, руководство опозорилось, доказало, что не способно направлять свой буржуазный университет без помощи дубинок и полиции.

Они помолчали.

— Допустим, что с марта шестьдесят седьмого года вы шли от победы к победе,— сказала Брижитт.— В ноябре вы устроили забастовку. В январе помяли декана и вышвырнули его фараонов. В феврале снова заняли женский корпус. В марте. Но в марте вы еще ничего не сделали,— улыбнулась она.

— Прости, пожалуйста, мы провели бойкот курсовых экзаменов по психологии, и я осмелюсь скромно напомнить, что тут была и моя заслуга.

— И все?

Он сделал неопределенный жест.

— Многократные выступления на лекциях, преследование реакционных профов. Да, я забыл: важная листовка, разоблачающая преподавание социологии, как оно понимается учеными бонзами.

— Ладно,— сказала Брижитт.— Я задам тебе только один вопрос: к чему все это ведет? Чего вы добиваетесь? Чего хотят ваши вожди?

— Наши вожди!— в возмущении зарычал Давид.

— Прошу тебя, Давид, не так громко.

— Наши вожди!— начал он октавой ниже, но с той же силой.— Это что еще за нелепый лексикон! У нас — вожди? Может, «социальные институты»? (Слово «институты» он произнес с сокрушающим презрением.) Имей в виду, товарищ, у нас нет вождей. Самое большее, рупоры идей.

Брижитт расхохоталась.

— Мне кажется, я от тебя слышала, что в каждом птичнике есть доминирующие особи. Знаю, знаю,— сказала она, подняв руку,— я политически неграмотна. Я знаю также, что у вас все чуваки равны. Но все же есть некоторые, которые более равны, чем другие. Дани, ты...

— Да ничего подобного! Ты заблуждаешься! Чуваки вроде Дани — это просто громкоговорители. Они не властны принимать решение. Любое решение каждый раз выносит вся группа после открытого обсуждения. Да ты, в конце концов, сама это видела.

Он помолчал и продолжал, скандируя слова:

— Вот почему твои вопросы вроде «чего вы добиваетесь?» лишены всякого смысла. Будь мы вождями, будь у нас культ личности, тогда да, тогда мы могли бы это знать. Но как, по-твоему, мы можем знать заранее, что решит группа завтра? Или что решат другие группы. Это и есть демократия, Брижитт: уважение к стихийным решениям, к творческим возможностям каждого, к множественности тенденций. Не говоря уже о том, что, как ты знаешь, существует ряд вопросов, по которым «группки», как выражается «Юма», расходятся во мнениях. Какой отсюда вывод? Вывод тот, что, прежде чем будет выработана политическая линия, необходимо преодолеть фракционные разногласия, а это, знаешь ли, не так просто.

Брижитт уже не слушала. Она смотрела на него. Так бывало всегда. Через минуту я перестаю интересоваться тем, что он говорит, меня слишком интересует он сам. Как он красив.

Он держится с таким достоинством, даже сейчас, когда сидит нагишом. Когда он чем-нибудь увлечен, он становится самым собой — серьезным, красноречивым, забывает о своих фиглярских штучках и грязных словечках. Она заставила себя прислушаться, до нее дошли несколько случайных фраз: «...и если никто сейчас не понимает как следует, что происходит, куда мы идем, это означает только известное отставание теории от практики». Она повторила про себя: «...известное отставание теории от практики». В политической терминологии есть своя красота. Когда ты не знаешь, куда идешь, ты находишь формулу, а формула обладает магической силой оправдывать твои действия. Брижитт почувствовала, что собственная ирония обращается против нее, как бумеранг. Нарыв горечи прорвался, она усмехнулась в душе, ощутив боль, вот я — фригидна, можно предположить, что данный случай свидетельствует о некотором отставании практики от теории, а может, наоборот? Давид продолжал красноречиво доказывать что-то, но она даже не пыталась вслушаться. Она виновато поглядела на него. Вот он откинул со лба выющую черную прядь. Неловкость этого жеста тронула ее, она почувствовала к нему материнскую нежность, встала, обняла Давида и, посредине какой-то фразы, поцеловала его в шею.

— А, черт,— сказал Давид,— с тобой невозможно говорить серьезно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С

I

Без десяти 9

Подобно средневековому феодалу, имевшему право на собственную голубятню, администрация Фака, дабы никто не усомнился в том, что администрировать куда важнее, чем преподавать, получила в удел башню, надменно вознесшую свои восемь этажей над четырьмя четырехэтажными корпусами, отведенными для выполнения скромных педагогических задач. Эти четыре более низких куба не стоят по два с каждой стороны башни — в соответствии с нормами изысканной асимметрии, башня высится между корпусом А и корпусом В, за которым расположены в ряд корпуса Г и Д.

Планировка этих четырех вассальных корпусов на всех этажах одинакова: по внешней стороне здания расположены

парадные помещения (небольшие аудитории, читальные залы отделений, кабинеты профессоров), а по внутренней стороне, вдоль коридора, делающего поворот под прямым углом,— службы (лестничная клетка, туалеты, кладовки). Коридор освещается в принципе через двери аудиторий, сделанные, из секуритового стекла; свет через них, по правде говоря, пробивается довольно плохо, зато звук двери пропускают отлично, и все, что творится в коридоре, слышно в учебных помещениях. Практически освещают коридор лампы и трубки дневного света с дистанционным управлением — их включают и выключают электрики, размещенные в административной башне. Эти неведомые и незримые служители поистине всемогущи. Например, пасмурным утром 22 марта они властны оставить без света коридор французского отделения и сорок семь студентов (по две девушки на каждого парня) ассистента Левассера, которые без десяти девять столпились у двух накрепко запертых дверей, ведущих в аудиторию для семинарских занятий. Студентов, таким образом, отделяет от храма науки всего лишь прозрачная субстанция, но ничтожность преграды обманчива. Замок, врезанный в стекло, открывается с помощью ключа, не менее сложного, чем ключ сейфа.

Вся во власти мучительного ожидания и страха, что вот-вот упадет в обморок, Даниэль Торонто притаилась в полумраке, прижавшись к стене между двумя дверями. Маленькая, крепко сбитая, в кургузом пальто неопределенного цвета, которое ее толстило, с широким лицом и опущенными глазами, она, казалось, вся ушла в свою скорлупу, в ней не было ничего, что обратило бы на себя внимание или хотя бы вызвало желание поздороваться. Она стоит здесь уже десять минут, пришла, конечно, как дура, слишком рано, ноги у нее дрожат, к горлу подкатывает ком, во рту пересохло, губы склеились, я совершенно мертва, мертва, если бы я знала, что буду так переживать, я бы ни за что не согласилась, чтобы мне всучили этот разбор текста. Хуже всего, что придется сидеть лицом к ним. За столом, рядом с Левассером. Если бы еще разрешалось говорить со своего места, но сидеть лицом к ним, под взглядом всех этих глаз, устремленных на тебя. Ребята еще ничего. Они на тебя ноль внимания. Но девочки. Быстрый опытный взгляд разбирает тебя сразу по косточкам, молниеносно оценивает платье, прическу, тембр голоса, силуэт. О, я знаю, я — коротышка, сразу видно, что я не воспитывалась в Сент-Мари в Пасси, и как им только удастся так вытянуться, всем этим девочкам из XVI округа, можно подумать,

что это результат пребывания у святых сестер. Да нет, вовсе не такие уж они злые, и после разбора всегда мило аплодируют, даже когда не все идет гладко, чего же я трушу?

Но задавать этот вопрос бессмысленно. Я боюсь всего — смерти, жизни, людей, мне никогда не удастся установить с людьми нормальные отношения, я ни с кем не сближаюсь, ото всех бегу, точно могу разбиться, если меня по неосторожности заденут локтем. Вчера на лекции Перрена две идиотки без умолку болтали за моей спиной о знакомых мальчиках, и вдруг одна говорит: «Мне кажется, он еврей», — ничего больше, ни хорошего, ни дурного, только это: «Мне кажется, он еврей», и этого было достаточно, у меня задрожали руки, я не могла больше записывать, застыла, напрягла слух, как заяц в кустах. Они, впрочем, так ничего и не добавили, я просто дурра, Анна мне без конца твердит это, и она права, я восхищаюсь Анной, она может сказать: «Осточертели мне мои старики со своими рассказами об Освенциме, мне двадцать лет, я хочу жить и не желаю забивать себе голову их воспоминаниями». Она права, Анна, но какая польза твердить себе «она права», если я все равно боюсь, что преследования начнутся снова. И напрасно я твержу себе, что не такая уж я типичная еврейка, может, только в фамилии и есть какой-то намек, как правило, никто даже не догадывается, но разве я виновата, что унаследовала эти воспоминания, память обо всех этих ужасах. Жоме утверждает, что это не может повториться, что конъюнктура теперь иная, но что значит конъюнктура? Она ведь не вечна, вся меняется, и стоит мне об этом подумать, подумать о предписаниях, которые могут быть даны даже здесь, во Франции, как при вишистах, и чувствую себя уязвимой, беззащитной, я озираюсь вокруг, они гонятся за мной по пятам, мне хочется бежать, скрыться, как сегодня. Какая ерунда, сегодня я просто-напросто трясусь перед разбором, но страх меня душит, точно я иду на казнь, нелепо, глупо даже сравнивать это с тем, что могло бы случиться на самом деле. А все потому, что я здесь очень одинока, никого здесь в Нантере не знаю, ненавижу этот Нантер, ненавижу, он холодный, бесчеловечный, ужасный.

Менестрель пробился через плотную кучку студентов, встал на цыпочки, огляделся по сторонам. Жаклин Кавайон следила за ним. Это была полная девушка с круглым лицом и тщательно подведенными черными глазами: тушь на ресницах, верхние веки чуть подкрашены, их подчеркивает синяя линия у основания ресниц, вытянутая к виску, в уголке глаза — едва заметное желтое пятнышко. Бывало оглядев-

шись в полумраке, Жаклин уперлась взглядом в спину Менестреля — вот кретин, высматривает Эвелин Бертье, не знаю, что он нашел в этой притворе с ее кривой улыбочкой. Он даже не понимает, что в конце марта Эвелин Бертье просто *не может быть здесь*, она явится на следующей неделе в роскошном кожаном пальто, загорелая, улыбающаяся, и прощечет своим музыкальным голосом, повышая его к концу фраз и глотая звуки: «Я? Но я же каталась на лыжах!» Менестрель чуть не налетел на Даниель Торонто, он опустил на нее глаза:

— А, ты здесь? — сказал он. Даниель отвернулась, очень мило, яснее не скажешь. — Ну и вид у тебя! — продолжал Менестрель. — Ах да, ты ведь сегодня долбаешь Руссо, я как раз перечитывал утром это место и вспомнил о тебе.

Даниель устала в пол и со злостью подумала, врет и не краснеет, любезничает со всеми девочками, даже со мной.

— Послушай, — сказал Менестрель, — чувствуй себя свободней, и, главное, мой совет, не читай по бумажке, вернее, заглядывай в нее, но так, как будто ты говоришь, а не читаешь.

Она посмотрела на него, нет, это просто невероятно, он мне советует не читать по бумажке, а я вообще слова из себя выдавить не могу.

— Послушай, в конце концов, — сказал он, беря ее за руку повыше локтя и склоняясь к ней, — никто тебя не съест, тебе предстоит несколько неприятных минут, а потом мы тебе похлопаем. Чем ты рискуешь?

Она покраснела и грубо выдернула руку.

— Отстань ты от меня, — внезапно вспыхнула она.

Рука Менестреля упала, он изумленно поглядел на нее.

— Этот замок до того сложен, — сказал за его спиной голос Левассера, — что мне никогда не удастся попасть ключом в скважину с первого раза.

II

9 часов

Ассистент Дельмон уже четверть часа ждал в коридоре заведующего отделением профессора Рансе. Этот последний вчера назначил ему встречу на восемь сорок пять, но сейчас, в девять, он все еще не появлялся, как всегда важный и озабоченный, в дверях лифта, предназначенного «только для персонала». Это «только» Рансе понимал в буквальном смысле.

ле слова и как раз накануне сделал замечание секретарше русского отделения (которой вообще совершенно нечего было тут делать), указав ей, что под словом «персонал», как это должно быть ясно всем, подразумевается педагогической персонал и что вследствие этого он будет ей весьма обязан, если впредь она станет подниматься по лестнице, как студенты.

Раскаживая взад-вперед по коридору и нервно затягиваясь сигаретой, уже на три четверти выкуренной, Дельмон чувствовал себя довольно скверно. «Ровно без четверти девять,— Рансе dixit¹,— и я убедительно прошу вас быть точным, так как у меня на девять назначена еще одна встреча». Ладно. Он уделяет мне пятнадцать минут своего драгоценного времени, ни минутой больше. А теперь он, конечно, станет, во-первых, извиняться за опоздание (но его задержал декан) и, во-вторых, извиняться, что может посвятить мне меньше времени, чем ему хотелось бы, поскольку все его утренние встречи сдвинуты. Дельмон раздавил окурок в пепельнице на столе этажного служителя (в это время всегда отсутствовавшего). Гнусно, что пять-шесть минут — это все, что Рансе считает возможным уделить одному из коллег, когда тот хочет поговорить с ним о своем продвижении. Дельмон почувствовал, как его захлестывает обида. В конце концов, именно ассистенты тянут воз в отделении, их в десять раз больше, чем профов, и у каждого из них вдвое больше часов, на них взвалена проверка всех письменных работ, не говоря уж об экзаменах и всякого рода организационных обязанностях. Зато, что касается оклада, тут профам достается поистине львиная доля. А ведь между ним, ассистентом Дельмоном, прошедшим конкурс, но еще до сих пор не имеющим докторской степени и потому бесправным крепостным, и доктором Рансе, единственным властителем сих мест после бога, лежит всего лишь толща диссертации, но уж в данном конкретном случае отлично известно, сколь пухл и тяжеловесен этот кирпич — восемьсот страниц в осьмушку листа крохоборческой эрудиции третьестепенного автора: типичный образчик нечитабельного критического исследования о нечитаемом писателе. Это определение Дельмон записал. Впрочем, будем справедливы, Рансе вежлив, не вовсе несведущ, не бесчеловечен. Но он отстал. У него нет и тени таланта, после диссертации он не выжал из себя ни строчки, вся его успешная карьера зиждется на отполированной посредственности, умеренный блеск которой никогда не рисковал затмить кого-либо из тех, в чьей

¹ Сказал (лат.).

власти было помешать продвижению Рансе. И вот теперь, перевалив за пятьдесят, он — заведующий отделением Нантерского университета и, пожалуйста, не забывайте, что хотя Нантер и не Сорбонна, но все же и не какая-нибудь там провинция. Рансе жаждет стать членом Академии, получить ленточку Почетного легиона в петлицу, а пока суд да дело, не может устоять против соблазна рассматривать себя как некоего абсолютного монарха и поощряет восторженно-влюбленный подхалимаж, которому предаются честолобивые ассистенты и избранный круг студентов, все эти приемы для *harry few*¹, дни рождения у него на вилле в Сен-Клу, праздничные сборища, где он, восседая смиренно на низеньком пуфе в стиле Людовика XV в клубах воскуряемого ему фимиама, являет собой средоточие и алтарь культа.

— Интересно,— услышал он за собой звонкий голос.— Вы тоже ждете Рансе?

Дельмон обернулся. На него, чуть склонив голову и очаровательно улыбаясь, смотрела затуманенными голубыми очами Мари-Поль Лагардет, белокурая, длинноногая, изящная, с шарфом от Эрмеса на гибкой шее. По правде говоря, она смотрела так на всех своих коллег-мужчин. И все же Дельмону, хоть он и не обольщался, было это приятно. Ему стукнуло тридцать семь, он знал, что не слишком красив, и девушки не так уж часто старались ему понравиться. Но в то же время он незаметно приготовился оказать сопротивление. Даже у тех, кто был чувствителен к прелестям мадемуазель Лагардет, она слыла одним из столпов «интимного кружка».

— Он назначил мне встречу на восемь сорок пять,— сказал Дельмон.

— А мне на девять,— сказала Мари-Поль с грудным смехом, по-прежнему не отрывая от Дельмона своих ласковых затуманенных очей. Бедняга, говорят, не лишен способностей, но уж видик у него — лицо без возраста, пергаментная кожа, узкая грудь, черный плохо сшитый костюм.— Уже без пяти девять,— продолжала Мари-Поль дружеским, но деловым тоном,— а я, к несчастью, с девяти тридцати занята. Вы надолго его задержите?

— Ни в коем случае,— сказал Дельмон.

Он спрашивал себя, не намекает ли Лагардет, что он мог бы уступить ей очередь.

— Я тоже,— сказала Мари-Поль.— В сущности, у меня пятиминутный разговор, самое большее. Вы знаете,— продол-

¹ Немногих счастливцев (англ.).

жала она, с наивным видом поднимая брови и доверчиво глядя на Дельмона голубыми очами,— мой руководитель очень доволен тем, как продвигается диссертация, и он рассчитывает предложить Консультативному совету мою кандидатуру на пост штатного преподавателя, я пришла только попросить Рансе поддержать его предложение.

Она замолчала, по-прежнему не отрывая от Дельмона своего прозрачного взора. Вот видите, какова она: сама откровенность, сама непосредственность, ничего не таит. Она всегда говорит все, все. Дельмон опустил глаза, удивленный совпадением. Он был в том же положении, что Мари-Поль, и тоже пришел просить Рансе поддержать его кандидатуру на должность штатного преподавателя.

— Ну что же,— сказал он, делая усилие быть любезным,— я полагаю, Рансе даст вам зеленую улицу.

Он тут же упрекнул себя за эту услужливость. В плане профессиональном Лагардет ставилась другими ассистентами не очень-то высоко. Часто отсутствовала. Сказывалась больной в день экзаменов. Не слишком охотно брала на себя дополнительную нагрузку. Дельмон подумал: какая нелепая система! Почему вопросы продвижения должен решать Рансе единолично, а не преподаватели отделения все вместе? Кому о тебе судить, как не товарищам по работе?

— Совершенно не представляю себе, каковы мои шансы на успех,— сказала Мари-Поль, улыбаясь с очаровательной непосредственностью.— Думаю, что в целом Рансе мной доволен, но, в конце концов, я в Нантере всего два года.

— Но я тоже,— сказал Бельмон машинально.— С шестьдесят шестого.

— Правда? А я считала, вы раньше.

— Нет, нет,— сказал Дельмон.— Мы пришли в одно время, в октябре шестьдесят шестого.— Он задумчиво продолжал:— Вы полагаете, что в данном случае это может играть роль?

Мари-Поль поправила свой зеленый с золотом шарф.

— Не знаю,— сказала она все так же доверительно, по-прежнему не отрывая от Дельмона своих нежных простодушных глаз, точно собиралась с минуты на минуту совершенно ему открыться.— Видите ли,— продолжала она в новом приливе откровенности,— я сама задаю себе этот вопрос. Рансе может счесть, что двух лет ассистентства недостаточно, чтобы стать штатным преподавателем.

— Он вам что-нибудь говорил по этому поводу?— сказал Дельмон, стараясь не выказать своего страха.

— Нет. По правде говоря, ничего. Я просто задаю себе этот вопрос, и все.

— А, понятно,— с облегчением сказал Дельмон.

В голове Мари-Поль что-то щелкнуло, где то вспыхнул красный огонек, и, не переставая одарять Дельмона своим затуманенным взглядом, но успевая при этом окинуть быстрым взглядом студентов, которые проходили мимо по коридору или останавливались около доски объявлений, она подумала, да уж не метит ли случайно и он сам?

— Ну, а вы,— сказала она вкрадчиво.— Как ваша диссертация, двигается?

— Да, да,— сказал Дельмон, отворачиваясь.

— Начали уже писать?

— Да.

— О, я вами восхищаюсь,— сказала она, обращая к нему свое нежное лицо, точно она сама еще не написала ни строчки.— Сколько страниц?

— Да есть малая толика,— сказал Дельмон.

Она поправила шарф проверенным жестом. Недотепа, он выдал себя. Ему даже невдомек, что лучший способ что-нибудь скрыть — доверительность, откровенность и как можно больше деталей. Слегка склонившись к нему и самозабвенно пожирая его своими затуманенными очами, она колебалась, взвешивала. Если учесть то, что она сейчас узнала, не проиграет ли она, разговаривая с Рансе после Дельмона? Ведь число вакансий штатных преподавателей, в конце концов, ограничено.

В этот момент раскрылась дверь лифта, появился Рансе. Он вышел один, с портфелем в правой руке, остановился, откинул назад голову, обвел глазами Лагардет, Дельмона, студентов, столпившихся у доски объявлений. После этой торжественной паузы он вступил в свое отделение, как король в свое королевство. Это был человек среднего роста, подтянутый, без единого седого волоса, темно-каштановая шевелюра, жесткая и вьющаяся, окаймляла его изрезанное глубокими морщинами лицо с черными блестящими и беспокойными глазами, носом картошкой и большим толстогубым ртом; желтизна кожи, свойственная людям с больной печенью, неудачно подчеркивалась темно-коричневым костюмом и галстуком, выдержанным в тех же тонах. Едва завидев его, Лагардет без всякого предупреждения бросила Дельмона и кинулась к мэтру. Почтительно склонившись над ним (она была на полголовы выше), она стала торопливо говорить что-то, чего Дельмон не расслышал, меж тем как Рансе, величественный и благожелательный, одобрительно кивал, улыбаясь своим боль-

шим ртом. Прошло несколько секунд, потом Рансе неторопливо направился к своему кабинету, подталкиваемый неотступно следовавшей за ним Лагардет, которая склонялась над ним с гибкостью лианы.

— Здравствуйте, Дельмон,— сказал он, останавливаясь.

— Здравствуйте, господин профессор,— сказал Дельмон.

Этот ритуал стеснял его, он находил его нелепым.

— Я прошу у вас извинения за опоздание,— сказал Рансе, перекладывая портфель в левую руку и учтиво протягивая правую Дельмону.— Господин декан задержал меня. И поскольку я уже злоупотребил вашей любезностью, не позволите ли вы мне принять Мари-Поль перед вами? У нее в половине десятого важная встреча, и она обещала мне, что будет кратка.

Дельмон посмотрел на Лагардет, но встретиться с ней взглядом ему не удалось. Она была полностью поглощена тем, что изливала на Рансе волны нежности и обожания из своих затуманенных очей. Рансе, обволакиваемый этой лаской, впрочем, не обращал на знаки поклонения никакого внимания. Он глядел в пол, ожидая с вежливым терпением ответа Дельмона, точно у того был какой-то выбор.

— Разумеется, господин профессор,— сказал Дельмон несколько холодно.

Рансе повернулся на каблуках и решительным шагом вошел в свой кабинет, Лагардет, согнувшись пополам, проследовала за ним.

— Как дела, старик? — сказал Даниель своим громовым голосом, надвигаясь тяжелым шагом на Дельмона из глубин коридора и протягивая ему свою широкую лапу.

Дельмон улыбнулся и дружески пожал ее. Внешность Даниеля совершенно не соответствовала его истинной сущности. Его голова финансовой акулы была устремлена вперед, тяжесть мясистого лица подчеркивал длинный крючковатый нос скупца, а между тем Даниель был на редкость бескорыстен, начисто чужд карьеристских помыслов и настолько презирал комфорт потребительского общества, что у него не было даже своей машины,— он приезжал в Нантер на метро, на поезде, в восторге от того, что может, по его словам, спокойно почитать.

— Плохо,— сказал Дельмон,— у меня была назначена встреча с Рансе, но Лагардет пролезла без очереди.

— Берегись Лагардет! — прогремел Даниель мелодраматическим басом.— Знаешь, как я ее называю? — продолжал он доверительным шепотом, слышимым за двадцать метров: — Энзима!

Он громко захохотал. Дельмон глядел на него, не понимая.

— Энзима?

— Ну да, энзима, знаешь та, которая пожирает всю дрянь.— Он опять расхохотался, но вдруг затих. Он заметил напряженный и озабоченный вид Дельмона, взял его под руку и сказал на этот раз действительно тихо: — Старик, если тебе нужно чего-нибудь добиться от Рансе, действуй осторожно. Он на пределе. Взвинчен до последней степени. Травмирован «событиями».

— Будешь травмирован, если даже не пытаешься понять.

— О-о! — сказал Даниель. — Подозреваю, что ты неблагонадежен. Кто знает, уж не связан ли ты втайне с одной из пяти группок, которые подрывают основы?

— Их пять? — сказал Дельмон. — Так много?

— А архи, троцкисты, прокитайцы.

— Пока всего три.

— Нет, пять, — сказал Даниель с компетентным видом. — Потому что существуют две враждующие между собой троцкистские группы и две прокитайские, готовые сожрать друг друга. Коммунистов я, разумеется, здесь не касаюсь, — продолжал Даниель с иронической улыбкой. — Это люди солидные, положительные, уважающие порядок.

— В сущности, я мало что знаю обо всех этих группках, — сказал Дельмон все также серьезно. — Но официальная политика по отношению к ним мне представляется безумием. Помоему, подавлять студенческое движение — значит загонять болезнь внутрь, вместо того чтобы взглянуть правде в лицо.

— И ты рассчитываешь высказать это Рансе?

— Почему бы и нет, если он спросит мое мнение? Я предполагаю, что Рансе способен на разумную дискуссию.

— Это еще неизвестно! — воскликнул Даниель, выставляя вперед свой длинный мясистый нос. — Ты, старик, не отдаешь себе отчета, время разумных доводов миновало. Профы в жуткой панике. Раздраженный обмен информацией. Массированный взаимный телефонаж. Мстительные резолюции. Декан, критикуемый за мягкость. «Декан, — публично заявил профессор Витрак, — утверждает, что он поставил паруса по ветру, но на самом деле он отступает!» Впрочем, — добавил Даниель, смеясь, — метафоры Витрака неточны — флот никогда не отступает, он просто уходит от непогоды.

Дверь кабинета Рансе отворилась и, пятясь задом, часто кивая, появилась Лагардет, потом после особенно низкого поклона она изящно повернулась на каблуках и, не замечая Дельмона, возведя очи горе и излучая сияние, полетела к

лифту. Зеленый с золотом шарф развевался за ее спиной как знамя.

— Входите, Дельмон,— сказал Рансе с видом человека, которому чрезвычайно некогда.— Вы на меня не будете в обиде, если наш разговор придется несколько сократить. Садитесь, прошу вас. Признаюсь вам, я очень озабочен событиями.— Он провел ладонью по лицу.— Вчера вечером я видел декана,— продолжал он, забыв, что раньше, извиняясь за опоздание, сказал, что встретился с деканом сегодня утром.— Он произвел на меня впечатление человека совершенно растерявшегося. «У меня нет средств,— сказал он мне,— чтобы обуздать этих хулиганов». (Дельмон дернулся.) Нет средств? Но у нас есть два средства,— продолжал Рансе, опустив кулаки на стол.— Примо, закрыть Факультет, секундо, исключить этих бешеных. Какого черта,— продолжал он, нахмутив брови,— давно пора действовать! Если мы будем попустительствовать, они в один прекрасный день явятся сюда, займут наши кабинеты, экспроприруют наши телефоны и загадят наши архивы.

Он обвел глазами комнату, и Дельмон проследил за его взглядом. Особенно кичиться было нечем. Конечно, здесь было не так пыльно и серо, как в кабинетах профов в Сорбонне. Но псевдороскошь мебелировки наводила уныние. Стол и книжный шкаф под красное дерево, кресла, обтянутые эрзац-кожей, пол под мрамор. Но Рансе, очевидно, комната нравилась, и сама по себе и, в еще большей степени, как символ его достоинства. На кабинет ведь мог претендовать только заведующий отделением. Профессорам и доцентам кафедры, читавшим курс, приходилось довольствоваться одним кабинетом на двоих, а те и на троих. Что до ассистентов, то у них вообще была одна комната на тридцать человек.

Глаза Рансе пылали злобой и ненавистью. Накануне четверо этих «хулиганов» заявили перед его лекцией в большую аудиторию Б и потребовали у него, Рансе, микрофон, чтобы обратиться к студентам со своими призывами; когда же он отказался, они обозвали его «реаком» и ископаемым. В этом не было ничего из ряда вон выходящего, полдюжины профов в Нантере могли бы пожаловаться на то же самое, но Рансе не понимал, как подобная вещь могла случиться с ним, Рансе. Закончив свою историю, он принялся излагать все вновь, с самого начала, в тех же словах, но с еще большей страстью, точно его возмущение не только не утихло после первого рассказа о событиях, но, напротив, еще распалилось, подогретое им. Слушая Рансе, Дельмон отмечал и желтоватый цвет его лица, и беспокойство в черных блестящих глазах, и дрожание щек, и

лихорадочное подергивание губ. Можно, конечно, искать объяснения в том, что Рансе одержим манией преследования, что он слишком сосредоточен на себе, что гнев и ненависть заставляют его без конца пережевывать нанесенное ему «оскорбление». Под таким углом зрения все эти подлизы и подхалимы, которыми он окружил себя, представляются щитом, предназначенным для превентивной защиты чересчур уязвимо-го «я». Объяснение, возможно, и разумное, однако, удовлетворившись им, неизбежно впадаешь в упрощенный психологизм американского толка. Если сводить все к индивидуальным комплексам, остаются в стороне весьма опасные проблемы, в том числе, разумеется, и политические, по зато никого не задеваешь. Удобно, однако трусливо. Существует, конечно, некий «медицинский случай Рансе», но не надо лицемерить, у «случая Рансе» есть своя политическая подоплека: что, в сущности, означает отказ предоставить микрофон студентам, которые хотят сделать объявление перед лекцией? Это означает: микро принадлежит мне, аудитория принадлежит мне, Фак создан для профов, а не для студентов. А у вас есть одно право — слушать. Это, конечно, позиция реакционера, даже если «хулиганы» проявили невоспитанность, обозвав так Рансе.

— Таково элементарное требование здравого смысла. — заключил Рансе, и Дельмон с изумлением поймал себя на том, что уже несколько минут его не слушает.

Наступило молчание.

— Вы согласны? — сказал Рансе не без удивления.

— Разумеется, — сказал Дельмон.

И тотчас же ощутил стыд и злость. Рансе заставил его прождать полчаса. Принял без очереди Лагардет. Сразу же заявил, что сможет уделить ему всего несколько минут. И эти несколько минут он тратит не на то, чтобы его выслушать, а на изложение своих личных взглядов. И еще ждет, что Дельмон их разделит.

— Ну-с, мой дорогой Дельмон, чем могу вам служить? — сказал Рансе благожелательным тоном.

На мгновение Дельмон замялся. Он чувствовал, что Даниель прав, спорить с Рансе бесполезно, но, с другой стороны, согласиться, промолчать? Перед ним было два выхода, оба никуда не годились.

— Если разрешите, господин профессор, — сказал он неуверенным голосом, — мне хотелось бы продолжить свою мысль.

Решение было принято почти помимо его воли, и теперь, закусив удила, он испытал живейшее облегчение.

— Пожалуйста, прошу вас,— вежливо сказал Рансе.

Но тень недоверия уже мелькнула в его глазах.

— Я нахожу недопустимым,— сказал Дельмон, стараясь говорить твердо,— что небольшая группа студентов пытается сорвать экзамены...

— Но?— сказал Рансе отчужденно.

— Но я решительно против предполагаемых репрессивных мер. На мой взгляд...

— Вы себе противоречите!— с живостью оборвал его Рансе.

— Позвольте мне закончить,— сказал Дельмон, голос которого был тверд, хотя губы немного дрожали.— На мой взгляд, студенческое движение, несмотря на все перехлесты, свидетельствует о наличии серьезного кризиса самой структуры университета. Этого кризиса мы не разрешим никакими санкциями против студентов. Необходимо решиться, наконец, на настоящий диалог с ними.

— Как!— сказал Рансе, сверкая глазами.— Но мы еще в ноябре пытались завязать этот диалог! Мы создали на каждом отделении объединенные комитеты! Но ваши бешеные их отвергли.

«Ваши» бешеные. Дельмон вовсе не одобрял их, но раз он не высказал решительного осуждения, значит, он и сам того же поля ягода. Логика страстей, недобросовестность, амальгама. Вот до чего мы дошли.

— О,— сказал он, пытаясь улыбнуться,— уж эти мне комитеты ноября 67-го! Никто их даже не принял всерьез. Вы знаете, как метко выразился господин ассессор Боже: «В этих комитетах можно обсуждать все, поскольку решать нельзя ничего».

— Так, так,— с яростью сказал Рансе,— право же, Дельмон, я вас просто не узнаю. Я так же, как и вы, сторонник реформ, но не станем же мы все-таки приглашать этих господ на заседания нашего Совета, не станем же мы руководить вместе с ними Факультетом или, кто знает, сообща избирать своих будущих коллег...

Дельмон раскрыл рот, но спохватился и промолчал. Ну, разумеется, на реформы мы согласны, только наши привилегии должны остаться неприкосновенными.

Рансе взглянул на часы.

— Вы извините меня за невозможность продолжить этот увлекательный диалог, поскольку диалог, как видите, начат,— добавил он с язвительным благодушием, но право же, сегодня...

И он с усталой учтивостью указал на разложенные бумаги.

Дельмон уставился в пол, ему было противно. Рансе сам завел этот разговор о «событиях», а теперь как бы упрекает его, что он не сразу приступил к делу.

— Я изложу свою просьбу в двух словах,— сказал Дельмон, стараясь соблюсти почтительный тон.— Исходя из того, что моя диссертация успешно продвигается, мой руководитель любезно уведомил меня, что собирается предложить Консультативному комитету мою кандидатуру на пост штатного преподавателя. Но, как вы знаете, его намерение не может увенчаться успехом без вашей поддержки.

Рансе сидел, положив ладони на стол, опустив глаза, лицо его ничего не выражало. Через некоторое время, показавшееся Дельмону нескончаемым, он поднял на него взор, исполненный благожелательства.

— Ну что ж, мой дорогой Дельмон, как долго вы работаете с нами в Нантере?

Рансе похвалялся, что у него безупречная память, и вопрос удивил Дельмона.

— С октября 66-го, господин профессор.

На лице Рансе изобразилось крайнее огорчение. Это выражение появилось настолько быстро, что, как показалось Дельмону, оно даже опередило его ответ.

— Именно так я и думал,— сказал Рансе, покачив головой,— у вас всего два года стажа. Это, к сожалению, лишает меня возможности предложить вашу кандидатуру.

Они помолчали. Дельмон проглотил слюну и сказал, сделав над собой усилие:

— Я не знал, что существует такое правило.

— О, правило, это слишком сильно сказано! Вы же знаете, что мы в университете руководствуемся главным образом обычаями. Заведующий отделением юридически ведь вообще не существует. На бумаге такой должности нет. Нет, и все. Юридически, дорогой мой Дельмон,— добавил он, разводя руками и растягивая в добродушной улыбке свой толстый рот,— у меня нет никаких прав, даже права поддержать ваше назначение.

Они помолчали.

— Но если в отношении двух лет стажа речь идет только об обычае,— сказал Дельмон неуверенно,— нельзя ли...

— Его нарушить? — сказал с улыбкой Рансе.— Как вы, однако, скоры, мой дорогой Дельмон! Разрешите мне заметить, что в вас нет административной жилки. Чтобы существовать, каждый организм нуждается в правилах, будь то писанные законы или просто обычаи. Куда мы придем, если бу-

дем постоянно ставить все под сомнение? Не можем же мы существовать в состоянии непрерывного протеста. Это было бы смерти подобно.

Дельмон опустил глаза и положил ногу на ногу. «Протест» подвернулся ему на язык не случайно. Молчание затягивалось, он взглянул на Рансе. Тот неподвижно сидел за своим столом, уставясь в бумаги. Вид у него был самоуверенный и благодушный — феодал в своем уделе. Даже доброта была как бы частью его господской власти — он мог позволить себе и эту роскошь. Все принадлежало ему: бумаги, стол, кабинет, отделение.

Дельмон встал. Как всегда, получая отказ, он ощущал неловкость за отказавшего, не за себя.

— Ну что ж,— сказал он,— мне остается только попросить извинения за то, что я злоупотребил вашим временем.

— Ну что вы, несколько,— сказал Рансе, в свою очередь вставая.— Поверьте, я крайне огорчен, что в этом году не могу ничего для вас сделать. Тем более,— добавил он, дотронувшись на секунду до руки Дельмона,— что я весьма удовлетворен вашей работой в отделении. Как по количеству,— он отворил дверь,— так и по качеству.— Он отступил в сторону, пропуская Дельмона.

Дельмон ровным шагом подошел к лифту, нажал кнопку. В голове у него была полная пустота.

На первом этаже, минуту поколебавшись, он направился в кафетерий, нужно выпить чего-нибудь горячего. Его мучило ощущение полного краха, он боролся с этим чувством, и мучительней всего была именно эта борьба. Глупо, ведь, в сущности, он ничего не потерял. Штатный преподаватель — это же не степень, просто более прочное место. Гарантия, что, если он через шесть лет не закончит своей диссертации, его не отправят преподавать в лицей. В конце концов плевать мне на это. Через четыре года и закончу диссертацию, и неплохую. Дельмон негромко, но с яростью повторил: «Плевать мне на это» — и направился быстрым шагом к кафетерию, внезапно ощутив, что ему до боли трудно дышать и что ладони его влажны от пота.

Перед входом в кафетерий он заметил Лагардет, болтавшую с одним из ассистентов. Гибкая, как выюнок, Лагардет любезничала, грозя в любую минуту оплести своего собеседника.

— Дельмон встретился с ней взглядом и задержался.

— Ну как,— сказал он, выдавливая из себя улыбку,— добились ли вы своего от Рансе?

Лагардет поправила зеленый с золотом шарф и посмотрела на Дельмона своими нежными очами:

— Конечно,— сказала она грудным голосом.— Все прошло как по маслу.

III

Декан Граппен — среднего роста, широкоплечий, с крупным лицом, седеющими выющимися волосами, усталым взглядом голубых глаз за стеклами очков — толкнул стеклянную дверь третьего этажа административной башни. Он был (вместе с Полем Рикером и Софи Лаффит) одним из тех трех профессоров Сорбонны, которые отряхнули в 64 году со своих ног прах *Alma mater*, уверовав в будущее нового факультета, пусть он и утопал пока в грязи промышленного предместья.

По другую сторону стеклянной двери, в просторном вестибюле с двумя огромными, во всю ширину стены, окнами, одно против другого, у своего крохотного столика телефоном, расположенного с точным стратегическим расчетом у самого прохода, который вел к кабинету шефа, сидел служащий, бездельничающий, но бдящий. Он тупо глядел серым от скуки взглядом на пустые бирюзовые кресла, дремавшие на светло-сером бобрике. Он уже полил, соблюдая все предосторожности, гигантский, невероятно разросшийся и раскинувшийся за его спиной свои нежно-зеленые кружева папоротник, который вносил в безмолвное существование служащего ощущение покоя, и теперь ждал, положив перед собой блокнот с записью встреч, назначенных деканом. Его обязанности состояли в том, чтобы ждать — ждать молча, глядя ничего не выражающими глазами на посетителей, но в данную минуту было еще слишком рано, и бирюзовые кресла тоже ждали своей ежедневной порции ягодиц, нетерпеливых, требовательных или парализованных почтительным трепетом. Стеклянная дверь отворилась, служащий повернулся с профессиональной бдительностью, это был декан, он встал: «Здравствуйте». — «Здравствуйте», — сказал декан, протягивая ему рассеянную и демократическую руку. Усталый взгляд за стеклами очков остановился на огромном ветвящемся папоротнике — он благоденствует, пусть хоть он благоденствует среди всей этой бесконечной неразберихи. Повернувшись на каблуках и оттягивая до последней возможности момент, когда он войдет в свой кабинет, Граппен приблизился к окну, выходящему на корпус В, на сверкающий бассейн, торжественно открытый в январе Миссофом, на отвратительные грязно-

желтые кирпичные ангары, остатки немецкой оккупации. Перед ним у окна на столике под красное дерево гордо возвышался покрытый прозрачным пластиковым колпаком макет Нантерского филологического факультета в его завершенном виде. Макет стоял здесь с 1964 года, отделанный до последнего окошечка, — военные ангары были пророчески снесены, газоны ухожены, деревья, достигшие полного роста (они до сих пор не были посажены), подстрижены, — чудом отгороженный своим стерилизующим пластиковым колпаком от серости окружающих стандартных жилых массивов, железнодорожных путей и бидонвилей, избавленный от грязи, шума, стройки, от студентов-революционеров — этим-то и объяснялся его безмятежный вид: по сути дела, студентов в нем вообще не было, не было ни университетского общежития, также оставшегося вместе со своими неразрешимыми проблемами за пределами целлофанового колпака, ни даже, как это ни невероятно, — библиотеки. Теперь, через четыре года после открытия Фака, его строения выбирались из грязи, точно укоря строителей, просто неслыханно, никогда еще не было университета, спроектированного без книгохранилища. Беспорядок начался с проекта.

Декан Граппен обернулся к служителю и каким-то деревянным голосом бросил:

— Позвоните электрикам и спросите их; почему они упорно оставляют без света мою уборную. — Он говорил отрывисто, с бесконечной усталостью и сухой иронией в голосе. В уборной нет даже выключателя, абсурдная архитектурная заумь, поклонение электрическому телеуправлению, якобы более экономичному, а я вынужден мыть руки в темноте.

— Да, господин декан, — сказал служитель без всякой уверенности; он уже пытался говорить с электриками, но они только кормили его обещаниями, проявляя непонятную враждебность к освещению деканского клозета, а может быть, это освещение вообще не было предусмотрено проектом? Граппен быстрым шагом вошел в свой кабинет, на столе лежала гора почты, он сел, ощущая свое бессилие. Как далек уже тот первый, лучший, самый приятный, самый полезный год в Нантере: две тысячи студентов, пятнадцать профессоров, шестьдесят ассистентов — некая единица, поддающаяся управлению. Что-то создавалось, творилось, двигалось вперед. В ноябре 67-го, три года спустя, от этого ничего не осталось: двенадцать тысяч студентов, зал Ученого совета, не вмещающий уже всех профессоров, две сотни ассистентов, из которых я не знаю и половины, массовое предприятие, машина, слишком громоздкая, чтобы она могла работать четко. Подлинные про-

блемы от меня ускользают, я захлебываюсь в текучке, и вынужден администрировать, не имея непосредственных контактов, утратив конкретное представление о том, что происходит. Нантер сорбоннизируется, и так быстро, так быстро, что это просто пугает...

Декан заметил, что машинально отодвигает от себя правой рукой груды писем, ждавших ответа, этот символ сизифова труда. Мелочи, парализующий бумажный поток, текучка, человеческие проблемы, утонувшие в проблемах административных, двенадцать тысяч студентов, такой массой вообще невозможно управлять, а тут еще революционный хмель, который ее баламутит; он увидел вновь, как его окружает в холле башни ревушая толпа, потрясающая плакатами и ножками разнесенных в щепу скамей, толпа, охваченная яростным духом разрушения и поношения. «Легавый! Наци!» — «Наци», должен сказать, мне особенно пришлось по вкусу. Министерство, которое мечется между суровостью и снисходительностью, я сам, располагающий «властью, неопределенной по самой своей сути» (Кто это сказал? Не Монтень ли?), правящий, но не имеющий средств управлять, и это чувство беспомощности, безоружности перед бунтом. В сущности, этот бунт с каждым днем набирает силы, становится организованней, охватывает все более широкий круг, сейчас уже нельзя говорить об отдельных группках. Какая ошибка, что общежитие разместили тут же на территории Факультета, среди этой индустриальной пустыни, вокруг нет ничего живого, никаких отвлекающих контактов с городской средой. Все, что кипит и бродит в общежитии, тотчас перекидывается на Факультет; они совершенно зарвались, перешли все границы, они хотят парализовать весь механизм, ни больше ни меньше, срывают лекции, фрондируют, дерзят профессорам, оккупируют аудитории. А теперь — их последняя находка, этот грандиозный план, это последнее слово саморазрушительной ярости — декларированное во всеуслышание намерение сорвать июньскую экзаменационную сессию. Декан сплел пальцы и с силой сжал руки, поглядел, не видя, на два пустых кресла, стоявшие у его стола, и подумал: нет, так дальше невозможно, нужно что-то предпринять, этого допустить нельзя.

IV

Студенты Левассера гурьбой вошли вслед за ним в маленькую аудиторию. Яркий свет падал через широкое окно, занимавшее всю длинную стену прямоугольника и выходившее на

бескрайнюю индустриальную равнину, которая тянулась до большой петли Сены. Сама Сена видна не была, но, возможно, о ее близости свидетельствовала стена темных деревьев на горизонте. Железнодорожных путей тоже видно не было, однако время от времени слышались гудки паровозов. Жаклин Кавайон села в шестом ряду, рядом с ней было свободное место, и она улыбнулась Менестрелю, который вошел с раздосадованным видом, зажав под мышкой свои конспекты и книгу (портфели были у студентов не в чести, а папки, считалось, приличествовали только девочкам). Но он положил свои вещи во втором ряду, у прохода. Он хотел по окончании семинара выскочить первым, чтобы захватить место в читалке. Сняв твидовый пиджак, он аккуратно повесил его на спинку стула и бросил взгляд на соседку слева, блондинку с длинными, прямыми и блестящими волосами, свисавшими вдоль щек, однако она, надежно защищенная своим волосным занавесом, не обернулась и не ответила на его взгляд. Менестрель недовольно подумал, до чего они умеют быть высокомерными, эти девчонки. Даже вот Даниель Торонто только что. Вошел Бушют, сонный и круглый, осторожно неся перед собой картонный стаканчик. Он сел в шестой ряд около Жаклин Кавайон, которая едва ответила на его приветствие: она не любила Бушюта, от него пахло потом, невымытыми ногами, и вид у него всегда был какой-то снулый. Когда он повернулся в ее сторону, она скользнула по нему быстрым взглядом. Под зрачком у Бушюта оставалась широкая полоса белка, потому и казалось, что он вечно дремлет. Зато тяжелое верхнее веко было опущено так низко, что скрывало часть радужной оболочки.

Поставив локти⁴ на стол, Жаклин пригладила длинными белыми руками свои черные волосы по обе стороны прямого пробора. Она причесывалась на славянский манер, чтобы выгодно подчеркнуть свои глаза; да, ничего не скажешь, о них я забочусь, выставляю напоказ, они того стоят. Жаль, что лицо у меня круглое, мне хотелось бы быть похожей на Людмилу Черину (она втянула щеки), но, как я ни морю себя голодом, ничего не могу поделать с этой грудью и бедрами, со всей этой идиотской женственностью. Господи, сделай, чтоб я стала плоской, чтоб у меня запали щеки, чтобы у меня был чахоточный вид. Она оглядела свое платье, черное, прямое, много выше колен; оно мне нравится, оно худит, я похожа на принца Гамлета, помню, когда я принесла его, мама воздела свои короткие ручки и принялась квохтать, как чокнутая: «Боже мой! Какой ужас! Мини-юбка и вдобавок черная! Но почему чер-

ная? Словно ты в трауре!» Нужно было ей сказать: да, мама, я ношу траур, и ношу траур, как Гамлет, траур по умному отцу, который мог бы у меня быть вместо этого старого маразматика, развалившегося в кресле со своим пузом, своей трубкой, своей лысиной и своей «Автогазетой»...

Я живу в вечном страхе, что буду похожа на собственных родителей. Папа — тот хоть молчит. Но мама только и знает, что чирикать и кудахтать, мечется по всей квартире, воздевая ручки, ее так и распирает от нездорового жира и словесного недержания, зануда, вечно пристаёт, fussy, суетлива, как говорят англичане, и ничтожна. Ах, как хорошо, что я, наконец, набралась мужества и бросила их, переселилась в общагу, вообще-то, они ничего, мои предки, но угнетают, сковывают, допрашивают. Так и будешь старой девой век вековать, живя с папочкой и мамочкой, или выйдешь замуж, как мама, в тридцать лет! «Я была вознаграждена за все, доченька, за все мое долгое ожидание. Ты подумай только, человек с дипломом Политехнического, разве есть что-нибудь выше». Господи, бедная мама, какая же ты дура! Столько шуму из-за какой-то ерунды. С ума сойдешь от этих стариков. По-моему, заниматься любовью надо, как воду пьешь. Ее черные блестящие глаза остановились на спине Менестреля — какие красивые волосы и какими жадными глазами он смотрит на эту плакучую иву слева от себя, у него вид жеребенка, отбившегося от стада. Кстати, достаточно ли он опытен? Надо все же, чтобы хоть один из двух что-нибудь соображал, потому что я, с моим идиотским воспитанием, с этим заранее продуманным неведением, в котором меня держали, запретами и предрассудками, с мамиными кудах-тах-тах и катехизисом монахинь, — я в итоге ровным счетом ничего не знаю, нуль. В каком мире я жила, бог мой!

Левассер поднял правую руку, наступила относительная тишина, и Даниель Торонто начала говорить.

Менестрель забыл свою обиду. Даниель, бледная, еле слышным голосом читала, запинаясь, свой текст, уткнув глаза в бумажку. В аудитории зашептались. Кто-то крикнул: «Громче!» Менестрель зашипел: «Т-с-с» — и недовольно оглянулся. Левассер мягко сказал:

— Мадемуазель, вас не слышно, постарайтесь говорить громче.

Даниель остановилась и вдруг умолкла, казалось, она сейчас упадет в обморок, потом понемногу краски вернулись на ее лицо, и она заговорила снова, гораздо громче, но торопли-

во, слишком торопливо, невыразительным, механическим, безжизненным голосом, не отрывая глаз от своего конспекта, ни разу даже не взглянув на слушателей. Менестрель снял колпачок с ручки и стал записывать. В то же мгновение его соседка махнула головой вправо, откинув на затылок занавесу белокурых волос, и быстрым взглядом оглядела Менестреля. Когда он поднял голову, порядок был уже восстановлен, непроницаемый занавес снова опущен, так что виден был только профиль, старательно склоненный над роскошной тетрадью для записей. Менестрель положил самописку: невозможно, она говорит слишком быстро, половины не уловить, внимание его рассеялось, и он посмотрел на профа.

Левассер слыл сухарем, однако по отношению к Даниель он держался более чем корректно, он был внимателен, не выражал ни недовольства, ни нетерпения. В сущности, о профе можно судить еще до того, как он откроет рот, по манере, с какой он слушает студента, плавающего перед ним. Есть профы важные, сидят, точно в суде председательствуют. Дурно воспитанный проф разваливается в своем кресле, зевая от скуки, глядит в потолок и ковыряет в носу. Проф-комедиант не перестает улыбаться с тонким видом, гримасничает, поднимает брови. Проф-псих и крикун то и дело что-то яростно записывает, но потом почти не говорит, не обобщает. Существует даже проф-охальник, который разглядывает сидящую с ним рядом студентку, точно она продажная девка или он сам — сеньор, располагающий правом первой ночи; ходит даже слух, что Бальза, на юрфаке, забавлялся во время доклада одной девочки тем, что открывал и закрывал молнию у нее на юбке, а она не смеет протестовать, боясь, что он провалит ее на июньской сессии.

Когда разбор текста был окончен, Левассер разрешил Даниель Торонто вернуться на свое место. Он слегка покритиковал ее. Анализ неплохо построен, план вполне приемлем, в том, что она говорила, немало верного. Жаль, однако, что она читала по бумажке. Тут Левассер резким движением вытянул один за другим манжеты своей сорочки, этот жест соответствовал у него жесту рабочего, засучивающего рукава: теперь он приступает к делу и будет говорить сам. Перо Менестреля опустилось на лист бумаги в клеточку и замерло в жадной неподвижности. В аудитории наступила тишина, отдалились и стали неслышными звуки шагов в коридоре, только те, ни проходивших скользили по матовым стеклам дверей. Левассер заговорил. Он хорошо знал Руссо, проштудировал и разнес на карточки критические работы о нем, был убежден в

том, что говорил, — ненавижу всю эту пустопорожнюю литературоведческую болтовню и жаргон эстетической критики, дайте мне в руки текст, я его мигом раскушу и выжму из него весь сок.

Накануне Левассер прорепетировал свой анализ текста перед магнитофоном, чтобы на занятии не заглядывать в конспект и видеть слушателей. И теперь, говоря, он испытывал живейшее удовольствие. Отличная работа, план крепко сбит, переходы остроумны, не оставлено ни одного темного угла и закоулка, есть даже небольшие открытия — впрочем, в литературной критике никогда нельзя быть ни в чем уверенным — Левассер мысленно брал слово «открытия» в кавычки. И главное, ему удалось вступить в контакт со своими студентами, на повороте одной фразы точно что-то замкнулось, и внезапно тишина стала активной, обострилось внимание, оживились взгляды.

Менестрель записывал подробно, ему это нравилось, возникало ощущение, что двигаешься вперед. Левассер говорил вещи, о которых Менестрель думал и сам, но не додумывал до конца, не облакал в такую форму. Взгляд Левассера бежал аудитории. Он сделал короткую паузу и сказал:

— Существует мнение, что Жан-Жак Руссо ошибался и считал, что госпожа де Варанс холодна, потому что сам был недостаточно пылок. Следует относиться с осторожностью к такого рода толкованиям. Следует относиться с осторожностью также и к тому толкованию событий, которое дает сам Жан-Жак. Разве не очевидно, что он слишком настойчиво подчеркивает как отсутствие домогательств со своей стороны, так и холодность госпожи де Варанс? Если Жан-Жак совершенно не ощущал влечения, а госпожа де Варанс была совершенно бесчувственна, возникает вопрос, каким же чудом они стали любовниками?

Послышался смех, Менестрель торопливо записал: «Если Р.— отсут. влеч., а В.— фриг., акт — чуду».

Жаклин Кавайон рассмеялась и посмотрела на Левассера. Он, в сущности, недурен, довольно высок, всегда тщательно одет, взгляд живой, любит девочек, нередко после лекций отвозит в своей машине какую-нибудь студентку в Париж. Может быть и стоило бы, не сегодня, конечно; ему по меньшей мере сорок, но я, в сущности, ничего не имею против стариков, напротив, усталое лицо, морщины у глаз, седеющие виски, все это придает какую-то значительность, внушает доверие, думаю, я обожала бы сидеть на коленях у мужчин таких лет, а он ласкал бы меня, вертел, словно куколку, снисходи-

тельно глядя своими глазами в морщинках. Бушют наклонился и, спрятавшись за спину сидевшего перед ним студента, поднес картонный стаканчик к губам, выпил остатки кофе; все эти рассуждения о Варанс и Руссо его не трогали — гипотезы, догадки, ничего определенного. У Бушюта была склонность к строгим выводам, точным доказательствам. К несчастью, у него не было математических способностей. Смирясь, он подумал: мои дарования не совпадают с моими склонностями, с грустью поглядел на пустой стаканчик, прикрыл наполовину глаза и почувствовал, что не прочь вздремнуть.

— Не дадим усыпить нашу бдительность,— продолжал Левассер.— Стоит сказать «я», ложь тут как тут. Стоит заговорить о себе, начинаются истолкования. Стоит приступить к исповеди, вторгается вымысел. (Левассер был весьма доволен тремя последними фразами, но, произнося их, намеренно запинался, как бы подыскивая нужное слово, чтобы они не выглядели чересчур гладкими.) В действительности Жан-Жак боится. Он сохранил нежную привязанность к госпоже де Варанс, уважение к ней, он хотел бы внушить это уважение и нам. И он боится, что это ему не удастся, потому что, в конце концов, взглянем фактам в лицо. Перед нами молодая мама, слывающая добродетельной, которая под собственной крышей одаряет благосклонностью в равной мере садовника и приемного сына. Не подумаем ли мы о ней дурно? «Нет, я вас умоляю,— говорит Жан-Жак,— не судите сурово «маменьку», видимость обманчива. На самом деле у нее был «ледяной темперамент», она отдалась мне из чувства долга». Фарисейство? (Левассер сделал паузу.) Нет. Шедевр недобросовестности, вдохновленной нежностью. Руссо отлично сознает, насколько неблагоприятно поведение госпожи де Варанс, но, вспоминая о ней через столько лет с волнением и благодарностью, он готов сказать, что она фригидна, только бы не признать ее распутной.

У Даниель Торонто стоял комок в горле, щеки пылали, она старательно конспектировала; чувствуя себя совершенно разбитой, точно ее публично высекли. На устном я провалюсь как пить дать. Здесь у нее еще были записи, а на экзамене придется после пятнадцатиминутной подготовки говорить с глазу на глаз с профом, она слова из себя не выдавит. Она приложила руку ко лбу, прикрывая глаза, у нее выступили слезы, наглость, пресловутая еврейская наглость, хоть бы чуточку ее досталось на мою долю.

— Это подводит меня,— сказал Левассер,— к вопросу о стиле.

Менестрель раздраженно положил самописку на стол. Перрен уже посвятил целую лекцию стилю Руссо. Просто зло берет, никакой координации между общим курсом профа и семинаром ассистента. Он опустил глаза на свои заметки. Через минуту строчки расплылись. Менестрель-Руссо прогуливался под зеленой сенью из Эрмитажа в Обон под руку с прекрасной госпожой Удето. Он срывал платочек, прикрывающий грудь, осыпал ее поцелуями. Менестрель далеко ни во всем походил на Руссо, он тоже был гениален, но отнюдь не так смешон. Он, например, совершенно не нуждался в катетре, чтобы помочиться, умел танцевать, отлично владел оружием и, имея дело с особами прекрасного пола, не ограничивался тем, что проливал слезы, припав к их коленям. Итак, он увлекает госпожу Удето в рощу, срывает платье с фижмами и тут же на траве упивается блаженством. Однако вдруг, откуда ни возьмись, появляется Гримм, глядит своими мутными выпученными глазами на обнаженную Удето и вместо того, чтобы удалиться, как положено человеку благородному, позволяет себе грубо ее лорнировать, не произнося при этом ни слова. Нет, это уж слишком, Менестрель выхватывает шпагу.

— Не можешь ли ты дать мне свои конспекты последнего семинара? — сказала Жаклин Кавайон.

Менестрель вдруг увидел стену, на которую были слепо устремлены его глаза, Левассера, застегивающего у стола портфель, услышал гул, означавший, что семинар окончен, поднял голову и посмотрел на Жаклин. Она тотчас улыбнулась ему, ее плотное, тяжеловатое тело было неподвижно, но черные сверкающие глаза обволокли его теплым светом — так бескрылая самка светляка приманивает во мраке крылатого самца. Жаклин стояла перед ним, опершись бедром о край его стола, и так как Менестрель все еще сидел, ее глаза, продолговатые, как полумесяцы, изливали на него сверху вниз волны мягкого света. Время от времени она хлопала черными ресницами, длинными и густыми, прикрывая и открывая, подобно маяку, пучок лучей, направленный в его сторону с невероятной интенсивностью биологического призыва. Менестрель, как замороженный, глядел в блестящие зрачки. Он не мог выговорить ни слова, он еще не опомнился от своего свидания с госпожой Удето, и вдруг его, взмокнувшего и трепещущего, поймал этот взгляд, который был как бы продолжением той встречи. Через минуту ему удалось отвести глаза, он проглотил слюну и сказал беззвучным голосом:

— У меня нет их с собой, я принесу тебе завтра на лекцию Перрена.

Менестрель уже час сидел в читалке над анализом старофранцузского текста, заданным Лезеном. Первое разочарование: немецкие книги, которые рекомендовал Лезен, оказались на руках. У кого? У самого Лезена, разумеется. Профы и ассистенты, готовясь к своим лекциям, снимают все сливки, а студентам ни фи́га не остается. Менестрель располагал всего двумя справочными изданиями — маленьким этимологическим сборником какого-то Стапперса, без года издания, но наверняка очень старым, поскольку он достался Менестрелю от отца, и не менее устаревшим словарем Грансэнь д'Отрива, который он купил сам на набережной и который был напечатан на какой-то желтоватой шершавой клочетной бумаге. Любопытно, что для изучения старофранцузского приходится прибегать к немецким пособиям. Менестрель выпрямился, сделал глубокий вдох, расправил плечи и оглядел соседей. Справа парень — незнакомый, слева девочка — тоже незнакомая; единственный, кого я здесь знаю, — Бушют; никогда не сажусь с ним рядом, принимая во внимание, как выражается Сартр, «крепкий дух причинного места». Или это ноги у него так воняют? Он тут, в четырех метрах от меня, делает вид, что работает, а на самом деле дрыхнет над каким-то критическим исследованием. Менестрель посмотрел на девочку слева, сидит надутая, унылая, со скучающим видом. Если уж ей все так обрыдло, какого хрена она тут торчит. Он вновь склонился над своим текстом. ¶

Следующее слово было «bachelor», Менестрель подчеркнул его одной чертой и полез в Отрива. «Bachelor» (XI в.) или «bachelier» (XIV в.). 1. Молодой человек благородного происхождения, ожидающий посвящения в рыцари. 2. Оруженосец. 3. Юный и отважный. Этимология не ясна, от вульг. лат. «bas-salaris». Ну и дела, не ясна, почему не ясна? Господин Грансэнь д'Отрив, вы зарываетесь. Менестрель полез в Стапперса: «bachelier» от кельт. «bach», ну, ну, один производит слово от вульгарной латыни, другой — от кельтского. Пойдем дальше. От кельтского «bach» — маленький, юный, Ст. фр. «basel, bachelle» — молодая девушка, служанка, «baceller», гл. заниматься любовью, приступить к учению. Одно значение отлично укладывается в другое. Для «bachelle» — «baceller» и в самом деле значит приступить к ученью.

Менестрель беззвучно рассмеялся, сунул руку в карман за платком и наткнулся на письмо матери, полученное еще утром, но до сих пор не распечатанное. Хорошее настроение мигом испарилось. Он положил письмо на Грансэнь д'Отрива и несколько минут глядел на конверт, потом раскрыл, не вынимая большого листа голубой бумаги, сложенного вчетверо. Всего один лист, зато исписан до краев убористым почерком. Экономит на всем, даже на почерке, от нее широты не жди, ставлю свой последний сантим, что второй час в читалке она мне испортит. И нечего себя обманывать, сам факт, что она не отвечала так долго, уже ответ. Он посмотрел на адрес. Ну и почерк! Высокие прямые, узкие буквы. Подпись «Менестрель» заканчивалась росчерком, который обливался вокруг нее наподобие лассо. Можно подумать, что в последний момент она решительно отвергла самую возможность существования каких-либо других Менестрелей, кроме нее самой. Поступаться своим достоянием ей вообще не свойственно. Достаточно взглянуть на это «М» в «Менестреле». Настоящая крепость это «М». Прильнешь к материнской груди — зубы обломаешь об эти зубцы. Ладно. Как бы то ни было, рабочее настроение уже испорчено. Он медленно развернул письмо.

«Дорогое дитя,

Уверена, что тебя удивило мое молчание, поскольку у меня, как известно, нет привычки не отвечать сразу на твои письма. Вместе с тем ты хорошо знаешь, что всегда можешь рассчитывать на меня, и я не понимаю, почему ты счел необходимым прислать мне второе письмо, как бы упрекая меня за молчание. Тебе следовало бы понимать, что, когда влачишь одинокую вдовью жизнь, коротая зиму наедине со своими мыслями в этом огромном, плохо натопленном сарае, душа не лежит к писанию. У нас с Рождества стоят холода, боли мои, конечно, возобновились и не дают мне передышки. Не говоря уж о том, что центральное отопление не обогревает дома. Сколько я ни извожу дров в каминах, все тщетно — температура в маленькой гостиной не подымается выше 19 градусов. Приходится натягивать свитер на свитер, вид у меня ужасающий, как у старой бабки. На дворе такой мороз, что я с моей невралгией не смею даже высунуть нос наружу. К счастью, госпожа Морель любезно предложила делать для меня покупки — я ведь уже две недели без прислуги: Луиза бросила меня среди зимы, вышла замуж, негодница, не благо-

волив даже дожидаться теплых дней, как я ее просила. Поистине можно сказать, за мои благодеяния мне платят черной неблагодарностью.

Я очень огорчена за тебя, мое дорогое дитя, что ты до сих пор не получил стипендии за первый триместр, хотя у нас уже март месяц. К несчастью, помочь тебе не в моих возможностях. Я ссудила тебе 40000 старых франков на первый триместр, надеясь, что ты сможешь вернуть мне их к Рождеству, и была весьма разочарована, когда ты не смог этого сделать. Я рассчитывала на эти деньги, чтобы починить за зиму ограду фруктового сада. Тебе известно, что средства мои весьма ограничены, и я экономлю на всем. У меня, действительно, есть небольшие сбережения в банке, но, как я уже объясняла тебе, они неприкосновенны: мне необходимо иметь про запас эту сумму на случай болезни, чтобы оплатить пребывание в клинике.

Что я могу еще сказать тебе, дорогое дитя? Мне пятьдесят один год, у меня слабое здоровье, а тебе двадцать — пора тебе летать на собственных крыльях, пора научиться самому выпутываться из трудностей. Я считаю, ты должен написать жалобу по поводу стипендии.

Все это, как ты догадываешься, ложится на мои плечи дополнительным бременем, от которого ты мог бы меня избавить, особенно сейчас. Прошлым летом из-за того, что не было крепкой ограды, у меня оборвали груши, в результате я потеряла серьезный источник дохода. Если все останется по-прежнему, боюсь, та же история повторится этим летом.

Надеюсь, ты здоров и хорошо трудишься. Молюсь за тебя денно и нощно и нежно целую тебя, мое дорогое дитя.

Жюли де Бельмон-Менестрель.

Р. С. Я перебила два кресла в большой гостиной зелено-красным шелком, который нашла у Бурсена. Это совершенно очаровательно, весь цвет нашей округи побывал у меня, чтобы полюбоваться.

Была у меня Гизлен. У нее все лицо покрыто вспухшими красно-лиловыми пятнами. Она чудовищна. Ты бы не узнал свою красивую Тетелен».

Менестрель положил на стол голубой листок; с окаменевшим лицом, полуприкрыв веки, он уставился на письмо невидящими глазами. Ну что ж, она молится за него, и то хлеб. Он вдруг заметил, что вцепился обеими руками в край стола, и

разжал пальцы. Сосчитать нетрудно: 9000 франков¹ — комната в общежитии, 140 франков — обед в кафетерии, 100 франков — завтрак, всего в месяц на еду около 11000 франков. 9000+11000=20000 франков, примерно моя месячная стипендия. Сверх того, нужно заплатить за стирку, плюс одежда, транспорт, сигареты, газеты, книги, ну и — хотя бы изредка — стаканчик кофе в баре. Экономя на всем, можно уложиться в 35000. Даже заняв у матери 40000 на ноябрь и декабрь, он, чтобы свести концы с концами, вынужден был подрабатывать, то есть терять часы и часы, отнятые у занятий, а теперь, раз стипендия запаздывает, а мать отказала, придется тратить на это в три раза больше времени, браться за любую дурацкую работу в Париже. Не говоря уж о времени, которое уходит на дорогу, об усталости, невыразимой скуке. В первом триместре он разносил по домам йогурт, заменял заболевшего продавца у Эдера, сортировал квитанции на почтамте, давал уроки умственно отсталой девочке, присматривал за детьми — бэби-ситтинг. Хуже всего, что ни одна из работ не была постоянной. Как правило, это негритянский труд, не оформленный официально, — вечно кого-то заменяешь. Каждые две недели, если не чаще, приходится искать что-нибудь другое. Руки опускаются — и не так даже от тупости этих всех занятий (от сортировки квитанций, например, можно было просто спятить), но потому, что то и дело оказываешься безработным и непрерывно вынужден подыскивать новую работу. Разумеется, обедать можно через день, но от платы за комнату никуда не денешься. Через несколько дней он найдет на двери своей каморки в общежитии грозную бумажку. Так и мечешься, не зная, что страшней: не найти работы и остаться без хлеба или провалить конкурсные экзамены, так как на было времени заниматься. И вдобавок эти гады в министерстве еще говорят о повышении платы за комнату до 12 тысяч, а за обед в университетском ресте — до 280!

Менестрель поднялся, шепнул соседке:

— Скажи, что место занято.

Та досадливо кивнула. Для пущей надежности он оставил пиджак на спинке стула, вышел, сбежал по лестнице, которая вела на первый этаж, и широким шагом направился к ближайшему из двух автоматов в центральной галерее. Они были похожи на раковины. Над аппаратом был установлен огромный перфорированный колпак в форме капюшона, куда засовыва-

¹ Менестрель ведет счет в старых франках, после реформы 100 старых франков были приравнены к одному, «тяжелому», франку.

лась голова,— считалось, что он ограждает от шума, который всегда стоял в галерее. Менестрель набрал номер и бросил взгляд на свои часы — 11.20: в это время, если повезет, он может застать Демирмона дома, только бы его расписание в лицее не изменилось. Упорные гудки «занято». Менестрель повесил трубку, жетон зазвенел и тупо выкатился. Он стал расхаживать взад-вперед перед раковиной.

Три года назад в лицее, в классе философии, после лекции о Канте, Демирмон: «Менестрель, я хотел бы сказать вам два слова». Огромный, косая сажень в плечах, седой нимб вокруг головы, привалился к радиатору в пустой классной комнате и глядит ему в глаза своими голубыми живыми внимательными глазами, утонувшими в неправдоподобной густой сетке морщин и складок: «Менестрель, что-то у вас неладно. Вы отсутствуете неделю и возвращаетесь бледный, угнетенный, вы не сосредоточены, это бросается в глаза, ваша последняя работа никуда не годится. Что происходит?» Я покраснел и сказал: «У меня умер отец, господин Демирмон». Молчание. «Вы были очень привязаны к отцу?» — «Да, господин Демирмон». Снова молчание. «Смерть отца меняет что-либо в вашем положении?» — «Да. Мать сказала мне, что после экзаменов на бакалавра я больше не могу рассчитывать на ее поддержку». Он поглядел на меня: «В вашем голосе слышится горечь. Вы считаете, что ваша мама могла бы поступить иначе?» — «Да, господин Демирмон. У моей матери прекрасные фруктовые сады, около пяти гектаров груш, и она выжимает из них все, что может». — «Короче,— продолжал Демирмон,— вы считаете, что у госпожи Менестрель больше денег, нежели она говорит вам или нежели она сообщает в налоговое управление?» Я кивнул и про себя отметил, что первый раз он сказал «ваша мама», а второй — «госпожа Менестрель», и я зверски обрадовался, что он так быстро все понял. «Что вы рассчитываете делать после экзамена?» Я проглотил слюну и сказал: «Просить место надзирателя в интернате, чтобы продолжать учение». — «Так, так, так,— сказал Демирмон, морщась все заметнее с каждым «так». — Есть ведь и другой выход. Оставайтесь в будущем году на подготовительном. Раз госпожа Менестрель вдова и, как известно налоговому управлению, небогата, она сможет легко добиться для вас полной интернатской стипендии. А если ей это удастся, то одно из двух: либо вы поступите на улицу Ульм в Педагогический и вопрос будет решен, либо вы попадете, на худой конец, в список кандидатов, и тогда вам обеспечена стипендия на все время подготовки к диплому».

Менестрель заложил руки за спину. Уже три года прошло с тех пор. Всего несколько минут, несколько слов, и он был снова в седле. Да и потом, сколько хорошего он мне сделал! Менестрель посмотрел на часы, спрятал голову под колпак и снова набрал номер.

— Господин Демирмон? Это Менестрель.

— А, Менестрель! Куда же вы пропали? Я вас совершенно не вижу.

— У меня ужасные неприятности, господин Демирмон. Я до сих пор ни получил стипендии.

— 22 марта, и вы еще не получили за триместр?

— За первый, господин Демирмон.

— Но это безобразие. Как же вы живите?

— Ну, я подрабатываю то тут, то там, но поскольку на это все равно не проживешь, занял в первом триместре у матери.

— Так, так, так.

Пауза.

— А сейчас,— заговорил снова Демирмон,— вам хотелось бы выпутаться собственными силами?

Трудно было быстрее понять положение и сформулировать его мягче.

— Да, господин Демирмон,— сказал Менестрель с благодарностью.— И я как раз вспомнил, что вы мне говорили в каком-то бэби-ситтинге, очень трудном, но хорошо оплачиваемом.

— Это ведь было месяц назад; место, возможно, уже занято. Послушайте, Менестрель, для очистки совести все-таки проверим: Сейчас двадцать пять двенадцатого, я позвоню этой даме, а вы мне перезвоните без двадцати.

Менестрель услышал гудки и повесил трубку. В центральной галерее было уже полно народу. Менестрель, на душе у которого полегчало, засунув руки в карманы, направился к киоску Ашетта. При теперешнем состоянии его финансов не могло быть и речи о том, чтобы потратить сорок сантимов на покупку газеты, но он просмотрел заголовки и украдкой развернул вчерашний «Монд», успев даже пробежать глазами статью, автор которой, ссылаясь на американские источники, описывал умиротворение в сельских местностях Вьетнама. Он положил «Монд» обратно на стопку и обошел киоск кругом, разглядывая заголовки. Без двадцати пяти, пора вернуться к автомату. Разумеется, телефон был занят, и вдобавок, какой-то девицей. Менестрель кинулся бегом по галерее и вовремя достиг второго автомата, на полголовы обходя у финиша крупную гнедую кобылу в белых сапожках. В Нантере телефо-

наж был специальностью девочек. Они вели под перфорированными раковинами нескончаемые разговоры. Менестрель обернулся, посмотрел на часы и сказал:

— Если вы обещаете мне кончить разговор без двадцати, я вам уступлю свою очередь.

Кобыла взглянула на него с оскорбленным видом.

— Очень мило, вы уступаете мне трубку, выхватив ее у меня из-под носа.

Менестрель секунду молча смотрел на нее. Поразительны эти девочки, никакого спортивного духа.

— Послушайте,— сказал он с ангельским терпением,— мне совершенно необходимо позвонить без двадцати двенадцать, это очень важно, поэтому говорите, но не занимайте автомат целый час.

— Я и не собираюсь,— сказала кобыла высокомерно, уstraиваясь под колпаком, как у себя дома.

Менестрель оглядел ее с ног до головы: белые сапоги до середины икр, мини-юбка цвета вялой листвы, пуловер того же тона и над всем этим длинная светло-рыжая грива, собранная в конский хвост, которым она яростно потрясала, болтая под колпаком. Взгляд Менестреля вернулся к исходной точке. Он подумал, не заинтересоваться ли ему складочкой под коленом и нижней частью ляжек; но решил, что не стоит — момент не располагал к фривольным мыслям. Кроме того, ей на него было совершенно плевать, она трепалась уже добрых шесть минут. Пространная речь была, очевидно, адресована какому-то чуваку. Менестрель вздохнул, взглянул на часы — без десяти я ее призыву к порядку. Без двенадцати, секунда в секунду, кобыла повесила трубку, повернулась, взмахнула гривой, мазнув волосами по лицу Менестреля, и ушла, даже не взглянув на него; она мгновенно утонула в толпе, кишевшей в галерее. Менестрель засунул голову под раковину.

— Господин Демирмон? Это Менестрель.

— Ну, Менестрель, место свободно, и неспроста. Речь идет о богатейшей вдове. Но бэби далеко не младенцы, одному — тринадцать, другому — пятнадцать лет, это здоровенные парни атлетического сложения, которые не желают, чтобы мать вела светскую жизнь. Стоит ей выйти за дверь, как они отыгрываются на бабушке. Слуги баррикадируются под крышей, а бабушка оказывается во власти ребят. К бэби-ситтеру они относятся не лучше. На каждого нового претендента они обрушивают град боксерских ударов и вышвыривают его из дома.

Пауза.

— Миссис Рассел,— заговорил слова Демирмон,— так зовут даму — отлично сознает, что ее бэби-ситтер должен обладать качествами героя. Она готова удвоить и даже утроить оплату.

— Полагаю,— сказал Менестрель,— что миссис Рассел уходит из дому часто.

Демирмон хохотнул.

— Я не очень сведущ, должен признаться, по части образа жизни светских дам. Наверно, раза три-четыре в неделю. Ах, простите меня, Менестрель, до меня только сейчас дошло, что ваш вопрос имеет финансовый характер.

— Я думаю, что этот бэби-ситтинг полностью разрешил бы мои трудности, если это место постоянное.

— Если справитесь — постоянное.

Они помолчали.

— Я все-таки попробую, господин Демирмон.

— Браво, Менестрель, я так и думал. Я позвоню миссис Рассел и сообщу ей номер вашего телефона в общежитии. С какого часа вы будете у себя?

— С трех, господин Демирмон.

— Хорошо, я так ей и скажу. И позвоните мне, как только вступите в соприкосновение с этими страшилами.

Он повесил трубку, не дав Менестрелю времени поблагодарить. Менестрель повернулся и вышел из-под колпака в гул галереи. В случае успеха я дотяну до июньской сессии. «Здоровенные парни атлетического сложения. Стоит появиться бэби-ситтеру, как они вышвыривают его из дома». Менестрель заметил, что у него дрожат руки, он сунул их в карманы, распрямил плечи и быстрым шагом направился к корпусу В.

II

Давид Шульц шел по коридору второго этажа корпуса Г, привлекая взгляды девочек, несмотря на свои застиранные джинсы и хотя и чистый, но дырявый черный свитер. Ему не нужно было прилагать для этого никаких стараний. Осточертело мне выслушивать, какой я красивый, да какие у меня черные кудри и изящный рисунок губ, и аэродинамическая рожа, пошли они с этой рожей! Велика радость, когда тебя хвалят и лижут только за то, что ты случайно родился таким, а не таким. Какой тогда толк стараться жить как настоящий человек? Переспать разок-другой — ладно, согласен, но не племенной же я жеребец все-таки. Засунув руки в карманы, он про-

шел в комнату для семинарских занятий, где ему назначил встречу Робби. Боюсь, что эта сволочь заставит меня ждать понапрасну. В комнате было пусто, только у кафедры трепалось трое студенток. Когда Давид вошел, они раззявились, прыснули, прикрывая рот ладошкой, и принялись его разглядывать, нервно похихикивая и перешептываясь. Давид повернулся к ним спиной — ну и психопатки, стоит ли иметь голову на плечах, если только и думаешь, что о своей заднице, инфантильное поведение, обусловленное чрезмерным вниманием к сексу, что в свою очередь результат подавления инстинктов. Тут воздвигнуто столько плотин и барьеров, что навязчивые идеи превращаются в настоящие мании, зато, когда доходит до дела, если только до этого вообще доходит, — пустое место.

Он пересек комнату, подошел к окну и встал перед ним, уперев руки в бок. Трое рабочих настилали гудрон на террасе, соединявшей корпус Д с корпусом Г. Он вытащил пачку «Голуаз» — оставалась всего одна сигарета, — выкурю после кофе; в кармане — четыре с половиной франка, в бумажнике — сложенный вдвое папин чек, полученный три недели назад, первого числа, ни днем позже, а я как дурак экономлю окурки и жру бутерброды вместо того, чтобы получить по нему деньги. Брижитт говорит мне, это не серьезно, ты просто оттягиваешь момент, в конце концов ты все равно их берешь. Вот если бы ты сжег чек или отдал кому-нибудь! Нет, Брижитт, и это тоже несерьезно, искусственное нищенство — идиотизм, я ведь не монах, не дервиш, не анахорет; в нищете, как таковой, нет ничего хорошего, мы не для того разоблачали заблуждения христиан, чтобы впасть в них самим. С другой стороны, я отлично понимаю, что разгуливать с чеком в кармане, не получая по нему — это ребячество, ну, скажем, я испытываю чувство облегчения, оттягивая момент. Что я виноват что ли, если папа за удаление аппендикса дерет 500000 монет с этих кретинов, которые лопаются от денег. «Ты должен был бы меня одобрить, — говорит папа с лукавой улыбкой, — я эксплуатирую эксплуататоров», — и вдобавок папа — парень хоть куда, лучше не бывает, умен, сдержан, мил, никогда не пристаёт, не отец, а золото, и в начале каждого месяца — чек, вот что отвратительно, мне известно, нет ничего паршивее такого привилегированного положения.

— Он бросил взгляд на часы — даю Робби еще десять минут и рву когти. Он посмотрел на рабочих, настилавших гудрон. Какова степень вероятности, что эти парни или их сыно-

вья будут изучать литературу? Нулевая. Не говоря уже о материальных трудностях, им всегда будет не хватать культурного багажа и богатства словарного запаса буржуазии, «вкуса» и «нюансов», таящихся в изящном лицемерии лексикона, всей этой тонкости и лингвистической изощренности, которые, будь они прокляты, всасываются с молоком матери. Как подумаешь обо всем этом наследии, «духовном» ли, финансовом ли, становится просто тошно. «Изучай право, сынок, я куплю тебе нотариальную контору. Изучай медицину, я оборудую тебе кабинет. Изучай фармакологию, я подарю тебе лабораторию. Тебя это не интересует, ты предпочитаешь психологию? Браво, Давид, очень умно! Человеческие отношения, искусство управлять людьми, искусство продавать идеи широкой публике». — «Короче говоря, папа, ты хотел бы, чтобы я продавал дрянь дерьму?» — «Молодец, Давид, здорово сказано, и, главное, верно. Ты умеешь всегда найти нужное слово, Давид! Весьма полезное качество для администратора — найти нужное слово! Хочешь стать членом административного совета, когда окончишь твой психо?» — «Ну подумай, папа, какое будущее ты мне готовишь? Колесико потребительской буржуазной бюрократии? Сторожевой пес системы? Почему бы тогда не мечтать о полицейской карьере, почему не стать префектом?» Но мои выходки папу только смешат. Что я ни скажу, он от меня в восторге. Движение протеста, согласен, он сам рад выблевать всю эту буржуазию. «Ты ее выблевываешь, папа, но ты сам внутри нее». Он воздевает руки к небу: «Но ведь и ты тоже! Что поделаешь, мой мальчик, посоветуй, как из нее выбраться, если ты внутри? Не так-то это просто». И тут он прав. Она въелась в тебя, эта буржуазия, отпустит тебя на волю, а потом, хоп! рванет, как понадобится, узду и втянет обратно. Она все втягивает в себя, даже движение протеста!

Давид со злостью поглядел на административную башню, возвышавшуюся по ту стороны террасы. Претенциозный монумент, шедевр иерархической вертикали, фаллический символ репрессивной власти, а на самом верху, на восьмом этаже, гигантское окно Ученого совета, и каждый из профессоров, рассевшись на своей «кафедре», следит, как с вышки, за двенадцатью тысячами покорных студентов, за двенадцатью тысячами домашних животных, которых нужно направить в загон, набить «объективными» знаниями, а потом подвергнуть отбору и вернуть обществу в виде совершенных служащих капиталистической системы, «аполитичных» и выхолощенных. Давид стиснул зубы, глаза его заблестели. Ох, уж этот отбор.

этот пресловутый отбор конца учебного года, этот их священный садо-мазохистский магический обряд экзаменов — вот почему необходимо ударить.

Он рассеянно следил за рабочими, настилавшими гудрон на террасе. Терраса была ниже окна примерно на метр, рабочих отделяло от него только стекло, но здесь, на 1/2 этаже, было тепло и чисто. Мир, где никто не потеет, ворочая тяжести, если не считать уборщиц — алжирок и испанок, которые приходят после семи вечера. Днем здесь ворочают только материями невесомыми — идеями, а через идеи — людьми: основная функция господствующего класса, благоговейно передаваемая студентам профами. А угнетенные там, внизу, по ту сторону стекла, согнувшись пополам на пронизывающем ветру, в холоде, под дождем, напрягают мышцы, как рабочий скот, и у них столько же шансов попасть когда-нибудь в наш мир, сколько у меня — в их. Да, я знаю, я, конечно, тоже мог бы пойти на завод: Симона Вейль или «Подражание Христу». Но я все равно никогда не стал бы настоящим рабочим, как и она. Я вел бы свое псевдосуществование рабочего, как интеллигент, который знает, что в любой момент может с этим покончить именно в силу накопленного капитала идей, дипломов, технологических знаний. Впрочем, даже вот эти рабочие сейчас передо мной, всего в нескольких метрах, — я ведь рассуждаю о них, но по-настоящему их не вижу. Давид почувствовал себя виноватым и несчастным, у него защемило в груди, он поглубже засунул руки в карманы своих джинсов и постарался увидеть рабочих по-настоящему. С десятков рулонов плотной бумаги ждало на краю террасы, и три каких-то типа разливали по бетону расплавленный гудрон, черпая его из большого котла цилиндрической формы, под которым был разведен костер. Они раскатывали по дымящемуся гудрону ленту первого рулона, затем, захватывая ее край, ленту второго и так далее. Техника была примерно та же, что при наклейке обоев, только материалы были тяжелые, вредные, да еще приходилось торопиться, расстилая бумагу, чтобы гудрон не остыл и не утратил вязкости. Хреновая работка, вкалываешь, не разгибая спины, спешишь, стоишь в гудроне, вдыхаешь гудрон.

Откуда-то донесся протяжный свисток, и трое рабочих выпрямились. Давид увидел их лица. Это были североафриканцы. Ясное дело. Самая тяжелая работа и самые низкие заработки. Подпролетариат, здоровый резерв рабочих рук для французского патроната. Они покорны, сбивают цену на труд, их эксплуатируют вдвойне. И попробуй только, дружо-

чек, вступить в профсоюз, я тебя мигом выдворю из Франции, подыхай с голоду на родине.

Рабочие медленно стянули рукавицы. Двое из них так и не разогнулись до конца, оба были низкорослые, неопределенного возраста, узловатые и чахлые, как деревца, выросшие на тощей почве; взгляд у них был грустный, усталый, обращенный в себя. В их манере держаться было что-то жалкое — узкие, сутулые плечи сведены вперед, точно опыт научил их вдыхать как можно меньше воздуха, который принадлежит не им.

Чуть в сторонке, устремив глаза на корпус В и разглядывая, точно рыб в аквариуме (ни один звук до него не долетал), студентов, выходявших из семинарских аудиторий после двенадцатичасового звонка, девушек, которые болтали и смеялись, стоял третий рабочий, крепкий, прямой, как стрела, тоже худой, но исполненный грации молодого зверя, с черными вьющимися волосами на шее, элегантный, несмотря на грязную и рваную спецовку. Он улыбался в пустоту, приоткрыв белые зубы, острые, как у кошки, машинально помахивая зажатými в левой руке рукавицами со следами гудрона, и в то же время, поворачивая голову на гибкой мускулистой шее, поглядывал по сторонам, изучая четыре этажа корпуса В своими живыми, блестящими и веселыми глазами.

Заметив прильнувшее к окну второго этажа лицо Давида, он улыбнулся еще шире и помахал рукой. Давид тоже помахал правой рукой, открыл окно и высунулся. Они были примерно на одном уровне, но их разделяла полоса свежего гудрона шириной в несколько метров.

— Как тебя зовут? — сказал Давид и тотчас подумал: вот дерьмо, веду себя как достойный представитель патроната, по какому праву я спрашиваю его имя?

Араб, улыбаясь, вопросительно ткнул себе в грудь рукой, в которой держал рукавицы. Давид утвердительно кивнул.

— Абделаиз.

— Абделаиз, — повторил Давид.

Он был в восторге. Абделаиз звучало как имя из арабских сказок.

— Меня зовут Давид, — сказал он немного погодя.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать один.

— А мне двадцать, — сказал Абделаиз.

— Ты здесь живешь?

— В бидонвиле на улице Гаренн.

И он опять рассмеялся без видимой причины. Давид смотрел на него в полном изумлении. Абделаиз жил в бидонви-

ле, занимался этой гнусной работой, но казался веселым, полным сил.

— Ты здоров?

— Конечно,— сказал Абделаиз, подняв брови.— Почему мне не быть здоровым?— И он добавил, смеясь:— Я молодой.

— А твои товарищи тоже здоровы?

Абделаиз покачал головой.

— О нет. Далеко не все. Туберкулез, язва желудка.— Он добавил:— Они плохо питаются.

— Почему?

— Отсылают много денег домой.

— А ты не посылаешь?

— Посылаю немного. Отцу, Времени от времени. То 10000, то 20000. Но у меня еще остается.

Он опять засмеялся.

— Я хорошо зарабатываю. Я богатый. Когда я приехал во Францию, я только и делал, что покупал себе всякую всячину.

— Богатый?— сказал Давид, сбитый с толку.

— Богатый не как француз,— сказал Абделаиз, глядя на него лукавыми глазами.— Богатый как алжирец.

Он добавил:

— В моей деревне — нищета, ты даже не имеешь представления.

Давид опустил голову, смущенный, почти виноватый. В самую точку. Лучше не скажешь: он даже не имел представления.

— Ты отлично знаешь французский,— снова заговорил он минуту спустя.— Ты ходил в школу?

— Во французскую очень мало, но в мусульманскую долго.

Абделаиз отвернулся, охваченный внезапными воспоминаниями. Поджав под себя ноги, безостановочно раскачиваясь взад и вперед, он повторял вместе со всеми суры. Ошибешься — бац, удар палочкой по бритой голове. И так часами. Сердце у него сжалось, рот свело горечью, его пронзила острая обида. Учиться. Учиться по-настоящему. Как этот молодой руми.

Давид показал пальцем на гудрон.

— Трудно?

— Не очень. Главное, грязно.

— А зачем рукавицы?

— Рак.

Абделаиз улыбнулся.

— Я не всегда настилаю гудрон. Я опалубщик.

— Опалубщик?

— Я налаживаю опалубку для бетона.

— Ты плотник?
— Она не из дерева, из металла.
— Опалубка из металла?
— Не всегда. Для шершавых частей — из дерева, для гладких — из металла.

Абделаизиз опять весело засмеялся:

— Да ты ничего не знаешь!

Давид покачал головой. Это правда, он ничего не знал. Идеи. Идеи, воспринятые из книг. Но о вещах — ничего.

— Ты что изучаешь? — сказал Абделаизиз.

— Социологию.

— Социологию? — с трудом повторил Абделаизиз.

— Науку об обществе.

Живые глаза Абделаизиза весело сверкнули.

— А потом? — спросил он добродушно. — Ты изучаешь общество, а изучив, переделаешь его?

— Надеюсь.

Абделаизиз засмеялся. Давид жадно глядел на него, пораженный этой жизнерадостностью и энергией. Обычно глаза у алжирцев были грустные.

— А ты борешься? — спросил Давид. И поскольку Абделаизиз непонимающе поднял брови, повторил: — Политическую борьбу ты ведешь?

— О, знаешь, — сказал Абделаизиз, пожав плечами, — политическая борьба? В стране, которая тебе не родина? — И он продолжал: — И вообще для меня не это сейчас главное.

— А что же главное? — сказал Давид.

Он был так возмущен, что у него даже упал голос.

Смуглое лицо Абделаизиза затопил матовый темный румянец, и он убежденно сказал:

— Учиться и сдать экзамены. — И он добавил с внезапным жаром: — Я отдал бы десять лет жизни, чтобы сдать экзамены.

Наступило молчание, и Давид сказал все тем же упавшим голосом:

— Какие экзамены?

— На аттестат об окончании начальной школы, а потом на диплом о профессиональной подготовке, может, на токаря. — И поскольку Давид молчал, он добавил: — Получив разряд, я стал бы квалифицированным рабочим.

— А на черта? — сказал Давид.

Абделаизиз улыбнулся его наивности.

— Ну как же, у квалифицированного рабочего выше заработок, его уважают, и работа интереснее.

Давид опустил глаза. Прошла секунда. Абделаиз нравился Давиду, но стремления у него были мелкобуржуазные. И, однако, разве его стремления не вытекали в значительной степени из его положения? Можно ли ставить ему в упрек, что он хочет выбраться из дерьма? И даже то, что он считает это «главным»? Давид поднял глаза, поглядел на Абделаиза, не зная, что еще сказать ему. Молчание затягивалось.

— Куришь?— спросил он

— Да.

— Погоди,— сказал Давид торопливо.— У меня есть курево.

— Да не стоит,— сказал Абделаиз вежливо.

Давид вытянул из пачки последнюю сигарету и просунул руку через окно.

— Мне не подойти,— сказал Абделаиз,— завязну. Бросай!

Давид отвел руку назад и бросил сигарету. В ту же секунду Абделаиз наклонился вперед, вытянув перед собой руки. Сигарета описала дугу, вертясь в воздухе, порыв ветра подхватил ее, и она упала в свежий гудрон. Абделаиз выпрямился, лицо у него было расстроенное.

— Обидно,— сказал он.— Пропала твоя сигарета.

Они помолчали. Они глядели на грязную сигарету, почерневшую, пропащую. Это была неудача. Они чувствовали, что их постигла неудача. Абделаиз топтался на месте, и Давид понял, что ему хочется уйти.

— Завтра тоже будешь работать здесь?— сказал Давид.

— Да.

— Увидимся?

— Да.

Они помолчали.

— Послушай,— сказал Давид,— если мы не увидимся, приходи ко мне в общагу, корпус 3.— Он назвал этаж и номер комнаты.

— Корпус 3,— повторил Абделаиз без всякого энтузиазма.— Привет,— сказал он смущенно.

— Привет.

Абделаиз пошел, не оборачиваясь, и присоединился к своим товарищам. Они сидели бок о бок, положив руки на колени. Один из них поднял на Абделаиза утомленные глаза и сказал по-арабски, возмущенно взмахнув руками:

— Ну, это еще что за новости?

— Ничего,— сказал Абделаиз,— я разговаривал с этим симпатичным руми.

Тот остановил на нем свой грустный взгляд, несколько раз покачал головой и сказал низким гортанным голосом:

— Симпатичных руми нет. Нет. Нет.

III

Мало радости идти сейчас в рест, проторчишь в очереди часа полтора. Если б еще с девочкой, а то стой один. К тому же бутерброд с сосиской в кафетерии стоит всего франк, экономия сорок сантимов, можно выпить кофе в баре реста. Менестрель был почти уверен, что встретит там кого-нибудь из ребят. Он спустился, пританцовывая, по лестнице корпуса В — ступенька, две ступеньки, пируэт на площадке; мысль о страшилах он решительно подавил, там будет видно, в конце концов, не так страшен черт, как его малюют. Он вышел в центральную галерею. В этот час галерея была заполнена студентами, лекционные аудитории изрыгали их сотнями. Менестрель (1,73 м, но при известной настойчивости в ближайшем будущем 1,75 м) выпрямился во весь рост и с трудом проложил себе путь в кафетерий. Едва хлеб с сосиской оказался у него в руках, он понял, что бутерброд — несмотря на свой стандартный размер — смехотворно мал. Под ложечкой сосало, голова кружилась, ноги подкашивались, в мыслях путаница: через два часа ему опять захочется есть, а брюхо будет нечем набить до семи. Он вернулся в центральную галерею с уже наполовину съеденным бутербродом — спокойно, растянем удовольствие, будем жевать тщательно. Он шел небольшими шажками, точно, замедлив движение, можно было продлить процесс еды.

Около больших лекционных аудиторий Менестрель заметил служителя Фейяра, оживленно беседовавшего с каким-то сослуживцем. Он тотчас переложил бутерброд из правой руки в левую. Как-то, когда он вышел с лекции Перрена, Фейяр спросил, не его ли пиджак остался там, в заднем ряду: «А, вот видите, ваш! У меня глаз наметанный». И с тех пор Менестрель, встречая служителя, всегда перекидывался с ним несколькими словами.

— Добрый день,— сказал Менестрель весело, пожимая руку служителя,— ну, я вижу, живот вас не так мучает, вы курите.

— Да уж,— сказал Фейяр,— при моей болезни курить, особенно до еды, чистое безумие.

Он взглянул на второго служителя, покачав головой. Оба они были среднего роста, уже седоватые, с животиками, лица

усталые. Менестрель подумал: по сравнению с профом того же возраста пролетарий всегда выглядит старше — трудная жизнь, некогда подумать о себе.

— Да и вы хороши,— сказал Фейяр с добродушной улыбкой,— думаете, очень разумно съесть бутерброд вместо обеда, точно вы барышня? В вашем возрасте есть нужно как следует.

— Никак не дождусь стипендии,— сказал Менестрель,— от получу ее, увидите, хватает ли мне одной сосиски.

— Ну, желаю вам,— сказал Фейяр, дружески смеясь.

— Ладно, я бегу,— бросил Менестрель, всецело во власти своего хитроумного замысла,— иду в рест выпить кофе.

— Привет,— сказал Фейяр, глядя ему вслед.— Этот паренек,— сказал он растроганно собеседнику,— никогда не пройдет мимо, обязательно остановится, поздоровается, поболтает. Мне это, не скрою, приятно.

Служители понимающе переглянулись, удрученно покачали головами.

— Ведь вообще-то студенты... К мебели и к той относятся внимательней.

— Как бы ни так,— сказал второй служитель,— мебель они как раз ломают.

— Да еще о наши спины,— сказал Фейяр.— Ну как им не совестно? Мы-то при чем? Разве мы не на службе находимся? Что же нам глядеть, сложа руки, как они пихают господина декана? А они сразу оскорблять, драться. «Легавый»,— говорит мне какой-то сопляк.— «Фашист». И раз по башке ножкой от скамейки. А что я ему в отцы гожусь, это плевать. Ну и молодежь пошла.

— Да уж, языком трепать и драться, это они умеют, никто им не указ. И заметь, всегда непременно в послеобеденные часы,— сказал второй служитель, вскинув правую руку,— утром все спокойно: господа изволят почивать! Станут они устраивать революцию утром! Утро неприкосновенно, утром деточки бай-бай! Они встают в полдень, эти господа, как кокотки. Была б моя воля, я бы работал только в утреннюю смену.

— Ну и дела,— подхватил Фейяр,— у тебя родители, которые могут заплатить за обучение, а ты занимаешься чем угодно, только не учишься. Вот уж никогда не скажешь, что образованные: грязные, невоспитанные, невыдержанные, вечно сквернословят, технический персонал ни в грош не ставят. А еще говорят, что защищают интересы пролетариата. Попробуй поспорь с ними, одну брань и услышишь. Я как-то говорю им: как же вы, защитники народа, нас, служителей, из-

биваете? Знаешь, что они мне ответили? Вы, говорят, предали собственный класс! Вы на службе у буржуазии! Нет, ты только подумай, какая глупость,— продолжал Фейяр, покраснев от возмущения,— как будто любому пролетарию, чтобы заработать себе на хлеб, не приходится идти на службу к буржуазии! Разве на заводе по-другому?

Менестрелю, в сущности, здесь очень нравилось. Есть ребята, которые критикуют эту галерею, но, по-моему, идея совсем неплоха. Связать между собой различные корпуса, вывести сюда все большие аудитории: единственная главная улица городка с двенадцатью тысячами жителей. Здесь сосредоточено все — секретариаты, почта, бюро находок, стеклянные кабинки служащих, киоск Ашетта, кафетерий. Даже освещение и то непрерывно меняется: от корпуса Г до корпуса А чередуются темные зоны — когда галерея превращается во внутренний коридор, и зоны светлые — когда она пролегает между корпусами. Как правило, скамьи расставлены вдоль стен именно на этих участках. Менестрель рассмеялся про себя, пережевывая размякший хлеб. Скамьи, знаменитые скамьи, которые гошисты месяц назад разнесли в щепы, вооружаясь против полиции. Пошли они, эти группки, известно куда! Но оскорблять декана, тут я против. И все же, когда явились полицейские, я тоже полез в драку, терпеть тут фараонов — нет уж, дудки, это последнее дело. А декан, конечно, дал маху — его обзывают «легавым», а он в ответ призывает полицию!

Менестрель сердито оглядел последний кусок своего бутерброда. Говоришь себе, нужно экономить, но нет, это невозможно. Он снова замедлил шаг. А жаль скамей, на них обычно сидели девочки — по две, по три, маленькими тесными кучками, и не прямо, а всегда как-то бочком, нога на ногу или скрестив лодыжки, юбка выше колен, в руках стаканчик кофе или сигарета, или такой, как у меня, бутерброд с сосиской, который, увы, я уже доел. Он вынул из кармана голубой носовой платок, точнее, серый с голубыми полосками, подаренный, вместе с еще пятью такими же, тетей Гизлен, бедной Телен. Мерзкая приписка в послании госпожи матушки, *in cauda venenum*¹, для нее нет большей радости, чем неприятности ближнего. Я уже замечал, что, когда у нее умирает какая-нибудь приятельница ее лет, она ощущает блаженное чувство собственного бессмертия. Он с нежностью развернул платок и вытер им пальцы, один за другим. С ним поравнялась Дани-

¹ Яд в хвосте (лат.).

ель Торонто, бросила быстрый взгляд, он меня даже не заметил, идет, занятый своими мыслями, жизнерадостный, красивый, непринужденный, бродит, как молодой волк, глаза горят, разглядывает всех девочек, ни одной не пропустит, да нет, не всех, он знает, на кого смотреть, меня-то он даже не заметил. И вообще, разве в Нантере имеет какое-нибудь значение, что вы учитесь на одном Факе? Да и сам Нантер для студента — пустое место. Кто из нас осматривал мэрию, церковь, познакомился хотя бы с одним из 40000 нантерских рабочих, хотя бы с одним алжирцем из 10000, живущих в бидонвиях? Все эти миры существуют бок о бок, но не сообщаются один с другим. Даниель торопливо шагала, чуть наклонившись вперед, глядя в пол. Она думала с тоской: три замкнутых мира, никаких контактов. Нантер, бидонвили, Фак. Три соседствующих гетто, и Фак худшее из них. В бидонвиях люди по крайней мере друг друга знают, друг другу помогают, они несчастны сообща. А здесь — полная изоляция, чудовищная обезличенность. Никто ни для кого не существует. Сколько нас сейчас здесь, в галерее? Восемь тысяч? Десять? Мы чужие друг другу, как пассажиры на вокзале, вот именно: Нантерский фак это и есть вокзал! Неопишуемая толкучка! Пришвартуешься на час в аудитории — там двести, триста, пятьсот человек, занимаешь место рядом с кем-то совершенно незнакомым, всякий раз другим. А где-то далеко, далеко, на возвышении — микро, из которого вылетают слова, за микро — человек, который жестикулирует. Проходит час, все встают, спускаются по ступеням, толкаются в дверях аудитории, разбегаются в разные стороны, и — конец. Безвыходное одиночество, каждый замкнут в своем Я, в своих жалких личных проблемах, ох, какой ужас, это просто невыносимо, ненавижу этот Нантер! Эти индустриальные казармы, этот кишачий муравейник, гигантизм аудиторий. И больше всего этот коридор — кафкианский коридор, нечеловеческий, нескончаемый.

Менестрель засунул в карман свой голубой платок и торопливо направился в корпус А. Он не спешил, ему нравилось здесь в галерее в полуденный час. Было приятно погрузиться в этот женский поток, отдаться прикосновениям, толчкам, подчиниться течению и разглядывать с неистощимым удовольствием набегающие встречные волны лиц и силуэтов. Какое бесконечное разнообразие типов! Вот эта высокая блондинка, которая прошла сантиметрах в тридцати от меня, это лицо close up¹, как на большом экране, опущенные ресницы, улыль-

¹ Здесь — крупным планом (англ.).

ная невинность — ей даже исповедь не нужна. Лицо исчезло, на смену явилась маленькая брюнетка, черные продолговатые глаза, марафет наведен по всем правилам, широкие скулы, что-то загадочное в лице. Занавес. Еще одна — высокая лилия, голубой меланхолический взор, правильный овал, длинная гибкая шея, обвитая лиловым шарфом. А вот разбитная малютка в узких брючках, подчеркивающих талию и бедра. Никакой тайны, весь расчет на линию спины, тут, на мой взгляд, есть свой минус: она не видит, какое впечатление произвела. Менестрель остановился и, коль скоро ему предлагали смотреть, вперила глаза. И немедленно, точно радар между лопаток девочки уловил некую ударную микроволну, излучаемую его взглядом, она повернула голову и на ходу стрельнула в его сторону уголком правого глаза. Потом на долю секунды замедлила шаг и, вывернув корпус, обозрела Менестреля, встретила с ним глазами и тотчас, надменно вздернув голову, пошла дальше. Невероятно. Ни стыда, ни совести. Сами выставляют себя напоказ, а когда начинаешь разглядывать витрину, смотрят на тебя сверху вниз с видом оскорбленной добродетели.

У Менестреля испортилось настроение. Он пошел быстрее, рассерженный, обиженный несправедливостью. Нет, все устроено не так, как надо. Почему он должен стыдиться, что в двадцать лет не познал еще женщины, поскольку ему пришлось просидеть после аттестата зрелости два года взаперти на подготовительном? Но здесь! В этом гинекее! В этом городке, где девочки составляют 80%! Где ребята — почти музейная редкость, где конкуренция сведена к нулю! Он стиснул челюсти и еще ускорил шаг. Невыносимо, неприемлемо. Он шел грудью вперед, решительной походкой к выходу из корпуса А. Столько девочек, подумал Менестрель, выбравшись на влажный мартовский воздух, и до сих пор ни одна не принадлежит мне.

IV

Французов пятьдесят миллионов, не могут все они быть дурными, это невозможно, из такого количества должно же быть хоть несколько хороших, вот что я мог бы ему ответить, Моктару, но спорить с Моктаром? Вот он сидит тут, на террасе, прислонясь к стене рядом с Юсефом, ест свой хлеб с перцем, и мне хочется сказать ему, что он зря это делает, что он наживет себе язву, но я молчу, зачем говорить, и вообще мне всегда немного жаль стариков, таких, как Моктар, они лиша-

ют себя всего, каждый месяц переводят деньги жене, а толку-то? Твоя жена и ребятишки стареют там, а ты — тут, и видишь ты их, может, раз в два года. Дома у тебя семья, ты работаешь во Франции, чтобы семье было на что жить. Ну а сам-то ты все это время живешь? Нет, говорю я. Днем стройка. Вечером бидонвиль. И твоя семья, что она для тебя? Одно письмо в месяц. Моктар чуть не покончил с собой в ноябре. Три месяца ничего не было от жены. Она, бедняга, неграмотная. До учителя, который может написать письмо, двадцать километров пехом. И вот, если она заболела или малыш заболел, писем нет. А Моктар, у него ведь вся жизнь в этих ежемесячных письмах. Десять раз, двадцать раз он вынимает письмо из бумажника и просит Каддура прочесть, и всякий раз новые вопросы, точно бумага наконец расскажет Каддуру все, чего не сказала в первый раз. «Значит, у маленького Мустафы уже нет жара?» А Каддур (и как только у него хватает терпения): «Она же пишет тебе, что ему лучше». «Я знаю, что ему лучше,— говорит Моктар,— но я хочу знать про лихорадку, лихорадка прошла?» Каддур долго смотрит на бумагу и говорит: «Да, прошла». «Он, значит, может есть?» — говорит Моктар. «Не торопись,— говорит Каддур,— ему лучше, это еще не значит, что он выздоровел». «Может, он все-таки ест?— говорит Моктар с надеждой.— Немного кускуса, финики?» Каддур глядит в бумагу и говорит: «Он уже ест чуть-чуть, в основном молоко, много молока». «А, вот видишь,— говорит Моктар,— видишь, что она говорит, бумага,— он повторяет, донельзя довольный: — Он уже ест чуть-чуть». А у меня, когда я слышу все это, сердце сжимается, потому что у маленького Мустафы — паратиф, а там, в глуши, теперь, когда нет больше болгарских врачей, вообще нет никого, кто мог бы лечить.

Нас, настоящих холостяков, всего двое — Джафар и я, но у нас свои трудности. В первый год моей жизни во Франции, в Марселе, пошел я как-то на танцы, восемнадцать мне было, и вижу, смотрит на меня блондинка, я подошел поближе, что-то сказал, тут ее брат как кинется на меня: «Что ты сказал? Что ты сказал?» Парень длинный и тонкий, на голову выше меня, но я его ничуть не испугался, я сам наскაკиваю, красуюсь как петух, даже потеснил его немного. Тут является толстая тетка, вся красная от злости, напирает на меня своими огромными грудями, орет: «Ну подожди, подожди, я тебя проучу! Да как ты смеешь, грязный араб, говорить такое моей дочери?» И раз, раз! Со всего маху дает мне оплеуху. А вокруг все эти глаза, горящие ненавистью. Я совсем растерялся, не драться же с

женщиной? А что сказать ей? В то время я еще плохо говорил по-французски, ну я и ушел, шел, шел, добрался до своей ко-нуры, к счастью, братьев никого не было, бросился на койку и заплакал.

Французы, когда они говорят о положении негров в Америке, возмущаются, тут они сознательные. А ведь больших расистов, чем французы, свет не видал, и даже среди рабочих. На стройке, на заводе никогда тебе на забудут, что ты араб. Поспорь попробуй, наслушаешься расистского вздора! Так и посыплется: арабы, они и то, арабы, они и се, у арабов всегда в руке нож, в душе предательство, в голове насилие. Вывод: мы здесь у себя дома, а ты явился отбивать у нас хлеб, бико, давай проваливай отсюда! Чтобы духу твоего не было! Нечего тебе тут делать!

А уж выйти вечером в кино с работницей или дочкой рабочего и сам «грязный араб» не захочет. На заводе прикоснешься случайно к девушке, она так и обдаст тебя злобным взглядом. Хочешь познакомиться, в ответ — оскорбления. Надо видеть эти лица, глаза смотрят мимо, подбородок вздернут, кончится тем, что у меня возникнут комплексы, я вообще не смогу думать о девушках. Даже Джафар, когда работал у Ситроена, ничего, кроме отказов, не слышал, а ведь красивее моего приятеля Джафара нет на свете, высокий, стройный, глаза, точно у гурии, лицо светлое, матовое, гладкое, как мрамор. Я познакомился с ним, когда он жил в Клиши, работал у Ситроена, стоял у конвейера на покраске, работа вредная, а он человек набожный, непременно хотел соблюдать рамадан. Я-то был против. Мне коран вбили в голову палочными ударами, но моему почтению к муллам пришел конец. Я ему говорил: «Джафар, ты себе здоровье подорвешь этим постом, пусть себе справляют рамадан толстопузые, реакционеры». Но он стоял на своем... Целый месяц он работал на конвейере, ничего не жравши, ну и свалился: пролежал два месяца в мусульманском госпитале в Бобиньи с тяжелым бронхитом. На меня, должен сказать, религия наводит ужас. Она только и твердит: одиночество, пост, воздержание. Нет ничего хуже.

В Клиши Джафару хватало мужества после смены даже зимой, даже когда он падал от усталости, по вечерам ходить к одним французам учиться грамоте. Джафар старался изо всех сил, говорил мне: «Знаешь, Абделаиз, в такой развитой стране, как Франция, ты, если неграмотен,— последний человек, ничего ты не видишь, ничего не знаешь, ото всех оторван, даже названий улиц и то не знаешь. Сидишь на дне ямы, а люди проходят над тобой, не останавливаясь и не глядя на тебя. А

эти добровольцы с улицы Симонно помогают мне выкарабкаться из ямы, и ты, Абделаиз, хоть ты и умеешь читать, тоже должен был бы посещать занятия, чтобы научиться еще лучше». Я гляжу на него в сомнении: «Но кто ж они такие, эти добровольцы, Джафар? Кюре?» Он качает головой: «Нет, помещение действительно дают кюре, но добровольцы там самые разные: католики и коммунисты, парни и девушки». «Девушки? — повторяю я обалдело. — Молодые девушки?» «Ну да», — говорит Джафар. Я гляжу на него и вижу: он это серьезно. «Ну, в таком случае я отправляюсь туда немедленно. Ты что, раньше не мог сказать? Подумать только, девушки сидят рядом с тобой и учат тебя читать! Но кто они, эти девушки? Француженки?» «Ну а кто же еще?» — говорит Джафар. Я смеюсь: «Нет, ты отдаешь себе отчет, Джафар, француженки, и ты можешь с ними разговаривать и даже дотронуться до локтя, а они не обижаются. Да это рай, Джафар».

Мне учиться с малых лет хочется. Но какое учение у нас в захолустье? Арабский язык. Когда я был мальчишкой, моему восхищению перед муллами не было границ, ну теперь-то с этим покончено! В Клиши я уже точно знал, чему хочу научиться: хорошо писать по-французски (потому что с чтением я уже справлялся неплохо), но французский мне нужен был не сам по себе, а чтобы научиться всему остальному, главное, счету, арифметике, уметь решать задачи, и потом еще узнать все про машины, как они работают, и про электричество, ну, в общем, узнать вещи серьезные. А все остальное — это для меня так, болтовня.

Мой первый спор с Анн-Мари, когда я ее узнал немного получше, именно из-за этого и разгорелся. Она готовилась к экзамену в Сорбонне на лиценциата филологии и трижды в неделю на улице Симонно учила меня правописанию, а когда увидела, какие огромные успехи я делаю и как бегло уже читаю, стала давать мне книги. «Имморалиста» Жида. Ну, я прочел, чтобы доставить ей удовольствие. Потом «Постороннего» Камю, но тут уж я встал на дыбы. Во вторник вечером прихожу я, здороваюсь, она мне улыбается. На улице Анн-Мари, может, и не заметишь: не накрашена, волосы гладко зачесаны назад, вид серьезный, но когда рассмотришь ее получше, видишь, какое красивое у нее лицо, по-настоящему красивое, а глаза, когда она улыбается, ну, просто два цветка. Так вот, улыбается она мне и говорит:

— Ну, Абделаиз, понравился тебе «Посторонний»?

— Нет, — говорю я. — Нет, совсем не понравился. Твой Камю гнусный лжец.

Она глядит на меня в недоумении. А глаза у нее были! Как небо над белыми стенами моей деревни, и когда она сердилась, они становились еще синей. Но сердилась она всегда про себя и не очень сильно. Сестренка. Нежная, как миндаль.

— Как?— говорит она возмущенно.— Лжец? Да ты понимаешь, что говоришь, Абделаиз? Альбер Камю — лжец?

— Еще какой, несет всякую чушь.

— Чушь? — говорит она (а глаза, глаза).— Абделаиз, ты себе отдаешь отчет в своих словах?

— Это ты не отдаешь отчета, Анн-Мари. Ты не знаешь Алжира, не знаешь, как было раньше. Француз, черноногий, которого приговаривают к смертной казни за убийство араба? И араб с ножом? На пляже? Без свидетелей. Прежде всего, зачем этот ненормальный оказался там на пляже? Бездельничал на солнышке? Играл со своим ножичком? Подстерегал европейских женщин, чтобы изнасиловать? Да нет, Анн-Мари, этот черноногий был бы немедленно оправдан, как совершивший убийство в порядке самозащиты, и присяжные еще принесли бы ему поздравления. Твой Камю просто морочит голову французам.

Анн-Мари пыталась мне объяснить, что не это важно. В сущности, с интеллигентами так же не стоит спорить, как с Моктаром. Моктар тебя просто не слушает. А интеллигенты, они слушают, но когда ты выскажешься, всегда выходит, что не это важно.

— Гильотинированный черноногий,— говорит Анн-Мари,— это, может, и неправдоподобно, но тут правдоподобие роли не играет, интерес книги вообще совсем не в этом.

Правдоподобие роли не играет! И она говорит тебе это с мягкой улыбкой, глядя на тебя своими голубыми глазами! Дело происходит в Алжире, сталкиваются араб и француз, о колониализме ни слова, но это, оказывается, не важно. Важна философия абсурда. Так-то. Я слушаю. Я весь обращаюсь в слух. Она говорит логично, последовательно, во-первых, во-вторых, в-третьих, она говорит красиво. Французский язык в устах женщины — красивый язык. Я слушаю и, поскольку я вижу по ее глазам, что очень огорчил ее, больше не спорю. Но для меня вопрос ясен, абсурдна в книге сама эта история.

После того случая она перестала заниматься моим литературным образованием. Видя, что я интересуюсь цифрами, она подарила мне книгу по арифметике, учебник для начальной школы. Эта книга всегда, везде со мной. Я и сейчас, по вечерам, лежа в постели, даже когда в бараке холодно, забавляюсь решением задач, спрятав под одеяло электрический фонарик, чтобы

не мешать братьям. И, решив задачу, думаю об Анн-Мари. Она полгода назад вышла замуж. Живет теперь в мужем в Лионе.

Анн-Мари никогда не смотрела на меня покровительственно. Мы были на ты, полное равенство, вместе гуляли, вместе ходили в кино, в кафе, и для меня после всего, что я пережил в Марселе и на заводе, где работницы гнали меня тряпкой, как цыпленка, который забежал в гурби поклевать крошки, это было важнее всего. Важнее, чем переспать. Потому что, должен сказать, однажды я попробовал ее поцеловать, но она подняла руку, поглядела на меня своими милыми глазами и сказала, как всегда рассудительно:

— Послушай, Абделаиз, во-первых; мужчина, которому я отдамся, будет моим мужем, во-вторых, если бы я влюбилась в тебя, я бы вышла замуж за тебя, в-третьих, с какой стати я буду тебя целовать, если я не собираюсь выходить за тебя?

Ну что ж, это по крайней мере было ясно и, кроме того, доказывало, что она ходит на улицу Симонно не в поисках мужчины.

Она позволяла мне только брать ее за руку, когда мы сидели в кино. Рука маленькая, узкая и длинная, легкая как перышко на моей ладони. И я думал: Абделаиз — это твоя сестра. Мне было хорошо рядом с нею, и, странно, я не испытывал влечения, я уже не желал ее, как вначале, когда она наклонялась надо мной, исправляя диктант, а я дурел, чувствуя ее дыхание на шее, ничего не слышал, и строчки расплывались у меня перед глазами. И вот всего месяц спустя та же девушка сидит бок о бок со мной в кино, ее детская ручка в моей ладони, это и вправду моя сестра. Я был счастлив, она стала мне родной, мне было хорошо, как-то надежно... Я все думаю о ней, думаю! Сажу рядом с Моктаром и Юсефом, мы молчим, я жую свой хлеб с плавленым сыром, кругом промозгло, серо, и она уехала так далеко, и я, как Моктар, разлучен со своей семьей. Сердце мое с нею, а сам я здесь. Я жду ее писем. О ней я не говорю никому, даже Джафару, я боюсь, что Джафар сочтет мою любовь к румии, которую я даже ни разу не поцеловал, глупостью. Как я был бы счастлив сегодня поспорить с ней о Камю. У меня в ушах звучит ее мягкий голос, ее «во-первых, во-вторых, в-третьих». У кого-нибудь другого это показалось бы мне нарочитым, но Анн-Мари — сама простота. Бог свидетель, она светла и прозрачна, как вода в стакане, эта девушка!

Прозвучал длинный свисток, конец перерыва. Я прячу в сумку остатки хлеба, встаю, смотрю на студентов за стеклом, они расхаживают там, смеются, а я здесь вкалываю как дурак, и у меня нет даже разряда. Я чувствую, что меня одолевает ханд-

ра, но стискиваю зубы, не поддаюсь. Если тебя одолеет хандра, ты свалишься, тебе конец, Абделаиз. Я иду к котлу, подбрасываю дров в костер, мешаю гудрон. Какая кухня для шайтана! Мне приходят на ум странные мысли. Например, вырвать из головы всезаботы и утопить их в гудроне, черные в черном, вот их и не видно. И вдруг у меня на душе становится легче, я распрямляюсь, я молод, я силен, как леопард, и я говорю себе, помешивая гудрон, главное — не оборачиваться. Анн-Мари тут, я чувствую ее за своей спиной, я, ее брат, Абделаиз, я не одинок.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

13 часов

Маленькая, худая, прямые бесцветные, коротко подстриженные волосы падают на лоб, глаза светлые, без следа косметики, лицо длинное, тонкое, асимметричное, похожа не то на цыпленка, не то на уличного мальчишку, очень, однако, серьезного, в вельветовых брюках горчичного цвета с проплешинами на коленях и ягодицах, в бумажной светло-коричневой рубашке, слишком просторной у шеи, в поношенном сером свитере грубой вязки и толстых нечищенных лыжных ботинках, Дениз Фаржо — двадцать лет, студентка ИППВШ¹, место жительства студгородок — вышла в 13.05, зажав книги под мышкой, с лекции Арнавана о Реконструкции в США. Как ипепевешовка, она получала 1060 франков в месяц и считала себя богаткой, но сэкономила на всем, чтобы купить подержанную малолитражку (цель: посетить Шотландию во время летних каникул, желательно с сокурсницами). Едва она выбралась на воздух, в лицо ей ударили дождь и ветер, и она, осторожно перепрыгивая лужи, побежала через четырехсотметровую полосу асфальта, гравия и грязи, отделявшую корпус А от реста. Странно, что архитектору не пришло в голову протянуть до реста центральную галерею. Дениз крепче зажала книги под мышкой и подумала: отделять жратву от духовной пищи — типичный спиритуалистский предрассудок буржуазного общества.

Перед рестом она замедлила шаг. На шести последних метрах к ней справа и слева тянулись руки с листовками. Дениз доб-

¹ ИППВШ — Институт подготовки преподавателей Высшей школы.

росовестно брала все — католические, НССФ¹, объединения литфаковцев, троцкистские, маоистские, ассоциации общежитийцев. Она по собственному опыту знала, каково топтаться два часа в грязи перед рестом, распространяя пропагандистскую литературу. С души воротит от эгоизма всех этих пижонов и пижонки из XVI округа, которые равнодушным жестом отвергают листовку или тут же ее бросают. Дениз остановилась около Мериля, высокого блондина атлетического сложения, веселого и краснощекого, — он раздавал листовки КСС².

— Салют, — сказала она. — Порядок? Может, подменить тебя, когда я выпью кофе?

Он покачал головой:

— Нет, нет, сегодня мой черед.

Она улыбнулась ему и на минуту задержалась, перечитывая антигошистскую листовку. Родил листовку Жоме, но Дениз, перед тем как ее перепечатать и ронеотипировать, предложила смягчить два или три выражения.

Она подняла голову:

— Гошисты не очень пристают?

— Нет, нет, — сказал он улыбаясь, — шьются, как всегда, походя, обычные мелкие оскорбления: ревизионист, социал-демократ, контрреволюционер — шаблон, что называется, — добавил он улыбаясь.

— Bueno, me voy a beber un cafecito³, — сказала она, поворачиваясь на каблуках и бросая ему через плечо дружеский взгляд.

— Hasta luego, compañerita⁴, — сказал Мериль. Произношение у него было свинское, но ему было приятно бросить ей несколько испанских слов, которые он знал.

Хотя застекленный с трех сторон нижний холл реста был огромен, Дениз, когда она вошла, охватило ощущение тепла и уюта. В центре зала, в своего рода квадратном бассейне без воды, куда вели две ступеньки, был бар. Гигантски разросшиеся растения отделяли один от другого маленькие столики, это было здорово. Свет падал сверху, и все казалось зеленовато-синим, словно в морских глубинах. Дениз заняла место в небольшой очереди у стойки и окинула взглядом студентов, сидевших за столиками. Сомнительно, чтобы к часу дня они уже успели пообедать на втором этаже. Нетерпеливые, вроде нее самой. Перехватили, наверно, в полдень какой-нибудь бутерброд в кафете-

¹ НССФ — Национальный союз студентов Франции.

² КСС — Коммунистический союз студентов.

³ Ладно, пойду выпью кофе (исп.).

⁴ До скорого, товарищ (исп.).

рии, а теперь пытаются залить неутоленный голод чашкой кофе. Она бросила взгляд на стойку: еще оставались куски савойского торта, тем хуже, она позволит себе порцию. Она присмотрела свободный столик неподалеку от одной из двух монументальных лестниц, которые вели в рест. Ну и народу на лестнице! Стоят вплотную, плечо к плечу, ступенька за ступенькой, и каждые две минуты поднимаются ступенькой выше; нет, правда, от них просто опупеть можно, готовы ждать полтора часа, чтобы набить брюхо. Прямо символично: нетерпеливые, сидя, созерцают восхождение терпеливых. Меня выводит из себя даже эта короткая очередь в баре. Она втянула в себя тяжелый, обволакивающий запах кофе, у нее засосало под ложечкой, она вспомнила о Мериле, там, на улице, под дождем: потрясный парень. На Кубе ни разу не скис за все три недели жизни в палаточном городке, несмотря на жару и усталость, и всегда заботился только о других, о себе никогда. Подошла ее очередь, она взяла порцию торта и два кофе.

Жоме назначил ей встречу на час десять. Осторожно неся кофе, она направилась к свободному столику у лестницы и принялась жадно поглощать торт, отламывая ложкой большие куски. Ее, в сущности, всегда удивляло, когда поносили Нантер: дома, в душной квартирке, она не такого навидалась. Старики вечно не ладили между собой. А ведь папа приносил со всеми надбавками и сверхурочными 1800 франков, и человек он положительный, непьющий. В сущности, мама не могла ему простить одного — что он рабочий. Она уважала его только по воскресеньям, когда он облачался в костюм и галстук. Право же, под конец я маму просто возненавидела, мы с Рене прозвали ее богомолком-безбожником — папу она поедом ела, а нам башку продолбила своим допотопным антиклерикализмом. И вечно все не по ней, во всем нетерпимость, ярость и тут же слезы на глазах, дрожь в голосе. Поэтому-то я и питаю с детства слабость к спокойным людям вроде Жоме. Когда я уехала из дому, папа, бедняжка, плакал тайком, спрятавшись в уборной, боялся ее насмешек. Но если подумать, в Женском педагогическом училище обстановка была еще хуже. Ну и заведение — казарменная дисциплина, никакой свободы, наказали меня только за то, что я пустила по рукам петицию против бомбардировки Ханоя; и на все училище всего два экземпляра «Монда», а профы смотрят на тебя сверху вниз, точно ты школьница, атмосфера монастыря, нескончаемые сплетни, долбежка до одури, беспощадная дрессировка, при этом еще шантаж, игра на твоём чувстве чести — вы призваны положить свой досуг на алтарь доброй славы нашего заведения,— ежесекундные напоминания об

ответственности за высокое звание училища, форменный идиотизм, в конце концов, мы — для училища или училище — для нас? Она размешала сахар, поднесла обжигающую жидкость к губам, стала отхлебывать небольшими глотками. Нантер в сравнении в этом — просто рай, никому до тебя дела нет, читай что вздумается, делай что вздумается, даже чересчур. Раньше, когда я не жила еще здесь, мне и в голову не приходило, что такое возможно, — девушка в полдень знакомится с парнем, а вечером уже спит с ним, да еще похваляется: для меня переспать, что чашку кофе выпить, и, вдобавок; презирует тебя: у тебя, мол, комплекс, ты просто чокнутая, раз так держишься за свою невинность. Дениз посмотрела на часы: четверть второго, Жоме опаздывает. Ну, не мое горе, будет пить свой кофе холодным.

Она поставила чашку. В гигантском застекленном холле все двигалось и гудело, наполняя его жужжанием, похожим на жужжание тысяч пчел на паслене в сезон цветения. В первую минуту это было приятно, но потом начинало действовать угнетающе, есть в такой толпе что-то нечеловеческое, пусть она и состоит из людей. Не будь КСС, мне здесь было бы одиноко. Любопытно, что человеку, чтобы существовать, необходимо существовать для других, в малой группе. Ну, только этого не хватало! Я, кажется, занимаюсь оправданием группок! Но ведь и КСС — группка. Сколько студентов-коммунистов здесь, в Нантере? Сотня, не больше. Но разница в том, что у нас за спиной — КП. В первый раз я ощутила силу партии на празднике «Юма» в 65-м. Там толпа не была суммой одиночеств, как здесь, это был единый, братский, радостный порыв. Его пульс был ощутим. У всех одна цель, все сплочены. Нет, я этого дня никогда не забуду, люди любили друг друга, заговаривали с незнакомыми, я вступила в КСС на следующий же день. Она посмотрела на пустую чашку, вытянула под столом ноги, уставилась в пол, подняв брови. С тех пор, конечно, возникали проблемы, или как выразился бы длинный Шарль, — перипетии. Например, в 66-м году, когда партия распустила сорбоннскую секцию КСС. Мне это тогда показалось догматизмом. Когда через несколько месяцев Андрие приехал в Нантер, я к нему обратилась с вопросами.

Она посмотрела на часы. Двадцать минут второго, ну где он шляется? Холодный кофе ни к черту не годится, даже запах не тот, напрасно он позволяет товарищам злоупотреблять своим временем, да еще шьется с кучей девчонок. Она опустила ресницы, пальцы ее сжали край стола; в конце концов, меня это не касается, он же не давал обет целомудрия, вступая в партию,

и потом, он такой милый, я убеждена, он просто не может им отказать. Когда я сказала об этом Мерилу, он хохотал до упаду, будто я несу невесту какую чушь. А я все равно так думаю. Но я, откровенно говоря,— и не в том дело, что я себя считаю такой уж красивой,— я бы ни за что не позволила, чтобы со мной спали из жалости, это унижительно.

— Привет,— сказал Жоме, садясь рядом.

Она вздрогнула и покраснела.

— Привет,— сказала она угрюмо.— Я не заметила, как ты подошел.

И, не глядя на него, добавила нарочито грубым, резким мальчишечьим голосом:

— Придется тебе пить холодный кофе.

— Ничего не попишешь,— сказал он, разворачивая сахар.

Она подняла на него глаза, пользуясь тем, что он смотрел в свою чашку: широкие плечи, квадратное лицо, черные глаза, под ними синяки, густые черные усы, прикрывающие губы, залысины на висках, вид у него был жутко старый — по меньшей мере двадцать пять лет. И спокойствие, главное, спокойствие. Он сидел перед ней, уверенный в себе, незыблемый, как утес. Он вынимал сахар из бумажки неторопливо, умелыми движениями больших терпеливых рук с квадратными, коротко подстриженными ногтями. Высокий, солидный, тяжелый. И сильный. Один голос чего стоит. Не часто услышишь от него «товарищ», а жаль. Вот на Кубе, там весь день только и раздастся: «соптрайего, соптрайего»; и так обращаются ко всем, даже к Фиделю, по-моему, это здорово. Но уж если Жоме произнесет это слово,— например, ты ему возражаешь, а он считает вопрос важным и отвергает твои возражения, в таких случаях он начинает всегда: «Товарищ, я тебе сейчас объясню...», и голос у него делается низким, глубоким, внушительным, просто все внутри переворачивается.

Она отвела от него взгляд и сказала:

— Там какой-то парень с тобой здоровается.

Жоме поднял голову и помахал рукой Менестрелю, который сидел один за столиком неподалеку от них.

— Наш?— сказала Дениз Фаржо.

— Нет, он политикой не занимается.

— А,— сказала Дениз презрительно,— «аполитичный»?

— Не совсем. Когда парни из «Запада»¹ напали на нас в прошлом году около реста, Менестрель пришел нам на подмогу, сам, спонтанно.

¹ Крайне правая молодежная организация.

— А,— сказала Дениз, глядя на Менестреля уже другими глазами.

Он сидел за столиком перед своей чашкой кофе, чистенький, зеленый юнец, отчасти папенькин сынок, но все же ничего, милый.

— Менестрель считает,— с иронией продолжал Жоме,— что «в данный момент» он политикой не занимается. Он свои студенческие годы «оставляет за скобками». Вот пройдет конкурс, тогда видно будет.

— А он пройдет?— сказала Дениз.

— Безусловно. Он смышлен и крепко вкалывает.

Дениз снова посмотрела на Менестреля. За несколько минут он значительно вырос в ее глазах. Из аполитичного субъекта стал антифашистом, из папенькина сынка — трудягой. Дениз трудяг уважала. Отец, мать, брат — в семействе Фаржо все вкалывали на совесть. Рене кончал на зубного техника, но уже зарабатывал себе на хлеб. К сожалению, он скатывался вправо. Он читал «Фигаро». И надо же, с грустью подумала Дениз.

— У него умный вид,— сказала она, не отрывая глаз от Менестреля.

— Не умный, а смышленный,— сказал Жоме.

Она подняла брови.

— Какая разница?

— Для меня ум это нечто всеобъемлющее, подразумевающее зрелость.

— А Менестрель не зрел?

Жоме покачал головой.

— Нет. В плане эмоциональном он даже несколько инфантилен. Зато в плане интеллектуальном...

Жоме сделал рукой движение вверх. Дениз взглянула на него, поглощенная его анализом.

— И чем это объясняется?

— Начальная школа, средняя, класс философии, два года в подготовительном, и все — не выходя из интерната. Он не жил, он учился.

— Понимаю,— сухо сказала Дениз и отвернулась.

О ней тоже можно сказать, что она не жила. Ладно. Значит, Менестрель невинен. Как я. Она посмотрела на него с безграничным изумлением. Неужели существуют и парни, сохранившие невинность, даже такие красивые парни? Это не укладывалось в голову. При всех преимуществах, которые у них есть, при всех правах, при всех поблажках. Менестрель ведь мог просто подойти к девочке и сказать, я хо-

чу переспать с тобой, и никто бы не счел, что он шлюха. Напротив, его сочли бы предприимчивым, мужественным. Его бы одобрили.

— Я был в помещении Культурного центра,— сказал Жоме, ставя чашку.— Спать можно. Группки затевают очередную фирменную бодягу.

— Они впустили тебя?

— Ты же знаешь их принципы. Они не фильтруют. Я, разумеется, удостоился нескольких любезностей вроде: «Эй ты там, контрреволюционер, ты что явился, чтобы доложить обо всем своей КП?» Или: «Хочешь, чтобы тебе рога обломали, дерьмо ревизионистское?» Но кто-то за меня заступился — оставь, мол, его в покое, у него такие же права, как у тебя. Пусть слушает и просвещается...

Жоме расправил плечи, оперся локтями о стол, развел своими большими руками с квадратными ногтями.

— Ну так вот,— продолжал он усмехаясь,— я просветился. Взяли двух их ребят. Катастрофа. Теперь они властям покажут — а что, собственно, покажут?

— Взяли двух их ребят?

— Из-за истории с «Американ экспрес». Вчера или позавчера. Да ты знаешь. Ребята из Национального комитета защиты Вьетнама бросили камень в витрину «Американ экспрес», сожгли звездное знамя и размалевали там все краской.

— Вспоминаю,— сказала Дениз.— Я не вижу в этом ничего дурного.

Наступило молчание.

— Я тоже,— сказал после паузы Жоме невыразительным голосом.— Но к чему ведут такого рода действия? Это авантюризм.

Глядя на свои ноги, Дениз сказала без всякого энтузиазма:

— Согласна, согласна.

— Хорошо,— сказал Жоме.— Как бы там ни было, крику сегодня у группировок хватало. Ну погодите, вот я засучу рукава, вот я задам перца таким разэтаким властям. Короче, когда я уходил, они ставили вопрос о переходе к «действиям».

— К каким действиям?

— Ну, не знаю,— сказал Жоме, барабанив пальцами по столу.— Я ушел. Весь этот фольклор не по мне, штучки в стиле Кон-Бендита: он на прошлой неделе прогуливался по галерее с двумя дюжинами парней, потрясая крестом и скандируя: «Че Чисус Христос. Че Чисус Христос. Че Чисус Христос».

— Но это даже забавно, правда,— сказала Дениз с улыбкой, подчеркнувшей асимметрию ее мальчишечьего лица.

И в тот же момент подумала вне всякой логической связи: а что если бы я попросила Жоме поехать этим летом вместе со мной в Шотландию на малолитражке? На миг ею овладела безумная надежда. Но она тут же упала с облаков на землю. Невозможно, он решит, что я делаю ему «авансы», поглядит на меня и с презрением подумает: и эта туда же. Она почувствовала, что краснеет, для него она была активистка, «своя в доску», надежный товарищ, «девочка, у которой в голове не только это». Она подумала в отчаянии, ах, как это все глупо!

Менестрель поднял голову и посмотрел на Жоме. Жаль, что с ним эта девочка, можно бы поговорить, тоска глотать кофе в одиночку. Читать, работать, бродить — все это хорошо делать одному, но когда сидишь одиноко за столиком со своей чашкой кофе, кажешься себе неудачником. Жоме всегда в компании, всегда окружен цыпочками или активистками. Два рода деятельности, резко разграниченные между собой: либо он им промывает мозги, либо лапает задницы (ха-ха!) . Во всяком случае, что-то он с ними делает. На этот раз, скорее — мозги, достаточно на нее взглянуть. Впрочем, сразу понятно: милая, серьезная, славная девочка. Но видик у нее — эти брюки, эта прическа, чучело, да и только. Из тех, которые воображают, что парни существуют только для разговоров о политике. Интересно, что такой бойскаутский или приютский вид бывает только у коммунисток и католичек. У настоящих, конечно, католичек, потому что остальные, вроде Жюли де Бельмон-Менестрель, смешно даже подумать... Но смеяться ему не хотелось, он чувствовал себя одиноким, заброшенным, все было худо, и в перспективе ничего веселого. Единственное, что его ждет, — работа ради куска хлеба и страшилы. Менестрель насупил брови, левой — резкий в живот, правой — прямой в морду, он выставил плечо, правая молниеносно метнулась вперед, нокаут. К сожалению, они опять поднимались, эти маленькие негодяи; после телефонного разговора с Демирмоном он нокаутировал их уже пять или шесть раз, но они снова вставали перед ним, неясные, неосозаемые и угрожающие, и всякий раз, чувствуя, как у него влажнеют ладони, обмякают ноги и сводит от страха живот, Менестрель сжимал кулаки, закрывая глаза, и внушал себе: я храбрый. Фраза отдавалась у него в мозгу, эхо раскатывалось по залам дворца, все, наконец, свершилось, страшилы были усмирены, они покорно шли за ним, лизали ему пятки, он приковывал их, как Цербера, к мраморной колонне, он выпрямлялся, он шагал из залы в залу грозной походкой и наконец добирался до сердца дворца, отдергивал красный с золотом занавес и там, посередине огромной комнаты, на квадратном ложе, — «Dearest, — говори-

ла миссис Рассел, приподымаясь на локте и глядя на него черными глазами Жаклин Кавайон, — я так вас ждала». Ангельский голос, низкий, мелодичный, длинное лиловое (как шарфы Тетелен) платье, ниспадающее полупрозрачными вкладками на обнаженные ступни. Менестрель отбросил шпагу, она подпрыгнула два или три раза на широких мраморных плитах и легла острием к ложу. Все было решено, он приблизился.

В нескольких шагах от Менестреля Моника Гюткен, востроносая, быстроглазая, подвижная, как белка, была поглощена тремя делами сразу: прямо, слушала Мари-Жозе Лануай, которая говорила о себе, секундо, рассматривала Менестреля, незаметно косясь в его сторону из-под ресниц, терцио, мысленно оценивала то, что было надето на Мари-Жозе: костюмчик от Дезарбра — 65000, пальто свиной кожи, небрежно накинутое на плечи, — я видела такое в витрине на Фобур Сент-Оноре — скажем, 80000, сумка из той же кожи — 15000, замшевые туфли — 18000, не считая колготок, косынки, белья. Все вместе самое меньшее 150000, и это она называет одеться простенько, для Нантера. Не спорю, все это прелестно, выдержано в рыжих светло-табачных, вяло-розовых, ржаво-осенних тонах. И вообще, хватит, подумала Моника, очаровательно улыбаясь Мари-Жозе, не стану же я завидовать этой... Конечно, у меня самой после папиной смерти не осталось ничего, кроме дребезжащей малолитражки десятилетней давности, туфель, которые промокают, свитера ручной вязки и юбчонки, купленной в универмаге; если все это имеет вид, то только потому, что во мне чувствуется порода. Все наше богатство сводится к квартире на улице Лапомп, мы еще держимся в ней, так как заблокирована квартплата, но и это, наверно, не надолго, до чего паршивая жизнь! Она смотрела на Мари-Жозе, на ее гладкую, плотно натянутую кожу, на ее голубые самоуверенные и пустые глаза, лоб, который редко краснеет и еще реже думает. Это не мешает ей разыгрывать со мной *upperdog*¹ а¹ или, точнее, *upperbitch* (а это неплохо!). Матч называет ее Мари-Шмари, но «*upperbitch*», на мой взгляд, лучше. Она, впрочем, не вредная, но она знает, и хорошо знает, что я знаю, что она знает, как я дорожу приглашением на ралли мамы Лануай в расчете встретить там «мальчика моей жизни», по возможности того же круга, к которому (теоретически) я по-прежнему принадлежу. Я уже по уши сыта этой ролью кузины Бетты.

— Я, ты понимаешь, Моника, — говорит Мари-Жозе Лануай искренне и доверительно, — я не очень красива, нет, нет, уве-

¹ Пес, который берет верх (в бою); bitch — сука (англ.).

ряю тебя, я отнюдь не обольщаюсь, ну, скажем, во мне есть шарм, и я стараюсь быть естественной, впрочем, мне не идет, когда я не естественна, я это заметила. Ты знаешь Мари-Анн?

— Нет, не уверена,— говорит Моника.

— Да знаешь, знаешь, ты видела ее у меня на последней вечеринке, такая высокая блондинка с длинными волосами и глазами как блюдца.

— Нет, не припоминаю,— говорит Моника с очаровательной улыбкой (лишнее доказательство, свинья ты этакая, что ты меня приглашаешь далеко не на все твои вечеринки).

— Ну, неважно,— продолжает Мари-Жозе, смущенно отворачиваясь,— это моя подруга детства, очень красивая, ну, ты представляешь себе жанр, из тех, что всегда должны быть повсюду первыми, самыми, самыми. Хорошо. Допустим, мы одновременно знакомимся с мальчиком, я сейчас же отхожу в сторону, я предоставляю сцену ей, играй на здоровье! Она берет с места! Я выжидаю некоторое время, а потом вступаю, ты понимаешь, что я хочу сказать, я даю мальчику сначала обратить внимание на нее, а сама жду, я не делаю первого шага, не трачу сил, я вступаю в игру, когда вижу, что он раскусил Мари-Анн, я знаю — проигрыша не будет.

Моника глядела на Мари-Жозе молча, с дружеской общинческой улыбкой, одобрительно покачивая головой. Но ноги ее под столом нетерпеливо двигались. Да как же ты можешь проиграть, идиотка несчастная, с миллионами твоего папаши?

Жоме медленными движениями набивал трубку, приминая табачные крошки своим квадратным пальцем, осторожно, со-размеряя нажим, в центре чашечки — легкий, ближе к краю — сильнее. Дениз Фаржо зачарованно глядела на него. Рене тоже курил трубку, но у него это выходило неряшливо. Стоило ему затянуться, что-то начинало булькать, как в водостоке, дело не ладилось, мундштук у него щербатый, сама трубка почерневшая, противная, пальцы перепачканы, повсюду пепел. Смотреть на Жоме было одно удовольствие. Она любила, когда он что-нибудь делал у нее на глазах, как любила смотреть на отца, когда тот мастерил полки на кухне или просверливал дыры в стене, забивая пробки. Ловко, чисто, умело. В сущности, ей было приятно сидеть бок о бок с Жоме в этом огромном, теплом, людном, неумолчно гудящем зале среди зеленых растений. От Жоме исходило ощущение покоя, надежности, уюта. Она благодарна смотрела на него, он вертел в пальцах свою трубку, казалось, он дома, на кухне, после обеда мирно, неспешно беседует с Дениз о делах в своем цеху.

— Я хотела бы с тобой посоветоваться,— сказала она,— мне тут один парень задал трудный вопрос.

— Из наших?

— Да.

Он зажал зубами мундштук, чиркнул спичкой, наклонил немного чашечку, подставляя ее пламени, и несколько раз коротко затянулся. Крошки табака вспыхнули, полезли вверх. Он вытащил из кармана какое-то небольшое орудие, старательно примял их и снова затянулся. Она отметила, что он обтер свое орудие бумажкой от сахара и только потом сунул его в карман.

— Выкладывай,— сказал он.

— Какие расхождения у троцкистов с прокитайцами в вопросе о Вьетнаме? Признаюсь тебе, я не знала, что ответить. По правде говоря, мне кажется, что они стоят почти на одних позициях.

— Почти,— сказал Жоме.

Он вынул трубку изо рта, и его губы под усами сложились в улыбку.

— Но есть оттенки. Например: троцкисты упрекают прокитайцев в безоговорочной поддержке ФНО¹.

Дениз широко открыла глаза.

— Почему?

— Это программа, заявляют троцкисты, откровенно правого толка...

— Ну, знаешь!— сказала ошарашенно Дениз.— Это же вопрос тактики!

— Разумеется,— сказал Жоме.— Но троцкисты смотрят на это иначе. Они считают, я цитирую, что «безоговорочная поддержка подобной реформистской программы является в плане интернациональном не чем иным, как проявлением безответственности...» Во всяком случае,— добавил он, и его губы под черными густыми усами опять сложились в легкую улыбку,— этот вопрос, по их мнению, должен быть предметом дискуссии...

— Дискуссии!— сказала Дениз.— Разве наша дискуссия может что-нибудь изменить в программе ФНО?..

Жоме повернул голову и поглядел на Дениз с понимающим видом.

— Ясное дело, нет.— И добавил:— Чего ты хочешь? Революционная чистота прежде всего.

Он затянулся и, помолчав, продолжал:

— По-моему, эти идиотские дискуссии о программе ФНО очень типичны для группировок. Вообще, любая секта возникает,

¹ ФНО — Фронт национального освобождения Южного Вьетнама.

как правило, в результате серьезных идеологических расхождений. Но как только эта секта возникла, она начинает вырабатывать свою особую фразеологию и смотреть на все со своей колокольни. И тут уж ей важнее отделить себя от соседней секты, чем эффективно бороться против империализма. Вторая фаза: по мере того как секта таким образом отрывается от действительности, ее доктрина превращается в священное писание, а каждый группак — в священнослужителя. Отсюда осуждения, отлучения, обличения. Тут мы имеем дело с такими, примерно, образчиками стиля: мы обладатели истины, а ты дерьмо, предатель, голлистская сука, ты ни хрена не смыслишь в Марксе, мы тебе рога обломаем, сволочь ты этакая...

Дениз расхохоталась, Жоме был в форме. Это она любила. Но бдительности не теряла. Пусть не думает, что она готова принять на веру все, что он скажет, только потому, что он — Жоме. Слишком уж он склонен всему находить объяснение.

Жоме вытащил трубку изо рта и потер мундштуком кончик носа.

— Разумеется, подобных любезностей удостоиваемся не мы одни. Они и между собой непрерывно ругаются. Во имя идеологии. Отсюда и процесс распыления сект. Достаточно, чтобы кто-нибудь один выразил несогласие, и готово: раскол. Группки распадаются на микрогруппки, а те в свою очередь на еще более крохотные. В настоящее время существует три или четыре троцкистских группы, три или четыре прокитайских, три или четыре анархистских, и на этом не кончится. Процесс пойдет дальше.

Жоме зажал трубку в зубах и сказал раздраженно:

— Есть в этих ребятах какая-то безответственность папенькиных сынков, которая приводит меня в ярость.

Они помолчали. Дениз покраснела.

— Вот тут, — сказала она резко, — я с тобой совершенно не согласна. Знаешь, Жоме, мне противно, что такой парень, как ты, повторяет благоглупости из передовицы, почерпнутые редактором в собственной чернильнице, поскольку в Нантер он даже носа не показывал. Ну кто, скажи на милость, папенькин сынок среди группак? Один Давид Шульц. А другие ребята — такие же, как мы с тобой, условно говоря, из средних слоев. Так? Зачем же тогда говорить, что группки состоят из папенькиных сынков, это неправда.

— А я никогда и не говорил этого, — сказал Жоме.

Но Дениз его перебила.

— И еще. Нечего заниматься дискриминацией наизуворот! Нечего утверждать, что родиться в определенной среде — пер-

вородный грех. Нельзя ставить в вину Давиду Шульцу, что он, сын известного хирурга, активно борется в рядах левых вместо того, чтобы записаться в группу «Запад».

— Вот что значит быть красивым парнем,— сказал Жоме.— Все девочки тебя защищают.

Дениз покраснела еще сильнее, на глаза навернулись слезы, и она сказала, не помня себя от бешенства:

— Пошел ты в задницу.

— То есть как?— сказал Жоме, повернув голову влево и глядя на нее из-под приподнятых бровей.

— Я тебе говорю, пошел ты в задницу,— сказала Дениз, слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам.— А на твой женоненавистнический, антифеминистский, реакционный аргумент мне с пятнадцатого этажа... Я уйду.

Она поднялась. Жоме схватил ее за руку и заметил, что она вся дрожит.

— Ну, послушай,— сказал он,— это просто глупо, неужели ты обиделась?

Жребий был брошен, Менестрель приблизился к широкому белому ложу. Обнаженные рабыни перехватили его, чтобы снять латы. Эта деталь пришлась ему по вкусу, он решил на ней задержаться. Рабыни, конечно, не рабы же, от них исходит такой аромат благовоний. А кто умащивает их благовониями? Сами? Другие рабыни? Три девушки были совсем юные, резвые, они немножко нервничали, развязывая толстые кожаные ремни его лат, посмеивались, перемигивались, прыскали, трясая гривами, ниспадавшими до самого круп. Менестреля возбуждали легкие прикосновения быстрых пальцев, бегавших по нему, все эти смешки, гримасы, аромат благовоний, летучие пряди волос, падавшие на озорные глаза, но в то же время его не покидало смутное чувство вины за эти проявляемые исподтишка знаки интереса к нему, он не смел показать, что замечает заигрывания раздевальщиц, взгляд миссис Рассел, серьезный, нежный, глубокий, по-прежнему был устремлен на него. Она лежала неподвижно, приподнявшись на локте. Пышная округлая грудь, полные скульптурные формы угадывались под прозрачным длинным лиловым платьем. В ее губах, глазах, мелких мягких морщинках у век было что-то ласковое, пленительное. Обнаженные рабыни исчезли, и Менестрель, замерев, смотрел на миссис Рассел. Просто невероятно, какое ощущение уверенности давал ему ее взгляд, ничего похожего на обескураживающую и агрессивную бойкость девушек, в которой были одновременно призыв и отказ. Этот взгляд дарил ему все: безоговорочное согласие, неисчерпаемое доверие, безграничную снис-

ходительность; эти округлые сильные руки обоймут меня и погрузят в пучину материнской плоти. Толчок, все исчезло, глаза Менестреля снова прозрели, активистка Жоме с глазами, полными слез, стояла у столика, Жоме держал ее за руку.

Моника Гюткен не видела, что Дениз встала. Она сидела к ней спиной, то и дело посматривая в сторону Менестреля своими живыми бойкими беличьими глазками и зондируя почву. Общество устроено неправильно. Когда девушке нравится парень, она должна иметь право подойти к нему и сказать, меня зовут так-то, ты мне нравишься, может, зайдешь после обеда, послушаем у меня пластинки? Вместо этого приходится бесконечно изыскивать какие-то предлоги, чтобы познакомиться. А попробуй действовать прямо, кем тебя будут считать? Какое ханжество, разве быть шлюхой не значит как раз плести все эти мелкие рабские интриги? Куда приятней было бы лежать с этим мальчиком на диване, отдаваться его ласкам, а не предаваться этому в мечтах или вот слушать сейчас, как *urрегбitch* разглагольствует о «глубине» своих отношений с друзьями. Уж эта мне «глубина», как все поверхностные люди, она просто влюблена в слово «глубина». И зануда, вдобавок: я, я, я, ни грана юмора. Любопытно, что у девочек, страдающих гипертрофией «я», это «я» редко заслуживает внимания. Единственно, что забавно, это ее голос, но тут уж она поистине ни при чем, а ее голос стоит того, чтобы послушать. Этот самодовольный, изнеженный, избалованный тон, эти удовлетворенные смешки, растянутые звуки, пришепетывание время от времени, у нее всегда такой вид, точно она себя дегустирует.

— Меня, должна отметить, мальчики не очень притягивают (короткий смешок на «тя-я», захватывающий «и-ив»), — сказала Мари-Жозе, — ты, конечно, удивишься, но, понимаешь, Моника, на мальчиков это как раз и производит впечатление, я их поражаю, а когда они заинтригованы и горят желанием узнать меня поближе, мне как раз и удается, я считаю, завязать с ними необыкновенно глубокие отношения.

Моника улыбнулась и сказала с невинным и серьезным видом, глядя на свои руки:

— Не опасно ли завязывать с ними такие уж «глубокие» отношения?

— Да нет, да нет, что ты вообразила, — сказала Мари-Жозе, музыкально повысив голос в конце фразы, — можешь мне поверить, я никогда не дохожу до конца, никогда, никогда, и не потому, что страшусь неведомого, и даже не из-за боязни последствий (смешок), но для меня просто не возникает даже та-

кого вопроса, я говорю себе, что в конечном итоге это не так уж интересно, то есть не до такой уж степени. Разумеется, если бы я обожала мальчика, но нет, даже в этом случае, знаешь, нет, я нахожу, что этот вид отношений очень быстро все опошляет, это цепи, и, в конце концов, коль скоро существует половой акт, он существует прежде всего для продолжения рода, и вне этого я не вижу в нем никакой пользы.

Моника переложила под столом ногу на ногу.

— Не видишь в нем пользы? — спросила она ровным голосом.

— Нет, не вижу, уверяю тебя (в конце фразы голос ее просто взвился), никакой; разумеется, другие могут ее находить, но я, право же, не вижу абсолютно никакой, и не в том дело, что меня не интересуют другие люди, напротив, я жду от них очень многого, но я чувствую, что по-настоящему глубокие отношения с мальчиками у меня не могут строиться на этой основе, так что почему бы не сохранить это (смешок)... для моего будущего мужа. Хотя сейчас я о замужестве даже не помышляю, для меня замужество это какой-то итог, конечная станция, а я хочу двигаться, повсюду бывать, встречаться с людьми, я хочу оставаться широко открытой всему.

Моника подавила смех, закашлялась, согнувшись вдвое и прикрыв рот рукой. Ну-ну, открывайся, открывайся пошире, Мари-Шмари, открывайся, тебе это необходимо.

Жоме слегка похлопая Дениз по руке, крепко зажав ее в своей широкой квадратной лапе. Дениз рухнула на стул рядом с ним, он склонился к ней и, не выпуская ее пальцев, сказал низким спокойным голосом:

— Ладно, я сморозил глупость. Беру ее обратно. Порядок?

— Порядок, — сказала Дениз, не глядя на него.

Он выпустил ее руку. Дениз пошарила в кармане своих горчичных вельветовых брюк, отыскивая платок, вытерла щеки. Жоме искоса смотрел на нее. Платок у нее был не маленький, сжатый в комочек, а большой, жесткий, крестьянский платок. Эта деталь тронула Жоме. Он снова склонился к ней и сказал, дружески посмеиваясь:

— Ну, а как твоя малолитражка, подвигается? Надеюсь, ты за это время набрала хоть на колеса?

Она порозовела. Беседы с Жоме не часто принимали такой личный характер.

— И даже на часть мотора, — сказала она благодарно.

Он выпрямился и, вздохнув, сказал:

— И везет же тебе, поедешь в Шотландию. А я даже еще не знаю, что буду делать в летние каникулы.

Дениз побледнела и сердце ее бешено заколотилось. Она слышала, как оно бьется о ребра. Что это значит «и везет же тебе»? Слова, брошенные на ветер? Намек? Она спрятала руки за спину, слышит ли Жоме эти удары тарана в ее груди? Она не могла сосредоточиться. «И везет же тебе» — что он хотел этим сказать? Просто доброе слово? Протянутая рука помощи? А если спросить: «Хочешь, возьму тебя?», не примет ли он это за авансы? В висках у нее стучало, колени обмякли, руки дрожали. Она чувствовала, что стоит на пороге какого-то решающего события, и не могла даже собраться с мыслями, она сделала над собой огромное усилие, нет, вот сейчас скажу ему: «Хочешь, мы возьмем тебя». Безлично, неуязвимо, я приглашаю его от имени какой-то группы, даже если этой группы пока еще на самом деле не существует.

— Если вернуться к группкам,— сказал Жоме своим спокойным голосом,— то, разумеется, ребята в них примерно того же социального происхождения, что и мы. Тут ты совершенно права, только ведут они себя по-другому. Я не хочу обобщать, но посмотри хотя бы на тех, которые живут в общежитии, какой образ жизни они ведут...

Теперь он был в своей стихии. Дениз скрестила руки на груди и, засунув ладони под мышки, с отчаянием подумала: слишком поздно, я упустила момент, все пропало.

— Ты сама не хуже меня знаешь,— продолжал он, и она слышала, как его голос с каждой секундой удаляется от нее все дальше и дальше.— Ни черта не делают, шлындрают по Парижу, пристают к женщинам, зашибают, возвращаются в Нантер отоспаться, а придя в себя, начинают «политическую работу» — два часа в день!..

Он замолчал и посмотрел на Дениз, точно ждал от нее ответа, она сказала едва слышно:

— Ну, не все. Прокитайцы не такие. Троцкисты тоже. Они скорей уж аскетичны.

Он молчал, и Дениз подумала: а я? Я тоже скорей аскетична? Она оглядела себя: старый свитер, горчичные брюки, грубые ботинки. Слева от нее поднялись две девушки — красивая брюнетка, тонкая, сексапильная, с дерзким взглядом, и маленькая самоуверенная блондинка в пальто свиной кожи, наброшенном на плечи, в замшевых туфлях, с сумкой цвета вялой листвы. Они направились к выходу, изящно лавируя между столиками, весело переговариваясь, не обращая ни на кого внимания, зато на них были устремлены все взгляды. И Жоме тоже смотрел на них с видом ценителя, ноздри у него раздувались — большой дворовый пес, обнюхивающий комнатных собачек.

— Вот именно,— сказал Жоме, возвращаясь к разговору.— Эти впадают в другую крайность. Активисты двадцать четыре часа в сутки. Попы, да и только. Результат: в жертву приносится учеба.

И так как Дениз молча глядела на него, он добавил:

— Глупее некуда. Все равно, что отказываться от жратвы только потому, что пища поступает по капиталистическим каналам.

— Ну, не совсем,— сказала Дениз.— Когда речь идет об образовании, то отравлена сама пища.

Жоме потер правую ноздрю мундштуком.

— Да, но отравлена весьма неравномерно. Когда имеешь дело с конкретными вещами, следует различать оттенки.

Дениз положила ладони на свои старые брюки горчичного вельвета и засопела. Мало-помалу ею овладевало обычное возбуждение споров с Жоме. Но подлинной радости она не чувствовала. Где-то в глубине оставался привкус горечи. Они снова попали в избитую колею общения двух активистов. Разговор был интересный, но совершенно безличный. Жоме разговаривал с ней, она почти ощущала тепло его плеча, но он был далеко, ужасно далеко. Он был так же недосыгаем, как если бы ее отделила стеклянная клетка.

Она выжала из себя:

— Есть ведь люди, которые жертвуют жизнью ради идеи. Почему же активисту не пожертвовать образованием ради политической цели?

Жоме поднял чашечку своей трубки к глазам и сказал с какой-то торжественностью:

— Не следует смешивать. Это разные вещи. Жизнь — это то, что можно отдать в борьбе. Знания — подготовка к борьбе.

— И ты считаешь, что знания, получаемые в буржуазных университетах,— хорошая подготовка к революционным битвам?

— Да, я убежден в этом. Знания остаются знаниями. От тебя самой зависит превратить их в оружие и повернуть против общества, которое тебе дало эти знания. В сущности, ты, Дениз, сама это отлично понимаешь...

Он не часто называл ее по имени. Ее затопило счастье. Я тотчас она подавила в себе это чувство с какой-то даже яростью, ну нет, с этим покончено, покончено, она больше себе этого не позволит.

— Большинство известных революционеров,— продолжал Жоме,— блестяще учились в буржуазных университетах. Карл Маркс защитил диссертацию по философии в Берлинском уни-

верситете, Ленин сдал экзамены на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, Фидель Кастро — доктор права...

— Можешь не развивать,— сухо сказала Дениз,— я не спорю.

Они замолчали, Жоме поглядел на нее и сказал спокойно:

— Ну и прекрасно, ты сегодня необыкновенно любезна.

Перед ними вдруг возникла какая-то массивная фигура. Они одновременно подняли головы. Это был Мериль, белокурый, косая сажень в плечах, веселая ухмылка.

— Тебе ни за что не догадаться,— сказал он вполголоса, сядя напротив Жоме и склоняясь к нему,— какое решение вынесли группки.

Он сделал паузу и, прищулив глаза, с хитрым видом поглядывал то на Жоме, то на Дениз.

— Ну?— сказал Жоме.

— Ссылаюсь на источник,— сказал Мериль.— Мишель. Он досидел там до конца. Если нужно, он может подтвердить.

— Да разродишься ли ты, наконец, черт побери,— сказала Дениз раздраженно.

Мериль с изумлением поглядел на нее.

— Не придавай значения,— сказал Жоме.— Товарищ немного нервничает.

— А, вот оно что,— сказал Мериль, тряхнув своей крупной белокурой головой и глядя на Дениз с видом человека, которого успокоили. Значит, она сердится не на него, просто немного нервничает. Впрочем, девочки вообще...— Ладно,— сказал он, поворачиваясь к Жоме.— Держись крепче, а то упадешь: группки решили предпринять ка-ра-тель-ные операции. Чтобы наказать власти за арест двух своих ребят, они решили оккупировать сегодня ночью административную башню Фака.

— Вот кретины!— сказал Жоме.

Они все трое молча переглянулись. Жоме спросил:

— Сообща?

— Что сообща?— сказал Мериль.

— Группки собираются ее оккупировать все сообща?

— Нет,— сказал Мериль.— Только КРМ¹, анархисты и ребята из НКВ². МЛ³ против. И другая троцкистская группка тоже. Они решили воздержаться.

¹ КРМ — одна из троцкистских группок

² НКВ — Национальный комитет защиты Вьетнама.

³ МЛ — одна из маоистских группок.

— Ну вот, пожалуйста,— сказал Жоме, разводя своими большими квадратными ладонями.— Просто невероятно. И чего они рассчитывают добиться такого рода акциями? Их едва наберется сорок человек, они разобщены и никогда не смогут объединиться, и при этом еще пускаются на идиотские провокации.

— Ну хорошо,— сказала Дениз решительно,— что будем делать?

— Очень просто,— сказал Жоме.— Выпустим листовку. Она посмотрела на него.

— Ты меня извини,— сказала она резко,— но я нахожу это нелепым. Они захватывают башню, а мы тем временем чем занимаемся? Рожаем листовку!

Жоме вытянул блюдечко из-под чашки и принялся чистить трубку с помощью своего орудия.

— Слово имеет товарищ Фаржо,— сказал он добродушно.— Слушаем ваши предложения.

— Ну,— сказала Дениз,— соберем товарищей и сорвем акцию группакгов.

— Ты хочешь сказать, что мы помешаем им занять башню?— сказал Мериль, и его белесые, почти бесцветные брови взметнулись над светлыми глазами.— Ну, ты сильна, старуха! Ты отдаешь себе отчет, какая будет драка?

Жоме улыбнулся.

— Браво. Мы отрезаем путь группакгам. Ломаем друг другу рога. А завтра на всех стенах — плакаты. Кто мы на этих плакатах? «Открытые пособники властей», «внештатные полицейские», «прихвостни декана».

Дениз отвернулась, не отвечая. Ее душили слезы, и в то же время она была зла на себя. Неспособна даже толком поспорить с ребятами. Глаза на мокром месте. Хуже чем цыпочки, с которыми путается Жоме. Хуже, потому что те по крайней мере не воображают, что способны думать.

Жоме вдруг положил руку ей на плечо. Она вздрогнула от неожиданности.

— Полно,— сказал он,— я тебя понимаю. Сейчас не очень-то весело быть студентом-коммунистом. Нас всего горстка, ряды наши не слишком растут, оскорбления сыплются со всех сторон, а эти придурки-группаки развлекают галерку своими клоунскими выходками и делают полный сбор. Но видимость обманчива,— голос его вдруг окреп, наполнился мощью, как звук органа; сжав кулаки, он вытянул перед собой руки.— Что они представляют в стране, эти группки?— Он раскрыл ладони.— Пустое место, ровным счетом ничего. Можно ли сравни-

вать! Пусть здесь нас всего горстка, но за нами большая, очень большая партия с миллионами избирателей, со своими муниципалитетами, своими газетами, своими журналами, своими писателями. Так что мы, понимаешь, Дениз, мы не можем позволить себе держаться в Нантере, как школяры, которые устраивают профам розыгрыши...

Когда он произнес: «за нами большая, очень большая партия», в его голосе что-то дрогнуло, и в сердце Дениз отозвалась эта дрожь. Да, он прав. В партии люди разумные, ответственные, взрослые. Может, чересчур. Она одернула себя. Нет, когда несешь ответственность за такую мощную организацию, организацию, которая выковывалась на протяжении полувека, нельзя себе позволить пойти на риск и нельзя допустить, чтобы из-за мальчишеской выходки власти получили возможность прибегнуть к репрессиям.

— Ну так как,— сказал с нетерпением Мериль,— делаем мы эту листовку? Давай, рожай ее. Дениз размножит, а мы с Мишелем раздадим.

Жоме взглянул на него, взглянул на Дениз, кивнул головой, взял со стола обертку от сахара, неторопливо протер ею свое орудие, спрятал его, вытянул шариковую ручку из внутреннего кармана куртки. Их там было четыре, укрепленных рядом, и он мгновение помедлил, нащупывая, какую выбрать.

Шариковая ручка покачивалась в руке Менестреля над листком бумаги, лежавшим на столе, залитым кофе, но он не писал. Он катил под вечер в роллсе миссис Рассел по нормандской дороге по направлению к Довиллю. На переднем сиденье, отделенном от заднего стеклом, шофер. Видна только его бритая красная шея и флоская каскетка. Пожилая кухарка в сером платье, горничная, довольно смазливая; когда хозяйка на нее не смотрит, она исподтишка строит глазки Менестрелю. Двое других слуг выехали заранее поездом, чтобы приготовить виллу к приезду хозяйки. На заднем сиденье, по левому борту — бабушка, она плохо себя чувствует, то и дело задремывает; по середине — миссис Рассел. Рядом с ней Менестрель. На откидных сиденьях — страшили (совершенно укрощенные). Тишина, как в футляре для драгоценностей, обтянутом изнутри серым шелком, подбитым ватой, не слышно, разумеется, даже мотора; поразительное ощущение мощи, интимности и надежности, едва уловимое покачивание и нормандский пейзаж, скользящий за окнами. Впрочем, машина идет на малой скорости, давая обогнать себя даже смехотворно крохотным малолитражкам. Бабушка очень толста, и Менестрель чувствует левым боком тело миссис Рассел, тоже обтянутое шелком, надушенное, рос-

кошное. Она на него не смотрит, с ним не разговаривает, она выше всякой беседы. Менестрель созерцает через окно яблони в цвету (см. Пруста) и маленьких нормандских коров, кудрявых, прелестных, с черными пятнами под нежными наивными глазами, так и хочется остановиться, чтобы почесать им кудерьки между рогов. Рукава у миссис Рассел хитроумного покроя, они застегиваются у запястья, но от манжета до локтя идет разрез, через который видна рука, пальцы ее придерживают сумку, лежащую плашмя на теплой ляжке, которая прижата к ноге Менестреля. Убаюкивающее движение машины, серебристо-серые сумерки, розовые и белые цветы, сейчас уже едва различимые, — как сладка эта ночь, мягко смыкающаяся вокруг обитого шелком, безмолвного, надушенного футляра. Пучок света вырывается из фар. Шофер переключает регулятор на приборном щитке своей красной короткой и жирной рукой. Прирученные страшили одновременно поворачивают свои породистые красивые головы к свету. Миссис Рассел кладет левую руку на сумку, ее правая рука слегка приподнимается и мягко падает на левую руку Менестреля. Он недвижим, инертен, он отсутствует, сознание отключено. Пальцы Менестреля, охватившие руку, обнаженную прорезью рукава, не шевелятся. Они уже не принадлежат ему. Лицо миссис Рассел застыло, она глядит на дорогу, расстилающуюся перед черным вытянутым мощным капотом машины. А Менестрель, отведя глаза к стеклу, созерцает ночь. По неподвижному телу пробегает дрожь, сотрясая его с головы до ног, грудь расширяется, потоки молодой крови полнят ляжки, в мозгу звучит триумфальная песнь, ему кажется, что земля больше не удерживает его и что он сейчас взлетит.

— Безумное счастье, — сказал Менестрель, он подумал о Стендале, все вдруг исчезло, под его ручкой обнаружился листок бумаги, белый на темном столе; Менестрель сочинял стишок, задуманный еще в читалке. Бар гудел голосами, звуками шагов. Жоме, сидевший неподалеку, тоже что-то строчил, девочка-скаут склонилась, читая, а рядом, согнувшись над их спинами, стоял светловолосый парень. Менестрель прикрыл глаза. Он попытался вновь пережить исчезнувшее волнение. Нет, все было кончено. Он с удивлением оглядел свое тело. Он сидел здесь, за столиком, один, заброшенный, перед пустой чашкой, он писал смешной стишок, не имевший никакого отношения к тому, что он только что пережил, да, именно пережил. Тут, в моей левой ладони, — он посмотрел на нее — свежесть ее округлой руки. В нескольких шагах от себя он заметил Жаклин Кавайон; она разговаривала с другой девочкой; как она посмотрела на него после семинара, она стояла в нескольких метрах, а у него

было острое чувство обладания. Менестрель с трепетом подумал, девочки будут меня любить, и его перо опустилось на бумагу, он стал писать.

— Вот,— сказал Жоме, подняв голову.— Нацарапал. Пойдет?

Дениз медленно перечитала текст, не пропуская ни слова. Она всегда относилась к этому с чудовищной добросовестностью, придиралась к отдельным выражениям, запятым, взвешивала уместность терминов, обдумывала, не будет ли это в плане политическом... Жоме смотрел на нее, все это его забавляло, злило, умиляло. В сущности, нет никого лучше этой малявки — совершенно не думает о себе, добродетельна до мозга костей и в то же время наивна, по-настоящему наивна, а не разыгрывает из себя святую простоту, как все эти шлюхи.

— Послушай,— сказал он добродушно,— перестань ты придирааться.

— Я перечитываю,— сказала она с вызовом, не отрывая глаз от листовки.

На самом деле Дениз даже не могла читать. В горле у нее стоял ком, строчки прыгали перед глазами... Я всем отвратительна, гнусный характер, слезы, заявила, что уйду, набросилась на ребят, какой стыд.

— Кончила?— сказал Мериль.— Ну, чего ты тянешь!

— Оставь меня в покое,— сухо сказала она, склонившись над листовкой.

Мериль обменялся улыбкой с Жоме поверх соломы ее волос. Ох, уж эти девочки! Дениз слышала, как ребята над ее головой рассуждали о создавшейся ситуации, мирно перекидывались словами. Нет, читать она не могла.

— Ну вот,— сказала она и встала, держа в руке листовку.— По-моему, все в порядке. Я сматываюсь. Привет.

— Подожди меня,— сказал Мериль.

Жоме проводил их взглядом.

— Можно сесть к тебе?— сказал Менестрель; подсаживаясь к столику.— Я не помешаю? Ты не ожидаешь еще одну прихожанку?

Жоме рассмеялся и искоса посмотрел на Менестреля. Этот паренек ему нравился. Живой, насмешливый, милый. И, несмотря на свое происхождение, сердцем склоняется влево.

— Садись,— сказал он, подняв брови,— не вечно же говорить о серьезных вещах.

— Но я как раз собираюсь говорить с тобой о серьезных вещах,— сказал Менестрель.— Пока ты промывал мозги активистке, я почувствовал, что затяжелел стишком.

Жоме посмотрел на него.

— Не вижу следов беременности.

— Я разродился,— сказал Менестрель со стыдливой миной.— Вот дитя.

Он вытащил из кармана бумажку. Это была листовка, ему сунули ее у входа в рест, и он использовал обратную сторону. Просто поразительно, сколько листовок потреблял Нантер.

— Прочешь?

— А сколько в нем строк, в твоем стихе?

— Восемь.

— Тогда давай.

— Ах ты ревизионистская контрреволюционная сволочь,— сказал Менестрель,— если ты предпочитаешь короткие стихи, почему ты читаешь Арагона?

— А я его не читаю.

— Какой позор! Члена ЦК!

Уперев ладони в ляжки, Жоме расхохотался. Вот так. Это была хорошая минута. Они сидели бок о бок, плечо к плечу и несли чепуху.

— Вернемся ко мне,— сказал Менестрель.— Я назвал свой *opus magnum*¹ — «Опыт порнопоэзы». Будут комментарии?

— К заглавию — нет.

— А ведь тут имеется довольно изящная аллитерация.

— Знаешь, есть русская пословица: курочка в гнезде...

— Ладно. Продолжаю. Это диалог.

— Давай договоримся, это стих или пьеса?

— Это стих в диалогической форме.

— Внимаю.

— Вот,— сказал Менестрель.

ОПЫТ ПОРНОПОЭЗЫ

— Барон, какой большой у вас... урон!

— Увы, маркиза, был несчастный случай...

— О Божё! Случай ваш не самый лучший!

Пожалуйста, барон,

Подите прочь и кликните лакея.

— Лакея? О мадам! Ничтожество! Плебея!

— А что! Плебей способен вызвать страсть.

Была бы у него мужская снасть! ²

¹ Великое творение (лат.).

² Перевод А. Ревича.

Жоме хохотал, запрокинув голову. Он ощущал возле своего плеча плечо Менестреля, также сотрясавшееся от смеха. Через минуту Жоме затих и сделал серьезное лицо. Менестрель, подражая ему, также перестал смеяться и, положив руки на стол, сказал с важным видом:

— Будут комментарии?

Жоме нахмурил брови, поднял указательный палец правой руки и сказал, четко артикулируя:

— Форма строгая. Идея отличается чистотой. Легкая кальвинистская тенденция уравнивается влиянием Поля Клоделя.

— Позволь,— сказал Менестрель оскорбленно.— Я принимаю Клоделя, но против кальвинизма протестую. Несмотря на свою прогрессивную направленность, стихотворение лежит целиком в католической традиции.

— Прогрессивную направленность?— сказал Жоме, склоняя голову и морщась.

— Я удивлен,— сказал Менестрель.— Я удивлен, что ты не ощутил дыхания революции. В двух последних строках уже содержится весь дух 1789.

— Дух санкюлотов.

Они переглянулись, довольные друг другом. Вот. Это было здорово. Несмотря на разницу во взглядах, они понимали друг друга с полуслова. Они чувствовали себя сообщниками. Мир состоял, с одной стороны, из слабаков, старых кретинов, которые слишком принимали себя всерьез и ни хрена не тумкали, а с другой стороны, из молодых парней, таких, как они, сильных, сообразительных и полных жизненных соков.

— Вам весело, — сказала Жаклин Кавайон, держа в руке чашку кофе.— Можно, я сяду с вами?

Менестрель посмотрел на нее и на девочку, которая стояла рядом. Широкие скулы, слегка раскосые глаза, матовая кожа — все свидетельствовало об эстетически удачном смещении по крайней мере трех рас, с явным преобладанием, во всяком случае во внешнем облике, белых предков.

— Конечно,— сказал Менестрель. Он сам не понимал, радуется ли или нет это вторжение. Высокая полукровка со своей стороны не скрывала, что затея Жаклин ей совсем не по душе.— Конечно,— повторил Менестрель.

Девушки сели. Жаклин поспешно, ее приятельница с оскорбительной медлительностью, не глядя на мальчиков, храня выражение снисходительного презрения на своих полных губах. Менестрель сложил исписанную листовку и сунул ее в карман.

— Вы знакомы?— сказал Менестрель.

Жоме покачал головой.

— Жоме,— сказал Менестрель, сделав неопределенный жест рукой.— Социолог. Живет, как и мы, в общежитии. Жаклин Кавайон.

Он посмотрел на метиску, подняв брови и как бы спрашивая ее имя, но та откинула голову, поглядела на него со спокойной наглостью и отвернулась, не сказав ни слова.

— Ида Лоран,— равнодушно сказала Жаклин.— Я тебя знаю,— продолжала она оживленно, впериw в Жоме свои великолепные глаза.— Я обратила на тебя внимание на последней Г. А. в общежитии. Ты, похоже, был против.

Глаза Менестреля опять остановились на Жаклин. Он вспомнил с приятным чувством обладания, как она посмотрела на него, выходя с занятий Левассера. Жаклин откинулась на спинку стула, выпятив живот, ее круглое лицо было обращено к Жоме. Она была в узком черном выше колен платье с молнией спереди, облегавшем ее полное тело; ноги, обтянутые черными колготками с геометрическим рисунком, были скрещены. Ида Лоран сидела рядом с ней, положив руки на ногу, выпрямившись в изящной, но напряженной позе. Лицо ее было неподвижно, как у идола, властные раскосые глаза не отрывались от Жаклин Кавайон. Недурна девочка, можно даже сказать в определенном плане красива, но зато холодна, враждебна, полна отталкивающего презрения. Вот чокнутая, что я ей сделал? Или вся моя вина в том, что я парень?

Поскольку Жоме ей не ответил, Жаклин повторила:

— Ты, похоже, был против.

Жоме нежно поглаживал чашечку своей трубки. Когда он заговорил, голос у него был какой-то механический, точно он сам не придавал своим словам никакого значения:

— Я согласен с общими требованиями, утвержденными Генеральной ассамблеей, но полагаю, что степень важности каждого из них определена неверно.

— Не поддавайся, Жаклин,— смеясь, сказал Менестрель.— Он тебе сейчас станет промывать мозги.

— Например?— сказала Жаклин, по-прежнему не отрывая взгляда от Жоме.

— Следует начать с самого важного,— сказал Жоме все тем же безразличным голосом,— потребовать отмены параграфа о сроке пребывания. То, что студент может жить в городке не свыше трех лет, недопустимо. Ему едва хватит времени подготовиться к экзаменам на лиценциата.

— Ну хорошо, согласна,— сказала Жаклин каким-то отчужденным голосом, точно она его не слушала.

— Второе — свобода собраний, в том числе, разумеется, и политических. И третье — свобода культурных мероприятий.

Он замолчал.

— А свобода хождения по общежитию? — внезапно сказала враждебным голосом Ида Лоран.

Жоме зажал зубами трубку.

— Откровенно говоря, — сказал он, не отводя взгляда от лица Жаклин, — я рассматриваю это, как вопрос второстепенный, это все — фольклор. Поскольку девочки имеют право ходить к парням и даже оставаться у них ночью, разве так уж необходимо, чтобы ребята имели право ходить к девочкам?

— Я с тобой совершенно согласен, — сказал Менестрель.

— Значит, ты считаешь нормальным, — сказала Ида Лоран свистящим голосом, — чтобы у ребят были права, которых девочки не имеют! Ты приемлешь подобную дискриминацию!

Она обращалась к Жоме, но не смотрела на него, и Жоме не смотрел на нее. Взор Жоме не отрывался от Жаклин. Менестрелю стало неловко. В этом разговоре было что-то ненормальное, что-то до странности напряженное. Казалось, слова, произносившиеся вслух, не имели никакого значения, важно было то, что не говорилось. Например, взгляды. Ида Лоран смотрела только на Жаклин, которая совершенно не обращала на нее внимания. Из ребят не был обойден вниманием Жоме, Жаклин так и ела глазами этого битюга с его залысинами и усищами. Впрочем, одна только Жаклин могла похвастаться тем, что на нее смотрели все трое. Что до меня, дело ясное: я просто не существую. Ни для Жоме (ну, на это мне плевать), ни для этой Иды, как ее там (этой чокнутой), ни для Жаклин. Менестрель пытался внутренне настроиться на тон холодного и стороннего наблюдателя. Но стеснение в груди свидетельствовало, что это ему не удастся.

— Ну, не такая это уж серьезная дискриминация, правда? — вяло сказал он.

Жаклин закинула руки за спинку своего стула, отчего грудь ее выпятилась. Ида Лоран вытянула ноги, покраснела, глаза ее сверкнули. Не отрывая взгляда от Жаклин, она ткнула в сторону ребят обвиняющим пальцем.

— Они фашисты, — сказала она с сокрушительным презрением. — Они погрязли в женоненавистничестве и дискриминации.

— Фашист? Я? — сказал Менестрель, пытаясь рассмеяться, чтобы разрядить атмосферу.

Но его вмешательство прошло незамеченным. Никто даже не взглянул на него. Жоме безмолвствовал. Он сосал свою трубку, уставившись на Жаклин.

— Возьмем пример,— продолжала Ида с яростью.— Парень влюбляется в кошечку, которая живет в Нейи с родителями. Если она не прочь, он может принять ее у себя в комнате в общаге. Ладно. Предположим теперь, что я влюбляюсь в парня, который живет в Нейи: могу я его принять? Нет. И ты считаешь это справедливым?

— Но зачем же выбирать парня из Нейи? — сказал Менестрель с натянутой улыбкой.

— А почему бы и нет? — сказала Ида, пожимая плечами и не уходя с него взглядом.

— Почему не из общаги? — продолжал Менестрель выдавливая из себя смешок.— Нас семьсот, выбор богатый.

— Не говори глупости,— грубо оборвала его Ида.

Менестрель покраснел. Ну и мегера! Я один соглашаюсь вступить с ней в разговор, а она еще на меня кидается. И вообще, что за идиотский разговор! Точно эта Ида может влюбиться в парня! И захотеть, чтобы он к ней пришел! Во всем этом с самого начала была какая-то фальшь. Фальшь, неправда, гадость. Наступило молчание, и в тишине все взгляды опять сошлись на Жаклин. Она сидела, закинув руки за спинку своего стула, точно связанная пленница, которая отдана вождю племени. Ноздри Жоме подрагивали, он сосал свою трубку, устремив на Жаклин странный взгляд, в котором было и настороженное ожидание, и хитроватая печаль, и какая-то собачья просительность. Я его возненавижу, этого типа, подумал Менестрель с удивлением.

— И еще одно,— заговорила Ида все с той же яростью, по-прежнему не отрывая взгляда от Жаклин.— Я иду к мальчику, в его комнату. Кто я в глазах девочек, которые видят, как я вхожу в мужской корпус? Я тебе скажу,— сказала она с лицом, искаженным гримасой отвращения,— я — «девчонка, которая набивается».

— Подумаешь! — сказал Жоме, не глядя на нее.

— Нет, я считаю, Ида права,— вдруг глуховатым голосом сказала Жаклин.

Это произвело эффект электрошока. Все трое замерли. Прошла минута, они тревожно ждали.

— Представь себе,— сказала Жаклин, пристально глядя на Жоме,— что, увидев, как я вхожу к тебе три-четыре раза в неделю, ребята с твоего этажа станут говорить: «Это девчонка Жоме». И заметь, они будут так говорить, даже если мы сохра-

ним вполне невинные отношения. И вот, готово, у меня уже рылык — я «девчонка Жоме», я — твоя собственность.

— И тебе было бы неприятно, если бы так говорили? — сказал Жоме, глядя на нее без улыбки.

Руки Жаклин легли на стол, точно кто-то внезапно разрезал веревки, которыми они были прикручены к спинке стула. Кровь прилила к ее щекам, грудь вздымалась, дыхание стало прерывистым.

— Да, — сказала она, — мне было бы неприятно, если бы это не соответствовало действительности.

Наступило молчание. Менестрель опустил глаза и, окаменев, смотрел в пол. Все произошло так мгновенно и неожиданно. Тут, прямо на его глазах, оба, и с каким-то даже невинным видом. О, я его ненавижу, подумал Менестрель. Он почувствовал, что слезы ярости застилают ему глаза. Он смотрел на пол, усеянный окурками, на ноги Жаклин, на стиснутые кулаки Иды Лоран, лежавшие на коленях. Какая грязь, всюду грязь! Он поднялся и, не сказав ни слова, не махнув им на прощанье рукой, даже не оглянувшись, пошел к выходу.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

15 часов

В 15.05 гудронирование террасы закончено. В 15.10 появляется бригадир. Это рыжий великан с равнодушными глазами. Он небрежно оглядывает работу и говорит:

— Вас вызывает начальник. Всех троих.

Я смотрю на него.

— Чего ему от нас нужно?

— Не знаю, — говорит бригадир, отводя глаза.

Он делает несколько шагов, останавливается и бросает через плечо:

— Не забудь, уходя, загасить огонь.

Я чувствую, как в животе у меня что-то обрывается, ноги начинают дрожать, я опускаю голову под пристальным взглядом Юсефа и Моктара. Оба старика понимают по-французски ровно столько, сколько нужно, чтобы выполнить приказание: сделай то, сделай это. Они делают. Но тон до них не доходит. А меня сразу как стукнуло, едва бригадир рот открыл. Не трудитесь, как говорится, разъяснять.

И вообще, есть вещи, которых Юсеф и Моктар понять не могут. У нас хозяин — это отец. Плохой ли, хороший ли. Во всяком случае, человек. Ты его видишь, можешь потрогать, выручать. Если он свинья, ты его ненавидишь. Здесь — ничего похожего. Бригадир получает распоряжения, мастер получает распоряжения, начальник стройки получает распоряжения, а того типа, который распоряжается, не видит никто. И ты для него — пустое место. И даже для бухгалтера, который тебе платит, ты кто? Карточка с пробитыми дырочками. Меня вначале тоже брала тоска от сознания, что я отдаю свою силу неведомо кому. У него есть список, в списке — твое имя, в один прекрасный день он берет шариковую ручку и вычеркивает твое имя, и вот с тобой покончено, ты больше не существуешь, можешь сдохнуть, ему на это плевать с высокой горы, он тебя никогда в глаза не видел.

— Что там, Абделаиз? Что случилось? — нетерпеливо говорит Моктар, воздев ладони к небу.

— Не знаю.

Я пожимаю плечами, хлопаю доской по углям, не велика радость лгать, бригадир у это тоже было не по душе.

— Он что, недоволен нами? — говорит в ярости Моктар.

Моктар злится, потому что характер у него колючий, настоящий кактус, и потому что он трусит, как деревенский пес, который лает на тени, сгущающиеся в углах, когда светит луна. Я тоже боюсь, но по-другому.

— Ну так что? — говорит Моктар. — В чем дело? Он недоволен нами?

«Он» — это хозяин, тип, которого мы в глаза не видали, но который видит нас, как Бог. Моктар кричит. Может, хозяин услышит протест Моктара и поймет, что неправ, что не должен быть недоволен Моктаром. Иногда и хозяин бывает справедливым.

— Откуда я знаю? — огрызаюсь я, не подымая головы.

Мне стыдно за Моктара, за его темноту, но в то же время мне его жаль. И мне не нравится, что он набросился на меня, точно я в чем-то виноват. Юсеф не произносит ни слова. Он так же, как Моктар, мал ростом, хил, узкоплеч, но у него на лбу между глаз жесткая складка, губы стиснуты, злость во взгляде. Он покалечен и морально. Этот не лает, но укусить вполне способен. Даже Каддур не доверяет Юсефу.

Начальник ждет нас в своей желтой металлической будке. Он сидит за столом, вернее, за подобием стола: это лист изореза на козлах. Печка раскалена, жарко. Начальник — толстый, самоуверенный, нетерпеливый мужчина, у него широкие

плечи, массивная шея, тяжелое красное лицо, видно, что он всегда ел мясо досыта. Француз — этим все сказано. Когда приезжаешь из Алжира, первое, что поражает тебя во французах, это ширина спины, размах плеч, толщина зада, возьми наугад десять алжирцев и десять французов, взвесь их — французы потянут по крайней мере в два раза больше. Они такие с раннего детства. Во Франции четырехмесячным младенцам уже дают мясо.

— Абделаиз, это ты? — говорит начальник, глядя на меня. — Это ты хорошо говоришь по-французски?

— Да, я, — говорю. И добавляю: — Но ребята тоже понимают.

Я говорю «ребята», а не «товарищи», чтобы он не подумал, что я коммунист. Но он нетерпеливо отмахивается:

— Ладно, ладно. Ты объяснишь им, своим товарищам, что я получил приказ, я должен провести сокращение. Стройка филфака практически завершена. Остается только юридический. Короче, — продолжает он раздраженно, точно собственные объяснения кажутся ему неуместными, — вас трое, я оставляю одного. Тебя, если хочешь, поскольку ты хорошо говоришь по-французски.

Я смотрю на него, потом смотрю на Моктара и Юсефа. Они стоят слева от меня, опустив руки, Моктар чуть поодаль. Кожа у них обоих темная, и, когда они бледнеют, она делается не белой, а серой. Они молчат. Они не способны выдавить из себя ни слова. Глаза устремлены на меня. Я поворачиваюсь к начальнику.

— О нет, только не меня, это невозможно. Одного из них. Они оба женатые. €

Начальник поднимает брови.

— Послушай, мальчик, — говорит он, — я дам тебе хороший совет: своя рубашка ближе к телу, не так ли? Думай о своем куске хлеба. А другие позаботятся о своем.

Я качаю головой. Я улыбаюсь. Я знаю, начальники любят, когда им улыбаешься.

— Нет, мсье. Спасибо. Они женаты, они отсылают туда почти все деньги. А я холостяк.

— Пусть так, — говорит он, но я по лицу вижу, что он недоволен, даже рассержен, что ему хочется дать волю своему гневу. — Ну так как? — говорит он нетерпеливо, хлопнув ладонью по столу. — Давайте, решайте это между собой, я не буду вмешиваться, только быстро, ну? Мне ждать некогда!

Я смотрю на Юсефа и Моктара и говорю:

— Решайте.

И в ту же минуту понимаю, что ведь это глупо, как могут они решать такую вещь? Устроиться на стройку сейчас нелегко, особенно старикам. А деньги жене, ребятишкам нужно посылать каждый месяц. Они глядят друг на друга и молчат; лица у них такие серые, ну, прямо сказать, пыль.

— Ну?— говорю я нетерпеливо, так как чувствую нетерпение начальника за своей спиной.

— Решай ты!— говорит Моктар хриплым голосом.

— Я?— говорю я.— Почему я? Это не мое дело. Киньте жребий!

— Нет,— говорит Моктар,— только не это.

Он упрямо трясет головой, уставившись на меня. Юсеф ничего не говорит. Он тоже смотрит на меня. Ясно, они оба перекладывают все на меня. Несмотря на мой возраст, роль отца здесь лежит на мне. Ко мне обратился начальник стройки. Теперь несу ответственность я. И каждый из них надеется, что я выберу его. Я повторяю:

— Нет, нет, сами решайте.

Но они молчат.

— Fissa! Fissa! ¹ — говорит начальник стройки.— У меня нет времени слушать ваши разглагольствования!

«Fissa», наверно, единственное арабское слово, которое он знает. А «разглагольствованиями» на стройках именуют любой наш разговор; стоит нам перекинуться двумя словами, это уже «разглагольствования».

Молчание. Юсеф и Моктар смотрят на меня. Проходит несколько секунд. Начальник стучит ладонью по столу. Шуму от этого немного, изорель поглощает звук, но начальник весь красный и говорит отрывисто:

— Ну, мне надоело. Даю вам десять секунд. Решайте, или я выкину всех троих.

И он это сделает, я уверен, ему хочется это сделать, я по лицу вижу. Странно. Вначале он не был настроен враждебно, и вдруг обозлился. Что мы такого сказали, что ему не понравилось?

— Десять секунд!— говорит начальник.— Я не хочу терять на вас полдня!

И тут мной овладевает смятение, я гляжу на начальника, я гляжу на братьев и выпаливаю:

— Моктар!

Значит, я все-таки выбрал. Почему я выбрал Моктара, а не Юсефа, не знаю. Может, из-за той истории с окном.

¹ Давай (алж)

— Кто из вас Моктар?— говорит начальник.

— Я,— говорит чуть слышно Моктар.

Я не смотрю на него. И на Юсефа не смею взглянуть.

— Моктар, как дальше?— раздраженно говорит начальник.

— Моктар Букаид.

— По буквам.

Поскольку Моктар не может этого сделать сам, его фамилию повторяю по буквам я. Медленно, отчетливо. Чтобы начальник нашел его в списках.

— Так,— говорит начальник. И добавляет: — Ну и имена у вас.

Мне хочется ему сказать, что Букаид ничуть не сложнее, чем Мартен или Дюпон, но я молчу. Молчать мы умеем.

— Ты остаешься,— говорит начальник Моктару.— А вы оба пройдите к бухгалтеру.

Я говорю «спасибо». Не знаю, право, за что, мне самому стыдно этого «спасибо». У двери я оглядываюсь на Моктара, но он меня даже не видит, он застыл почти по стойке смирно. Мне немножко обидно, что я не встречаю его взгляда.

Юсеф выходит первым. Едва мы отходим на несколько шагов, он поворачивается и бросается на меня, точно обезумел, хватая обеими руками за воротник моей спецовки.

— Ты поступил со мной несправедливо! — кричит он по-арабски.

— Несправедливо?

— Я старше Моктара, негодяй, у меня восемь ребят, восемь, а не пять, как у него!

Я обалдел, потерял голос. Он трясет меня как сумасшедший, глаза у него вылезли из орбит, на губах выступила пена. Свинья, свинячий сын, он проклинает моего отца, моих братьев, что до моих сестер, то все они — шлюхи (сестер у меня нет). Я почти не слышу его, потому что рядом работает бетономешалка, которая покрывает своим грохотом его голос, но в конце концов мне это надоедает, я беру его за руки и, резко толкнув, заставляю отпустить меня, я его отталкиваю, он делает, спотыкаясь, два шага и падает на кучу песка. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, делаю несколько шагов и потом, сам не знаю почему, может, инстинктивно, оглядываюсь назад. Я вижу, что он кидается на меня с ножом. Не обернись я, он всадил бы мне нож в спину, я успеваю только развернуться и наподдать ногой. Удачно, нож летит в сторону, Юсеф сгибается пополам, сжимает правое запястье левой рукой, я бегу за ножом, поднимаю его, это штука опасная, я складываю нож, прячу в карман. Возвращаясь к Юсефу, он сидит на куче песка и все еще держит ле-

вой рукой запястье правой. Он стонет, вопит: вор, вор, ты стащил мой нож, ты стащил мою работу, ты сломал мне руку, как я теперь найду работу, когда у меня сломана рука; проклинает, ругается, еще раз достается всей моей семье. Из-за бетономешалки я едва разбираю, что он говорит, подхожу ближе.

— Покажи руку.

Он дает мне подойти совсем близко и вдруг изо всей силы плюет мне в лицо. Я отступаю, вытираю лицо рукавом, смотрю на него несколько секунд, мне хочется его убить. Но обуздываю себя; я так и вижу заголовки в газетах: «Алжирец, заколотый на стройке своим единоверцем». «Единоверец» — так всегда говорят о нас. Я замечаю, что моя рука сжимает в кармане нож Юсефа, вытаскиваю руку из кармана и, пятясь, ухожу под градом ругательств и угроз:

— Вот увидишь сегодня вечером, на Гаренн, мы с ребятами еще тобой займемся, негодяй.

Юсеф — оранец. У него в бидонвиле с десяток двоюродных братьев, они все немножко бандиты и поддерживают друг друга, ужас! Бог знает, чего он им нараскажет, придя домой. Я так и вижу, как они поджидают меня, все десять, перед лавкой бакалейщика, у них лица судей, наигранно добрые: «Ну, поди-ка сюда, Абделаиз, поговорим, не бойся, чего ты боишься? Никто не собирается тебя обидеть...»

Я прохожу через стройку, захожу в арабское бистро около моста, заказываю у стойки мятный чай. Тут стоит автомат с маленьким киноэкраном. Я выбираю «Египетские пляски», опускаю в щель франк. Может, безработному и неразумно так тратить деньги, но мне плевать. Возвращаюсь к стойке, перед ней стоят пять или шесть братьев, все незнакомые. Зажимаю стакан между большим и указательным пальцами, он обжигает горяч. Песня начинается, женщина, которая поет, наверно, египтянка, потому что три четверти слов я не понимаю, но ее голос надрывает мне сердце. Мне хочется плакать, я смотрю на девушек, танцующих на экране, на братьев, на стойку, все умолкли, даже хозяин заткнулся. Среди танцовщиц есть одна, которая мне особенно нравится, бедра у нее как кувшин, я только на нее и смотрю, других даже не вижу. Певица пронзает меня насквозь, спину, затылок. Песня грустная, но мне становится немного легче.

Когда пластинка кончается, я выпиваю свой чай. Я плачу и опять оказываюсь на тротуаре. Еще не вечер, но на улице, как в сырой могиле. Темно, мокро, холодно. Прежде чем вернуться на стройку, чтобы получить расчет и взять куртку, я подсчитываю наличность: 45 франков плюс зарплата за неделю, ко-

тору ю мне должны. Мало. Я без работы, без жилья и, если не считать куртки, без одежды. Потому что вернуться за вещами в бидонвиль я теперь не могу. Оранские родичи, избиение, штраф — нет. Я этого не заслужил, и я говорю — нет. Я вспоминаю французское выражение «выброшен на улицу», вот я и на улице, я смотрю на нее. Паршивая улица, ты себе даже представить не можешь, друг, до чего паршивая. За быстро плешивый склон, железнодорожный мост, из-под моста выползают тяжелые грузовики с налипшей на колесах грязью, одни поворачивают налево, другие едут прямо. На перекрестке полицейский, который смотрит на меня, потому что я североафриканец, потому что я в рабочей спецовке и потому что я стою не двигаясь. Я поворачиваюсь к нему спиной и, как они выражаются, «прохожу». Да, он может быть спокоен, мне на этой неделе немало придется «проходить» в поисках работы. Я иду вдоль тротуара. Низкие черные тучи. Все кругом так серо, что почти ничего не различить, здесь не бывает солнца, можно ли так жить. И как раз припускает дождь, мелкий французский дождичек, из тех, которым не видно конца.

II

Менестрель уже полчаса корпел над своим старофранцузским разбором, когда кто-то постучал в дверь. Он обернулся, крикнул: «Войдите», — вошел Бушют. Менестрель пожалел, что не заперся, вернувшись из бара. К сожалению, сегодня это было невозможно, он ждал звонка миссис Рассел, телефон висел в коридоре, вызывал к нему парень, живший напротив.

Он с неудовольствием констатировал, что Бушют, как обычно, уселся на кровать. И по привычке уперся грязным затылком в стену. Там уже образовалось черное пятно. Его голова неизменно занимала одно и то же место, с точностью до сантиметра. В вертикальном положении Бушют держался только силой привычки. У него все клонилось книзу — черные сальные пряди падали на лоб, веки на радужную оболочку, тянулись книзу уголки глаз, рта, отвисали нос, плечи и, наверно, все прочее (смешок). Странно выглядит этот зрачок, наполовину прикрытый слишком тяжелым веком, а под зрачком — широкая полоса белка. Так и хочется приподнять ему веко и подпереть палочкой, как испорченную гаражную дверь. Ему явно плевать, что он отнимает у меня время, он-то своим не дорожит, ни фиги не делает — ни одного перевода, ни одного разбора, ни одной курсовой. Торчит на лекциях, но ничего не записывает, и вообще посещает занятия только потому, что лень при-

нять решение больше туда не ходить. Я думаю, что, когда его предку осточертеет ежемесячно выдавать Бушюту монеты, он ему купит какую-нибудь дурацкую лавчонку, и тот сможет дрыхнуть в уголке, пока другие будут за него вкалывать. Развалился на моем одеяле, слизняк этакий, и молчит, истощил все свои силы на то, чтобы доползти от своей кровати до моей, пачкает мне стену своими сальными патлами, всю комнату провонял немытыми ногами. Менестрелю стало совестно — это я, может, уж слишком, но он тоже хорош, ему плевать, хочу я заниматься или нет. Он приходит, разваливается, пускает корни, и его так же трудно оторвать от моей кровати, как пателлу от скалы, а попробуй поработай, когда рядом этот моллюск.

— Ну? — сказал он, с шумом захлопывая Грансэнь д'Отрива и поворачиваясь всем телом к гостю со смешанным чувством доброжелательности и нетерпения. Бушют ощутил раздражение, скрытое за сердечностью, и счел себя оскорбленным. Весь Менестрель в этом — резкость, отсутствие такта. Веки Бушюта прикрыли на три четверти зрачки, и он предался горестным размышлениям. И пяти минут не может посвятить товарищу. Дружба, да плевал он на дружбу, ему вообще плевать на других, карьерист несчастный, рвется грудью вперед, шагает по людям, горд своей волей, своей методичностью, своей трудоспособностью, своими успехами. Умный? Я бы не сказал. Приспособиться умеет, это да. И так стремится блеснуть, что, прикажи ему соорудить сочинение из дерьма, он и тут окажется первым. Приспособиться он умеет, да, в высшей степени умеет, настоящая машина для переводов и сочинения курсовых, тут следует говорить не об уме, а о каучуковой гибкости. А вообще-то — крайне поверхностен, он даже не задумывается о чудовищной глупости программ, методов и профов, наоборот, его увлекают все эти дурацкие штуки — эта Варанс, и Жан-Жак, и стиль, готов зубрить все это до бесконечности. С души воротит. У меня, в сущности, ум позитивный, если бы я успевал в математике, я бы занялся естественными науками. Бушют с удовольствием вернулся к этой мысли, она посещала его по нескольку раз в день, он свил себе в ней гнездо. В сущности, все было донельзя просто, он постоянно приходил к одному и тому же: в основе всего — недоразумение, просто его способности на совпадают с его склонностями.

— Ну? — повторил Менестрель, и, поскольку Бушют не отвечал, Менестрель пожалел о своей резкости и улыбнулся. — Ну, старина Бушют? — сказал он весело. В конце концов Бушют не виноват, что он такая тряпка, размазня, может, тут дело в гормонах, и потом, если не считать его флегмы, он совсем не

глуп, даже хитер, вид у него неизменно снулый, но он лучше любого другого знает обо всем, что творится на Факе, и всегда готов услужить, можно сказать, даже сердечен в каком-то смысле. — Ну, старина Бушют, ты разродишься наконец? — сказал он, улыбаясь.

Бушют поглядел на него из-под тяжелых век, прикрывавших радужную оболочку. Ну и сволочь, то он мне хамит, то заигрывает со мной, лишь бы только мною вертеть.

— Знаешь новость? — сказал он вяло.

В сущности, он уже понял, что Менестрель самый неподходящий тип, чтобы увлечься такого рода событием, слишком уж он зубрила, одни экзамены на уме.

Менестрель отрицательно покачал головой.

— Группки, — сказал Бушют, стараясь придать своему голосу некое драматическое напряжение, — займут сегодня вечером административную башню.

— Это возможно? — сказал Менестрель,

— Конечно. Они дождутся, пока уйдет вся обслуга, и откроют маленькую дверь, которая выходит на галерею, у них есть ключ.

— И что дальше?

— Они засядут в башне и не уйдут, пока не выпустят их чуваков.

— Каких чуваков?

— Шестерых, которых взяли за «Американ экспрес».

Менестрель молчал, и Бушют заговорил снова:

— Потрясно, а? Я думаю, они оккупируют зал Ученого совета на восьмом этаже.

Менестрель поднял брови.

— Откуда тебе известно, что зал Ученого совета именно на восьмом?

— Я там был, — сказал Бушют победоносно. — Просторный прямоугольный зал, с двух сторон окна, широкая панорама, комфортабельные кресла и огромный овальный стол с дырой посередине. Скорее кольцо, чем стол, но кольцо овальное, представляешь, что я хочу сказать?

Менестрель посмотрел на него. Ну и проныра. Если можно сунуть нос, куда не надо, лени как не бывало.

— Клевое дело, — сказал Бушют с выражением, похожим на энтузиазм. И добавил: — Я, наверно, тоже пойду.

— Ты? — ошарашенно сказал Менестрель. — Но ты же не занимаешься политикой.

— Я пойду с анархами. У них не надо ни вступать, ни платить членские взносы. Они ненавидят всякую бюрократию. Хо-

чешь идти с ними, пожалуйста, иди. Хочешь уйти, проваливай на здоровье.

Наступило молчание.

— Идея забавная,— сказал Менестрель,— но все же глупая. Во-первых, есть тут какое-то школярство: ты рассаживаешься в профовском кресле, когда проф отсутствует...

Бушют оживился.

— Ты ни фиги не понял! Оккупация башни — это серьезная операция! Это форма давления на правительство, чтобы заставить его отпустить шестерых чуваков.

— Я отлично все понял,— сказал Менестрель,— именно это я и нахожу глупым. Что ж, по-твоему, Пейрефит возьмет трубочку и скажет Фуше: «Послушай, старик, пусть твои ребята отпустят этих шестерых чуваков, не то мои нантерские студенты засядут навечно в профессорском зале»?

— А почему бы и нет?

— По-моему, если он и позвонит, то для того только, чтобы попросить прислать полицию очистить башню.

— Это еще не факт.

Бушюту удалось почти полностью поднять свои веки, и радужная оболочка его глаз вдруг показалась на свет. Это длилось всего секунду, но произвело на Менестреля сильное впечатление.

— Пейрефит,— продолжал Бушют,— что называется, либерал. Пример: в феврале он разродился совершенно бредовыми правилами относительно общаги. И тут, еще до того, как они были оглашены, нантерские студенты их нарушили и заняли девчачий корпус. Что сделал Пейрефит? Ничего. Проглотил.

Менестрель посмотрел на него. Интересно, это он сам додумался? Или просто повторяет то, что слышал у гошистов?

— Я не знал, что ты интересуешься группками,— сказал Менестрель после паузы.

— Не всеми. Только анархами. Остальные попы.

— Ну уж, попы!

— Вроде коммунистов, только полее, ты понимаешь, что я хочу сказать: серьезные, добродетельные — активисты двадцать четыре часа в сутки. А анархи — клевые ребята. Дани — клевый парень. Дани — самый клевый парень на свете.

— Ты говоришь о Дани, как «Ридерс дайджест» — засмеялся Менестрель.

— У него на языке уже вертелся каламбур на тему о неряшливости Дани, но он вовремя удержался. Бушют сам принадлежал к антимыльному направлению. Ладно. Запомним. Грязь как философия жизни и метод протеста. Ты перестаешь мыть-

ся, и устои буржуазного общества, потрясенного этим до основания, начинают шататься.

— Мне, понимаешь, наплевать,— продолжал Бушют,— на всяких там Бакуниных и анархистские теории. Мне у анархистов по душе то, как они себя ведут. Они не приносят в жертву личное счастье. Никаких там табу, запретов, бюрократизма. Им плевать на организацию, они делают что вздумается. Здесь, в Нантере, на собрании анархов ребята, которым неохота дискутировать, затягивают «му-у».

— «Му-у»?

— Как кто-нибудь возьмет слово, так они затягивают свои «му-у». Целый час мычат.

— Что они, опсихели что ли?

— Может, и опсихели, но это клево. Хотят валять дурака, и валяют. Это и есть свобода. Делай что хочешь, даже если других это бесит.

— Ну и что, ты тоже мычишь?

— Я тоже.

Менестрель вдруг расхохотался.

— Почему ты смеешься?— сказал Бушют с оскорбленным видом.

— По-моему, ты просто дрейфишь. В следующий раз вместо того, чтобы мычать, я тебе советую встать и показать кое-что девочкам!

— Если мне захочется это сделать, я это сделаю,— сказал Бушют с достоинством.

— Но тебе не хочется,— смеясь сказал Менестрель,— в том-то и штука! Это значит, что и ты не вполне свободен от табу. И твои анархи тоже.

Менестрель встал, потянулся, поглядел на Бушюта и вдруг расхохотался еще громче.

— Я скажу тебе, это было бы потрясно! Ты берешь на себя анализ текста Руссо у Левассера, поднимаешься на кафедру и там, вместо того чтобы выложить свои заметки, выкладываешь кое-что другое и демонстрируешь это девочкам.— На него напал новый приступ смеха.— В качестве иллюстрации.

— Я-то не страдаю навязчивыми идеями, как некоторые другие,— сказал Бушют.

— И ты говоришь: «Я, понимаете ли, руссоист»,— продолжал Менестрель, не слушая Бушюта и корчась от смеха:— «Я, Бушют, не просто анализирую текст, я в него вживаюсь!»

Бушют глядел на Менестреля, сложив руки на своем животике, прикрыв глаза, на его губах застыла улыбка. Сволочь. Всегда хочет взять над тобой верх в споре, подавить тебя сво-

ей жизненной энергией, поставить тебя в смешное положение своими идиотскими шуточками.

Менестрель, удовлетворенный, сел. Хороший парень этот Бушют, но я не позволю ему третировать меня своим революционным героизмом. Оккупация Нантерской башни в отсутствие обслуги и с помощью ключа от двери, которая выходит на галерею, это все же не взятие Бастилии. И что он знает, Бушют, о социализме? Он даже Маркса не читал (я тоже). Вся его революционная активность до сих пор сводилась к чтению «Монда».

Менестрель облокотился на стол, бросил взгляд через окно, дождь все еще шел. Здесь не помнишь о погоде, спорь себе и спорь, тепло, уютно. А каково парням там, на стройке, за окном, вон они ходят по грязи, под морозящим дождем, облаченные в свои жесткие желтые клеенки, переламинающиеся у локтя, в плоских касках на голове. Поработай-ка в таких условиях. Вечером они, наверно, выжаты вконец, ни одной мысли в мозгу, пожрать — и на боковую. И пьянящая перспектива начать завтра все сызнова. Тоже мне, жизнь.

— Послушай, ты,— сказал он, оборачивая к Бушюту,— ты, кажется, намекал, что я сексуальный маньяк?

— Да,— отважно сказал Бушют.

Менестрель посмотрел на него, сдерживая смех:

— А что, если я в этом признаюсь? Я, когда не вкалываю, думаю о девочках, исключительно о девочках, я обожаю девочек. Будь у меня волшебная палочка, знаешь, что бы я сделал? Я бы превратил тут все предметы в девочек! Все! Кроме кровати (смех). Словарь, ручку, стул, тебя (взрыв смеха). Ты, пожалуй, был бы неплох, Бушют, в роли одалиски? Гурии? Томной гаремной женщины?

Глаза Бушюта широко раскрылись, и он уставился на Менестреля.

— Ты просто гнусен!— сказал он с яростью, изумившей Менестреля.— Стоит завести с тобой серьезный спор, как ты, почувствовав слабость собственных позиций, превращаешь все в балаган, уклоняешься от проблемы. Тебе говорят об оккупации башни, а ты топишь все в какой-то ерунде.

— «Му-у»,— затянул Менестрель, хохоча.— Даже если я и не анарх, имею же я право мычать!

— Сволочь ты,— сказал Бушют.

Менестрель перестал смеяться, повернул стул и уселся напротив Бушюта, уперев руки в колени.

— Ты хочешь говорить серьезно? Давай. Ты ни хрена не делаешь, тебе скучно, и тебе кажется соблазнительным при-

соединиться сегодня вечером к анархам и оккупировать вместе с ними башню. Почему? Да потому, что это плевое дело, легкое и абсолютно безопасное.

— Ну, уж это ты загнул,— сказал Бушют,— полиция вполне может вмешаться.

— Ты же уверен, что не вмешается, ты сам это сказал. Но допустим. Допустим она вмешается. Что произойдет? В худшем случае ты рискуешь быть на год исключенным из Нантера, а на это тебе плевать, отец пошлет тебя в Германию или в Англию, и первого числа каждого месяца ты будешь получать вместо чека во франках чек в фунтах или в марках. Иными словами, над тобой не каплет, ты под крылышком буржуазного общества.

— Ты тоже.

— Я тоже. Но я более уязвим: я стипендиат. Если я наделаю глупостей, у меня отберут стипендию. Что тогда? Как я окончу Фак? Стану классным надзирателем? Тебе известно, что значит готовиться к конкурсу, будучи надзирателем в лицее?

Бушют поглядел на него.

— Я тебя просто не узнаю. В январе ты пришел на подмогу анархам против фараонов.

— Ну,— сказал Менестрель,— это был необдуманный поступок, я не намерен повторять его. Я успел с тех пор повзрослеть.

— Повзрослеть!— сказал Бушют. Да мы тут все взрослые!

— О, нет!— сказал Менестрель.— Взрослый тот, кто зарабатывает себе на хлеб. И точка. Я понял это только недавно, но я это понял раз и навсегда. Студент, который зависит от папы-мамы или от государства,— это не взрослый, а школяр.

— А ты, значит, взрослый?— сказал Бушют с иронией.

— Взрослый. Я за себя отвечаю. И я осторожен. Башня, это, может, и клево, но ты уж занимайся этим без меня.

— Я предпочитаю не становиться взрослым,— сказал Бушют ядовитым тоном,— если взрослый значит холощенный.

Менестрель улыбнулся.

— Ну, ты-то при всех условиях располагаешь мощной отца. Тебя оберегает его экономическая мощь. Надеюсь, ты отдаешь себе в этом отчет?

Раздался сокрушительный удар в дверь. Менестрель закричал:

— Войдите!

Худая голова Журавля, которой предшествовал его непристойный клков, просунулась в щель.

— Менестрель, там тебя просит к телефону Брижитт Бардо!

Острота была традиционной, и Менестрель вежливо улыбнулся.

— Иду,— сказал он, направляясь к двери.

— Иди, сын мой,— сказал Журавль, пропуская его (он был, как обычно, почти голый).— Иди. У нее голос такой, что мертвого подымет.

III

Давид хлопнул дверью. Брижитт приподнялась на локте, прислушиваясь к его шагам в коридоре. И чего она торчит у него в комнате вместо того, чтобы сидеть у себя и заниматься своей немецкой работой? Просто противно — настоящая гаремная женщина. «Приходи ко мне после обеда». Я жду полчаса, он врывается, кидается на меня, ни слова не говоря, миглом делает свое дело, я даже не успеваю ничего почувствовать, а он уже на ногах, застегивается. «Подожди меня, я вернусь через десять минут». Вчера вечером у меня в комнате он хотя бы старался, я чувствовала, что он прилагает все усилия, но и как раз от одной мысли, что он удерживается, совсем застыла, как парализованная. Я думала только о том, как ему трудно. Я боялась разочаровать его в очередной раз. Чем дольше он оттягивал удовольствие, тем меньше я его чувствовала. Но все же с его стороны это было мило. А сегодня я готова вообще от всего отказаться, превращаешься в какое-то орудие — когда ты мне нужна, я звоню, давай ложись, Мари.

— Нет,— сказала она вслух, вставая,— я становлюсь сварливой, не хочу. Нет ничего легче, чем сваливать вину на другого, это бесхарактерность. Давид совсем не такой, в нем есть душевная щедрость, он опять попытается, не могу же я этого требовать от него каждый раз. Это означало бы, что я сама рассматриваю его как средство.

Держа лифчик в руке, она направилась к зеркалу в крошечной умывалке. Перед ней стояла очень красивая блондинка с длинными волнистыми волосами, падавшими на шею, с зелеными глазами, двумя ямочками на круглом лице, полными плечами. Мне нет нужды запихивать вату в лифчик. Какая ирония, я, что называется, сексапилка, от мальчиков отбоя нет, но мне-то от этого ни горячо, ни холодно, сколько их у меня перебивало, двенадцать, пятнадцать, я уж и счет потеряла, и всегда они сами меня бросают, что ж, я могу их понять. И противней всего мне даже не то, что они от меня уходят, и даже не то, что я ничего не чувствую. Она просунула руки в

бретельки, круглые груди нежно соприкоснулись и вновь разошлись, когда она завела руки за спину, застегивая лифчик. Противней всего, когда я с ними сплю, что все так плоско, холодно, гнусно, до такой степени лишено смысла и тепла, я уж не говорю о любви, но все же, если бы хоть один из них, один хоть раз, один-единственный... О, я талдычу без конца одно и то же: она надела трусики, натянула, не глядя, платье, а я идиотка, ну зачем я отдаюсь всем этим ребятам, я ведь все знаю заранее. Тогда в сосновом лесу в Грассе он был так пьян, он набросился на меня как скот, сделал мне так больно, а потом ни за что не хотел поверить, что я была девушкой. «Послушайте, деточка, я, может, и был слегка косым, но это еще не значит, что я позволю теперь вкручивать себе шарики». Мне тогда было семнадцать, мама наслаждалась своей идиллией с Жераром, папа, как водится, оставался в Париже, этому трио до меня дела не было, а мне осточертело одиночество. Нет, я не порицаю маму, папа, может, и великий математик, но он вечно витает в облаках, отсутствует, и он такой маленький, тощенький, можно сказать бесплотный. Ни разу я не видела его на корте или на пляже, однажды, когда я застала его в пижаме, думала, что в обморок упаду от удивления; пижама точно парила в воздухе, привязанная к его шее, а папина голова лежала на шее, такая худая, с черными глазами, обращенными в себя. У папы тело не в счет, это просто подставка для головы, а от Жерара я тогда была без ума. На каникулах он всегда сопровождал маму и меня. И тут начиналась шикарная жизнь, деньги на ветер, веселье, удаль, цинизм, и в то же время Жерар все, все понимает. Папа, конечно, ученый, но стоит ему открыть рот, как мне становится скучно. А Жерар никогда меня не утомляет, он такой забавный, развязный. Его сила в том, что он делает все, что ему вздумается, говорит, что в голову взбредет. Тем летом в Грассе завтракаем мы на террасе у моря, и вдруг он оглядывает меня с головы до ног, точно в первый раз увидел, и говорит маме со своим обычным безмятежным и развязным видом: «А твоя дочка ничего, я бы охотно ею занялся». Я засмеялась, мама тоже, а он улыбнулся, и все, больше он на меня не обращал внимания; а неделю спустя, на пикнике тот высокий красивый парень, похожий на викинга, он пил как бездонная бочка, что для него девушка, он взял меня, как-то не глядя и не глядя отшвырнул. На следующий вечер в баре я подошла, улыбаюсь ему, а он смотрит на меня ледяными глазами и поворачивается ко мне спиной, а спина такая широкая, такая широкая, точно стенка. Ужас. Бедная сучка, я тобой попользовался, а теперь катись, сама

знаешь куда. Углы ее рта опустились, и она подумала с беспредельной тоской: сколько их с тех пор у меня перебывало.

Она натянула чулки; я должна была бы брать деньги, как проститутка, и совать их в чулок, в этом хоть был бы какой-то смысл. Она надела сапожки и с отчаянием посмотрела на давидов стол, на конспекты лекций Граппена. Она захватила их, чтобы перечитать и «не терять времени». Очередное алиби. Когда я в комнате Давида, я думаю о нем, о себе, о нас. Она села, комок подкатил к горлу, она подперла щеку ладонью, поставила локоть на стол. Меня тошнит не от какого-нибудь рвотного корня, а от собственной жизни.

В дверь робко постучали. Брижитт крикнула: «Войдите!» — повернулась всем телом и увидела смуглое, юное, грустное лицо, показавшееся в щелке двери.

— Давид?

— Входите.

Парень не решался открыть дверь шире. Она не могла его разглядеть, так как лицо его тонуло в полумраке коридора, но ей показалось, что он молод, красив и чем-то удручен.

— Его нет? — расстроено сказал парень.

— Он через пять минут вернется.

— Ладно, я подожду его.

Дверь захлопнулась. Что он, чокнутый что ли, этот парень. Она поднялась и открыла дверь. Парень стоял, прислонясь к стене.

— Да войди же, — сказала она. — Что ты в коридоре стоишь?

Он в сомнении глядел на нее. Красивая девушка, и говорит с ним довольно любезно, но это тыканье его оскорбило. Если он араб, это еще не значит, что с ним можно обращаться так вольно.

— Благодарю вас. Мне и здесь вполне хорошо.

Она сделала нечто невероятное, она взяла его за руку.

— Да войди же, — сказала она живо. — Давид не ревнив, если тебя это смущает.

Абделаиз прирос к полу. Она видела его впервые и обращалась к нему на ты. Она говорила о Давиде, как о любовнике, и она приглашала войти в комнату. И она взяла его за руку! Но это была не шлюха, совсем не похожа, лицо свежее, не намазанное, и в глазах никакой наглости.

— Ну, давай входи, — засмеялась она. — Или ты боишься, что я тебя изнасилую?

Он откликнулся робким смешком и последовал за ней. Ничего не понять, девушка и позволяет себе подобные шутки!

Брижитт закрыла за ним дверь и села на стул.

— Садись.

Он опустил глаза и смущенно осмотрелся.

В комнате был всего один стул, занятый девушкой.

— На кровать,— сказала Брижитт.

— Вы позволите?

— Ну конечно, я позволю, и я позволю также, чтобы ты говорил мне ты,— сказала она, улыбаясь.

Он посмотрел на нее с извиняющейся улыбкой и опять опустил глаза. Брижитт положила на колени конспект лекций Граппена и сделала вид, что поглощена чтением. На парне были черные вельветовые брюки и кожаная куртка, из-под которой выглядывал рыжий свитер в крупный черный рисунок. Парень был умытый, кожа матовая, глаза очень темные, иссиня-черные волосы кудрявились и блестели от дождя. Он и правда очень мил. Совсем не похож на давидовских дружков. Давидовы дружки понимали сердечность в обращении с девочками как похабелъ, дерганье за волосы, подножки, шлепки по задку. От этого парня веяло какой-то свежестью. Почтительен до мозга костей и красив, как девушка. В этот момент Абделаиз поднял глаза, посмотрел на нее и тотчас вновь опустил их, будто пойманный на месте преступления. Нет, он не похож на девушку, ничуть.

Прошло несколько секунд. Брижитт поняла, что ей не удастся сосредоточиться на своих конспектах. Она нервничала, волновалась, ее лихорадило, кровь прилила к щекам. Какой идиотизм, сидел бы тут на кровати один из давидовых дружков, нес бы всякую чушь, вроде «а может, девонька, породнимся?» ← и я бы не обращала на это никакого внимания. Но этот парень с его сдержанностью, робостью...

— Как тебя зовут?— сказала она, подымая голову.

— Абделаиз.

— Ты алжирец?

— Да.

«Да» короткое, настороженное.

— Я никогда тебя не видала на Г. А. Ты чем занимаешься?

Он посмотрел на нее. Что значит это «геа»?

— Как, чем я занимаюсь?

— Ну, на каком факе ты занимаешься?

— Я не студент,— сказал Абделаиз, покраснев.— Я рабочий.

— Ты рабочий?— сказала она, широко открыв глаза.— Правда? Настоящий рабочий?

— Да,— сказал настороженно Абделаиз.— А что тут особенного?

Брижитт опять улыбнулась ему и отвела глаза. Я просто идиотка, настоящая гошистская пижонка из XVI округа. (См. Монтескье: «Сударь, я восхищен вами, как можно быть рабочим?») Я заразилась от Давида. А Давид, хотя и не признает, сам впал в увриеризм. Он, конечно, подведет под это марксистскую базу, скажет: движущая сила, преобразующая общество, не студенты, а трудящиеся. Но это все в теоретической плоскости. А если говорить о стороне эмоциональной, причины совсем не в этом. На самом деле Давид питает почти религиозное почтение к рабочему классу. По отношению к рабочим Давид испытывает чувство вины, собственной неполноценности и любви. А ведь Давид не маоист, и все же он день и ночь мечтает об одном — отдать свои силы служению пролетариату, во всяком случае он в это верит. Она вздохнула. Мир плохо устроен. В конце концов, разве я виновата, что родилась на авеню Фош? Если бы я зарабатывала на хлеб, вкалывая на каком-нибудь велосипедном заводе, Давид бы меня любил. И простил бы мне даже фригидность, отнеся ее на счет пролетарской усталости и классового гнета.

Абделаиз сидел, опустив глаза, охватив руками колени. Румия была очень красива (волосы, как золото), она держалась мило, но странно. Может, все интеллигентки немного странные. Например, Анн-Мари. Когда ты задавал Анн-Мари трудный вопрос и она отвечала, ты не только не понимал ее ответа, но переставал понимать даже собственный вопрос.

— Ты очень хорошо говоришь по-французски,— сказала Брижитт, подняв голову.— Без всякого акцента.

Он опять вспыхнул. Как очаровательно он краснеет, в сущности, он даже не краснеет, просто немного темнеет матовая кожа.

— Я неплохо говорил уже, когда приехал во Францию,— сказал он,— но я очень усовершенствовался, посещая вечерние курсы в Клиши, я там занимался с одной девушкой. И потом, мы часто с ней гуляли вместе в ту пору.

— А теперь не гуляете?

Он помолчал и сказал:

— Нет. Она живет в Лионе. Вышла замуж.

— Он опять опустил глаза. Он говорил ровным голосом, но на его лице внезапно промелькнула какая-то стыдливость и печаль. Брижитт смотрела на него, охваченная изумлением. Первое слово, пришедшее ей на ум, чтобы определить это выражение его лица, было: благородство. Но поскольку слово

показалось ей глуповатым, она его отбросила. Подобные словечки были манией папы, хотя нет: благородство — это для него слишком просто. Вот если скажешь праксис вместо практика, логос вместо речь, благодать вместо дар, импульс вместо инстинкт, папа придет в полный восторг. Он все гиперболизирует. Может, в порядке компенсации, ведь сам он такой маленький, бесплотный. В Жераре мне как раз нравится его краткость, сухость, точность. Раз, два — и все обнажено. («Я бы охотно ею занялся», — это ведь чудовищно, не так ли? А он произносит это как ни в чем не бывало, ровным голосом, да еще кому, маме!) Мне и в Давиде сначала понравилось то же самое, теперь я понимаю: способность проколоть, точно булавкой, и сразу выпустить весь воздух, здоровый цинизм, сведение к нулю буржуазных условностей, срывание покровов, демистификация. Я видела в этом нечто подлинное, тонизирующее, некую отместку. А теперь, откровенно говоря, я этим сыта по горло. Этот паренек с его породистым лицом и черными глазами, который сидит на краешке кровати и не стыдится говорить с грустью о том, что его бросила девушка, словно создан, чтобы выражать гордость, любовь, благородные чувства. Ну и пусть, вот и скажу «благородные», могут катиться сами знают куда со своим циничным терроризмом, с меня хватит, этот парень просто восхитителен.

— Вы были любовниками? — сказала она нежным голосом, наклонившись к Абделазизу, и подумала. ничего себе, благовоспитанная девушка! Она улыбнулась ему.

— Нет, — сказал он просто. — Она меня не любила. Только хорошо относилась.

— И ты долго гулял с ней?

— Немножко больше года.

Она смотрела, ничего не видя, в свои конспекты. Ну хватит, Брижитт, достаточно. Сердце ее колотилось, она подняла голову и посмотрела на Абделазиза. Нет, этот парень просто невероятен. Он гуляет с девочкой, она ему не уступает, и он не чувствует себя ни обойденным, ни смешным. Напротив, он радуется отношениям нежной привязанности, это длится больше года, она выходит замуж, и теперь, когда он о ней говорит, у него слезы на глазах. Представить себе Давида или его друзей в такой ситуации немыслимо. Для них это просто нелепость, они сочли бы свое самолюбие оскорбленным и трех бы дней не выдержали, а уж их комментарии! От нее места бы живого не осталось — идиотка, мешанка, да у нее просто запор и залп похабели. («Держит свой нижний капитал в сейфе. Нет вам попы без попа. Да у нее как в автомате: сунь обручальное

кольцо — откроется»). Обличение социальных табу, скрывающее за собой на самом деле садистское женоненавистничество, жажду господства, презрение к чужой свободе. В то время как этот парень, скромный, стыдливый и красивый, переполнен благодарностью к девушке, которая всего лишь гуляла с ним в течение года, а ведь он настоящий мужчина (как он посмотрел на меня), и в то же время почтителен, нежен, как невинная девушка. Фантастический парень, если бы у меня могли с ним быть такие отношения, как у той девушки, я не стала бы спать с Давидом. А может, и стала бы. Потому что Давид меня бесит, но влечет. В известном смысле, я его люблю (да и он любил бы меня, дай он себе волю). Но если бы можно было ходить повсюду с этим мальчиком, и ничего больше, покупать ему всякую ерунду, ощущать на себе его милый взгляд, мы бы совершали с ним тысячу дурацких поступков — взобрались бы на Эйфелеву башню, катались бы на речном трамвайчике по Сене, гуляли, держась за руки, изредка, конечно, я все же не хочу быть шлюхой.

Дверь резко распахнулась и ворвался нахмуренный Давид. Абделаиз поднялся, смущенный. Давид на минуту остановился в недоумении, потом лицо его просветлело.

— Вот это да, — сказал он со счастливым видом. — Это ты, Абделаиз, и так скоро! — Он горячо пожал его руку. — Садись, Садись, прошу тебя.

У Брижитт возникло неприятное ощущение, что она вовсе не существует. Давид сел на кровать рядом с Абделаизом и с сияющим видом повернулся к нему.

— Молодец, что пришел так скоро. Как жизнь?.. Плохо? — сказал он вопросительно, глядя в озабоченные глаза Абделаиза.

Брижитт заворочалась на своем стуле. Он мог бы все-таки обратить внимание на мое присутствие.

— Плохо, — сказал Абделаиз, — у меня неприятности.

Мне он, конечно, ни словом не обмолвился, неприятности — дело мужское. Рассказ об этом предназначается Давиду. А я? Что я тут? Я становлюсь злою, подумала она тотчас, у меня комплексы, всюду мне чудится унижение. Ну не ужасно ли, что ощущение моральной ущемленности возникает у меня только потому, что моя плоть не реагирует как положено? И вдобавок я сосредоточена на себе, я никого не слышу. Давид сразу заметил, что у Абделаиза удрученный вид. Я, конечно, тоже это увидела, но тотчас забыла, погрузилась в мысли о себе, в свою собственную историю, в свой «случай», размышляла о платонической привязанности. Она сделала

над собой усилие и прислушалась к рассказу Абделазица. Ошалеть можно от того, что он говорит, увольнение, история с Юсефом. В сущности, мы тут в общаге варимся в собственном соку, живем в тепличной атмосфере. У нас есть все блага: свет, тепло, комфорт, кормежка, надежное положение, книги, отцовские деньги. Но стоит высунуть нос из этого мягкого футляра, не выходя даже из студгородка, здесь, на стройке начинается настоящий мир. Тут не жди пощады, люди грызутся между собой. Идет свирепая борьба.

— Предположим, ты вернешься к себе,— сказал Давид,— что они тебе сделают, его родичи?

— Они будут меня судить и, конечно, признают виновным.

— И тогда?

Абделазиц моргнул.

— Изобьют, если не хуже.

— Хуже?

Абделазиц покраснел, бросил смущенный взгляд на Брижитт и сказал, не глядя:

— Я молодой. Я живу в холостяцком лагере.

Давид сжал губы.

— И потом я должен буду ежемесячно платить определенную сумму. В принципе, пока Юсеф устроится на работу. Но на деле бесконечно. Всегда найдется предлог растянуть.

— А твои товарищи разве не могут защитить тебя?

— О, конечно!

— За чем же дело стало?

— Это гнусные типы, понимаешь. Полугангстеры, полутихари. Я не хотел бы, чтобы моим товарищам досталось из-за меня.

Они помолчали, потом Давид сказал:

— А я могу тебе помочь?

Абделазиц колебался.

— Давай, выкладывай! — сказал Давид.— Чего ты мнешься!

— Ты мог бы сходить в лагерь за моими вещами,— сказал Абделазиц.— Тебя-то они не тронут. Ты француз.

Давид сказал решительно:

— Завтра схожу. Сегодня я никак не могу. На вечер намечено важное мероприятие, нужно его подготовить.

Абделазиц покраснел.

— Что-нибудь не так?

— Я благодарю тебя,— сказал Абделазиц.— Но без чемодана меня не впустят ни в одну гостиницу. Где же я проведу ночь?

— Пошли,— сказал Давид,— есть выход получше, чем гостиница.

Он открыл ящик стола, вынул ключ, потянул за собой Абделазииза в конец коридора и там отпер дверь. Это была точно такая же комната, как и та, из которой они только что вышли.

— Вот ты и дома.

Абделазииз покраснел и огляделся.

— Здесь очень хорошо,— сказал он смущенно,— только, знаешь, у меня на это никогда не хватит денег.

Давид расхохотался.

— Какие деньги, ты спятил!

Абделазииз глядел на него, не понимая.

— Но она же принадлежит кому-то?

— Точно,—весело сказал Давид.— Комнаты в общежитии принадлежат некоему государственному учреждению, которое носит благозвучное название Университетской организации и сдает их студентам за 90 франков в месяц.

Абделазииз огорченно помотал головой.

— Ты понимаешь, Давид, я не могу потратить на это девять монет. Я безработный.

— Речь и не идет ни о каких тратах. Ты здесь будешь совершенно неофициально.

— Нет, это не честно,— сказал Абделазииз с сомнением в голосе.

Давид расхохотался с мстительной радостью.

— А увольнять со стройки без предупреждения это честно? Позволить тебе приехать во Францию, взять тебя на работу и не обеспечить жильем, это честно? А честно со стороны буржуазного государства наживаться за счет студентов? Сдавать им комнаты, построенные на деньги налогоплательщиков?

Абделазииз слушал его, уставившись в пол. Это правда, повсюду сплошное воровство. Обман, эксплуатация, ущемление. Повсюду несправедливость. Вот и тащишь со стройки кусок парусины, чтобы прикрыть свой спальный мешок от дождя, потому что в твоей халупе худая крыша и дождь льет прямо на койку. Это кража. Хочешь выжить — воруй. Это нехорошо, но ты воруеть.

— Можешь мне поверить,— сказал Давид,— ты не первый будешь жить в общежитии нелегально! И не единственный!

— А это не опасно? Контроля нет?

Давид расхохотался.

— В добрый час! Наконец-то ты ставишь проблему в должных понятиях. То есть в понятиях соотношения сил, а не мо-

рали. Будь спок, старик. Никакой опасности. Потому что никакого контроля. Никакого контроля, потому что — он вскинул голову и выпрямился во весь рост, уперев руки в бока,— потому что мы больше этого не допускаем! Хотел бы я посмотреть, как директор общаги посмеет сунуть сюда свой нос. С этим покончено! Внутренний распорядок отменен окончательно и бесповоротно!

Робкая улыбка стала медленно пробиваться на матовом лице Абделазица.

— Ты уверен, что полиция...

— Ни в коем случае! И носа не сунут. Я тебе ручаюсь.

— Нам ведь, знаешь, спуска не дают. Мигом в тюрьму. А потом — вон. Проваливай восвояси, бикó!

— Повторяю тебе,— убежденно сказал Давид,— здесь ты ничем не рискуешь. Я беру на себя всю ответственность за твое пребывание в этой комнате.

Абделазиц сделал два шага по комнате, и широкая улыбка, наконец, осветила его лицо.

— Просто невероятно, такое жилье, подумать только!— Голос его зазвенел.— С отоплением! Большое окно! Электричество! Горячая вода! Красивая мебель.

Он ходил взад-вперед по комнате, поглаживая пальцами стол, стул, спинку кровати под красное дерево. Его восхищенные черные глаза оценивали толщину стен, сухой потолок, прочный пол.

— О, Давид,— сказал он глухо,— да это рай!

— Ну, не надо преувеличивать,— покривился Давид.— Здесь тесно, настоящая кишка, обставлено по-дурацки, и посмотри, что за вид!— окно выходит на бидонвиль.

Он тотчас спохватился — ну и дурак, что я несу. Но Абделазиц бросил взгляд в окно и простодушно сказал:

— Это мой.

IV

— Мистер Менестрель,— сказал голос миссис Рассел в трубке,— я была так счастлива узнать через мистера Демирмона, что вы сооблаговолили дать согласие заняться моими мальчиками.

Голос был мягкий, низкий и музыкальный, но его музыкальность вовсе не походила на снобистскую и салонную музыкальность VII округа, с глубоким грудным «р» и наглым фальцетом, он напоминал скорее мелодию флейты — ни тени аффектации, неожиданные переливы, связанные с английской

интонацией и произвольными ударениями то на первом, то на последнем слоге (мистер Мэнестрель, мистер Демирмón), но замечательнее всего была его мягкость (жесткий и властный голос госпожи матушки!), подчеркнутая полным отсутствием «р» и «ю», выговариваемым как «у», что придавало речи миссис Рассел что-то детское. И подумать только, что этот голос принадлежит миллионерше, а ведь богатые женщины, как правило, говорят надменным тоном, эти спотыкания, эта девичья робость в голосе миссис Рассел просто очаровательны.

— Мистер Менестрель, если вы позволите мне злоупотребить вашей любезностью, мне хотелось бы попросить вас о чем-то, но я умоляю вас, откажитесь без стеснения, если это вас в малейшей мере обременяет: не могли бы вы начать сегодня же вечером?

— Ну конечно,— храбро сказал Менестрель,— охотно, сегодня же вечером, если вам угодно.

— Но откровенно, мистер Менестрель, может быть, такого рода экстренная мобилизация ставит вас в затруднительное положение, и прошу вас, скажите мне откровенно, вы, французы, так учтивы, быть может, у вас на сегодня намечен серьезный труд, может, вы заняты важной работой?

— Нет, нет,— сказал Менестрель,— ничего срочного, я вполне могу начать сегодня, я совершенно свободен.

— О, мистер Менестрель, в таком случае я счастлива, не могли бы вы прийти к девяти часам? Мы вместе поужинаем, побеседуем о мальчиках, это для меня такая трудная проблема.

Менестрель слушал, флейта звучала жалобно и доверчиво, она зывала к его помощи, она говорила с ним как с другом, это просто неслыханно, она очаровательна, она забывает, что будет мне платить.

Войдя к себе в комнату, Менестрель увидел, что Бушют ушел, оставив после себя свой запах и еще более потемневшее и расползшееся пятно на стене. «Ну и бушютит здесь»,— сказал Менестрель вполголоса, подходя к окну и распахивая его во всю ширь. Взгляд его упал на записочку, лежавшую на столе. Самописка, карандаш и шариковая ручка были разложены вокруг, как стрелки-указатели, он схватил записку, почерк Бушюта.

Менестрель,

ты —

1. Задница.

2. Мещанин.

3. Карьерист.

Менестрель покраснел, к горлу подступил комок, он едва не заплакал. Он был выбит из седла, унижен, так он чувствовал себя в детстве, когда госпожа матушка читала ему нотацию, твердя, что он ничтожество, и он понуро уходил выплакаться на чердак. Записочка дрожала в его руке, на мгновение ему показалось, что Бушют прав, он чувствовал себя растоптанным, стертым в порошок, сведенным к нулю, ужасно было, что его могли до такой степени задеть слова, да еще бушют-вы вдобавок. Он швырнул записку на стол. Сейчас пойду к этому подонку и дам ему раз. Собственная злость была приятна, он отдался ей, утопил в ней свое унижение, его охватило пьянящее чувство собственной силы и динамичности, он уже входил к этому паршивому слизняку. Это дерьмо, конечно, валяется, как обычно, на койке, он хватал Бушюта за рубашку, заставлял его встать и давал правой прямой в морду, нет, нет, сначала левой в солнечное сплетение, тот сгибается пополам, я подымаю его апперкотом в подбородок, и он лягается в постель, как коровья лепешка. Менестрель вдруг осознал, что моет руки, яростно стискивая кусок мыла, он взглянул на себя в зеркало над умывальником, он был бледен, глаза блестя, волевой подбородок выдавался вперед, губы были сжаты, он с удовольствием подумал: я вне себя от ярости, достаточно ему меня увидеть, и он наложит в штаны, впрочем, я буду сначала очень спокоен, очень вежлив, ты сейчас же извинишься передо мной, подонки, и если он откажется — раз, раз.

С полотенцем в руках он вернулся в комнату, тщательно вытер руки, закрыл окно и сел. Злость остывала. Он такой дряблый, такой жидкий, что у меня духу неостанет ударить этого жалкого педика. Он схватил лист бумаги и написал единым духом:

Бушют,

ты —

1. Задница.

2. Мещанин, переряженный анархом.

3. Но ты не карьерист, потому что твоя карьера уже окончена.

— Ну вот,— сказал вслух Менестрель,— готово. Он перечел раз, другой. После второго чтения удовлетворение исчезло. Слишком длинно, слишком оборонительно. Он как бы признавал косвенно свой собственный «карьеризм». И главное, опуститься до уровня Бушюта, ответить оскорблением на оскорбление, нет, нет, это не годится, я выше этого, он разорвал листок, поискал другой ответ, ничего не нашел. Почему он не унаследовал гениальных способностей Жюли де Бельмон-

Менестрель, усовершенствованных долгой практикой! Жюли, прошедшая школу чопорных монахинь, не знала себе равных в искусстве учтиво говорить гадости. Впрочем, теперь Менестрелю было главным образом грустно. Бушют его не любил, сердечность оказалась напускной, обнажились истинные чувства. Да и я тоже, подумал Менестрель, угрызаясь, я, вероятно, слишком далеко зашел, припирая его к стенке, я был даже жесток, может, написать ему хорошее письмо, объяснить все? Он тут же в удивлении оборвал себя. Как? После этой подтирки, которую он мне подsunул? Только что я хотел обломать ему рога, а теперь намерен извиняться? Может быть, сравнивать его с гаремной женщиной и было несколько подло, но кто кого третировал? И кто продолжает это делать? Кто использует против меня мой отказ принять участие в этой хреновине?

Менестрель вытянул на столе руки, посмотрел в окно. Мелкий, скучный, нескончаемый дождь. Стройка, утопающая в грязи. Ну и тоска, черт побери. Он подтянул к себе правую руку, оперся кончиками пальцев о край стола, забарабанил ими, сам того не замечая, уйдя в свои мысли. Если не считать Жоме, но с Жоме он виделся довольно редко, Бушют был в Нантере его единственным приятелем, а теперь ясно, что даже и он им не был. При первом серьезном споре все вылезло наружу: зависть, озлобление, тайная враждебность. Потекло, как гной из лопнувшего нарыва. Менестрель поднял голову, что ж, пусть так, я проглочу и одиночество в Нантере, в конце концов, я здесь временно, нужно просто поскорее с этим покончить, вот моя цель, через три года, если все пойдет хорошо, я прохожу конкурс — и только меня и видели. Глупее всего, что эти ребята убеждены в существовании некоего студенчества, как социальной прослойки, даже если сами не занимаются. А я в это не верю. Быть студентом — это ровным счетом ничего не значит, это не социальная категория, не профессия, это некое состояние, которое определяется даже не настоящим временем, а будущим, тем, к чему ты себя готовишь, но как раз такие, как Бушют, о своем будущем не имеют ни малейшего представления, и именно они воображают себя студентами, даже если ни хрена не делают, потому что о будущем отказываются думать, отказываются выбирать для себя будущее. Вот они и вынуждены фабриковать своего рода псевдонастоящее, как студенты: в нем укореняться намертво и даже находить оправдание собственному состоянию с помощью некой идеологии. В былые времена, чтобы почувствовать себя студентом, прибегали ко всяким фольклорным штучкам: студенческий берет, разгул по случаю окончания учебного года, розыгрыш новичков. Теперь ок-

купируют аудитории, бойкотируют экзамены, лупят деканов. И, заметь, лупят во имя борьбы против общества насилия.

Менестрель побарабанил пальцами по краю стола. Все это, впрочем, правда — наше общество действительно общество насилия, а наш университет — классовый университет. Нужно быть болваном, чтобы это отрицать. Но если понять это, проясняется и все остальное: 1. Студенты — привилегированная прослойка. 2. Они борются с обществом, которое дает им привилегии. 3. Они отождествляют себя с теми, кого это общество угнетает. Что ж, позиция благородная, ничего не скажешь, тут правы группачи, а я не прав, я просто гнусный индивидуалист, я поступаю как истинный христианин, думаю только о собственном спасении. Они стремятся к небу, а я — к диплому. Менестрелю теснило грудь. Он несколько раз резко ударил по ребру стола онемевшим указательным пальцем. С другой стороны, не могу же я делать все разом — зарабатывать на хлеб, готовить диплом и быть активистом. И потом, я хочу учиться, я хочу овладеть определенными навыками, я хочу как можно больше узнать, пока что я полный невежда, я владею только начатками культуры, нельзя же браться за переделку мира, когда сам еще недоделан. Он перестал барабанить по столу и с изумлением посмотрел на указательный палец, который покраснел и распух.

Менестрель встал и принялся ходить взад-вперед по комнате. Взад-вперед означало два с половиной шага от окна к двери и два с половиной — от двери к окну. И вдобавок шагать следовало не слишком широко. Через мгновение он остановился, схватил записку Бушюта, сунул ее в конверт, заклеил конверт и написал сверху «Бушюту». Когда он пойдет к миссис Рассел, он по дороге сунет записку под дверь. Возврат от правительству, учтывае порицание недостойного приема, отклонение Кэ д'Орсе неприемлемой ноты иностранной державы. Не плохо, в сущности. Сама Жюли не придумала бы лучше. О госпожа матушка, я, значит, все-таки твой наследник! Менестрель рассмеялся, но чувство горечи и досады его не покидало. Он бросился на постель, хотя обычно днем никогда не ложился, разве что на минутку. Если разобраться ничего тут нет дурного, но это все же унижительно, в двадцать лет нужно иметь девочку. Девочку из общаги, что ли? Какую-нибудь Жаклин Кавайон? Ну, предположим, такая заведется — черноглазая, пухленькая — я ведь тогда не буду вылезать у нее из-под юбки, то у меня, то у нее в комнате, с утра до вечера. А работа? Менестрель закинул руки за голову, вытянул ноги, уставился в потолок. Удивительно, до чего мал этот потолок, если смотришь с кровати. Прямоугольник 2,5 метра на 1,5. Жить вдвоем в та-

кой кроличьей клетке? Нет, мне бы кого-нибудь в Париже, я бы к ней ездил время от времени, и в летах, чтобы она не ловила меня в брачные сети до того, как я кончу университет, женщину вроде моей Тетелен, она ведь еще красива, моя Тетелен, лицо немного усталое, но фигура замечательная. Мне, впрочем, нравится, когда на лице у женщины морщинки. Мне нужна настоящая женщина, крупная, нежная, снисходительная, с ровным голосом, но без этого взгляда сверху вниз, с высоты зрелости и священного жизненного опыта, без этого гнусного вокального хлыста, которым госпожа матушка вбивала в него хорошие манеры. Что до голоса, то миссис Рассел, ничего не скажешь, непобедима. Флейта, виола, гобой. Он в салоне виллы в Довиле, весь дом спит, страшили, слуги. Он читает вслух «Войну и мир», бабушка дремлет в своем кресле с высокой спинкой, а рядом с ним, на канапе,— миссис Рассел с несессером на коленях, полирует ногти. Менестрель откладывает «Войну и мир», оборачивается к ней. «Хотите я займусь этим?— говорит он вполголоса.— Я прекрасно умею делать маникюр».— «Правда, мистер Менестрель?— говорит она своим ангельским голосом,— это один из ваших талантов?» Она очаровательно смеется, протягивает ему руку и пилку. Обрыв ленты, пробел. Менестрель приподнял затылок, высвободил руку и взглянул на часы. Час. Целый час потерян из-за прихода Бушюта, телефонного разговора, записки Бушюта. Он в бешенстве вскочил. Старофранцузский текст ждал его на столе, пора приниматься за дело, а в перспективе, вечером, в девять часов, у миссис Рассел — страшили. Он уселся за стол. Греза, которую он подавил в себе, стояла как кость в горле, он ощутил прилив горечи, я старею, подумал он с грустью, заработок, диплом, я стал взрослым, радость утекает из моей жизни через все щели, ее вытесняют ущемленность, долг, добродетель. Если жизнь такова в двадцать лет, стоит ли она вообще труда?

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

16 часов

Заняв пост у входа в большую аудиторию А, в нескольких метрах от толпы студентов, завихрявшейся у четырех стеклянных дверей галереи, которая соединяла корпус А с башней, Жозетт Лашо подстерегала профессора Фременкура. Нужно

перехватить его до лекции. Она все взвесила и решила поговорить с ним сейчас. После лекции его всегда окружали, осаждали студентки, дуры, которые заигрывали с ним, делая вид, что хотят выяснить тот или иной вопрос. И вообще, после своей лекции он бывает усталый, рассеянный, всегда торопится. Жозетт Лашо пригладила обеими руками черные косы, окаймлявшие ее матовое лицо, они были заплетены так туго, что торчали над ушами, придавая ей сходство с маленькой девочкой, казалось, кончики их должны быть перевязаны бантом. На ней была помятая блузка, несвежие белые брюки без складки и грязные теннисные туфли. Примерно так же бывала она одета, когда пять лет назад, лицеисткой, трижды в неделю выходила в четыре часа из школы, торопясь на гимнастику. Впрочем, с пятнадцати лет ни ее рост (она уже тогда была высокой), ни фигура, ни манера держаться почти не переменились. Не преодолела она и своего отроческого заикания. Ее глаза, не карие, а чернильно-черные, горящие, страстные и неподвижные, открыто выражали радость и гнев, не обузданные сдержанностью, которая обычно вырабатывается с годами.

Седеющая голова Фременкура появилась в водовороте, бурлившем у стеклянных дверей. Его стискивал и бесцеремонно толкал двойной поток студентов, устремлявшийся из корпуса А в башню и из башни в корпус А, в этот час вторых было гораздо больше; на мгновение Фременкура зажало в пробке, которая возникла в дверях, но тут же поток вытолкнул его и понес вперед на своей волне. Впрочем, его, казалось, не только не раздражала, но даже забавляла эта толкучка, и он на ходу дружески кивал студентам, которых узнавал в толпе.

— Господин Фременкур,— сказала Жозетт Лашо, загораживая ему путь в ту минуту, когда он уже собирался войти в аудиторию,— могу ли я задержать вас на два слова?

Это она выпалила единым духом, не заикаясь.

— Здравствуйте, Жозетт,— сказал Фременкур.

Он улыбнулся, окинул ее сердечным взглядом и протянул руку. Это был человек средних лет, крепкий, с живыми, веселыми глазами.

— Я хотела бы с вами поговорить,— сказала Жозетт.

«П» в слове «поговорить» внезапно возникло перед ней, как трудный барьер, ей пришлось сделать усилие, чтобы перескочить через него.

— Пожалуйста, хоть сейчас.

— Нет, нет,— сказала Жозетт,— это длинный разговор. Может быть, после лекции?

И опять ей пришлось преодолевать «п».

— Только не в пять, я занят. Но в шесть, если вам удобно, у меня в кабинете.

— Спасибо,— сказала Жозетт Лашо, но ее черные глаза выжидающе смотрели на Фременкура, точно сердечность профессора ее не удовлетворяла.

— Итак, в шесть,— сказал Фременкур с едва уловимым раздражением, поворачиваясь к ней спиной.

Он вошел вместе с толпой студентов в большую аудиторию А. Кивнул Франс Доссель, которая поздоровалась с ним, но не улыбнулась. Она относилась с неодобрением к его атеизму, его политической философии и на свой манер сухо и учтиво давала ему это понять. «Ей двадцать лет,— подумал Фременкур, спускаясь по ступеням амфитеатра к кафедре,— а она уже владеет истиной. И можно ли этому удивляться, если у них в семье истина передается по наследству?» Он мог бы воспользоваться профессорским входом, но его отталкивал длинный, выкрашенный эмалевой краской, мрачный и узкий коридор без окон. Впрочем, и Жозетт с недавних пор также открылась истина, хотя и прямо противоположная. Она уже не находила Фременкура достаточно революционным и не скрывала этого. Поразительно, какую жестокость приобрели позиции каждого в результате «событий». Фременкур положил портфель на высокую полированную кафедру аудитории А, раскрыл томик «Гамлета», конспекты, сел, притянул к себе микрофон. Студенты все прибывали, их было свыше двухсот, по преимуществу — девушки. Прошло еще минут пять, прежде чем все расселись. Чтобы проверить, включил ли служитель микро, Фременкур постукивал пальцем по сетке, отбивая такт — та-та-та-та, та-та-та-та,— он мог себе это позволить, ни один из студентов, тонкой струйкой просачивавшихся в аудиторию, никогда не слышал этих позывных. Странно, что эта война, так много значившая для нас, для них только нудная страница в учебнике истории. Ладно. Не будем возмущаться. Они могут обзывать отряды республиканской безопасности эсэсовцами, так как им не пришлось видеть эсэсовцев в деле. Они высмеивают либерализм, так как всегда жили в обществе, где демократические свободы гарантированы законом. Они разоблачают потребительское общество, так как сами никогда не голодали. Нужно помнить, что их опыт и наш лежат в разных плоскостях.

16.07. Струйка прибывающих иссякла. Фременкур опять постукивал по сетке микро указательным пальцем и сказал громким голосом: «Silence, please!»¹ Чуда не произошло, тишина не ус-

¹ Пожалуйста, тише (англ.).

тановилась. Но гул немного стих, сменился шорохом конспектов, шарканьем ног, шелканьем открываемых и закрываемых сумок; удивительно, сколько шума от двухсот человек, даже когда они спокойны. Фременкур выпрямился, положил руки на кафедру, выжидающе оглядел аудиторию. Длительность выжидания — вопрос такта. Затянешь — возникнет впечатление неуверенности в себе, враждебности, дисциплинарного приема. На дотянешь — впечатление уступки. Необходимо было добиться с самого начала заметного успокоения, чтобы после первых произнесенных им слов установилась настоящая тишина, подобно тому, как по выходе из бухты, когда за вашей спиной гложет городской гул и береговой рельеф больше не сдерживает ветра, он внезапно наполняет поднятые паруса. Шуршание слегка стихло, и Фременкур сказал ясным четким голосом: «To-day, I propose to study Hamlet as a son, a lover and a friend¹.— Он сделал короткую паузу и продолжал:— Not a few critics paint Hamlet's life before his father's death in idyllic colours. It is somewhat doubtful, however, that his parents' matrimonial bliss made prince Hamlet very happy. In the «Too, too solid flesh» soliloquy, an element of disgust surprisingly creeps in when he describes his mother's attitude to his father:

Why, she would hang on him
As if increase of appetite had grown
By what it fed on.

We might perhaps infer from this that the sight of his mother «hanging» on the king was not exactly pleasant to him»². Марсель Жели — двадцать один год, студент третьего курса, рост метр восемьдесят, волосы темно-каштановые волнистые, плечи широкие, но не атлетические, лицо привлекательное, но несколько безвольное,— записал: «For Hamlet, hanging on father unpleasant»³. Это точно, у стариков начисто нет чувства стыда, они не отдают себе отчета, что в их возрасте... Прошлым ле-

¹ Сегодня я намерен рассмотреть Гамлета как сына, возлюбленного и друга (англ.).

² Некоторые критики рисуют жизнь Гамлета до смерти отца в идиллических тонах. Сомнительно, однако, что супружеское счастье родителей доставляло большую радость принцу Гамлету. В его монологе о «слишком тугой плоти», в описание чувства его матери к королю удивительным образом вторгается элемент отвращения. «Но она висла на его шее, точно голод рос от утоленья». Мы можем, пожалуй, заключить из этих строк, что зрелище матери, «висевшей на шее» короля, было ему не так уж приятно (англ.).

³ Для Гамлета «висение» на отце неприятно (англ.).

том в Санари, в этой крохотной вилле, которую мы снимали, жили там на головах друг у друга, и в спальне папа, в пижаме, лапал маму, которая стелила постель, я видел через дверь ванной комнаты, меня чуть не стошнило, да еще это вульгарное хихиканье мамы: «Да перестань же, цыпленок, перестань, я тебе говорю». У нее даже голос изменился, и это она, обычно такая тонкая, благовоспитанная, нет, я нахожу, что у стариков это совершенно отвратительно; папа, с его волосатой грудью и лицом, налившимся кровью, был похож на гориллу, я прекрасно знаю, у него куча достоинств, он умеет работать, он своими руками добился положения, мне достаточно прожужжали этим уши, но со мной деспотичен, скуп, вечно читает мораль, машины от него никак не добьешься, а я ведь не псих какой-нибудь и не разгильдяй, я не завидую ребятам, которые похваляются, что спят с девочками, я, может, позавидовал бы им в том смысле, что... но нет, нет, я им не завидую, впрочем, если бы я переспал с девочкой, это удивило бы маму, ей это было бы неприятно, это как-то встало бы между нами. «That he was somewhat jealous of his father though admiring him as a man is evident in these lines. That he is now jealous of his mother's second husband is, of course, glaringly apparent in the mother-and-son scene, act III»¹. Марсель Жели записал: «H. jealous of father, now Claudius»². Дениз Фаржо, запустив левую руку в тусклую солому своих волос, записала: «father, Claudius, Oedipus complex»³. Она слушала, записывала, но что-то ей все время мешало — огромность этой аудитории, непрекращающееся шуршание, отсутствие окон, мертвенность света, потоки воздуха, то теплого, то холодного, обрушивавшиеся на ее голову вместе с голосом Фременкура, которому громкоговорители сообщали визгливость. «Read carefully the whole scene. Hamlet's major preoccupation is to extract from his mother a promise not to sleep again with Claudius»⁴. Моника Гюткен, подперев рукой щеку и повернув острый носик к соседке, улыбнулась ей своими живыми пронирыливыми беличьими глазками и подумала: о Боже, какое надо иметь терпение, и все это ради ралли матушки Лануай. Эта Мари-Шмари просто невозможна, невыноси-

¹ Из этих строк очевидно, что он несколько ревновал к отцу, хотя и восхищался им как человеком. То, что он теперь ревнует мать ко второму мужу, бросается в глаза в его сцене с матерью в III акте (англ.).

² Г ревнует к отцу, теперь к Клавдию (англ.).

³ Отец, Клавдий, Эдипов комплекс (англ.).

⁴ Перечитайте внимательно всю сцену: Гамлет больше всего озабочен тем, чтобы вырвать у матери обещание больше не спать с Клавдием (англ.).

ма, автобиография в таких дозах, у нее недержание речи, словесный понос, ей необходимо, чтобы ее «я» обдряпало все кругом, может ли ее смутить такой пустяк, как лекция? Какая дьявольская наглость! И в то же время, странная вещь, я ей завидую, завидую ее непоколебимой бессознательной уверенности, что мир надежен, ее беспредельному самодовольству, присущему всем этим сучкам, воспитанным под колпаком big money¹. Фременкура она мне слушать не дает, но я и ее не слушаю, то есть я ее, конечно, вынуждена слушать, хотя бы для того, чтобы сделать соответствующее выражение лица, ну, скажем, я плыву в потоке ее... не будем говорить чего... Мари-Жозе Лануай, изящная, непринужденная, без единой тетради, без единой книги, не обремененная ничем, кроме сумки из свиной кожи, лежавшей перед нею на столе, не отрывала от Моника Гюткен своих голубых самоуверенных и пустых глаз. «Ты понимаешь, Моника, я некрасива». «A strange preoccupation in someone whose mission is revenge»². Жозетт Лашо, поглаживая обеими руками короткие тугие косички, обрамлявшие ее лицо, не отрывала от Фременкура своих глаз одержимой. Она на него просто смотрела, она его не слушала. Она вообще была на втором курсе, и «Гамлет» не входил в ее программу, она посещала лекции Фременкура, чтобы слушать английскую речь и видеть его, хотя ее великая любовь к нему теперь прошла. Ну, не совсем. Не столько прошла, сколько померкла. В плане идеологическом Фременкур очень ее разочаровал, в особенности после того, как она познакомилась с Симоном. За две недели общения с Симоном она очень выросла политически, и Фременкур казался ей теперь погрязшим в ошибках, в своем отсталом мелкобуржуазном прогрессизме, он был весьма подозрителен в плане объективного пособничества репрессивным силам. «His mission is to kill Claudius and not strain his dialectics in trying to sever his mother from him»³. «Нет, нет, Моника, уверяю тебя, я некрасива (повтор), ну, не очень красива, но, мне кажется, я могу рассчитывать на свое обаяние. (Как же, как же!). Когда я хочу понравиться мальчику, я не пускаюсь сразу во все тяжкие, как Мари-Анн (я киваю головой). Я, напротив, если хочу понравиться, держусь несколько отчужденно, безразлично, но, подожди, это не все, тут есть одна тонкость (тонкость!), я вижу, какого рода девушка могла бы понравиться

¹ Большие деньги (англ.).

² Странная забота для человека, миссия которого — месть (англ.).

³ Его миссия состоит в том, чтобы убить Клавдия, а вовсе не в том, чтобы всячески убеждать свою мать с ним расстаться (англ.).

этому мальчику, и я становлюсь этой девушкой, о, я знаю, ты спросишь, каким образом (улыбнемся, на всякий случай), но я вообще никогда не ошибаюсь относительно вкуса мальчиков. «Hamlet is obsessed by a side issue absolutely irrelevant to his mission»¹. Дениз Фаржо, засунув свою короткую широкую руку с обгрызанными ногтями в солому волос, записала: «side issue abs. irrele»². Ей по-прежнему было не по себе. В этой гигантской аудитории чувствуешь себя затерянной, ничтожной. Группы непрерывно критикуют общие курсы и требуют диспутов. Фременкур попытался было. Полный провал. Несмотря на все его усилия, получилось что-то вроде дискуссии в киноклубе. Двое или трое выступают, всегда одни и те же, остальные совершенно пассивны. Нет, по-моему, для общего курса губительно не то, что проф говорит соло, а совсем другое — количество студентов, их безликость. Проф нас не знает, да и мы друг друга тоже. В школе класс — это совсем иное, это группа, небольшая группа, члены которой один для другого существуют, а вовсе не эта бесформенная магла несуществующих, изолированных друг от друга, сидящих каждый сам по себе под этим холодным светом, в этом вокзальном вестибюле. «The ghost is, if I may say so, quite justified in putting in an appearance again and chiding his «tardy son»»³. Не хвалясь, могу сказать, Моника, интуиция у меня прекрасная, я инстинктивно чувствую, какого рода девушка нужна этому мальчику, и я становлюсь этой девушкой, мне даже не приходится насиловать себя, понимаешь? (Я все понимаю, это мое основное достоинство.) Я удержусь отчужденно, безразлично. Жозетт Лашо, зажав между большим и указательным пальцем гладкие, перехваченные резинкой кончики косиц, смотрела на Фременкура и не понимала, зачем она здесь. Еще в прошлом году, будучи первокурсницей, она посещала его лекции о «Гамлете» и уже тогда прекрасно отдавала себе отчет в том, что абсолютно безразлична Фременкуру, даже раздражает его, он и теперь согласился встретиться с ней скрепя сердце, он можно сказать, оборвал разговор на полуслове, едва улыбнулся ей, когда протянул руку. Симон прав, Фременкур, в сущности, типичный левый интеллигент, его прогрессивность может поначалу ввести в заблуждение, но на самом деле он относится враждебно к дейст-

¹ Гамлет одержим второстепенной проблемой, совершенно не отвечающей духу его миссии (англ.)

² Второст. пробл. совершенно не отвеч. (англ.)

³ Призрак, если можно так выразиться, имеет все основания появиться вновь и избранить своего «медлительного сына» (англ.)

вию, как таковому, он отступает перед насилием. Жозетт Ла-шо нахмурила брови, сурово посмотрела на Фременкура своими пронзительными черными глазами и подумала с презрением: «Он — либерал». «But Hamlet is not so much «tardy» as downright oblivious. The truth is he has entirely forgotten his father and his father's death»¹. Франс Доссель, которой Фременкур вежливо кивнул головой, когда входил в аудиторию, сидела очень прямо, ни сутулясь, не откидываясь на спинку скамьи (ее учили не разваливаться), ее мысли и волосы были стянуты и зализаны со лба назад, уложены в аккуратный пучок на затылке. Бело-розовая кожа, как у англичанки, длинный нос с узкими ноздрями, глаза-щелки, крохотное ушко, крохотный ротик (казалось, он с трудом может приоткрыться, чтобы пропустить пищу или, в крайнем случае, градусник), все входные отверстия ее лица, все, что открывало доступ чувствам, было сведено к минимуму, точно для того, чтобы фильтровать нечистоты жизни. Задрав подбородок, скрестив руки на своей целомудренной груди, она неодобрительно смотрела на Фременкура. Фрейд, нескончаемый Фрейд. Ее мини-маг записывал лекцию. «He does not think in terms of hatred as a revenger should. He can only think in terms of sexual jealousy»². Жозетт Лашо, тихонько подергивая косицы, пристально вглядывалась в дерево стола. Сентябрьский лес, сыро, прохладно, на нее нахлынули сладкие грезы, она с радостью отдалась им, действие разворачивалось перед нею, и в то же время она сама рассказывала себе все это, поток слов бежал, ни обо что не спотыкаясь, легко скользя от фразы к фразе, обтекая самые трудные согласные («п», «б», «к»), вдруг утратившие каким-то чудом свою неприступность, она произнесла единым духом, с пьянящей легкостью: мне пятнадцать лет, папа берет на охоту из трех дочерей одну меня. «The fact Hamlet praises his father to an excess is no proof of his love. Paradoxically, he speaks of Yorick more feelingly and with more genuine affection than he does of the late king»³.

¹ Но Гамлет не столько «медлителен», сколько, если быть точным, забывчив. Истина состоит в том, что он совершенно забыл о своем отце и о смерти своего отца (англ.).

² Гамлет не мыслит понятиями ненависти, как должен был бы мыслить мститель. Ему удастся мыслить только понятиями сексуальной ревности (англ.).

³ Тот факт, что Гамлет превозносит своего отца, еще не доказывает, что он его любил. Парадоксально, но об Йорике он говорит с большим чувством, с более искренней юношеской привязанностью, чем о покойном короле (англ.).

Мы выезжаем на мотоцикле едва рассветет, я прижимаюсь к папе, щекой к его кожаной куртке, он делает в лесу невероятные акробатические номера, нарочно буксует в грязи, а выбравшись, оборачивается ко мне, хохочет, глядит на меня живыми и веселыми глазами Фременкура, и когда мы садимся перекусить, он, прислонясь спиной к дереву, а я, прильнув к нему,— это упоительно, от него хорошо пахнет кожей, порошком, потом, мылом для бритья, я ем, я устала, я сажусь меж его ног, я чувствую, что он играет моими косичками, и засыпаю. Жозетт Лашо вздрогнула, четкий, непререкаемый ледяной голос сказал над ее ухом: он меня бросил. Она подняла глаза, сладкие клещи кожаных сапог пропали, она была одна, Фременкур говорил, говорил, говорил, он был холоден, далек, отчужден, мелкобуржуазный либерал прогрессивного толка, подозреваемый в объективном пособничестве... «So far, we have made three points, I think»¹. Фременкур сделал короткую паузу и окинул взглядом амфитеатр. Стояла тишина, но все его усилия добиться контакта были тщетны. Студентов было слишком много, они не могли «воспринимать», как воспринимает класс. Он не мог охватить их взглядом; те, что сидели выше пятнадцатого ряда, вообще были слишком далеко, он не различал даже их глаз, в аудитории образовались какие-то провалы, какие-то зоны равнодушия, ему недоступные, например, вон те две дуры наверху — болтают, не делая никаких записей, и какого черта они пришли на лекцию, какого черта они вообще на Факе, только их папам это ведомо, и таких десятки и десятки, в особенности на английском. Приведи я сюда самого Шекспира, чтобы он рассказал им о Гамлете, их даже это не заинтересовало бы, не удивило, они сказали бы: а это что еще за высоколобый? — и заговорили бы о своем. «And I would like to sum them up. Before his father's death Hamlet resented his mother's intimacy with the late king»². Лента мини-мага Франс Доссель крутилась с легким, почти неуловимым шуршанием. Потом лекцию перепечатает папина машинистка, владеющая английским, в двух экземплярах, не больше, в конце концов это ее лекции, не может быть и речи о... Один экземпляр для нее самой, другой для Аниты (как и она, воспитанницы Сент-Мари в Пасси). У Аниты была слабая грудь, внутри, не снаружи, вообще-то, она была великолепна,

¹ До сих пор мы выделили, как мне кажется, три аспекта проблемы (англ.).

² Я хотел бы резюмировать. Перед смертью отца интимные отношения матери с покойным королем были неприятны Гамлету (англ.).

чрезвычайно декоративна, когда ей вылечат бронхи, она будет отличной партией для выпускника ВАШ¹. Но сейчас она вынуждена большей частью жить в горах, впрочем, лыжи укрепят также и ее сердце, несколько недоразвитое; бедняжка Анита, подумала Франс с чувством христианского милосердия. Она смотрела на Фременкура; как мужчина, он был в ее вкусе, но зато уж его идеи... коммунист или сочувствующий, наверняка, атеист и, точно этого еще мало, Фрейд, просто мания какая-то. Разумеется, сексуальность играет известную роль в повседневной жизни, но не надо все же переходить границы. Я сама в выпускном классе немножко занималась Фрейдом, но это сведение всего на свете к слишком уж примитивным вещам действует мне на нервы. По-моему, так, в конце концов, вообще утрачивается представление об индивидуальности, весь мир приводится к общему знаменателю, от этого можно впасть в уныние. Святой ли, ученый ли, угольщик ли — всех стригут под одну гребенку. На мой взгляд, литературный разбор должен даваться на уровне чувств, и я не вижу, какой смысл выдвигать на первый план вещи такого рода. «Secondly: he now expresses vehemently his jealousy of Claudius in relation to his mother»². Но, ты понимаешь, Моника, тут есть заковыка. Поскольку я не могу все время хранить эту личину, я меняю свое поведение, короче, я, если угодно, становлюсь сама собой, сначала это очень удивляет, но как раз в той мере, в какой мальчику удастся совладать со своим удивлением... Моника Гюткен наклонилась к Мари-Жозе Лануай и шепнула: «За твоей спиной высокий бородач, он злится, что мы разговариваем, осторожнее, я его не раз видела, это китаец или анарх, не знаю точно кто», — она бросила на него быстрый взгляд через плечо, — свирепый, расхристанный, волосатая грудь выставлена напоказ почти до пупа. «Я веду себя так, как считаю нужным», — сказала Мари-Жозе высокомерно, не поворачивая головы. «Thirdly, he hates Claudius more as his mother's paramour than as his father's murderer»³. Моника Гюткен следила за бородачом. Она увидела, как тот вдруг ткнул очень длинным и очень грязным ногтем указательного пальца в спину Мари-Жозе Лануай. Мари-Жозе обернулась и в ужасе уставилась на этот ноготь. «Послушай, дурища, ты не могла

¹ ВАШ — Высшая административная школа.

² Во-вторых, он теперь бурно проявляет свое чувство ревности по отношению к Клавдию и своей матери (англ.).

³ И, в-третьих, он больше ненавидит Клавдия за то, что тот любовник его матери, чем за то, что тот убийца его отца (англ.).

бы заткнуть фонтан,— сказал бородач грубым и презрительным голосом,— ты мешаешь мне слушать старика». Мари-Жозе побледнела, губы у нее задрожали, руки затряслись, и она умолкла, этот ногой в спину был первым тяжким оскорблением, она ощутила на себе дыхание революции. Через минуту краска вернулась на ее щеки, вытащив из сумки крохотную записную книжку в замшевом переплете и малюсенькую золотую шариковую ручку, она написала на первой страничке несколько слов своим надменным, угловатым нетвердым почерком и подвинула книжечку Монике. «Я сюда больше ни ногой. А ты?»

II

Ассистенту Дельмону, с утра — с 9.15 — твердо знавшему, что в этом году он должности штатного преподавателя не получит, предстояло убить час перед вторым семинаром. Забрав свою почту, он толкнул дверь профессорского клуба, просторного прямоугольного зала в нижнем этаже окнами на корпус В. Удобные кресла, обитые искусственной кожей, отделенные друг от друга низкими перегородками и зелеными растениями, справа от входа — маленький бар, окно во всю длинную стену. Неслыханная изысканность — это гигантское стекло было задернуто тонким занавесом, оберегавшим профессорские взоры от лицезрения серых стандартных домов, которые возвышались в тридцати метрах от них, загораживая горизонт.

В зале никого не было. С чувством безмерной усталости Дельмон рухнул в удобное кресло. Знакомое состояние. Ему было всего тридцать семь лет, но он, как правило, чувствовал себя неважно. Когда он, бреясь по утрам, глядел в зеркало, собственные узкие плечи, пергаментный цвет лица, тусклые, сильно поредевшие каштановые волосы наводили на него уныние. Он оглядел свой тощий торс и подумал, мне следовало бы заниматься спортом, но молодость ушла на учение, к 27 годам он прошел конкурс, к 28 — отслужил в армии, и теперь, вот уже почти десять лет корпит над своей диссертацией как каторжный, а конца не видно, в лучшем случае он станет доктором в 39, профом — в 40, какая абсурдная система — потратить столько лет на одну-единственную книгу, а потом, как это случается со множеством бонз, до конца своих дней ничего больше на делать. Просто удивительно, до какой степени французскому университету не хватает здравого смысла.

Он вынул из портфеля «Монд», только что купленный в киоске Ашетта, но, положив газету на колени, даже не развер-

нул ее. У него устали глаза, чересчур много чтения, чересчур много карточек, чересчур много рукописей, которые приходится расшифровывать в плохо оборудованных и плохо освещенных библиотеках. Впрочем, университетская архитектура вообще отличается поразительной бесчеловечностью. Бездушные казармы для роботов-учеников. Взять хотя бы Нантер, все эти корпуса, стоящие гуськом: А, В, Г, Д; что может быть суше этой дурацкой прямолинейности, а эта галерея, от которой можно прийти в отчаяние, впасть в хандру, какой-то бесконечный уродливый клозетный коридор, протянутый от А до Д, и все это затеряно среди наводящих тоску гектаров желтых лысых газонов, в свою очередь затерянных среди пустырей зоны. Если бы, вместо того чтобы тянуть эту дурацкую прямую линию, четыре или пять факультетских здания расположили прямоугольником, их можно было бы «сшить между собой», как выражается Монтень, на манер монастыря, украшенного внутри садом, а магазины, кафе, всякие заведения самообслуживания, дискотеки, кинозалы выходили бы в этот сад, создавая некое подобие восточного базара, сообщая Факу городской дух, живую, многокрасочную атмосферу, которой так не хватает Нантеру, и этот монастырь-базар превратился бы в маленький Бульмиш, составляющий часть университета, и стеклянная стена его открывалась бы на внутренний мини-сад наподобие Люксембургского, с аллеями, деревьями, скамьями, тогда университет повернулся бы спиной к чудовищной пустыне пригорода, замкнулся бы вокруг своего парка, создавая у студентов ощущение надежности и уюта, которое всегда возникает в городках, опоясанных стенами, таких, например, как Фец или Сен-Март.

Идея показалась ему забавной. Он вытащил из портфеля блокнот, вынул из кармана шариковую ручку и принялся рисовать. Прежде всего башня, фаллос, как называют ее студенты, башню — к черту, я ломаю ее надвое, заменяю двумя маленькими корпусами, такими же, как все остальные, четырехэтажными, ставлю их рядом. Между ними я рисую широкую арку, здесь, допустим, центральный вход. Это будет одна из коротких сторон прямоугольника, выходящая на улицу Лафоли. Вдоль каждой из длинных сторон я размещаю корпуса А и В, Г и Д, а на противоположной короткой стороне — университетскую библиотеку. Спланировать здание библиотеки в полукилометре от факультетских корпусов — абсурд, поистине кафкианский. Добрый километр туда-обратно под дождем и в холод только для того, чтобы уточнить какую-нибудь ссылку или заглянуть в какую-нибудь книгу. Последнее слово архите-

ктурного бреда: поместить книги возможно дальше от людей, которые ими пользуются. Теперь, соединяя корпуса, рисую мой монастырь-базар, а внутри разбиваю сад, настоящий сад площадью в гектар, с настоящими деревьями, а не этими пятью-шестью эмбрионами, которыми они украсили наши газоны. Дельмон вдруг яростно выдрал листок из блокнота, скомкал его и сунул в карман. Рансе отказывает мне в поддержке, мне не видать места штатного преподавателя как своих ушей, и чем же это я развлекаюсь на досуге? Я перестраиваю университет! Что это, как не уход в компенсационные грезы? А между тем, пока я мечтаю, миром владеют реалисты, то есть если взять нашу *Alma mater*, те, кто лижет зад начальству. Возможности, которые нынешняя университетская система продвижения открывает для задолизания, поистине безграничны, в том числе и для задолизания через промежуточное лицо (см. зятя медицинских светил). Он горько рассмеялся: интересно, Лагардет с Рансе?.. В буквальном смысле слова — нет. Сомнительно. Даже не так. В сущности, было бы даже приемлемей, если бы Рансе ей сказал: либо переспишь со мной, либо не видеть тебе места штатного преподавателя. Признак нездоровья как раз в том, с какой жадностью Рансе клюет на эту приманку иллюзорного удовлетворения, подсовываемую лицемеркой, хотя и не обманывается на сей счет. Не путать: она ласкает его тщеславие, а не что-то другое (смешок), в сущности, она его презирает, ничего ему не дает, она кокетка. Дельмон постучал ручкой по блокноту. Что такое кокетка? Девица, которая предлагается без всякого намерения отдаться. Что же в таком случае недотрога? Ну, скажем, девица, которая не перестает отказывать вам в том, чего вы не намерены у нее просить. Несколько минут Дельмон вертел в уме так и сяк эти определения, нашел их меткими и записал в блокнот. Но удовлетворение мгновенно испарилось, я веду себя, как Гамлет, вместо того чтобы действовать, заношу на дощечки свои словесные находки, изречения, это тоже форма компенсации.

Дверь отворилась, показался Рансе. Он застыл на пороге, задрав подбородок, озирая клуб, точно собственные владения. Я ненавижу этого человека, я не объективен, когда думаю о нем. Рансе вошел в комнату, его коричневый костюм и желтушное лицо образовали желтоватое пятно, которое перемещалось с торжественной медлительностью, в руках он держал толстую пачку писем. Дельмон приподнялся, тотчас пожалев об этом: «Еще раз здравствуйте». — «Еще раз», — сказал Рансе, кинув быстрый взгляд, кисло улыбнувшись и сделав рукой приветственный жест. Он торжественно уселся в кресле

неподалеку от Дельмона и с непередаваемо важным видом стал распечатывать письма, точно вершил нечто чрезвычайно значительное. Дельмон развернул «Монд», следя за Рансе поверх первой полосы. С каждым распечатанным письмом тот все больше чванился и кичился, раздуваясь от сознания собственного значения как главы отделения. Любопытно, до какой степени овладевает административный зуд университетскими деятелями среднего возраста. Заведующий отделением, замдекана, декан, ректор, член Консультативного Совета, какая борьба честолюбий идет вокруг этих пожирающих время должностей! А может, это утомление от умственных усилий толкает факультетских профов, переваливших за пятьдесят, к деятельности более практического характера? Или эта ничтожная частица власти компенсирует им снижение сексуальной потенции? Дельмон хихикнул. В сущности, это сводится к одному. Нет, просто невероятно, он раздувается на глазах с каждым письмом, пыжится, распускает хвост, прямо голубь, только голубки не хватает. А может, роль голубки играет он сам, Дельмон? И Рансе кружит вокруг него, выделявая свои па бюрократического танца.

Раздались громкие уверенные голоса, дверь клуба вновь отворилась, показались трое пожилых мужчин. У порога они замешкались, с рассеянной вежливостью уступая друг другу дорогу, но не прерывая при этом разговора, а потом вошли в зал все разом, учтиво улыбаясь и кивая Рансе; я для них, разумеется, пустое место, ах сетчатка даже не отмечает моего присутствия, ассистентов ведь в Нантере свыше двух сотен, эти даже на своем отделении знают далеко не всех. Зато я их знаю, бонзы из бонз, можно сказать эталоны. Хорошо сохранившиеся пятидесятилетние мужчины, ни намек на брюшко, волосы, слегка отступающие на висках, но без всякой панической спешки, костюмы темные, строгие, но не элегантные, белые поплиновые рубашки, консервативные галстуки, подчеркнуто скромные орденские мини-ленточки в петлицах, ах, нет, глядите-ка, у этих они как раз отсутствуют; но главное — цвет лица. Ни загара пятидесятилетних спортсменов, ни багрово-лицности генеральных директоров — жертв деловых обедов. Цвет лица кабинетных ученых, цвет бумаг, среди которых они живут, кожа, сама уподобившаяся бумаге, отразившая ее или зараженная ею, короче, с данной стороны я уже вполне созрел. Впрочем, эта желтоватая бледность ни о чем еще не говорит, вернее, говорит как раз об обратном. Поразительно, какие они все долгожители, университетские профы. Они считают, что перегружены работой, но на самом деле отнюдь не

живут в том напряжении, от которого страдают деловые люди. И свободного времени у них уйма. Стоит ими чуть-чуть занемочь, они принимаются холить и лелеять себя, как архиепископы. Не говоря уж о том, что они пользуются каждым удобным случаем, чтобы отвертеться от своего курса — тут тебе и поездки с лекциями, и конгрессы за границей, и важные миссии — «меня заменят мои ассистенты», ну, как же, разумеется! Чего тут стесняться! В прошлом году, пока Рансе был в Японии, мы с Даниелем вкалывали за него сверх своей нагрузки. В течение месяца два ассистента начисто прекращают работу над своими собственными диссерами, чтобы мэтр имел возможность нести перед японскими студентами свою эрудированную пошлость. Разумеется, так поступают не все интеллектуальные бонзы, среди них есть немало людей добросовестных, и эти три нотабля, застигнутые мной на месте преступления при обмене мыслями, слынут людьми скорее порядочными, «либералы», как говорится. В конечном счете довольно симпатичны. Арнольд с его наивными детскими глазами и юношеской копной седеющих волос мне даже нравится; Фременкур смешлив, глаза за толстыми очками в роговой оправе веселые и внимательные. А в Бергезе есть какая-то забавная эксцентричность, височки он носит такие длинные, что они заслуживают скорее названия бакенбардов, глаза карие, выпученные, так и ждешь, что они сейчас выдвинутся из орбит подобно перископу, как у некоторых насекомых, и оглядятся во все стороны.

— По-моему,— продолжал начатый разговор Фременкур,— произошло следующее. Внезапно обнаружилось, что молодежь представляет гигантский рынок сбыта пластинок, транзисторов, электрофонов, спортивного инвентаря, товаров для туризма, и тогда радио, телевидение, печать стали отводить ей огромное место, во Франции, да и во всей Европе, возник своего рода культ молодежи на американский манер и по тем же самым коммерческим причинам. Отсюда все и пошло. Молодежь превратили в кумир, псевдокумир, разумеется, поскольку реальная власть осталась в руках стариков. Студенты в силу того, что они хорошо владеют техникой мышления, первыми поняли, какой за всем этим кроется обман. Массовое обучение, жестокая конкуренция, ограниченность спроса, с которой они сталкиваются по окончании, а в самом университете — никакой возможности влиять на систему обучения, на программы и методы. На первый взгляд — кумир, на поверку — дети, которых держат на помочах. Я считаю, что стремление установить студенческую власть родилось из этого противоречия.

Дельмон посмотрел на Арнольда и Бергеца. Они слушали. Профы, как правило, великолепно умеют слушать. Внимательно, не прерывая, не выражая нетерпения. Убедил ли он их? Скорее всего — нет. У каждого была своя теория «событий», выработанная и выношенная в бессонные ночи, следовавшие за первыми студенческими беспорядками, и теперь, когда Фременкур излагал свою, Арнольд и Бергез думали каждый о своей. Обмену мыслями между профами не хватает не мыслей, но обмена. Нет ни резкости, ни взаимных оскорблений. Никто не позволит себе личного выпада, формулировки отличаются осторожностью, гибкостью, но взгляды каждого уже застыли, как крем. Их привозят в Нантер и увозят обратно домой в целостности и сохранности, не поколебленными ни на йоту. Учтивости хоть отбавляй, но открытости ни на грош.

Воцарилось вежливое молчание, потом Арнольд уставился на коллег своими наивными и восторженными глазами пятидесятилетнего юнца, наклонился и протянул к ним открытые ладони, точно это сообщало дополнительную убедительность его точке зрения.

— Меня поражает одно; отказ студенческого движения сформулировать свои цели и создать свою организацию. Мне кажется, что такая позиция присуща сейчас не одному студенческому движению, но шире — целому идейному течению. Возьмите структурализм, это рабочая гипотеза, которая тяготеет к исключению содержания из языка. Возьмите новый роман: это попытка изгнать из повествования персонажи и фабулу. Возьмите, наконец, студенческое движение: это стремление лишить революционный порыв организации, программы и стратегии. Во всех трех случаях вы имеете дело с валоризацией форм путем выхолащивания сути. В основе этой тенденции — безнадежность, маскируемая терроризмом или, во всяком случае, высокомерным презрением к противнику. Структурализм, новый роман, студенческое движение: три антигуманистические попытки, свидетельствующие, возможно, о том, что человек устал быть человеком.

— Мне не приходило в голову такое сближение, — сказал Фременкур, снимая очки. — Я нахожу его весьма интересным.

Дельмон глядел, ничего не видя, в свой «Монд», разложенный на коленях. Ну вот, моя концепция рухнула. Тут обмен произошел на самом деле. Фременкур не отказался от своей собственной точки зрения, но сказал, что весьма заинтересован точкой зрения Арнольда. Мне, впрочем, она тоже кажется любопытной, хотя я и не согласен с его выводом. Я считаю,

что революционное движение не может быть антигуманистичным даже в том случае, если оно само претендует на это.

Хотя Рансе продолжал вскрывать конверты и бегло просматривать письма, ему уже не удавалось на этом сосредоточиться. Он поджал свой большой толстогубый рот и устремил черные беспокойные глаза на кончик собственного носа, как будто сдерживая взгляд в определенных рамках, чтобы коллеги не могли прочесть в нем неодобрения. Ну, разумеется, у коллег для всего наготове теоретическое обоснование! Они «проявляют понимание», они «занимаются» этой проблемой! Они так хорошо все «объясняют»! Кучка бесноватых, произнесем же, наконец, это слово вслух, кучка бесноватых баламутит весь Факультет, срывает лекции, освистывает профессоров, оскорбляет декана, поднимает на него руку, а чем заняты тем временем коллеги? Они, видите ли, связывают «студенческое движение» с определенным «идейным течением» нашей эпохи! Мы сами всему этому потворствуем, вот в чем дело! Начиная с наших ассистентов! С ними мы тоже «либеральничаем», проявляем «широту взглядов», мы перестали держать их на должной дистанции. И вот результат: они садятся нам на голову. Посмотрите хотя бы на этого жалкого лицемера, он, видите ли, едва соблаговолил привстать, когда я сюда вошел. Не говоря уж о том, что он делает вид, будто читает «Монд», но на самом деле слушает, наострив уши, а потом пойдет разносить эти высокоумные рассуждения среди студентов. Источник бунта в Нантере — ассистенты, я всегда говорил. Это они поставляют студентам идеологический боезапас, который используется против нас. А мы пригреваем у себя на груди этих кривляк и даже гостеприимно открываем им двери нашего клуба. Должен сказать, что я видел опасность с самого начала, я говорил Граппену, послушайте, не надо смешивать, сделайте один клуб для профессоров, другой — для ассистентов. Но нет! Вечные уступки, попустительство, демагогия! Сами ломаем барьеры, а потом удивляемся вторжению! Позволяем всяким машинисткам пользоваться нашим лифтом, а потом будем недоумевать, когда следом за машинистками туда пойдут студенты, за студентами уборщицы, а мы сами будем вынуждены подниматься по лестнице пешком. А почему? Да потому, что у нас не хватило мужества отстоять иерархию. Мы стыдимся самих себя, своего положения, мы отказываемся от своего авторитета, от форм, которые его гарантируют. Посмотрите только на студентов, вместо обращения «господин профессор» они уже говорят мне «господин Рансе», скоро это превратится просто в «Рансе», а дальше уж и не знаю во что —

старый хрен, старый хрыч, старая сволочь, почему бы и нет! Судя по тому, как быстро мы прогрессируем!

— Мне кажется,— сказал Бергез, обращая свои рачьи глаза на Арнольда,— что сказанное вами относительно отказа от цели и программы приложимо главным образом к анархистам.

— Да, правильно,— сказал Арнольд,— но разве не они задают тон?

Фременкур надел очки и поднял руку.

— Тон задает индивидуальность Кон-Бендита. У этого парня поразительное чувство сцены, он актер. Доказательство — история с Миссофом.

— Да, кстати,— сказал Арнольд,— никто так и не знает, что в точности произошло, когда приезжал Миссоф; сколько свидетелей, столько различных версий.

Бергез пригладил ладонью свои баки, его карие рачьи глаза заблестели, и он сказал:

— Версии не так уж многочисленны, их всего-навсего две. Причем начало у обеих одинаковое. Министр приезжает открыть бассейн. Хорошо. Речь. После речи Кон-Бендит подходит и просит у Миссофа сигарету и огоньку. Несколько удивленный, министр повинует. Тогда Кон-Бендит в достаточно смелых выражениях упрекает его в том, что он в своей Белой книге о молодежи обошел сексуальные проблемы.

— Упрек, впрочем, вполне обоснованный,— сказал Фременкур.

— Я тоже так считаю. Миссоф надеется выйти из затруднительного положения и попасть в тон, отделившись шуткой. «Как бы там ни было,— говорит он Кон-Бендиту,— если вас мучают такого рода проблемы, вы теперь сможете всегда окунуться в бассейн, чтобы их разрешить». Тут Кон-Бендит окончательно наглеет. Есть две версии его ответа. Согласно первой он сказал: «Если вам самому не удалось разрешить вани собственные сексуальные проблемы, это еще не резон мешать молодежи».

— До меня дошла редакция более сочная,— сказал со смешком Арнольд.

— Правильно, вот она: «Если вы сами импотент, это еще не резон мешать молодым заниматься этим делом».

Все трое засмеялись, и Рансе с горечью подумал, ну, вот, пожалуйста, они смеются; студент оскорбляет министра, а они смеются, смех — это все, на что они способны, можно ли удивляться, если через месяц после такой истории студенты помяли и оскорбили декана. Нет, это поистине невероятно, такая

безответственность, такое недомыслие, мы собственными руками роем себе могилу!

— Так вот,— заговорил снова Бергез,— по-моему, истине соответствует первая версия, более умеренная. Вторая — миф.— Он поднял руку и с увлечением продолжал:— Но миф в данном случае еще интересней, чем реальность. Это ведь явно эдипов миф. Сын, воплощенный в студенте, оскорбляет отца, воплощенного в министре, и символически выхолащивает его. Это — Кронос, оскоряющий Урана. На мой взгляд, драма, которая ежедневно разыгрывается здесь с начала учебного года, это символическая драма утраты власти отцом, будь он министром, деканом или профессором.

Умно, подумал Дельмон, и, возможно, справедливо, если рассматривать происходящее на уровне индивидуальных побуждений, но весьма спорно как объяснение студенческого движения в целом. Он ощутил внезапную легкость, прилив сил. Он вернулся к одной из своих любимых идей: нельзя сводить социальные явления к психологии. Объяснять это комплексами — излюбленное американское алиби, ну, «американское» это, конечно, сильно сказано, в США, безусловно, есть люди, которые с этим не согласны, но подтасовка здесь очевидна. Существует определенный порядок, хороший или плохой, и вдруг появляются люди, которые его нарушают. Почему они его нарушают? Потому что они — параноики. А почему они параноики? Потому что в раннем детстве скверно относились к своему папе. Может, это и так, но отнюдь не дает ответа на вопрос, хорош или плох данный социальный порядок.

Рансе, нахмутив брови, лихорадочно сгреб свою корреспонденцию, его толстые губы подергивались в нервном тике. Он вскочил, точно его вытолкнула из кресла невидимая пружина, и сказал резким голосом:

— Я не хотел бы вторгаться в вашу беседу, господа, но я лично не понимаю, почему профессор во что бы то ни стало должен согласиться на «утрату власти» (обожаю эту формулу!), сопровождаемую или не сопровождаемую оскроплением! Это какой-то мазохизм, мазохизм в чистом виде!

Последние слова он произнес с яростью и иронией, повысив голос. Три профессора переглянулись, и Фременкур чуть заметно улыбнулся.

— Мы не можем,— продолжал Рансе все тем же язвительным, визгливым голосом,— продолжать философствовать на эту тему, точно все это не касается нас лично. Если вы позволите мне внести скромную лепту в только что прослушанный мною блестящий анализ (легкий нажим на слове «блестящий»),

я скажу, что единственный поистине примечательный момент существующей ситуации — это без-на-ка-зан-ность, какую пользуются смутьяны на этом факультете в течение последнего года. Все началось в апреле 1967-го, когда бесноватые захватили женский корпус. Какие санкции были применены к ним тогда? Никаких! Вернее, так, первый период: двадцать девять заводил выдворяют из городка. Второй период: по настоянию декана эта оздоровительная мера отменяется. В ноябре студенты начинают дикую забастовку при поддержке некоторых профессоров, не понимающих, что они творят, или использующих события в демагогических целях (взгляд в сторону Фременкура). Что происходит? Ничего. В январе студент-немец, которым, как кажется, весьма восхищаются некоторые из коллег, публично оскорбляет министра. Может быть, этого господинчика хотя бы выпроводят за границу? Ничуть не бывало! Его оставляют в наших стенах! Как некое сокровище. Чтобы он мог продолжать свою подрывную работу! Более того, в феврале декана затолкали в коридоре, облили его, можно сказать, помоями. Но будут ли хотя бы теперь приняты суровые меры? Как бы не так! Можно, право, подумать, что министр, декан, профессора, все страдают болезнью воли. Все теоретизируют, философствуют, пытаются (кавычки) «понять», но только не действуют. Это уже не либерализм, это массовое дезертирство. В таких условиях не надо быть провидцем, чтобы предречь, что произойдет здесь еще до конца года. Процесс «утраты власти» (повторяю, я восхищен этой формулой) пойдет ускоренным темпом, взбесившиеся студенты, уверенные в без-на-ка-зан-ности, вытурят нас ногой под зад из наших кабинетов и аудиторий и учредят свой собственный университет болтологии, управляемый советами.

Наступило напряженное молчание, профессора оживленно переглядывались, Фременкур откинулся на спинку кресла и сказал невозмутимым тоном:

— Итак, какие меры вы нам предлагаете?

Дельмон взглянул на часы, мой семинар, я опоздаю на свой семинар, но уйти он не мог, это было слишком увлекательно.

— Меры?— сказал Рансе безапелляционным тоном.— Они очевидны. Примо: исключить из университета кучку хулиганов, которые его пятнают. Секундо: чтобы предупредить всякую возможность беспорядков в дальнейшем, создать в студенческом городке Факультета университетскую полицию.

Господи Боже, ну и шкура, подумал Дельмон, вставая. Уставая в пол, он направился к двери, возмущение переполняло

его, кровь стучала в висках. Не заметив, что Рансе как раз сделал шаг назад, Дельмон наткнулся на него. Рансе, опиравшийся в этот момент только на одну ногу, покачнувшись и, хотя толчок был совсем легким, сделал два стремительных шага вперед, чтобы восстановить равновесие. Дельмон промчался, как пушечное ядро не извинившись, даже не подняв глаз. Так он и выскочил из двери, опустив голову, не оборачиваясь. Когда он захлопывал за собой дверь, рука его дрожала, но в то же время он чувствовал себя счастливым, раскрепощенным. В сущности, был не один бунт, а два: бунт студентов против преподавателей и бунт ассистентов против профов. Жаль, что нельзя сейчас взглянуть на лицо Рансе. Ужас, скандал, святотатство, статуя заведующего отделением повержена наземь, расколота на куски, у кумира отбита голова. Дельмон широко шагал по центральной галерее. Давно он не ощущал такого подъема. Озлобление против Рансе, накопившееся за два года, вырывалось теперь из него, как воздух из протянутой шины; он весело подумал, моя метафора ни к черту не годится, я никогда не чувствовал такой полноты жизни. Господи, подумать только, сколько раз Рансе заставлял меня приезжать в Нантер сверх моей нагрузки, мотивируя это «служебной необходимостью», а на самом деле просто, чтобы растекаться передо мной в нескончаемых монологах, он заставлял меня терять целое рабочее утро потому только, что нуждался в публике! И как я мог так долго терпеть эту тиранию? Дельмон поднял голову, он шел легким подпрыгивающим шагом, он был в форме, черт с ней, с моей карьерой, как-нибудь выкручусь. Он представил себе Рансе, стоящего посреди профессорского клуба, обалделого, онемевшего, его бегающие черные глазки, которые мечутся в орбитах, подобно обезумевшим зверькам. Дельмон подошел к лифту, решительно нажал кнопку. Красная лампочка настойчиво замигала с сообщническим видом. Дельмон тихонько засмеялся и сказал вслух:

— Ну вот, и я тоже оскотил своего Урана...

III

Жаклин приняла великое решение. Теперь это Предписание. А Предписание должно быть выполнено. Жаклин сформулировала его после трех часов мучительной внутренней борьбы, вывела на голубом листке бумаги и приколола в изголовье кровати на перегородке под красное дерево. Она ускорила шаг и, опустив голову, вошла в корпус мальчиков, точно в воду бросилась. В привратницкой никого не было, но,

несмотря на это, у нее подкашивались ноги, она не могла унять дрожь. По спине между лопаток текли горячие струйки, стоило так тщательно мыться перед выходом, от нее все равно будет нести потом. Она невольно дотронулась до щеки тыльной стороной правой руки и подумала, хорошенькое дело, я, наверно, красная как рак. Она нажала кнопку лифта, никакого результата, лифт был где-то на этаже, подождала, прижимая к себе влажной, судорожно сжатой левой рукой «Исповедь» Руссо, взятую для виду, точно ей, когда она выходила из библиотеки, вдруг пришло на ум зайти к товарищу — просто так, без всяких особых целей. Ну и идиотка, будто он не поймет! В полдень в баре реста он назвал мне номер своей комнаты, зачем? А я с полудня только и делаю, что подхлестываю себя, ты пойдешь, Жаклин, пойдешь! Ну за кого он меня примет, когда я прибегу к нему через три часа после разговора? Ладно, хватит! Отговорки, алиби, самообман! Не будь трусихой, Жаклин, ты ведь только ради этого и бросила родителей, сама отлично знаешь, тебе надоели забота и опека. Она снова с яростью нажала на кнопку лифта — от кого это письмо, да кому ты звонишь, да с кем идешь, а если я оставалась дома, в десять тридцать мама уже у меня в комнате: «Дочурка, пора гасить, ты переутомишься»; в семь подъем, папа влетает ко мне пулей, в пижаме, пузатый, лысый, рука приставлена трубочкой ко рту, точно он играет зорю: «Солдат, подъем, солдат, живей!» — он думал, что это смешно, бедный старик. Нет, я знаю, они меня обожают, да и я их тоже, но быть предметом обожания невыносимо. Мне в конце концов стало казаться, что я становлюсь все меньше, усыхаю, съеживаюсь. В двадцать один год у меня было ощущение, что я все еще в колыбели, подле их кровати, что двое взрослых толстяков беспрерывно парят надо мной, глядят на меня, прислушиваются ко мне, тискают меня. Ночью не встанешь даже пописать, мама сейчас же спрашивает через стенку: «Что с тобой, Жаклин, ты не заболела?» Точно между нашими комнатами в стене огромное ухо, которое ловит малейшее мое дыхание. И с мальчиками стало невыносимо, прямо всякая охота пропадала, даже если мы были у мальчика или в его машине, мне все равно казалось, что они на меня смотрят. Никакого удовольствия. И после всего этого еще выслушивай рассказы моей троицы — Анны, Брижитт, Даниель; глаза блестят, голоса приглушены, веселое хихиканье — во мне просто все сжималось, меня точно кипятком обжигало, я впадала в панику, что же это такое, значит, я ненормальная? Чудовищно отстала в развитии? Что со мной происходит? Я не современна! Все, уже все, кроме меня, а я? В двад-

цать один год? Загорелась синяя лампочка лифта, Жаклин потянула к себе тяжелую металлическую дверь, вошла в кабину, ноги у нее опять задрожали, и она подумала, господи, я умираю от страха, это хуже, чем если бы я шла на операцию.

510, 512, 514, 516, здесь; она попробовала дышать ровно, ей было хорошо знакомо это ощущение, что сердце сжалось, перестало биться. Она привалилась к двери, ноги ватные, руки трясутся, я сейчас упаду в обморок, она тихонько постучала, ничего, никакого ответа, а если его нет? Она замерла в отчаянии. Добраться сюда, потратить столько сил, проявить такое мужество, выдержать такую борьбу с собой, вырвать у себя это решение после трех часов мучительного внутреннего сопротивления, отвергнуть все алиби, все отговорки, преодолеть собственную трусость, прикидывающуюся нравственностью. Она оперлась ладонями о дверь, приникла щекой к дереву, надавила на него всей своей тяжестью, не в силах постучать еще раз, о, выбить, выбить эту дверь, оказаться сразу, как в сказке, по ту сторону. В горле пересохло, в висках стучало, она ощущала щекой гладкий лак двери, «приходи, когда захочешь, после семнадцати часов я, как правило, дома», она с издевкой повторила «как правило», но нет, этого не может быть, он у себя, он должен быть у себя, я ни за что не смогу пойти на это во второй раз, о господи, пусть он будет у себя, она яростно сжала кулак и внезапно забарабанила изо всех сил в дверь раз, два, три.

Дверь отворилась.

— Какой сучий сын!.. — раздался рассерженный голос, и в проеме показался нахмуренный Жоме в белой блузе. — А, это ты? — сказал он, рассмеявшись. — Это ты стучишь в таком вагнеровском стиле?

— Могу я войти? — сказала она слабым голосом, собрав последние силы.

— Конечно, входи...

Он отстранился, пропуская ее в комнату, и она вошла, не протягивая ему руки, бледная, напряженная, потупив глаза.

— Можно сесть? — выдохнула она.

Она почувствовала, что Жоме сзади схватил ее за плечи, и обмякла, ноги у нее подкосились.

— Что с тобой? — сказал громкий голос Жоме у самого ее уха. — Уж не собираешься ли ты упасть в обморок?

Он уложил ее на кровать, она чувствовала, как он похлопывает ее по щекам, в глазах потемнело, все исчезло, вся связь с жизнью свелась к этим легким шлепкам по коже, она ощущала их, но хлопка не слышала, какой-то глухой звук, точно

пальцы, ударявшие ее, тонули в вате. Она изумилась на мгновение — он дал мне пощечину! Но потом пропало даже удивление.

Когда она открыла глаза, перед ней возник дрожащий, как желе, красноватый круг с размытыми краями, потом границы его уточнились, она услышала хлопки, лицо Жоме выплыло из тумана и медленно обрело четкость, точно пейзаж в бинокле, и внезапно она увидела себя, свое распростертое тело. Ей удалось, она перешагнула через порог, самое трудное было позади.

— Тебе лучше? — сказал Жоме.

— Совсем хорошо.

У него был встревоженный братский взгляд.

— Ну, — сказал он, — и напугала же ты меня. Белая, руки как лед.

— Они и сейчас холодные.

Он взял обе ее руки в свои широкие ладони и стал их растирать, согревая. Она смотрела на него, ей было хорошо, больше не нужно делать никаких усилий, не нужно подстегивать себя, она здесь, пассивная, безвольная, вещь, принадлежащая другому.

Она сказала ленивым голосом.

— Ты всегда надеваешь белую блузу, когда занимаешься?

— Да. Привык в подготовительном. Под ней у меня только фуфайка, мне так удобнее.

Она смотрела на него. Широкий лысеющий лоб, квадратное румяное лицо, синяки под черными глазами, густые черные усы, скрывающие верхнюю губу. Белая блуза делала его похожим на врача. Уверенного, знающего, полного какой-то безличной доброты. ζ

— Ну ладно, — сказал Жоме, похлопывая ее по рукам, — раз ты пришла в себя, отдыхай до ужина, а я сяду за работу.

Она резко приподнялась на локте, глаза ее расширились от ужаса, ах, нет, только не это, мне братские отношения ни к чему!

— Нет, нет! — сказала она, вцепляясь обеими руками в воротник его белой блузы. — Нет, прошу тебя!

— Как нет? — сказал он, удивленно поднимая брови.

Не отпуская его, она с умоляющим видом вперила в него свои пылающие черные глаза и в тот же миг подумала: идиот! Он ничего не понимает! Я никогда не смогу начать все это сызнова!

Он схватил руки Жаклин и разжал их с такой легкостью, будто это были руки ребенка. Держа их перед собой, он мгно-

вание сидел, потупившись, потом выпустил ее руки и встал. Лицо его было спокойно и задумчиво.

— Ты что же, не понимаешь?— закричала она в отчаянии.

— Понимаю,— сказал он ровным голосом.— Я только за-
пру дверь.

Она откинулась на спину, глубоко вдохнула и подумала: ну, все. И в тот же момент ее охватил страх, другой страх. Неужели этому так и не будет конца! Она с пристальным вниманием следила за каждым движением Жоме. Ноги у нее снова начали дрожать.

Жоме подошел к окну и задернул одну за другой угольно-серые шторы. Движения его были медленны, он был спокоен. Он вернулся к кровати и протянул ей руки.

— Встань.

— Зачем?— спросила она изумленно.

— Снять платье.

Она опустила глаза, покраснела. Действительно, нужно было снять платье, не воображала же она, что это будет обычный флирт в машине? Она подняла голову, он стоял перед нею в своей белой блузе, спокойный, терпеливый, уверенный в себе. Ну что ж, у врача ведь тоже раздеваются. И, ухватившись за его протянутые руки, она встала. Ноги тряслись. Он зажал между большим и указательным пальцем колечко молнии и единым махом расстегнул ее. Она услышала легкий, едва уловимый скрежет, это было странно, точно рвалась материя. Привычная вечерняя греза перед сном: на тебя набрасывается араб, разрывает платье, насилует, ты добиваешься того, чего хотела, но ты не виновата. Жоме, разумеется, ничего не рвал, напротив, он помог ей вытянуть руки из рукавов и заботливо придерживал платье на весу, чтобы оно не коснулось пола, пока она через него перешагивала. Потом он прижал платье к себе, сложил его вдвое и, повернувшись, положил на комод. С каким уважением относился он к вещам! Нагнув голову и опустив глаза, она следила за ним сквозь ресницы; она тряслась от страха, но в то же время, была точно зачарована его медленными, опытными жестами. Он раздевал ее неторопливо, безмолвно. Положив платье, он засунул по два пальца каждой руки под резинку колготок и, наклонясь, стянул их с ее ног. Машинально, бездумно, точно ей было не впервой, что мужчина снимает с нее колготки, она непринужденно оперлась на его согнутую спину, поднимая одну за другой ступни. В голове у нее было совершенно пусто. Ей было холодно. Жоме сложил колготки и положил их поверх платья.

Когда он дотронулся до ее трусиков, она непроизвольно рванулась назад, но он цикнул на нее, как на ребенка, и она замерла. Он стянул трусики с ее ног, следя опять за тем, чтобы они не коснулись пола. Положил на колготки.

— Подожди,— сказал он, не глядя на нее.

Он зашел в умывалку, открыл стенной шкаф и вернулся с длинным красным купальным халатом, который бросил на кровать.

— Ложись.

Она подчинилась.

— Да ты вся дрожишь?

— Да,— сказала она,— мне холодно. Мне ужасно холодно.

Он набросил на нее полу халата, приподнял ее ноги, чтобы завернуть их, натянув грубую шершавую ткань до плеч, заботливо подоткнул халат ей под спину. Она бросила ему благодарный взгляд, но он не достиг цели, их глаза не встретились. Жоме был мил, внимателен, но это было какое-то отчужденное внимание, холодное тепло. Она подумала с удивлением: он даже не посмотрел на мое тело. А ведь если я чем и могу гордиться, так это телом.

Он опять исчез за перегородкой, отделявшей кровать от умывалки,— ясно, он раздевается, она закрыла глаза. Грубая шершавая ткань согревала ее. Странно, но даже в красном цвете халата было что-то успокоительное. Вот если бы теперь ничего не должно было произойти, как приятно было бы лежать здесь — маленькая девочка в колыбельке, укутанная большим взрослым дядей, заботливо склонившимся над ней; но ведь все это уже у меня было, подумала она вдруг в бешенстве, у меня такое было, и с меня хватит, хватит, хватит! С меня хватит быть младенцем! Я хочу быть настоящей женщиной с настоящим мужчиной, который ляжет на меня, раздавит своим телом.

— Потушить свет?— сказал голос Жоме за перегородкой.

Она готова была сказать «да», но спохватилась. Нет, это трусость, она хотела видеть. Дрожать, умирать от стыда, страдать, но при свете, под взглядом Жоме.

— Нет,— выдохнула она.

В то же мгновение она повернула голову — он был тут, блузу он не снял, она была приоткрыта на груди, поросшей черной шерстью. Он лег рядом с нею, ни слова не говоря. Она лежала, вытянувшись на спине, руки и ноги ее были напряжены, глаза закрыты. Она ничего не чувствовала.

— Да перестань ты дрожать,— сказал он раздраженно.

— Мне холодно.

— Ничего подобного,— сказал он тем же тоном,— ничуть тебе не холодно, у тебя горячая кожа, ты вся в поту.

Голос Жоме звучал у нее в ушах, громкий, категоричный. Она была неспособна думать. Она повторила как дурочка:

— Мне холодно.

— Не ври,— сказал он ворчливо и дважды, без всякой грубости ударил ее по щекам.

Узел разжался, она перестала дрожать, открыла глаза и сказала голосом маленькой девочки, удивившим ее самое:

— Я боюсь.

— Боишься чего?

И поскольку она молчала, он жестко сказал:

— Да отвечай же!

Она была благодарна этому голосу, такому же шершавому и успокоительному, как красная ткань прикрывавшего ее халата.

— Я в первый раз.

Он сердито поглядел на нее.

— Так я и знал! Раньше-то ты не могла, что ли, сказать?

Она слышала его учащенное дыхание у своего уха, его ласки на нее не действовали, она чувствовала, что холодна и безжизненна, точно сделана из резины, она подумала: я резиновый пупс. Жаклин с отчаянием мотала головой слева направо, слезы текли из ее глаз, она вся оцепенела, точно пораженная столбняком, собственное тело не подчинялось ей, она потеряла власть над ним, она сказала, всхлипывая: «Я не могу, я не могу», и в то же время подумала, хоть бы он дал мне оплеуху, хоть бы он ударил меня, пусть он меня заставит, но только бы пришел этому конец. В ту же минуту Жоме с силой хлестнул ее по щекам, волна благодарности охватила ее, тело ее распрямилось, обмякло, она ощутила резкий ожог, через несколько секунд боль стихла, она не испытала никакого удовольствия. Внезапно ей представилось, как она, двенадцатилетняя, стоит перед оранжереей дяди Жана с камнем в руке и говорит: «Вот возьму и разобью стекло. Что мне будет?» Она изо всех сил швыряет камень, стекло рассыпается с ужасающим звоном по гравию аллеи, она смотрит на осколки и не знает, довольна она или нет. Жоме испустил гортанный крик, отстранился и упал на ее тело, как подкошенный. Он лежал, тяжелый, горячий, и она подумала: «Ну вот, больше я не девушка»,— ей было немного больно, гораздо меньше, чем она ожидала, но удивительнее всего было полное отсутствие каких-либо чувств. Она не ощущала ничего — ни радости, ни печали. Она предписала себе это сделать и выполнила свой долг. Она испыты-

вала какое-то абстрактное, почти нравственное удовлетворение.

Надев платье, она снова легла. Не то, чтобы ей хотелось полежать, но просто, чтобы занимать меньше места, убрать ноги из узкого прохода между кроватью и стеной. Жоме набил свою трубку, закурил и сел у нее в ногах, на краешке постели. Он курил с безмятежным видом, упершись локтями в колени, глядя в пустоту.

— У меня не будет маленького? — озабоченно спросила Жаклин.

Он обернулся и ошарашенно поглядел на нее.

— Я же ушел, ты что, не заметила?

— А, поэтому, значит? — сказала она смущенно.

— Нет, это просто невероятно, — сказал Жоме, воздевая к потолку руку с трубкой. — Вас обучают куче вещей относительно состояния души Руссо, но о вашем собственном теле — ни звука. Душа, пожалуйста. Души, сколько влезет. Души, до сыта, до отвала. О господи, да плевал я на эту душу. Все ваше воспитание насквозь фальшиво.

Он вдруг совершенно успокоился, зажал трубку в уголке рта и продолжал:

— На будущее тебе стоит обзавестись пилюлями.

— Конечно, а как?

— Ты должна пойти на улицу Лагарп в университетский диспансер и сказать дежурному гинекологу, что спишь со своим женихом, она выпишет тебе рецепт.

— Почему с «женихом»?

— На тот случай, если гинеколог окажется католичкой.

Жаклин засмеялась, положила руки под голову. Они молчали, она думала, что же я чувствую? Едва ощутимый ожог, вполне терпимая боль, и вот она лежит здесь, в комнате парня, она спала с ним, она преодолела этот этап — как экзамен на бакалавра — ни хорошо, ни плохо. Она прикрыла глаза, забавно было бы, если бы меня увидел папа, вдобавок с коммунистом! Папа все еще жил своими двумя войнами («солдат, подъем, солдат, живей!»), узколобый шовинист, ограниченный «анти»: антинемец (испокон века), антиангличанин (со времен Мерс-эль-Кебира), антиараб (с алжирской войны), антирусский (с 1917-го — все очень просто, русские нас предали, Ленин, запломбированный вагон и т. д.). Его политические взгляды сводились к злопамятству. И утробный антикоммунизм, яростный, визгливый, если мне случалось принести домой «Юма», буквально пена изо рта: «Что за черт, откуда тут этот грязный листок?» Я, впрочем, хотя и покупала «Юма», но чи-

тала ее редко, воинственный тон, кричащие заголовки, оглохнуть можно. Но мне казалось забавным, вернувшись домой, оставить ее на видном месте, на ампирной консоли под мрамор в передней. В сущности, для меня (может, я и не права) Вьетнам, негры — это что-то слишком далекое, не имеющее ко мне прямого отношения, я не могу этим заинтересоваться по-настоящему.

Она открыла глаза и сказала:

— Как зовут девушку, которая сегодня сидела в тобой в баре?

— Какую?

— Похожую на скаута, с глазами, как подснежники?

— Дениз Фаржо. Она с английского.

Жаклин снова спросила;

— Ты с ней спишь?

— Нет.

— Почему?

— Как почему? — недовольно сказал он.

— Она не хочет?

— Нет.

— А если бы хотела, ты спал бы с ней?

— Откуда я знаю. Допрос окончен?

Она опустила ресницы и промолчала. Она видела его сборку; крепкий, широкие плечи, квадратная челюсть, в челюсти — трубка. Монолит. С места не сдвинешь.

Немного погодя она сказала:

— Ты презираешь меня?

Он поднял брови.

— Я? Почему?

— Я бросилась тебе на шею.

— Ничего подобного. Твое тело принадлежит тебе. Ты вправе распоряжаться им, как хочешь.

Корректный ответ. Женщина создана не для мужчины, она существует для себя самой, следовательно; она распоряжается собой по собственному усмотрению. Жоме, сосавший трубку, незаметно пожал плечами. Ладно, Жоме, не крути. Ответ корректный, но, если говорить о тебе, вранье. В тебе живет крестьянин, крестьянский сын, который не уважает девушек, бегающих за парнями. Идеи у тебя передовые, но чувства отсталые. Так-то. Ничего не попишешь. Но это наводит уныние. Черт возьми, неужели я так никогда и не избавлюсь от этих идиотских предрассудков, унаследованных от предков.

— А Дениз ты уважаешь? — сказала Жаклин, помолчав.

— Да. Очень. Она стоящая девушка.

— А что нужно делать, чтобы быть стоящей девушкой?

Он посмотрел на нее и сказал с едва скрытой иронией:

— Думать о других.

— Ну, в таком случае,— сказала она напряженным голосом,— это не для меня. Я думаю только о себе. С утра до вечера, только о себе.

Жоме вынул трубку из рта.

— Возможно, это изменится, когда ты разрешишь свои личные проблемы.

— А откуда ты знаешь, что у меня есть личные проблемы?

Он улыбнулся и не ответил. Она опустила глаза и сказала с тоскливым видом:

— Ты прав, есть.

— Ну что ж,— сказал он,— вот уже десять минут, как стало на одну меньше.

— Это правда,— сказала она, поднимая глаза, пораженная.

Они помолчали, потом она сказала вполголоса, неловко и смиренно:

— Ты переспал со мной из жалости?

Он расхохотался и вдруг показался ей гораздо более юным.

— Мне, знаешь ли, не пришлось делать над собой усилий. Ты ведь скорее недурна собой. А глаза у тебя...— И, усмехнувшись, продолжал:— Глаза у тебя сильно действующие.

— Правда? Я тебе нравлюсь?— сказала она живо, заливаясь краской до самой шеи.

— Ну конечно.

— А Дениз тебе нравится?

— Ну при чем тут Дениз!— сказал он раздосадованно.

— Не сердись. Я должна спросить у тебя еще одну вещь.

— Давай, но чтоб это была последняя.

Она обратила на него огонь своих черных глаз. Сегодня они получили освящение. С этой минуты и на долгие годы, пока она сохранит женскую привлекательность, ее глаза пребудут «сильно действующими». Она ощутила горячую благодарность, спасибо, Жоме, спасибо. Я не забуду этих слов.

После паузы она сказала:

— Ты сейчас спишь только со мной?

Он встал, подошел к столику, стоявшему у окна, взял свои часы.

— Нет,— бросил он через плечо. Он посмотрел на часы и добавил:— Половина. Извини, я жду ребят.

Она поднялась и сделала движение, чтобы обнять его. Но он опередил ее, схватил ее руки и, улыбаясь, задержал в своих.

— Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловала?

Он отрицательно покачал головой, продолжая улыбаться. Отпустил ее руки. Они упали. Он стоял перед нею, крепкий, широкоплечий в своей белой блузе, с черными густыми усами, прикрывающими рот, спокойный, с безмятежным взглядом.

— Не забудь свою «Исповедь»,— сказал он, беря книгу с комода и протягивая ей. Он произнес слово «Исповедь» издевательским тоном, и она была шокирована.

— Ты не любишь Руссо?

— Политические произведения люблю. Но не «Исповедь». Я не пошел дальше первых страниц.

— Почему?

— Я не могу терять время на вещи столь личного характера.

Он опять улыбнулся ей, все той же братской, милой, холодной улыбкой.

Она стояла перед ним, задрав голову, прижимая к себе своего Руссо. Он презирает нас обоих. Внезапно она ощутила себя ужасно одинокой. Она спросила неуверенным голосом:

— Я увижу тебя вечером в ресте?

— Ну конечно,— сказал он, не глядя на нее и наклоняясь, чтобы отпереть ей дверь.

Ну конечно, Жоме может увидеть каждый. Туда приходят специально, чтобы его повидать. Посоветоваться с ним. Он думает о других. И обо мне в том числе.

Он отворил дверь. Держа ладонь на ручке, он на минуту отстранился и, когда она проходила мимо него, легонько шлепнул ее по плечу левой рукой.

Она остановилась и быстрым движением обернулась к нему.

— Ну-ну,— поторопил он ее,— Ступай, ступай. Вечером увидимся в ресте.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

18 часов

Дениз Фаржо сидела за столиком у себя в комнате, подперев левой рукой свое мальчишечье асимметричное лицо и, грызя кончик шариковой ручки, глядела в окно. Она закатала рукава рубашки до локтя. Они были ей чересчур длинны. На самом деле это была рубашка Рене, ее брата, но ему стал узок

ворот, и он ее больше не носил, впрочем, Дениз вообще обо- жала таскать вещи братана, мужские вещи были так удобны — просторные, крепкие, грубые. Мелкий дождь застилал туманом окно, ему не хватало силы, чтобы барабанить по стеклу, стекая струйками с уютным, баюкающим шорохом. Моросило, накрапывало, водяная пыль висела в воздухе, окружая радужным ореолом сильные лампы, уже зажженные на стройке Фака. Весь день было пасмурно, до слез уныло, вдали вставляли к небу дымы, со всех сторон раздавались гудки локомотивов. Мы в кольце железных дорог, заводов, бидонвилей. Бульмиш, где ты? Где твои кафе, огни, живые люди? Она вскочила и яростно задернула угольно-серые шторы, ну почему угольно-серые? Точно мало окружающей серости. Почему не красные? Что, красная рогожка дороже, что ли? Она покрутилась по комнате, не находя себе места, приглаживая растопыренными пальцами свои бесцветные волосы, короткие, всклокоченные; чаю, что ли, попить или не стоит? В принципе час был подходящий, но она трудилась всего сорок минут. Внимание. Это предлог не заниматься. Попить чаю или, к примеру, пойти в уборную, выстирать трусики, помыть руки. Она снова усе- лась перед своей работой, вернее, перед заданием, одиноко красовавшемся на белом листе, попробуй преодолей эту близну. Сорок минут она сидит, уставившись в этот заголовок, не написав ни слова, посасывая кончик шариковой ручки, вороша левой рукой солому волос, почесывая то щиколотку, то спину, то руку повыше локтя, потирая под столом одну ногу о другую. Любопытно, до чего все у тебя чешется, когда дело не идет на лад, а уж когда совсем плохо, что-то сжимается в груди, начинает сосать под ложечкой. Она бросила взгляд на бумагу: три категорических слова — *Appreciate Othello's credulity*¹, по поводу которых нужно выжать из себя десять страниц.

Доверчивость Отелло. Один проф говорил об этом в своей лекции, другой — на семинаре, критики — в своих книгах; считается, что ты выслушал лекции, прочел книги, но считается также, что ты можешь «отвлечься от суждений критики», «опираться только на текст», «изложить собственные мысли»! Очень мило! Специалисты изучают эту пьесу вот уже свыше четырех столетий, а ты изучаешь ее четыре месяца и должна найти что то новое. После всех них! После всех этих дотошных эрудитов и педантов! И потом, что такое вообще «изложение собственных мыслей», разве я могу, на самом деле, сказать,

¹ Ваша оценка доверчивости Отелло (англ.).

что думаю? По-моему, этот тип должен быть совершенно безмозглым, чтобы поверить в виновность жены из-за одних только рассказней Яго, по-моему, Отелло как драматический персонаж не достоверен, потому что слишком глуп, он такой дурак, что его даже не жалко. А попробуй-ка напиши это, ты посягнешь на самого Шекспира, проф придет в ужас. Или, предположим, ты напишешь: говорить о доверчивости Отелло — значит ставить ложную проблему, это — анахронизм: для зрителей елизаветинской эпохи вопрос был ясен, Отелло — негр, а негр — это детскость, доверчивость (они все были расистами, эти типы, для них доверчивость свойство Отелло, как черный цвет свойство его кожи, он доверчив по природе, по самой своей сущности, следовательно, проблемы вообще не возникает, верно там это или не верно, не знаю, но попробуй скажи, попадешь пальцем в небо, потому что, раз проф задал вам тему, он задал ее, чтобы вы на эту тему рассуждали, а не для того, чтобы вы сказали ему, что она идиотская.

Как видишь, твои «собственные мысли» ограничены заранее проложенной колеей — ни вправо, ни влево, только прямо, в направлении, незаметно заданном профами и критиками, потому что если ты даешь себе труд разродиться письменной работой, то не для того же, чтобы схватить семь или восемь баллов с примечанием вроде: «мысль слишком произвольная» или «недоказуемый парадокс». В принципе если ты и не подлиза, то работу ведь пишешь не для того, чтобы разозлить профа, письменная работа — это в лучшем случае компромисс между тем, что ты на самом деле думаешь, и личными взглядами профа, такова, старушка, академическая истина. Не знаю, действительно ли письменная работа — форма «угнетения», как утверждают группачи, я предпочитаю оставить термин «угнетение» для вещей несколько более кровавых, но что это академизм в чистом виде, спорить не приходится. Проф долгие годы, шагая от степени к степени, постепенно отливается в определенной изложнице, теперь он сует в эту изложницу тебя, для него ведь она и есть истина, он тебя не угнетает, он тебя формирует. Нет, я не против, человек должен быть так или иначе сформирован, даже в социалистических странах... Опасность в другом, проф сам, чтобы получить все свои степени, вынужден был пойти на известные компромиссы, а теперь он в свою очередь прививает эти компромиссы тебе, это и есть академизм. Пример: ты уже не имеешь права сказать, что Отелло болван, даже если и выразишь это в более пристойной форме, — так не делают, это проявление «дурного вкуса».

Дениз поворошила левой рукой свои светлые всклокоченные волосы. А как я могу сказать что-либо хоть отчасти откровенно, не проявив неуважения к Отелло, вот вопрос, я же помню, она быстро перелистала пальцем своего «Отелло» (издание Ардан, с комментарием) и перечитала от начала до конца с карандашом в руке вторую из трех *temptation scenes*¹, как их именует критика, вот еще одна дурацкая условность: Яго вовсе не искушает Отелло, он его убеждает, это яд, промывание мозгов, все что угодно, только не искушение. Итак, в этой второй *temptation scenes*, как они изволят выражаться, узел стремительно затягивается. Генерал, говорит Яго, вы рогоносец. Доказательства? Доказательства? — кричит в смятении Отелло. Очень просто, я недавно спал вместе с Кассио, и он во сне назвал меня Дездемоной, «*Sweet Desdemona*, — сказал он, — *let us hide our loves*»², и он поцеловал меня, он положил ногу мне на ляжку и т. д. Но это чудовищно! — кричит генерал, который уже полностью убежден. Хоть стой, хоть падай! Как же у генерала не возникают сомнения, как же его не удивляет, что Яго на Кипре спит вместе с Кассио, хотя первый женат, а у второго есть любовница, и, во-вторых, даже если допустить, что он поверил в это странное сожительство, и предположить, что сон Кассио действительно имел место, что он доказывает, этот сон? Ровным счетом ничего. Ничего, кроме того, что Кассио желает Дездемону, но кто, если он в здравом уме, сочтет, что сон обязательно повторяет пережитую ситуацию? Господи Боже мой, если бы дело обстояло таким образом, я, например, давно уже не была бы девушкой.

Дениз встала, ошарашенная этой ассоциацией. Она бесцельно покружила по комнате, вытащила из шкафа электрический чайник, налила воды из крана, включила, вернулась к окну, расстелила на краешке стола красную с черным баскскую салфетку, поставила на нее фаянсовый чайничек, крышка которого была расколота пополам, но при известном терпении еще могла выполнять свои функции, чашку с отломанной ручкой — подделку под китайский фарфор, сделанную в Японии, щербатое блюдце, пачку чая «Лю», кривую чайную ложечку — сувенир из Мон-Сен-Мишеля, у каждого из этих предметов было свое определенное место, вернее два, — одно парадное, когда она накрывала на стол, другое более интимное, когда она начинала есть: тогда она сдвигала правой рукой все предметы, мало-помалу окружая ими свою чашку,

¹ Сцена искушения (англ.).

² Сладчайшая Дездемона, скроем нашу любовь (англ.).

впритык к блюдцу. Они должны были, если не касаться блюдца, то, во всяком случае, тесно примыкать один к другому, точно по ним бежал некий ток, устремляясь к ее чашке. Накрыв на стол, она растянулась на кровати. Ну вот, теперь она занимается чаем, так и не написав ни строчки, оставив тему одиноко красоваться на белом листе, о господи, какая тоска сохнуть одной в этой студенческой каморке среди нантерской пустыни. Кстати, это слово «сохнуть» — оно ведь ужасно для девушки: чахнуть, вянуть в одиночестве; да, я знаю, есть товарищи, — ох, и лицемерка же ты, старушка, даже наедине сама с собой, — не в товарищах дело, а в Жоме, а его я вижу только среди дня, вечером — никогда. Не пойду же я к нему в комнату, ну нет уж, даже по партийным делам, и он ко мне не придет. Это железно: Жоме в женский корпус ни ногой, да и зачем ему, у него и так от девочек отбоя нет. Ужасен этот Нантер с его потаскухами, стоит мне уйти, чтобы перепечатать листовку, и оставить его одного на двадцать минут, как, глядишь, какая-нибудь из этих шлюх уже подсела к нему и строит глазки, а уж сегодняшняя, наверное, не меньше часа тратит каждое утро, чтобы разрисовать свою витрину, см. «Гамлет»: «God hath given you a face and you make yourself another»¹. Я-то своей рожи не подправляю, не нравится такая, как есть, ну и не надо. Да ведь и кроме рожи кое-что есть. Помню, в декабре я показывала Сюзанне фотографию, снятую в Коллиуре во время каникул, а Жоме взял эту карточку у нее из рук (девчонки в купальниках, пропустит он, как же) и говорит: «Эту девочку я вроде где-то видел». — «Так ведь это я, — говорю, — ты что же, не узнаешь?» Он поднес карточку к глазам: «Как? Это ты? А ты отлично сложена, скажи-ка!» Я покраснела до ушей, а Жоме, как ни в чем не бывало перевел разговор на Коллиур, спокойно так, ему что, а мне каково, ну и дела. Я об этом раньше никогда не задумывалась, я знаю, фигура у меня хорошая, но напоказ я ее не выставляю, я нахожу в этом что-то неприличное, что-то коммерческое, точно говоришь — ну, любители, кто даст больше? Мне нравится, чтобы одежда была удобной: вельветовые брюки, вытянутые на коленях, бутцы без каблука, братишкины обноски, старые свитера, в которых чувствуешь себя уютно. Однако ребята, когда я раздеваюсь на пляже или в бассейне, я заметила, здорово удивляются, даже смешно, у них вдруг и взгляд как-то меняется, но Жоме никогда не ходит в бассейн Фака, его не уговоришь. «У меня нет времени, у меня дела», — упрям как деревенщина, да он и есть

¹ Бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое (англ.).

деревенщина. Ее затопила волна нежности, что-то в ней обмякло, раскрылось, глаза наполнились слезами, она подумала, он упрям как деревенщина. Так раскрывается цветок под первыми лучами солнца, поглощая тепло своим влажным, трепещущим нутром. Все налаживалось, ей незачем было даже поднимать разговор. Жоме сам напрашивался на эту поездку в Шотландию, они отправлялись вчетвером на малолитражке вместе с Сюзанной и ее женихом, разбивали лагерь на берегу озера, гуляли по лесам, совершали утомительные восхождения в горы, а вечером, пожрав (ну уж и жрали они, с ума сойти!), вдыхая усыпляющий запах костра, вытянув удобно ноги, гудевшие от усталости, предавались бесконечным спорам, счастливые, по-братски любящие друг друга, раздумывали о том, как изменить мир, пока они еще молоды, пока еще стоит этим заниматься, а утром, перед завтраком, ныряли в ледяную воду («А ты отлично сложена, скажи-ка!»), играли, шутили, ощущая, как углубляется и крепнет их взаимное согласие, для которого не нужно слов, слова — пустое, и однажды на поляне, среди кустиков брусники, в солнечном свете и запахе смолы Жоме, с его черными взрослыми глазами, обведенными синяками, с его добрым ртом, прикрытым усами, с его умильными залысинами, скажет со своим обычным спокойным, серьезным, начисто лишенным всякой романтики видом: «Послушай, Дениз, мы друг другу нравимся, нам хорошо вместе, с кюре я дела иметь не хочу, да и на мэра мне плевать, но все же давай поженимся, так будет проще». Она подумала с восторгом, о, я всегда буду звать его по фамилии — Жоме, для меня у него нет имени, он — Большой Жоме, и он мой, теперь перед нами вся жизнь — вода запела в чайнике, раздался резкий свисток, она открыла глаза, все было кончено.

Нужно встать, заварить этот проклятый чай, потом пить его в одиночестве, глядя на пачку «Лю», а потом приниматься в одиночестве за работу. Я здесь, я сохну, а он в корпусе Е, в скольких метрах от меня? В 200 метрах птичьего полета? В своей студенческой комнатухе, тоже скучает? Или, может, у него одна из этих, она вся сжалась; нет, не хочу думать об этой суке с подведенными глазами, нет, он сейчас вкалывает — он у себя, а я у себя, каждый в своей изолированной комнате, словно два узника. Но моя тюрьма — это я сама, она закусила подушку, погрузив лицо в ее влажную теплоту, напрягшись всем своим распростертым и жаждущим телом, сказала приглушенным обезумевшим голосом: «О Жоме, люби меня, люби меня, я прошу тебя, люби меня».

Направляясь в кафетерий, Фременкур почувствовал, что устал. Вдруг отяжелели ноги. Как он ни боролся с собой, сутулились плечи, гнулась спина. Плохой день. Он испытывал все меньше удовольствия от чтения лекций в этой огромной аудитории, перед сотнями студентов. Какая бессмыслица, если подумать,— преподавать нужно совсем по-другому. Противно было от выходки Рансе в клубе, от его более или менее завуалированных выпадов. И наконец, только что эта длинная, бесполезная, утомительная дискуссия с Жозетт Лашо. Она теперь меня даже не слушает, из нее так и прут лозунги, вероятно нашла себе духовного руководителя (кривая улыбка) среди самых оголтелых гошистов. Она почти кричала на меня. Нельзя поддаваться той сердечности, которой так настойчиво добиваются некоторые студентки в отношениях с профом. Я сразу должен был понять, что она отождествляет меня со своим родителем. Полный перенос, включая и комплекс любовь-ненависть. А теперь, когда я с ней не согласен, я, оказывается, «брошаю» ее, как бросил отец, хотя с госпожой Ладо разошелся все же не я.

Фременкур вошел в кафетерий. Столь пышно именовалась мрачная комната без окон, освещенная неоновыми лампами, вдоль стен стояли автоматы. В кафетерии было пусто, только высокий рыжий студент слонялся из угла в угол, уставясь в пол. Фременкур нащупал жетон во внутреннем кармане жилета, сунул его в автомат, нажал кнопку под надписью: «Чай с сахаром». Раздался щелчок, в нишу под краном автомата с неотвратимостью судьбы упал картонный стаканчик. Довольно неуклюжая, впрочем, судьба, стаканчик обычно падал набок, приходилось рукой придавать ему должное положение. Фременкур отдернул пальцы как раз вовремя, кран выплеснул струю черной жидкости, которая иссякла, когда стаканчик наполнился на три четверти. Отличная метафора: в интеллектуального бонзу вводят жетон-оклад, и бонза выплескивает общий курс. Лекция длится час, а по истечении часа, одарив их должной порцией духовной манны, я иссякаю и ухожу. Фременкур сам удивился, что подумал с такой издевкой о своей работе. Нас душит количество, вот в чем дело, мы стоим у конвейера — штампуем лицензиатов, как «Ситроен» малолитражки.

Зажав между большим, указательным и средним пальцами правой руки стаканчик, Фременкур перенес его на один из высоких круглых столиков, ввинченных в кафельный пол. Не-

уверенной походкой вошла Колетт Граф, а следом студентки, которые защебетали у автомата с чулками. Колетт Граф была ассистенткой кафедры английского языкознания, никакого отношения к литературе она не имела, но Фременкур ее хорошо знал, она не пропускала собраний НСПВШ¹, где красноречиво представляла гошистское направление. Невысокая, пухлая, затянутая в синее шерстяное платье, с круглым вздернутым носиком и черными глазами, лучезарными и близорукими.

— Вы как нельзя более вовремя,— сказал Фременкур,— я подышал от скуки.

Колетт нахмурилась и резко подалась вперед, чтобы понять, кто с ней говорит. От двери она различила только серое пятно, а под ним то ли черные брови, то ли роговую оправу очков. Она подошла. Очки определились. Это был Фременкур.

— Я возьму чай и вернусь,— радостно сказала она.

Когда она вернулась к высокому столику, осторожно неся свой стаканчик, Фременкур разглядывал трех девушек, которые, хохоча, возились у автомата с чулками.

— Как, по-вашему,— сказал он вполголоса,— что означает выражение «*beauté du diable*»²?

— Это намек?— сказала Колетт.

Он засмеялся.

— Ну что вы, нет! Я ставлю вас классом выше.

— Куда же?

Он оглядел ее.

— Красотка удобного формата.

— Не знаю,— сказала Колетт,— по вкусу ли мне эта идея утвари.

Они засмеялись, Фременкур погрузил нос в свой стаканчик, она последовала его примеру. Вот. С любезностями покончено. Вообще-то ей нравились ее коллеги мужчины. Они подшучивали, но до ухаживания, то есть до того момента когда пришлось бы решать, идти или не идти дальше, дело не доводили. Их общество приятно возбуждало, не затрудняя-выбором, без этих отношений в Нантере были бы совершенно невыносимо.

— Я имел в виду этих девушек,— сказал Фременкур вполголоса, незаметно кивнув в их сторону.

Колетт повернулась, нахмурила брови, но, разумеется, увидела только пятна: одно — коричневое, другое — светлое, третье — какого-то неопределенного цвета.

¹ НСПВШ — Национальный союз преподавателей Высшей школы.

² По-французски букв. «красота дьявола», идиома, означающая «очарование юности».

— Ни хороши, ни дурны,— сказала она с апломбом.

— Вот именно. При чем тут дьявол?

Она задумалась, сморщив носик.

— По-моему, это выражение означает, что девушка достаточно свежа, чтобы дьявол мог подсунуть ее представителю другого пола.

— Да, вероятно, так,— сказал Фременкур.— Потом добавил: — Разве не странно, что в нашей западно-христианской традиции дело, которым следовало бы заниматься богу, достается дьяволу?

Юное круглое лицо Колетт сосредоточенно замкнулось. С таким выражением она излагала на заседаниях НСПВШ го-шистские взгляды.

— Совершенно ясно, что мы имеем здесь дело с феноменом сверхподавления в потребительском обществе. Принцип удовольствия приносится в жертву реальности. Об этом пишет Маркузе.

У нее даже голос изменился, в нем появилась резкость, категоричность.

— Я как раз не согласен с Маркузе,— сказал Фременкур.— В США сексуальное сверхподавление действовало еще более гнетуще в эпоху первых переселенцев, то есть задолго до становления потребительского общества. Сверхподавление — это факт религиозного порядка, Маркузе ошибается, связывая его с экономикой.

— Да нет же, нет,— сказала Колетт,— это взаимосвязано, Маркузе это доказал.

Фременкур поднял руки.

— Ничего он не доказал! Его книги — это цепь предсказаний, не подтверждаемых конкретным анализом, да он и не заботится о доказательствах. Маркузе не социолог, а пророк.

— Если он даже и пророк,— с живостью прервала его Колетт,— вы должны согласиться...

Но Фременкур ни с чем уже не мог согласиться, потому что перестал слушать. Его охватила какая-то усталость, не столько даже физическая, сколько нравственная. Поначалу присутствие Колетт было ему приятно, но теперь их беседа вошла в колею нескончаемых бесплодных дискуссий в НСПВШ, где представители разных тенденций никак не могли между собой договориться. В принципе Фременкур и Колетт принадлежали к одному направлению — они поддерживали Жейсмара, выступавшего против умеренных и коммунистов. Но Фременкур, хотя по тому, как он голосовал, этого еще и не было заметно, уже отходил от жейсмаровцев. Его отталкивала узость во взгля-

дах коллег-гошистов, их доктринерство. Чего уж там! Их собственная ортодоксия приобрела довольно тиранический характер. Стоило хотя бы на волосок отклониться, как тебя подвергали нажиму, поносили, предавали анафеме. Ты немедленно превращался в «мелкого буржуа», в «объективного предателя».

Он взглянул на Колетт. Женственна, лукава и, говорят, хороший преподаватель. Но стоит коснуться политики, в ее речах появляется что-то схоластическое. Ее суждения вытекают одно из другого, следуя некой абстрактной логике, в полном отрыве от человека и истории, без всякого учета реальных фактов. Она даже физически меняется. Тело, обычно такое пухлое, затвердевает, круглое, по-детски милое лицо каменеет. Фременкур различил в потоке слов, который она изливала на него, выражение «профессорский патернализм» и поднял брови.

— Простите, я прерву вас. Вы только что говорили о «профессорском патернализме»?

— Да.

Фременкур посмотрел на нее.

— Это сейчас весьма ходкое выражение в студенческой среде, но смысл его для меня туманен.

— Туманен?— сказала Колетт.— Да он ясен как день.

— В таком случае, разъясните его мне, поскольку я до сих пор полагал, что патернализм подразумевает отношения экономической эксплуатации; например: отношение колонизатора к колонизованному, хозяина к рабочему.

— Отношения не обязательно должны носить экономический характер,— сказала Колетт,— устремляя на Фременкура подозрительный взгляд своих близоруких глаз. Она чувствовала ловушку в его вопросе и пыталась ее угадать.— Отечественно-покровительственная позиция профа — это лицемерная позиция скрытого господства.

Фременкур поморщился.

— Правда,— сказал он,— бывает и так. Поддельная, умело поданная доброжелательность; но ведь доброжелательность может быть и подлинной, совершенно бескорыстной привязанностью учителя к ученику, старшего к младшему.— И он добавил после паузы:— А возможно, и двойственное чувство, складывающееся отчасти из искренней доброжелательности, отчасти из стремления к господству. В сущности, все это довольно сложно.

Она посмотрела на него. Никакой ловушки не было. Он просто думал перед нею вслух, не заботясь о том, прав он или ошибается. Она почувствовала себя выбитой из седла. Ей хотелось сказать, что патернализм, даже если он результат под-

линного чувства, все равно отвратителен, поскольку проф является орудием подавления, состоящим на жалованье у буржуазии, но она понимала, что Фременкур улыбнется и ответит: «Вот вы, например, или я».

— В сущности,— сказал он,— в те три категории, которые мы сейчас установили (она отметила это ловкое «мы»), укладывается большинство человеческих отношений. А не только отношение профа к студенту.— Он улыбнулся.— Итак, я, гнусный бонза, стою по отношению к вам, бедной маленькой ассистентке, на патерналистских позициях?

— Я бы вам этого не позволила!— сказала Колетт.

— И были бы правы,— сказал Фременкур,— потому что в данном случае отцовское покровительство быстро выродилось бы в кровосмешение.

Он засмеялся и залпом опустошил свой стаканчик. Прекрасно. Идеологическое наступление отбито. Я доволен, однако, что показал ей, как все это непросто. Эти ребята, с их готовыми лозунгами, в конце концов порождают в тебе какой-то комплекс вины. Если у тебя со студентами нет никаких отношений, ты — бездушный робот, а если есть,— ты патерналист.

Вошел ассистент, толкнувший в клубе Рансе, тощий, весь в черном. Вид у него был озабоченный, угнетенный, он бросил сдержанный взгляд в сторону Фременкура и Колетт, более настойчивый — на слонявшегося из угла в угол рыжего студента. Казалось даже, что он сейчас к нему обратится, но поскольку тот по-прежнему глядел себе под ноги, ассистент, видимо, передумал, взял стаканчик из автомата и обосновался за дальним столиком, повернувшись к ним спиной.

— Господин Дельмон,— вырвалось у Фременкура (он был счастлив, что вспомнил имя),— идите к нам.

Дельмон поднял голову, отчужденно посмотрел на Фременкура, Фременкур ему улыбнулся. Ну разумеется. Не принято, чтобы профессор заговаривал с ассистентом другого отделения. Это сразу же возбуждает недоверие, подозрительность — «чего он от меня хочет, этот тип?»

— С удовольствием, господин профессор,— сказал наконец Дельмон, перенося свой стаканчик, и ставя его рядом со стаканчиком Колетт.

— Господин Дельмон, госпожа Граф,— сказал Фременкур.— И, пожалуйста, не называйте меня господин профессор, я давно уже пережил свою ночь на 4-ое августа. Я отрекся от титулов и феодальных привилегий.

— Господин Фременкур,— сказала Колетт,— тайный патерналист.

— А, вы решили взять реванш!— сказал Фременкур смеясь.

Дельмон погрузил свой длинный и острый нос в картонный стаканчик. Возбуждение, которое он испытывал после инцидента в клубе, уже угасло, и его сердце сжималось от дурных предчувствий и страха.

— Вы знакомы с этим парнем?— спросил у него вполголоса Фременкур, кивая на рыжего студента.

Колетт повернула голову и свела брови. Вытянутое пятно, увенчанное красным. Ну и идиотка, надо же мне было забыть линзы. Очки у нее были с собой в машине, но из осторожности она взяла за правило никогда не вынимать их из ящика для перчаток.

— Да,— сказал Дельмон, поднимая голову.— У него с начала учебного года что-то не ладится. И, по-моему, дела идут все хуже и хуже.

Потом он спросил:

— Простите, откуда вы знаете мое имя?

— Проще простого. После вашего ухода из клуба. Рансе вылил на вас ушат помоев.

— А,— сказал Дельмон.

Колетт посмотрела на него, потом на Фременкура, потом опять на Дельмона. Тот был бледен. Сделав над собой усилие, он сказал:

— Мне очень неловко, но не могу ли я узнать у вас, что именно он говорил?

Фременкур посмотрел на него в сомнении:

— *In extenso?*¹

— О нет,— сказал Дельмон,— с меня хватит резюме.

— Ну так вот, он вас, можно сказать, пригрел у себя на груди, а вы воспользовались этим, чтобы его ужалить.

— Ужалить-то я его действительно ужалил,— сказал Дельмон,— но, с другой стороны, грудь его была не слишком уж горяча.

Колетт Граф улыбнулась, а Фременкур расхохотался.

— Великолечно!— пробормотал он между двумя раскатами хохота.— Отлично, это я запомню.

Собственная острота и прием, который она встретила, несколько успокоили Дельмона.

— Этот парень уходит,— сказал Фременкур,— вы хотели с ним поговорить?

Дельмон покачал головой.

— Нет, нет, к сожалению, это бесполезно.

¹ Полностью? (*лат.*).

— Вы обратили внимание, Колетт,— сказал Фременкур,— этот бедняга похож на медведя в клетке, он так же упорно помахивает головой на поворотах.

— Я заметила,— солгала Колетт.

У нее внезапно сделалось несчастное лицо. Когда она забывала, как сегодня, свои линзы, а это, странное дело, случалось с нею все чаще и чаще, мир вокруг превращался в туманность, а люди — в мутные цветные пятна. Четкость и конкретность сохраняли только реальность ее умственного мира, неколебимая схема ее убеждений.

— В моем семинаре,— сказал Фременкур,— из пятнадцати студентов пятеро вынуждены были оставить занятия по причинам, ну, скажем, психологического характера. Все-таки это тревожная цифра, вы не находите, пятеро из пятнадцати, взятых наугад? Бергез определил бы это как «массовый невроз».

— Я не согласен,— живо откликнулся Дельмон,— что «массовый невроз» может служить основой для объяснения студенческого движения протеста.

Фременкур вдруг хитро улыбнулся.

— Но вы согласны, что мы все чаще сталкиваемся с подобными случаями среди студентов? Как, впрочем, следует признать (улыбка его обозначилась еще яснее), и среди преподавательского состава?

Дельмон недовольно покривился, и его острый нос почти уткнулся в губы.

— Это камешек в мой огород! Вы хотите сказать, что, когда один преподаватель толкает другого и не извиняется, это свидетельствует о его ненормальности.

Колетт посмотрела на него с удивлением, а Фременкур, откинув голову назад, залился смехом, его серые глаза весело блестели.

— Ничего подобного, я вовсе не вас имел в виду. Совсем наоборот. Я имел в виду вашу «жертву».

Дельмон в свою очередь рассмеялся, он был удивлен, восхищен, он вдруг почувствовал себя раскованно. Он, конечно, подозревал, что Фременкур и Рансе не принадлежат к одному клану. Но все же! Солидарность бонз!

В ту же минуту Фременкур громко сказал:

— Солидарности бонз, мой дорогой, давно не существует. Будем откровенны. Высшая школа всегда напоминала банку с пауками. Это среда, где честолюбивые притязания безмерны, раны самолюбия неизлечимы, взаимная ненависть достигает степени бреда.

— По-моему,— сказала Колетт четким, не допускающим возражений голосом, и ее круглое лицо внезапно окаменело,— звериное соперничество между профессорами отражает звериную конкуренцию монополий в нашем обществе.

— Не знаю,— сказал Фременкур.— Есть все же разница: интеллектуальному бонзе нет нужды охотиться за клиентами. У него их всегда с избытком. Нет, меня в этой среде больше всего поражает нетерпимость, как политическая, так и научная. Если говорить только о последней, широко известно, что в области лингвистики, например, структуралисты презирают и ненавидят неструктуралистов, а те отвечают им взаимностью.

Наступило молчание.

— Заметьте,— сказал Фременкур, глядя на Дельмона,— госпожа Граф хранит молчание. Не любит, чтобы задевали ее святого патрона. Впрочем, чего стоит самое это слово — «патрон» — в приложении к профессору. А ведь этот «патрон», даже если он из «левых», действительно ощущает себя «патроном», царствует на манер самодержца, требует от своих ассистентов поклонения и холуйства, давит бунтарей, подвергая их остракизму.

Дельмон проглотил слюну, глядя в стаканчик. Поразительное сокрушение бонз бонзой. Он подумал с тоской, а я? Меня Рансе тоже раздавит? Он отпил большой глоток и поставил стаканчик на стол.

— Если быть откровенным,— сказал он, поднимая голову, подбадриваемый теплым взглядом серых глаз Фременкура,— меня тревожит мой сегодняшний «жест». Боюсь, Рансе вышвырнет меня.

— Это еще вопрос,— сказал Фременкур.— Руководитель вашей диссертации в хороших отношениях с Рансе?

— Отнюдь. Он выражается полунамекami, но они достаточно красноречивы.

Фременкур улыбнулся.

— Отлично. А у вас хорошие отношения с руководителем?

— О да,— восторженно сказал Дельмон.— Он ценит мою работу, а я со своей стороны восхищаюсь им.

Фременкур высоко взметнул брови и поднял руки ладонями вверх.

— Как? Вы им восхищаетесь! Искренне восхищаетесь? Браво! Может ли бонза требовать большего? Да он должен, по всей вероятности, вас обожать, ваш руководитель. И если Рансе вас вышвырнет, он не успокоится, пока не пристроит вас снова. Хотя бы в пику Рансе. А куда он может вас пристроить? Да только в Сорбонну! При ближайшем же наборе ассистен-

тов! Таким образом вы будете спасены от мести одного бонзы покровительством другого! Этим-то и прекрасна наша система. Ваш «ожест», как вы выражаетесь, будет способствовать вашей карьере.

III

19 часов

Воздух сотрясся от сильного удара, Менестрель подскочил, заморгал, взгляд его наткнулся на старофранцузский текст, Грансень д'Отрива, Стаппера, ручку (подарок Тетелен), конспекты, угольно-серые шторы. Он опять забылся, с пятнадцати часов в его грезах царила миссис Рассел. Она вытеснила всех остальных. И юную гречанку, изнасилованную при разграблении Коринфа, и черную рабыню с американских хлопковых плантаций, и свеженькую крестьянку, отданную сеньору по праву первой ночи, и даже триста сорок двух наложниц (всех рас, цветов и габаритов) молодого султана Менестреля II, восседающего, поджав ноги, на роскошных подушках сераля. Вновь раздался удар, и до Менестреля дошло, что стучат в его дверь. Он повернулся на стуле, крикнул: — Войдите! — никто не вошел. Он недовольно поднялся. Он чувствовал себя совершенно разбитым, выбитым из колеи, точно не вполне очнувшимся после тяжелого послеобеденного сна.

— Это ты? — сказал он каким-то неопределенным тоном, разглядывая Жаклин Кавайон, затянутую в черное платье, которая боязливо смотрела на него своими великолепными глазами, щеки ее пылали. Менестрель стоял в дверях и глядел на нее, не произнося больше ни слова. Он не знал, что думать, даже не думать, думать-то просто, вернее было бы сказать, я не знаю, что чувствовать, тут дело более хитрое, нужно суметь сориентироваться, почти всегда существует разрыв между тем, что ты, как предполагается, чувствуешь, и тем, что ты чувствуешь на самом деле. Наконец он спросил:

— Кто тебе сказал номер моей комнаты?

— Бушют.

— А,— поморщился он,— Бушют.

Он опять замолчал, и она униженно спросила:

— Можно мне войти?

— Конечно, входи,— сказал он холодно, пропуская ее.

Она прошла мимо него неуверенной походкой и застыла между кроватью и стулом.

— Садись на кровать, тебе будет удобнее.

Она подчинилась, и ее юбка головокружительно поползла вверх, обнажая ляжки, затянутые в черные колготки с геометрическим рисунком. Забавны эти прямолинейные рисунки на выпуклостях, начисто лишенных углов. Может быть, именно этот эффект контраста и является целью — дополнительная деталь для привлечения внимания. Сколько ухищрений, чтобы заставить вас смотреть!

Опустив глаза, Жаклин двумя руками стягивала вниз свою мини-юбку, точно рассчитывая *in extremis*¹ удлинить ее на те четыре-пять сантиметров пристойности, которых ей недостава-до, хотя, ясное дело, напрасно было слагать такие надежды на эластичность материи, да и само движение, сознательно или бессознательно, было в свою очередь трюком, запоздалой подделкой под стыдливость, завуалированной провокацией, призывом смотреть: разве можно не глядеть на то, что от тебя как бы пытаются скрыть? Какое лицемерие! Какой невероятный избыток всевозможных эротических приманок. И разумеется, сейчас она заговорит, как все девочки, о своих нравственных проблемах, а между тем ляжки будут тут, передо мной, как бы забытые, как бы по недоразумению оказавшиеся на моей постели, — на постели, заметь, где ты гредишь о девушках, которых у тебя нет. Ее ляжки занимают место не только на моем матрасе, они, в сущности, занимают место в моем внутреннем пространстве. Да, ничего не скажешь, ясная голова будет у меня, чтобы думать над ее проблемами! Просто невероятно. Она сделала самую простую вещь — она села, и вот уже все подтасовано, колода крапленая, игра стала двусмысленной и жестокой.

— Что-то незаметно, что ты рад меня видеть, — сказала Жаклин, поднимая глаза.

Он посмотрел на нее. В сущности, ей было выгодно опускать глаза: когда она потом поднимала ресницы, эффект был сокрушительный, точно театральный занавес взлетал к колосникам, повергая тебя в изумление, великолепная картина, продуманное оформление, бахрома занавеса составляет часть декораций; нет, девочки — это истинное произведение искусства. Не успела сесть и уже перешла в атаку, сентиментально-чувственная агрессия, я должен ощутить свою вину, а с какой стати мне «радоваться», что я ее вижу? Я, что ли, просил ее одолжить мне конспект последнего семинара? Я, что ли, подсел к ней за столик в баре? Я заигрывал с Жоме?

— Я ничего не имею против, — сказал он наконец.

— А за?

¹ В последний момент (лат.)

Он посмотрел на нее. Эта добычу не выпустит!

— Не знаю,— мужественно сказал он.

— Как? Не знаешь?

— Нет, я как раз задал себе этот вопрос, когда ты вошла.

— Ну что ж, это, во всяком случае, откровенно,— сказала Жаклин.

— Послушай,— сказал он с внезапным приливом злости,— я не понимаю, объясни, пожалуйста, почему это вдруг стало так важно, рад я или не рад?

Наступило молчание.

— Ты прав.— сказала она с горечью,— это совсем не важно.

Она моргнула, и глаза ее наполнились слезами. Может быть, слезы входили в программу, может, и нет, во всяком случае, они на него подействовали, он почувствовал, что краснеет, отвернулся, положил ладонь на стол, забарабанил пальцами, уставясь на свою руку. Он был раздражен, взволнован и, сверх того, чувствовал себя виноватым. Эти девчонки всегда наводят тень на ясный день! И что за идиотский разговор: ты рад? ты не рад? Вдобавок, он заметил, что, уставившись якобы на собственную руку, он на самом деле разглядывает ее ноги. Всюду ловушки.

У Жаклин комок подкатывал и горлу, она с огромным трудом подавляла слезы. Хуже некуда, она пришла к нему, потому что после посещения Жоме не могла найти себе места, просто погибала от ужасной тоски, отчаяния, одиночества, ну хоть кричи, и поговорить не с кем, и опять мысли о самоубийстве, а теперь я пришла к Менестрелю и машинально задаю дурацкие провокационные вопросы, точно я пришла пофлиртовать. Какая глупость, на самом деле это совсем не так, он неправильно понял, мне просто нужно было с кем-то поговорить, ничего больше. Он сидел, опустив глаза, и она, воспользовавшись этим, вновь окинула его взглядом, мгновенно отметив и голубую рубашку, и синий пуловер, и фланелевые брюки и, главное, это впечатление чистоты, собранности, элегантности. Даже сидя он не разваливался, он был похож на красивого петушка, гордого и задиристого, хотя, может, еще и не набравшего достаточно веса, чтобы удержаться на спине курицы, вцепившись ей в гребень. Она с грустью подумала, ничего себе сравнения приходят мне в голову. Время шло, он молчал. Его молчание означало, что она должна уйти, ну что ж, ничего не вышло, теперь все. Сейчас она встанет и уйдет, она ощущала в себе чудовищную пустоту. На улице, когда она выйдет, ее встретит дождь, мрак, нантерская пустыня, а в комнате никого, ничего, ни одного дружеского взгляда.

— Ладно,— сказала она и встала, не поднимая глаз,— я пошла.

Менестрель тут же вскочил, красный, смущенный.

— Ну что ты,— горячо возразил он.— Не будь дурой, оставайся. Я же не гоню тебя. Напротив.

Он посмотрел на нее. Замкнутое лицо. Занавес опущен. Но невольный трепет ресниц выдавал ее волнение. Подергивалась, пульсируя, верхняя губа, припухшая, выдвинутая вперед, как у ребенка, который вот-вот заплачет.

— Ну, оставайся же,— снова сказал он.

И, положив руки ей на плечи, он нажал, чтобы заставить ее снова сесть. Она подчинилась. Она рухнула на кровать и не двигалась, точно вещь, которую бросили, руки ее лежали на лянках, глаза были прикрыты, голова опиралась о стену рядом с бушютовым пятном. Менестрель посмотрел на нее, во рту у него пересохло. В этой пассивности, в потупленном взгляде было что-то влекущее, а что если я обниму ее, как обнимаю в грезах миссис Рассел, если я стану ее ласкать, раздену. Но в грезах он легко скользил от одного жеста к другому, его возможности были безграничны. А здесь он имел дело с реальным человеком, просто невероятно, как мешает тебе чужое сознание, мешает еще до того, как ты что-нибудь предпримешь. Он опять сел.

Жаклин подняла глаза.

— Ты был не очень-то любезен,— сказала она совсем по-детски.

— Ты тоже.

— Я?— сказала она, повысив голос и подняв брови.

— Днем, в баре.

— Я?— повторила она октавой ниже.— А что я сделала?

— Я вдруг стал пустым местом...

— Ах, вот что,— сказала она, успокоившись,— значит, дело в этом!

И внезапно, неожиданно она ему улыбнулась. Эта улыбка обозлила Менестреля, и он сухо сказал:

— Уточняю. Я в тебя не влюблен, и я не ревную. Но играть роль старых носков никому не приятно.

— Поэтому ты так быстро ушел?

— Да.

Наступило молчание, она опустила глаза и сказала покорно:

— Решительно, я делаю только глупости.

Он смущенно отвернулся.

— Да это пустяки, не придавай значения.

Снова наступило молчание. Он заметил, что она вытянула из черных замшевых сапожек ноги и поджала их под себя, то-

чно желая согреть. Это взволновало его и в то же время обеспокоило. Снять сапожки — это почти что раздеться, ну, не воображай, может, они просто у нее промокли, пока она ходила по студгородку. Как бы то ни было, это жест интимный. Она сжалась в комочек, точно завладев его постелью, свет настольной лампы падал на нее сбоку, сверху вниз, оставляя в тени голову и грудь и ярко освещая изгиб бедер. И, однако, непонятно каким образом глаза ее улавливали луч света и излучали в полумраке мягкое сияние. Они казались огромными, бархатистыми. Внезапно она сказала:

— Я сегодня переспала с Жоме. Я была девушкой, а сегодня переспала с ним.

Он обалдело смотрел на нее. По ее тону и лицу (но он видел ее плохо) нельзя было понять, гордится она тем, что сделала, или горько об этом сожалеет. Может, то и другое вместе. Разве в них разберешься, в девочках. После паузы он сказал:

— Ну что ж, я полагаю, если ты это сделала, значит, ты этого хотела.

Она сказала отчетливо:

— Нет, не хотела.

— Зачем же тогда?

— Чтобы не быть девушкой.

Менестрель помолчал, потом сказал:

— Это было для тебя так важно, перестать быть девушкой?

— Да. Я думала, что почувствую себя свободной.

— И почувствовала?

— Не знаю, — в голосе ее было сомнение. — Сначала я была довольна. А потом гораздо меньше.

Менестрель смотрел на нее. Вот она сидит на моей кровати, вся из округлостей и изгибов, черты лица мягкие, мелкие. Как красиво, как трогательно девичье тело. Он ощущал в себе уважение к этому телу, а она — вот так, с первым попавшимся... Самый факт, что она отдалась, его не шокировал, нет, его возмущало, что она сделала это так по-глупому, разрушительно, очертя голову.

— Послушай, — сказал он, — ты знакомишься с Жоме в полдень, а через три или четыре часа спишь с ним. Это ведь глупо, а?

— Не в нем дело, — сказала она, качая головой. — Для меня Жоме был не в счет.

Менестрель опустил глаза. Чудовищно! Нет, этой фразы я не забуду: «Жоме был не в счет!»

— Значит, ты его не любишь?

— Конечно, нет, скажешь тоже!

— А он?

Она пожала плечами.

— Тогда почему Жоме?— сказал Менестрель.

— Не знаю. У него такой солидный, такой опытный вид. И потом, за ним бегают все девочки.

Менестрель моргнул, опустил глаза, проглотил слюну. Ясное дело, у меня вид не солидный и не опытный. Он вдруг с ужасающей силой ощутил себя обесцененным, униженным, сброшенным со счета, и несправедливость этого чувства его возмутила. Он, значит, ничего не стоит. Только потому, что у него нет этих идиотских морщин и синяков под глазами, которые есть у Жоме. Он сказал слабым голосом:

— А от меня чего ты ждешь?

Она посмотрела на него с торжественным и детским выражением на лице.

— Я хотела бы, чтобы ты стал моим другом.

Ах вот что. Распределение обязанностей: Жоме — лишает девственности, я — дружу.

— Я?— Сказал он сухо.— Почему именно я?

— Ну,— сказала она смущенно,— ты мне симпатичен.

И поскольку он молчал, добавила:

— Конечно, я мало тебя знаю. Но в тебе есть что-то тонкое, чувствительное, мечтательное...

Он пожал плечами и сказал с раздражением:

— Ты ошибаешься. Я, знаешь, совсем не такой. Голова в облаках, но ноги на земле.

— Что это значит?

— Я ничем не отличаюсь от других ребят. Я тоже не прочь переспать с девочкой.

Прошла секунда. Потом Жаклин широко открыла свои «сильнодействующие» глаза и направила их огонь на него.

— Ну что ж,— сказала она,— за чем дело стало?

Он посмотрел на нее, совершенно ошарашенный. Потом его вдруг захлестнул гнев, и он обрел голос.

— Послушай,— сказал он со сдерживаемой яростью.— Не предлагай мне себя, как чашку чая! Ты все портишь.

Она пожала плечами.

— До чего же ты старомоден,— сказала она с презрением.

И она его еще по-снобистски третировала, только этого не хватало! Он сжал правой рукой край стола.

— Знаешь, не думай, что ты на гребне новой волны только потому, что переспала с Жоме.

Она моргнула, глаза ее опять наполнились слезами, но, вспомнив о туши, она сдержалась. Сжавшись в комочек, под-

жав под себя ноги, как кошечка, она рискнула осторожно взглянуть на Менестреля. Она почувствовала к нему какое-то новое уважение. Ну конечно, типичный мазохизм — он дал мне по морде, и я в восторге; в те времена, когда я еще ходила к исповеди, аббат меня бранит, а я так и сияю, теперь они, говорят, даже бранить перестали и покаяния не налагают: зачем же тогда исповедь? Внезапно ее охватило презрение к самой себе. Ей было отвратительно в себе все: дурацкая ненависть к родителям, безграничный эгоизм, постоянное вранье, попытка самоубийства, безалаберность в занятиях, и мальчишки, и то, что она заранее знала, как все будет, ничего, ничего, никогда, она проста ненормальная, ей это всегда было известно, она подумала с горьким удовольствием, шлюха, вот я кто в глазах Менестреля. Она стиснула зубы, ну что ж, раз так, они увидят, я вымараюсь в грязи, я стану отдаваться кому попало, пойду в бидонвиль, скажу арабам: вот я, кто желает? Захочу и сделаю. Или нет, я покончу с собой, после моей смерти они спохватятся. Она вдруг увидела себя распростертой на кровати, в своем черном платье, бездыханную, без кровинки в лице, ей стало ужасно жаль своей молодой жизни.

Она посмотрела в глаза Менестрелю и сказала с вызовом:

— Я в прошлом году кончала с собой.

Непоследовательно. Вне всякой связи с тем, о чем мы только что говорили. Или эта связь от меня ускользает. Сидит тут, на моей кровати, полная жизни (и вообще довольно полненькая), и ни с того ни с сего заявляет: я мертвая. У него на языке уже вертелось — разумеется, из этого ничего не вышло, — но он вовремя спохватился. В прошлом году они долго беседовали с Демирмоном о самоубийстве. «К самоубийцам никогда не следует относиться легкомысленно, — говорил Демирмон, — они крайне чувствительны ко всякому вызову. Осторожнее. Нужно обращаться с ними тактично».

— А что тогда случилось? — спросил Менестрель нейтральным тоном.

— Дело было так, — заговорила она торопливо, проглатывая слова, точно боялась, что не успеет рассказать. — Я встречалась с одним мальчиком, а папа, сам понимаешь, был категорически против. И тут я заболеваю. Ладно, я домой не иду, а иду в университетскую больницу. Понимаешь, я не хотела, чтобы меня лечили как папину дочку. И там в течение двух недель ребята и девочки в моей палате только и говорят, кто да как кончал с собой и вообще рассуждают о самоубийстве и о бессмысленности жизни, и о том, как противно становиться старым, взрослым. Ладно. Выхожу я из больницы, и папа с

места в карьер заводится, начинает про этого мальчика. Ну, я в тот же вечер и решила покончить с собой.

— Как?

— Ночью. С помощью газа и снотворных.

— Зачем же сразу то и другое?

— Чтобы побыстрее. Но я совершила ошибку, потому что газ — это мамин пунктик. Она его унюхала, вскочила, бросилась в кухню, вызвала доктора, и они вдвоем заставили меня вывернуть внутренности наизнанку.

Она вдруг расхохоталась. Смех у нее был звонкий, почти детский.

— Чего же ты смеешься?

— Я вдруг вспомнила маму. Мама, знаешь, у меня маленькая, кругленькая, и даже в эту ночь она успела надеть свои домашние туфли без пятки, на высоких каблуках и, главное, она кудахчет без остановки, суетится, как курица, воздевает ручки к небу и кудах-тах-тах, кудах-тах-тах! — Она перестала смеяться и сказала с удовлетворением: — Папа — тот ни слова не проронил. Он был белый, как его пижама, и не смел глаз на меня поднять. И это было мне здорово приятно, потому что папа, особенно в пижаме, вызывает у меня отвращение.

Менестрель безмолвствовал. «Девочкам самоубийства, как правило, не удаются, — говорит Демирмон, — потому что они кончают с собой в пику кому-нибудь. Вы понимаете, что я хочу сказать, — с тайной надеждой выжить и насладиться тем, как они насолили этому человеку. Разумеется, «неудача» может «не удалась», и тогда они умирают на самом деле (серьезное лицо, приглушенный голос). Осторожнее. Особенно с теми, которые склонны к повторным попыткам»

Думаешь, тебе пришлось бы на ум наложить на себя руки, если бы ты не наслушалась самоубийц в больнице? — сказал Менестрель.

Слова «наложить на себя руки», он произнес с удовольствием. Это выражение употреблял Демирмон, а недавно Менестрель прочел его в «Монде». Оборот казался ему изысканным. Он подумал, увижу Демирмона, непременно расскажу ему о Жаклин. Он заранее представлял себе заинтересованный взгляд Демирмона, устремленный на него, когда он в скупых словах выделяет узловые моменты этой истории. Он чувствовал себя счастливым, хотя терял время и не занимался старофранцузским. Неплохо будет, например, отметить, что в больнице сработал эффект заразительности. Ему еще удастся когда-нибудь сделать остроумное наблюдение, не пришедшее в голову самому Демирмону, и тот удивленно взметнет брови.

— Нет,— сказала Жаклин,— больница здесь ни при чем, я уже раньше думала об этом.

Ей стало стыдно, и она отвернулась. Зачем я вру. Прошу его быть моим другом, а сама ему вру. Менестрель побарабанил пальцами по столу — типичный сартровский «самообман», если больница «ни при чем», почему же она заговорила о ней? В то же время он воспользовался тем, что Жаклин опустила глаза, и окинул ее взглядом. Было приятно, что на его кровати прикорнула эта пухленькая хорошенькая девушка. Приятно и поучительно слушать чушь, которую она несет, и понимать, что за всем этим кроется на самом деле. Она была его пациенткой. Он, доктор Менестрель, внимательно слушал ее. Он ловил ее на ошибках, обнаруживал, что стоит за каждым словом. Как Фрейд. Интересно, спал Фрейд со своими пациентками? Наверно, нет. В мире нет ничего совершенного: нельзя быть одновременно великим психиатром, излечивающим неврозы, и великим распутником, который способствует их возникновению. Пусть привирает, я на это положил. Надо ее понять. Бедная лапонька, ей хочется выглядеть не такой, как все. Он посмотрел на нее, полный умиления и чувства собственного превосходства, и сказал серьезно:

— А с тех пор тебе ничего такого больше не приходило в голову? («Осторожно с теми, которые склонны к повторным попыткам».)

Она молчала.

— Да,— сказала она наконец.— Часто.

Она вдруг подняла на него глаза и благодарно улыбнулась. На этот раз она сказала правду и была ему за это признательна.

Она добавила;

— Мне осточертела эта студенческая жизнь... Что я тут, в Нантере, делаю? Ничего. Жду, когда начнется жизнь.

Менестрель склонил голову набок. В известном смысле она права. Ущемленность студенческой жизни именно в этом: ждешь, когда начнется настоящая жизнь. Ждешь, ждешь, конца не видно. И еще ужасна твоя собственная неопределенность, расплывчатость, аморфность. И, однако, выбор будущего, того, кем ты станешь, зависит только от тебя. И решать нужно сейчас.

— Но ведь ты себя к чему-то готовишь,— сказал он,— работаешь, узнаешь всякую всячину.

Она подняла руку, и ее ладонь очертила в сторону Менестреля изящную кривую.

— О, конечно, тебе это легко сказать, ты ведь блистаешь. Ты знаешь все на свете. Ты читал Пруста. Это правда? — спро-

сила она, точно грандиозность подобного подвига заставляла ее, по некотором размышлении, отнестись к этому утверждению скептически.

— Да.

— Всего?

— Разумеется.

— Разумеется? Я — одну страницу. С меня было вполне достаточно. Он меня просто убивает, этого тип, с его сложностями. Да и вообще, я и литература...

Менестрель поднял брови.

— Чего же ты пошла на литературный?

Она беспомощно развела поднятыми руками:

— А куда мне идти, по-твоему? В науках я ни шиша не смыслю.

Менестрель посмотрел на нее. Это я тоже расскажу Демирмону, это подтверждает его излюбленный тезис: из десяти филологов настоящий только один. Именно к нам идет больше всего пустышек. «Студенты, которые ни о чем не думают, ничего не хотят, ничего не читают, ничем не интересуются».

Он сказал после паузы.

— Кроме чтения и занятий, есть еще и товарищи.

— Какие товарищи? Девочки? Они такие врушки! И потом, не знаю почему, но я вечно натыкаюсь на лесбиек. А это, знаешь ли,— сказала она, энергично мотая головой,— ни за что, ни за что.

Его удивила столь бурная реакция, но он промолчал. Немного погодя она опять заговорила:

— И главное, я сама себе обрыдла, понимаешь, я себя ненавижу.

Это было сказано без всякого вызова, глухо, с какой-то холодной отрешенностью, которая произвела на Менестреля тягостное впечатление.

— Ты ненавидишь себя? Почему?

Она сказала с болью:

— Я урод.

Менестрель, усмехнувшись, сказал:

— Ну нет, право же, ты отнюдь не урод.

— Урод нравственный. Например, взять родителей, я с ними просто дрянь. Особенно с папой. Я для папы один свет в окошке. А я его терпеть не могу. Еще когда он одет, куда ни шло. Но когда он в пижаме, меня прямо тошнит. Я не выношу, когда он ко мне прикасается. Если он хочет поцеловать меня, я его отталкиваю.

Она добавила:

— И потом, я думаю только о себе.

— Есть много людей, которые думают только о себе.

Она с живостью возразила:

— Да, но не так, как я, у меня это болезнь.

Губы ее вытянулись вперед, углы их опустились, лицо на мгновение застыло в гримасе, как греческая трагическая маска.

— Возьми, к примеру, сон, который мне часто снится, я тебе сейчас расскажу. Будто я глотаю тюбик снотворного. И когда я просыпаюсь, Жаклин, ненавистная мне, — мертва. Я встаю и ухожу. Я оставляю ее, как старую кожу, которую сбросила с себя. А я теперь девушка что надо, мне легко и весело, я чувствую, что полюблю мальчика, полюблю по-настоящему. И тут я просыпаюсь. И все еще хуже, чем раньше.

Менестрель молчал. Он смотрел на Жаклин и удивлялся. До сих пор женщина существовала для него в трех ипостасях: 1) Существо гнусное вроде госпожи матушки или очень-очень милое, как Тетелен (или даже Луиза). 2) Существо, перед которым робеешь, поскольку реакции его непонятны и оно никогда не интересуется тем, чем интересуешься ты. 3) Существо, которое ложится на спину, задирает ноги и т. д. Ему самому пока не доводилось принимать участие в такого рода положениях, но еще в шестом классе товарищи ему все это описали и даже изобразили с громким хохотом. Однако эти три ипостаси как-то не совмещались, не сливались воедино. Он всегда рассматривал их раздельно. Теперь, в Жаклин, он впервые пытался их соединить. Она казалась ему доброй девочкой, несмотря на все свои комплексы. Он не прочь был бы с нею... и его интересовали ее проблемы.

— Ты не обращалась к психоаналитику?

Она широко открыла глаза.

— А как ты думаешь! К самому лучшему! К самому дорогому! Он влетел папе в копеечку!

— Ну и что?

— Пустой номер, конечно. Я укладывалась на диван этого типа и не разжимала губ. В конце концов ему это осточертело.

Менестрель встал и присел рядом с нею. На расстоянии метра. Пусть не думает. Она искоса взглянула на него, но не пошевелилась. Она сидела, обхватив руками колени. Он протянул правую руку, положил ее на кровать ладонью вверх.

— Дай мне руку, — сказал он.

— Нет, — сказала она, с испуганным видом пряча кисти рук под мышками.

Он окаменел.

— Нет? — повторил он, глотая слюну. — Почему же нет?

— Я ненавижу, когда до меня дотрагиваются.

Он смотрел на нее, растерянный, униженный, взбешенный.

— Я предполагаю,— сказал он, сдерживая злость,— что Жоме был все-таки вынужден до тебя дотронуться, чтобы лишить тебя невинности.

— Это совсем другое дело.

— То есть как — другое дело?

— Жоме, он как врач.

— А я,— сказал он с ядовитой иронией,— гожусь тебе в друзья, но дотронуться до меня противно.

— Да нет,— сказала она, не глядя на него и все еще зажимая руки под мышками,— я просто не выношу, чтобы мне приказывали.

— Я тебе не приказывал.

— Ты сказал: дай мне руку!

Он умолк, пораженный недобросовестностью, с которой она, повторив его слова, придала им гнусную, повелительную интонацию.

— Как тебе не стыдно! — возмущенно сказал он. — Я сказал совсем не так. Ты из меня делаешь какого-то фашиста.

Она молчала, опустив глаза, склонив лоб, зажав руки под мышками.

— Ну ладно,— заговорил он дрожащим от напряжения голосом,— раз уж я фашист, слушай: ты дашь мне руку, и сию минуту, или я отвечу тебе пару оплеух и выставлю за дверь.

Она повернула голову и посмотрела на него. Он был весь красный, подбородок задран, глаза злющие. Она опустила взор, захлопала ресницами, вздохнула, что-то в ней разжалось. Рука обмякла, левая кисть безвольно упала на ладонь Менестреля. Она капитулировала, безоговорочно. Менестрель с силой стиснул ее пальцы. Они были теплые и словно таяли в его ладони. Он ощутил пьянящее чувство, казалось, все его тело ширится, он посмотрел на нее, она ему принадлежала. Что-то случилось с его дыханием, он парил в воздухе, это поток воздуха подбросил его вверх, и он летел, возносился на самую вершину жизни. Внезапно его отрезвило воспоминание о собственной неопытности, победное чувство схлынуло, поникло, осело, как пена, он хлопнулся наземь в полном изнеможении, он подумал с трезвой ясностью: и вовсе не затем я взял ее руку. Позднее, может быть, позднее. Но это соображение его не убедило, он чувствовал себя ущемленным, обделенным. Ах, все это было так не просто! Может, он зря так быстро отступился? Ему ужасно захотелось каким-то чудом стать сейчас же тридцати-

летним мужчиной, каким он будет когда-нибудь, старым, опытным, уверенным в себе.

Время шло. Он пытался думать, не выпуская из руки пальцев Жаклин. Потом он сказал:

— Обещай мне одну вещь.

— Что?— сказала она, вздрогнув.

Она поглядела на него, и он впервые заметил, что ее красивые, блестящие глаза, когда она не думает о том, чтобы нравиться, угрюмы и замкнуты.

— Послушай,— сказал он,— если ты опять вздумаешь кончать с собой, предупреди меня.

Она молча отвернулась.

— Обещаешь?

— Ладно, если ты настаиваешь,— сказала она без всякой убежденности.

Это было только полуобещание. Он заговорил снова:

— Мы друзья, да или нет?

— Друзья,— сказала она угрюмо.

— Значит, ты обещаешь? По-настоящему обещаешь?

В дверь постучали, и, прежде чем Менестрель успел что-нибудь сказать, вошел Бушют. Он не просунул голову в щель, как делал обычно. Он просто вошел, захлопнув за собой дверь, и устоял на парочку. По правде говоря, Жаклин он как бы не видел, он смотрел только на Менестреля. Он стоял, ссутулив плечи, опустив углы рта, сальные черные пряди падали на его лоб. Зрачок, прикрытый веком, казался сместившимся в овале глаза. Слишком широкая полоса белка снизу и совсем нет сверху. Может, именно это придавало ему такой расслабленный и неискренний вид? Как только он вошел, по комнате распространился запах грязного белья.

— Надеюсь, я тебе не помешал,— сказал он, по-прежнему глядя на одного Менестреля.— Мне нужно кое-что тебе сказать.

Поскольку Менестрель не ответил, он добавил:

— Одну вещь совершенно личного характера.

Жаклин высвободила свою руку, спустила ноги, натянула сапожки.

— С этим можно подождать,— холодно сказал Менестрель.

— Нет, как раз нельзя,— сказал Бушют.— Я сегодня вечером занят, ты знаешь чем,— сказал он с сообщническим видом.

— Я все равно уйду,— сказала Жаклин, вставая.

Менестрель тоже встал.

— Ты можешь остаться. Ничего важного Бушют мне сказать не может.

— Благодарю,— сказал Бушют расстроенно, не глядя на девушку.

— Как бы там ни было, я смываюсь,— сказала Жаклин.

Она прошла мимо Бушюта, отвернув от него лицо, и открыла дверь.

— Увидимся в ресте,— сказал Менестрель, забывая о своей встрече с миссис Рассел.

— Может, и нет,— сказала она через плечо.— Я, может, поем у себя.

Дверь за ней захлопнулась. Наступило молчание. Менестрель, стоя, глядел на Бушюта сверкающими глазами.

— Я пришел попросить у тебя прощения,— сказал Бушют с униженной улыбкой.

— Прощения, за что?

— За записку, которую я оставил на твоём столе.

Менестрель засунул руки в карманы и с силой втянул воздух. У него дрожали ноги, он не мог выдавить из себя ни слова.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

19 часов

— Товарищи,— сказала Лия Рюби низким, глухим, ровным голосом, упрямо набычив голову с длинной челкой, прикрывавшей брови, отчего ее черные глаза казались еще темнее. Она говорила монотонно, не жестикулируя, точно внутренне застыв по стойке смирно. Никаких эмоций, самое большее, что она могла себе позволить во время дискуссии,— улыбка презрительного превосходства, не личного превосходства, разумеется; как индивидуум Лия вообще не существовала, у нее не было ни возраста, ни пола, ни внешности — устами Лии вещала доктрина секты, Лия несла людям истину, и ей не к чему было пленять, волновать или даже доказывать, революционная чистота чуждалась такого рода слабостей. Лия представляла крохотную элиту, горстку незапятнанных, которая даже в своей гошистской среде была окружена двурушниками, предателями, скрытыми мелкими буржуа. Давид Шульц смотрел на нее в крайнем раздражении. Как девочка она довольно красива, но эта ее холодность, сухость, негибаемость. В маленькой комнате для семинарских занятий на втором этаже социологического корпуса их собралось человек двадцать, у каждого было

свое мнение, а она обращалась к ним, как к толпе, и все, что она намеревалась сказать, было им заранее известно. Все та же стертая пластинка, все те же стереотипные слова, механические формулы, монотонно падавшие из ее уст: товарищи, не следует замалчивать, положение серьезно, кризис производительных сил в капиталистическом обществе с каждым днем обостряется, автоматизация неизбежно повлечет за собой массовую безработицу, которая будет охватывать все более широкие слои трудящихся. В борьбе против пауперизации и недовольства трудящихся буржуазия будет вынуждена прибегнуть к фашизму и подавлению рабочего движения. Приход к власти фашизма во Франции, как и повсюду, неотвратимое следствие экономического застоя и массовой безработицы. В свете этого ясно, что реформа Фуше направлена на подрыв всей системы образования в масштабе страны, в частности путем отбора. Ее цель — добиться изгнания из университета двух третей студентов. В этих условиях мы считаем, что акции, подобные оккупации административной башни Нантера, следует расценивать как авантюристские провокации, результат — если не цель которых — пособничество полицейским силам голлизма, стремящимся обезглавить студенческое профсоюзное движение.

Она замолчала, устремив взгляд в пустоту. Ее миссия была выполнена и, как всегда, свелась к осуждению и яростному разоблачению намеченных действий. Давид спросил себя, не стоит ли остановиться на этом «если не цель», поскольку Лия явно намекала тем самым на сотрудничество анархов и каэрэмов с полицией, брошенной на подавление студенческого движения. Но самое отвратительное во всем этом — автоматизм такого рода инсинуаций, дернешь за кончик, и сортирный рулон разматывается. Пример: акция квалифицируется как «провокационная». Провокация, естественно, «льет воду на мельницу голлизма», следовательно, она задумана «для того, чтобы» лить эту воду. «Результат» неуловимо подменяется «целью», «объективный» союз — союзом как таковым, то есть союзом оплаченным. Кон-Бендит — этого еще не говорят вслух, но об этом уже шепчутся — состоит на жалованье, на жалованье у кого? Тут предоставляется воля воображению, выбор богатый, это могут быть в равной мере любые полицейские органы, немецкая разведка, Интелидженс Сервис или ЦРУ. Давид вытянул перед собой длинные ноги, упер небритый подбородок в грудь, засунул руки в карманы линялых джинсов. Все это гнусно. Лия клянется ненавистью к культу личности, а сама ведет себя ничуть не лучше. Ладно, к черту глупости. Он поднял руку и, не дожидаясь ответа, сам дал себе слово.

— Товарищ,— сказал он громким голосом,— я не согласен с твоим анализом, не согласен я также и с твоими выводами. Твое описание буржуазного общества коренным образом расходится с реальными фактами. Мировой капитализм не только не переживает застоя, но, напротив, усиливает свою экспансию. Цель реформы Фуше не разрушение университета, но, напротив, технократическое приспособление его к целям экономической экспансии. Твое видение мира, как, впрочем, видение мира всей твоей группы, совершенно ирреально и антиисторично (Лия презрительно улыбнулась). Ты застряла на уровне предвоенной эпохи, на уровне великого американского кризиса 1929 года, захвата власти фашистами в Германии и победы Франко в Испании. Короче, мир остановился вместе со смертью Троцкого, с тех пор для тебя только повторяется одна и та же неизменная ситуация. 1968-й все еще 1938-й! Нет, позволь,— сказал он, повышая голос,— я закончу мысль. К сожалению, ребята твоей группы, исходя из этого совершенно ирреального понимания обстановки, во-первых, цепляются за синдикалистскую борьбу, как за материну юбку, и, во-вторых, усматривают «авантюризм» в любых наступательных действиях, выходящих за рамки синдикализма. Профсоюз стал для вас талисманом, фетишем и в то же время удобным алиби для отказа от действия.

Лия открыта рот, но ее опередил Бурелье. Он начал говорить, даже не спрашивая слова, точно оно принадлежало ему, эмэлу, по праву непререкаемого авторитета Мао Цзэ-дуна, «который должно утверждать повсюду». Давид вынул руки из карманов и уставился на свои обгрызанные ногти — вот дерьмо, слушай теперь другую пластинку! Бурелье был из рабочей семьи, высокий, костлявый, угловатый, нескладный — в принципе все это было хорошо. Ему не было нужды искусственно придавать себе неряшливый и грязный вид. Даже в своем аккуратном учительском пиджачке он выглядел болезненным и жалким. Из коротких рукавов торчали крупные пролетарские руки с простодушными квадратными ногтями. Когда он не заводил свою маоистскую пластинку, речь его была затрудненной, то и дело спотыкающейся на «так сказать», что умиляло Давида. (Существует, так сказать, борьба классов; это, так сказать, осознание...) Короче, он был стоящий чувак. Но маоист до мозга костей! Портрет Мао в петличке, цитаты из Мао через каждые два слова. И в порядке миметизма, что ли, у него — сына парижского рабочего с улицы Ги Моке — широкие скулы, глаза-щелочки за стеклами очков, азиатская бесстрашность.

— Я согласен с критическими замечаниями товарища Шульца в адрес товарищ Рюби,— сказал Бурелье, глаза его за стеклами очков словно застыли.— Анализ ситуации, сделанный товарищ Лией, полностью устарел (Лия улыбнулась с уничтожающим презрением). Но с другой стороны, мы решительно отмечаем акции, подобные оккупации административной башни, мы рассматриваем их как дешевые трюки на потребу галерке, как школярские выходки, в то время как подлинная наша задача, товарищи, это не борьба студентов против реформы Фуше в своей студенческой среде, подлинная задача состоит в том, чтобы повернуться спиной к этой среде, поставить себя на службу рабочим, пойти на стройки, на заводы, в рабочие кварталы, не претендуя, разумеется, при этом на руководящую, направляющую роль, а напротив, с намерением воспринять от пролетариев живой марксизм, как учит нас Мао Цзэ-дун. (Здесь Бурелье почти прикрыл глаза.) Не следует забывать, товарищи,— продолжал он все так же бесстрастно,— что трудящиеся массы стихийно революционны (среди дюжины присутствующих студентов возникло какое-то движение, Лия побледнела, даже Давид почувствовал себя шокированным: Маркс утверждал как раз противоположное). Следовательно, любые действия, цель которых отвлечь студентов от служения народу, действия, по сути, подрывные и контрреволюционные. Подводя итог, товарищи, я считаю, что оккупация административной башни является авантюристической акцией мелкобуржуазных, на сто процентов реакционных студентов.

Нож гильотины упал. Бурелье скрестил руки на коленях и скромно занял свое место в рядах.

— Как ты можешь называть себя марксистом-ленинцем, — прошипела Лия, обливая его из-под челки презрением своих черных глаз,— и нести подобную чушь относительно стихийной революционности рабочих масс? Каждому, кто хотя бы раз заглянул в Маркса, известно, что массы, напротив, стихийно настроены тред-юнионистски именно потому, что они находятся под влиянием идеологии класса буржуазии, который их эксплуатирует.

Раздался одобрителный шепот, но Лия даже не успела закончить мысль.

— Что же мы должны, по-твоему,— оборвал ее Бурелье, повышая тон,— запеленать Маркса и Ленина, превратив их в музейные мумии?— Глаза его за стеклами очков жестоко поблескивали, нетрудно было догадаться, что он с удовольствием вцепился бы в Лию по щеке.— Что это еще за академизм? Или нам ждать, вроде тебя, пока Троцкий встанет из могилы (губы

Лии задрожали) и раскроет нам истину марксизма? Я удивляюсь,— продолжал Бурелье со сдержанным гневом,— я, так сказать, не могу понять, товарищ, ты ведь, так сказать, историк! (Давид заметил, что от волнения Бурелье сбился со своей пластинки и начал спотыкаться о «так сказать».) Как же ты, историк, можешь быть до такой степени, так сказать, глуха к Истории, осуществляющейся на твоих глазах? Взгляни, товарищ, хотя бы на Китай, тут, так сказать, живая очевидность! Идеи Мао Цзэ-дуна — высшее выражение, самое живое выражение марксизма-ленинизма нашего времени.

Опять завел свою пластинку. Давид опустил глаза и устался на свои ботинки. Иными словами даже тогда, когда идеи Мао Цзэ-дуна противоречат Марксу, они являются высшим выражением марксизма. Нужно еще договориться, разумеется, относительно значения слова «высший». В данном случае он был на стороне Лии, но в целом Лия и Бурелье стоили один другого. Давиду осточертели эти мини-теологические споры, бесконечная болтовня о священных текстах. Ему претила их сектантская узость и, уж конечно, бесчеловечность, истеричность. Взять хоть Лию. Было время — оно давно миновало,— когда Давид пытался приобщить ее к здоровым анархистским идеям, впрочем, физически она тоже его привлекала, но из их свиданий с глазу на глаз не вышло ничего путного. «Скажи, Лия, можешь ты мне объяснить, почему среди троцкистов так много евреев? В чем тут причина?»

Лия кинула на него долгий взгляд и замкнулась в презрительном молчании. Тогда я ей сказал: «Можешь ты мне ответить?» — «Я тебе отвечаю,— сухо сказала она,— и мой ответ таков: во мне такого рода вопросы вызывают подозрение. Я считаю, что в них есть элемент антисемитизма». Я засмеялся: «Ну, знаешь, не станешь же ты подозревать в антисемитизме меня...» Мрачный прокурорский взгляд: «Почему бы и нет? Ты был бы не первым евреем-антисемитом».

Другой раз: прижимаю ее как-то в коридоре, хватаю за руку: «Послушай, Лия, как насчет того, чтобы переспать, КЛЕР¹ ведь не монашеский орден?» Она злобно вырывает у меня руку, испепеляет бешеным взглядом своих холодных глаз фанатички: «Товарищ,— я готова обсудить с тобой публично любой вопрос, заслуживающий внимания, но частные беседы меня не интересуют. Считаю, что этим все сказано». Я и считаю, как она выражается, что этим все сказано. Любопытен все-таки культ мученичества, свойственный нам как расе. Возьмите католи-

¹ КЛЕР — одна из студенческих троцкистских группок.

ков: если не считать мученика Иисуса, им плевать на всех прочих мучеников — будь то пролетарии, слаборазвитые, колониальные народы или люди, брошенные в тюрьму полковниками. Но мы, стоит где-нибудь посадить невинного, принимаемся вопить, выхватываем шпагу из ножен, мы обличаем, мы не даем мирно почивать добрым христианам. Такова уж наша роль в этом мире: мешать христианам заснуть, подобно личинке, в конце спокойной совести.

Давид посмотрел на Лию. После того, как сел Бурелье, заговорил какой-то чувак из КРМ, Лия испепеляла его взглядом. Троцкисты ели друг друга поедом, как скорпионы в банке. Члены КРМ ненавидели членов КЛЕР, те отвечали им полной взаимностью. Правило: секта, которая ближе всех к вашей собственной, — самая ненавистная.

После рупора идей КРМ опять взял слово какой-то эмэл — маленький, тощий, уже лысеющий, скованный в движениях. Путаает чувак. Из невятицы, которую он нес, тем не менее было очевидно, что он не одобряет разболтанного стиля анархов, их отказа от всех форм организации, неразборчивости, с которой они пополняют свои ряды, недостаточного внимания к политической борьбе и чрезмерного — к проблемам пола. Короче, они — лажовые ребята. Они побираются, киряют, дрыхнут до четырех часов пополудни, революция для них начинается только в пять.

Давид встал. Он знал, что это будет сразу замечено благодаря его внешности — высокий рост, красивая морда (пленившая всех этих барышень), черные спутанные кудри, четкий рисунок рта, подбородок с ямочкой и т. д.

— Товарищи, — сказал он, старательно грассируя (он стеснялся своего произношения, выдававшего уроженца VII округа, которое становилось заметным, если он не следил за собой), — в ответ на выступление товарища эмэла, только что «излившегося» перед нами, я позволю себе лишь одно замечание. — Он сделал паузу и продолжал издевательским тоном: — Дело освобождения народов не требует отказа от полового акта. Революция не нуждается в самооскоплении активистов (смех). С другой стороны, мы тут были удостоены очередных заклинаний по поводу необходимости для студентов повернуться спиной к студенчеству и отдать все силы служению массам, возможно, даже пойти работать на заводы. Но, товарищи, — продолжал он все с той же издевкой, — не станем же мы из мазохизма превращать себя в угнетенный класс (улыбки). Студент, который работает на заводе, все равно не находится в положении рабочего. Он всегда некая помесь тайного

агента и священника-рабочего (яростный протест Бурелье). Заткнись, Бурелье, дай мне кончить. Я, впрочем, отмечаю, что отнюдь не все студенты эмэлы пошли на завод, поскольку мы ежедневно имеем удовольствие видеть их в Нантере — они слушают лекции и даже готовятся к экзаменам. Эти товарищи осуществляют дихотомию: часть их мозга служит народу, а часть трудится над получением диплома, который поможет им впоследствии приобщиться к эксплуатации этого народа (крики ярости Бурелье и тощенького эмэла). Товарищи, дали вы мне слово, черт возьми, или нет? Я со своей стороны считаю, что отказ стать орудием эксплуатации, оплачиваемым буржуазией, это прежде всего отказ от того, что позволяет занять доходное место в системе эксплуатации народа: от университетской степени. Поэтому я еще раз предлагаю нашим товарищам эмэлам и товарищам из IV Интернационала присоединиться к активному бойкоту июньской сессии (оживление). Возвращаясь к объекту сегодняшних дебатов («Давно пора!» — закричала выведенная из себя Лия), так вот, я к нему возвращаюсь,— повторил Давид с угрожающим добродушием,— нам, в конце концов, торопиться некуда, нам шлея под хвост не попала, мне, во всяком случае (смех). Я констатирую, что несколько наших товарищей из Национального комитета защиты Вьетнама вчера утром были арестованы деголлевской полицией. С другой стороны, я с интересом констатирую, что Лия Рюби и Бурелье, несмотря на все свои идеологические разногласия, совершенно солидарны с коммунистами и настаивают на том, чтобы мы аб-со-лют-но ничего не делали для освобождения товарищей. Я это констатирую и утверждаю, что наше маленькое заседание семейного совета себя исчерпало.

Он сделал несколько широких шагов к двери, открыл ее и, захлопывая за собой, отметил, что половина ребят поднялась, выразив намерение последовать за ним. Неплохо. Даже и этой узкой группе «авантюризм», как они выражаются, взял верх. У студентов возникло стихийное желание ответить действием на деголлевские репрессии. На штурм административной башни пойдут, конечно, не шестьсот человек, как на Г.А., но нас будет и не один десяток.

II

Давид постучал, открыл дверь. Абделаиз как пай-мальчик сидел за столом, у себя в комнате и читал «Нувель обсерватер». Увидев Давида, он вскочил. Движения у него были стремитель-

ные, ловкие. Парень не тяжел. Господь, должно быть, на каждый день дарил его бифштексом.

— Да садись ты, черт возьми,— поспешно сказал Давид, нажимая ладонью на его плечо.— Что еще за церемонии. Как жизнь? Ты свеж, как роза. И читаешь «Нувель обсерватер»,— добавил он смеясь.— Реакционный журнальчик.

— Это Брижитт — сказал Абделаиз, покраснев. (Ему казалось бестактным упоминать имя Брижитт в разговоре с Давидом.) — Она дала мне мыло, полотенце, я принял душ и побрился. Она дала и бритву тоже.

— С ней не пропадешь,— сказал Давид,— что правда, то правда. Ну садись же. Доволен?

— Да, да. Я доволен,— сказал Абделаиз с сомнением в голосе.

— Не слышу уверенности.

— Видишь ли,— сказал Абделаиз, зажав руки между колен,— я обеспокоен.

— Обеспокоен? Почему?

— Все это слишком похоже на случай с мусульманской больницей в Бобиньи. Там решили, что у меня свинка, и поместили в отдельную палату. Палата была белая, чистая, с железной койкой, столом, стулом, лежать мне не велели, и, поскольку я чувствовал себя не так уж плохо, я сел за стол, открыл учебник арифметики и начал решать задачу. Против моего окна была стена, увитая розами, сияло солнце, я решал свою задачу, смотрел на розы, и мне было хорошо. Быть одному в комнате, тебе не понять этого, Давид, но для нас, алжирцев!.. И я думал: хоть бы у меня в самом деле была свинка, тогда меня оставят здесь. Так вот, все это продолжалось не больше двух часов, стажер вернулся с каким-то стариком, старик меня пощупал и сказал молодому: «Да нет, мальчик, это ошибка, никакой свинки нет»,— и меня отправили в общую палату.

Давид безмолвно смотрел на него. Рабочий! Мало того, рабочий-араб! Во Франции — жертва расизма номер один, Пролетарий из пролетариев, эксплуатируемый в квадрате, из которого выжимают последние соки дважды: там, в слаборазвитом отечестве, и здесь, в сверхразвитой экс-колонизаторской стране. Покупаю у вас вашу нефть по своим расценкам и продаю вам машины по своим расценкам. Это ведет к безработице? Можете посылать своих безработных ко мне, я и им буду тоже платить по своим расценкам. Невыносимо. Давид ощущал в себе праведную, неумолимую ненависть к обществу, она сверкала как библейский огненный меч. Внезапно его собеседник зака-

тился молодым смехом. Давид вздрогнул и уставился на веселое, оживленное лицо юноши по имени Абделаизиз, сидевшего против него. Придется привыкнуть к этой жизнерадостности угнетенного.

— И знаешь, Давид, какую задачку я решал в той палате? Я ее до сих пор помню. Она называлась Тертулиева задача.

— Почему «Тертулиева»?

— Не знаю, так было написано в книге. Тертулий представляет себе веревку, натянутую вокруг экватора (40000 км). Сможет ли он проскользнуть между нею и экватором на своем велосипеде, если эту веревку удлинить на десять метров?

Он засмеялся, потом лицо его вдруг изменилось, черные глаза моргнули, и он сказал своим серьезным певучим голосом:

— А здесь, ты думаешь, все обойдется, Давид? У меня не будет неприятностей? Я смогу здесь остаться?

— Не волнуйся,— твердо сказал Давид, усаживаясь на кровать.— Ты останешься тут, во всяком случае до летних каникул, в этой комнате или в другой, неважно. Это уж моя забота. Здесь, в общежитии, теперь мы хозяева. И если дело пойдет так дальше,— добавил он с гордым и значительным видом,— мы скоро вообще станем хозяевами на Факе. Я не боюсь об этом говорить,— продолжал он с силой,— настанет день, когда на этом Факе, если мы скажем: *«Такой-то курс читаться не будет»*,— он действительно не будет читаться. Мы заткнем глотку реакционными профам.

Абделаизиз смотрел на него. Слова Давида произвели на него сильное впечатление, «реакционные профы» напомнили ему его старых врагов — улемов¹. А нейтрализовать улемов не осмеливался никто даже во времена Бен Беллы.

Раздался негромкий стук в дверь, вошла Брижитт, озабоченная, нагруженная книгами, увидев Давида, она растерялась, покраснела, сказала: «Привет!» с деланной непринужденностью и, преодолев два метра, отделявшие ее от стола, освободилась от своей ноши.

— Это еще что за библиотека?— сказал Давид.

— Книги для Абделаизиза,— сказала Брижитт, точно оправдываясь.

И, вспыхнув, добавила:

— Ну, а как ваше собрание, успешно?

Он молча пожал плечами.

— Как твоя Лия?— сказала она не без яда.

¹ Толкователи шариата — мусульманского религиозного права.

Он посмотрел на нее.

— Это еще что за намеки?— сказал он наконец, нарочито грассируя.— Разве мы женаты? Ты что — рассылала уведомления о свадьбе? Мне, может, и переспать с Лией не разрешается? Откуда эта ревность? Мещанские наклонности?

Брижитт в ярости молчала. Главное, вовсе она не ревновала, в особенности к этой Лии. К этому сухарю скрипучему. Она заговорила о Лии просто так, не думая, чтобы отвлечь внимание. Абделаиз, окаменев от смущения, глядел в пол.

— Да плевала я на твою Лию,— наконец сказала она, сдерживая бешенство.— Можешь спать с кем тебе угодно, мне ни жарко, ни холодно.

Абделаиз покраснел.

— Слава богу!— сказал Давид.

Развалиясь на кровати, откинув голову в спутанных кудрях, вытянув ноги, он старался не смотреть на Брижитт, его душила злость. Проклятые бабы, с ними вечно чувствуешь себя виноватым, это они умеют, перевернут все с ног на голову, выставляют все в ложном свете.

— И, разумеется,— заговорила она,— ты предоставляешь мне те же права?

— Что за вопрос!— Презрительно сказал он.— Ничего я тебе не предоставляю, это твое право, ты им пользуешься!

Он поднял голову, увидел ее лицо и смягчился.

— Ладно,— сказал он, беря ее за руку и притягивая к себе на кровать.— Садись и поставим на этом точку.

Наступило молчание. Давид искося взглянул на Брижитт — шерстяное платье песочного цвета, отнюдь не дешевое, изящно облегалo ее фигуру, а уж облегать было что. Ухоженные блестящие светлые волосы, зеленые глаза, крепкие зубы с незаметными пломбочками,— произведение дантиста из VII округа, который дерет с вас 50000 монет за два дупла. Короче, девочка его круга, она могла бы быть его сестрой, он знал ее как облупленную, у ее отца была вилла с бассейном в горах, повыше Грасса («Побережье, знаете, стало теперь таким вульгарным!»), и любовник ее матери (как же его зовут, этого чувака? Жерар?) владел шале в Швейцарских Альпах, не считая гранитного фамильного замка в Бретани. Каникулы Брижитт проводит в обстановке, напоминающей цветные вклейки «Дома и сада», а когда путешествует, останавливается в роскошных отелях. Она играет в бридж, и гольф (и я тоже), она ездит верхом (и я тоже), а теперь, чтобы оторваться от семьи, поселилась — верх самоограничения — в общежитии с семнадцати лет спит с кем попало. И совершенно так же, как ее матушка в

этом возрасте, решительно ничего не чувствует (но матушка в сорок, после двадцати лет супружеской фригидности, попала в руки умелого любовника). Последний акт комедии: Брижитт — перебесилась и «полюбила» (в кавычках) меня. Иначе говоря, рассчитывает, что через пять-шесть лет я образумлюсь, займу приличное положение в обществе, стану годиться в мужа, в дипломированные производители, и четверо пап-мам, скрестив руки на животиках, смогут насладиться созерцанием прекрасной стройной пары, которая обеспечит им продолжение рода. Давид закрыл глаза и подумал с тоской: что ждет меня через десять лет? Должность, жена, телевизор, крестьянский дом, переоборудованный в модном стиле — балки наружу? Дрянь, не жизнь, и я даже не буду себе хозяином! Брижитт, бедная ты моя лапочка, ты мне нравишься, но в то же время ты мне противна, понимаешь, противна, как мое будущее. Он посмотрел на Абделазица, который сидел в метре от него, глядя в пол. Чудовищно, что я могу так думать, но, в известном смысле, ему повезло, его жизнь по крайней мере не сделана наперед, ему предстоит ее сделать самому.

— Так как же ваше собрание? — сказала Брижитт.

Он пожал плечами.

— Каждый крутит свою пластинку, никакого желания придумать что-нибудь новое. Бурелье хороший парень, но твердокаменный, Лия — та просто опупела. Нет, правда, — продолжал он, подчеркнуто грассируя, — таких, как Лия, только и встретишь что в церковной ризнице, она искренне верит в весь этот бред, узколоба, фанатична (он хотел сказать — фригидна, но вовремя спохватился): настоящая святоша, церковная жаба троцкизма. Лия атеистка? Материалистка? Нет, не дальше, чем Бурелье!

Он перевел дыхание.

— Будь то Троцкий или Мао, для них это всегда господь бог, Библия. Ни шагу за ее пределы. Когда нужно что то решить, как, например, сегодня, они, вместо того чтобы рассмотреть конкретную ситуацию и разработать стратегический план, бросаются к своей КНИГЕ. Что там сказано? Тебе цитируют какую-нибудь строку, толкуют ее, и баста. Истина перед вами, возведена с амвона. Преклоните колени, жалкие людишки!

Произошло нечто удивительное: Абделазиц вдруг расхохотался. Он смеялся до слез, как ребенок. Речь Давида была не совсем понятна, но Абделазиц всегда был за, когда нападали на тех, кто претендовал на обладание истиной, вещая от имени Аллаха.

— Честное слово, я сыт этим по уши,— заговорил снова Давид, забывая следить за собой и переходя на свое изысканное произношение,— других критикуют, а сами поклоняются идолам, создают культ. Как это ни печально, но человек все еще не преодолел религиозную фазу развития. Какой толк ликвидировать одну религию, если на ее место тут же ставится другая? Какая мне разница, тиранят меня именем бога или именем народа, все одно — тирания.

Брижитт онемела от удивления. Впрочем, не так уж это удивительно, определение социализма как тирании, осуществляемой именем народа, ей уже доводилось слышать от отца. Вся разница в том, что папа был против, а Давид все же за, но Давид — пламя, его ум настолько всепожирающе, что мало-помалу он пожирает собственных богов: Маркса, Фрейда, Маркузе, Альтюссера, настанет день, и он сожрет и свою сегодняшнюю веру.

Она снова посмотрела на Давида. Он молчал. Когда рядом были свои, его не тяготило молчание. Вот с чужими или с противниками он рта не закрывал. Как он красив. Лицо тревожное, устремленное вперед, точно выжженное изнутри. В сущности, в нем живет неудовлетворенный, ненасытный дух Фауста. Я восхищаюсь им, но я боюсь его, есть чего бояться. Он вечно недоволен, о чем-то тоскует, не перестает искать что-то, может и вовсе не существующее. Пожиратель книг, газет, печатное слово ему необходимо, как пища, рыщет в библиотеках, обо всем информирован, всегда впереди, боится упустить последний «изм», выброшенный на рынок. В сущности, при всей его ненависти к экзаменам, он-то и есть настоящий студент. Другие — волы: традиционная охалка сена, теплое местечко в стойле, знание, доставляемое пастырями в готовом виде. Давид никогда не успокаивается. В этом смысле он просто невыносим. Ему до всего «есть дело»: «если я молчу, значит, я сообщнику». И пошло, поехало, тут тебе и Биафра, и Вьетнам, и негры, и преступления против человечности, все он взваливает себе на плечи! Он чувствует себя ответственным за все и всегда ощущает свою вину. Внезапно она задохнулась от нежности к нему, ее обожгла мысль, нет, я не хочу выходить за него замуж, раз это против его идей (хотя идеи меняются), но какое было бы счастье навсегда остаться с ним, нет, и это, наверно, слишком... Я его знаю, постоянная пара — это не для него, он почувствовал бы себя почти виноватым, ему следовало бы зваться не Schultz, а Schuld ¹...

¹ Ошибка, вина (нем.).

— Что это за книги?— сказал Давид.

Ну, разумеется! Смешно было думать, что Давид может увидеть на столе книги и не сунуть в них свой нос. Он встал, жадно сгреб книги обеими руками и вернулся на кровать.

— Так, так,— сказал он,— любопытно! «Арифметика» Моржанталя, Эрара и Бутелье для выпускного класса начальной школы. Далее: «Грамматика, спряжение и орфография» для выпускного класса, Берту, Гremo и Вежеле. Что они, всегда, что ли, собираются по-трое, чтобы разродиться учебником? Подозреваю, что двое из троих ни хрена не делают. И краткие руководства из серии «Основы». Ничего не скажешь — судя по заголовку, гордыней автор не грешит. «Основы» в трех тетрадочках небольшого формата, мое «Краткое руководство по истории», мое «Краткое руководство по естественным наукам» и мое «Краткое руководство по географии». И все три принадлежат перу Ж. Анскомба. Ну, этот по крайней мере не ленится.

— Я тебе объясню,— сказала Брижитт.

Он пожал плечами.

— Можешь не объяснять, я все понял, я же не идиот все-таки!

Он схватил «Краткое руководство по истории» и принялся его листать.

— Нет, вы только послушайте, это неподражаемо: «Монтаньяры добиваются ареста жирондистов, начинается террор, массовые казни подозрительных: королевы Марии-Антуанетты, Байи, мэра Парижа, Верньо и жирондистов, Лавуазье...» Ну и мешанина, Лавуазье и Верньо — всех в одну кучу!

— Но это же резюме,— сказала Брижитт.— Всего ведь не скажешь.

Давид покачал головой.

— Не согласен. Достаточно, к примеру, одного слова, чтобы объяснить, почему монтаньяры арестовывают жирондистов. Иначе все начисто лишено смысла. Подождите! Тут есть перлы покрепче! Цитирую: «Робеспьер добился гильотинирования Дантона и Камила Демулена, которые хотели остановить террор. Наконец (обратите внимание, умоляю, на это «наконец!»), 9-ого термидора 1794 года был гильотинирован в свою очередь сам Робеспьер. Это положило конец террору». И конец революции и даже, в недалекой перспективе, конец республике, однако этого тебе не говорят. И учащийся начинает думать, что Дантон и Демулен были хорошие парни с золотым сердцем, а Робеспьер — гнусный тип, купавшийся в никому не нужной крови, которого, слава богу, гильотинирова-

ли «в свою очередь». Вот как учат истории пролетарских сыновей!

Он бросил руководство на стол.

— Ладно,— сказал он, оглядывая Брижитт и Абделазица и протягивая к ним свои длинные руки, точно призывая принять вместе с ним решение.— Что будем делать? Абделазиц, ты хочешь подготовиться к экзамену за начальную школу, так? И сдать его этим летом? Ты записался?

— Да.

— Прекрасно,— энергично продолжал Давид.— Значит, нужно приниматься за дело. У тебя есть два, два с половиной месяца на подготовку. Мы тебе поможем.

Сердце Абделазица забилося от счастья, от безумных надежд. Он обрадовался уже тогда, когда Брижитт сказала: «Я тебе помогу». Но у него все-таки кошки скребли на душе, понравятся ли эти уроки Давиду? И вот теперь Давид сам!.. Что могло быть прекраснее! Жизнь расстилась перед Абделазицом, как зеленый луг, усеянный цветами, внезапно возникший среди пустыни. Аттестат, разряд, у него будет все, он станет квалифицированным рабочим. Перед ним открывалось будущее.

Брижитт увидела, что лицо Абделазица расцвело от счастья, и обрадовалась за него, но в то же время она испытывала горькое чувство несправедливости. Давид находил «вздорным и мелкобуржуазным» намерение Брижитт получить в этом году университетский диплом, а Абделазицу рад помочь, чтобы тот добился аттестата об окончании начальной школы! Два счета, две меры! И все потому, что Абделазиц парень. Да нет же, это глупости. Все дело в том, что Абдель — рабочий. Вот в чем вся штука. Дискриминация наизуворот. Раз он рабочий, он имеет право на свой экзамен! Да что я говорю — рабочий! Он не просто рабочий, он рабочий-араб! Разве я виновата, что я не алжирка? Что меня зовут не Фатьма? Вот увидите, в бешенстве подумала Брижитт, Давид еще сделает из него бакалавра! А почему бы и нет! Лиценциата! А я, если хочу кончить университет, обалдуйка. Брижитт уже открыла рот, но сдержалась. Сцепиться снова после этого дурацкого разговора о Лии, нет, лучше не надо.

— Арифметика и естественные науки у меня в порядке,— сказал Абделазиц и покраснел (Анн-Мари находила у него редкие математические способности).

Брижитт посмотрела на него и повеселела, разом забыв всю свою ревность. Когда он краснел, на него нельзя было смотреть без умиления. Она уже обратила внимание на то, что

его смуглая кожа не краснела, только делалась темнее. Брижитт откинулась назад, прислонилась спиной к стене, сложила руки на коленях и вдруг ощутила, как ей интересно, хорошо в обществе этих двух мальчиков. О, разумеется, люблю я Давида, но Абделаиз для меня уже как брат, я научу его одеваться, этот пуловер с крупным черным рисунком по рыжему слишком прост. Ему, с его цветом лица, нужен светло-коричневый, однотонный, такой, как у Жерара, я попрошу, чтобы Жерар мне его подарил, и пусть себе посмеиваются. («Гляди-ка, ты намерена содержать какого-то парня?») Как бы там ни было, он мне отдаст свой пуловер.

— Короче,— сказал Давид,— остается французский, история и гео.

— Орфография,— сказал Абделаиз,— в прошлом году я писал диктанты, но это быстро забывается.

Давид расхохотался, он был в прекрасном настроении:

— Это забывается, потому что никому не нужно, бессмысленно и глупо!

— Я охотно возьму на себя французский,— сказала Брижитт.

Она была довольна, что может узаконить уроки, обещанные Абделаизу. Давид воздел руки к потолку.

— Великолепно! Я, должен признаться, не силен в «распространенных ошибках».

Он саркастически подчеркнул слово «распространенные». Абделаиз почувствовал облегчение, если не считать более или менее определенного факта, что Давид и Брижитт спят друг с другом, их отношения казались сложными, и ему не хотелось усложнить их еще более. С другой стороны, всякий раз, когда взгляд его падал на белокурые волосы Брижитт, сверкавшие, подобно золотым монетам, сердце начинало биться быстрее. Это его несколько тревожило, потому что Давид был ему братом, и, следовательно, Брижитт была неприкосновенна. Но что решает в жизни сам человек? Работать ему или бездельничать, воровать или остаться честным, послать перевод отцу или сохранить недельный заработок для себя самого, все остальное — смерть, любовь — это, друг, судьба. В два часа — нож Юсефа в нескольких сантиметрах от твоей спины, а в три — Давид открывает перед тобой двери рая, и белокурая румия обучает тебя орфографии.

— А я,— сказал Давид,— натаскаю его по истории и гео.

Брижитт посмотрела на него с беспокойством.

— Не переборщи только с пропагандой. Для экзамена это опасно.

— Положись на меня,— сказал Давид с ликующим видом,— я не подкачаю, все будет в лучшем либеральном стиле левого центра. Просвещение и Республика. Демократия и демократические свободы.

— А я считала, что ты против экзаменов,— съязвила вдруг Брижитт.

Ну вот. Сорвалось с языка. Точно кто-то сидевший в ней заговорил против ее воли. И еще таким тоном, идиотским, мелочным, язвительным, типично бабским.

Давид взглянул на часы, выругался, вскочил и в два шага был у двери. Открывая ее, он обернулся и посмотрел на Брижитт.

— Как? Что ты несешь?— сказал он с добродушным пренебрежением.— Тут нет никакого противоречия. Ты ничего не поняла, лапочка моя! То, что ты сейчас сказала, свидетельствует о твоём первозданном политическом невежестве. Сообрази, не с аттестатом же об окончании начальной школы человек предаёт свой класс и становится сторожевым псом буржуазии. У Абделази́за, если он хочет жить, нет иного выбора, должен же он выбраться из своей навозной кучи.

Дверь хлопнула. Привалившись к стене, опустив голову на грудь, Брижитт с пылающими щеками уставилась в пол. Дважды в течение одного часа так ее унижить и вдобавок перед Абделази́зом. Права она или нет, разве в этом дело. Она помнила только об одном, стоит ей открыть рот, как он тут же на нее набрасывается и стирает в порошок. Она не имеет права думать, выражать свои мысли, быть личностью. Как он жесток, надменен, деспотичен! Стоит мне высказаться, он утирает мне сопли. Комок подкатил у нее к горлу, она почувствовала, что под ресницами закипают слезы. Нет, он не жесток, это неправда, он даже любит меня в известном смысле, ненавидит он мой класс, мою буржуазную фригидность. Он вообще витает в отвлеченных категориях, живого человека он не видит, для него человек — воплощение определенной политической идеи. Я — «ненавистная фригидная мелкобуржуазка», а Абдель — «обожаемый слабообразованный арабский пролетарий». Любовь и ненависть проявляются совершенно автоматически, в зависимости от этикетки. Нет, это не жестокость, скорее фанатизм. А я, идиотка, позволяю попирать себя и даже не смею на него сердиться, потому что испытываю перед ним чувство вины, и все из-за своей фригидности. Слезы потекли по ее щекам, она не вытирала их, не двигалась, не шевелилась.

— Что случилось? Ты расстроена? — встревоженно сказал Абделази́з, склоняясь к ней.

— Нет, ничего,— сказала она, встряхивая головой и глядя в приблизившееся к ней красивое смуглое лицо, робкое, обеспокоенное.

Она протянула руку и погладила его по щеке.

— Пустяки,— сказала она и встала, чтобы взять из сумки носовой платок.— Уже все, видишь. Займемся диктантом, согласен?

— Согласен,— сказал он после минутного колебания.

Непостижимы эти румии. Если ей хочется плакать, почему бы не поплакать вволю? Он послушно открыл новую тетрадь, которую она ему дала, снял колпачок шариковой ручки и приготовился писать. Брижитт шелестела книгой за его спиной. Внезапно он почувствовал на плечах ее руки, золотое руно коснулось его лица, и он ощутил на щеке поцелуй.

— Ты — милый, знаешь,— сказала она дрожащим голосом.

Прекрасные золотые волосы на его лице, губы, легкие, как лепестки, на его щеке. Да, друг, когда судьба добра к тебе, ничто для нее не помеха! Он закрыл глаза: ай, ай, Абделаиз! Куда это тебя приведет?

III

19 часов 30 минут

Профессор Божё, заместитель декана,— крепкий пятидесятилетний мужчина, рост 1.85, широкоплечий, близорукие глаза скрыты за толстыми стеклами очков, нос крупный, расширяющийся книзу на манер мушкетного ствола, губы большие, мясистые (некоторые «латинистки в цвету» его отделения находят их «чувственными»), лицо полное, квадратное, проникнутое серьезностью, решительностью, чувством собственного достоинства, духовный мир не то чтобы простой, но упорядоченный и кодифицированный, как правила латинского синтаксиса,— вышел из корпуса А ровно в половине восьмого (его часы всегда были выверены, он питал слабость к датам, расписаниям, фактам, точным цитатам, к ссылкам на первоисточник; его выступления на Ученом совете, как правило, начинались словами: «Я хотел бы добавить в порядке информации...»). Он только что провел заседание кафедры латинского языка (спокойная уверенность, ясность мысли, неизменная учтивость). Никогда на протяжении всей своей трудолюбивой жизни Божё не подвергал сомнению ни место латыни в потребительском обществе, ни право на существование самого этого общества, ни его экономическую структуру. Явившись на

свет, он нашел определенный порядок, этот порядок уважал, поддерживал, был его частью, свято соблюдал правила игры. Фременкур, разговаривавший в центральной галерее с какой-то студенткой, обернулся к Божё, который быстро прошел мимо, и, улыбаясь, кивнул ему. Божё воротился, чтобы любезно пожать ему руку. Фременкур с трудом делал вид, что слушает чепуху, которую несла студентка относительно невозможности посещать его лекции.

— Но вы же не работаете, вы свободны.

— Да, господин Фременкур, и не работаю, но сказать, что я свободна, было бы неправдой — и т. д.

Фременкур поглядел в спину удалявшемуся Божё. Хотя Божё числился в «реак», у Фременкура были с ним хорошие отношения, он считал Божё человеком порядочным, усердным, хотя и несколько «службистом», но вообще кличка «реак» теперь превратилась в этикетку, которую клеют куда надо и не надо. Для студентов-гошистов, например, даже «Монд» был «реак». Не затевать же в самом деле религиозную войну между профессорами в Нантере, не станем же мы подвергать друг друга отлучениям, проскрипциям, изгнанию в гетто, как это делает Рансе, который мне уже руки не подает, или тот идиот, — да как же его зовут? — который, когда ставит свою машину рядом с моей, смотрит сквозь меня, точно я стал прозрачным.

— Как бы там ни было, мадемуазель, — сказал Фременкур, — посещение лекций на факультете желательно, но не обязательно.

Она почти оборвала его, просто невозможно остановить это словоизвержение. Студентка была маленькая, белокурая, с тонкой кожей и прозрачными глазами; расстегнутый ворот ее блузки наполовину приоткрывал Фременкуру небольшую грудь, не нуждавшуюся в лифчике. Разговаривая, она стыдливо застегивала две верхние пуговицы, но они тотчас, помимо ее воли, снова выскальзывали из растянутых петель. Минутное дело — их сузить, подумал Фременкур. Но ей, разумеется, не до того, голова другим занята.

— У меня, к сожалению множество домашних обязанностей, — сказала девица с добродетельной и высоконравственной миной, в очередной раз застегиваясь.

Фременкур не мог оторвать взгляд от блузки, которая его забавляла и злила. Он хотел поймать механику обнажения.

— Дом отнимает у меня безумно много времени, не остается ни минуты, — продолжала девица, снова вздымая грудь, петли выпустили пуговицы, блузка распахнулась, обнажилась

округлость груди, девица глядела на Фременкура своими голубыми, прозрачными и чистыми глазами.

— Но, мадемуазель,— сказал Фременкур,— поверьте, я насколько не в претензии на вас за то, что вы не посещаете мои лекции. В конце концов,— добавил он улыбаясь, *it's your loss, not mine*¹.— Он взглянул на часы.— Простите, и вынужден вас покинуть, я вспомнил, что оставил перчатки в аудитории.

Подойдя к центральному холлу, Божё увидел, что ему на встречу спешит привратница башни. Она остановилась перед ним, задохнувшись, с безумным видом.

— Господин профессор, студенты ворвались в нижний этаж башни, наверно, они взломали дверь профессорского подъезда, они очень возбуждены и собираются подняться наверх, занять зал Совета.

Чудовищность этих посягательств дошла до привратницы, которая ела Божё преданными глазами. Она, как и служители (но к этому часу рабочий день служителей кончился), отнюдь не сочувствовала протестантам.

— Как хорошо, что вы еще здесь, господин профессор,— продолжала запыхавшаяся привратница,— господин декан ушел домой, и я не могу до него дозвониться.

Божё выпрямился во весь свой рост и расправил широкие плечи, чтобы принять на них груз ответственности. Он, хотя и сожалел о случившемся, но в глубине души испытывал довольно приятное чувство возбуждения и был не прочь в отсутствие капитана встать у руля и повести корабль в столь трудных обстоятельствах.

— Отлично,— сказал он твердым голосом,— пойдете.— И он двинулся вперед широким шагом, привратница затрусила следом.

Дверь, которая вела из холла в нижний этаж башни, была стандартного размера, покрытая сине-зеленым пластиком, она ничем не отличалась бы от всех прочих дверей Факультета, если бы не украшавшая ее сверху белая табличка с черными буквами: «Вход для административного персонала и гг. преподавателей». Божё решительно шагал к этой двери, точно на встречу пушкам. Он обнаружил, что дверь открыта, тщательно осмотрел замок и сказал привратнице, которая, запыхавшись, догнала его:

— Посмотрите, никаких следов взлома, у них был ключ.

Он не делал, впрочем, никаких выводов из этого открытия, таков был факт, он его констатировал. Божё пошел по кори-

¹ Теряете вы, не я (англ.).

дору, привратница, выбиваясь из сил, поспешала за ним. В холле башни собралось сто, может быть, сто пятьдесят студентов. Разгоряченные, красные от возбуждения, они вопили и толкались. В небольшом холле было два лифта, прямо перед ними — выход на лестницу, довольно узкую. Стеклопакетные двери, напротив той, через которую вошел замдекана, выходили в студгородок. Налево от них помещался коммутатор, направо — привратническая.

— Вы можете идти к себе, — сказал Божё привратнице, — я посмотрю, что можно сделать.

В неразберихе и толкучке, в шуме ожесточенной дискуссии приход Божё остался незамеченным. Божё не знал никого из присутствующих, если не считать Кон-Бендита (ни одного из его латинистов здесь, слава богу, не было), не знали и его. Кто такие вообще для студентов декан или его заместитель? Или ученый секретарь? Пустое место! Незнакомцы! Кто из 12000 студентов Факультета знает в лицо декана Граппена? Большинство тех, кто в январе накинулся на него, обзывая «наци», увидели его тогда впервые. В Нантере, как и в Сорбонне, преподаватели были для студентов предельно безлики.

Когда Божё нырнул в месиво студентов, его поразило одно: никто не обращал на него ни малейшего внимания. Его жали, толкали, он был оглушен, ошарашен яростью этой толпы, он почувствовал себя безоружным, морально безоружным перед этими незнакомыми молодыми людьми, незнакомыми вдвойне, поскольку их идеология была ему так же чужда, как если бы они явились с иной планеты. На несколько секунд он растерялся. Потом взял себя в руки. Единственной твердой опорой в этом хаосе было сейчас то, что Божё именовать долгом, а долг его был ясен: ему надлежало остаться здесь, постараться не допустить худшего и как можно скорее уведомить обо всем декана. Расчистив себе плечами путь к лестнице, Божё поднялся на несколько ступенек, чтобы сверху все видеть, и своевременно вмешаться.

Давид Шульц стоял, прислонившись к двери правого лифта. Когда в холл вошел старый седой чувак, Давид проследил за ним спокойным взглядом — это что еще за тип? Фараон в штатском? Проф? Журналист? Или кто-нибудь из администрации? Он склонялся к последней гипотезе, морда у этого типа была не полицейская, прогнившая пресса старых хрычей сюда не посылала (обычно ее представляли молодые проныры), что же касается профов, то в этот час они уже все дома. Как бы там ни было, чиновник он или не чиновник, дело сейчас не в нем, проблема в том, чтобы понять, как действовать

дальше и что это, в конце концов, значит — «оккупировать башню»? Нельзя же в самом деле разбредиться по восьми этажам и допустить, чтобы безответственные ребята распорядились по-своему документами, которые обнаружат в кабинетах? К счастью, спор сосредоточился на альтернативе — остаться ли здесь, в холле, или оккупировать зал Совета на восьмом этаже. Давид увидел, как вынырнула из толпы пылающая шевелюра Дани, и понял, что тот взобрался на стул служителя.

— Товарищи,— сказал Дани своим оглушительным голосом, его плотный приземистый корпус твердо держался на коротких ногах,— никакого авантюризма. Мы заняли башню, мы одержали победу. Это здорово. Мы должны были это сделать, и все, кто сегодня здесь, никогда не забудут, что участвовали в этом. Мы все вместе приняли решение осуществить эту важнейшую акцию в ответ на деголлевские репрессии по отношению к нашим товарищам, и мы довели ее до конца. Так. Теперь некоторые товарищи предлагают подняться на восьмой этаж и занять профессорский зал. И тут я говорю: лично я — против. (Свистки, крики.) Если есть товарищи, которые за, никто не мешает им подняться туда, не дожидаясь, пока мы демократически обсудим вопрос по существу. (Относительная тишина). Я говорю, что я против, потому что такое мое мнение, и я вправе его высказать: подняться на восьмой этаж — значит попасть в ЛДД. (Протесты.) Если тут есть дурни, которые не знают, что такое Ловушка Для Дураков, пусть поднимут руку. (Смех.) Я называю Ловушкой Для Дураков такое положение, когда у вас остается только один путь для отступления, и, если фараоны этот путь перекроют, им легче легкого вас загрести. (Аплодисменты и протесты.) Товарищи, как можно подняться на восьмой этаж? Есть два лифта и лестница. Прекрасно. Является полиция. Что она делает? Отключает лифты и блокирует лестницу. А мы? Как мы унесем ноги? Полезем на крышу? Сиганем, к примеру, с восьмого этажа башни на четвертый корпуса А? Вы смеетесь, товарищи?

Раздались жидкие аплодисменты, и пылающая голова Дани пропала. Он обладал одним бесценным качеством — знал, когда следует исчезнуть.

Впрочем, ясно, что его позиция не находит поддержки у большинства ребят, даже у меня. Давид скрестил руки на груди. Он разрывался между дружескими чувствами к Дани и решительным несогласием с его позицией. Весь день Дани отстаивал минималистские меры. На Г. А. он предложил в каче-

стве ответной акции оккупацию социологического корпуса. Точно мы и без того не распоряжаемся там, как хотим! А теперь, когда Г. А. вынесла решение захватить башню, он хочет обосноваться на нижнем этаже, в холле. Я лично нахожу унижительным торчать здесь в передней, у самой двери, точно мы какие-нибудь рассыльные из магазина. Если ты принял решение захватить ресторан с панорамным обзором, не станешь же ты сидеть в кухне, ребята это инстинктивно чувствуют, Дани умеет преподнести самое робкое решение как отчаянную акцию. В сущности, он ведет себя сейчас, как нередко ведут себя профсоюзные руководители, хотя сам вечно ставит им это в вину: он тормозит стихийную инициативу масс.

Жозетт Лашо, которая несколько часов назад рассеянно слушала лекцию Фременкура, переживая заново давнюю охоту, на которую отец брал ее, когда ей было 12 лет, сейчас поглаживала свои цвета воронова крыла косицы, обрамлявшие лицо, и не отрывала блестящих пристальных глаз от Даниеля Кон-Бендита (она сегодня видела его впервые), с нетерпением ожидая, чтобы он снова взял слово. Нет, красивым его, конечно, не назовешь, он весь в веснушках, толстый, рыжий и грязный, но, когда он говорит, я забываю обо всем этом, я могла бы слушать его часами, он меня завораживает, он так уверен в себе, остроумен, забавен, он затмевает их всех, и, когда он уходит, сразу становится скучно. А манера держаться! Лицо! И эта мощная шея, кудрявая рыжая грива, поворот торса и головы, а главное — глаза, они то мечут молнии, то смеются. Ему весело, он шутник, как мой отец, он наслаждается жизнью, превращает ее в игру.

С жаром заговорил тощий маленький паренек с ввалившимися глазами и судорожными жестами. Он был не согласен с Кон-Бендитом, совершенно не согласен: оседать на первом этаже башни не имеет никакого смысла, следует завоевать и оккупировать ее вершину. Первый этаж принадлежит телефонисткам, привратнице и служителям — короче, людям подчиненным. Вершина башни, зал Совета — это своего рода эквивалент зала Дожей в Венеции. (Горячее одобрение.) Архитектор совершенно не случайно поместил его на верхнем этаже башни, это чудовищное олицетворение господства бонз над студентами, сторожевая вышка концентрационного лагеря, фаллический символ административного подавления. Зал должен быть взят любой ценой. Пусть мы даже оставим там свою шкуру! Пусть нас арестуют, избьют, бросят в тюрьму. Пусть, и даже чем хуже, тем лучше! (Аплодисменты и протесты.)

Давид, наблюдавший за лицом Дани, увидел, как тот улыбнулся, и подумал: есть такое дело — чувак промахнулся, сейчас Дани ухватится за это «чем хуже, тем лучше». У стола служителя началась возня, потом вынырнула огненная грива Кон-Бендита. Целую секунду Дани глядел на свою аудиторию, наклонясь вперед, сжав мощные кулаки на уровне солнечного сплетения, собрав в комок свое коренастое тело, точно вышел на ринг, потом его круглая, рыжая от небритой щетины ряшка раскололась до ушей в улыбке.

— Товарищи,— сказал Кон-Бендит голосом, который легко покрыл шум,— не знаю, является ли башня фаллическим символом, но должен сказать, что лично я не ощущаю в этом символе никакой угрозы своему заду. (Смех.) Возможно, у только что выступавшего товарища задница чувствительнее моей, но это уж его личное дело, мы не станем обсуждать здесь проблемы уязвимости. (Смех.)

Жозетт Лашо прижала руки к губам, она хохотала как безумная. Давид улыбнулся, застыв от восхищения. Черт возьми, ну и наглец этот Дани, сам же первый назвал башню «фаллическим символом», а теперь обернул выражение против противника и посадил того в лужу. И жесток чувак, ну молим, его добродушная округлость обманчива, он безжалостен, беспощаден, никому не дает поблажки.

— Ладно,— продолжал Кон-Бендит с видом простецкого парня,— я не стану полемизировать с товарищем, личная полемика меня вообще не интересует, но, товарищи! Я просто ушам своим не поверил, когда услышал, что «чем хуже, тем лучше», и пусть фараоны нас загребают. Если кто хочет предаться мазохистским радостям, я отговаривать не стану, но я все же удивлен, товарищи, что среди нас имеются чуваки, которых прельщает перспектива быть арестованными, избитыми, кинутыми в тюрьму. Я ничего не имею против монахов и жриц, которые жаждут мученичества, чтобы доказать чистоту своей революционной веры. Я даже готов дать им мое благословение, но замечу при этом, что цель революционного действия — успех Революции, а не личное самосовершенствование с целью обеспечить себе спасение и местечко в раю марксистских героев. Не ошибитесь храмом, товарищи, здесь веруют в счастье, христианская жертвенность — вход рядом. (Протесты, продолжительный шум.) Давайте, наконец, договоримся, товарищи,— продолжал Кон-Бендит, повышая голос и встряхивая своей рыжей гривой, его голубые глаза метали молнии,— какова наша цель? Наша цель — добиться, чтобы власть наложила в штаны, мы вовсе не хотим помочь ей

ущутить нас без всякой пользы для дела и, в частности, без пользы для товарищей, которые уже сидят в тюрьме. (Аплодисменты и протесты.)

Божё стоял, скрестив руки, на третьей ступеньке лестницы и слушал в полном изумлении, как разоблачали административную башню — эту «сторожевую вышку концлагеря и фаллический символ репрессивной власти». В конце концов, при чем тут профессора, если архитектору пришла фантазия воздвигнуть башню и поместить зал заседаний Ученого совета на самом верху? Ни декана, ни профессоров не знакомили заранее с проектом университета, башня была чьей-то архитектурной прихотью, одобренной на стадии проекта каким-то чиновником Министерства национального просвещения в безличной атмосфере канцелярии, без какой бы то ни было предварительной консультации с заинтересованными лицами, которая, впрочем, в ту пору и не представлялась возможной. Зал разместили не слишком удобно, два лифта средней вместительности не могли обслужить его достаточно быстро, вдобавок вначале они часто портились. Если бы нантерским профессорам дано было решать (но в тот момент, когда воздвигали башню, министр даже не подписал еще назначений!), они, без сомнения, предпочли бы собираться на первом этаже. Спасибо еще, что архитектуру не взбрело на ум поместить зал Совета в подвале! Вот бы было разговоров о подземельях Инквизиции и подпольном, замаскированном характере власти!

Жоме стоял с непроницаемым видом, привалившись спиной к стеклянной двери коммутатора, его черные, окруженные синевой глаза смотрели внимательно, густые черные усы сурово перечеркивали лицо, Дениз стояла рядом, вернее, почти прижавшись к нему, так как было очень тесно. Все знали, что Жоме архипротив, но с его присутствием примирились, ограничиваясь репликами вроде: «Ну что, деятель, просвещаешься», или «Каковы успехи ревизионизма?» или в более агрессивном тоне: «Готовишь свой доклад КП?» И он действительно сейчас был занят этим, как он сам не без иронии отметил, встречая издевки стоической улыбкой. В конце концов, эти ослы полягаются и выдохнутся, а КСС завоюет влияние на факультетах, за нами великая партия, поддерживаемая большинством пролетариев. Эти олухи ничего не стоят, достаточно послушать их дебаты! Если вообще можно назвать это дебатами. Незрелость высказываний, путанный дилетантизм, демагогия без конца и края! Эти типчики собрались здесь не потому, что они революционеры, а потому, что они —

буржуазные сынки и в качестве таковых могут с полной безнаказанностью предаваться благоглупостям в своей запаянной колбе. Попробовали бы рабочие заикнуться об оккупации административных помещений у себя на заводе! Вот это было бы серьезно! Где танки? Ко мне, Жюль Мок! Но когда бесятся эти барчуки, им разбитую посуду прощают. Папаша втайне ухмыляется: хорошую кровь сразу видать, породистые щенята должны оставлять следы зубов на креслах. Папаша и сам и свое время освистывал профов. И хотя о таком приискорбном (улыбочка) факте, как оскорбление декана, можно, конечно, только сожалеть, но это все же не чревато последствиями, столь же серьезными, как если бы рабочие прижали какого-нибудь директора.

Асимметричное мальчишечье лицо Дениз Фаржо под соломой коротких, словно взъерошенных граблями волос, дышало счастьем. Толпа притиснула ее к Жоме, она, правда, время от времени делала попытку, чтобы... ладно, ладно, лицемерка, нечего притворяться, да здравствует толпа, если она прижимает тебя к соседу, которому ты отдаешь предпочтение и который находит, что ты отлично сложена.

После Кон-Бендита слово взяла какая-то девушка, но Дениз ее не слушала. У нее в ушах все еще звучал голос Кон-Бендита. Какой блеск, какая хватка, какое чувство юмора у этого парня! Партии не хватает настоящих ораторов. Не считая Дюкло, у нас нет трибунов, людей, умеющих говорить забавно... Умение импровизировать перед слушателями — это азбука, которой должен владеть каждый политический деятель. Вот группачи, например, с какой свободой они говорят! Даже эта девушка — Дениз посмотрела на нее с удивлением, — речь ее течет непринужденно, и, странное дело, она даже не напрягает голоса, и само ее спокойствие заставляет прислушаться к тому, что она говорит, — крупная, широкоплечая, светлоглазая (хотя глаза у нее карие), серьезное доброе лицо бретонки или фламандки, и говорит ровным голосом, солидно. От нее исходит дух какого-то мягкого фанатизма, в сущности куда более устрашающий, чем колкости Кон-Бендита. Окажись в один прекрасный день в ее руках частица революционной власти, она способна все тем же мягким голосом, так же светло на тебя глядя, сказать: «Товарищ, я сожалею, но вынуждена уведомить тебя, что комитет вынес тебе смертный приговор». Дениз попыталась прислушаться. Она готова была биться об заклад, что за этой нежностью голоса стоял крайний экстремизм. Следовало не только оккупировать зал Ученого совета на восьмом этаже, но остаться там, укрепить

свои позиции и сопротивляться до конца натиску репрессивных сил.

— Товарищи,— заключила девушка тем же мягким и невозмутимым голосом: — *Нантер — это наш Вьетнам. Будем бороться да окончательной победы, как партизаны ФНО!* (Горячие аплодисменты.)

Эта последняя фраза была для Дениз точно луч света. Ведь если понимать ее буквально, нелепее трудно придумать. Но понимать буквально не следовало. Для того чтобы пережить трагедию Вьетнама, группачи переводили ее в масштабы своей студенческой жизни в Нантере: Граппен превращался в президента Джонсона, Ученый совет — в Пентагон, отряды республиканской безопасности — в морскую пехоту, а административная башня — в посольство США в Сайгоне. С опозданием на месяц Нантер переживал новогоднее наступление, он шел по следам партизанской группы, захватившей американское посольство, подобно ей, он внезапно нападал на башню, захватывал ее, готовый умереть, но не отступить. Но ведь это все слова. Здесь нет ни пуль, которые убивают, ни танков, ни осколочных бомб, ни казенных пленных. Никто не повторял на самом деле боевых действий команды смертников, их только изображали.

Девушка не успела еще умолкнуть, когда в холл ворвался какой-то студент с вытаращенными глазами и завопил:

— Ребята, полиция! Здесь, у дверей, я сам видел!

Давид Шульц пожал плечами. Идиотизм! У полиции физически не было времени сюда добраться. Он, впрочем, отметил, что «новость» не встревожила никого из стоявших вокруг. Таких психов, как этот, в Нантере десятки, они то и дело сообщают о прибытии фараонов или фашистов из «Запада». Сначала их принимали за провокаторов, но нет, они просто маньяки, чокнутые. Этот тип и в самом деле видел фараонов, потому что ни о чем другом не может думать, и его страх сообщает им материальное существование.

Божё только широко раскрыл глаза, когда студент завопил, что прибыла полиция. Он-то отлично знал, что полиция могла проникнуть в университетские владения лишь по требованию декана или его представителя. Но в данном случае этим представителем был он сам, а он никого не призывал. На Факе царит атмосфера какого-то безумия. Этот студент явно не в своем уме. Нантер стал питательным бульоном для неврастеников. Коллеги все чаще страдают от переутомления, депрессии, навязчивых идей. Студенты тоже, взять хотя бы эту девушку, которая предлагала своим мягким голосом

превратить зал Ученого совета в форт Шаброль. Все это поистине тревожно. Божё попятился назад, поднялся еще ступенькой выше, чтобы стать над толпой.

— Если мне будет позволено взять слово на этом студенческом собрании,— начал он громким голосом,— я хотел бы сказать, что, по-моему, оккупация зала Ученого совета, предлагаемая некоторыми из вас, лишена смысла. Зал Ученого совета — зал заседаний, ничем не отличающийся от всех прочих залов заседаний. В нем нет ничего ни тайного, ни магического, к тому же, как известно, туда вхожи и студенты во время сессий Совместного комитета (насмешливые выкрики, возгласы: «Дутый комитет!»).

Конец выступления Божё потонул в шуме.

— Послушай,— сказала, обернувшись к нему, какая-то девушка,— ты ничего не понял!— Она с презрением глядела на этого пожилого человека, который позволил себе высказаться на собрании молодых. И разумеется, бедный старый чувак попал пальцем в небо. Совершенно отстал. Ни хрена не тумкает в политике. Она добавила:— Мы занимаем башню в ответ на арест наших товарищей из Национального комитета защиты Вьетнама.

— Простите, это до меня дошло,— сказал Божё, несколько удивленный все же, что студентка обращается к нему на ты. Он оглядел ее: высокая, белокурая, развязная, неряшливо одетая, в вылинялых джинсах того же цвета, что и ее глаза.— Я только не понимаю, какая необходимость непременно оккупировать зал Ученого совета. Почему именно этот, а не другой?

Девушка смотрела на него со смешанным чувством. Этот старик ее злил, но ей в то же время было его жалко. Он проявлял добрую волю, он пытался понять.

— Ну послушай,— сказала она почти любезно,— зал Совета — это символ.

Божё сказал:

· Символ чего?

Девушка пожала плечами.

Символ репрессивной власти, ясное дело

В ее голосе звучало нетерпение преподавателя, столкнувшегося с тупицей.

— Если я правильно понял,— сказал Божё,— вы устанавливаете связь между репрессиями властей против ваших товарищей и университетскими властями, заседающими в зале Ученого совета?

— Именно!— удовлетворенно сказала девушка.— Именно так! Ты уловил!

Давид Шульц устал стоять, привалясь к двери лифта, было тесно, жарко, дискуссия не двигалась с места. Ребята тоже устали, это было заметно, по углам начались ссоры, одни хотели говорить, другие им не давали, брали слово известные всем ребята, но их никто не слушал. Веселенькое дело проторчать здесь всю ночь, стоя, как в метро, и дышать к тому же нечем, самые пронырливые устроились на ступенях лестницы возле старика, у которого вид был растерянный,— ничего не понимает, совершенно вне игры, бедняга. Дани, разумеется, исчез. Он гибок, не упорствует. Умеренный даже в своей умеренности. Впрочем, так ли уж он не хочет, чтобы чуваки заняли зал Совета? Его выступление, возможно, просто способ публично умыть руки, на манер Понтия Пилата, поскольку с тех пор, как над его кумполом нависла угроза исключения, он опасается доносов, шпики в штатском, тихарей. Готов поспорить, однако, что, если решение оккупировать зал будет принято, он как бы вопреки своей воле вынужденно окажется там, среди первых, как всегда насмешливый, изобретательный, неистощимый на выдумки. Жоме наклонился, приблизил губы к уху Дениз и сказал приглушенным голосом:

— Они сами не знают, куда идут, но они идут!

Дениз засмеялась, дыхание Жоме щекотало ей щеку, было жарко, от долгого стояния устали ноги, но в остальном она чувствовала себя прекрасно, уютно, вольно, голова была ясной. Она подумала: группачи гробаки. Сочетание слов позабавило ее, она повторила его про себя, но с Жоме не поделилась: он каламбуров не любил. Она вообще не всем делилась с Жоме. Он к группачам относился на 100% отрицательно, со своего рода мужицкой ненавистью к разбитным молодчикам, она же совсем не так. Политически я, разумеется, против, но по-человечески могу их понять.

— Никак не могу пристроить руку,— сказал Жоме,— не возражаешь, если я положу ее тебе на плечо?

Она ощутила тяжесть его теплой лапы и замерла, пронзенная, не в силах выдавить из себя ни слова. Она погружалась все глубже в толщу счастья, как в пласт облаков, которые видишь под собой, когда летишь на самолете. Вот бы махнуть летом в Шотландию на малолитражке, набраться бы храбрости и спросить его прямо. Она безудержно неслась в будущее, тело ее вибрировало, как натянутая тетива лука.

Давид нервничал. Но сути дела, решать, оккупируют они зал Совета на восьмом этаже или останутся на первом, нужно

было на Г. А. Заводить дискуссию о дальнейших действиях в самый разгар операции — это черт знает что, жалкая гово-
рильня, а не стратегия. Если бы вьетнамцы действовали та-
ким образом, америкашки уже давно бы их ликвидировали.
Не говоря уж о том, что дискуссия была не подготовлена,
никто даже не позаботился избрать председателя, который
мог бы вести собрание. Так что положить конец этой нераз-
берихе, поставив на голосовании вопрос об оккупации зала
Совета, было попросту некому. Двое или трое ребят предла-
гали голосовать, но тотчас раздавались вопли сторонников
статус-кво, кричавших, что голосование «преждевременно» и
т. д. и т. п. Вдобавок, «аполитичные» анархи затаили свое «м-
у-у» в восторге, что могут еще усугубить весь этот кавардак.
Короче — хаос, хаос, которому не видно конца, поскольку
из-за усталости никто никого не слушает. В холле то и дело
вспыхивали споры, сопровождавшиеся оскорблениями и вза-
имными угрозами вышвырнуть отсюда. Отвратительно. Ну и
гадюшник. Так и хочется выдать им что-нибудь и смотаться
отсюда.

Но выдал им не он. Где я видел этого чувака? Да на Г. А. с
анархами, он никогда рта не раскрывал, сидел с дурацким
снулым видом, прикрыв веками зрачки, а теперь, смотри-ка,
выскочил на ступеньки рядом со стариком и вопит:

— Товарищи, нельзя же так спорить всю ночь, стоя на но-
гах. В зале Совета есть кресла, кресел хватит почти на всех, я
сам видел!

И тотчас все преобразилось, ребята ринулись к лестнице, а
там старик — ну и ну — встал поперек, расправил плечи, рас-
кинул руки, пытается сдержать поток. Силен старик! Хочет
один остановить сотню чуваков, изображает из себя Сирано.
Есть в этом что-то нелепое, комическое, ведь прямо перед его
носом ребята набиваются в лифты, да и тут, на лестнице, че-
рез две секунды его столкнули, обошли, смели с пути. Они
прут вперед, мчатся наперегонки, кто первым доберется до
кресел на восьмом этаже.

Жоме, не двигаясь с места, обалдело глядел на бешеную
скачку группировок, его правая рука лежала на плече Дениз. Те-
перь для руки места было предостаточно, но от изумления Жо-
ме забыл о ней. Наконец он повернул к Дениз свое широкое
крестьянское лицо.

— Нет, ты видела что-нибудь подобное? — недоуменно ска-
зал он. — Никогда бы не поверил, если бы не видел собствен-
ными глазами. Типичный мелкобуржуазный рефлекс. Верх взя-
ли не доводы разума — комфорт для задниц!

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

I

20 часов

Фременкур, тяжело ступая, направился к стеклянным дверям корпуса Д. Толкнул одну из них, она не открылась. Противно, что никогда не можешь на глаз отличить запертые двери от незапертых. Он постоял, внезапно вспомнил о забытых перчатках, пошел обратно. Как правило, служитель подбирал все, что валялось в аудитории после лекции, но бюро находок было уже закрыто, стоит, пожалуй, заглянуть в аудиторию. Фременкур нащупал в глубине кармана связку ключей: три от квартиры, четыре от машины, пять от Фака, итого двенадцать. Вот он современный человек: тюремщик собственной жизни. Грустный мир, цивилизация затворов. Даже в гробу тебя заколачивают и завинчивают.

Фременкур отпер первую двустворчатую дверь аудитории, затем дверцу шкафчика, где вытянулись в ряд выключатели. Для простоты он нажал по очереди на все кнопки. Ему никогда не удавалось запомнить, которая из них включает свет на сцене. Он отпер вторую двустворчатую дверь и оказался перед ярко освещенным и пустым амфитеатром. Ощущение было странное, гнетущее. Он поднялся по ступенькам на сцену, огромный профессорский стол был пуст, но перчатки валялись на полу, на дешевом красном бобрике подле стула. Он нагнулся и, выпрямляясь, почувствовал, что ему дурно, сел на стул, лицом к амфитеатру, ноги были ватные, поташнивало, кружилась голова. Он откинулся на спинку стула. Голод и усталость, пустяки, сейчас пройдет. Несколько секунд он не шевелился, потом ощутил под мышками струйки пота, ему стало легче, но он сидел неподвижно, расслабясь, экономя каждый жест. Ничего серьезного, должно быть, но в этих внезапных недомоганиях есть что-то пугающее. Отлив крови, пустота в голове, кажется, что умираешь.

Фременкур, полуприкрыв глаза, смотрел на скамьи амфитеатра. Несколько часов назад он сидел на этом самом месте перед двумя сотнями студентов. Подумать только, какая огромная сумма надежд, сил, жизни. Двести юных организмов, молодых мускулов, кожи без морщин, артерий, не пораженных склерозом, а главное,— энтузиазм, порывы, наивная вера, что смерть бесконечно далека. А теперь перед ним пустота, все исчезло — голоса, улыбки, внимательные или рассеян-

ные лица, кокетки, расширяющие карандашом петли на блузке, старательные студенты, которые с муравьиным трудолюбием корпят над конспектами, маленькая калека с печальными глазами в передвижном кресле, две элегантные кошечки, болтавшие в верхнем ряду... И среди всех этих глаз, заинтересованных или безразличных, несколько преданных, посылающих в начале и в конце лекции заверения в своих чувствах. Фременкур положил локти на стол и, как обычно, охватил левой рукой округлость микро, будто ему предстояло сейчас говорить, но в горле у него пересохло. По окончании лекции его всегда охватывало неприятное чувство. Аудитория постепенно пустела, студенты тянулись к выходу, хотелось им сказать: нет, прошу вас, оставайтесь, задержитесь, не будем расставаться, нам нужно еще так много сказать друг другу! Теперь было еще хуже, он почувствовал себя безнадежно покинутым. Эти пустые скамьи, эти столы без бумаг, без книг, без шариковых ручек, которые вечно падают, без пудрениц, без открытых сумочек, без брошенных как попало пальто, без картонных стаканчиков, принесенных из кафетерия и потихоньку опустошаемых во время лекции, действовали на него угнетающе. Двести молодых людей растаяли в воздухе, сгнули, точно над аудиторией пронеслось целое столетие, сметая, как карточные домики, одно поколение за другим, а я сижу здесь, забытый по ошибке, единственный, кто остался в живых. «Какая чудовищная мысль», — сказал Фременкур вслух. Микрофон забыли отключить, и его голос громом раскатился по аудитории. Этот пустой амфитеатр ужасен, он рождает во мне невыносимое ощущение бега времени.

Фременкур оттокнул микро подальше от себя. Он не решился встать, слабость еще не прошла. В 1961-м в Казне, с того места, где я ставил машину, отлично был виден прямоугольный зал с колоннами, который связывал между собой два корпуса Фака. Я вижу его, как сейчас, никогда ни забуду: застекленный с двух сторон, с северной — выходящей на газоны студгородка, с южной — господствовавшей над городом. Студенты прозвали гигантский прозрачный холл «аквариумом» и с двенадцати до двух любили сидеть там, греясь на нормандском солнышке, — они липли гроздьями к стеклу, точно пчелы в экспериментальном улье. Поразительно, как ясно этот образ сохранился в моем мозгу, это — символ их положения. Они изъяты из реальной действительности, помещены в стеклянную клетку и глядят из нее на город. В аквариуме было светло и уютно, от больших радиаторов по обеим сторонам исполинских стекол шло мягкое тепло.

Солнце, если оно появлялось, тоже грело. Студенты были там, за стеклом, под опекой и охраной, их вскармливали, подобно тепличным растениям, не естественными продуктами, а гранулированными удобрениями, их ограждали от слишком резкого ветра, они дышали кондиционированным воздухом, оранжерейным теплом, они вызревали в соответствии с планом, в предписанные сроки, и в конце их либо принимали, либо отбрасывали. Отбрасывали их в случае провала без всякой пощады, как яблоки, не достигшие стандартного размера.

Фременкур выпрямился, кровь быстрее побежала по жилам, он чувствовал, как натягивается, расправляется кожа на лице, как к нему возвращаются жизненные силы. Он подумал: я пришел в себя. Посмотрел на пустые скамьи аудитории — они были пусты, только и всего, и нечего сочинять всякий вздор. Он встал, сошел со сцены своей обычной твердой походкой, окинул взглядом пустой амфитеатр, на этот раз без всяких эмоций, от недавнего тоскливого страха не осталось и следа. В этом отсутствии страха было даже нечто тревожное. Когда я говорю: я пришел в себя, что это, собственно, значит? Что жизнь моя вошла в обычную колею? Что я уклоняюсь от проклятых вопросов? Отгораживаюсь? Нахожу убежище в текучке, как студенты в «аквариуме»? Да нет, хватит искать во всем символы, этому не будет конца. В сущности, я счастлив. В личном плане я даже очень счастлив, но моя педагогическая деятельность перестала меня удовлетворять.

По дороге к корпусу Д он встретил Колетт Граф. Она шла медленно, нетвердым шагом.

— Опять вы! — сказал он.

Она вскинула голову, чтобы ответить, но подождала, пока он подойдет ближе.

— Я могла бы сказать вам то же самое, — произнесла она, узнав его. Он отметил, что вид у нее угрюмый и раздраженный.

— Этот Фак, — сказала она, — настоящая липучка. Приходишь в двенадцать, чтобы прочесть одну лекцию, а освобождаешься в восемь вечера.

Спускаясь по ступеням корпуса Д, она чуть не упала и вцепилась в Фременкура. Он поддержал ее.

— Благодарю.

Он сказал:

— Вы опять забыли свои линзы?

— Почему «опять»?

— Вы их уже забывали в прошлый четверг.

— У вас хорошая память,— сухо сказала она.

Они шагали бок о бок, молча, к стоянке машин для преподавателей. Моросило, поддувал холодный ветерок, освещение было паршивое. Колетт держалась вплотную к нему, должно быть боялась упасть.

— Странно,— сказал Фременкур,— я только что заходил в большую аудиторию корпуса А за перчатками, я их забыл там, и этот пустой амфитеатр нагнал на меня жуткую хандру. Как вы это объясните?

— Стареее.

— Вы просто очаровательны.

Она почувствовала, что краснеет.

— Я хотела вас поддразнить. На самом деле, когда говоришь с вами, о вашем возрасте попросту забываешь.

— Вы о нем забываете, но зато напоминаете мне.

— Напомнили же вы мне о моей близорукости.

— Ах, вот в чем дело!

Он сказал, помолчав:

— Отвезти вас?

— Нет, благодарю, у меня машина.

— Как же вы поведете без линз?

— У меня в ящике для перчаток всегда лежат очки. Но вы,— продолжала она,— можете помочь мне найти мою машину. Не знаю, в какой ряд я ее втиснула.

— Какая она?

— Фиат-850.

— Синяя?

— Да.

— Вот она, у вас под носом. Дайте ключи, я открою.

Сев за руль, она пошарила в ящике для перчаток, вынула очки и надела их. Лицо ее тотчас стало приветливым. Она опустила стекло, улыбнулась Фременкуру и протянула ему руку.

— До свидания,— сказала она.— Благодарю. И не нужно психоаналитических объяснений.

— Чего?

— Того, что я вечно забываю свои линзы.

— Я поищу другие объяснения,— сказал Фременкур.— В качестве первой гипотезы: отвращение к Нантеру? Отвращение к своей профессии? Отвращение к гошистам?

— Да я сама из гошистов,— живо откликнулась Колетт.— Зато вы выдали свои подлинные чувства.

— Товарищ,— сказал Фременкур,— объективный пособник реакции вас приветствует.

II

Выпрямившись на ступеньках во весь свой рост, Божё раскинул руки, преграждая путь волне студентов, которые ринулись вверх по лестнице. Разумеется, остановить их он не рассчитывал. У него была одна цель: продемонстрировать своим сопротивлением недопустимый характер этой затеи. Это был чисто символический жест — так таможенники на границе противятся несколько минут армии вторжения, прежде чем она сметет их своей превосходящей численностью. Решительно, символы играли важную роль во всей этой истории.

Безразличие студентов к его особе снова поразило Божё. Они толкали его, просто не замечая. Они стремились вперед и, молча, не глядя, сметали со своего пути некое материальное препятствие. Они шли вперед — вот и все. Божё пошатнулся под их напором, ухватился правой рукой за перила, удержался на месте. Так. Долг чести выполнен. Когда скрылся последний студент, Божё направился в свой кабинет на втором этаже башни и вызвал по прямому телефону квартиру декана.

Трубку взяла госпожа Граппен. Ее спокойный, мелодичный голос донесся, казалось, из другого мира. К сожалению, муж в гостях, она не смогла пойти с ним, потому что плохо себя чувствует, а в чем дело? Если это действительно очень важно, она поищет телефон друзей, у которых ужинает муж. Божё понял, что должен дать ей некоторые разъяснения. Госпожа Граппен была высокая, элегантная, безупречно красивая женщина. В своих собственных глазах она была не просто супругой декана, отодвинутой в качестве таковой в будни частной жизни: на ней лежала важная общественная задача. Как жена офицера, получившего генеральский чин, становится генеральшей и начинает царствовать в гарнизоне, так и госпожа Граппен хотела бы, в качестве деканши, вести твердой рукой по стезе добродетели любезное стадо профессоров и профессорских супругов.

— Мой муж,— сказала, наконец, госпожа Граппен,— ужинает у Пьера Лорана¹.

Номер Пьера Лорана был Божё известен.

— Тысяча благодарностей, дорогая госпожа Граппен,— он рассыпался в любезностях. Несмотря на нервозность обстановки, Божё не упустил ни одной из формул вежливости. Он был человеком педантичным и никогда не обрывал фразы на полуслове.

¹ Крупный чиновник Министерства национального просвещения. — *Прим. авт.*

У Пьера Лорана тотчас подозвали к телефону Граппена.

— Я не обрадую тебя (в этом тыканье не было ничего революционного, просто декан и его заместитель были давным-давно знакомы).

Граппен выслушал, задал несколько вопросов, внешне он владел собой, но при всей его выдержке голос выдавал затаенную горечь. С тех пор как в январе студенты набросились на него, обозвав «наци», что-то в нем надломилось. За этим инцидентом последовала травля самого гнусного пошиба, студенты по очереди звонили ему ночью домой и, пользуясь анонимностью телефонного разговора, осыпали бранью. В нем самом, впрочем, шла внутренняя борьба. Либерал по убеждениям, он был в то же время требователен и резок даже с коллегами. Со студентами дело обстояло еще хуже: для них он был воплощением репрессий. Они все равно никогда не простят ему, что он призвал фараонов, когда ребята в 1967-м вторглись в женский корпус. По иронии судьбы Граппен, человек левых взглядов, оказался во главе ожесточенного большинства, во главе «версальцев», которые требовали принятия «решительных мер по наведению порядка». Он сидел между двух стульев, не в силах примирить свои взгляды и свой темперамент, свои политические убеждения и требования большинства. На министра он тоже по-настоящему не мог опереться. Тот сам колебался между суровостью и снисходительностью, с одной стороны, одобряя меры, принятые деканом в 1967 году, когда, по мнению министра, с помощью полиции была спасена добродетель студенток, с другой — порицая Граппена за то, что декан в январе 1968 года призвал в Нантер полицию для собственной охраны. Это сбивало с толку. Министр Миссоф спустил Кбн-Бендиту издевательскую выходку на открытии бассейна, а министр Пейрефит находил достойным сожаления, что декан прибег к силам общественного порядка, когда на него напали студенты. В этой заварухе Граппен, превыше всего ставивший порядок, чувствовал, что почва ускользает у него из-под ног. Он переживал трудную пору. На Ученом совете он хранил молчание и выслушивал, не реагируя на них, диатрибы «версальцев». Он не предлагал никаких мер, казалось, он во всем разочаровался и совершенно сломлен.

Пока Божё излагал ему ситуацию, Граппеном все больше овладевала тревога. Он опасался двух вещей: 1) что студенты примутся громить кабинеты и уничтожать архивы; 2) что они надолго засядут на восьмом этаже, забаррикадовавшись и превратив башню в форт Шаброль. Этого никак нельзя было

допустить. Это было слишком опасно. К тому же, коль скоро все смутьяны собрались сейчас там, в зале Ученого совета, почему бы не воспользоваться случаем и не захватить их всех скопом, предав гражданским властям?

Однако Граппен предложил эту «твердую» меру не слишком решительно. В сущности, она его не привлекала. Ему претило «снова» призывать полицию. Газеты и радиостанции по всей стране не преминут ухватиться за эту историю. Он помнил о сдержанном неодобрении министра. Божё почувствовал эти колебания. Он и сам разделял их.

— Прежде всего,— сказал он Граппену,— это явная провокация. Бунтовщики только и ждут появления полиции; призвать ее — значит сыграть им на руку. К тому же помещению пока ничто не угрожает, погрома нет, сотня студентов в зале Совета, это еще не бог весть какое преступление. Пока они ничего не ломают, пусть себе, считаю я, отведут душу в профессорских креслах. Тем более что в их намерения отнюдь не входит, готов побиться об заклад, превращение этой оккупации в постоянную. Мы ничего не теряем, решая выждать. Если они не очистят зал на рассвете, у нас еще будет время принять меры. Я,— добавил Божё,— останусь здесь и буду наблюдать за развитием событий, через час я тебе снова позвоню.

Граппен согласился, на время и в порядке компромисса отдавая таким образом «твердые» меры, предложенные им сначала.

Повесив трубку, Божё вспомнил, что как раз сегодня Парижский оркестр дает большой концерт в аудитории Б. Он решил, что пойдет послушать музыку, если революция, затеянная студентами, оставит ему несколько свободных минут.

Между кабинетом и лифтом Божё перехватил молодой человек лет тридцати, который вежливо представился, однако впоследствии Божё так и не мог припомнить, был ли тот ассистентом или аспирантом немецкой кафедры.

— Господин профессор, я хочу поставить вас в известность,— сказал германист,— у нас ужасное несчастье, у профессора Н... тяжелый сердечный приступ. Мы в большой тревоге и вызвали врача.

Профессор Н... был немец, преподаватель Кёльнского университета. Граппен пригласил его в Нантер прочесть курс лекций германистам и, для того чтобы не утомлять гостя поездками в Париж, предоставил ему служебную квартиру на шестом этаже башни.

— Он в опасном положении?— спросил Божё.

Собеседник промолчал, они переглянулись.

— Все это весьма огорчительно, — заговорил снова замдекана. — Неужели его до такой степени потрясла эта буча на первом этаже?

Германист покачал головой:

— Не думаю. Я был с ним, когда ему стало плохо, на шестом этаже почти ничего не было слышно. Но сам профессор Н... видит причины своего сердечного заболевания в прошлогодних студенческих демонстрациях в Кёльне.

— Что ж, — сказал Божё, — нам есть о чем задуматься! Если события будут развиваться в таком темпе, мы все тоже станем сердечниками до конца учебного года. И подумать только, что этот несчастный, возможно, и поехал в Нантер для того лишь, чтобы отдохнуть от Кёльнских студентов! Попросите врача, чтобы он сообразовался уделить мне несколько минут после того, как осмотрит больного. — Они помолчали. — Я полагаю, он не транспортабелен, во всяком случае сейчас?

Германист покачал головой.

— Думаю, что нет, но, разумеется, этот вопрос решит врач.

— Пока что, — сказал Божё, — нужно бы порекомендовать революционерам в зале Совета, чтобы они не слишком шумели. Не возьмете ли вы это на себя?

У Божё был позитивный ум, воображение он держал в узде и к юмору был не слишком чувствителен, но даже он ощутил невольный комизм в поручении, которое дал германисту. Революцию просили не шуметь. Впрочем, в этот вечер параллельный ход событий, никак не связанных одно с другим, рождал у него ощущение абсурда. На восьмом этаже студенты символически захватили власть, рассевшись в креслах бонз. На шестом — одинокий человек боролся со смертью. А на первом множество студентов и немало профессоров, ведать не ведавших о собственном ниспровержении, приобщались совместно к культу классической музыки.

III

Завладев креслом, Жозетт Лашо погладила обеими руками кончики своих черных как смоль косиц и окинула зал сверкающими глазами. Клевая штука, этот зал. Огромный прямоугольник, длинные стеклянные стены, прикрытые прозрачными занавесями. В центре — гигантский овальный стол, великолепный, полированный, вырезанный в центре, как кольцо. Полсотни кресел — вокруг стола и в два-три ряда вдоль стен. В глубине зала, против двери, два серванта красного дерева,

стол, покрытый стеклом, несколько глубоких кресел, нечто вроде гостиной. Блеск. Дискутируй себе со всеми удобствами, поглядывая сквозь прозрачные занавеси на сверкающие огни Нантера и Парижа.

Для нее это был вечер открытий, потрясений, удивительных приключений, она вдруг осознала свое невежество, свою неосведомленность. Например, она до сегодняшнего вечера даже не слыхала о НСПВШ. Уже на Г.А. сегодня днем некоторые выступления, я считаю, помогли мне сделать огромный шаг вперед. А сейчас этот штурм, наступление, борьба. Профы-прогрессисты, даже Фременкур, недооценивают действия. Раньше Фременкур был ее великой любовью, он мне казался таким забавным, полным жизни, презрения ко всяким установлениям, «истэблишменту», но и он, в сущности, одержим профессорской манией: ему непременно нужно проанализировать все проблемы в их взаимосвязи, а после такого рода анализа обнаруживается, что нет необходимости в действии. Когда я сегодня сообщила ему о предстоящей оккупации башни, он только рассмеялся. Я увидела, что он не принимает моих слов всерьез, и попыталась объяснить ему все значение этой штуки, он меня выслушал, как всегда, не перебивая, а потом сказал: «Но поймите, подобная акция имела бы смысл только в том случае, если бы вы действительно взяли власть в свои руки. Однако, как вы сами отлично знаете, это исключено, вы не можете учредить в Нантере прелестный социалистический рай посреди капиталистического ада. Надо все же отличать символический акт от акта реального.— Так как я молчала, он продолжал:— Например, когда Коммуна сносила Вандомскую колонну, это и в самом деле был, как говорит Лефевр, «праздник», то есть акт чисто символический, ребяческий и никчемушный, он, правда, позабавит тех, кто его совершал, но буржуазии не нанес ни малейшего ущерба. Напротив, захват золота, хранившегося во Французском банке, который Коммуна, увы, не осуществила, был бы как раз реальным революционным актом».

Я смотрела на него. Я была ужасно разочарована. У меня даже горло перехватило. Потом я сказала: «Значит, вы против таких акций, как сегодняшняя?» Он покачал головой: «Как выражение протеста в рамках студенческого движения она вполне допустима, но не задавайтесь, вы не партизаны. Настоящая революция, товарищ студентка (ухмылочка), это не праздник и не игра...» Тогда я разозлилась и сказала: «Я замечаю, что с вашими анализами никогда не сдвинешься с места, вы, в сущности, всегда против, ваши рассуждения всегда де-

мобилизуют». Я была довольна, что вставила это слово, я его слышала на Г.А., в обед. Но он только пожал плечами: «Когда человек пытается напомнить скромные истины людям, которые тешат себя иллюзиями, его всегда обвиняют в том, что он демобилизует». Я смотрела на него, я чувствовала, что он не прав, но почему он не прав, понять не могла, и вообще — попробуй поспорь с Фременкуром! Он подавляет своими доводами. Даже противно. Я молчала, он опять заговорил. «У студентов-гошистов большая сила, но они распыляют ее попусту, потому что строят свою политическую борьбу на имитации, а политический анализ сводят к ребяческим аналогиям: де Голль — Франко, отряды республиканской безопасности — войска СС, Граппен — наци. А Граппен, между прочим, ведь отнюдь на наци! Он, конечно, и не левый, каким до сих пор сам себя считает. Он либеральный консерватор, либеральный, как и наш режим, в котором нет ничего нацистского. Нет, Жозетт, нет! Наш строй — нечто прямо противоположное нацистскому, ибо нацизм ликвидирует оппозиционеров, а либеральный капитализм их нейтрализует. Сила либерализма как раз и состоит в его мягкости, в его каучуковости, в его тактике амортизации. Вы протестуете, а режим вбирает в себя ваш протест». Ну, тут-то я уж не могла смолчать, я его оборвала, я ему сказала: «Как раз насилие, направленное против капиталистического общества, — единственное, чего это общество не может вобрать в себя». Он воздел руки к небу: «Но это ложно, это архиложно, милый мой попугайчик, даже если это и изрек сам Кон-Бендит! Система вбирает в себя и насилие. Стратегия либерального капитализма в этой области отлично известна. Она состоит как раз в том, чтобы обратить насилие оппозиции в свой капитал и запугивать им средние классы, укрепляя с помощью этого страха свою власть».

Когда Фременкур сказал это, меня охватило мерзкое чувство бессилия и отвращения. Я чуть не заплакала и сказала: «В таком случае, господин Фременкур, если вам поверить, мы ничего не можем сделать, они слишком сильны, мы обречены на поражение». Он пожал плечами: «Ну, ну, не падайте духом, нужно продолжать разъяснительную работу с людьми». Я ушла, я даже не попрощалась, щеки у меня горели, он был мне противен, он деморализовал меня. Продолжать разъяснительную работу! А тем временем америкашки будут поливать напалмом и бомбить осколочными бомбами вьетнамских крестьян! Нет, это гнусно, нужно действовать во что бы то ни стало, нужно что-то делать, бороться на стороне этих несчаст-

ных людей. Я на 100% одобряю акцию НКВ против «Американ экспрес» и на 100% одобряю сегодняшнюю акцию, даже если участие в ней будет мне стоить стипендии. Правая рука у нее дрожала, она намотала кончик косицы на указательный палец, в ее блестящих глазах появилось что-то дикое, мурашки побежали по спине, она подумала, вот сейчас явятся фараоны, будут меня оскорблять, бить, бросят в тюрьму. Ей стало страшно, но в этом страхе было что-то возбуждающее, она страдает за то, что боролась бок о бок с вьетнамскими братьями. Она положила руку на стол, выпрямилась в своем кресле и посмотрела на товарищей, сидевших вокруг. Тоскливый страх исчез. Она почувствовала, что ее жизнь обрела смысл.

Усевшись в кресло, Давид Шульц заметил в двух метрах от себя Дани. У этого типа гениальная способность, он исчезает и появляется внезапно, просто невероятно, причем возникает он именно тогда и там, где это необходимо, в данном случае — в самом конце длинного овального стола, у двусторонней двери, — отличная стратегическая позиция, которая, с одной стороны, позволяет ему выступать так, чтобы все его видели, а с другой — обеспечивает возможность смыться в мгновение ока, если понадобится. Как и можно было предвидеть (я лично это предвидел), он тут как тут — рыжая круглая ряшка, рот до ушей, жесткие насмешливые глаза, сидит веселый, целеустремленный и за словом в карман не полезет. В последнюю минуту он взял в свои руки операцию, от которой сначала сам же отговаривал. Он мог бы сказать о студентах, как Уолпол говорил о своих парламентариях: «Должен же я за ними следовать, раз я их вождь». Дани завопил бы от возмущения, услышь он от меня это слово — вождь, — «я, Кон-Бендит, всего лишь рупор идей, громкоговоритель и т. д.». Но тут, пожалуй, очко в пользу Брижитт. А что, интересно, делает сейчас Брижитт? Давид почесал затылок, запястье, потом, наклонясь, икру, более чем рассеянно прислушиваясь к дискуссии, которая шла за столом. Вот дерьмо, что я, ревную? Только этого не хватало, грязная мелкобуржуазная пошлость, пусть себе Абдель спит с нею, положил я на это (даже мысленно он нарочито грассировал). Это даст Брижитт возможность провести сравнительный анализ эротических приемов евреев и арабов, ставлю на евреев — ну и шовинизм! Ни на кого я не ставлю, она все равно ничего не чувствует, эта шлюха. Да во-все Брижитт не шлюха, ты сам знаешь, она прямая, честная, искренняя, хорошая, замечательная. Мое единственное серьезное возражение против нее — мой собственных страх, что все это мало-помалу приведет к нашей женитьбе.

За спиной Давида раздались ругательства, сердитые возгласы. Он обернулся. Длинный бородач, всклокоченный и грязный, растянулся во весь свой рост на полу, загораживая проход студентам, которые разыскивали свободные кресла.

— Послушай, чувак,— сказал Давид,— можешь ты мне сказать, что ты тут делаешь?

Бородач приоткрыл один глаз и с презрением оглядел его:

— А тебе какое дело, дуб?— сказал он хриплым голосом.

— Возьми «дуба» назад,— сказал Давид,— или я дам тебе в морду.

Бородач открыл оба глаза:

— Бери назад,— сказал он своим сиплым голосом забулдыги. И добавил с удовлетворенным видом:— Видишь, я трус.— Он блаженно улыбнулся в бороду и продолжал еще самодовольнее:— Я трус, развратник и бездельник. Короче,— он поднял вверх правую руку,— законченный образчик *homo sapiens*.

Ногти на руке были длинные, черные, сама она — красная и грязная.

— Послушай, чувак,— сказал Давид,— я снова спрашиваю, что ты тут делаешь на полу?

Бородач с важностью взглянул на него.

— Я свидетельствую,— сказал он сипло.

— Свидетельствуешь? Что ты свидетельствуешь?

— Я свидетельствую, что человек не создан для прямохождения.

Давид расхохотался.

— А тебя не раздражает жизнь на уровне ступней?

Бородач снова поднял правую руку.

— Знай,— изрек он нравоучительно,— ступни человека стоят его головы, а голова стоит зада, и обратно.

Жоме и Дениз удалось найти два кресла у стены во втором ряду, они сидели молча. Сейчас было не время привлекать к себе внимание зала, шла чистка. Первым турнули парня с «кодаком» на груди. Группы были сверхчувствительны к фотоаппаратам. Они утверждали, что по центральной галерее Нантера разгуливают шпики в штатском и снимают их, гошистов, для своей картотеки и черных списков, об этом якобы сообщил Лефевр на Ученом совете. Парень кричал, что вовсе он не легавый и даже не журналист, а такой же студент, как и остальные, но все было тщетно — его выгнали. Потом пришла очередь молодчика из НССФ, его спросили, какого черта он тут ошивается, если он член реакционного профсоюза? Он, не без мужества, ответил, что пришел с ними поспорить. Подоб-

ные претензии вызвали всеобщее негодование. Еще чего! Много он о себе понимает, этот чувак! Кто это станет дискутировать с реаком! Вон отсюда, фашист! Жоме понял, что подошел его черед, когда к нему обратился один из крикунов, которого он не знал.

— Я здесь не в качестве члена КСС,— сказал Жоме своим твердым, спокойным голосом,— я здесь сам по себе.

— Нам тут шпионы ни к чему,— сказал тот.

— Заметь, что, если явится полиция,— сказал Жоме,— меня заметут так же, как и тебя.

— Ну, это не совсем так,— сказал крикун,— тебе достаточно будет им сказать, что ты из КП, и тебя тотчас отпустят.

Жоме улыбнулся.

— Ну как же, конечно, полиция в нас просто души не чает. Вспомни-ка метро Шаронн.

Парень посмотрел на него с сомнением, колебался, но замолчал. Он только недавно приобщился к политике и не знал, что произошло у метро Шаронн.

Давид Шульц отвернулся от парня, растянувшегося на полу, он одобрял грубость языка как здоровую защиту против буржуазного лицемерия, но такого образа жизни не одобрял. Ему не о чем было говорить со всякими бродягами, лежебоками, наркоманами, «аполитичными» анархами, которые примазались к обозу Революции, чтобы позабавиться или тянуть свое «м-у-у». Как раз в этот момент два-три парня, обследовав содержимое сервантов красного дерева в глубине зала, вернулись к столу со стаканами, подносами, бутылками содовой и кока-колы.

Профессорская роскошь, выставленная на всеобщее обозрение, была встречена возмущением, криками. Эти бонзы ни в чем себе, в сущности, не отказывали, они монополизировали самый клевый зал Фака и, развалясь в удобных креслах, услаждали свои глотки, потягивая из тонких стаканов. Один из инвентаризаторов, воспользовавшись этой волной враждебности, громко заявил, что стакан, который он держит в руках, «будет потрясно выглядеть» у него в комнате. Эта декларация не пришлась по вкусу. Одно дело разоблачать барские замашки профов, другое — тырить у них барахло, марая достоинство Революции. Давид уже готов был вмешаться, когда поднялся Тарнеро, высокий, тонкий, красивый, черноглазый. Тарнеро был одним из самых стоящих ребят в общаге. Он мне нравится. Разумеется, теоретическая база у него слабая, и порисоваться он любит, но как организатор-практик он очень полезен. И забавен. Он считает, что на Факе скуч-

но, что ребят нужно как-то развлечь, и вот в один прекрасный день появляется на пороге кафетерия вместе в каком-то парнем из Школы изящных искусств, оба в плавках и с зонтиком. В этом весь Тарнеро. Он ненавидит всякую скуку, дрянь, все, что пропахло нафталином. Тарнеро встал, он был в бешенстве.

— Ничего отсюда взято не будет,— громко сказал он,— ни одного стакана или подноса, и если есть люди, которые этого не понимают, давайте кончать всю историю, я, во всяком случае, решительно отмежевываюсь от такого рода актов — это хулиганство и детские выходки, мы здесь не для того, чтобы воровать плевательницы, мы проводим серьезную политическую операцию, и, если есть чуваки, до которых это не дошло, пусть они очистят помещение.

Раздались почти единодушные аплодисменты и яростные крики: «Вон, вон!» — в адрес инвентаризаторов. Один из них попытался было перейти в контратаку и в свою очередь разоблачить «мелкобуржуазный рефлекс уважения к частной собственности», якобы руководивший Тарнеро, но его голос утонул в возмущенных воплях. Тогда парень заявил, что ему все это отвратительно и он навсегда покидает эту банду кретинов, что он и осуществил, сопровождаемый своими единомышленниками.

— Послушай,— сказал Давид лежащему парню,— не отправиться ли тебе следом за твоими друзьями?

Бородатый приоткрыл один глаз.

— А на что мне стакан?— сказал он своим сиплым голосом,— вино я пью прямо из горлышка, а зубы не чищу.

— Нет, они просто трогательны, эти группачики,—дохнул Жоме в ухо Дениз,— образование, которое дают им профы, они отмечают, но инстинкту собственности остаются верны: начнешь с яичка, доворуешься до кобылы.

Эта ирония обозлила Дениз, ей не нравилась неизменная враждебность Жоме по отношению к гошистам.

— Реакция правильная, разве не так?— сказала она агрессивно.— Они не хотят марать руки.

— Конечно, конечно,— неохотно согласился Жоме.

Она посмотрела на него: вот он сидит тут, солидный упрямый, непоколебимый, со своей широкой крестьянской рожей, перерезанной черными усами. Она подумала в неожиданном приливе нежности: это — Большой Жоме, но я не собираюсь во всем разделять его мнение только потому, что я его люблю. По сути дела, в отношении Жоме к группачикам есть тот же порок, в котором он упрекает их: сектантство. А мне

как раз нравится, что они между собой действительно дискутируют.

Не успел выйти из кабинета Божё, германист, как пришел Ривьер. Это был маленький, тощий и уже лысеющий человек, которому его обязанности — он был ученым секретарем Фака — придавали холодный и озабоченный вид, точно жизнь, если смотреть на нее с высоты его административного бюста, не заключала в себе ничего, кроме самых нудных хлопот.

— Вы, конечно, в курсе, — сказал Божё.

Ривьер печально кивнул, да, да, он был в курсе (одной заботой больше), он потому и остался, что узнал о вторжении, больше всего он опасался разгрома архивов и запер все двери на два оборота.

— У них что, есть отмычка? — спросил Божё. — Как они вошли в зал Совета?

— Им не пришлось взламывать дверь, — ответил Ривьер, — она была заперта на один оборот, а когда эти двери заперты на один оборот, их достаточно потянуть к себе немного сильнее, и они открываются. Двери и замки никуда не годятся, архитектор не предвидел, что мы в один прекрасный день окажемся на положении осажденных.

Они помолчали, глядя друг на друга.

— Как мы поступим? — продолжал Ривьер со своей всегдашней холодно-озабоченной миной.

Божё недоуменно развел руками:

— Я позвонил декану. Выждем. — Он резко поднялся, точно отвергая этим движением позицию выжидания, которую сам же рекомендовал Граппену. — Пойду загляну к этим господам, вы со мной? Это, должно быть, не лишено интереса.

Войдя в зал Совета, Божё был поражен упорядоченностью дебатов. Какой поразительный контраст с гамом и неразберихой, царившими на нижнем этаже башни всего несколько минут назад. Студенты выбрали председателя; который занял обычное место Граппена в конце стола. Мальчик отлично справлялся со своим делом, выступавшие послушно соблюдали очередь, предварительно испросив слово, шум был минимальный, ораторов почти не прерывали. Подобно людоедским племенам, которые, съев сердца самых мужественных врагов, тотчас ощущают прилив мужества, студенты, усевшись в кресла профессоров, казалось, позаимствовали у них методичность, серьезность, дисциплину. А может, на них успокаивающе подействовали роскошь зала, просторные окна, красивые занавеси, серо-синие кресла, величественный овальный стол.

Ни рост, ни возраст Божё не позволяли ему остаться незамеченным на студенческом собрании. Он и не пытался, впрочем, прятаться. Скрестив руки на груди, он встал справа от двустворчатой двери, неподвижный, бесстрастный, глаза его были неразличимы за толстыми стеклами очков. Жоме, заметив его, подумал: старику не миновать изгнания, они уже выдворили псевдорепортера, студента из НССФ и любителей поживиться, они чуть не вышвырнули меня самого, короче говоря, совершенно ясно, что ассамблея стремится обрести единство, изгоняя чуждые элементы. Она не потерпит этого старика, даже если он рта не раскроет,— его уши здесь лишние. В ту же минуту поднялся Дютей, слышавший адъютантом Кон-Бендита (этот термин «адъютант» привел бы заинтересованное лицо в негодование), у него были очки книгочeya и гладкое отроческое лицо с обезоруживающими ямочками. Но в разрез со своей внешностью пай-мальчика, а возможно, и в порядке ее компенсации, Дютей представлял в своей группе самое твердокаменное и агрессивное направление.

Не сходя с места и сверкая глазами за стеклами очков, Дютей заговорил, даже не попросив слова. Он обратился к Божё.

Как это обычно случается с историческими фразами, единого мнения о том, какими словами обменялись Дютей-Мирабо и Божё-Дрё-Брезе не существует, показания свидетелей и действующих лиц расходятся. Божё слышалось: «Опять эта развалина». До Жозетт Лашо долетело: «Чего ему тут нужно, этому ископаемому?» (Сначала она была шокирована, а потом почувствовала глубокое удовлетворение от такого рода мстительного попра́ния пожилого человека.) По другим свидетельским показаниям, Дютей в своей инвективе зашел не так далеко и сказал только: «Опять этот старый хрыч».

Божё, на которого обратились все взоры, ничем не выдал волнения, он опустил руки и сказал спокойным, доверительным тоном, в котором едва уловимо ощущалась профессорская сноровка:

— Поскольку речь идет обо мне, я позволю себе взять слово. Я — Божё, профессор латыни в этом учебном заведении. Я не считаю, что мое присутствие среди моих студентов неуместно.

Эти слова и вид, с которым они были произнесены, произвели на ассамблею неплохое впечатление. Вообще-то выкрик Дютеля сочли забавным, но бессмысленно-оскорбительным. Согласие Божё дать разъяснения расположило в его пользу. Но, с другой стороны, Божё, по собственному призна-

нию, был бонзой, а бонзам здесь было не место (никто даже не заметил иронии подобного соображения в этом зале). Кто-то без всякой враждебности сказал с места, даже не повышая голоса:

— К этому чаду все профессора уже уходят домой, почему вы здесь?

— Я ассессор,— сказал Божё.

Студенты переглянулись, раздались вопросы.

— Что? Ассессор? Что такое ассессор?

— Ассессор,— сказал Божё,— заместитель декана, в отсутствие декана я его замещаю, и поэтому я здесь, я отвечаю за материальную часть, и пришел взглянуть, не поломано ли что-нибудь, все ли идет нормально.

Божё говорил с легкой улыбкой, точно не придавал своей миссии наблюдателя серьезного значения, но его последние слова разрушили положительный эффект первых. В качестве представителя Граппена Божё также представал в зловещем полицейском ореоле, окружавшем личность декана.

— Ну что ж,— сказала какая-то девушка с едва скрытой иронией,— теперь, когда вы убедились, что все в целости и сохранности и все идет нормально, вы можете спокойно удалиться.

Раздался смех, но Божё не тронулся с места и снова бесстрастно скрестил руки на груди. Он не собирался оставаться в зале Совета навечно, но не мог также позволить, чтобы его выставили за дверь каким-то насмешливым замечанием.

Эта статуя командора начинала тяготить студентов. Лично против этого профа они ничего не имели, но его присутствие явно наносило ущерб суверенности ассамблеи.

— Я не вижу никаких оснований,— снова бросился в яростную атаку Дютей,— чтобы при наших дебатах присутствовал представитель декана. Мы взрослые люди и не нуждаемся в надзирателе.

— Согласен,— вдруг сказал Кон-Бендит, вытянув перед собой свои широкие лапы и точно овладевая залом. Если Дани начинал свое выступление словом «согласен», это означало, что он будет возражать чуваку, выступавшему до него.— Мы взрослые люди,— повторил Кон-Бендит, потряхнув своей рыжей гривой,— мы не нуждаемся в надзирателе, согласен! Но мне лично совершенно наплевать, наблюдают за мной или не наблюдают, если мне что нужно сказать, я это говорю, не глядя на чье-то присутствие или неприсутствие. Если бы нам пришлось подвергать себя самоцензуре из-за каждого уха, которое шляется по Факу (смех), мы бы никогда рта не раскрыли.

Товарищи, это вообще не проблема, нельзя допустить, чтобы она вас загипнотизировала. Нужно ее быстро обсудить и решить. Что касается меня лично, я должен сказать, что меня нисколько, ну, нисколько не смущает присутствие профа на нашей дискуссии.

Давид насупился. Дани со всеми его смачными словечками и тоном трибуна делает вид, что он передовой из передовых, а на самом деле в очередной раз занимает самую умеренную позицию. Его выступление — подмога Божё. Операция козел — капуста продолжается.

После Кон-Бендита было еще два-три многословных выступления, не оставивших в умах слушателей никакого следа, кроме осадка скуки. Потом попросила слово высокая девушка, которая на первом этаже башни предложила забаррикадироваться в зале Совета и сопротивляться там натиску полиции «до конца». Слово было ей дано, она встала. Ее красивое доброе лицо фламандской крестьянки сияло революционной чистотой. Она говорила, как всегда, спокойно, не жестикулируя, мягким голосом, пристально глядя в зал своими светлыми глазами.

— Товарищи,— сказала она, и в том, как она произнесла это слово, чувствовалось, что все они ей братья, что она их любит.— Товарищи, когда профессора проводят свой Ученый совет, они не приглашают студентов заседать вместе с ними, следовательно, и у нас нет никаких оснований терпеть профессоров на ваших дискуссиях.

Ее голос потонул в аплодисментах. Чем дольше они длились, там стеснительней становилось положение Божё. Он это понял.

— Ну что ж, теперь все ясно,— сказал он Ривьеру,— пойдем отсюда.

Он повернулся на каблуках и направился к двустворчатой двери — большой, с высоко поднятой головой, широкоплечий, в темном костюме; Ривьер с холодно-замкнутым лицом следовал за ним по пятам, рядом с Божё он выглядел до нелепости маленьким.

Наступила тишина. Седые волосы Божё сверкнули на мгновение в амбразуре двери и исчезли. Вместе с Божё и Ривьером, вместе с сединой и возрастными морщинами из зала удалась власть. Поле брани было очищено, студенты заседали тут, равные среди равных, молодые, суверенные, независимые владельцы башни и зала. На гильотину они, конечно, Божё не отправили, но революционную чистку провели успешно, это не подлежало сомнению.

IV

Ветер и дождь ударили в лицо Менестрелю, когда он вышел из общежития и, шлепая по грязи, направился к воротам студгородка. Он чувствовал себя усталым, голодным. Я вымокну, как пес, пока доберусь до миссис Рассел, и в таком виде должен буду представиться ей и сесть за стол. В довершение всего он заметил, что забыл носовой платок и расческу. Это окончательно испортило ему настроение. И само по себе — он не сможет в нужный момент ни вытереть лица, ни причесаться, — и как дурная примета. Вечер начинался с неудачи, а неудача, как это известно всем людям действия, никогда не приходит одна.

Он услышал крики и обернулся. Журавль бежал к нему, размахивая руками.

— Эй, Менес, Менес! — завопил Журавль, увидя, что он остановился.

Менестрель ненавидел, когда его называли Менес, и крикнул издали:

— Ну, что еще? Чего тебе от меня нужно?

— Твоя англичанка! — вопил Журавль.

— Что?

— Звонила твоя англичанка!

Менестрель побежал обратно к корпусу.

— Что она сказала?

— Чтобы ты позвонил. Срочно. Представляешь, — продолжал он, принаравливая свой шаг к шагу Менестреля, — она позвонила, когда я сидел совсем нагишом, но я понял, что это важно. К счастью, я видел, как ты вышел, и бросился за тобой, натянув прямо так, на голое тело, пальто и ботсы.

— Спасибо, — сказал Менестрель, озабоченно склонив голову. — Она больше ничего не сказала?

— Послушай, Менес, — сказал Журавль, — не говори «спасибо» таким сухим тоном, точно ты считаешь вполне естественным, что я нагишом гуляю по студгородку под дождем, чтобы сорвать для тебя яблочко!

— Спасибо, спасибо, — сказал Менестрель, заставляя себя улыбнуться.

Журавль изо всех сил старался поспевать за Менестрелем. Между башмаками и пальто мелькали тощие волосатые ноги.

— Два раза, — сказал Журавль, — она тебе звонила два раза, — по-моему, она к тебе равнодушна.

— Пока, — сказал Менестрель, выходя из лифта и направляясь бегом к висевшему на стене телефону.

Не успел он набрать номер, как миссис Рассел взяла трубку, можно было подумать, что она ждала у телефона.

— О, господин Менестрель, добрый вечер, я так счастлива слышать ваш голос, я боялась, вы уже уехали,— певучий голос, модуляции, нетвердый синтаксис, сердце Менестреля забилося,— ваш друг был так любезен, что побежал за вами, я была бы в отчаянии, если бы вы, как это у вас говорится?.. поцеловали дверь!..— Она засмеялась.— Неправда ли странно, как будто кто-нибудь станет целовать дверь.— Менестрель почувствовал, что бледнеет.— Господин Менестрель,— продолжала она весело,— сегодня под вечер приехал из Рима мой брат, я ему объяснила положение вещей, и он решил увезти меня с мальчиками в Штаты, у него ранчо в Калифорнии, и он говорит: я лошадей объезжаю, неужели я не справлюсь с парнями? (Она засмеялась.) А они, естественно, в восторге, что будут играть в ковбоев, и мой брат такой энергичный человек, он все устроил, я и глазом моргнуть не успела. Билеты, все.— Она умолкла, Менестрель не мог произнести ни звука, по его щекам текли струйки пота.— Мистер Менестрель,— заговорила она снова своим нежным голоском,— я так устала воевать с моими мальчиками, это такое счастье, что брат берет все в свои руки, он сказал, дайте мне год, я их выдрессирую.

— Год!— сказал Менестрель.

Опять пауза.

— Вы считаете, этого недостаточно? — спросила миссис Рассел обеспокоенно.

— Нет, нет,— сказал Менестрель,— у меня нет на этот счет определенного мнения.

— И мистер Менестрель,— продолжала она,— я хотела воспользоваться случаем, чтобы сказать вам, как я сожалею, что мне не удалось познакомиться с вами, я желаю вам удачи в занятиях.

— Я тоже желаю вам удачи,— выдавил из себя Менестрель.

— Минуточку,— сказала она, до него долетел смех, долгий обмен быстрыми английскими фразами, то и дело повторялось «all right, all right»¹.— Итак,— внезапно сказала она в телефон,— good luck to you and good bye²,— и, не дожидаясь ответа, повесила трубку.

Входя к себе, Менестрель вспомнил, что он должен поблагодарить Журавля. Он постучал в его дверь и, не дожидаясь

¹ Хорошо, хорошо (англ.).

² Всего хорошего и до свидания (англ.).

ответа, открыл ее. Помешать Журавлю было невозможно, он всегда бездельничал.

— Спасибо еще раз, старик,— сказал он с порога, не входя в комнату.

Журавль смотрел на него с напускной суровостью.

— Спасибо сказать не трудно. Право, не знаю, действительно ли я оказал тебе услугу. Ясно одно, ты ведешь рассеянную жизнь, мой Менес. Два телефонных звонка волнующей англосаксонки в течение одного дня, и визит младай девы сегодня в послеполуденный час. Откуда мне это известно? Я сам указал ей твою дверь. Я как раз шел из душа и еле успел прикрыться полотенцем. Ланиты младай девы пылали, грудь вздымалась, черные очи зажгли во мне огонь. Но крошка на меня не глядела, ее блуждающий взор был устремлен только на номера комнат. А жаль. Я с удовольствием продемонстрировал бы ей разницу между одаренным профессионалом и жалким любителем. И заметь, в твоих собственных интересах. Ибо, о Менес, ты меня удивляешь. Я-то, разумеется, давным-давно не открывал книжки. Но ты, Менес, человек блестящий, трудолюбивый, студент, который учится (странная вещь), и вокруг тебя с недавнего времени я ощущаю какой-то *odor di femina*¹ (он с силой втянул воздух своими широкими ноздрями). Разве это серьезно, Менес? Разве это совместимо с заботой о будущей карьере? Со здоровой учебой? Берегись, сынок!

Он вдруг переменял тон:

— Почему у тебя такой вид? Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, все в порядке,— сказал Менестрель улыбаясь.— Я просто голоден.

Он захлопнул дверь Журавля, вошел в свою комнату, заперся, кинулся на постель. Все рухнуло разом, грезы и заработок.

Он лег на левый бок, свернулся калачиком, правую руку засунул под щеку, тыльной стороной левой прикрыл глаза. Он лежал неподвижно, шли минуты, легче не становилось. Он подумал со злостью: ну не плакать же теперь. Но, странная вещь, у него в носу стоял запах бельмонского чердака, запах яблок, около которых он рыдал после очередной нотации госпожи матушки. Он нахмурил брови: в конце концов, ничего такого не случилось, никто меня не унижал, и я, в сущности, ничего не потерял. Положение то же, что и утром, когда я получил послание Жюли, ни хуже, ни лучше. Он мысленно повторял и повторял на разные лады эти доводы и наконец убе-

¹ Аромат женщины (итал.).

дил себя, но это не помогло. Плакать хотелось по-прежнему. Он зарылся в свою постель, как побитое животное. Сжался в комочек, точно горю так труднее было к нему подступиться. Наконец он отвел руку от глаз, ладно, поплачу, если невольно. Но теперь слезы не шли, горло сжалось, механизм был заблокирован. Он подумал: нет, на самом деле я нечто утратил, я потерял миссис Рассел.

Невероятность этой фразы поразила его самого, он обомлел. Какой идиотизм! Он же ее никогда даже не видел! Он знал ее только по голосу да по рассказу Демирмона. Прикрыв обеими руками лицо, он произнес вслух:— Ну и олух! Я ее выдумал, я ее сочинил с начала до конца! Чувственность, нежность, безграничная доброта! Но, возможно, все это совсем не так, и миссис Рассел заурядная, учтивая светская дама; сейчас по телефону она была весьма кратка, говорила только о себе, проявила полное равнодушие к моему разочарованию, она его даже не почувствовала, в сущности, она так же эгоцентрична, как госпожа матушка. Он остановился, шокированный этой мыслью, ему еще не хотелось разрушать образ миссис Рассел. Он присел на своем ложе, злясь на себя самого, голова кружилась, хотелось есть.

Он оперся рукой о стол и сосредоточился на дыхании. В окно он смутно, точно спросонок, видел стройку, редкие огни фонарей в ореоле мелкого дождя. Тоскливое зрелище, эти несколько ламп хуже, чем полный мрак, они придают студгородку что-то нищенское, захолустное. Глаза его вернулись к столу, к незавершенному, нескончаемому старофранцузскому разбору. Он заметался по комнате, между дверью и столом. Три шага — поворот, три шага — поворот, три шага... Дотронулся до двери кончиками пальцев — и сказал вслух: «Хватит грезить»,— вернулся к столу, взял лист белой бумаги и написал большими буквами:

ХВАТИТ ГРЕЗИТЬ.

Мгновение он смотрел на бумагу, потом отложил свою шариковую ручку, ему стало легче от того, что он что то сделал.

Он опять зашагал по комнате. Подумать только, он отверг сегодня Жаклин, когда она сама к нему пришла! Невероятно! Я задрал нос! У меня ведь была миссис Рассел, не так ли? О, что до богатства воображения, я кому хочешь дам фору! Он снова дотронулся до двери кончиками пальцев. Будем справедливы: что касается Жаклин, тут я еще боялся оказаться не на высоте, принимая во внимание мою неопытность. Он вы-

прямылся, ну и что, ну и оказался бы не на высоте, даже жеребец со своими кобылами не всегда оказывается на высоте. Я сам видел в Бельмоне. Я, помню, даже удивился, я-то считал, что инстинкт всегда непогрешим. Он вернулся к столу, взял снова ручку и дважды с силой подчеркнул слова ХВАТИТ ГРЕЗИТЬ.

Снова стал ходить. Теперь он видел все с отчетливой ясностью, которая хоть и причиняла ему боль, но была — он чувствовал — спасительной. В миссис Рассел, по сути дела, была заключена двойная гарантия — она обеспечивала регулярный и хорошо оплачиваемый бэби-ситтинг и, потом, ну, скажем, нежность. Значит, я еще младенец, раз нуждаюсь в том, чтобы меня ласкали. Он подошел к двери и, не глядя, дотронулся до нее пальцами, нет, вовсе я не младенец, просто мне необходима чья-то привязанность, это вполне естественно. Потому что госпожа матушка насчет привязанности!.. До чего же она умеет быть жестка, стерва, он сжал руку и ударил кулаком по двери, и ей еще попомню эту штуку с креслами. Она отказывается дать мне в долг 40000 монет, чтобы я мог дожждаться стипендии, а свои кресла перебивает! И, главное, в эти кресла никто никогда не садится! Никому и в голову не приходит, они ведь старинные! Он жестом отбросил подальше от себя госпожу матушку вместе с ее антикварной мебелью в стиле Людовика XV. Но неужели мужчина так нуждается в женской ласке? Разве не должно, напротив, происходить нечто обратное? Например, сегодня с Жаклин я вел себя правильно. Я по-настоящему интересовался ею, я пытался ей помочь. Как я отругал ее, когда она не дала мне руку.

Мало-помалу к нему возвращалось уважение к себе, он расправил плечи, выпрямылся во весь рост. Этот телефонный звонок выбил меня из колеи, но, в сущности, это опыт, полезный жизненный опыт, я сделал шаг вперед, я продвинулся в познании жизни. Он вдруг ощутил себя повзрослевшим, посolidневшим. Он остановился перед зеркалом и внимательно взглянул на молодого наполеоновского генерала, который стоял перед ним, — спутанные каштановые волосы, мужественная голова, твердый подбородок, правильные черты, — и вовсе у меня не слишком маленький нос, разумеется, это не соборное гасило Журавля, но обычный нос, прямой, правильный, классический.

Он приблизился к зеркалу, чтобы увидеть, оставил ли на его лице след пережитый им суровый удар. Может быть, горькая складка у рта? Морщинка возле глаз? Усталая припухлость век? С разочарованием он отметил, что лицо было та-

ким же гладким и свежим, как накануне. Даже щеки не провалились от голода, а до чего же я, однако, голоден, просто ужас. На чердаке, вдоволь наплакавшись, я мог хотя бы яблоко съесть. Он с душераздирающей ясностью представил себе гигантский бельмонский чердак, все эти горы яблок, холодных и пожухлых от зимней стужи. Прошлым летом Жюли гостила две недели в Альпах, и он оставался в Бельмоне один с Луизой, а Бельмон без тирании и жмотничества госпожи матушки — это была вещь! Сколько он умял (при активном общении Луизы) кур и ветчины! А пирогов! Какой ужас, я не могу думать ни о чем, кроме жратвы. Он еще больше приблизил лицо к зеркалу и всмотрелся в него. Внезапно он увидел себя таким, каким станет к тридцати годам: зрелым, умудренным, утомленным успехами, не знающим отбоя от женщин, привлекательные морщинки вокруг глаз, седеющие виски, лицо мужчины, познавшего сложность жизни. Повернувшись спиной к зеркалу, он подошел к столу, взгляд упал на листок, где гигантскими буквами было выведено: ХВАТИТ ГРЕЗИТЬ, он покраснел.

Через минуту Менестрель схватил ручку и написал: СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ЗАНЯТИЯХ И ХЛЕБЕ. И когда я говорю «хлеб», я имею в виду именно хлеб, в данный момент любую корку хлеба... У него ничего во рту не было после жалкого бутерброда в полдень. Живот свело от голода. Какая, в сущности, стерва эта дамочка. Она приглашает меня на ужин в такой поздний час, я из-за нее упускаю возможность пойти в рест, а в последнюю минуту она, видите ли, все отменяет, отсылает меня как слугу, о, для нее, конечно, это не составляет никакой проблемы, она отправится в «Тур д' аржан» со своим братцем и мальчиками и набьет брюхо. Он пошарил в карманах брюк, потом в карманах пиджака: два с половиной франка и талончик реста, ситуация ясна: 1) стипендию до сих пор (22 марта!) задерживают сукины дети из Министерства национального просвещения, 2) просьба о займе отвергнута нежной госпожой матушкой, 3) спасительная возможность заработать испарилась. Итог: две монетки по одному франку, монета в пятьдесят сантимов плюс талончик. Он выложил все на стол. Бушуют единственный, с кем я достаточно знаком, чтобы... Он выпрямился, это исключено! После его оскорбительной записки и гнусного поведения с Жаклин. Он посмотрел на три монетки и стал взвешивать: пойти проглотить мергез в арабском бистро у моста или лечь спать, и оставить последние патроны на завтра? Он погасил свет и улегся, не раздеваясь, на кровать. Это было компромиссное решение. Если удастся заснуть,

дело в шляпе, а нет, он встанет — бистро открыто до двенадцати.

Он лег и его опять охватило отчаяние, он подумал, что с завтрашнего дня нужно будет пуститься на поиски мелких заработков, утомительной и плохо оплачиваемой работы. И вдобавок, пока доберешься до места, — километры в метро, а на обратном пути поезд Сен-Лазар — Нантер-Лафоли. Возвращаешься выжатый как лимон, нет сил сесть за книгу. Он закрыл глаза, но стала кружиться голова, и он снова их открыл. Голод ужасен тем, что ни о чем другом не можешь думать. Он стиснул зубы. Взять на заметку. Помнить: человек — животное, первая потребность которого — жратва. Раздался удар в дверь, потом еще два довольно сильных торопливых удара. Он не пошевелился, затаил дыхание, сейчас он был не в силах с кем-нибудь разговаривать. Снова раздался стук, более робкий, и шорох бумажки, ее просовывали под дверь. Он услышал звук шагов, удалявшихся по коридору. Через минуту он встал, зажег свет, подошел к двери. Ноги подкашивались, он нагнулся, чтобы взять записку, и когда выпрямился, кровь отлила от головы, в глазах потемнело. Он вернулся к кровати, рухнул на нее и мгновение боролся с тошнотой, зажав в ладони листочек, сложенный вчетверо.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

I

22 часа

В маленькой служебной квартирке на шестом этаже башни профессор Н... все еще мучился от сердечного приступа, который начался под вечер. Невыносимо болело под грудиной, казалось, на грудь навалилась скала и вот-вот раздавит ребра своей страшной тяжестью. Боль растекалась, захватывая левую руку. При первых симптомах приступа он разделся и лег, но боль не давала лежать, он поднялся и стоял — в пижаме, тяжело дыша и опираясь правой рукой о спинку кровати. Струйки пота не переставая текли по шее, между лопаток, струились из-под мышек. Ощущение, что он задыхается, было таким нестерпимым, что хотелось разорвать грудь и высвободить легкие.

Время от времени наступала короткая передышка, муки ослабевали, и казалось, что приступ утихнет. Но боль тотчас

возвращалась, еще более страшная, убивая в нем всякую надежду. Пытке не было конца. Две гигантские руки стиснули его грудную клетку и сжимали ее с такой силой, что она должна была вот-вот треснуть, пароксизм наступил не сразу, клещи сжимались постепенно, точно на средневековой пытке. Мало-помалу палач превосходил самого себя, боль достигала невыносимой остроты, хотелось закричать, но голоса не было.

Внезапно наступило затишье, профессор Н... поглядел на часы, он был поражен, его страдания длились всего два часа. Он подумал про себя: «Боль — это мгновение, которому не видно конца». Это цитата, но откуда? Странное дело, ему все казалось невыносимым, даже то, что он не смог сразу вспомнить, чьи это слова. Он сделал несколько шагов по комнате и увидел в зеркале свое отражение. Его поразило это чудовищно бледное существо с блуждающим взглядом, провалившимися, окруженными синевой глазами, приоткрытым перекосившимся ртом, подергивающейся губой. Он заметил также, что верхняя часть груди у него стала красной, была вся исполосована. Должно быть, он бессознательно царапал себя ногтями, отчаянно пытаясь разжать сдавившие его тиски. Он отвернулся, осторожно сел в кресло против окна, которое распахнул два часа назад, когда ему стало не хватать воздуха. Спустя мгновение он ощутил, что боль возвращается, наклонил голову вперед и весь напрягся, чтобы ее встретить. Она обрушилась на него с устрашающей силой. Жестокая, неотступная, она превосходила все, что он уже вынес. Он откинул голову назад, губы его дрожали, он судорожно хватал воздух короткими, прерывистыми глотками. На бесконечно долгое время он впал в полузабытье, мозг его был во власти нелепых кошмаров. Он плыл по морю, неподалеку от пляжа Хаммаммет в Тунисе. На него напал гигантский спрут и, обвив его своими щупальцами, сдавил грудь, парализовал движения. Постепенно спрут сжимал его все сильнее, вот-вот раздавит окончательно. Профессор Н... задышался, руки безостановочно царапали и раздирали грудь, внезапно боль еще усилилась, сломив мужество, с которым он до сих пор терпел ее, им овладела безумная паника, озираясь, как затравленный зверь, он в отчаянии подумал, но я же умру здесь, один, вдали от родины, от семьи.

Когда опять настал короткий миг затишья, он был весь мокрый от пота. Относительное успокоение: боль ослабла, но не исчезла. Давление на грудь слегка уменьшилось, но в этом отступлении боли был свой, изощренный садизм. Облегчение подавало надежду, что невыносимая тяжесть, навалившаяся

ему на грудь, вот-вот спадет, но она не уходила, напоминая, что через несколько минут все начнется с новой силой. Наклонясь вперед, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, он старался вдыхать и выдыхать воздух осторожными, бережными толчками. Все его внимание, все его мысли сосредоточились на этом упражнении. В течении пятидесяти лет он дышал, не задумываясь, можно сказать, помимо собственной воли, точно дыхание было чем-то само собой разумеющимся, точно это была вечная и нерушимая функция организма, а теперь дыхание стало трудной задачей, настолько тяжелой и болезненной, что она потребовала напряжения всех его сил. Впрочем, по мере того как период ремиссии затягивался, он с нарастающим ужасом ждал наступления нового пароксизма и почти готов был умереть, только бы ускользнуть от него. Когда профессор Н... отдал себе отчет в этом желании, он испытал чувство стыда. Пытка длилась всего два часа, и он уже готов был сдаться. А ведь во время войны я выносил, сжав зубы, самые чудовищные страдания, я всегда держался, и никогда не терял надежды. Но с тех пор прошло двадцать пять лет, тогда я был молод. Вот в чем секрет, я был молод.

Раздался стук в дверь.

— Войдите,— сказал по-французски профессор Н... слабым, глухим голосом и повернул лицо к молодому ассистенту-германисту, входившему в комнату вместе с мужчиной, который держал в руке чемоданчик.— *Gott sei dank!*— прошептал Н..., бросив на него благодарный взгляд.

— Ну вот,— сказал молодой человек,— я удаляюсь, доктор вас осматривает.

— Нет, нет, прошу вас,— сказал профессор Н... по-немецки, все тем же обескровленным, изнемогающим голосом.— Пожалуйста, переводите, я сейчас совершенно не способен на лингвистические подвиги.

Он попытался улыбнуться, но губы отказали, они были сухие, дрожащие, временами подергивались от тика. Доктор быстрыми шагами направился к столику, положил свой чемоданчик, открыл его, вынул стетоскоп, все его движения были стремительны, точны. Что за чудо здоровые люди, они дышат, ходят, жестикулируют — все им нипочем.

Когда врач через несколько минут вошел в кабинет Божё, он увидел перед собой высокого крепкого мужчину, за чьим спокойствием угадывалась некоторая напряженность, замечная не по глазам, скрытым за толстыми стеклами очков, но по

¹ Слава богу (нем.).

нервному подергиванию губ, временами ускользавших из-под контроля лицевых мускулов.

— Положения критическое,— сказал врач, садясь.

Божё посмотрел на него. Право, этот медицинский лексикон восхитителен, ну что значит «критическое»? Что у больного сердечный кризис? Это мне было и без него известно.

— Можно ли перевезти его в клинику?

Врач покачал головой:

— В случае крайней необходимости можно, но я бы предпочел не рисковать в разгар приступа, к тому же в клинике не сделают ничего сверх того, что сделал я, лучше подождать, пока приступ кончится.

Божё едва обменялся несколькими словами с профессором Н... в факультетском коридоре, когда Граппен их знакомил, однако теперь судьба больного затрагивала Божё почти лично.

— Как, по-вашему, он выкарабкается?

Врач пожал плечами и развел руками.

— Что можно сказать! В такого рода делах трудно прогнозировать. К тому же я не его лечащий врач и не знаю ни давности, ни серьезности заболевания, мне неизвестна, как выражаются немцы, его Krankengeschichte¹.— Он едва заметно улыбнулся, произнося это слово, он думал, что Божё — германист, путая его с Граппеном.

Божё заговорил снова:

— Профессор Н... возводит причину своей сердечной болезни к студенческим демонстрациям в своем университете в прошлом году, это объяснение кажется вам?..— Божё не закончил фразы, что было ему совершенно несвойственно.

— Вполне возможным,— сказал врач.— Знаете, когда человеку перевалило за пятьдесят, состояние переутомления и серьезной тревоги...— Он тоже оборвал фразу на середине и подождал, но, поскольку реплики со стороны Божё не последовало, врач поднялся.

Когда за ним закрылась дверь, Божё устало вернулся к своему столу, откинулся на спинку кресла и прислушался к шуму дождя, стучавшего в окна. По ту сторону стекла и прозрачных занавесей мерцали редкие фонари стройки. Все это наводило уныние: и ночь, и кабинет с его обезличенной мебелью. Наверно, служебная квартира с ее стандартной обстановкой гостиничного полулюкса тоже не веселее. Подумать только, что коллега может там умереть. Божё взял сигарету из пачки, но,

¹ История болезни (нем.).

уже чиркнув зажигалкой, одумался и сунул сигарету обратно. «Знаете, когда человеку перевалило за пятьдесят, состояние переутомления и серьезной тревоги...» Вот уже несколько дней Божё ощущал легкую боль в области сердца, которая минутами казалось, охватывала и левое плечо. Случалось также, что он начинал слегка задыхаться к концу лекции, речь его становилась прерывистой. Он расправил плечи и встал, да нет, это ерунда, я настраиваю себя, ничего у меня нет, решительно ничего; в прошлое воскресенье после тенниса я не ощущал никакой усталости, напротив, никогда еще я не чувствовал себя так хорошо. Он пожал плечами, я полагаю, что в моем возрасте вполне естественно тревожиться о собственном здоровье, если даже оно тебя и не беспокоит,— шагреневая кожа уже достаточно съежилась. Он твердо сжал губы, решительно уселся в кресло, придвинул к себе телефон, набрал номер Граппена.

Тот не стал тратить время на формулы вежливости:

— Ну как там?

Божё помолчал, прежде чем ответить.

— Я как раз звоню,— сказал он неторопливо,— чтобы дать тебе обо всем отчет. События разворачиваются без особых осложнений. Они оккупировали зал Совета, смиренно расселись в креслах и дискутируют. Немножко более шумно, чем мы на своих собственных заседаниях, и язык не столь академичен, но погромом не пахнет. Пока никаких разрушений. Дюжина «аполитичных» анархистов намеревалась завладеть нашей посудой, но была предана позору и изгнана. Что до Кон-Бендита, то он играет — или делает вид, что играет,— роль умеренного начала Афинской республики. Своего рода Перикл, переряженный Дантоном, если ты позволишь мне такое смешение эпох.

— Все-таки,— сказал Граппен,— нет никакой уверенности, что они не примут решения разойтись по этажам, взломать двери и уничтожить архивы.

Божё помолчал, чтобы придать больше веса тому, что он намеревался сказать.

— Это, конечно, возможно, все вообще возможно, но я не думаю, это запятнало бы их собственный образ, как он им видится. Не будучи левым,— продолжал Божё (Граппен у трубки поджал губы: камешек в мой огород. У них с Божё давно сложились отношения дружбы-соперничества, соперничества почти бессознательного, поскольку заместителя принято подозревать в желании унаследовать место декана),— я не питаю никаких симпатий к взглядам, которые они отстаивают,

но меня, признаюсь, поразила их серьезность. Они явно заняты преобразованием мира и переписывают заново историю, короче, у меня создалось впечатление, что они воспроизводят одну из славных сцен Великой французской революции,— ночь на 4-ое августа или клятву в Зале для игры в мяч,— не знаю, насколько тебе ясна моя мысль.

— Ты что, смог присутствовать при дебатах? — изумился Граппен.

Божё кашлянул.

— Не долго. Некоторых мое присутствие оскорбляло, да и с меня самого было довольно, я ушел.

«Это значит,— подумал со смешанным чувством Граппен, что он дал себя выставить». Но вслух он слова Божё никак не прокомментировал. Только сказал после паузы:

— Мне звонили по поводу Н... Как он?

— Врач только что вышел от меня,— сказал Божё,— цитирую: состояние критическое, от прогнозов лучше воздержаться.

Наступило молчание. После январских событий («Граппен — наци»), телефонной травли, тягостных треволнений и бессонных ночей Граппен ощущал себя постаревшим, иссякшим. Он страдал не от какого-нибудь определенного недуга, но от постоянного ощущения собственной изношенности, точно в течение последних месяцев он извел десять лет жизни, истратил десятилетний запас жизненных сил. С утра до вечера его преследовало чувство, что ему физически не по силам эта работа — работа, к которой он так энергично и уверенно приступил всего четыре года назад. Никаких действительно тревожных симптомов не было, но все чаще давила усталость и, главное, не покидало ощущение собственной хрупкости, уязвимости, упадка сил, точно какие-то перебои в сети ослабили напряжение тока и его не хватало, чтобы Граппен мог двигаться вперед и продолжать жизнь.

— Это ужасно,— сказал он в трубку.— Бедный Н..., надеюсь, он выкарабкается, было бы, на самом деле, чудовищно умереть при таких обстоятельствах, тем более,— добавил он, как бы обороняясь,— что он еще не стар, не помню точно, но он нашего возраста, что-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью.

Божё на другом конце провода молчал, замечание Граппена было ему неприятно, напоминало о собственных страхах. Потом он повторил тихо, сухо:

— Да, это было бы чудовищно,— и тут же добавил своим обычным, сильным голосом, четко артикулируя: — Итак, я

продолжаю, по возможности, следить за тем, что происходит на восьмом этаже, сохраняю соприкосновение с противником, как выражаются на военном языке. Я тебе позвоню, ну, скажем, через час, а если будет что-нибудь новое — раньше.

Он повесил трубку, взял сигарету из пачки и снова, после некоторого колебания сунул ее обратно. Две недели назад, выступая по телевидению, Морис Дрюон сказал: «Теперь, когда я прожил половину жизни». По окончании передачи Божё встал со своего кресла и поискал в «Who's Who in France»¹ (неизменная любовь к точному факту) год рождения Дрюона, ага, вот — 1918; ему пятьдесят, следственно, «половина жизни» — успокоительное смягчение, литературщина и ложь. Пятьдесят лет — это не половина, скорее две трети, если только не надеешься дожить до ста — надежда, конечно, приятная, но статистически не слишком обоснованная. А когда я думаю о годах, мне всегда приходит на ум, в известном смысле даже преследует меня, бальзаковский образ шагреновой кожи. Помню, читая эту книгу, я переживал вместе с Рафаэлем чувство ужаса, обнаружив, что талисман, символизирующий его существование, съезживается при каждом желании. Но на деле, жизнь изнашивается не от желаний, она иссыкает, даже если ничего не желать. Тридцать лет, сорок, пятьдесят. И поразительно, что на каждом повороте время приобретает трагическое ускорение. Хочется закричать: остановись, остановись, не беги так стремительно! Вот уже две трети жизни позади! Божё встал, поглядел на часы, прошелся по комнате, ну и ну, веселенькие у меня мысли, нечего сказать! Не дешево мне дается это студенческое движение протеста! Он чувствовал усталость, но в то же время сам не доверял этому ощущению. Усталость, в сущности, нередко своего рода пассивное сопротивление все возрастающему бремени ответственности. Пойду несколько минут послушаю музыку, это мне будет полезно. Он улыбнулся. Как выражается один из персонажей Сартра, я не развлекаюсь, а «отвлекаюсь».

II

В аудитории Б-2 — огромной, на три четверти заполненной и выглядевшей как настоящий театральный зал, — ассистент Дельмон выбрал место на ближайшей к правой двустворчатой двери скамье, чтобы выйти, никого не тревожа, если концерт ему прискутит. Он не был меломаном, но всегда

¹ Кто есть кто во Франции (англ.).

интересовался музыкой, подходя к ней осторожно и опасаясь неискренних восторгов. Последняя вещь первого отделения ему понравилась, и он решил остаться на второе, но в антракте вместе с шумом и разговорами в его сознание, уже не занятое музыкой, вновь вторглась сумятица забот: столкновение с Рансе, перспектива вылететь из Нантера без всякой уверенности, что он будет подобран Сорбонной, и, главное, диссертация, которой не видно конца, которую он тянет уже десять лет, поскольку у него все не было возможности вплотную засесть за нее, все его время сжирали ассистентские обязанности, семь часов семинарских занятий, проверка студенческих работ, все более и более трудоемкая, транспорт да еще всевозможные административные нагрузки, навязываемые Рансе. Работать над диссертацией фактически удавалось только в летние каникулы, а нужно ведь и жить когда-нибудь, да и не такая уж это легкая жизнь, когда у тебя жена, двое ребят и всего 2500 франков в месяц. Ох, не щедро платят преподавателю без степени! Даже с десятилетним стажем. И кому только нужны эти литературоведческие диссертации. Нигде, кроме Франции, от тебя не требуют этого громоздкого кирпича — от 500 до 1000 страниц, — монументального и всеобъемлющего, своего рода «шедевра», который требовался в Средние века от подмастерья для вступления в цех, этакое «opus magnum», поглощающего четверть жизни, где, чтобы исчерпать тему, ты должен исчерпать себя (Дельмон отметил про себя точность этой формулировки). И при этом над тобой воздвигнута пирамида бонз, тебя душит монархический гнет заведующего отделением. Странно, я так и не могу понять до конца, сожалею я о том, что толкнул Рансе, или радуюсь этому, есть в этом акте некая двусмысленность («двусмысленность» — было одним из излюбленных словечек Дельмона). Я сделал это не преднамеренно, но и не случайно, собственный жест сначала удивил меня самого, а потом привел в восторг. Значит, в моем поступке все же прорвалась жажда раскрепощения. Любопытно, что она долго и бессознательно накапливалась во мне, а вырвалась наружу в общем как следствие моего соприкосновения со студенческим бунтом: мы, конечно, ближе к студентам, чем профы, и по возрасту, и по положению, главное, мы, как и они, страдаем от произвола вышестоящих и точно так же лишены права голоса, отстранены от руководства Факом. Это, в сущности, и сближает нас — наше в равной мере подчиненное положение по сравнению с переходящими всякие границы привилегиями бонз.

Дельмон вынул из кармана свой черный блокнотик, шариковую ручку и записал: «диссертация = opus magnum, в котором, исчерпывая тему, исчерпываешь себя». На той же страничке его торопливым почерком были записаны определения недотроги и кокетки, сформулированные днем в клубе. Он перечитал их и несколько утешился, хотя обиды и опасения его одолевали по-прежнему.

— На карточку! — прозвучал за его спиной густой, как звук контрабаса, голос. — Только на карточку, не в блокнот! Каждый порядочный диссертант должен помнить об этом! Записывайте на карточку! Карточка поддается классификации, анализу, карточка занимает надлежащее место, комбинируется с другими карточками! Нет серьезной работы без карточки!

Это был Даниель. Он сел позади Дельмона, выпятив широкую грудь, расправив мощные плечи, наклонив вперед свою голову финансовой акулы с длинным крючковатым носом, почти касавшимся подбородка, его голубые глаза, устремленные на друга, светились сердечностью и умом.

— Привет, — сказал Дельмон. И добавил: — То, что я записал, не имеет отношения к диссертации. Это приватные размышления.

— Ох, ох! — сказал Даниель своим трубным голосом, — Приватные размышления! Как это опасно!

Дельмон чуть улыбнулся.

— Я тоже склоняюсь к этой мысли. В особенности после сегодняшнего утра.

Лоб Даниеля под черными, жесткими, мелко вьющимися волосами собрался в складки.

— Договоренность с известным лицом не была достигнута?

Дельмон проглотил слюну и отвернулся.

— Отнюдь.

Собственный голос в сравнении с голосом друга показался ему визгливым и слабым. Его восхищал в Даниеле этот трубный глас, размах плеч, кузнечные мехи груди, мощная голова, шевелюра патриарха. Когда он был рядом с Даниелем, в него точно переливалась частица этой силы, он ощущал себя не таким узкоплечим, не таким хилым и лысеющим.

— Я могу тебе рассказать все, тут нет никакого секрета, — сказал Дельмон, все же понижая голос. — Я просил Его величество поддержать мою кандидатуру на пост штатного преподавателя, а он отказал.

— Скотина! — возмущенно сказал Даниель. — И как он преподнес свой отказ?

— Я здесь всего два года: стаж недостаточный.

— Но я никогда не слышал, чтобы...

— Подожди,— сказал Дельмон, положив ладонь на руку Даниеля.— Десятью минутами раньше он согласился поддерживать Лагардет, хотя она появилась в Нантере одновременно со мной.

— Энзима выигрывает! — воскликнул Даниель, воздевая руки.— Энзима ставит и выигрывает!

— Ну, разумеется,— сказал Дельмон,— такова логика системы. Монархия порождает придворного, власть бонз — задолизов (это неплохо, надо записать). У Лагардет,— продолжал он уже с меньшей горечью,— есть свой расчет, как, увы, и у некоторых других среди нас. Она соглашается играть сейчас холуйскую роль ради будущих привилегий профа.

Даниель рассмеялся:

— К тому времени, как она станет профом, от этих привилегий могут остаться только рожки да ножки. Знаешь, что мне только что стало известно? — продолжал он, приближая к лицу Дельмона свой крючковатый нос и выступающий подбородок.— Студенты-гошисты захватили административную башню и уже в течение двух часов оккупируют зал Ученого совета!

— Не может быть! — сказал Дельмон и закатился восторженным смехом.

Лицо его оживилось, вдруг помолодело, глаза засверкали.

— Не может быть! — прокудахтал он сквозь смех, расправивший его узкую грудь. И вдруг взвизгнул: — Да не может быть!

Даниель тоже смеялся глубоким грудным смехом, показывая зубы, почерневшие от табака. Они общими переглядывались, фыркали, переполненные безудержным ликованием, не находившим полного выхода даже в смехе. Ассистентов на Ученый совет факультета не допускали, бонзы решали административные проблемы и кадровые вопросы в своем узком кругу. На факультетские конференции, разбиравшие педагогические проблемы, ассистенты имели право посылать своих представителей. Поскольку конференции, как правило, проводились после Ученого совета, эти представители нередко бывали вынуждены ждать перед запертыми дверьми, пока закончатся тайные переговоры профессоров. Ожидание длилось нескончаемо долго, конференция начиналась много позже назначенного часа, так как Совет неизменно затягивался. Наконец двустворчатая дверь отворялась, все кресла вокруг овального стола были заняты бонзами, ассистенты рассаживались сзади, вдоль стен...

— Это еще не все,— сказал Даниель, выдвинув вперед мощную голову, прищулив глаза и стараясь все-таки несколько приглушать свой трубный глас.— Там был Божё (произнеся это имя, он еще больше понизил голос).

— Где там?

— В зале Совета, пошел послушать гошистов. Один бог знает, зачем ему это было нужно, может, чтобы ущучить «заводил», но студенты его заметили и тут же выставили!

— Как?— сказал Дельмон.— Выдворили? *Manu militari*?¹ Не может быть!

— Нет, нет, до этого не дошло,— с сожалением сказал Даниель.— Они, если угодно, просто указали ему на дверь. После реплик вроде «какого черта здесь торчит этот старый хрен?»

— Нет, это просто невероятно,— сказал Дельмон, хихикая.— Просто невероятно!

— Заметь,— продолжал Даниель,— против Божё лично я ничего не имею.

— Да и я тоже!— сказал Дельмон, не переставая смеяться.

— Я ни разу с ним даже словом не перемолвился. Ты же понимаешь, я — жалкое насекомое... Но все-таки заместитель декана, которого выставляют за дверь Совета!..

Дельмон вдруг положил свою узкую бледную ладонь на мускулистую руку Даниеля:

— А вот и он,— сказал он вполголоса.

Даниель обернулся. Божё только что вошел в правую двустворчатую дверь, антракт кончился, и Божё двигался в потоке студентов, возвращавшихся в аудиторию из центральной галереи,— высокий, косая сажень в плечах,— пожимая на ходу руки коллегам. Когда он повернул в проход, Дельмон увидел его лицо, спокойное, уверенное, улыбающееся. Дельмон подумал: неплохо держится — все его веселье куда-то вдруг испарилось, и он почувствовал, что им вновь овладевает уныние. В сущности, захват башни, оккупация зала Совета, изгнание замдекана ни к чему на вели. Сатурналии, только и всего. Взрыв на одну ночь, иллюзорное раскрепощение. Завтра все пойдет по-прежнему. Сила останется в руках силы, а власть — в руках власти. Университетских ранее еще ждали счастливые денюжки.

Божё отыскал место рядом с дородным и лысеющим господином неопределенного возраста. Покрой костюма и лысина (волосы, зачесанные сзади наперед, лучами прикрывала че-

¹ Силой (*лат.*).

реп) его старили, но, судя по полному гладкому лицу, ему было не больше тридцати. Когда Божё сел, незнакомец учтиво и степенно поздоровался. В его манере держаться, в его движениях была какая-то размеренность, самодовольство, точно в тридцать лет он уже приноравливался к мимике того важного шестидесятилетнего старца, каким когда-нибудь станет. Божё пожал ему руку и сказал несколько неуверенным тоном:

— Как дела?— Где-то он видел этот череп с лучами волос, но где? Ах, да, на факультетских конференциях. Может быть, штатный преподаватель? Он часто берет слово и всегда высказывается, храня этот значительный, преисполненный сознания собственного достоинства вид. Но что он преподает? Как его зовут? Просто ужасно, на этом производственном комбинате никто никого не знает.

— Мои дела идут хорошо,— сказал штатный преподаватель, четко выговаривая каждый слог,— как нельзя лучше, если учитывать существующие обстоятельства,— продолжал он похоронным тоном, покачивая головой.

Божё посмотрел на него. Значит, все уже известно. Независимые ряды уже вступили во взаимодействие. Аудитория Б-2 уже не находилась в полном неведении относительно того, что совершается в башне.

— Не могу сказать, чтобы это меня радовало,— сказал Божё.— Куда все это нас заведет? Что нас ждет? Анархия? Паралич?

Симпатия штатного преподавателя его ободрила. Хороший, видно, юноша, уравновешенный, серьезный. Такой не станет предаваться безответственным выходкам, подобно некоторым бешеным из НСПВШ, которые готовы перещеголять в левизне самых оголтелых студентов.

В тот момент, когда дирижер стал постукивать палочкой по пюпитру, требуя тишины от оркестрантов и тем самым косвенно также и от зала, в правом проходе показалась дюжина нечесаных студентов в джинсах и свитерах. В группе была всего одна девушка, бронзово-смуглая, с черными выющимися волосами, осенявшими нимбом ее лицо, с угольно-темными глазами и огромными позолоченными кольцами в ушах. Ее ягодичы туго обтягивала мини-юбка, груди торчали. Рта она не открывала, но по ее взглядам, по уверенной манере держаться, по посадке плеч и крупа, по поворотам торса было видно, что власть принадлежит ей — она царица этого грозного жужжащего роя, который кружит, точно не решаясь сесть, по проходу, мечая во все стороны наглые взгляды. По-

стукивание дирижерской палочки постепенно заглушило какофонию настраиваемых инструментов, стало тихо. Девушка вертелась в центре роя, от которого наконец отделился парень, высокий, белокурый, широкоплечий. Он распростер руки, точно именно ему предстояло дирижировать оркестром, и сказал громким голосом:

— Товарищи, вам известно, что сегодня днем деголлевской полицией были арестованы нантерские студенты. В ответ на эти аресты мы захватили административную башню и решили не прекращать оккупацию зала Ученого совета, пока не будут освобождены наши товарищи. Товарищи, настал момент проявить солидарность по отношению к арестованным студентам. Не время развлекаться и предаваться мелкобуржуазному потреблению культуры. Мы призываем вас отправить этих музыкантов восвояси и примкнуть к нашей борьбе против репрессивной власти.

Наступило замешательство. Дирижерская палочка застыла в воздухе вместе с державшей ее рукой, зал, минуту назад сосредоточенно стихший, вдруг заволновался и зашумел, как море; все что-то говорили, задавали друг другу вопросы, обращивались, привставали со своих скамей, стараясь разглядеть, что происходит. В реакции зала ощущалось не колебание, не нерешительность, но какая-то затаенная угроза, как в минуту предгрозового затишья, предшествующего набегу гигантского вала, слышался глухой ропот нарастающего гнева, и внезапно эта ярость вырвалась с неудержимой силой, со всех сторон одновременно раздалась крики:

— Вон! Убирайтесь! Оставьте нас в покое! За дверь их! В задницу! — Это совершенно подкосило нестойкий революционный рой: они взывали к стихийному порыву масс, а массы оказались против них. Группа в беспорядке отступила к выходу, сопровождаемая враждебными воплями, отвергнутая, сломленная, изгнанная. На пороге двустворчатой двери высокий блондин обернулся лицом к залу и крикнул: «Дураки неосознательные!», но его голос потонул в яростном гуле зала. Дверь захлопнулась, дирижер победоносно застучал палочкой по пюпитру, волнение улеглось, наступала тишина. Божё удовлетворенно переглянулся со своим лысым соседом. Он всегда был в этом убежден: протестантов — жалкая группка, ничтожное меньшинство, им никогда не удастся увлечь за собой основную массу студентов. Божё скрестил руки и откинулся широкой спиной на спинку скамьи. Как выразился этот тип? «Мелкобуржуазное потребление культуры?» Что за люди, господа, что за люди! Ты пришел на концерт — значит, ты

«реак»! Дирижерская палочка опустилась, прозвучали первые аккорды, Божё послушно выбросил все из головы и, сохраняя свою излюбленную позу, со скрещенными на груди руками, стал слушать музыку.

III

Поигрывая концами своих косичек, Жозетт Лашо все еще упивалась изгнанием Божё. Вот здорово, выставили этого старикашку, вышвырнули его во мрак внешнего мира. Она ликовала, блаженство разлилось по всему ее телу. Она придавала поражению Божё огромное значение: это был конец тирании стариков. Потому что старики по природе склонны подавлять молодых, даже папа, несмотря на свои смачные солдатские шуточки, хохот в церкви и фокусы с мотоциклом. Настоящей дружбы с ними быть не может! Два года, как он даже не заходит, не пишет, не звонит, а Фременкур, о, я теперь знаю ему цену, этому Фременкуру! Конечно, он мне выдал порцию человеческой приязни, немалую порцию, но свысока, кончиками пальцев, а на самом деле и он тоже отверг меня, отбросил, ну какой толк во всей этой болтовне у него в кабинете, толчение воды в ступе, хождение вокруг да около, точно он не понял с самого начала: я жажду настоящей привязанности. Но он, конечно, ничего не видел, ничего не слышал, он витал в небесах, да, он мной интересовался, он меня анализировал, вот что. И конечно, неизменно мил, терпелив, готов все понять, о, я его ненавижу, ненавижу! И в сущности, в плане политическом при всей своей прогрессивности он не лучше Граппена. Только анализирует, никогда не действует; прав Симон, когда говорит, что в данном случае мы имеем дело с объективным пособничеством господствующему классу, даже если Фременкур и осуждает его на словах.

Я никогда не забуду, что сказал Симон: «О политической позиции судят по поступкам, все остальное — лабуда. Это вносит полную ясность,— ты можешь разбить всех людей на три категории: 1) Социалисты, центристы, голлисты, короче говоря, реаки. 2) Пособники реаков, а именно: коммунисты, прогрессисты, левые социалисты. 3) Подлинные революционеры, то есть такие ребята, как мы, которые жгут американские флаги, взрывают американские банки, бросают булыжники в «Америкен экспрес» или ведут политическую работу на заводах, короче, что-то делают! Даже если это «что-то» на первый взгляд выглядит бредом». Так и вижу Симона, когда он мне все это объясняет у меня в комнате,— сидит на столе, положив

руку мне на плечо, ярко голубые глаза на худом лице, костлявом, бородатом, о, я его обожаю, он похож на Жерара Филиппа в «Идиоте», до встречи с ним я никогда бы не поверила, что существуют такие ребята, как Симон, он такой красивый, такой умный, прочел все на свете. И так суров со мной, никакой снисходительности, скорее даже склонен меня ругать! «Если мы с тобой спим, дурында, это еще не причина, чтобы ты не слушала и не прочищала свои мозги, ты никогда не слушаешь, ты мечтаешь, ты поглощена своей особой, ты, как водится у вас, девчонок, только и способна думать, что о своей заднице да о веночках из флердоранжа вокруг нее». И это правда, я в самом деле никогда не слушаю, разве что Кон-Бендита. Жозетт Лашо отпустила свои косицы, насупилась, сложила пухлые руки на красивом полированном столе и поглядела на оратора.

Это был тот самый тощий парень с судорожными жестами, который на нижнем этаже требовал, чтобы оккупировали зал Совета. В его лице, в носе, в косящих глазах был какой-то излом, казалось, ему все не нравится. Он даже улыбался время от времени, но и улыбка у него была тоже кривая, точно он упрекал себя в том, что смеет улыбаться в этом мире, где все идет наперекосяк.

— Товарищи,— сказал он,— мы все единодушно проголосовали за оккупацию зала Совета в качестве репрессивной меры в ответ на деголлевские репрессии, обрушившиеся на нантерских студентов. Как вы помните, внизу выступали отдельные чересчур опасливые товарищи (он повел своим косым взглядом в сторону того места, где только что сидел Кон-Бендит), которым не по душе был риск забраться сюда, но большинство с ними не посчиталось, и вот мы здесь, мы сделали то, что должны были сделать. Но теперь,— продолжал он, судорожно размахивая обеими руками,— теперь, когда мы здесь, чем мы занимаемся?— Он говорил громко, но и голос у него был странный, не то чтобы скопческий, потому что никакой визгливости в нем не было, но какой-то бесцветный, лишенный настоящей силы, как ни старался парень придать ему звучность.— Чем мы занимаемся?— повторил он с издевкой, как-то нескладно вздымая руки к потолку.— Восседаем тут на своих задницах и разглагольствуем, как профы! Даже хуже, потому что их болтовня выливается в решения, а мы можем так трепать языками, сидя в креслах, хоть всю ночь напролет, в Нантере ровным счетом ничего не переменится (яростные протесты). Ладно,— сказал тощий,— допустим. Допустим, что от этого что-то переменится в плане символическом, но взгля-

ните в лицо действительности, товарищи, все ваши речи не ведут ни к чему конкретному, это именно так,— продолжал он повышая голос в ответ на негодующие крики, которыми его прервали,— и я поэтому предлагаю конкретную акцию. Нам всем отлично известно, что администрация Нантера составила с помощью стукачей черные списки, так вот, раз уж мы оккупировали башню, я предлагаю разыскать эти списки, которые находятся в кабинете декана, и уничтожить их. (Аплодисменты и протесты.)

Вьетнамский студент Нунк (впрочем, он не был студентом и звали его не Нунк, это прозвище дал ему в общежитии какой-то латинист) полуприкрыл глаза и зааплодировал. Он положил себе за правило действовать в этой среде именно так. Он никогда не брал слова и всегда аплодировал самым крайним предложениям. Отец Нунка, его дядя, да и сам Нунк (в то время еще подросток) весьма скомпрометировали себя в Ханое сотрудничеством с французами во время войны в Индокитае, и после Женевских соглашений Нунка пришлось «репатриировать». Заботу о нем взяло на себя Министерство внутренних дел Франции, которое направило его в Алжир, где он «неплохо поработал» в роли «симпатизирующего» учителя. Он и в самом деле пользовался до конца совершенно незаслуженной симпатией в националистических кругах, что позволило ему остаться в Алжире и после Эвианских соглашений, до 1964 года, когда он был снова «репатриирован» и стал студентом, несмотря на свой возраст (ему к этому времени уже стукнуло тридцать пять, но в глазах европейцев он все еще выглядел двадцатилетним: янтарная кожа, ни единой морщинки, агатовые темные глаза, тонкий овал лица, изящные руки и ноги), или, во всяком случае, жителем Нантерского студгородка, получающим неведомо от кого большую стипендию, которая выплачивалась ему с 1965 по 1968 год, хотя Нунк редко посещал лекции и никогда не сдавал экзаменов. Но свой разносторонний опыт он и в самом деле продолжал обогащать, в юности вращался он среди бойцов за национальную независимость в Ханое, потом в кругах алжирского ФНО, теперь окунулся в среду студентов-гошистов.

В четырнадцать лет Нунку не пришлось выбирать свой лагерь, это сделали за него отец и дядя. И если Нунк продолжал идти по тому же пути, то не столько в силу собственных убеждений, сколько храня верность своим нанимателям. Выполняя свои функции, Нунк выслушал такое множество речей, что приобрел невосприимчивость к любой идеологии, однако это не замутило его чувств. В Париже он, не испытывая никаких

угрызений совести, ходил ради собственного удовольствия на все фильмы, прославлявшие вьетнамских партизан. Слезы выступали у него на глазах, когда он видел пейзажи своей родины, и он страстно желал поражения американцам. По отношению к этим последним у него не было никаких обязательств, они ему не платили. Впрочем, единственные революционеры, к которым Нунк, функционер контрреволюции, испытывал безграничное уважение, были его соотечественники. Никто не мог сравниться с ними, никто не действовал так успешно. Что до студентов-гошистов в Нантере, он считал их неплохими агитаторами, но не больше.

Именно поэтому, впрочем, за ними было трудно уследить. В их активности была какая-то легковесность, какое-то импровизаторство, исключавшее всякую возможность что-либо предвидеть, трудно было угадать, что они сделают в следующую минуту. Например, сегодня. Началось все как будто хорошо. Никакого насилия, никаких взломов, никаких разрушений. Нунк приготовился к мирному вечеру революционного суесловия. И когда ушел Божё, Нунк очень хорошо понял, что, несмотря на внешне оскорбительную сторону дела, тот удалился скорее успокоенный и отнюдь не намерен призывать полицию. И вдруг, теперь, когда все шло так хорошо, какой-то чокнутый ставит все под угрозу, призывая взломать двери деканского кабинета, рыться в его бумагах, уничтожить документы. Подобная непоследовательность ужаснула Нунка. Она в корне меняла дело. Акция приобретала совершенно иной характер. Все становилось куда серьезнее! От демонстрации чисто символического плана студенты без всякой подготовки переходили к грабежу со взломом! У них просто каша в голове, у этих гошистов. Они начисто лишены чувства революционной ответственности. Нунк, разумеется, ничего не имел против кражи в политических целях, но такого рода акции должны быть заранее продуманы, подготовлены и, главное, об этом не кричат со всех крыш. Обсуждать публично, в присутствии ста пятидесяти человек, стоит или нет совершать уголовное преступление, с точки зрения тактики непростительный инфантилизм.

Дискуссия вокруг овального стола разгорелась с новой силой. Одни были за, другие против, Нунк следил за дебатами с чувством нарастающего смятения. Если случится худшее, кого предупредить? Нунк ни в какой мере не был подчинен ни декану, ни его заместителю, которым вовсе не следовало даже знать о его существовании. Что касается Министерства внутренних дел, то кого найдешь там в этот час? В сущности,

французы всегда заботились только о собственном уюте и покое. Даже в Ханое, во время войны, после окончания рабочего дня никого из них нельзя было разыскать. Нунк подумал о поразительном отсутствии доблести у европейцев, о том, до какой степени они лишены тонкости, в полном, впрочем, соответствии с их грубым физическим обликом (особенно отталкивающим у женщин). Он подумал о своей жизни изгнанника в Алжире и Франции, вот уже пятнадцать лет, и внезапно слезы навернулись ему на глаза, он ссутулился в своем кресле, ему стало худо от тоски и отвращения, ах, он отдал бы все, все, чтобы снова окунуться в тепло ханойских улиц, неторопливо прогуливаться, вбирая в себя запахи, смотреть на проходящих девушек, таких стройных, легких, что они, казалось, ни идут, танцуют.

Дениз Фаржо выпрямилась, устремила к председателю свое открытое лицо мальчишки из Бельвиля под всклокоченной копной светлых волос, из-за которой ее прозвали в Педагогическом училище Соломенной крышей. Она попросила слова, размахивая рукой, чтобы привлечь внимание. Наконец председатель собрания ее заметил и с достоинством сказал:

— Товарищ, тебе предоставляется слово.

— Я задам наивный вопрос,— сказала Дениз Фаржо в относительной тишине, последовавшей за словами председателя.— Тут много говорят о черных списках, но есть ли уверенность, что они действительно существуют? А если такая уверенность есть, каким образом этот факт стал известен?

Ее прервал шквал яростных возгласов со всех концов зала. (Откуда она взялась? Кто она такая, эта дура? Она ни хрена не поняла!) На Дениз устремились возмущенные, насмешливые, презрительные взгляды. Жоме схватил ее за рукав и заставил сесть.

— Ты что, спятила?— сказал он приглушенным голосом.— Хочешь, чтобы нас выставили?

— Имею же я право высказать то, что думаю,— сказала, не повышая голоса, но внезапно обозлившись, Дениз.

Встал Давид Шульц и, выждав, пока его красивая смуглая морда, его рост, его рваный свитер произведут должный эффект, произнес, сильно грассируя:

— Здесь был задан вопрос, который некоторым показался несколько глупым (смех), но я все же на него отвечу. (Нет! Нет!) Я все же на него отвечу,— повторил Давид, повышая голос и слегка улыбаясь.— Пусть не говорят, что, когда нас прижали к стенке, мы отступили. (Смех.) И не забывайте, товарищи, что здесь есть студенты, которых в прошлом году не

было (говоря это, он подумал о Брижитт, и где-то в глубине его сознания кольнула тревога), и они нуждаются в информации. И вообще, уверены мы в себе или нет? Чего же нам бояться объяснений?

Опять раздались протесты и, выжидая, пока они смолкнут, Давид сделал паузу. Он смотрел на Дениз Фаржо, — в сущности, она была вся как на ладони: из рабочей семьи, хорошая девка, по уши влюблена в своего усатого коммуниста, оба они политически заблуждались, но, с другой стороны, они были пара что надо, у них были одни идеи, они были членами одной ячейки, они шагали рука об руку. По правде говоря, мне нужна такая девушка, как эта. Мещанки из моей социальной среды — пустое место, все они католички, невропатки, ничего не способны понять, даже к физическому наслаждению они не способны. Брижитт должна была бы быть сейчас здесь, вместе со мной, а не разыгрывать с Абделем маму-патронессу. Он с грустью подумал: ничего она со мной не разделяет, ни борьбы, ни даже наслаждения.

— Ну, рожай, что ли! — крикнул кто-то.

Давид обвел своими дерзкими глазами аудиторию.

— 29 марта 1967 года, — сказал он своим насмешливым голосом, — как видишь, я рожаю, и с точностью! — шестьдесят студентов, и я в том числе, захватили один из девчачьих корпусов Нантера, борясь за свободу передвижения по общаге и против одного из самых ханжеских буржуазных табу. (Крики одобрения, вопли: «Это всем известно! Это древняя история!») В противоположность тогдашним утверждениям прогнившей прессы все свершилось в полном порядке, и девственная кровь не была пролита, к великому разочарованию, безусловно, некоторых кликуш, которые при нашем появлении заперли на замок двери своих комнат в надежде, что они будут взломаны силой, я говорю о дверях. (Смех.) Но большинство девочек встретило нас с распростертыми объятиями, и нас целую неделю пичкали чаем, бутербродами, печеньем и блинчиками. (Крики: «Закругляйся!») Я округляюсь, олух. Продолжение вам известно: Граппен призвал своих фараонов, девчачий корпус был окружен сотней толстопузых жандармов. (Смех.) Я с сожалением должен сказать, что при виде этих «славных солдат» (де Голль *dixit*) у тридцати пяти из нас засосало под ложечкой и посему они смылись, сдрейфив и напустив в штаны. (Смех.) Но двадцать пять твердокаменных, и я в том числе, остались на целую неделю в корпусе, и девочки, которым наше присутствие здорово нравилось, кормили нас. Наконец, после долгих переговоров, проведенных на началах полного ра-

венства, с деканом, с одной стороны, а с другой — с жандармским капитаном, добродушным толстяком, который только и повторял: «Ну будьте же хоть немного разумны, у меня ведь тоже есть дети» (продолжительный смех), мы добились права покинуть корпус с военными почестями, то есть не предъявляя студенческих билетов, не называя своих имен и получив заверения, что к нам не будут применены никакие санкции. Однако во время пасхальных каникул двадцать девять из нас получили письма, составленные с восхитительным лицемерием. Цитирую: «Господин имя рек, вы нарушили параграф такой-то внутреннего распорядка, вследствие чего вы исключаетесь из Университета и теряете право пользоваться вашей комнатой в студенческом городке. Учитывая, однако, все обстоятельства, эта санкция будет применена к вам условно». Я уж не говорю, — продолжал Давид голосом, звеневшим от возмущения, — о том, что это письмо было гнусным шантажом, поскольку смысл его не оставлял сомнений: ну, теперь вы, ребята, попались, только попробуйте что-нибудь выкинуть, сразу вылетите вон. Шантаж, повторяю, совершенно недопустимый. (Горячее одобрение.) Но, главное, товарищи, по получении этого письма возникли некоторые вопросы. Когда двадцать пять студентов вышли из девчачьего корпуса, они, как вы помните, своих имен не называли и тем не менее все двадцать пять, без единого исключения, подверглись этой санкции. Чудеса, да и только! С другой стороны, из двадцати девяти исключенных, четверо даже не принимали участия в захвате девчачьего корпуса, но эти четверо были выбраны отнюдь не случайно, все четверо ребят были известны своей политической активностью. Вывод: в общаге был стукач, он составил список самых опасных ребят, он передал этот список репрессивной власти. Я надеюсь, — заключил он, — что с достаточной ясностью осветил этот вопрос перед студентами, которых здесь не было в прошлом году.

Он не садился, бросая тревожные взгляды на дверь. На протяжении всего заседания Кон-Бендит то исчезал, то появлялся. К сожалению, в момент, когда тощий сделал свое дурацкое предложение, Дани в зале не было, Давид послал одного из чуваков разыскать Кон-Бендита, а сам пустился на эти исторические экскурсии, чтобы выиграть время; с другой стороны, он действительно считал, что все началось с того циркулярного письма двадцати девяти студентам.

Слова никто не просил, зал тонул в смутном гуле. Взгляд Давида встретился со взглядом Дениз Фаржо. Он улыбнулся ей. Это ее поразило. Красивый парень и, похоже, я ему пока-

залась, этому типу. В сущности, она вообще нравилась мальчикам, она это знала, и зря она так робка с Жоме, она должна была бы подстегнуть себя и, набравшись храбрости, взять да и пригласить его поехать вместе с ней в Шотландию на малолитражке.

Кучка ребят, сгрудившаяся в глубине зала около двери, вдруг расступилась, Давид уловил движение еще до того, как увидел, чем оно вызвано, потом между плечами толпившихся студентов мелькнула рыжая грива Кон-Бендита, и наконец появился он сам, навалившись животом на стол. Он испытующе оглядывал аудиторию пронизательными голубыми глазами. Потом поднял вверх свою короткую руку, при этом движении его серая рубаша, из тех, что никогда не стирают, распахнулась на широкой пухлой груди.

— Эй, председатель, у тебя просят слова,— сказал Давид.

— Тебе предоставляется слово,— сказал председатель.

Все взгляды устремились на Кон-Бендита, воцарилась тишина. Кон-Бендит переговаривался с только что вошедшей девочкой. Она была такая же маленькая, такая же толстенькая, такая же рыжая и такая же грязная, как он. Дани обнял ее за шею и разговаривал с ней, прижав к себе с нежным и в то же время покровительственным видом. Казалось, он начисто забыл об аудитории или был слишком занят чем-то настолько важным, что утратил всякий интерес к происходящему. Зал зачарованно ждал, с терпеливой покорностью самки.

— Я дал тебе слово,— сказал наконец председатель.

— И я беру его,— сказал Кон-Бендит, скорчив в гримасе свое круглое веснушчатое лицо.

Раздался смех. Невероятный тип, подумал Давид, он может заставить их смеяться на пальчик! Взять хотя бы эту брюнетку с косичками, она так и ест его глазами, если бы я не знал, что она недавно спуталась с этим длинным дурнем эмэлом Симоном, я почти готов бы был поверить... Но нет, тут не в этом даже дело, тут действует слава. Будь Кон-Бендит хоть толстой обезьяной, сидящей на скале, они все равно собрались бы вокруг него — и самки, и самцы, и принялись бы выискивать блох, вылизывать, чистить, кстати (смешок), чистка ему бы отнюдь не помешала.

— Ты меня извинишь, товарищ председатель,— сказал Кон-Бендит, и его ряшка раскололась в широкой улыбке,— мы тут с моей невестушкой как раз договаривались о последних деталях религиозного обряда нашей свадьбы. (Продолжительный хохот. Пышечка тоже закатывается; мысль, что Кон-Бендиту может прийти в голову жениться на ней, кажется ей столь же

смешной, как и всем остальным.) Если я сообщаю вам об этом, товарищи,— продолжал Кон-Бендит, лукаво сверкая своими голубыми глазами,— то для того только, чтобы внести свою лепту в культ личности, поскольку ходят слухи, что среди нас есть люди, желающие произвести меня в гениальные вожди и отцы народов. (Смех.) Лишнее доказательство, что среди нас еще есть лбы, которые ни хрена не тумкают в анархизме. До них все еще не дошло, что у меня просто глотка луженая. Я высказываю свое мнение, и точка; если обсуждение показывает, что большинство со мной не согласно, я подчиняюсь большинству, вы сами это видели два часа назад. Так. О чем речь? Товарищ предлагает взломать дверь декана и устроить обыск в его бумажках, чтобы найти черные списки. Если здесь есть люди, которым хочется это сделать, я имею в виду, действительно хочется (слово «хочется» он выделил как особое, почти священное), пожалуйста, никто им не мешает, у нас нет групповой дисциплины, и я никогда не выскажусь против проявления личной инициативы («но», подумал Давид), но,— продолжал Кон-Бендит,— лично я считаю подобную экспедицию совершенно бесполезной, потому что, рассудите сами, товарищи, не станете же вы утверждать, что эти черные списки имеются в единственном экземпляре и что этот единственный экземпляр хранится именно в кабинете декана! Неужели вам кажется вероятным, что Граппен оставил их у себя, оградив от нас жалкой дверцей, которую любой мизинцем откроет! Право же, товарищи, вам отлично известно, что с прошлого года администрация старательно работает над тем, чтобы посеять среди технического персонала своего рода психоз! Даже уполномоченным социальной помощи рекомендовано при посещении Нантера не держать в сумке важные документы. И вы хотите, чтобы администрация сама не была во власти того страха перед студентами, который она прививает своим служащим? Даю голову — и все остальное — на отсечение, что у Граппена вы ровным счетом ничего не найдете! Ни фи́га! Пустой номер! Но даже (он сделал паузу, оглядел аудиторию, выставив вперед свою большую рыжую голову, раскрыл перед собой широкие ладони) допустим, что этот черный список окажется там, допустим, это — единственный экземпляр, выложенный Граппеном на стол, на самое видное место, чтобы не затруднять вас утомительными поисками?... Что тогда? Что вы сделаете? Уничтожите его? Ну и что? Тот же стукач, который в прошлом году составил этот черный список, назавтра восстановит его и вручит своим хозяевам. (Бурные аплодисменты, к которым Нунк присоединяется от души.)

Давид оглядел аудиторию. Дани и на этот раз купил их, никто больше не настаивал, никто никуда не рвался, даже тощий шибздик. По мастерству убеждения речь Дани, при всех различиях тона и регистра, стояла речи Марка Антония в «Юлии Цезаре»; первый период: демагогия, смачная шуточка, чтобы привести слушателей в хорошее настроение; второй период: *captatio benevolentiae*¹ — я не располагаю никакой властью, у меня просто глотка луженая (см. Марк Антоний — я никто, я просто солдат, который не умеет даже складно говорить); третий период: уступка — пожалуйста, делайте, если вам так хочется! (Брут — почтенный человек); четвертый период: поворот на 180° — но вы будете последними болванами, если так поступите (Брут — предатель). Я, конечно, и сам умею неплохо вкручивать шарики, но я, как оратор, слишком агрессивен, слишком вызывающ, Брижитт, в сущности, права, я злоупотребляю сквернословием, а сквернословие раздражает. У словесных табу поразительно глубокие корни. А разве можно убедить людей, когда ты их раздражаешь? Во всяком случае, на этот раз, я считаю, Дани спас положение. Оккупировав зал Совета, мы одержали бескровную (я имею в виду — без вмешательства полиции) победу, победу морально значительную, и эта наша победа была бы поставлена под угрозу, если бы мы поддались призыву шибздика и пустились взламывать и крушить. А я опять думаю о Брижитт, и это мешает мне слушать. Не могу сообразить, кто это сейчас взял слово? Дютей или Скалабрино?

— Предлагаю образовать комиссии, и пусть каждая из комиссий обдумает и обсудит определенную проблему. Кто за?

— Я думаю: вот еще, комиссии! Палата депутатов! Конгресс радикал-социалистов! С другой стороны, если не комиссии, то что? Чем занять чуваков на всю ночь? Некоторые анархи протестуют против комиссий от имени священной и неприкосновенной антиорганизации, но я кричу на них, я голосую за. Резолюция Скалабрино принята, я встаю и иду к двери. Какая-то девочка говорит мне в спину:

— Ты уходишь?

Я даже не оборачиваюсь, бормочу.

— Я иду спать, я устал.— Вранье, ничего я не устал, я просто думаю о Брижитт, я захожу в лифт, эта штука наделена памятью — можете нажать три или четыре кнопки, и лифт будет останавливаться на всех указанных вами этажах, но, в сущности, память у лифта дурацкая, совершенно лишенная

¹ Стремление завоевать благосклонность (лат.).

приспособляемости, она не принимает во внимание, что ты можешь передумать. Зато, пока ты доберешься до нижнего этажа, проходит черт знает сколько времени, и в лифте, запертый в металлическую зеленую коробочку, я внезапно все понимаю, занавес самообмана разрывается, все проще простого: я ревную. О, я себе отвратителен, это — предел мелкобуржуазного падения, мне стыдно, противно, но в голове крутится все та же пластинка. Я выхожу из лифта, я выхожу из холла, я иду к общаге, широким шагом под морозящим дождем.

IV

Уставясь в темноту широко раскрытыми глазами, Жаклин лежала под простыней, вытянувшись во весь рост, голая, неподвижная, плотно сжав ноги и сложив руки на груди, как святая в своей раке. Ну вот, мне теперь не хватает только чехол меж пальцев, букса, окропленного святой водой, в ногах и папы, рыдающего в уголке с бледным, искаженным лицом. Она закрепила этот кадр и почувствовала глубокое удовлетворение, папа был в самом деле раздавлен горем, бедный старик, взгляд его блуждал, губы тряслись, галстук сбился на бок, он шептал слабым голосом: «Доченька! Моя дорогая, моя красивая!» К сожалению, тут появлялась мама на своих высоченных каблуках и принималась кудахтать, махать ручками. Нет, это ужасно, даже у моего смертного одра она не может прекратить свои кудах-тах-тах. Рассказывает о моем самоубийстве своим приятельницам, так поглощена этим, что забывает даже страдать, впрочем, можно ли вообще страдать на таких каблуках? Разве что от боли в ногах. До того fussy, до того нелепа, что сводит на нет любую драму. Ей все одно — радиатор ли подтекает, дочь ли умирает, она пошла-поехала! Замахала своими ручками и кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. Жаклин попыталась вернуться к образу заплаканного отца, который доставлял ей такое наслаждение, но он был совершенно заслонен пируэтами, трепыханием и кудахтаньем матери. Она вздохнула — отвратительная женщина, вечно все мне портит, даже смерть.

Жаклин расслабилась, перевернулась, легла на живот. По коже побежали мурашки, она почувствовала, что ей страшно. Менестрель не сдержал слова, он забыл о ней, и, значит, она должна перейти к действиям. У нее повлажнели ладони, она зажгла свет. На голубом листе большого формата бумаги для писем, прикрепленном кнопкой к перегородке под красное де-

рево в изголовье кровати, было написано ее круглым нетвердым почерком:

ПРЕДПИСАНИЕ

1. Вернуться к Менестрелю, убедить его провести ночь, платонически, в моей комнате. Если откажется, С.

2. Если его не будет, оставить следующую записку: «Приходи сейчас же, умоляю, ты мне очень нужен». Если не придет, С.

3. Если он придет, не отвечать на стук, и если он уйдет, не осмелившись войти, С.

Жаклин перечла свой текст пересохшими губами. В третьем параграфе я все же перегнула палку, я не оставила себе никакой надежды, он так воспитан, что ни за что не войдет, если не услышит разрешения, в особенности к девушке, но теперь это уже непоправимо. Она поглядела на часы и проглотила слюну. Хуже всего ждать. Она дала себе передышку на несколько секунд, тщательно перебирая в уме предстоящие действия. Если он не придет, я надену халат, поужинаю тем, что на столе, и СОТРУ КРУГ. Круг — это моя жизнь, стакан с водой — Менестрель, я стираю круг, в котором стоит стакан. Я стираю его, глотая таблетки одну за другой, год за годом. Потом я вычеркиваю имя Менестреля из предписания (не хочу, чтобы у бедного красавчика были неприятности после моей смерти), снимаю халат и, голая, ложусь в постель. Она поколебалась. Думаешь, голая? Не пахнет ли это эксгибиционизмом? Дешевым эротизмом из кинобоевика? Она покачала головой, нет, ничего подобного, все гораздо проще, нагой ты пришла в мир и нагой из него уходишь. Сбросив все лишнее. Она закрыла глаза, снова скрестила руки на груди, вот я совлекаю с себя, подобно святой, все земные блага и предстаю, нагая, перед создателем. Она сделала паузу. Если не принимать в расчет того, что в бога я, разумеется, не верю и что он самоубийства не одобряет. Так что и здесь — тупик.

Это препятствие ее остановило. Она вернулась назад. Итак, она ест холодный ужин, приготовленный на столе. Возражение: глупо все-таки есть, когда ты собираешься покончить с собой. Она задумалась, но ни к чему не пришла и устало отмахнулась... В конце концов, самое важное не жратва, а то, что должно последовать затем: КОГДА ОНА СОТРЕТ КРУГ. Это была находка, она ощутила странное удовлетворение,

точно эта находка не имела прямого отношения к ее собственной жизни.

Репетиция была окончена, и ее снова охватил страх. Она почувствовала, что у нее дрожат руки. Нет, решительно, сегодня день, когда она непрерывно дрейфит. Перед тем, как пойти к Жоме. Перед тем, как пойти к Менестрелю. И теперь, перед тем, как покончить счеты с жизнью. Она перечла третий параграф в нижней части голубого листка, приколотого к пергородке. Я просто псих, какого черта я позволяю этим проклятым предписаниям себя тиранить? Вот возьму и сорву этот листок, очень просто, разорву его на клочки, и конец, я сама все это придумала, могу и раздумать. Она одернула себя, нет, как раз нет, я не могу, я чувствую, что не могу. Я зашла в тупик. У нее сдавило горло, мысли остановились, перед ней была стена.

Жаклин встала, оторвала от голубого блока для писем новый лист бумаги, уселась, голая, за стол и, отодвинув тарелку, на которой лежал ломоть ветчины, принялась писать. Рука дрожала так сильно, что ей пришлось подпереть правое запястье левой рукой.

Если Менестрель придет и войдет в комнату без моего разрешения, я

1. Больше никогда не буду составлять предписаний.
2. Стану его рабыней.

Она посмотрела на листок и почувствовала облегчение, но не надолго. Новое предписание вывесить нельзя, порядок совершенно четок: не больше одного предписания зараз. Она открыла ящик своего стола и, сунув туда бумагу, задвинула ящик обратно. Он захлопнулся с сухим стуком, точно упал нож гильотины.

Она опять легла, потушила свет, снова неудержимо начали дрожать ноги. Жаклин сжалась в комочек, охватив колени сведенными судорогой руками, ей было худо, страшно. Она была ужасающе одинока в этой темной камере Нантера, окружена глупыми и бессердечными зубрилками, и ей предстояло умереть. Знания — нуль. Ценность личности — нуль. Будущее — нуль. Жаклин Кавайон — ничтожество, никаких достоинств, никому не интересна. Она не существует. Ни на что не годится. Даже не шлюха, потому что шлюха — та по крайней мере содержит своего кота. Она сказала вслух: «Никто меня не любит». Нет, неправда, — родители. Но они-то как раз не в счет. Они меня слишком любят. Их любовь эгоистична. Я

их вещь, игрушка, забава. Я хочу, чтобы меня любили не так. Не так сильно, не так слепо, не так несправедливо. Почему папа ничем не «жертвует» ради сына привратницы? Он этого куда больше заслуживает, чем я. Внезапно слезы хлынули из ее глаз, все тело сотрясли рыдания, она иступленно взмолилась, о Менестрель, умоляю, не покидай меня, ведь даже к собаке питают привязанность.

Раздался робкий стук в дверь, она вздрогнула, подумала — это он, он меня не покинул, она готова была уже крикнуть: войди! Но вовремя сдержалась. Раздался второй удар, более сильный, она зажала рот ладонями. Ей хотелось закричать: входи, ну входи же! Она стиснула зубы. Сердце билось о ребра глухими сильными толчками, которые отдавались в ушах, она застонала, сунула кулак в рот. Нет, она подчинится до конца предписанию. Будет ждать! Ушел он или не решается войти? Нет, он просто убьет ее своими колебаниями. Ну пусть же войдет, господи Боже мой, пусть войдет, идиот этакий! Кровать тряслась под ней, она вдруг поняла, что вся дрожит с головы до ног. Наступила долгая тишина, и она подумала в отчаянии: ну вот, конец. Она стояла у скамьи подсудимых, судья огласил приговор, такой, как она и ждала, нож гильотины падал на ее шею, земля ускользала из-под ног, ей показалось, что она летит в пустоту. Черные ледяные отвесные стены проносились мимо нее с головокружительной быстротой.

Она ясно расслышала скрип — ручка повернулась, дверь открылась с тихим шорохом, зашуршала по стене рука, нащупывая выключатель. Эта секунда ни с чем не могла сравниться. Чудовищный страх Жаклин мгновенно сменился безграничным восторгом. Она сдернула с груди простыню, откинулась на подушки, закрыла глаза, разбросав руки по обе стороны недвижимого, бездыханного тела. Она заставила себя замереть, даже веки не дрогнули, когда вспыхнул свет. Мгновение спустя она с наслаждением ощутила руки Менестреля, сжавшие ее плечи, услышала его испуганный голос:

— Жаклин! Жаклин!

Она безвольно мотала головой, это было восхитительно, я действительно мертва, его еще будут мучить угрызения совести, что он пришел слишком поздно.

— Жаклин! — закричал Менестрель. — Господи! Она еще теплая! — продолжал он вслух, тряся ее изо всех сил. Голова Жаклин безжизненно моталась по подушке. — Жаклин! — заорал Менестрель.

Раздалось пять или шесть взбешенных ударов в перегородку, отделявшую Жаклин от соседки. Ну вот, теперь он подни-

мет на ноги весь этаж, сбегутся все эти дуры. Точно им есть дело до моей смерти. Она подняла веки, ресницы затрепетали, она смотрела на него блуждающим взором.

— Не так громко, прошу тебя,— сказала она ослабевшим голосом. Впрочем, она действительно чувствовала в этот момент смертельную усталость.

— Ты жива!— закричал он, усевшись в изголовье ее кровати с совершенно идиотским выражением лица.

А он все же, отметила она с удовлетворением, бел как бумага.

Он сказал заикаясь:

— Я пойду позвоню врачу.

— Нет, нет.

Она мертвым грузом лежала на кровати, неподвижная, бескровная, вялая.

— Я иду,— закричал он, поднимаясь.

Снова яростно заколотили в стену.

— Нет, нет,— сказала она, возвращаясь к жизни и бесильно приподнимая руку в нелепом усилии удержать его.— Я ничего еще не приняла!

— Клянешься?

— Ну правда, клянусь тебе.

Он снова сел, он был уже не так бледен, но на лбу его выступили капельки пота. Рука ее упала. Номер с рукой был плох.

— Ну, знаешь,— сказал он сдавленным голосом,— и напугала же ты меня.

— У меня больше не было сил,— сказала она страдальческим голосом.— Я уснула. Но все равно,— продолжала она энергично, вдруг приподымаясь,— если бы ты не сдержал слова, я бы это сделала! Я все приготовила на столе. Я выработала себе предписание. Да, впрочем, смотри,— сказала она, указывая рукой на большой голубой лист, приколотый кнопкой в изголовье.— Смотри. Я его вывесила.

Менестрель, не отрываясь, прочел бумагу, потом проглотил слюну, перевел глаза с листа на лицо Жаклин, потом снова на лист.

— Какой идиотизм,— сказал он, когда обрел дар речи.

Он побледнел от злости и встал. Он задыхался, он не мог найти слов.

— Ты соображаешь что-нибудь или нет!— заикался он.— Я ведь мог не прийти. Я должен был уехать в Париж!

Она посмотрела на него, раскрыв рот.

— Да нет же, послушай, ты назначил мне свидание в ресте.

— Я забыл! — воскликнул он, мечась взад-вперед по комнате, бледный от бешенства. — Ну и идиотизм! С ума сойти! Хорошо еще, что эта баба позвонила мне и отменила визит. Нет, но ты отдаешь себе отчет в том, что все висело на волоске? — продолжал он, возвращаясь к Жаклин и в ярости наклоняясь к ней. — Брат этой бабы неожиданно прибыл сегодня из Рима. Если бы этот кретин не попал на самолет, ты проглотила бы свои таблетки, дура несчастная!

Жаклин побледнела.

— Потрясающе, — сказала она. — Потому что в прошлом году, когда я кончала с собой, была такая же история. Я подсунула записочку папе под дверь: «Папа я в отчаяние, зайди ко мне, как только вернешься». А он не пришел.

— И ты подчинилась предписанию! — саркастически сказал Менестрель.

— Подожди, папа потом мне все объяснил. В тот вечер он чувствовал себя до такой степени измученным, что не вошел к себе в кабинет, как обычно, а отправился прямо в спальню. Ну и проповедь он мне закатил, будь здоров! «Легкомыслие... Не нахожу слов...» и т. д. И все же это произвело на меня впечатление, потому что он был весь бледный, руки тряслись. Наконец он меня целует и отправляется восвояси, вернув мне мою записку. После его ухода я смотрю на записку и вижу, что он поправил красными чернилами «е» на «и» в «в отчаянии» и вставил «ь» в «вернешься». И это все испортило, я его ненавижу!

— Да ты просто сумасшедшая! — со злостью сказал Менестрель. — Это сумасшествие, инфантилизм и безответственность. — Ему стало легче, когда он это произнес. Особенно ему понравилось слово «инфантилизм». — Послушай, ты отдаешь себе отчет? Я повторяю, если бы этот несчастный америкашка опоздал в Риме на свой самолет, тебе была бы крышка.

— Ну и пусть, — сказала Жаклин, пожав плечами. — Я бы умерла. А зачем я вообще живу? Никто меня не любит. Мама — законченная идиотка, папу не интересует ничего, кроме «Общего рынка», борьбы с коммунизмом и орфографии.

— Ну, послушай, это же чушь! — закричал Менестрель, совершенно ошарашенный. — Они обожают тебя, твои родители! Ты сама их в этом упрекала!

В этот момент в перегородку опять бешено заколотили.

— Вот видишь! — сказала Жаклин торжествующим тоном. — Эти идиотки меня преследуют! Будь душкой, не кричи и запри дверь на ключ.

Он послушался, запер дверь, вернулся, сел на кровать, на этот раз уже подальше, в ногах. Соблазнительно было думать: она просто ломает комедию, она не сделала бы этого. Но он как раз чувствовал, что она могла и вправду проглотить свои гнусные таблетки, самым дурацким образом, только для того, чтобы подчиниться предписанию. Неслыханно, она ни к чему не относится серьезно, даже к собственной смерти. Он уперся головой в стену, ему было нехорошо, посасывало под ложечкой, подташнивало. К тому же она возбуждала его; ему не удавалось сосредоточиться, и до него не доходил ее увлеченный рассказ о сегодняшнем вечере. Она приподнялась на локте и, продолжая говорить, обратила внимание на то, что он сидит, опустив глаза. Не осмеливается глядеть на ее обнаженные груди. Все же время от времени он бросал на них косые быстрые взгляды, это ее позабавило, чувствовалось, что он не разрешает себе их видеть, но не может с этим справиться. Она решила было накрыться, но нет, пусть себе глядит, бедняжка, это такой пустяк после всего, что произошло.

— А ты,— сказала она с упреком,— ты не был у себя, когда я к тебе вернулась.

— Был,— сказал он после паузы,— я был в комнате, но я лежал, меня одолела хандра, к тому же мне и в голову не пришло, что это можешь быть ты. Я нашел твою записку потом, когда ты уже ушла.

Она глубоко вздохнула и внезапно, протянув руку, сорвала листок с перегородки над своей головой, разорвала его пополам, потом на четыре части, потом на восемь. Но не остановилась на этом и продолжала старательно уничтожать предписание, пока у нее в ладони не остались только бессмысленные голубые клочки. Мецстрель безмолвно наклонился вперед, вытянул из-под стола корзинку для бумаг и протянул ей. С торжественным видом, молча, точно выполняя какой-то ритуал, Жаклин погрузила в нее руку, полную клочков, и растопырила пальцы. Она развела их резким движением, точно таким образом брала реванш и выражала свое презрение к предписанию.

— Итак,— сказала она патетически,— предписание мертво.

— До следующего раза,— сказал Мецстрель ворчливо.

Жаклин посмотрела на него с трагическим видом.

— Нет,— сказала она,— с этим покончено. Отныне торжествует предписание не писать предписаний.

О «рабстве» она, однако, умолчала. Она чувствовала, что заявление такого рода может только отпугнуть его.

— Вернее, не так,— мягко поправилась она, обращая к нему свои «сильнодействующие» глаза.— Если ты согласишься предписать мне что-то, я подчинюсь.

— Ты серьезно?— сказал Менестрель, подняв брови.

— Конечно.

Он некоторое время молча разглядывал ее, потом, без тени улыбки, сказал, отводя глаза:

— Ну что ж, первое предписание я тебе продиктую немедленно: накройся.

— Ах, господи, в самом деле, я же голая,— сказала она смущенно, с удивлением опуская глаза на свою грудь и быстро натягивая на себя простыню.

Она подоткнула ее под мышками. Когда у тебя полные плечи, такого рода драпировка выглядит весьма соблазнительно, придает тебе облик сенегалки. Она бросила довольный взгляд на ложбинку, убегающую под простыню.

— Ты мне не веришь!— сказала она вдруг с укоризной.— Ты не веришь, что я хотела покончить с собой! Посмотри сам на стол!

— Да нет, я тебе верю,— сказал он изумленно.

— Нет, посмотри! Посмотри!

Он поднялся. На столе, у окна, плотно затянутого угольно-серыми шторами, он увидел маленькие белые таблетки, разложенные по окружности, в центре которой стоял стакан с водой. Но сильнее всего его поразили ломоть ветчины, лежавший на тарелочке из дымчатого стекла, сухой хлебец, кусок масла, крутое яйцо, плавленый сырок и яблоко. Он окаменел, в животе засосало, рот затопило слюной. Он сказал изменившимся голосом:

— Ты не ела?

— Мне не хотелось.

Не будет же она ему все рассказывать. Он примет ее за настоящую психопатку. Менестрель безмолвствовал, уставясь на стол. Он изо всех сил старался перебороть хорошее воспитание, привитое ему госпожой матушкой.

— А почему ты спрашиваешь?— наконец сказала она.— Ты голоден?

— Как зверь,— сказал он глухим голосом, не глядя на нее.— Я не ел с двенадцати часов.

— Ну так давай, не стесняйся.

По правде говоря, у нее уже некоторое время — если быть точной, с того момента как она выбросила в корзину обрывки предписания,— посасывало в животе. Но не станет же она отбирать половину жратвы у бедного красавчика. Нет, пусть ест

все, а я буду на него смотреть, это доставит мне куда больше удовольствия.

Менестрель был не в силах затягивать ритуал вежливости, он сел за стол и принялся есть. Ветчина таяла во рту, с каждым ее солоноватым мягким куском Менестрель ощущал прилив сил и бодрости; в сущности, Жаклин, несмотря на все свое комедиантство, хорошая девка. Проглотив ветчину и крутое яйцо, он несколько замедлил темп и, починая сырок, с удовольствием отметил, что к нему вернулась способность думать, вернее, думать не только о пище — просто невероятно, какое ощущение полноты жизни давал ему этот хрустящий хлебец с присоленным маслом и плавленным сырком. Не знаю, как они живут, эти девочки, они ничего не едят, или почти ничего, берегут пресловутую талию! Точно в скелете есть что-то привлекательное. А эта даже в вечер, когда собирается покончить с собой, не забывает о своей талии, нет, просто невероятно! И в гробу рассчитывает пленять! Не поймешь, где тут правда, а где ломание, во всяком случае, комедиантства здесь немало. Того, что Демирмон называет «игровой стороной самоубийства, особенно у молодых». Мне нравится это слово «игровая», да и по существу он прав. Взять эти пилюли, разложенные по кругу, и стакан в центре. Что это, символ? Каков смысл этого круга? Что круг замкнулся, и жизнь, кончена? Как раз это, на мой взгляд, самое тревожное, это меня и пугает; невольно думаешь, что девочка, которая таким образом разложила эти четки, способна также и разрушить этот круг, глотая зерно за зерном, чтобы довести игру до конца.

Жаклин, сидя на кровати и прислоняясь спиной к перегородке под красное дерево, которая отделяла комнату от умывалки, смотрела на Менестреля. Он сидел к ней вполоборота, почти спиной, и ей недоставало теплоты его взгляда. Но в то же время было приятно, что он тут и забыл о ней, сидит как попало, не заботясь о впечатлении, которое производит, жадно поглощая ее снесь. Жаклин подумала о листочке, сунутом недавно в ящик стола, у нее вдруг стало тепло на душе. Ей не терпелось дожидаться завтрашнего дня и вывесить предписание, которое освобождало ее от всех предписаний и превращало отныне в рабу Менестреля. Как жаль, что это не может быть истолковано буквально, как во времена древнего Рима, когда она была бы исхлестана бичом, затоптана в грязь, брошена на съедение муренам. Нет, еще лучше было бы стать его собачкой, он надевал бы на нее ошейник, водил гулять на сворке, заставляя ходить нагишом, он работал бы, а она сидела бы под столом у его ног. В хорошем настроении он по-

чесывал бы ее за ухом, рассеянно похлопывал по спине, и она тотчас бы бросалась лизать его руку. Он говорил бы «на место, на место, Кики, оставь меня в покое» и легонько отталкивал ногой или хлестал поводком по спине, и она тотчас распластывалась бы у его ног, покорная, любящая, и молила бы о прощении своими печальными собачьими глазами. Она поправила под мышками простыню и насупилась. Это было бы слишком прекрасно, я зарываюсь, он так трудолюбив, что не допустит моего присутствия в комнате, даже если я рта не раскрою.

В этот момент Менестрель повернул свой стул и посмотрел на нее, держа в правой руке надкусанное яблоко и разжевывая со вкусом и хрустом сочный душистый кусище (Бельмон, Бельмон, гигантский бельмонский чердак с его пожухлыми от мороза яблоками, Бельмон без госпожи матушки, Бельмон с крупными добрыми красными руками Луизы, ставящей на стол исполинский пирог). Он энергично двигал челюстями. Яблоко таяло во рту. «В усладе исчезает круглый плод. Во рту свою он сладость обретет. Но в тот же миг утратит жизнь и форму»¹. Я сам начинаю сиять от света этих стихов, так они хороши, я наслаждаюсь вдвойне — и яблоком, и поэзией, даже втройне, потому что я ем и смотрю на нее. Какие у нее глаза! Эти глаза — целый пейзаж. Большие, тенистые, продолговатые, и ресницы словно камыши, а какое тело, смотришь, и кажется, что погружаешься в него, такое оно нежное. Он погрузил зубы в яблоко, отхватил еще кусище, завладел им. Ах, я ем, ем, какое это, господи, наслаждение, благодарю тебя, что ты дал мне рот, желудок, пищевод, печень, благодарю за все, даже за способность испражняться. Он проглотил душистую кожу, я поужинал как бог, господи. Кровь быстро струилась по его жилам. Когда так ешь, думаешь, вот здорово, что тебе двадцать лет, мне всегда будет двадцать лет. Во мне столько сил, бодрости, радости, я никогда не смогу всего этого растратить, вполне возможно, что я бессмертен. Он расхохотался.

— Чего ты смеешься? — спросила Жаклин.

Он поднялся, сплел пальцы на затылке и, встав против нее, потянулся, потом руки его упали, он посмотрел на нее с улыбкой на губах, но насупив брови:

— Примо, благодарю. Секундо, ты мне нравишься, правда. Терцио, не надо со мной ломать комедию, Жаклин. В следующий раз, если ты вздумаешь пугать меня смертью, я тебя оживлю парой оплеух.

¹ Перевод А. Ревича.

Она посмотрела на него, потом опустила глаза, покраснела, свернувшись в клубочек, внутренне обмякла. Он был сух, суров, делай то, не делай этого, какое наслаждение, жизнь приобретала смысл. Менестрель сел на кровать у нее в ногах, скрестил руки на груди и сказал:

— Завтра мне, к сожалению, придется подыскать себе работенку.

Она подняла голову.

— Я думала, у тебя стипендия?

— Стипендия есть, но я еще ничего не получил. Представляешь! 22 марта!

— А ты не можешь занять под стипендию?

— В материнском займе отказано.

Он сказал это сухим тоном, исключаящим дальнейшие расспросы.

— А приятели? Бушют?

— Ах нет, только не Бушют! Во-первых, Бушют весьма прижимист. Он одолжит мне какую-нибудь ерунду, которая меня не спасет, скажем десять франков. И сейчас же сочтет, что это дает ему на меня права. Будет торчать целый день у меня в комнате. Пустит корни, рта на закроет.

— Ты, значит, его не любишь? — осторожно спросила Жаклин.

— Все меньше и меньше.

— А он?

— О, он питает ко мне амбивалентные чувства.

— Что ты хочешь этим сказать?

Он повертел кистью: ладонь вверх, ладонь вниз:

— То любит, то ненавидит...

Она посмотрела на него, бросила взгляд на покрывавшую ее простыню и сказала:

— Повернись, пожалуйста, ко мне спиной. Я должна встать.

Она охотно показалась бы ему голой, но боялась, что он будет шокирован. Он встал, обошел стол, отодвинул угольно-серую штору. Стройка, фонари, морозящий дождь. Час назад из окна своей комнаты он видел тот же пейзаж, казавшийся ему мрачным, а сейчас что-то неуловимо изменилось: в пейзаже было какое-то обещание, напряженное ожидание, какой-то дух приключения, точно в романе. И время тоже текло по-иному. Каждая минута несла в себе что-то значительное. И он сам стоял здесь, упираясь лбом в стекло, неся груз значимости, как персонаж некоего повествования.

— Можешь повернуться, — сказал за его спиной голос Жаклин.

Он засунул руки в карманы и повернулся с драматической замедленностью. Господи Боже мой, да она меня заразила, я тоже актерствую.

Он занял опять свое место на кровати и стал с интересом наблюдать за тем, что она делает. Она рылась в большой, весьма шикарной коричневой сумке, стоявшей у нее на коленях, вытаскивая из нее быстрыми, озабоченными, обезьяньими движениями массу вещей, по-моему совершенно бесполезных. Сумка казалась бездонной, Жаклин вынимала и вынимала из нее какие-то странные предметы.

— А, вот они,— сказала она наконец с торжествующим видом.— Я знала,— добавила она без тени иронии,— что куда-то их засунула.— Она потрясала четыремя купюрами по сто франков.

— Держи,— сказала она,— поделим поровну, двести тебе, двести мне.

Она протянула ему правой рукой две бумажки. Он заметил, что левой она придерживает под мышкой простыню, плотно зажав ее между большим и указательным пальцем. Он посмотрел на деньги и покраснел.

— Ты спятила! Я не могу принять от тебя такую сумму!

— Как? — возмущенно сказала она, потрясая купюрами в протянутой руке.— У Бушюта ты можешь занять, а у меня — нет! Ну это...— Она не находила слова.

— Дискриминация.

— Вот именно, я тебя за язык не тянула. Давай, бери (она все еще потрясала бумажками). Это меня несколько не стеснит, правда. Через неделю я получу чек от папы.

— Спасибо,— сказал Менестрель, опустив глаза.

Он аккуратно сложил обе купюры и засунул их в задний карман брюк.

— И знаешь, можешь не опасаться,— сказала она, сбрасывая всю мешанину обратно в сумку,— я не буду думать, что у меня есть на тебя права.

Менестрель молчал, склонив голову, опустив глаза, переплетя руки между колен. Думаешь, она сдержит слово? Не вторгнется к тебе? Не помешает работать? А ты, Менестрель (см. проповедь Журавля), ты сам не распустишься? Не станешь работать спустя рукава? Слишком много думать о ней? Он расцепил руки и положил их на колени. Как бы там ни было, даже если взять наихудший вариант, она отнимет меньше времени, чем дурацкие приработки, из-за которых пришлось бы топать на другой конец Парижа. Он тут же устыдился этой мысли. Ну и сволочь же ты. Она помогает тебе

разрешить проблему номер 1, а ты вместо благодарности мелочишься, упираешься и выставляешь колючки. Не смей забывать, сын Жюли: Жаклин, может, и чокнутая, но хорошая девка, и вовсе не такая эгоистка, как она сама думает. Он поднял голову.

— Каким образом у тебя к 22-му сохранилось столько монет?

Она поставила сумку на пол у кровати и пожала плечами.

— Отец дает мне 1000 франков в месяц каждое первое число, и сверх того оплачивает комнату.

— Он богат, твой отец?

— В основном глуп. Я у него столько не просила.

— Ты не должна так говорить,— сказал Менестрель, шокированный,— это нехорошо. Он все же стоящий тип, раз не скупится. В особенности, если он не слишком богат.

— Да я же люблю его,— удивленно сказала Жаклин.— Ты не думай. В каком-то смысле даже очень люблю. В общем, все это более сложно. Я питаю к нему (они сделала неопределенный жест) эти самые, амбикакие-то чувства.

— Амбивалентные.

— Вот-вот, амбивалентные. Видишь, сколько я уже узнала от тебя.

Он отметил про себя это «уже» и взял на заметку. Внимание. Опасность. Обдумать.

— Знаешь,— сказал он, поднимая голову,— это очень мило с твоей стороны, но я ведь не знаю, когда получу стипендию.

Она пожала плечами.

— Во всяком случае, до конца третьего триместра ты ее получишь. Ну вот, все складывается как нельзя лучше, отдашь мне все сразу перед каникулами. Это меня очень устраивает. Я таким образом сэкономлю, и мне не нужно будет просить денег у папы на поездку в Грецию.

Он опустил глаза: «отдашь мне все сразу». Она намекала, что будет ссужать его и впредь, намекала тактично, мило, щадя его самолюбие, даже изображая все как некую услугу с его стороны. Он поднял глаза и посмотрел на нее серьезно, проникновенно, смущенно.

— Спасибо,— сказал он. И, не зная, что делать дальше, поднялся.— Ну ладно,— бросил он, чувствуя какую-то неловкость,— я пошел.

Он подошел к столу, неторопливо собрал одну за одной таблетки, лежавшие вокруг стакана, и молча сунул их в карман. Она наблюдала за ним с бьющимся сердцем. В сущности,

уходить ему явно не хотелось, но как его удержать, на вызвав подозрений, что она за него цепляется.

— Будешь заниматься? — сказала она спокойно, безразлично, тоном «школьного товарища».

— Да нет, я слишком устал, — сказал он тем же тоном. — Я не закончил разбор старофранцузского, но это может подождать до завтра, ничего спешного.

— Ну тогда, — сказала она все тем же ровным приятельским тоном, — посиди еще немножко. Мне совсем не хочется спать, а тебе?

— Мне тоже, — живо откликнулся он, не глядя на нее, и, непринужденно сунув руки в карманы, опять сел на постель в ногах у нее, привалился к стене. Ну вот. Два товарища, с одного фака, с одного отделения, из одной группы, у обоих сна ни в одном глазу, и они решили немного потрепаться, что может быть естественнее?

Молчание затягивалось, становилось затруднительным. Не так-то легко было завязать эту товарищескую беседу, сразу не получалось.

— А ты в хороших отношениях с родителями? — сказала Жаклин.

— С матерью не очень. Отец умер.

Сухо, отрывисто, тот же тон, которым он произнес «в материнском займе отказано».

— Твоя мать живет в Париже?

— Нет, в провинции, в деревне.

— В деревне? — ошарашенно спросила Жаклин.

Он посмотрел на нее. Нет, они просто невероятны, эти парижане. «Сударь, как можно жить в деревне?»

— Там красиво, знаешь. Большой парк.

— А, вот что, — сказала Жаклин совсем другим тоном, — у вас, значит, замок.

Ну вот, теперь снобизм.

— Да, — сказал он неохотно. — Не Шамбор, конечно. Небольшая такая штуковина.

Он был недоволен собой: «небольшая штуковина» тоже было данью снобизму.

Они опять замолчали. Жаклин смотрела на него. Ну и еж. Дружеская беседа не клеилась.

— Послушай, — сказала она, — не думай только, что я хочу тебя соблазнить, да я сегодня и не могла бы, мне слишком больно, но если хочешь доставить мне удовольствие, погаси свет и ляг рядом со мной, мы поболтаем, как брат и сестра.

Он не ответил, он был шокирован. Ну и бесстыдны эти девчонки! Говорят о своем теле, будто так и надо, я бы ни за что не осмелился сказать девочке, что мне слишком больно, чтобы...

— Не хочешь?— сказала она после паузы.

— Нет, почему,— сказал он принужденно.

Он встал, погасил свет, вернулся к кровати. Она зашептала в темноте:

— Да нет, не так, не на одеяло, разденься и залезай ко мне, так будет гораздо приятнее.

Ему вдруг сразу стало легко. Темнота, тишина, шепот. Погасив свет, он ощутил теплый приятный запах хорошо вымытой девушки. Теперь, во мраке, все это как нельзя больше походило на его любовные отношения с миссис Рассел — то же ощущение свободного парения, пьянящей легкости, что и в грезах. Он скользнул под одеяло, она опять зашептала, нежно, настойчиво:

— Прижмись ко мне, кровать очень узкая, сунь левую руку мне под спину, вот так, я лягу повыше, тебе будет удобнее.

Он подчинился, голова его лежала у груди Жаклин, правая нога на ее ляжке. Его охватило удивительное ощущение — тело девушки было мягким, нежным, упругим. Необыкновенным было и то чувство безопасности, которое он испытывал в объятиях Жаклин, уткнувшись лицом в ее теплую бархатистую грудь. Странное дело, это чувство безопасности опять напомнило ему Бельмон в отсутствие госпожи матушки, когда Луиза говорила: «Господин Люсьен, я затоплю у вас в комнате» (что было строгойше запрещено Жюли). Луиза, ее тихая, спокойная улыбка, ее большие покрасневшие руки, скрещенные на животе,— с ума сойти, какой прилив нежности вызвали в нем тогда эти несколько слов, но он только и мог сказать: «Спасибо, Луиза, спасибо», опустив глаза, уставившись на ее обнаженные руки, полнота, сила и цвет которых были для него символом доброты. В темноте, где-то над собой, он услышал шепот Жаклин:

— Ты в первый раз с девочкой?

Короткое молчание, потом он утвердительно кивнул головой, не произнося ни слова, ее легкие пальцы ласкали его затылок. Какой он хороший, просто трудно поверить, даже сейчас не солгал. Не ломается, не разглагольствует, и как он взглянул на меня, когда благодарил. Она положила ладони на его волосы, точно готовилась произнести клятву. Хоть на этот раз, идиотка, не испорти всего собственными руками, как обычно, потому что такой мальчик, как этот, мальчик, у

которого в голове куча разных разностей, который знает столько слов, у которого такая железная воля, конечно, хочет работать и сдать свой экзамен на лицензиата, а потом пройти конкурс, ох, ну и душой буду я выглядеть рядом с ним. Руки ее соскользнули, обхватили плечи Менестреля.

— Знаешь,— прошептала она, легонько баюкая его,— ты не тревожься, я в тебя не вцеплюсь, ты сможешь вкалывать сколько угодно, мой дорогой, мой бедненький. Мне нужно только изредка видеть тебя и чтобы ты меня любил.

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

23 часа 30

Когда я вошел к себе в комнату, Брижитт спала на моей кровати, горел свет, на полу валялась немецкая книжка, сон, как обычно, сморил Брижитт посреди страницы, она всегда засыпает сразу, точно повернули выключатель. Я сел и стал смотреть на нее. Она была здорово красива, и вид у нее был совсем детский, длинные светлые волосы, рука подsunута под щеку, лежит, свернувшись калачиком, жаль мне ее — двадцать лет и уже так испорчена; косная идеология, рабский язык, добропорядочная фригидность, все иудейско-христианские сексуальные табу, которые зиждутся на подспудном примате денег,— ну и мешанина, они наложили на нее свое клеймо, они ее искалечили, теперь она для всего закрыта, запечатана, потеряна. Великолепный плод с червоточиной внутри. Давид протянул руку и поправил прядь волос, отделившуюся от общей массы. Всего красивей они не так, как сейчас, а когда она идет впереди меня и длинные позолоченные гибкие нити, не прямые и не волнистые, ниспадают до лопаток, подстриженные венчиком.

Я смотрю на нее, и вдруг меня перестает радовать, что она лежит здесь, на моей постели, мне кажется, что я влип, никуда это все не годится, подумаешь, прикорнула тут, точно женушка, ожидающая возвращения своего благоверного к супружескому очагу, не хватает только шлепанцев на радиаторе да бэ-би-пипи-кака в колыбели. Обозлившись, я встаю, гашу свет и направляюсь обратно к башне, накрапывает мелкий дождь, осточертел мне этот дождь, мелкий он или не мелкий. Но постепенно я успокаиваюсь. Ты запутался в противоречиях, Давид. Не будь ее в твоей комнате, ты бы на стену полез, почувствовал бы себя утомленным. Она там, опять недоволен. Ма-

до того: ты ставишь ей это в упрек! Нужно все-таки знать, чего ты хочешь и какую мораль ты избираешь для себя в жизни, их или свою собственную?

В зале Совета шла запись в только что созданные комиссии: каждый мог выбрать одну из четырех в зависимости от того, что его больше интересовало. Председатель собрания сменился. Маленький чернявый парень, исполнявший теперь эти обязанности, не обладал авторитетом своего предшественника, и в помещении царил беспорядок, аудитория раскололась на небольшие группки, завязались частные беседы, ребята бродили с места на место. И поскольку архитектор не предусмотрел на восьмом этаже никаких удобств для облегчения сотни профессорских пузырей, многим приходилось спускаться с этих высот. Заседание длилось уже свыше пяти часов, понятно, что усталость и голод брали свое. Откуда-то появились батоны, паштет, ветчина, масло, пиво, и это усилило процесс парцелизации — присутствующие разбились на множество группок, отдельных трапез, сбившихся кучками вокруг студента или студентки, принесших манну и раздававших бутерброды. Овальный стол бонз напоминал забегающую ловку. Кругом все жевали, пиво ходило по кругу, руки сжимали толстые бутерброды, локти упирались в стол. Давид отметил, что бородач, лежавший на полу, временно занял вертикальное или, вернее, сидячее положение, к нему прижалась девушка, в обязанности которой входило совать ему в рот сигарету между двумя глотками. Интересно, что подобные чуваки, несмотря на всю свою грязь, неизменно находят себе рабынь.

На мгновение в дверях появился Божё, не входя, оглядел зал и исчез. Он был не то чтобы шокирован, но все же удивлен. Профессорам случалось в перерывах утолить жажду перье или содовой, но во время заседаний пить или есть было не принято, исключение составлял один случай, один-единственный, когда в июне 1966 года госпожа Дюшмен, профессор греческого, пустила вдоль овального стола Совета килограмм черешни, впрочем, большинство бонз отвергли эти дары данайцев, скорее всего из опасения, что некуда будет деть косточки. Выплевывать их в ладонь казалось недостаточно благопристойным, и еще менее благопристойной была мысль, впрочем даже не пришедшая никому в голову, что можно, зажав косточку между большим и указательным пальцем, выстрелить ею во время дискуссии в голову противника.

Давид обогнул исполинский овал, подошел к чернявому пареньку (который расположился на конце стола, где обычно

восседал декан рядом с ученым секретарем Ривьером) и, заглянув через плечо председателя, ознакомился с темами, предложенными для обсуждения в комиссиях: комиссия I — Капитализм и рабочее движение в 1968 году; комиссия II — Антиимпериалистическая борьба; комиссия III — Университет и критический университет; комиссия IV — Рабочее и студенческое движение в странах Восточной Европы. Давид улыбнулся — вот уж что придется по душе нашему усачу-коммунисту и его цыпленочку.

— Гляди-ка, ты опять здесь,— сказал голос за его спиной,— а я думала, ты пошел спать.

Он обернулся, это была девочка, да та самая — как же ее зовут? — с черными волосами в мелких кудряшках, угольными глазами, огромными позолоченными кольцами в ушах. Давид остановился и одарил ее улыбкой.

— Я, понимаешь, был голоден, но так и не нашел никакой жратвы.

— Ну, беда не велика,— сказала она,— пошли, это мы уладим.

Она взяла его за руку, точно боялась потерять по дороге, и повела за собой, прокладывая путь в толпе. Время от времени она оборачивалась, выставляя свою красивую грудь, чтобы взглянуть назад и улыбнуться ему.

Жоме, весь красный от злости, мог теперь, пользуясь всеобщей неразберихой, свободно излить свое возмущение в ухо Дениз Фаржо; он наклонил к ней голову, положил правую руку на спинку ее кресла, усы щекотали ей щеку.

— Ну и люди, скажу я тебе, поставить на одну доску рабочее движение в странах Восточной Европы и в капиталистических странах! Ненависть к советскому коммунизму у них на первом плане, перед ней отступает даже ненависть к капитализму! Нет, это неподражаемо, на что же будут опираться эти олухи в своем изучении «движения»? Ну, разумеется, на репортажи западных журналистов, на сфабрикованные «свидетельства», made in USA, вроде: «Я был рабочим в СССР» или «Я выбрал свободу», короче, все сведется к тому, что они подхватят клеветнические измышления классового врага и обернут их против Советского Союза.

Дениз подняла голову:

— Послушай, Жоме,— ее губы коснулись усов Жоме, что значительно ослабило силу ее возражений,— послушай, Жоме, не сердись, студенческое движение все-таки существует, этого нельзя отрицать, и раз оно существует, о нем нужно говорить.

Жоме помотал своей крупной головой:

— Согласен, согласен, но исходя из чего будут они о нем говорить? Исходя из информации «Монда»? Предположим даже, информация будет точной: смогут ли они дать серьезный анализ положения? У них ни у кого, за исключением четырех-пяти человек, скажем Бен Саида, Годшо, Кривина и Кон-Бендита, нет солидной теоретической базы. Ты же сама слышала их, большинство этих ребят совершенно не знает современной истории, о марксизме-ленинизме они осведомлены только понаслышке, ты же видела, этот тип, когда я помянул метро Шаронн, даже не понял, о чем я говорю. Но это не мешает им «выражать свое мнение»! Напротив! Чем меньше ты знаешь, тем больше ты «высказываешься»! Я, если хочешь знать мое мнение, считаю, что их священная и неприкосновенная свобода высказываний пока что привела только к свободному извержению дерьма. Каждый несет невесть что, невесть о чем. Словесный понос, не имеющий прецедентов!

— Ну, ты преувеличиваешь, — смеясь сказала Дениз, — время от времени они говорят толковые вещи.

Он решительно покачал головой.

— Ладно, скажем, чтобы сменить метафору, — у них непролазная каша в голове. Пример: все их лозунги относительно «старости» профов, по-моему, чистое ребячество! Ну послушай, Дениз, в конце концов, когда Маркс на исходе жизни гулял по улицам Лондона, может, лондонским школьникам этот старый еврей с седой бородой и казался смешным, а, однако, именно этот старик — пусть он и был стар — изменял облик мира, тогда как они, эти ничтожные идиоты, успели уже в свою очередь постареть и умереть, так и не оставив после себя никакого следа. Молодость, старость — какую все это играет роль, когда речь идет о знании? Я готов согласиться, что в плане сперматогенеза двадцатилетний мальчишка стоит намного выше, чем пятидесятилетний проф, но это же не критерий, Дениз. От профа требуется не семя, а знание.

Он тотчас пожалел, что сказал это, потому что она смущенно засмеялась и залилась краской до корней волос. Он умолк. И правда, я совсем позабыл, что она так стыдлива, он некоторое время молча смотрел на нее и вдруг умилился, право же, это куда лучше, я сыт по горло всеми этими распущенными девками.

Давид издали смотрел на усатого коммуниста, распускавшего хвост перед своей цыпочкой. Бутерброд с паштетом был великолепен, и пока он пожирал этот бутерброд, его само-

го пожирала взглядом девушка с кольцами в ушах. Пример цепной реакции — я вгрызаюсь в бутерброд зубами, она вгрызается в меня глазами, сидит рядом, касается меня, но мы продолжаем серьезный политический разговор, подтверждая тем самым мнение этой чокнутой девки из «Китайнки» Годара (против фильма у меня есть свои возражения), что человек может заниматься несколькими вещами одновременно.

— Значит ты, Давид,— недоверчиво сказала она,— одобряешь комиссии?

— Я проголосовал за,— говорю я с набитым ртом, и объяснил почему.

Она снова за свое:

— Но именно это меня и удивляет, большинство анархов ведь были сначала против.

— Хорошо,— говорю я,— повторяю: прямо, анархи должны преодолеть свою фобию к организации. Если тридцать чужаков в этом зале обсудят проблемы рабочего движения, это нам еще не грозит бюрократическим перерождением. Секундо, если уж мы справились с групповыми разногласиями и добились единства действий с КРМ, нужно уметь пойти на уступки, а каэрэмы придают комиссиям большое значение. Тerciо, что касается меня лично, то, по зрелом размышлении, я не считаю, что они так уж неправы, общая дискуссия в комиссиях будет способствовать осмосу группок. Ты, может заметила, товарищ...

— Меня зовут Клод,— сказала девушка с улыбкой, которая обнажила ее, как обнажает косточку персик, разломанный пополам, можно подумать, что, давая свое имя, она отдается.

— Повторяю, ты, может быть, заметила, Клод, что, несмотря на отлучение, которому нас подвергли эмэлы, некоторое количество маоистов все же записалось в комиссию «Рабочее и студенческое движение». Кварто,— говорю я с набитым ртом и, поскольку говорить мне трудно, поднимаю руку — подожди, проглочу,— понимаешь, необыкновенно здорово уже то, что мы сумели собрать, как сегодня, сто пятьдесят ребят вокруг двух группок, но если завтра нам удастся объединить пятьсот или шестьсот человек в разных комиссиях, то мы совершим большой скачок в области политизации Фака и поднимемся еще на одну ступень в захвате власти студентами.

Я не говорю ей, что, как я понимаю, захват власти студентами должен привести к нейтрализации профов и к слову

репрессивного механизма экзаменов. Я не уверен, что она достаточно грамотна политически, чтобы пойти за мной так далеко. Но внезапно, то ли от того, что я подумал об этих перспективах, то ли от того, что я сытно поел, настроение у меня решительно улучшается. Я вижу, что моим отелловым терзаниям приходит конец. Будем откровенны, меня все еще тревожит Брижитт, но я решил излечиться от мелкобуржуазной, чувствительно-сексуальной моногамной привязанности к ней. Для борьбы с этим микробом здесь не трудно найти антитела. Меня веселит собственное хитроумие, я вытираю платком руки и не без удовольствия оглядываю девочку с кольцами в ушах. Глаза у нее как угли, губы кровавые, волосы пылают, одета она по-дурачки — сапоги чуть не до колен, кожаная куртка индейской скво с двумя рядами бахромы и шнуровкой спереди, намекающей, что ее груди могут еще расти, место найдется. Вдобавок эти кольца в ушах, в два-три ряда на шее и по пять-шесть на каждом запястье, ей осталось только сунуть кольцо в нос, она вся звенит при каждом движении. А двигается она непрерывно! Она — ничего, соблазнительно вульгарна. Но я настроен недоверчиво, в наше время вся эта дешевка еще ни о чем не говорит. Завтра я, возможно, узнаю, что она дочь какого-нибудь весьма известного генерального директора, ну нет уж, увольте, раньше я наведу справки. А тем временем будем соблюдать дистанцию.

— Я смываюсь,— говорю я,— мне нужно кое-что сказать Дани, спасибо за бутерброд.

Уходя, я все же *ad hoc*¹ улыбаюсь ей, пусть это ее греет, пока я не уточню ее социального происхождения.

— До свидания,— говорит она, но это «до свидания» звучит весьма многозначительно, голос тихий, тон интимный, общинческий, точно шепот на подушке. Ну и идиотизм, все это шито белыми нитками, а все же на меня действует. Впрочем, она потому и говорит, что действует.

Внезапно у дверей зала началась какая-то толкучка, слышались восклицания, аплодисменты, радостные вопли, все, кто сидел, вскочили, поднялись на цыпочки, нетерпеливо пытаясь разглядеть происходящее, наперебой спрашивая, что случилось. Но у двери завихрялся безумствующий водоворот студентов, сгрудившихся вокруг кого-то, ничего невозможно было разглядеть. Наконец раздалось имя, оно взлетело и раскатилось по залу, сопровождаемое победными криками, жестикуляцией, топотом, хлопаньем в ладоши:

¹ Для известной цели (*лат.*).

— Ланглад! Это Ксавье Ланглад!

И затем в центре небольшого циклона появился он сам. Он выныривал, точно пробка, то возникая, то исчезая в волнах, его тискали, обнимали, целовали, расспрашивали. Ему удалось добраться до стола, внезапно прилив схлынул, он вырвался и предстал наконец перед жадными взорами, которые ощупывали его на расстоянии. Это был тонкий, среднего роста парень с каштановыми волосами и карими глазами, в очках, вид у него был скромный и серьезный.

— Тише! — важно прокричал чернявый паренек, протягивая вперед руки властным председательским жестом, чтобы усмирить зал. Он повторил: — Тише! — И, поскольку его призыв не возымел никакого действия, вдруг возмущенно завопил, сжав кулаки: — Да заткнетесь вы, наконец! — Тут галдеж действительно прекратился, во всяком случае, стало достаточно тихо, чтобы все услышали. — Я предоставляю слово Ксавье Лангладу! — Крики, аплодисменты, топот, безумие. — Заткнитесь! — опять завопил чернявый уже с большей уверенностью. Его крик подхватили, и он покатился по залу, передаваясь из уст в уста, шум постепенно затих, Ксавье Ланглад смог говорить.

Самым поразительным в его рассказе было полное отсутствие позы, ломания, драматизации событий. Он был арестован полицией 20 марта, оставался под замком два дня и две ночи, отпустили его сегодня вечером, в одиннадцать часов, вместе с другими товарищами. Таковы были факты. Он рассказывал о них просто, не ища эффектов, не разыгрывая из себя героя и мученика, не останавливаясь даже на физических лишениях, которые претерпел в заключении. В отличие от Грюнбаума, Бульта и Нагмана его взяли не дома, а на улице, неподалеку от «Американ экспрес», двое в штатском: «Ваши документы!» — и тут же в машину! В тюрьме обыск. Нашли пульверизатор с красной краской. Это вещественное доказательство привело фараонов в восторг. Ага, попался! Допрос в стиле: отрицать бесполезно, нам все известно, ты член КРМ (я не отрицаю), член Национального комитета защиты Вьетнама (я не отрицаю), ты входил в банду, которая разбила витрину «Американ экспрес», сожгла флаг и перемазала фасад (я категорически отрицаю). Как же ты тогда объяснишь, зачем тебе этот пульверизатор (очень просто, он был мне нужен для Нантера). Пожимают плечами. Если ты собирался использовать его в Нантере, можешь ли ты нам сказать, что делал на улице Скриб (гулял). Послушай, мальчик, не делай из нас идиотов (я молчу), у нас есть свидетель, который

видел, как ты написал «ФНО победит» на фасаде «Американ экспрес» (ну что же, дайте мне очную ставку с вашим свидетелем).

Голос в зале:

— А если бы дали?

— Я был уверен, что они не выдадут своего стукача ради удовольствия меня разоблачить. (Смех и аплодисменты.)

Как только Ланглад замолчал, аудитория опять распалась на группы, но обстановка с каждой минутой накалялась. Обстоятельства ареста Ланглада лишний раз подтверждали, если в этом еще была необходимость, что на Факе полно тихарей. Однако гнев тонул в опьяняющем чувстве победы. Все было совершенно ясно: студенты заняли башню Нантера в знак протеста против ареста товарищей, прошло всего несколько часов, и вот репрессивные власти капитулировали, двери Бастилии раскрылись.

Вьетнамский студент Нунк, внешне бесстрастный, слыша эти речи, не мог опомниться от изумления. Студенты вот уже пять часов заседали в профессорском зале, и было совершенно очевидно, что Божё ничего не сообщал в полицию. Иначе она давно бы уже появилась и выставила их отсюда. Откуда студенты взяли, что освобождение товарищей связано с оккупацией башни? С какой стати они пришли в безумный восторг и поздравляют себя с «победой»? Что до правительства, то Нунк ни без иронии прислушивался к тому, как это правительство именovali «репрессивным» именно тогда, когда оно проявляло преступную (и непонятную Нунку) снисходительность, отпуская студентов, разгромивших «Американ экспрес». Обе стороны продемонстрировали свою непоследовательность и некомпетентность; Нунк, как профессионал контрреволюции, был этим беспредельно скандализован. От обоих лагерей можно было бы ждать большей серьезности и деловитости. Хотя Франция страна высокоразвитая, хотя она наслаждается высоким уровнем жизни и всеми благами культуры, Нунк уже не раз имел случай с возмущением убедиться, что французы часто ведут себя в общественных делах как народ слаборазвитый. Они проявляли легкомыслие, по всей вероятности неискоренимое, как в своей манере делать революцию, так и в методах правления.

Жозетт Лашо блаженствовала. Только что появился Симон, его светлые волосы бились по плечам, борода съедала костлявое лицо, голубые гневные глаза лихорадочно блестели в глубоких ямах под выступающими надбровными дугами. Голубизна глаз резко оттенялась чернотой ресниц и бровей,

темными провалами глазниц. Длинные ноги были обтянуты бесформенными брюками из коричневого вельвета, а худой торс облегал синий свитер с застежкой на плече. Поверх него была наброшена белая пожелтевшая дубленка, с которой Симон не расставался даже в жару. Сейчас Симон говорил, положив свою скелетообразную руку на плечо Жозетт, на лице его застыла пренебрежительная гримаса. Голос у него был сильный, низкий, свистящий. Он не счел нужным сообщить, ни где провел вечер, ни почему оказался тут (хотя группа, к которой он принадлежал, захвата башни не одобряла). Во всяком случае, пришел он не для того, чтобы встретиться с Жозетт (если мы спим вместе, дурында, это еще не значит, что мы должны впасть в собственнический маразм Любви с большой буквы. Ты ведь знаешь, я решительно против этого «буржуазного и ревизионистского дурмана»). Но Жозетт как раз недостаточно политически развита, она восхищается Кон-Бендитом, ее привлекают анархи с их дурацкими штучками. И второе: она так до сих пор и не разобралась в проблеме профов: хочет ограничиться презрением к реакам и консерватам, сохраняя известное уважение к немногим либеральным профам, которые есть на Факе. Симон надавил своей худой рукой на плечо Жозетт.

— Ошибка, дурында, грубая ошибка. Между профом-реаком и профом-либералом разница не больше, чем между хозяином воинствующим и хозяином патерналистом. Мы стремимся уничтожить эти патерналистские отношения между профами и студентами. Заметь, я не утверждаю, что либеральный проф не искренен в своих взглядах, я только говорю, что объективно его роль состоит в том, чтобы направить студенческое революционное движение в нужное ему русло, то есть осуществить в университете изменения, которые он считает полезными. Объективно, либеральный проф — это старик, который примазывается к движению, чтобы направить бунт молодежи по реформистскому пути. Если проф-либерал вступает в борьбу с профами-реакками, то совсем не потому, что он ставит перед собой революционные цели, а потому, что реаки — кретины, которые не понимают, что буржуазный университет, если он не хочет погибнуть, должен быть перестроен. Короче, либеральный проф и, если хочешь, даже проф-гошист не может не находиться — уже в силу того, что он проф, — внутри самой системы, все усилия его направлены на то, чтобы улучшить ее работу. В то время, как мы, дурында, мы находимся вне системы, мы стремимся ее парализовать. Возьми, к примеру, твоего кумира — Фременкура.

— Да он уже вовсе не мой кумир,— сказала Жозетт, трясая косичками.

— Ну был им,— сурово продолжал Симон.— Заметь, я согласен, что Фременкур не дурак и что он обладает известным даром убеждения, но как использует он этот дар? Примо, для установления между собой и студентами отношений, которые ему выгодны и строятся на восхищении студентов профом, то есть именно тех отношений, которые мы хотим разрушить; и, секундо, для того, чтобы убедить тебя не действовать. Иными словами, он, если даже идеологически против существующего строя, на деле протестирует собственную диалектику, чтобы укрепить status quo. Твой Фременкур, дурында, мелкая-премелкая интеллектуальная проститутка.

— Вот здорово,— сказала Жозетт,— чтоб мне лопнуть, если я ему не повторю этого завтра по телефону.

Симон посмотрел на нее с сомнением:

— Он тебя срежет в июне на экзаменах.

— Ну что ты, Фременкур не такой человек!

Симон пожал плечами и с горечью сказал:

— Видишь, ты все еще им восхищаешься.

— Да нет,— сказала Жозетт, уставясь ему в глаза своими неподвижными блестящими глазами.— Завтра я позвоню ему: «Господин Фременкур, это Жозетт Лашо. Господин Фременкур, я забыла вчера вам сказать одну вещь: вы мелкая-премелкая интеллектуальная проститутка» — и повешу трубку.— Она нервно рассмеялась, не отрывая своих чернильно-черных глаз от Симона. Но Симон уже не обращал на нее внимания, он глядел куда-то в пространство и казался недовольным и удрученным.

Пока еще никто не предложил разойтись, но после появления Ксавье Ланглада как бы само собой разумелось, что оккупация башни достигла цели и может быть прекращена. Впрочем, было уже заметно, что заседание подходит к концу. Не было ни организованных дебатов, ни председателя, не было даже собрания, как такового, в зале стоял гул отдельных разговоров, не имеющих отношения к политике. Чувствовалась та расслабленность, то веселье, то легкомысленное оживление, которое всегда следует за слишком долгим и напряженным вниманием. Одни обмякли, сонно развалились в креслах. Другие, напротив, вскакивали, потягивались, зевали, нервно кружили по залу, и, поскольку никто уже не просил слова, да и не было председателя, который мог бы это слово предоставить, все ждали сами не зная чего. Время словно остановилось, наступили пустые часы, каких бывает не-

мало в повседневной жизни (но анархисты как раз страстно стремились с этим покончить). Зал Совета напоминал вокзальный зал ожидания, где пассажиры провели ночь,— спертый воздух, запах пота от неснятой одежды, пустые бутылки, крошки и корки хлеба под столом. Слышались раздраженные вопросы:

— Ну, что дальше?

— Чего мы здесь торчим?

— Что происходит?

— Уходим мы или нет, черт побери?

Ребята злились, то там, то тут вспыхивали споры, которые обрывались бранью или презрительным пожатием плеч, ни у кого уже не было сил продолжать дискуссию. Внезапно чернявый вновь появился на своем, то есть Граппена, месте. Он был преисполнен сознанием своей власти, жесты его стали увереннее, манеры решительнее. Он заранее отметал какие-либо упреки. Вот еще новости! Он пошел помочиться, имеет он право?

— Наберитесь немного терпения! Чуваки готовят резолюцию, как только они закончат, я поставлю ее на голосование, проведем голосование, и можно сматывать удочки.

На другом конце огромного овального стола, у входа, лучшие головы анархов и каэрэмов вырабатывали, не обращая внимания на всеобщий галдеж, текст, который предстояло поставить на голосование. Давид, опираясь одной рукой на плечо Кон-Бендита, другой — на Бен Саида, разбирал черновик. Лица ребят пылали, они трудились изо всех сил, редактируя этот важный документ. Давид также придавал ему большое значение: голосование вовлекало в движение протеста всех присутствующих, а политические взгляды, по крайней мере половины из них, до сих пор имели весьма смутный характер. Таким образом, принятие резолюции разом удваивало боевые силы группок. Но это еще не все! Мы выпустим резолюцию в виде листовки, распространим завтра в Нантере в тысячах экземпляров, и в противоположность другим листовкам эту прочтут все. Потому что она исходит от нас! От ребят, которые имели мужество посягнуть на святая святых башни — оккупировать зал профов. Иконоборство высоко ценится в студенческой среде. Это известно еще со времен операции против Миссофа при открытии бассейна. К тому же, в резолюции содержится потрясающая тактическая идея, цитирую: «Мы призываем вас превратить день 29 марта в день широкого обсуждения следующих проблем (далее перечислялись названия тем, выдвинутых для дебатов в комис-

сиях). Мы оккупируем на весь этот день корпус В, чтобы организовать в его помещениях групповые дискуссии по названным проблемам».

Это, скажу я вам, гениальная мысль. Потому что одно из двух: либо декан это допустит, либо прибегнет к репрессиям. Если допустит,— значит, отныне нам принадлежит право решать, что в такой-то день, в таком-то корпусе лекций не будет. Иначе говоря, мы установим в Нантере студенческую власть. Если же декан, напротив, прибегнет к мерам подавления, он покажет себя с самой худшей стороны, как продажная шкура, как отпетый реак. И тут сработает рефлекс солидарности. Мы начнем против него забастовку. Так или иначе, мы будем в выигрыше! Я думаю обо всем этом, глядя на ребят, которые редактируют резолюцию. Ох, и доволен же я, как здорово, теперь мы объединим вокруг себя достаточно студентов, чтобы мало-помалу прижать к стене профов и власти. Мы добьемся того, что вся их вековая система репрессивного отбора разлетится вдребезги! Я выпрямляюсь: прощай усталость, ревность, комплексы. Я ищу глазами девочку с кольцами. Пожалуй, я не буду ждать проверки ее родословной. Буржуазного она происхождения или нет, самое время отправиться к ней в общагу и отпраздновать это дело.

Кон-Бендит вытянул вперед руку и выставил палец. Чернявый произнес с достоинством:

— Я предоставляю тебе слово, товарищ.

Кон-Бендит встал с листком в руке. В принципе, когда он вставал, это не должно было бы производить впечатления — так мал он был ростом. Но малорослость более чем компенсировалась пронзительным взглядом голубых глаз, яркостью всей его морды, рыжиной шевелюры, силой, которая исходила от него. Он был точно живой язык пламени, внезапно взвившийся к потолку.

— Товарищи,— сказал он голосом, который легко заполнил просторный зал,— меня выбрали, чтобы зачитать вам резолюцию, по причине моей луженой глотки (Давид улыбнулся. Первое правило анархистского лидера: никогда не выглядеть лидером). Дани начал читать: «В связи с манифестацией, организованной Национальным комитетом защиты Вьетнама во имя победы вьетнамского народа над американским империализмом, активисты этой организации были арестованы полицией частично на улице, частично у себя дома. В качестве предлога были выдвинуты имевшие место в последние дни нападения на некоторые американские здания в Париже.

Перед нами вновь возникает проблема полицейских репрессий, направленных на подавление всех форм политической борьбы. Правительство сделало еще один шаг — теперь активистов арестовывают уже не только во время манифестаций, но и дома».

Нунк, полуприкрыв глаза, слушал этот текст со вниманием, которого не могли притупить шестичасовые дебаты. Лицо его было все так же гладко, смугло, покойно, как и в начале вечера. Он держался прямо, казалось, он не сидит в кресле, а водружен на него. Он слушал, и его память регистрировала каждое слово с безошибочной точностью. Сейчас, впервые за этот вечер он испытывал известное восхищение гошистами. Их резолюция заставляла признать, что они обладают своего рода талантом сваливать вину на правительство, проявляя при этом недобросовестность дипломированных политиканов, которые обращаются с фактами самым вольным образом. Например, утверждение, что «нападения на некоторые американские здания» послужили «предлогом» для ареста Ксавье Ланглеада, звучало по меньшей мере странно после всего, что присутствующие слышали из его собственных уст! Столь же неотразимо разоблачение «нового шага», сделанного правительством, которое арестовало этих активистов «дома», будто место, где приводится в исполнение приказ об аресте, является отягчающим обстоятельством! И будто этих активистов не освободили по истечении законного срока задержания! Нунк подумал: может, он до сих пор недооценивал гошистов? Декларированное ими намерение оккупировать 29 марта на весь день корпус В свидетельствовало о смелости их тактических замыслов. Полностью используя в своих интересах пассивность администрации, группы развивали наступление, не упуская ни секунды, и — верх цинизма — они оправдывали это «суровостью» мер, принятых против них! «На любое усиление репрессий,— говорилось в резолюции,— мы ответим самым решительным образом». Исторически прием, конечно, архизвестный. Одна страна всегда нападает на другую и захватывает ее территорию под предлогом законной самозащиты. Но все же, когда подобный макиавеллизм проявляют двадцатилетние студенты, об этом стоит задуматься. Во главе этих группок стоят «политики», ум и решительность которых не следует недооценивать.

Положив свою худую руку на плечо Жозетт, Симон слушал чтение резолюции с выражением крайнего презрения в запавших глазах и с горестной миной на лице. Едва Кон-Бендит

умолк, зал снова загудел. Симон нетерпеливым жестом отбросил назад свои светлые спутанные и тусклые волосы, падавшие на плечи.

— То, что ты только что выслушала, дурында,— сказал он своим низким свистящим голосом,— лишний раз подтверждает полное отсутствие политической мысли у анархов и каэрэмов. При голосовании я воздержусь. Разумеется, я признаю необходимость антиимпериалистической борьбы, я согласен с темами, предложенными комиссиям, но вопрос не в этом. Акция, которую они предлагают, ни в какие ворота не лезет. Оккупация корпуса В 29 марта по сути дела означает отказ от попытки вырваться из студенческого гетто, это значит замкнуться в университете, чтобы предаться в своем узком кругу жалкой стряпне революционеров-надомников. Это путь наименьшего сопротивления, нелепое решение, оно подменяет хозяев профами в антикапиталистической борьбе, которую мы ведем. (Он противоречит себе, подумала Жозетт. Несколько минут назад он говорил, что отношения между профами и студентами — это отношения между хозяевами и рабочими. Но внезапно это противоречие утратило для нее всякое значение, она ощутила безумную тревогу — Симон говорит совершенно несвойственным ему холодным и отчужденным тоном.) Это значит забывать,— продолжал Симон,— что настоящая эксплуатация осуществляется на заводе.— Он умолк, сделал глубокий вдох и, не глядя на Жозетт, уставясь своими запавшими глазами в какую-то точку над ее головой, сказал низким безличным голосом, четко выговаривая каждый слог: — Следовательно, и бороться с этим надо на заводе, раз и навсегда повернувшись спиной к студенческой среде, которая, учитывая ее социальные корни, отравлена мелкобуржуазным мировоззрением, и обнаруживает это мировоззрение в самом характере этого протеста, узкого и ничтожного. Мое решение принято, дурында.

Он снял свои длинные скелетообразные пальцы с плеча Жозетт, и она затряслась в испуге, как ребенок, руку которого внезапно отпустил отец посреди мостовой, среди стремительно мчащихся машин. Она застыла в тоскливом ожидании, подняв на него глаза.

— После пасхи,— продолжал Симон, его костлявое бородатое лицо вознеслось над ней, как знамя,— я покидаю Нантер и занимаюсь куда-нибудь рабочим.

Наступило молчание.

— А как же я?— сказала Жозетт пресекающим голосом. Он опустил на нее глаза и сказал насмешливо:

— Ты, конечно, останешься в Нантере и как пай-девочка закончишь диплом со своим Фременкуром.

Дрожь пробежала по телу Жозетт, будущее сузилось вдруг перед ней, как темный пустынный тоннель, по которому она бесконечно шагала в одиночестве, в полном одиночестве под звук своих собственных шагов, отдававшихся в тишине под сводами.

— А как же я? — повторила она, заикаясь, ее черные блестящие глаза были полны слез. — А мне нельзя вместе с тобой? Тоже работать на заводе?

Он посмотрел на нее.

— Можно, дурында, если у тебя хватит на это сил. — Лицо его было по-прежнему замкнутым, отчужденным, но она почувствовала снова его руку на своем плече. — В будущем, — продолжал он сухо, — прошу тебя не устраивать мне сцен со слезами и демонстраций великой любви, ты забываешь, мне кажется, что «в классовом обществе любовь может быть только классовой», помни, прошу тебя: мы приятели плюс секс, и точка.

Жозетт повторила с деланной холодностью, тусклым голосом школьницы:

— Договорились, мы приятели.

Она не закончила формулу. Прошло несколько секунд, ей стало легче, однако она не могла ему простить ужасающего чувства покинутости, которое испытала по его вине. Это длилось всего мгновение, но сердце все еще бешено колотилось, во рту было сухо, и ладони стали противно мокрыми. Нет, дело вовсе не в том, что мне горько расстаться с матерью. Плюнуть на диплом, пойти на завод, хорошо, я все это сделаю, это даже увлекательно, новая жизнь, трудная жизнь, жизнь, целиком отданная служению, но все же ты, Симон, не должен был пугать меня, не должен был заранее презирать, говорить со мной таким тоном. Она взглянула на Симона, голова его была высоко поднята, запавшие глаза смотрели в пустоту, и внезапно она растаяла: она поняла, что и он тоже почувствовал облегчение. В конце концов, «приятели плюс секс» — всего лишь манера выражаться, смысла и точности тут ровно столько же, сколько в словах «я от тебя без ума» или «я тебя обожаю». Слова — ерунда. Ему нравятся именно эти, я готова говорить так.

Чернявый председатель раскинул руки в стороны, точно готовился взойти на крест, и сказал повысив голос:

— Если никто больше не просит слова я ставлю на голосование резолюцию, прочитанную Кон-Бендитом. — Он выждал

несколько секунд, потом закричал: — Хорошо, ставлю на голосование, кто за?

Поднялся лес рук, он принялся считать. Операция была долгая и нелегкая, пот градом катился по его лбу. Время от времени он переставал считать и вопил:

— Не опускайте же, черт бы вас побрал, руки! Я ничего не могу понять! — Он сбивался со счета и начинал все сначала. (Смех и протесты.) На третьей попытке он довел дело до конца и закричал с видом триумфатора: — 142! 142 за! — И тут же добавил. — Кто воздержался?

Зал повернулся с враждебным любопытством, поднялись три руки. Два парня и девушка, — эмэлы, разумеется. Они стояли, потрясая с вызовом правой дланью, неприступные, неподвижные, закованные в свою идеологическую броню, их твердокаменные взгляды отвечали презрением на презрение.

— Кто против? — закричал чернявый.

Жоре и Девиз Фаржо подняли руки.

На другом конце зала встал, вернее выскочил, как чертик из бутылки, Кон-Бендит, веселый, рыжий, с глазами, сверкающими злостью, наклонился вперед, вытянув перед собой широкие лапы, точно готовясь в последний раз наложить их на толпу. Громким голосом он сказал:

— Товарищи, мы с интересом отметили, что студенты-коммунисты, верные своей партии, как Эдип своей матери, не хотят причинить ни малейшего огорчения буржуазному университету.

Раздался смех. Жоме, широкое лицо которого покраснело от гнева, встал, чтобы ответить, но в то же мгновение чернявый закричал:

— Собрание закрыто!

Все зашумели, закашляли, засмеялись и, весело толкаясь, ринулись к двери, точно после лекции — лекции, которую они читали сами себе, которая длилась шесть часов и которой ни одному профессору не удалось бы им навязать.

— Граппен? Это Божё. Прости, что разбудил тебя.

На том конце провода раздалось хмыканье, некий эквивалент пожатия плеч.

— Я не спал, и в одиннадцать ушел от Пьера Лорана и ждал твоего звонка. Впрочем, как ты знаешь, сон и я...

Божё кашлянул, голос Граппена вызвал у него тягостное ощущение усталости и грусти. Он заговорил своим сильным, хорошо поставленным, бесстрастным голосом:

— Они только что очистили помещение. После их ухода я обошел зал и обнаружил, что ущерб минимальный: прожжено три-четыре дырочки в ковре, разбит один стакан, несколько пятен на столе, пустяки. Зато они как будто решили оккупировать 29-го все помещения корпуса В, чтобы провести там заседания своих комиссий.— Боже умолк. На том конце провода наступило долгое молчание.— Алло? Алло?— сказал Боже.

— Да,— сказал устало Граппен,— я слышал. Что касается 29-го, посмотрим, подумаем, главное сейчас, что они ушли.

Боже сказал:

— Ровно в 1.45 (неизменная любовь к точным фактам).— Он продолжал: — С 1.45 объявляется перерыв Революции на сон.

Граппен спросил:

— А профессор Н...— как он там?

— Я как раз собирался тебе сказать, ему лучше, он справился с приступом и спит.

— Прямо гора с плеч,— сказал Граппен,— я так волновался за беднягу, ну, ладно, одной заботой меньше.— Он добавил: — Что до остального, поглядим. Может быть, нужно срочно созвать Совет, если мы еще осмелимся,— сказал он с горьким смешком,— сесть в студенческие кресла.

Когда чернявый утопил во всеобщем гуле голос Жоме, тот рухнул в свое кресло. Он был взбешен. («Председатель убийц, в последний раз я требую у тебя слова».) У него даже слегка дрожали руки, но он вытащил из кармана пакет «клана» и стал набивать трубку: эта операция быстро возвращает тебе спокойствие, необходимое для ее осуществления. Жоме почувствовал, что его пальцы постепенно обретают привычную твердость, он сосредоточился, loose at bottom and tight on top, Дениз, которая часто употребляла этот афоризм, переводила его как: «вентилируемый внутри и плотно утрамбованный снаружи» — на первый взгляд казалось, что приминание сверху должно сжать и нижние слои табака, но нет, это значило не учитывать его эластичности. Дениз из медицинских соображений была против трубки и сигарет, но в трубке с ее ароматом, теплом, гладкостью дерева, ощущаемой ладонью, сосательными движениями губ, следами зубов на мундштуке, было что-то чувственное, ритуальное, спасительное, в ней было какое-то уютное самоуглубление, как в собаке, которая без конца вылизывает собственные лапы, когда ей грустно.

— Нет, ты только подумай,— сказал Жоме, выходя одним из последних и посасывая свою трубку, вихрастая голова Де-

виз едва доставала ему до плеча,— ну при чем тут Эдип? Эти олухи пробежались галопом по Фрейду и Маркузе и теперь суют их куда надо и не надо.

Дениз утвердительно кивнула, у нее болела голова, она наглоталась табачного дыма и обрадовалась теперь ночной свежести, моросящему дождю над студгородком.

— Насколько я понял их стратегический замысел,— сказал Жоме,— гошисты демонстрируют элитарную концепцию революции. Они рассматривают себя как моторчик, который, будучи приведен в движение, дает импульс главному мотору. Иными словами, они считают, что, если группкам удастся распропагандировать и поднять значительную массу студентов, эта масса заразит и подымет пролетариат. И тут уж революция произойдет сама собой, стихийно, без каких бы то ни было директив, общей программы и руководства.

Я заранее знаю все, что он мне скажет, подумала Дениз, я все это наизусть помню: «Объективных условий для восстания пока не создалось». Я нахожу эту формулу восхитительной! Она кажется такой научной и компетентной, и она заранее оправдывает любую пассивность. Прежде всего, каковы они, эти пресловутые «объективные условия»? И как узнать, «создались» они или нет? Существовали они во Франции в 1789-м? В России в 1917-м? В Китае в 1934-м, во время Великого похода? В 1957-м — в Сьерре, откуда начинал Кастро? Вопрос: а если попытаться их создать, эти условия? Вместо того чтобы ждать, пока они сами каким-то чудом создадутся. Но она ничего не сказала, она ощущала усталость, тяжесть в затылке. На сегодня с нее хватит политических дискуссий, она сыта ими по горло.

— На мой взгляд,— заговорил Жоме (она посмотрела на него: посасывание трубки пошло ему на пользу, он опять был в полной форме).— На мой взгляд,— он крепко зажал зубами мундштук,— группкам никогда не удастся объединить вокруг себя достаточно студентов, чтобы превратиться в реальную силу протеста и в еще меньшей мере (смешок) они могут рассчитывать на то, что подымут массы.

Дениз утвердительно кивнула, не разжимая рта. В сущности, по второму пункту она была с ним почти согласна, но не по первому. Как агитаторы гошисты свое дело знали. В Нантере они чудовищно набирали силу.

— Я провожу тебя до твоего корпуса,— сказал Жоме.

Несколько минут они шагали молча. Дениз подняла голову и спросила с деланным безразличием:

— Ты все еще не решил, как проведешь летние каникулы?

Какой идиотизм, как будто он мог принять решение за те несколько часов, что прошли после полудня!

— Нет,— сказал Жоме.

Сердце Дениз забилося. От дверей корпуса их отделяли всего двадцать метров, всего двадцать метров — до рукопожатия Жоме, до его «пока, старушка».

Она споткнулась о камень, удержалась, вцепившись в рукав Жоме, и торопливо пробормотала грубым, ворчливым голосом, не глядя на него:

— В таком случае, почему бы тебе не отправиться с нами на малолитражке в Шотландию?

ИРРЕВОЛЮЦИЯ



ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ

Паскаль Лэне родился в 1942 году.

В мае 1968 г. Паскаль Лэне был участником студенческих волнений, а осенью того же года стал преподавать философию в одном из провинциальных учебных заведений к северу от Парижа. Поэтому предлагаемая вашему вниманию повесть «Ирреволюция» во многом автобиографична. Вместе с романом «За стеклом» Робера Мерля данная повесть резко выделяется в море литературного ширпотреба, посвященного майским событиям во Франции.

ИРРЕВОЛЮЦИЯ

Автор заверяет, что события, изложенные в повести место действия и персонажи, здесь описанные,— вымышлены, всякое сходство с реальными фактами, а также с реально существующими или существовавшими людьми, начиная с самого автора, является случайным совпадением.

Я попросил их оставить за мной этот номер на следующий приезд, и на все дальнейшие приезды. Не то чтобы комната блистала красотой, да и места в ней маловато,— чемодан пришлось водрузить на биде. Если бы я осмелился, я пододвинул бы стол ближе к окну, к свету, так я и сделаю, разумеется; работать я смогу, сидя в изножье кровати и подсунув под себя подушку, чтобы было повыше. А на освободившийся стул поставлю чемодан, тогда в биде можно будет уложить книги.

Конечно, окна я уже открыть не смогу, но это и не важно; там, на улице, все равно слишком шумно. Поэтому-то, наверно, в окна и вставлены двойные рамы. Между стеклами лежат засушенные веточки герани, и их мертвые листья то и дело подрагивают.

Сегодня утром я бел в поезд на Северном вокзале. Поездка не лишена приятности. Сначала долго тянутся бурые пригороды, мешанина домишек из кирпича и песчаника и среди них вдруг, как пощечина,— белое здание вокзальчика; серым размазанным штрихом мелькнут два-три пассажира на платформе, за стеклом купе, по которому уже ползет капелька, следом за ней другая, и вот все оно исполосовано причудливыми зигзагами. А дальше врываются поля, разбросанные, зажатые между селениями, быстро сменяющими друг друга. Бегут клочки садов, из-за скорости их перспектива словно кривится. Поезда ходят слишком быстро. Скорость пожирает пейзажи скопом; в особенности дробные: сады, газоны, курятники, дорожки, посыпанные гравием, приятно, наверно, было бы послушать, как он скрипит под ногами.

В этой комнате мне неплохо.

На кровати пышная перина, я растянулся на ней, слился с этим огромным пуховым животным, с этим дремотным теплым лоном и наслаждаюсь собственной невесомостью. На стене, против кровати, блондинка в фиолетовыми губами и салатной зеленью глаз выставляет напоказ желтоватую грудь, оттененную темно-розовым: это плохо раскрашенная фотография, напоминающая старые почтовые открытки, где солдат в голубой шинели делает вид, что целует толстую рыжую девушку, которая изображает Эльзас-Лотарингию: «Твой томный поцелуй дарит мне пламя, я к подвигу готов на поле брани!»

Мне было, вероятно, лет восемь (в тот год я полюбил до гроба девочку и до сих пор храню ее белокурые шелковистые локоны, как нежные клятвы, иссушенные прикосновением моих пальцев), когда я обнаружил в одном из бесчисленных стеновых шкафов, этих домашних темниц, коробку из-под обуви, заключавшую в себе древнейшие следы моего племени: там были письма, выведенные каллиграфическим почерком, лиловыми чернилами, карманные часы, которые можно было заводить без конца, так много лет предстояло им нагнать, овальные фото, где лица проступали точно сквозь запотевшее стекло, голубоватый эмалевый медальон в изображении девы Марии и такие вот почтовые открытки, датированные 1916 годом. В течение нескольких месяцев я мечтал стать солдатом и пытался представить себя в мундире двоюродного деда, прорвав туман времени и пожелтевшего забвения. И прижимал к щеке волосы своей прелестной подружки, которую уже не встречал после каникул.

Я попросил их оставить за мной этот номер на следующий приезд; и на все дальнейшие приезды. Не то чтобы комната блистала красотой; чемодан пришлось водрузить на безрадостную наготу биде. Если бы я осмелился, я снял бы одну из этих тяжелых плюшевых гардин цвета охры (в самом ли деле этот плюш так тяжел, или они отяжелели из-за накопленной пыли и грязи?), чтобы прикрыть ею это зияние в ногах моей кровати, этот бледный сосуд забвения, где завершаются в мыльной пене мимолетные дорожные экстазы, здесь, за грязными гардинами, в ста пятидесяти километрах от Парижа. В ста пятидесяти... Поистине на краю света!

Нет, комната не блещет красотой; но, если я в ней останусь, мои ноздри и кожа, может, перестанут в конце концов ощущать этот холод, плесень, пятнами, кругами расплзшуюся по обоям, противно висящую в воздухе. Лучше уж не знакомиться с иными следами сырости, которые, должно быть, змеются в со-

седних комнатах: если мне сразу предложили именно эту, значит, есть на то причины.

Я, сколько помню себя, всегда страдал от холода; может, потому, что мои родители были уже почти стариками, когда зачали меня: в эти седые головы, которые я, к счастью для себя, долго считал бессмертными, взбрела идея иметь ребенка, чтобы завещать ему свое состояние, сделавшееся для них чересчур большим, точно одежда, которая стесняет движения, болтаясь на теле, усохшем под воздействием лет, комфорта и скуки. Денег у них было много, но тепла уже не хватало; им недоставало жизни, которую они могли бы мне передать. Я это ощущаю физически.

Сегодня утром я сел в поезд на Северном вокзале. Поездка была не лишена приятности. Час или два в поезде, поверьте, неплохая подготовка к слиянию с пейзажем, с унылым речитативом жилых массивов, с широкими, слишком широкими улицами, каменистыми, как русла высохших рек, где застряли машины. Поезд отчасти защищает от этой ужасной неподвижности. Но потом, мало-помалу он сам замедляет ход, и вот ты уже один среди пустыни, на перроне вокзала, где ты бросил якорь своего чемодана.

Рамы в окнах двойные, потому что комната на втором этаже, а под ней шоссе. В этом месте шоссе именуется улицей Восьмого Октября. Грузовики поддают газ и со скрежетом переключают скорость, выжидая при красном цвете, как раз под окнами гостиницы, пока пешеходы перейдут улицу; но никто не переходит. Мои двойные стекла дрожат в рамах, как расшатанные зубы.

На кровати пышная пуховая перина, и я вяло разжижаюсь в ней. Я соберу себя, когда подойдет час ужина. Какое же нужно мужество, чтобы жить! Спуститься по лестнице, сесть. Да, сесть и жевать. Но в данный момент мне, чтобы существовать, нужно только раствориться в анестезирующей толще перины, и я поджимаю под себя ступни, чтобы не ощущать грохота улицы, который передается большим пальцам через дерево кровати.

На стене, против кровати, висит натюрморт. Это скверное цветное фото, кроваво-красное и салатно-зеленое. Я попросил их сохранить за мной комнату на следующие приезды, несмотря на этот овощной прилавок, от которого меня мутит; если бы я осмелился, я перевернул бы его лицом к стене.

Впрочем, не вижу, почему бы мне так не поступить. Разумеется, потом каждую пятницу, перед тем как вернуться в Париж, придется наводить порядок. Или платить полностью за

всю неделю. Тогда у меня будет в Сотанвиле свое жилье. Но это слишком дорого.

Разве что и взаправду осяду в Сотанвиле. Я мог бы взять номер с ванной комнатой и прочими удобствами. Это было бы логично, коль скоро я работаю в городском техникуме. Со временем я сниму квартиру, обставлю ее, буду по вечерам приглашать друзей. Пока еще не знаю кого. В общем, у меня будет своя нора.

Своя нора — жуткое выражение! Но точное. Завести свою нору, например, под одним из этих огромных могильных камней стандартной застройки при выезде из города. Пожалуй, я предпочитаю все же гостиницу; не желаю пускать слишком глубокие корни.

У меня давно выработалась привычка как-то скользить по поверхности и вещей и мест; с тех самых пор как я покинул квартиру со стенными шкафами-темницами, в которой родился. С тех пор тянется исход. Для меня было бы лучше, если бы я покинул ее раньше; в тот день, когда нам пришлось с ней расстаться второпях, поскольку после смерти отца мы оказались без денег, я оставил там больше, чем детство, — я оставил там корни; как растение, выдранное из земли слишком поспешно или чересчур поздно, когда оно уже выросло — в руках оказался только стебель. Еще и сейчас случается, что, проснувшись, я не сразу прихожу в себя после ночи, проведенной там, и ищу свет — свет лампы или окна — в той стороне, откуда он шел там, откуда должен был бы идти.

После этого великого отрыва вместе со мной утратило подлинность и все остальное. Прежде ничто никогда не менялось; каждая скатерка, каждый стол или кресло обладали всей полнотой бытия, потому что не двигались с места. И я тоже. Но теперь я знаю, то есть знаю по-настоящему, на собственном опыте, что вещи и люди меняют места; и это ужасно, потому что именно так они умирают. С той самой минуты, когда я расстался со своей квартирой, я знаю, что скоро умру.

Сотанвиль распластался на обширной площади. Это большой дряблый город. Не город, а беспорядочное сплетение улочек, расколотое, раздробленное стекло.

Когда впервые проникаешь в это расплывшееся бескостное тело, в это неопределенное пространство, усеянное жалкими домишками, ищешь с невольной тоской, где же сам город. «Центр» — это площадь Ратуши, здесь магазины, кафе; а также Лилльская улица, спускающаяся к улице Восьмого Октября, то есть к шоссе, к пригородам, где красные домики постепенно разбредаются, отходят все дальше один от другого, пря-

чутся мало-помалу в садиках, а вскоре и вовсе только всплывают кое-где, словно островки, затерянные среди возделанной равнины.

Фасад, витрина Сотанвиля — главная площадь с театром и рестораном «Глобус». Именно туда вас единодушно отсылают стрелки с надписью: «Центр города». А дальше начинается скука; она просачивается между плохо пригнанными домами и сквозь щели брусчатки, прорастает, как сорная трава, на утрамбованной земле тротуаров; выстраивается на крышах вереницей то прямых, то скособочившихся антенн. Скука — это недавний дождь, застывший лужами в выбоинах шоссе; это заляпанные грязью стены. Это белье на балконах, секомое ветром. Скука — это взгляд, который приподымает тяжелые веки гардин и тотчас прячется во мрак, едва случайно столкнется с моим взглядом.

Вечером, после семи, городом в любое время года овладевает зима. День прячется за тучами; закрываются магазины, лязгают запоры. Пора возвращаться домой, так как по улицам бродит ночь; жирная, властная ночь, которая обрушивается на спину запоздалого прохожего, вонзает свой хищный клюк ему в затылок.

В Сотанвиле слишком широки даже переулки. В них болтаешься, как ступня в незашнурованном ботинке. В вечер моего приезда на набережной, вдоль канала, раскинула свои балаганы ярмарка; в тот первый вечер я укрылся в успокоительно теплый хаос, в оглушительный шум у стендов, выкрики, ружейную пальбу, в тарактение электрических автоматов, в запах жареной картошки и керосина.

Я боюсь одиночества: от него сводит нутро; я точно отравлен своей собственной субстанцией, своей немотой; мне необходимо, чтобы вокруг были люди, все равно какие, но люди, которые шумят, толкают меня, возвращают к жизни.

Я стрелял из карабина в тире: целиться нужно было в кнопку аппарата, при попадании он тебя фотографировал; я сделал две-три попытки, но безуспешно. Парень из тира орал над ухом, обещая, что следующий выстрел обязательно будет удачным, что мешало мне сосредоточиться. Рядом со мной стояла девушка, она смеялась, глядя на мои старания.

Я потом заговорил с ней, так как видел, что ей самой хочется со мной поговорить: не сделай я этого, я после упрекал бы себя, что упустил случай нарушить молчание. Пусть она и была уродлива и раздражала меня своим смехом; впрочем, тогда еще не раздражала. Раздражаться я начинаю позже и обна-

руживаю оспины на лице, желтизну кожи, слишком длинный или слишком толстый нос, жалкую улыбку, похожую на гримасу; обнаруживаю подчас, что ласкаю ноги со вздутыми венами, огромные костлявые колени; и грызу себя за собственное отвращение, за то, что чувствую себя униженным.

Итак, я заговорил с девушкой, я еще мог себе это позволить, поскольку никто меня здесь не знал; я понимал, что позднее, несколько дней спустя, уже не осмелился бы на это; но пока я был еще не преподаватель философии в техникуме, а просто проезжий; я был и взаправду проезжий и не только для себя самого. И поскольку я был проезжий и нестерпимо боялся одинокого ужина и одинокой постели; поскольку я, как всегда, боялся; больше, чем всегда; и поскольку рядом был канал, а коричневая, мертвая вода каналов увлекает меня в медлительный ток своего одиночества, усугубляя мое собственное, мне более, чем когда-либо, хотелось, чтобы девушка осталась со мной, чтобы она уделила мне капельку своей жизни, своего тепла, своего дыхания на то время, которое отделяет меня от завтрашнего дня.

На севере города высятся бетонные башни нового района. Тут господствует вертикаль. Бурая краснота кирпича уступает место серости стандартных блоков, но и здесь тот же беспорядок и небрежность. Дома вырастают где попало, каждый со своим холмиком строительного мусора.

Здания техникума, напротив, стоят, выстроившись по ранжиру на площадке, усыпанной голубоватым щебнем. Входишь в ворота решетчатой ограды, шагаешь метров пятьдесят по широкой аллее, окаймленной газонами, добираешься до крытого перехода, который соединяет собственно техникум, слева, и административный корпус, справа. За переходом — широкий двор, тоже окаймленный ухоженными газонами, он отделяет учебный корпус от гимнастического зала, мастерских и большой аудитории. Во всем чистота, подтянутость.

Нижний холл Факультета, лестницы, коридоры напоминали заброшенный огород. Пол был усеян бумажками, точно очистками. Хватало, впрочем, и очисток. Снаружи перед входом, на квадратной лужайке валялись парни и девушки. Казалось, они пришли сюда позагорать или просто погреться на солнце; но солнца не было, хотя май был на исходе. Я разыскивал свою «генеральную ассамблею», спрашивая направо и налево у ребят, которые спорили и жужжали в коридоре, скупившись небольшими группами.

Вид у всех был необычайно деловой, даже у тех, кто одиноко торчал посреди холла или на лестнице; а я блуждал. Может, и другие тоже блуждали; может, они не двигались, потому что не знали, куда идти. Но я не был в этом уверен. Зато про себя я знал точно: я блуждаю.

К тому же я сильно опаздывал. А я опаздывать не люблю; приходится подталкивать и распихивать минуты, охваченные паникой, чтобы расчистить в этой давке проход к нужному часу. Но в данном случае нужный час был уже позади; и я блуждал в толпе людей и мгновений, шатавшихся взад-вперед, не замечая меня. Я был уже лишним. Если бы на меня обратили внимание, сразу стало бы ясно, что я лишний. А мне показалось, что на-меня начинают обращать внимание, и теперь я думал, как бы смыться. Только незаметно; что подумают обо мне, если увидят, что я ухожу, вот так, даже не поговорив ни с кем, после того как я обошел все коридоры, рассматривая всех и каждого, точно соглядатай, точно какой-то шпик? Последние несколько дней как раз не было конца разговорам о провокаторах и шпиках, просочившихся, как полагали, повсюду. Все выходы из здания были перекрыты, кроме одного, где стояло несколько парней в касках мотоциклистов, которые следили за входящими и выходящими. Было очень жарко, или, вернее, мне было очень жарко и ужасно хотелось уйти. Но я не мог, потому что боялся пройти мимо этих типов у входа, хотя у меня и был студенческий билет.

Потом я увидел товарищей, тех, кого искал,— они выходили из аудитории. Я спрятался, чтобы не встретиться с ними.

Техникум казался пустым; все, должно быть, собрались в большой аудитории. Тогда я еще не знал, что это и есть огромный слепой корпус в глубине двора, справа. И я искал, блуждая по коридорам техникума; я опаздывал, и чем больше я торопился, тем быстрее бежало время, казалось опережая меня; это было немного похоже на те сны, в которых из кожи вон лезешь, задыхаешься и никак не можешь преодолеть чего-то, в чем увязаешь.

Через несколько минут я вернулся обратно во двор; и тут увидел людей, выходивших из большой двери слепого корпуса. Я подождал в сторонке, пока они пройдут, потом вошел в подъезд. У нижних скамей амфитеатра человек пятнадцать обступили какого-то мужчину, очевидно директора. Мужчина говорил; время от времени он замолкал, оценивая, по-видимому, степень внимания окружающих. Остальные слушали.

Я встал позади него, выжидая, пока он кончит, чтобы представиться. Два или три раза мне казалось, что он вот-вот кончит, потому что в его тоне звучала непререкаемость, сообщавшая почти каждой фразе оборот и весомость заключительного вывода; но заключения из него так и перли; стоило мне набрать воздуха, чтобы заговорить, заговаривал опять он: есть такие люди, которые всегда говорят вместо тебя; терпеть не могу. За душой у них не больше твоего, и говорят они, думаю, только чтобы заткнуть рот другому, то ли в силу своего характера, то ли в силу своего положения, то ли того и другого вместе. Директор меня еще не видел, он даже не знал, что я стою тут, за его спиной, и тем не менее он уже дал мне понять, что я человек маленький, подчиненный, обязанный ждать, пока мне не будет дано разрешение заговорить — может, это и значит быть начальником, руководителем?

Наконец я сказал: «Я новый преподаватель философии». Он обернулся, поглядел на меня; остальные тоже уставились на меня. Он ничего не сказал.

Но поскольку он некоторое время не отрывал от меня глаз, все еще не произнес ни слова, и поскольку остальные тоже внимательно меня разглядывали, я подумал, что, вероятно, как-то не так построил фразу, неловко выразился, что, должно быть, существует некая установленная формула, как, скажем, для заявления о приеме на работу, которой я не знаю; это было тем досаднее, что он наверняка заметил мое опоздание. Наконец он проговорил: «Отлично! Расписание получите в моем секретариате».

Он ушел, и тут отношение ко мне стало непринужденное. Кто-то пожал мне руку, назвав свое имя, которого я не запомнил, потому что никогда не запоминаю имен с первого раза. Я приободрился. Тут же на длинном столе, накрытом впритык двумя скатертями, белой и клетчатой, стояли бутылки и бокалы. Высокий парень в сером рабочем халате протянул мне бокал со словами: «Игристое, и недурное!» На миг у меня мелькнула мысль, что бутылки и бокалы здесь, быть может, по случаю нового преподавателя, то есть меня, а я явился с опозданием. Но я без труда убедил себя, что такое предположение неразумно. Поэтому я спросил, указывая на стол: «У вас так каждый год?» «Нет, — ответил мне парень в сером рабочем халате, — дважды в год».

Избыток новых предметов и людей всегда повергает меня в неопишемое смятение. И тогда, чтобы не поддаться панике, не броситься наутек от имен, лиц, мест, я отворачиваюсь, го-

ворю себе, что разберусь во всем позднее, и концентрирую внимание на стене или потолке, на собственных ногах или ногтях; или на сигарете, принимаясь яростно затягиваться,—таков предел спокойствия, доступный мне.

Когда я попадал в новое положение, в новое место, мне всегда требовалось по меньшей мере несколько дней, чтобы умиротворить свое восприятие, сориентироваться, начать узнавать людей; отличить важных от неважных, хороших от дурных. Впервые такого рода паника овладела мной, когда я на двенадцатом году попал в адскую топографическую головоломку своего первого лица с его лабиринтами коридоров и лестниц, разбегавшихся во все стороны; особенно мучили меня кабинеты естественных наук и рисования, куда приходилось добираться по несуразным винтовым лестницам. Товарищи, разумеется, надо мной насмеялись.

С тех пор я научился стискивать челюсти и ценой огромного внутреннего напряжения прятаться за некой маской отрешенности. Я стараюсь выдать свое паническое оцепенение за безразличие; лучше уж выглядеть несколько рассеянным, скупающим, пусть даже высокомерным, только не показать, что растерян. Это позволяет быть невнимательным и скользить по лицам пустым взглядом, точно стоишь на балконе, облокотясь на балюстраду, и созерцаешь далекий горизонт.

Теперь надо мной больше не смеются; как раз напротив; мое деланное невнимание смущает окружающих. Они из кожи вон лезут, чтобы я признал их, как сейчас этот парень в сером рабочем халате.

Он представился; говорил мне всякие любезности, а я меж тем глядел поверх его правого плеча, поверх левого, за его спину, в никуда. Когда мне случалось встретиться с кем-нибудь глазами, я тотчас отводил взгляд, устремляя его в глубь зала. Наконец, поскольку тип в сером рабочем халате не переставал делать мне авансы, я удостоил его ответа. Скупого. И раз уж он был в разговорчивом настроении и хотел, чтобы я непременно его слушал, я попросил рассказать мне о директоре. Интересно было узнать хоть приблизительно, что такое этот человек, раздражавший меня своим непререкаемым тоном и упорядняющей всех вокруг физиономией.

— Наш директор знает, чего хочет, он человек энергичный. Посмотрели бы вы, как он управляется с промышленниками. Иногда на административном совете ему приходится вступать с ними в спор. У нас, знаете ли, промышленники входят в административный совет. Ведь это они оплачивают все станки в мастерских. Из фондов обложения на подготовку квалифици-

рованных рабочих. Поэтому они и чувствуют себя в своем праве. Они ведь могли бы выплачивать эти деньги непосредственно государству, и уж государство использовало бы полученные средства по своему усмотрению, а это не в наших интересах, но им разрешается вручать эти деньги прямо техникуму. Обычно они так и поступают, что, естественно, дает им известные права. Сами понимаете, промышленники тоже люди и ищут своей выгоды. Деньги ли они дают, станки ли. Нужна им прибыль, доход: за каждый станок — столько-то квалифицированных рабочих. Вот они и входят в административный совет или, скажем, кое в какие экзаменационные комиссии. Наши ученики — это, в сущности, их рабочие руки. Ну они и хотят знать, что у нас делается; сколько мы выпускаем ежегодно токарей, фрезеровщиков, котельщиков. Нехватка рабочих какой-нибудь из специальностей им не по вкусу; впрочем, избыток тоже. Поэтому на экзаменах они режут направо и налево; добиваются отсева. Это их право!

Ну а что касается директора, так это крепкий орешек. Он нас защищает: потому что, сами понимаете, чем меньше учеников, тем меньше преподавателей. Дело в том, что здесь, в особенности в мастерских, почти все работают по договорам, а договор каждый год возобновляется или не возобновляется, так что закрывать классы не в наших интересах. А промышленникам вечно кажется, что у нас слишком много классов, слишком много учащихся, слишком большие расходы на станки. Так что кто-то должен отстаивать наши интересы.

И по линии административной ему тоже приходится воевать, нашему директору. Возьмите хоть такой пример: в мае разразились эти самые «события». Разумеется, у нас в Сотанвиле, ничего особенно ужасного, слава богу, не было. Учащиеся в большинстве благовоспитанные молодые люди. А преподаватели носа из дому не высовывали. Сидели у своих телевизоров. А мы в одном приятеле на котельной мастерили себе прицеп на отпуск. Расположились прямо по-королевски: одни в целой мастерской. Ну и вкалывали же: хоть мы и бастовали, но никогда так много не работали. Модель мы выбрали по журналу, совсем как моя жена, когда шьет себе платье; и за сорок дней все провернули: прицеп что надо — новенький, ладный, небесно-голубого цвета. Потом покатали мы в Испанию, два месяца путешествовали почти даром. Вы Испанию знаете? Классная страна; там никто никогда не спит; а море, море... Одно плохо — язык. Но мы захватили этого самого приятеля, иначе и нельзя было: он ведь мне помогал, и потом, понимаете, он испанского происхождения;

так что он уж язык знает; да и страну, всякие там красивые местечки.

Но я отвлекся от директора. Он в мае не сидел сложа руки. Воспользовался случаем, чтобы стукнуть кулаком по столу в административном совете, добился кредитов; по крайней мере части кредитов — половины того, что требовал. И то плохо.

Ну так вот! Получили мы автомат с горячими напитками — кофе, чай, шоколад. Но загвоздка в том, что дали нам всего один автомат вместо двух положенных, и встал вопрос, кто должен им пользоваться: если отдать его преподавателям, учащиеся станут жаловаться. А в нынешние времена к требованиям молодежи надо прислушиваться, избегать недовольства! В мае все увидели, к чему оно приводит, из-за таких вот глупостей и начинаются революции.

Теперь так, оставить автомат учащимся — это ведь перевернуть мир с ног на голову согласны? Нет, тоже нельзя.

Решили поэтому установить автомат в коридоре, у входа в преподавательскую, а учащимся позволили заходить в эту часть коридора. Директора такое решение вполне устраивало. Но многие преподаватели протестовали: заявляли, что будут этот автомат «бойкотировать».

Я-то молчу; я политикой не занимаюсь. Всяк сверчок знай свой шесток, верно ведь — всякому свое место. Но директор знает, что делает: надо уметь пойти на уступки в нужный момент.

В конце концов, есть вещи поважнее, чем этот автомат с горячими напитками. Дисциплина, чистота в помещении, длина волос,— заключил этот тип в сером рабочем халате. И пошел проверить, не осталось ли чего в бутылках с игристым.

Самые важные в моей жизни решения всегда принимались как-то помимо меня. Иначе я не оказался бы в Сотанвиле сентябрьским днем 1968 года. Мне тут нечего было делать; я сюда ехать не хотел. Впрочем, я вообще редко чего-нибудь хочу.

Я начинаю понимать, чего хотел, только потом, когда все уже произошло; или, наоборот, не произошло.

Чаще всего я, поскольку меня страшат любые конфликты, а в особенности конфликты с самим собой, всячески стараюсь убедить себя, что хотел именно того, что произошло. Но это не всегда удается. Трудно ведь строить планы, так сказать, задним числом. В конечном итоге прошлое гораздо хуже поддается обработке, чем будущее: было бы куда лучше, если бы я, как все на свете, строил планы, заглядывая вперед. Это просто

вопрос внимания, бдительности: не позволять событиям слишком тебя опережать. Но я невнимателен, во всяком случае недостаточно внимателен. И вот в один прекрасный день, в результате того, что я все откладываю и ни на что не могу решиться, как-то само собой оказывается, что я прошел конкурс, я «дипломированный преподаватель философии в высшей школе». Мать не может на меня наглядеться и взывает, ликуя, к семейным тотемам, которые стоят в рамках на камине.

Я тоже уверяю себя, что доволен. Очень доволен. Чтобы доставить удовольствие матери; чтобы доставить удовольствие себе самому. Мне доставляет удовольствие доставлять удовольствие матери; вот я и доволен.

Нет! Не доволен. Конкурсная комиссия, генеральный инспектор, распределяющий места, отсылают меня за сто пятьдесят километров от дома, от матери, а я еще должен быть доволен! Нет, я не доволен. И я ведь торговался: генеральный инспектор хотел направить меня еще дальше, куда-то на юго-запад, за пятьсот или шестьсот километров; по его словам, туда многие стремятся. Что до меня, то я даже не уверен, что там вообще есть суша. Ладно! Он неплохой малый, этот инспектор. Битый час я твердил ему, что не хочу уезжать из Парижа; я никогда не жил нигде, кроме Парижа, не считая, конечно, каникул; но на каникулах ведь не живешь, не о том идет речь, напротив, на каникулах освобождаешься, отдыхаешь от жизни. Так что я никогда не жил нигде, кроме Парижа, и для меня улицы-колодцы, где кишат, словно черви, автобусы, машины, люди,— естественная среда произрастания. Мне трудно существовать вне этой удушающей атмосферы. Мне нужны стены со всех сторон, раскаленное, вибрирующее железо, толчки чужих плеч, коленей, спин, животов, запах толпы, вонючее дыхание машин, не то я распадусь на составные части. Это моя естественная стихия, во всяком случае, я ощущаю ее как естественную. Ну так вот, этот генеральный инспектор, похоже, не понимал меня или делал вид, что не понимает; казалось, он сейчас скажет: «Ладно, я вас не слышал, для вас же будет лучше, если это останется между нами». А я, между прочим, не сказал ничего дурного; но я чувствовал, что раздражаю его; мне хотелось бы этого не чувствовать; но он самой своей вежливостью, манерой обходить острые углы давал мне это почувствовать, будь я даже круглым идиотом. Я подумал, что лучше бы мне вообще рта не раскрывать. В конце концов все обошлось не так уж худо; он неплохой малый, этот генеральный инспектор. Он предложил мне Сотанвиль; это было, вероятно, его последнее слово, поскольку оно было единствен-

ным. Ну тут уж я, разумеется, согласился! Пока он не заслат меня куда-нибудь в Гваделупу или на острова Реюньон. Но ехать в Сотанвиль мне все равно не хотелось. «Правда, это техникум,— сказал он,— зато всего в полутора часах езды от Парижа. Сможете возвращаться домой каждую неделю». Но мне не хотелось ехать в Сотанвиль; мне вообще не хотелось быть преподавателем.

Я изучал философию, но не для того, чтобы ее преподавать. Собственно, я даже не изучил философию, а просто прочел несколько книжек и сдал экзамен. Философия для меня, во мне, вовсе не была наукой; и уж во всяком случае, не тем, чему я могу учить других. Она была, скорее, своего рода ощущением внутренней неловкости, не покидавшим меня, думаю, с самого детства. Каким-то неотступным вопросом, навязчивой мыслью; даже не вполне мыслью; чем-то подступившим к самому сознанию, точно зуд, который пока под кожей, но вот-вот проявится вовне; но только вот-вот; чем-то раздражающим, до чего никак не добраться. Философия во мне, это что-то вроде соседа в верхней квартире, который ходит взад-вперед по комнате, стуча по паркету подкованными каблуками, и топчет твои мысли. Вот именно: некий посторонний шум вне комнаты, но и в комнате, во мне, даже в моем сне, нечто вроде бесконечно затухающего эха. Нечто чуждое, невыносимо чуждое, но неотторжимое от моего самого глубинного «я»: чуждость моего бытия, чуждость моего облика, отражаемого зеркалом, всеми зеркалами — настоящими и метафорическими,— до странности мне подобного. И потом чуждость мира, в его тревожной повседневностью, невыразимой обыденностью вещей; обыденностью, на каждом шагу открываемой заново,— просто невероятно! Я не научился философии: я попытался разучиться, но тщетно; я только чуть точнее формулирую все те же вопросы; и еще чуть постояннее. И меня по-прежнему преследует страх; чудовищный страх обыденности во всех ее проявлениях, и страх того, что обыденней обыденного,— страх смерти!

Философия для меня не профессия, тем более не призвание. Нет, она проявляется во мне только как склонность. Неодолимая. Как же этому учить? Не могу я учить философии.

К тому же я всю жизнь именно из этой склонности не переставал философствовать, сожалея, что не умею, не хочу заниматься чем-нибудь другим. Скажем, географией. Скажем, математикой. Мне хотелось бы чего-то точного, положительного. Но мои вопросы так и остаются вопросами в силу извращения, что ли, ужесточения самой этой потребности; мои колебания гипертрофируются, разрастаются во мне, как раковая

опухоль. Философия делает мне пленительные намеки, завлекает меня, кружит мне голову, и я всегда ей уступаю, и всегда наперекор самому себе, потому что не нахожу в этом никакого удовольствия.

Раз уж у человека непременно должна быть профессия, я мог бы стать врачом, архитектором, воздействовать на вещи, на людей. Но нет! Нужно же было, чтобы я так неосторожно поддался своей природной склонности к психологическому ма-разму, к меланхолии, скатываясь с каждым годом все глубже. Раньше я мог бы еще бороться. Приобрел бы закалку. И, закалившись, стал бы инженером, у которого мысли как шестеренки, не то что эти змеи, переплетающиеся в темных и унылых уголках моего сознания.

Теперь уже поздно. Я уже преподаватель философии; потому что философствовать — это значило также сдавать экзамены по философии и получить диплом преподавателя. И в итоге предстать перед генеральным инспектором, дабы он назначил меня на определенный пост.

А мне бы хотелось вернуться домой, и пусть меня оставят в покое. Что тут плохого? Если я оказался перед комиссией в день конкурса, тому виной случайность, или повестка, которую я получил, или страх, что мать станет ругать меня за то, что я не пошел по вызову. Но я ведь ничего не просил. Почему меня не оставят в покое? Почему я должен тащиться за полтора-два километра от дома, чтобы говорить о трех, пяти или тридцати шести доказательствах существования бога, в которого не верю, но вопрос о котором, как мне кажется, слишком серьезен, чтобы можно было отделаться шуточками? А как скажешь об этом?

Май! Как он уже далек, прекрасный месяц май, и его черно-белые ночи, и его волшебный фонарь! Впервые я обрел веру. Нечто вроде благодати осенило меня на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло. Вдруг! Испытывая упоительный страх, я растворился, слился с приливом и отливом этой чуждой мне толпы. Толпа впервые не была обыденной — черно-белая, как будто нарисованная китайской тушью, углем, провидческим, фантастическим пером и кистью восстания. Эта чуждость оберегала меня от той, другой, привычной чуждости — повседневной, смертоносной, вкрадчиво смертоносной.

Нас обозвали «подонками», я это помню. И однако, никогда и ничто не казалось мне чище этой толпы, заполонившей улицы, — она не кишела, как прежде, она катилась широкими волнами, которые разбивались об утесы, о высокий мыс то-

нувшего во мраке континента полицейской ночи, щитов и ду-бинок.

И я вообразил, что улица, оплодотворенная этой странной толпой, ирреальностью, мечтой — мечтой, которую я вынашивал давным-давно и о которой сейчас кричали другие, те, в ком я обнаружил себе подобных, — я вообразил, что эта улица, быть может, произведет на свет нового человека. Он еще никому не ведом, этот человек, но он спасет нас всех, спасет меня от сходства с самим собой.

И вот теперь — Сотанвиль, я, похожий на самого себя, комната в гостинице. Комната, где воздух слишком плотен и давит мне грудь бременем осадка, угрызений; эта комната, это удушье — теперь и есть моя жизнь. Жизнь, навязанная мне, как казенный адвокат на суде, где разбирается мое майское преступление, на процессе, который у меня нет мужества и нет даже желания выиграть.

Обои, на которых бесконечно повторяется одна и та же гирлянда цветов, несколько уже увядших, потемнели от сырости, рыжих подтеков, в особенности около раковины, откуда разит, как изо рта, полного гнилых зубов; сходство усугубляется коричневатыми трещинами эмали, пораженной кариесом. Чтобы увидеть себя в зеркале, повешенном чересчур низко, нужно наклониться над раковиной, помня, что опираться на нее не следует; амальгама подточена болезнью, и лицо в зеркале кажется побитым оспой. В кране долго что-то клокочет, прежде чем он судорожно выплюнет воду; она вырывается с шумом, брызгами, вызывая в одной из трещин эмали неожиданное бешеное движение, словно какой-то нелепый паук в панике сотрясает длинные, жестко натянутые нити паутины.

Вид у учащихся техникума подтянутый и пристойный; коллега в сером рабочем халате мне уже говорил об этом, но я ему не очень поверил. Как бы то ни было, факт налицо: именно я в моих брюках штопором и свитере, свалаявшемся на локтях, ближе всего к тому облику моих будущих учеников, который рисовало мне воображение; потому, без сомнения, что единственной доступной ему моделью юных пролетариев в области одежды был я сам; или потому, что я всячески старался приспособиться к этой модели, надо полагать, почерпнутой в одной из моих азбук с картинками, в сочинениях Прудона, Ленина, даже самого Маркса; да, там полно картинок, в этих книгах, если не умеешь с ними обращаться.

Единственная личность, чей отпетый вид соответствует моему представлению об этом заведении,— каменный Прометей, который мрачно кривится под дождем у входа в корпус. Что до преподавателей общих дисциплин, в костюмах и при галстуках, или преподавателей производственно-технических предметов, в серых или синих рабочих халатах, то все они бросают, как мне кажется, весьма неодобрительные взгляды на мой свитер. Ладно! Надену галстук.

Это всего лишь первое впечатление, но достаточно неприятное,— мне никогда не удастся ни войти в свою роль, ни, что, в сущности, то же самое, стать похожим на других преподавателей или местных жителей. Дело тут в ничтожных деталях, не спору; в галстук или завернутом воротнике свитера, в манере курить, носить портфель; и тем не менее это важно; здесь это важно; люди судят о тебе именно по этим деталям. И они правы; во всяком случае, я замечаю, что и сам сужу о них по таким вот мелочам; они иные, чем я, ничего не попишешь. Нас разделяют социальные идиомы, а они сплошь и рядом обладают такой стойкостью, что ничто, никакие усилия воли над ними не властны: казалось бы, ерунда, а никуда не денешься.

К тому же сотанвильцы умеют окинуть таким взглядом, который мгновенно превращает тебя в какого-то марсианина из научно-фантастического романа, где опасный «чужак», «захватчик», «нечто» прогуливается в толпе, настолько иной, что никто этого даже не замечает до той самой минуты, когда герой,— я хочу сказать герой-землянин, американец, тридцати или тридцати пяти лет, непревзойденный специалист в области трансцендентной математики, обладающий острым чутьем на любые аномалии,— не разоблачит марсианина, к примеру, по его тревожно расширенным зрачкам.

Ну чего он так смотрит мне в глаза, директор? Ладно! Он догадался, что я марсианин; он снимает телефонную трубку. «Простите»,— говорит он мне. Может, мне лучше убежать, пока не явились вызванные им люди? Но он загораживает дверь. Придется сбить его с ног. А может, через окно? Здесь не так уж высоко, я смогу выскочить.

Но я не выскакиваю. Была минута, когда я чуть не выскочил. Но мне, чтобы быть по-настоящему сумасшедшим, не хватает воображения, самую капельку: я еще по сю сторону безумия! Правда, впритык, но все еще по сю: оно издевательски подмигивает мне с той стороны, из окна; директор глядит на меня, глядящего в окно, и ничего, разумеется, не понимает. Директор не знает, чего он только что избежал: это человек небольшого роста, но по его волосам бобриком и нейлоновой с бле-

ском рубашке, по его злющему лицу я почти безошибочно определяю, что он с самого детства лелеет мечту скрутить в один прекрасный день злоумышленника, безумца, марсианина, какого-нибудь субъекта вроде меня; он — скручиватель.

Входит инспектор техникума. Под мышкой у инспектора большая тетрадь: это расписание. «Мы передвинули вашу лекцию с вечера пятницы,— говорит мне директор,— таким образом вы поспеваете на шестичасовой поезд».

В Сотанвиле марсиан не уничтожают; их отправляют домой на субботу и воскресенье. Но директор еще не кончил: я симпатичный марсианин, говорит он мне. Я проявил прекрасную инициативу, пойдя работать в техникум, имея диплом преподавателя высшей школы. Пример, достойный подражания. Вот я и стал предтечей благодаря тому, что ужасно боялся переезда.

В благородном порыве, не обращая внимания на мои зрочки, все более расширяющиеся от напряженного внимания, директор предлагает мне стать гражданином Сотанвиля: «Подайте заявление о предоставлении вам квартиры в Городское строительное управление, я поддерживаю вашу кандидатуру. Лично. Ваша просьба будет удовлетворена вне очереди; самое позднее через два года».

Через два года! Я забыл! Я забыл, что Сотанвиль — это не шутка; что это на несколько лет. Сколько мгновений в году? Сколько мгновений, чтобы удержаться и не выпрыгнуть в окно? Я опять гляжу в окно, и что то там, по ту сторону, все больше и больше потешается надо мной. Два года: кем я стану через два года? Разве мне одолеть два года! Там, за окном, что-то поджидает меня, и гораздо раньше, чем минут два года; эта мысль приносит мне облегчение.

Учащиеся техникума очень аккуратны, очень вежливы и очень пристойны. Они встают, когда я вхожу в класс; обращаясь ко мне, они говорят «мсье». Это естественно, как же им иначе ко мне обращаться? Я их преподаватель, к этому нужно привыкнуть; нужно научиться не смотреть на этих восемнадцатилетних девушек, как на восемнадцатилетних девушек.

Ну, это-то не так уж трудно: не смотреть на девушек или смотреть на них сверху вниз; но этого еще недостаточно, чтобы выглядеть «пристойно». Нужно еще многое другое, чего у меня нет. Дома, в Париже, у меня вид вполне пристойный, так я считаю; но не здесь, не в этом классе; я вижу это по глазам учеников, в особенности девушек: их забавляет преподаватель, который раскачивается на стуле, потом вдруг спохватывается, а потом снова начинает раскачиваться.

Они слишком пристойны, мои ученики; слишком, слишком, я чувствую себя перед ними мальчишкой; я вынимаю руки из карманов, прячу за спину, полагая, что это придает мне профессорский вид и что держать руки в карманах неприлично. Они видят, что я не знаю, куда деваться, но даже не смеются: они взрослые не по годам; а может, этот возраст — ну, скажем, восемнадцать — привилегия избранных; детям пролетариев она не дана. Мне тоже было восемнадцать лет; мне и сейчас всего двадцать шесть: я принадлежу, как говорится, к «молодежи»; это дает своего рода право на привилегии или на побряки, многое сходит с рук; отсюда и идет, наверное, мой «непристойный» вид. Но молодость — вопрос не только возраста, скорее уж это вопрос воспитания, социального положения; своего рода роскошь, доступная лишь некоторым, далеко не всем. Не моим ученикам: они старше своего возраста; у них нет возраста; у них есть социальное положение, положение людей, хорошо воспитанных обществом.

Я, разумеется, отдаю себе отчет в том, что мое положение мешает мне уловить до конца все эти тонкости, хотя бы потому, что я-то принадлежу как раз к «молодежи».

Я к ней принадлежу, но уже не вполне; я к ней принадлежал до самого последнего времени. И вот теперь — бац! — я взрослый; или почти взрослый. Хлопнулся задницей на землю.

Когда я был маленьким, у меня были репетиторы, учитель музыки. Позднее пришлось посещать лицей, старшие классы. Но лет до пятнадцати я, чтобы сделать пипи, возвращался домой.

Рабочих мне приходилось видеть только в киножурнале, когда они, например, «бастовали». Дома говорили, что это «красные»; на экране в кино я видел их, скорее, серыми, грязными; но я знал, что все они «коммунисты», что они хотят зарезать моего отца, изнасиловать мать и обобществить электрическую железную дорогу, подаренную мне в 1950 году ко дню рождения, мне тогда исполнилось восемь. Там было два локомотива, не меньше дюжины вагончиков, вокзал, картонный круг с прилепленными к нему свинцовыми барашками; трое путешественников в здании вокзала, и два других — на перроне, деревья из вонючей резиновой губки, несколько шлагбаумов и стрелка с приклеенным возле нее стрелочником. Это был прекрасный электропоезд. Но я с тех пор очень изменился; когда мне исполнилось тринадцать, я подарил свою железную дорогу сыну нашей прислуги.

Может, поэтому мне так отвратительна мелочная буржуазность этих господ, моих коллег, я и пальцем не пошевелю,

чтобы походить на них. Пусть я сам ненавистней себе, чем эти мешчане, которых я высмеиваю, но я ненавистней иначе, моему. Даже мои смешные слабости им недоступны: разве они подарили бы свою железную дорогу? Не похоже.

И к тому же я очень изменился. Почему, в конце концов, умалчивать об этом? Разве так не бывает? Я ненавижу буржуазию, всяческую буржуазию, вплоть до себя самого; я себя не щажу; даже если мелкая буржуазия раздражает меня чуть больше, чем другая, все равно ненавижу я больше всего, постоянное всего именно ту, другую, мою собственную, или ее пережитки во мне.

Инспектор техникума сделал мне замечание по поводу моего свитера. Этот человек существует, чтобы делать замечания, они написаны у него на лице; он сам сплошное замечание, даже голова у него в форме замечания. Ну так вот, я все равно буду носить свитер, нравится ему это или нет!

Не знаю точно, ненавижу ли я себя через буржуазию или буржуазию через себя; ну, то, что именую буржуазией я. Боком мне вышло это детство, когда меня так разбаловали; я его ненавижу и грущу по нем. Из меня сделали существо драгоценное и нелепое: я приобрел хорошие манеры, но на свой лад. Например, не следует ничего желать слишком сильно, поскольку считается, что можешь иметь все; вот я ничего и не желаю. Не следует сожалеть о том, чего не смог получить, исходя из того же принципа; вот я и сожалею лишь о том, что у меня есть: малодушие — таково мое отличие.

Мир для меня слишком шершав, меня не обучили прибавочной стойкости страданий. Я ныл, грустил, скучал, хотел, чтобы со мной возились еще больше: вызывали доктора, он являлся и, делая вид, что выслушивает, рассказывал мне всякие байки. Отец пожимал плечами: он отдал меня матери, гувернантке; мною владели женщины.

Бегать мне не разрешали, так как доктор сказал, что мое сердце бьется слишком часто. И я вообразил, что хрупкость, хилость, боязнь лошадей, ужас перед холодной водой — атрибуты сущности высшего порядка. Старательно, любовно меня превратили в калеку. Ненавижу свое детство; и, однако, я не помню, я не могу себе представить никакого иного счастья. Когда отец умер и оставил нас — мою мать и ее маленького принца — без гроша, было уже слишком поздно. Я как раз достиг возраста, когда доступны сожаления, но упущена возможность обучиться новой, суровой жизни. Мать унаследовала только бесконечные долги отца, и я тоже — я унаследовал

тайный долг всей той нежности, которой я бы не ждал от жизни, если бы мои отец и мать умели держать в порядке свои счета. Все свои счета.

Мы были чересчур бедны, чтобы расстаться с огромной квартирой, где я вырос, переезд был бы слишком дорог, да и как перевезти мебель? Мебель служила квартирной платой; в день взноса исчезала очередная вещь. Квартира становилась все более и более огромной, гулкой. Когда пришла зима, мы заперли обе гостиные, столовую и перебрались в комнаты, которые было легче отопить. Мне минуло шестнадцать лет. Мать, как-то сразу постаревшая и высохшая от горя, теперь, казалось, ставила мне в вину все те слабости, которые сама же привила. В промежутках между инвективами в адрес покойного мужа она бранила меня: я легкомысленный, ленивый, «безответственный», совсем как он. Мне следовало бы приобрести специальность, работать в поте лица, побыстрее окупить свое воспитание. А меня ни к чему не тянуло, ведь именно это мне предписывали прежде. Читать, играть на пианино, естественно и простодушно презирать весь остальной мир — вот все, на что я был способен. Но надо было приобрести специальность. Я как раз заканчивал класс философии, и, поскольку философия, наряду с другими пленительными качествами, многие из которых были пагубными (я подозревал это и наслаждался, вызывая в своем воображении пугающие бездны, разверстые в моем сознании Кювилье), казалась мне чем-то достаточно бесполезным, чтобы, занимаясь ею, не ощущать унижения, я стал готовиться к экзамену на лиценциата. Нужно же мне было, повторяю, чем-то заняться. И к тому же, пока я буду изучать философию, что-нибудь да произойдет. Я не знал, что именно. Но что-нибудь непременно произойдет. В противном случае наш жребий был бы слишком уж несправедлив. Ничего не произошло.

Я стал преподавателем. Потому что, пока ничего не происходило, я становился преподавателем. Мать была удовлетворена: вот, думала она, нечто мудрое и посредственное; как раз по мерке нам, нашему теперешнему месту, в тени. Я сделаюсь преподавателем. Не буду играть на бирже. Мне не по карману будет транжирить деньги с любовницами, как транжирил мой отец. Да-да, как мой отец! Потому что, старея вместе с матерью, память об отце порождала из уныния, из толщи пыли и сумрака, в которых мы жили, нечто невыразимо отвратительное. У отца были любовницы; за ним наверняка водились и иные грешки, как же иначе объяснить поразившее нас проклятие? Главное, чтобы я не был похож на него.

Я и не хотел быть на него похожим. Я тоже проникся ненавистью к нему. Вернее, я, ненавидел то, что он представлял, то, что было, полагал я, источником всех наших горестей: нашу буржуазность, «его» буржуазность.

Работая в техникуме, я познакомлюсь с миром труда, с детьми пролетариев. Эта мысль меня привлекала. Куда больше, чем преподавание детям буржуазии вроде меня. Я думал, что мне представляется случай вырваться из своей среды, вернее, из привычной колеи, потому что после смерти отца никакой среды у меня, собственно, не было.

Были только привычки; грустные привычки избалованного, но бедного ребенка. А потом пришел месяц май. Я получил представление о другой жизни, не похожей на жизнь царька в изгнании, которую вел до тех пор. После мая я уже не так мучился и за свое бывшее монаршее величие, неизменно сопровождавшееся угрызениями, и за то, что я его утратил,— чувства, возможно, противоречивые, но крепко сплавленные в моем сознании какой-то болезненной химией.

Я принимал участие в демонстрациях; брусчатку мостовой, правда, не выворачивал, это не в моей натуре; мне не по вкусу разрушения, стычки, не по вкусу случайные затрещины, беспорядок, во всяком случае в мире материальном. И все же я принимал участие в демонстрациях. Я много говорил, много кричал. Я убеждал себя, что могу не стыдиться своего положения бедняка, или почти бедняка, или потрепанного буржуа, как стыдится моя мать. Я могу стать чем-то иным, не этой последней, протертой до блеска, до дыр тряпкой буржуазии.

Некоторые мои товарищи поговаривали в мае о том, чтобы пойти работать на завод. Мне, возможно, тоже хотелось этого. Но я не пошел, да и они тоже. И правильно сделали. Не стали рядиться рабочими. Но все же у нас у всех возникла одна и та же — новая — идея о нашей возможной социальной роли. Я не хотел преподавать в высшей школе и был в этом не одинок. Но только я один не хотел ничего. Нет, чего-то я все же хотел, был близок к тому, чтобы хотеть,— я хотел бы, например, учить рабочих на заводах, чтобы положить, хоть отчасти, конец великому унижению всех тех, кто трудится и молчит. Разумеется, существуют профсоюзы, забастовки, демонстрации; но это все еще очень далеко от подлинного словоизъявления личности, свободного и непосредственного, такого, которое дано, к примеру, мне. Рабочие, разумеется, говорят, но говорят коллективно, через своего представителя; это можно обнаружить, даже оставаясь буржуа, потому что

именно такое «застывшее», отяжелевшее, получившее право гражданства слово выступает в качестве свидетеля и защитника существования рабочего перед буржуазией: это голос не какого-то одного рабочего, даже не каких-то нескольких рабочих, но рабочих «вообще». Кто из нас, буржуа, согласился бы на подобного рода «самовыражение»? Но именно к этому сведены те, в противном лагере, слава тебе господи! Давайте же помолимся, чтобы наши добрые пролетарии с каскеткой в руке оставались всегда столь же «вежливыми» и брали на себя труд выйти на улицу со своими лозунгами и плакатами, как глотают слюну, прежде чем взять слово.

До чего бы мы докатились, если бы им вдруг взбрела в голову фантазия, как в мае 1968 года; говорить, где вздумается — в цехах, на куче заводского мусора, если бы каждый заговорил от своего собственного имени, только по «призыву» стихийного возмущения своего собственного сознания, «несчастливого сознания», как принято выражаться? До чего бы мы докатились, если бы кто-нибудь научил их этому? Если бы кто-нибудь научил их тому, что каждый имеет на это право? Мне хотелось научить их этому в меру моих сил.

А техникум, думалось мне, — это почти завод или его преддверие. Через техникум я получу доступ на завод, к тем, кого хочу видеть, к тем, кого хочу учить. По этой-то причине, а не только из малодушия, я и не отказался от работы сразу же после конкурса, как собирался было сделать. В техникуме, думалось мне, я найду молодых бунтарей; они должны быть бунтарями; у них для этого куда больше оснований, чем у нас, студентов-буржуа, которые были бунтарями; больше того, разве не они, не наше представление о них лежало в основе нашего бунта? Я воображал, что эти парни и девушки ждут кого-то вроде меня, чтобы он научил их искусству и технике восстания.

Да, я все еще недалеко ушел от киножурналов моего детства; я и не подозревал, что мои юные пролетарии окажутся такими «воспитанными», как выразился мой коллега, опустошитель бутылок игристого.

Девушки скорее хорошенькие; по крайней мере мне они кажутся хорошенькими на фоне цементной стены; я гляжу на них и взглядом молю их быть хорошенькими. Во всяком случае, они стремятся быть такими; они кокетливы; их кокетство чуть слишком старательно, как ученический почерк. На них белые рабочие халаты, которые они не застегивают, небрежно приоткрывая короткую юбочку из шотландки, заколотую большой позолоченной английской булавкой. Инспектор ры-

щет, высматривает, вынюхивает, проверяет, обходя коридоры, и предлагает им застегнуть халаты, прикрыть юбочку, булавку, колени; прямо маньяк какой-то!

Мальчиков в моих классах меньшинство; они сидят в задних рядах и наблюдают за мной.

В первый день я сказал: «Сейчас мы познакомимся», внутренне надеясь, что они хотят со мной познакомиться, в особенности мальчики. По отношению к девочкам я чувствовал себя уверенней, достаточно было кинуть взгляд на все эти халатики в раздевалке.

Я заглядывал в список и вызывал по алфавиту: каждый названный вставал, как автомат; у парней был вежливо-скупающий вид, девушки посматривали на меня вызывающе. Ладно! Было одиннадцать часов, так что их, вот уже третий урок, вызывали по алфавиту. Я извинился, что в свою очередь вынужден повторить эту процедуру. Заявил, что это необходимо, «если я хочу познакомиться с каждым из вас в отдельности». Но я знал, что это у меня получится не раньше чем через несколько месяцев, если вообще получится. Они, должно быть, тоже это знали: я не похож на человека, который интересуется каждым «в отдельности».

Но вот ритуал был завершен; оставалось еще полчаса. Входя в класс, я старался убедить себя, что мне необходимо многое им сказать — например, что я прибыл в Сотанвиль специально ради них, что я помогу им по-настоящему понять себя и т. д. Однако уже полчаса как у меня душа не лежала к такому вранью. И у них, должно быть, тоже. И для них тоже я был выходцем из другого мира, для них в особенности; я был марсианин. И потом они читали в моих глазах слишком откровенное любопытство, чтобы проникнуться ко мне симпатией.

Мне понадобилось несколько дней, чтобы освоиться с топографией заведения. Несколько дней не так уж много, если вспомнить о моих былых трудностях в лицее, где я учился. Надо сказать, что здесь все четко, упорядочено, расчленено: чисто и логично.

На город глядит фасадом длинное здание из стекла и стали: в первом этаже — преподавательская и библиотека, где собраны главным образом издания типа «Антреприз» или «Экспансьон», полная подборка в нескольких экземплярах: здесь центр, культурное ядро заведения. Преподаватели и учащиеся, которые с недавних пор получили право заниматься совместно за одним большим столом, как и пользоваться одним автоматом с горячими напитками, листают книги и периодические

издания довольно мрачного, на мой взгляд, вида, все это иллюстрировано кривыми, графиками, схемами машин, изредка, наверно, для оживления, даже фотографиями; но и на фотографиях все те же машины.

Поднявшись на второй этаж, где слышится стук пишущих машинок, на которых упражняются учащиеся, переносишься в своего рода контору крупной торговой фирмы или административного учреждения. Но так ли уж велика на самом деле дистанция от библиотеки с ее полками, уставленными «Антреприз», до кабинетов машинописи?

На третьем этаже наконец добираешься до школы, где в двух десятках классных комнат идет обучение общеобразовательным предметам. Тут-то я и работаю, тут мне предстоит философствовать. Поскольку в техникуме на эти двадцать — двадцать пять классов 1800 учащихся, совершенно очевидно, что они никогда не бывают здесь все одновременно: большую часть времени они проводят на втором этаже, в классах так называемого «коммерческого» отделения, или в мастерских отделения промышленного: огромном бетонном блоке без окон, размазанном желтой и зеленой краской. Здесь чувствуешь, что попал на завод. Механическая мастерская, котельная; штамповальные станки, фрезерные; от всего этого исходит густой, тяжелый, плотный грохот; массивный звуковой монолит, пронзаемый время от времени скрежетом разрезаемого металла. Мастера выкрикивают распоряжения; на стенах и на металлических опорах, поддерживающих балки потолка, огромные плакаты: «Следите, чтобы руки не попали в станок», «Берегитесь отлетающих осколков», «Высокое напряжение, опасно для жизни» — тут, в мастерских, не до шуток. Учащиеся выполняют задания, каждый за своим верстаком, за своим станком. Все в комбинезонах. Мастера переходят от одного ученика к другому, проверяют работу, дают советы, объясняют, делают замечания; ученики слушают, утвердительно кивая головой в знак того, что поняли, или делают вид, что поняли, но ни один при этом не отрывает глаз от обрабатываемой детали: точно слепые, которые слушают и говорят, — головы недвижны, лица удивительно бесстрастны, тела словно живут своей совершенно независимой жизнью.

Мне здесь не место. Лучше я вернусь в корпус, глядящий фасадом на улицу. Впрочем, учащиеся промышленного отделения философию вообще не изучают, за исключением привилегированных из секции «Е», которые изучают общеобразовательные дисциплины по полной программе, такой же, как в любом лицее, меж тем как остальные, по правде говоря, окан-

чивают своего рода профессионально-техническое училище; их философия не касается; вещи такого рода предназначены будущим «белым воротничкам», тем, кто готовится к секретарской и бухгалтерской карьере.

Я выхожу из мастерских с пустой, гудящей головой; по сравнению с этим грохотом стрекот пишущих машинок почти бесшумен. Опустошитель бутылок игристого, который решительно проникся ко мне симпатией и теперь показывал мне «свой» владения, провожает меня к выходу. Ладно, с этим покончено! И слава богу. Пускай это глупо, думаю я, но прогуливаться, засунув руки в карманы и покуривая сигарету, просто невыносимо, точно ты турист, разглядывающий этих пятнадцати- или шестнадцатилетних ребят, прикованных к своим станкам. Просто невыносимо. Я ощущал себя соглядатаем, человеком, который сует нос не в свое дело. И, возможно, мне было стыдно. Стыдно не того, что я это делаю, но того, что я имею на это право. Под предлогом, что я преподаватель и осматриваю «свой» техникум.

Нет, это не мой техникум, мой — в том здании, которое глядит на улицу, где на девушках свитера из шерсти или лакила, неплохо имитирующего мохер, а у парней длинные волосы. Здесь, во внутреннем корпусе, девушек нет. Их счастье! Нет и длинных волос; насчет этого опустошитель бутылок строг: «Поймите, мои ученики не то что ваши; они из другой среды: их нужно держать в ежовых рукавицах, иначе из них выйдут хулиганы. Вам везет, у вас — сливки. В особенности девушки. Семьи, которые посылают дочерей в техникум, — уже достигли определенного уровня. А у нас здесь кого только нет! Правда! Даже иностранцы; люди, которые понаехали отовсюду и ютятся в блачугах на окраине, где сразу после войны построили временки для тех, кто лишился крова в городе. А теперь там эти... Просто кишмя кишат, сидят на голове друг у друга вместе со своими пискливыми ребятишками. Чем хуже у этих людей условия, тем больше детей, вы заметили?»

Существуют разные уровни бедности; у пролетариата свой табель о рангах. Даже здесь, с поправкой на масштабы, разумеется, есть привилегированная верхушка и прочие. Есть мои девочки с коммерческого отделения: «сливки», как выражается коллега; смазливые, хорошо одетые, свеженькие, болтливые, задорные, забавные. И есть ученики-котельщики, загнанные в мастерские, за полуметровую толщу бетона, занятые по горло и немногословные.

Явная, бросающаяся в глаза разница между теми и другими как раз и состоит в том, что мои девушки, мои ученики с коммерческого отделения все же говорят; лучше или хуже, охотно или неохотно; они никогда не говорят, как мы, буржуа, с нашим апломбом, с нашей «естественностью»; но все же говорят; а те, другие, не говорят. Именно те, кто мог бы больше всего сказать, или, вернее, высказать своего, не говорят ничего. Почему? Мой коллега, предполагаю, объяснил бы это не задумываясь; объяснил же он мне: существуют, с одной стороны, порядочные люди, с другой — всякий сброд, даже иностранцы. Да, «иностранцы», пусть у них даже есть удостоверение о французском гражданстве: поляки, югославы, португальцы, испанцы, арабы, негры. Это все не французы. Доказательство? Они говорят не как все. Они до такой степени не французы, что даже французы настоящие, с нормальными именами, а не этими — язык сломаешь — с нормальной, не слишком смуглой кожей, превращаются в иностранцев от одного лишь соприкосновения с ними; впадают в состояние варварства и говорят — в тех редких случаях, когда вообще говорят, — столь же немыслимо коверкая язык, как и эти пришлые.

Так что не будем смешивать этих эмигрантов — из дальних стран или из нашей собственной — с истинными детьми Сотанвиля. Каждому свое место, даже среди пролетариев, даже в техникуме, особенно в техникуме.

Об этом заботится комиссия по профессиональной ориентации: перед окончанием неполной средней школы, в последний год обучения, тестологи, классные советы и администрация техникума берут на себя труд отделить зерно от плевел. Зерно — в прекрасное здание из стекла и стали, с библиотекой и классными комнатами; это будущие «белые воротнички», ученики коммерческого отделения. Остальных — на промышленное отделение, то есть в мастерские, в бетон, в грохот, в лязг металла, под начальнические окрики мастеров. Но подлинная дискриминация еще не в этом или, вернее, к этому не сводится. С нею сталкиваешься, точнее, на нее вновь натыкаешься внутри каждого отделения, как коммерческого, так и промышленного, разделенных на секции.

Тому, кто не вполне освоился с нравами и обычаями техникума, не так-то легко во всем этом разобраться. К примеру, у меня в классическом лицее была в старших классах возможность выбора: изучать или не изучать латынь, изучать или не изучать греческий, изучать математику в большем или меньшем объеме, один или два иностранных языка. В зависимости от моих склонностей или способностей я мог стать «гуманиста-

рием» или «математиком», латинистом, эллинистом или естественником. У меня был выбор между разветвлениями культуры. В техникуме дело обстоит совсем иначе. Разумеется, существует основная альтернатива — коммерческое или промышленное отделение, то есть два различных типа обучения; здесь еще можно говорить не столько о дискриминации, сколько о выборе, предпочтении, хотя «технари» заведомо поставлены в худшее положение, чем «коммерсанты», во всем, что касается общеобразовательных предметов, то есть образования в собственном смысле слова.

Дальше все запутывается еще больше. Техникум, с одной стороны, дает образование, с другой — обучает ремеслу; упор либо на первое, либо на второе. Так на промышленном — больше ремесла; на коммерческом — больше образования.

Но каждое из отделений делится на секции. К примеру, на коммерческом есть секции «В» и «Г». Разница? Здесь она уже не в ориентации на общее образование или обучение ремеслу. Как одни, так и другие приобщаются к праву, экономике. Значит, разницы никакой? Нет, разница есть! Да еще какая! Она в относительной пропорции общего образования и обучения ремеслу. Так, если ученики «В» занимаются со мной философией пять часов в неделю, то ученики «Г», имеющие право только на два часа моей проповеди, стучат три оставшихся на машинке или изучают стенографию. И если первые сдают по окончании техникума экзамен на бакалавра, открывающий им без всяких ограничений доступ в университет, то вторым дается только право поступления в «технологические институты», эту своего рода высшую школу обучения ремеслу, где они продолжают главным образом стучать на машинке. Их потолок — контора.

Чем же оправдывается подобная дискриминация? Может, воспитанники секции «В» способнее своих товарищей из «Г»? Возможно; занимаются они и правда лучше; воспитанники из «В» сдают мне сочинения, которые значительно превосходят по качеству письменные работы «Г». Но ведь учащимся «В» форас дается перед началом игры, и наряду с другими преимуществами они получают свои пять часов философии в неделю, в то время как «Г» имеют право всего на два часа этой дисциплины, соответственно и всех остальных. Следовательно, разницу в успехах не так уж трудно объяснить. Однако при прочих равных условиях «В» все равно успевали бы лучше, чем «Г»; они ученики куда более блестящие: говорят они свободнее, легче.

Ну а эта разница откуда берется? Ответ в карточках, которые я заполнил на каждого, указывая фамилию, имя, возраст

и главное профессию отца. Все яснее ясного! У «В» отцы учителя, мелкие служащие, городские торговцы; среди них есть даже дочка врача. У «Г» — рабочие, крестьяне, железнодорожники, полицейский... Но это не предел: если перейти затем к промышленному отделению и проглядеть картотеку учащихся секций «Д» и «Е», считающихся самыми низкими по уровню, обнаружится, что спуск по социальной лестнице продолжается вплоть до жителей вшивой и не отличающейся красотами окраины Сотанвиля.

Иначе говоря, различные категории самых скромных слоев сотанвильского населения сначала были просто-напросто распределены: одни — на коммерческое, другие — на промышленное отделение, затем, более тщательно, — по секциям каждого из отделений, чем закрепляются по меньшей мере еще два различных уровня; и из массы пролетариата, и без того неоднородной, выделяется некая переходная группа: трудовая мелкая буржуазия, еще достаточно близкая, еще не вполне оторвавшаяся от народных корней, но в то же время уже осознавшая свое относительно привилегированное положение и заботящаяся о том, чтобы его упрочить всеми возможными для нее средствами. Эти люди, а также и их дети, учащиеся техникума, своего рода аристократия, которая тем ревнивей охраняет свои привилегии, чем они незначительнее на самом деле. Они не допустят, чтобы их смешивали со «всяким сбродом».

Так, мои ученики из секции «В» почти поголовно намерены учиться дальше после получения диплома бакалавра; чтобы стать кем? Этого они пока точно не знают — жизнь, о которой они мечтают, пока им неизвестна и предстает в форме мифа: стать «служащими» — вот к чему сводится едва ли не магическая формула их мечтаний. Какого рода «служащими»? Неважно! Они домогаются определенного общественного положения, определенного «жизненного уровня», по их собственному выражению; речь идет не о той или иной профессии; профессия в данном случае не цель, а средство, если даже не символ; возжеланный символ удачной карьеры, успеха, социального продвижения.

Ученики секции «Г», как правило, куда скромнее в своих желаниях; если, конечно, не грезят, отрываясь, подобно детям, увлеченным игрой, от реальной действительности, и не мечтают, к примеру, стать пилотами «Эр Франс» или ассистентами профессора Барнарда! Честолюбивые помыслы большинства не идут дальше секретарской должности, по возможности «в дирекции». И в их расчетах, в их планах основным элементом является уровень заработной платы, они берут курс на тысячу

франков в месяц; их цель — не вырваться из своего социального слоя, а достигнуть внутри него потолка оплаты, потолка комфорта.

В секции «В» ученики честолобивы: это уже — или по крайней мере в ближайшем будущем — буржуа. У «Г» требования только материальные; они еще пролетарии.

Так что за распределением по секциям стоит не просто школьная успеваемость; та же история на промышленном отделении с его секциями «Д», «Е», «И».

Конечно, успеваемость тут играет роль; но важно другое, важно то, что успеваемость, о которой идет речь, отражает социальное происхождение ученика, и оно закрепляется благодаря разделению на секции. И если техникум действительно является орудием продвижения по социальной лестнице, то это продвижение осуществляется в полном соответствии с точными, жесткими нормами, внутри строго очерченных границ.

Эти границы здесь никто, кажется, не собирается ставить под сомнение. Здесь каждый, даже тот, кто поставлен в наименее «благоприятные» условия, дорожит своим положением, пусть оно даже и ниже других; потому хотя бы, что это — его положение; или потому, что и оно, в конце концов, лучше, чем ничего. Можно ведь было остаться и без этого; и как раз ученики, стоящие на низшей ступени иерархической лестницы техникума, сознают это особенно ясно: ведь, не попади они в техникум, пришлось бы стать чернорабочим, как брат или двоюродный брат, чернорабочим, как отец. Если привилегированные из «В» охотно заглядывают вверх, понимая, что в нашем мире есть положения куда более блестящие, чем то, которого им когда-либо удастся достичь, и что в этом, возможно, есть какая-то несправедливость, то ученики «Г» и все те, кто занимается на промышленном отделении, оглядываются только вниз: первые хотят взобраться повыше, вторые думают лишь о том, чтобы выкарабкаться оттуда, откуда они пришли, — разница огромная.

Да, техникум — орудие совершенное. В руках буржуазии. Здесь внушают любовь к порядку, к молчаливому труду; здесь выводят рабочую элиту, воспитывают ее, дрессируют, прививают с помощью ничтожных подачек привычку к послушанию; учат не заглядывать ни слишком далеко, ни слишком высоко. Техникум — это приторная кормилица для примерных детей пролетариата.

А я? Что сулю им я, «протестант»? Что сулю им я за тот бунт, которого от них требую? Я говорю им, что экзамены — не цель, что надо заглядывать дальше, выше вожделенной ты-

сячи франков в месяц; а на кой черт им это? Им предлагают конкретные цели, конкретные препятствия на пути к этим целям; реальные блага, привычную, спокойную обстановку; в машинописных бюро или в мастерских они приноравливаются к своему грядущему существованию — зачем им воображать что-нибудь другое? У них перед глазами ничего другого нет. На что еще могут они рассчитывать? У них нет ничего другого под руками.

А я, мои речи, мои призывы, мои доказательства, что они несчастны, что их водят за нос, что их «угнетают», — как во все это поверить? Это только слова; а слова не стоят диплома, обещанного за послушание. Так как же не быть послушным?

И когда я говорю о буржуазии, пригвождая ее к позорному столбу, на меня глядят с удивлением: разве я сам не один из тех буржуа, которых столь яростно обличаю? У меня повадки, речь буржуа. И главное — я выступаю в роли буржуа, хочу я того или нет: я преподаватель, начальник. Вот на меня и смотрят, меня слушают, точно я разыгрываю фарс. Несусветный фарс. И ждут, когда я кончу, когда наконец приступлю к лекции, которую можно будет записывать, тщательно, до запятой, лихорадочно, потому что нужно знать курс, программу, нужно сдать экзамены и получить свое вознаграждение.

Что может быть естественней? Ладно, читаю лекцию. В соответствии с программой. Прежде всего — «философия, ее предмет, ее задача». После заголовка — план: первое, второе и т. д. Но нет! Не могу. Не могу я читать этот курс философии. Я говорю им об этом; говорю, что это несерьезно. Как так несерьезно? Да, несерьезно.

Я стану им говорить в соответствии с программой о свободе по Спинозе, о бытии бога по святому Ансельму и Декарту, о «религиозном чувстве» Савойского викария, а им предстоит в течение сорока лет утомлять глаза над колонками цифр, «дебитом», «поступлениями», «обеспечением», «котировкой», а им предстоит утомлять душу в беспощадном грохоте станков; да разве это серьезно? Нет! Не стану я принимать участия в этом мошенничестве: в этом мнимом приобщении к культуре, в этом подложном алиби, золотящем пилюлю обучения ремеслу. И я говорю им об этом.

Но они меня не понимают; они не могут одобрить моей щепетильности. Может, я просто считаю, что они недостаточно хороши для моей философии? Вот в чем секрет: я их презираю, смеюсь над ними, я отказываю им в том, что обязан дать, — отказываюсь их учить. И они в обиде на меня; эксплуататор, мошенник — это как раз я; я эксплуатирую, мне

хотелось бы эксплуатировать их доверчивость. Они дети рабочих, они это знают и говорят мне, что я не должен только поэтому над ними насмехаться.

Они ничего не поняли; или это я ничего не понял. И я сдаюсь; сдаюсь на время, там будет видно, когда они проникнутся ко мне доверием, если они когда-нибудь проникнутся ко мне доверием. Я снова приступаю к лекции по философии, ничего не напишешь! Но я им говорю: философия не в тех записях, которые вы сейчас сделаете, философия не в программе. Философия — это состояние ума; учить тут нечего, нужно только соответствующим образом настроиться.

Как нечего учить? Они снова обескуражены, встревожены. Или я опять их разыгрываю? Им нужно нечто положительное: «первое», «второе». Раз я преподаватель, я должен владеть абсолютным знанием и должен передать им его формулу; если я этого на делаю, значит, я приберегаю эту формулу для себя; насмехаюсь над ними.

Да нет, ничуть я не насмехаюсь; но философия — это не механика, не бухгалтерский учет; это, скорее, своего рода противоядие, если вы только дадите мне говорить о ней по-своему, если не будете так страстно ждать от меня механики и бухгалтерского учета.

Лучше задумайтесь о себе самих. Что вы собой представляете как люди, как члены общества. Думайте о себе, не об экзаменах. Думайте, скажем, о счастье. Есть у вас представление о счастье?

Разумеется, представление у них есть. К несчастью! Один хотел бы иметь машину; другой — дом в районе Фремикура, в шикарнейшей части Станвиля; третий хотел бы занять ответственный пост; еще один — быть биржевым маклером.

— Биржевым маклером? А что это такое?

— Это хорошее положение.

— Допустим, но точнее?

— Принадлежишь самому себе, ворочаешь делами.

— Зарабатываешь деньги?

— Да, зарабатываешь деньги.

— А что вы будете с ними делать?

Мой вопрос вызывает бурю смеха. Ну и глупость я отмолил! Будто любому не известно, что делать с деньгами, когда они есть. Решительно, я человек несерьезный. Тот, кому не известно, что делать с деньгами, которые имеешь, — человек несерьезный. Значит, это и есть философия? Какое разочарование! Они ждали чего-то разумного, а не подобных бредней.

Порядок господствует в Сотанвиле, как туман. Порядок и сырость проникают под одежду, добираются до костей. Сотанвильский порядок ощущаешь спиной. Сотанвиль степенен и натянут.

Я ощущаю эту натянутость вокруг себя. Люди здесь «корректны» — через два «р» — и полны неистощимой доброй воли. У них накрахмаленная элегантность восковых манекенов, которые красуются в витринах; они веселы, как полицейский протокол. Дождь угрюмо стекает в водосточный желоб; неизменный дождь.

Я окончил работу; чтобы не возвращаться сразу домой, пью шоколад в ресторане «Благовест». Какой еще благовест? Скучно до смерти; вокруг одни уроды; даже не уроды — это хуже, чем уродство. Хочется помочиться в свою чашку, чтобы их лица исказились, стали в самом деле уродливыми; и чтобы им было на что посмотреть, потому что они упорно меня разглядывают; ну чего они на меня уставились?

Я не мочусь в чашку: я, как всегда, сдаюсь первым и ухожу. Ухожу, чтобы вернуться к себе, больше мне здесь делать нечего. Идет дождь; женщины ускоряют шаг, стараясь не зашлепаться. У них серые плащи и черные зонтики. Продавщицы «Призюник» высыпают из темной дыры «подъезда для грузов» и группками по двое, по трое, держась под руки, спускаются по Лилльской улице, к каналу. Гляди-ка, они — живые! И от этого они выглядят еще печальней. Бегают, должно быть, по воскресеньям на танцульку, собрав волосы в шиньон, нарумянив щеки, и танцуют шерочка с машерочкой.

Сегодня я говорил шесть часов подряд. Сегодня — это каждый день. На переменах я выпил два или три стакана шоколада, надоив его из автоматического соска, поскольку, когда говоришь не умолкая, сохнет во рту. Каждый имеет право на положенный «курс», раз им этого так хочется. Я, ясное дело, пытаюсь жульничать; не ради удовольствия, а потому, что говорить шесть часов подряд утомительно; вот я и устраиваю время от времени «минуты размышления», как я их называю; на учеников это действует впечатляюще — «минуты размышления»; они думают, что я совершаю спелеологические изыскания в безднах человеческого духа; а я на миг выключаюсь, не думаю ни о чем; я отдыхаю, остываю. Но рано или поздно приходится возвращаться, подниматься на поверхность, называйте это как угодно. И что же я приношу из своих экспедиций? Всего лишь каплю слюны; но попробуйте-ка, пофилософствуйте без слюны. Вот я и погружаюсь в «размышления», или пью шоколад — результат, в сущности, одинаков. Чай я не

пью; чай меня слишком возбуждает; кофе тоже; к тому же здесь он очень плохой; пью шоколад. Но шоколад я не люблю.

В общем-то, я начинаю нравиться своим ученикам. Но, думаю, они не понимают того, о чем я говорю. Они даже не делают вида, что понимают.

Они не делают вида, что понимают, так как в техникуме не принято, чтобы учащиеся понимали все, о чем им говорят; и даже, по мнению некоторых преподавателей, приличие требует, чтобы не понимали; непонимание — это своего рода свидетельство почтения; почтения к тому, чем являются преподаватели и чем не являются ученики.

Будь мои ученики детьми буржуа — другое дело.

Дети буржуа понимают все. Самая их суть предполагает ум. Если ты буржуа и не умен, ты, значит, дурак; а к детям пролетариев это, само собой, не подходит. Их никто не упрекнет в том, что они чего-то не понимают. Напротив, обнаружить невежество и непонимание именно там, где хочешь их обнаружить, даже как-то приятно. В противном случае мир не был бы тем, что он есть.

Порядок господствует в Сотанвиле, как круглое белое солнце. Некая легкость, веселье одушевляют багровые тела, которые стекаются к шикарному водопою «Парижанина» — ресторана-кабаре деловых людей. Здесь утоляют жажду пивом всевозможных сортов: светлым, черным, даже рыжим, если угодно, только плати денежки, однако говорить об этом вслух не принято. Каждый вечер, после десяти, какая-нибудь «всемирно известная звезда» увеселяет посетителей куплетами или смачными шуточками, нет, здесь не соскучишься! Это, можно сказать, самое веселое место в Сотанвиле; но нужно располагать возможностями, то есть бумажником и задницей, достаточно объемистыми, чтобы удостоиться места на красной коже банкетов. У входа, перед вертящейся дверью, высокий парень в каскетке и ливрее отказывает всем, кто недостаточно обрюзг.

Я ощущаю вокруг себя эту дряблость. Люди вызывающе довольны своим жиром. У них в артериях не кровь, а топленое сало; они именуют это холестерином; в Сотанвиле холестерин — неотъемлемый атрибут богатства.

Жены всех этих типов, посасывающих пиво, стоят у аптечного прилавка, терпеливо выжидая, пока подойдет их очередь, болтают, держа друг друга за руки, хвосты или хоботы, нашаривая в сумочке из змеиной кожи рецепт клиники, дарующий им привилегию растворять в стакане воды прибавочную стоимость супружеской коммерции: ведь должно же, со-

гласитесь сами, давать им какие-то права то, что некогда они решились лечь под этих грузных самцов.

Что бы случилось с ними, с этими буржуазными дамами, не будь аптекаря, этого исповедника, которому удастся совладать с их запорами? Деньги, как известно, причиняют уйму хлопот и подрывают здоровье; нужны лекарства; уйма всевозможных лекарств; по лекарству на каждый орган этих дряблых механизмов, которые усложняются с каждым лишним миллионом; разве вы, бедняки, можете знать, сколько метров кишок помещается в этом необъятном брюхе?

Коэффициент плотности ювелирных магазинов столь же поразителен, как и количество аптек. Сотанвиль таит богатство за кирпичом своих стен. По вечерам главная площадь и Лилльская улица принаряжаются сверканием витрин.

У ювелира очереди нет; обстановка не располагает к кудахтанью, в ней есть нечто торжественное. Входят, усаживаются. Их усаживают. Молчаливо ждут, пока им продемонстрируют крохотный тотем, золотой или бриллиантовый. Указательным пальцем направляют руку представителя ювелирного искусства под стеклом витрины к объекту, к источнику наслаждения.

Ибо эти коровы услаждают себя. Пока мужья сидят в «Парижанине», расстегнув нижние пуговицы на жилете, эти роскошные вдовы предаются ювелирным оргазмам.

Платьев или пальто они не покупают; это вещи легкомысленные; легкомысленные, ибо изнашиваются и протираются, а христианская мораль учит нас не дорожить преходящим. Только ювелир и аптекарь могут предложить удовлетворение под стать этой морали. Аптекарь — поскольку субстанции, покупаемые у него, поглощаешь, как поглощаешь благодать и отпущение грехов; поскольку его пилюли и микстуры, хоть и растворяются, но растворяются в твоём теле, в твоём существе. Ювелир — поскольку субстанции, покупаемые у него, нетленны, подобны — почти подобны — небесным светилам; они передаются из поколения в поколение и будут, даст бог, передаваться, пока существуют на небесах звезды и буржуа.

Последние дни я болтал с учениками. Мы теперь лучше понимаем друг друга; они уже не обижаются на меня за то, что я не Заратустра; более того — они меня чуточку жалеют: они многое усвоили, поняли, например, что и преподаватель философии с дипломом имеет право быть жалким типом; в определенном смысле, как всякий другой, как они. Вот-вот, теперь я уже не так отличаюсь от них.

Я с ними болтаю: отныне таков мой метод работы. Мысль до них лучше доходит, когда они получают ее по недосмотру, и дружеский тон им больше по вкусу, чем наставительный; я хорошо сделал, не попав в расставленную мне ловушку, отказавшись разыгрывать пророка, ясновидца, оракула, изрекающего темные истины. Вначале они этого требовали, но только потому, что слегка меня побаивались; и поскольку директор под предлогом, что я, мол, с дипломом и к тому же симпатичный марсианин, априорно даровал мне папскую непогрешимость. Скотина!

Теперь дело пошло на лад; хоть я и не читаю курса так, как положено; хоть я и выделяюсь по-прежнему оригинальничанием в одежде и еще чем-то, сам не знаю чем, я тем не менее стал одним из преподавателей, почти таким же, как и все прочие. Воспитанники меня приняли.

Другие преподаватели называют их по имени и на «ты»: но это не для меня. Я для этого недостаточно прост; мне кажется, что в тыканьи с моей стороны было бы что-то оскорбительное. Как бы я ни старался, между ними и мной остается какой-то заслон, иногда более, иногда менее прозрачный; и чем больше я силюсь его уничтожить, тем он плотней. Я не создан быть простым, ничего не напишешь. Или, вернее, я-то прост! Мне кажется, что я прост; только на свой манер, не так, как это понимают другие; я прост, потому что говорю и поступаю в соответствии со своими представлениями; это и значит быть простым. И если бы не страх перед другими, я был бы еще проще; по тогда меня сочли бы дурно воспитанным; потому что мне в свою очередь многие вещи кажутся весьма дурно воспитанными; в особенности по отношению ко мне. И я всегда отступаю перед этими вещами; делаю вид, что не замечаю их глубочайшей подлости; строю им улыбки, этим проклятым вещам! Но только из вежливости, потому что пользы мне от этого никакой.

Я вежлив, это уж точно; бесконечно вежлив. Я не забыл предупредительности, с которой меня обучали в детстве; теперь предупредителен я сам. Просто мы поменялись местами.

Я вежлив, поэтому не могу быть фамильярным с учениками, как другие преподаватели: я умею говорить только «вы» людям, моим ученикам (ведь мои ученики люди, не так ли?), три часа в неделю безмолвно сидящим на несколько сантиметров ниже того уровня, на который поднимает меня должность преподавателя и кафедра. Тут уж ничего не поделаешь.

И однако, если я хочу принести пользу и научить их чему-то, нужно добиться, чтобы они заговорили со мной; заговори-

ли со мной не снизу вверх, не из своего далека. Не думаю, что им стало бы проще, заговори я с ними на «ты»; в моих устах «ты» звучало бы совершенно иначе, чем у других преподавателей; так мне, во всяком случае, кажется; и это мешает мне обращаться к ним на «ты».

Вот я и не знаю толком, как из этого выпутаться; необходимо, однако, чтобы именно я помог всем нам выпутаться из этого положения. Мне осточертела роль патрона!

А они находят вполне естественным, что я выступаю в роли патрона; именно они-то и заставляют меня играть эту роль! Они возмутительно покорны. Со смешками первых дней покончено! Покончено и с требованием, чтобы я читал лекции! Они примирились со всем; со всем, что я делаю или чего не делаю. Они приспособились; они умудряются даже записывать мою тарабарщину; записывать — вот единственное, от чего их не оторвать!

Но важно как раз это: добиться, чтобы они бросили записывать; и чтобы спорили; оспаривали то, что я говорю. Эти их записи, записи, которые они делают, что бы я им ни наболтал, — свидетельство, условный знак, символ повиновения.

Что сделать, чтобы они взбунтовались против меня? Ибо, только взбунтовавшись против меня, они могут хоть чему-то у меня научиться. Да! Научиться тому, чему я пытаюсь их научить; тому, чему я обязан их научить, чему уж никто, кроме меня, их научить, безусловно, не может — бунту! Иначе мое пребывание лишено всякого смысла; в нем не больше смысла, чем в учебниках, которые они покупают, чтобы дополнить (мягко сказано!) мой «курс».

Я говорю о революции; они записывают о революции, упрямо считая, что все, сказанное мною, нужно «выучить». Комедия — да и только!

Я теперь чувствую себя не таким одиноким. У меня завязались знакомства. По вечерам, в ресторане гостиницы, я болтаю с официантами; и потом у меня есть знакомые в техникуме; это, как и я, парижане, они ездят домой каждую неделю, а иногда — если небо Сотанвиля и впрямь слишком давит, а мостовая становится слишком жирной, — то и каждый вечер, несмотря на утомительность ежедневной трехсоткилометровой поездки.

Парижане стараются не задерживаться в Сотанвиле. Если ты парижанин, тебе здесь неуютно, ты чужой, ты торопишься; торопишься вернуться домой, к своей жизни, которая не здесь, опасаясь малейшей задержки, чтобы не опоздать на

поезд. Ибо Сотанвиль не становится притягательней, по мере того как проходят месяцы и набирает злость зима; холодно, пронизывающе сыро, сумрачно, Этот рыхлый, небрежно сотканный город с пустынными улицами, где дома пришиты, как заплаты, неряшливыми стежками, не создан, чтобы пленять.

Я не люблю Сотанвиль; гулять здесь не хочется; я вынужден выискивать предлог, чтобы выйти на улицу, хоть не надолго ускользнуть от техникума, от гостиницы. Впрочем, здесь никто не гуляет; здесь ходят за покупками, торопливо ежась, убегая от всех ветров Севера, которые гонятся за тобой. В Париже, дома, мне достаточно спуститься по лестнице, внизу — улица. Улица, то есть жизнь, жизнь других людей вокруг меня, а не просто тротуар и дома. В Сотанвиле приходится долго шагать от техникума или гостиницы, чтобы найти улицу, подобие улицы. Здесь люди наглухо законопачиваются; они живут не в домах — в склепах. Они смотрят друг на друга из окон, прячась за гардинами: не люди — тени.

Я не знаком в Сотанвиле ни с кем из местных жителей, даже среди преподавателей техникума, а их, разумеется, большинство; я вижу их на работе, здороваюсь — и все. Сотанвиль не умеет привязывать к себе и не заботится о том, чтобы ласково принять чужака, он похож на уродливых девушек, которые перестают замечать мужчин, поскольку те не обращают на них внимания.

Мне бы, конечно, хотелось немножко сблизиться с моими сотанвильскими коллегами; для того хотя бы, чтобы рассеяться время от времени, отвлечься на несколько часов от нескончаемой скуки существования, распределенного между гостиничным номером, поездным купе и ресторанами стандартных цен, где тебе стелют бумажную скатерть, которую официантка, не успеешь ты встать из-за стола, уже комкает вместе с крошками и винными пятнами.

Но сотанвильцы не попадают в сети: кому охота разговаривать с человеком, который то и дело глядит на часы, выжидая минуты, когда сможет уйти. Так что я, как и остальные парижане, обречен на одиночество — самое страшное из зол Сотанвиля! И мы оказываемся в своей компании, образуем своего рода профсоюз временных эмигрантов; и каждый говорит о своем одиночестве, что в конце концов все-таки лучше, чем просто от него страдать.

Ничто нас, в сущности, не связывает, и тем не менее мы обща выковываем временные, случайные дружбы в зияющей пустоте нашей моральной отрезанности. В который раз мы

талдычим, сидя в «Глобусе», перебиваем свою неизменную обиду; «Почему сюда?», и каждый самозабвенно крутит ложечкой в своей кофейной гуще; но там не возникает никаких миражей.

Главное — убить время; мы готовы на все, лишь бы оно шло быстрее; мы говорим об учениках, об инспекторе, о грязи в уборных техникума, наконец, о недавней постановке «Орленка» в муниципальном театре; мерзость следует за мерзостью, по нарастающей; зато время идет.

Иногда один из нас, окончательно добитый скукой, ужасом перед одиноким возвращением восвояси, приглашает всех остальных, скопом, «что-нибудь перехватить» у него, в его меблированной комнате. «Потеснимся как-нибудь, разок — не беда». Мы делаем вид, что колеблемся, он настаивает, умоляет; мы заставляем себя просить; думаем, стоит ли в самом деле, в конце концов, и одному ведь побыть неплохо, не правда ли? Но из любезности всегда уступаем, ликуя в душе.

Одиночество, мое одиночество, уже несколько раз одерживало победы. Я наблюдал, как, эти загулы, эти маленькие загулы завершаются в безмолвии: какая-нибудь мелочь, неудачный жест, мимолетное выражение лица выдают, что за этим нет ничего, ничего, кроме мрака и небытия. Двое или трое дали вот так пустоте захватить себя врасплох и разорвать на куски. Поддались безобразной, ничтожной, хищной пустоте с ее широкими, бурыми и громко хлопающими крыльями, с когтями, которые вцепляются тебе в затылок.

Они поддались умиротворению. Они больше не торопятся, чтобы не опоздать к отходу шестичасового. В то время как для остальных сотанвильская жизнь как была, так и остается всего лишь дырой меж двух расписаний — расписания занятий и расписания поездов, — эти вдруг начинают задерживаться в городе. Они уже не спешат. Беседуют в магазинах. Покупают. К ним обращаются по имени, это им приятно; это внушает им доверие к себе, к жизни — их ведь называют по имени, их ведь узнают. Они гуляют; точнее, ходят — за покупками, часами бродят по городу за покупками. Они не убивают, как мы, время на улицах или в кафе в ожидании, пока подойдет час поезда, занятий, еды, сна. Они своего времени не убивают. Они его проводят. И к декабрю начинают подыскивать меблированную квартирку, чтобы сменить на нее свой гостиничный номер с оплатой за месяц, за сутки, за ночь, потому что квартира комфортабельней. И главное — в ней чувствуешь себя «дома».

Случается, они даже вступают в брак; вступают в брак с другим преподавателем. Не знаю, случайность ли это или своего рода закономерность, своего рода детерминизм, присущий профессии преподавателя или климату Сотанвиля, но с тех пор как я в этом техникуме — не так уж я тут долго, — я был свидетелем трех таких браков; в среднем — один на месяц!

Когда я задумываюсь об этом, мне кажется, я понимаю, в чем тут дело: это своего рода обращение, акт веры; и раскаяния. Раз уж приходится жить этой жизнью, они решают ее избрать сами, добровольно, как избирают супруга, который ее воплощает. Соблюдаешь обряды, предписанные религией, как было уже замечено, и начинаешь веровать! В конце концов, это, должно быть, не так уж трудно; во всяком случае, не так трудно, не так сложно, как добиться перевода.

Они будут хорошими служащими, эти двое, надежными, скромными. Их теперь не часто увидишь в «Глобусе» или «Благовесте» (инспектор техникума не одобряет этих посещений; он сделал нам соответствующее замечание, вклинив его между двумя другими замечаниями). Итак, они отказываются от мысли о переводе и просят предоставить им трехкомнатную квартиру в стандартном доме. Они имеют на это право. Они теперь уже не одиночки; они молодожены; на молодоженов приятно смотреть, они вызывают симпатию; вдобавок молодожены-преподаватели — это занятно и достойно уважения. Так что они просят квартиру в стандартном доме, поближе к техникуму, поскольку зимние утра в Сотанвиле холодные, колеса машины скользят как на катке, приходится пересекать слишком длинный двор, спотыкаясь, зажав портфель под мышкой, руки немеют, ветер обжигает уши. Директор спешит поддержать просьбу. По-отечески. Лично.

Браки между преподавателями сопровождаются своего рода церемонией; именуется это «поднять бокал».

«Поднять бокал» — не пустяк. Подготовка к этому начинается за несколько дней. Собирают деньги на игристое, печенье и подарок; поручается это ветерану, одному из «посвященных»: ему же предстоит обратиться с речью к новобрачным, к новым членам сотанвильского общества.

Наступает великий день; председательствует на церемонии сам директор; если же вступающие в брак не пользуются особой благосклонностью начальства, он поручает представлять себя инспектору. Потом все, сначала сотанвильцы, следом парижане, рассыпаются в улыбках и поздравлениях; новобрачным вручают их гладильную доску; чокаются игристым, обмениваются комплиментами, рассказывают анекдоты; воз-

вращаются домой или в номер гостиницы — с пенящимся сердцем.

Когда во вторник утром я выхожу из поезда перед неотступующим вокзальным фасадом из бурого кирпича, меня всякий раз на миг охватывает ощущение странности и уныния. Я — здесь? Делаю первые неуверенные шаги по скользкому бетону, направляясь к подземному переходу; но запах мочи кладет конец моим сомнениям, и, когда я прохожу через контроль, мои ноздри и легкие уже смирились.

У выхода из тоннеля старается изо всех сил не развалиться на части дряхлый «фиат-500», купленный мной на этот случай, то есть для того, чтобы преодолеть несколько километров, отделяющих вокзал от техникума. У меня никогда нет уверенности в том, что машина сдвинется с места, но она сдвигается, кашляя и рыгая в зимнем сумраке.

Ощущение странности, чуждости — самое страшное. Это чудовище, поджидающее меня за каждым углом. Я словно внезапно пробуждаюсь, но пробуждаюсь во сне. Иногда все кругом полое, будто декорации, плохие декорации. Иногда все вокруг куда-то отступает, так что начинает кружиться голова, но перспектива лишена подлинной глубины, как на средневековых заставках; или, напротив, вещи надвигаются на меня, толкают, корчась в гримасе. Губы улицы сжимаются, чтобы выплюнуть меня, точно косточку.

Я говорю в классе, и мой голос возвращается ко мне, будто эхо, далекое, странное. Я умолкаю, потому что говорить мучительно. Я сам не знаю, что говорю; это какое-то роение слов, треск подкрылий. Я вынужден умолкнуть. И мои ученики удивленно смотрят на меня: в глазах у них отблеск моей собственной панической растерянности. Что они услышали?

Вечером, возвращаясь в гостиницу, я иду по Лилльской улице, которую расширяют и допуск на которую «резервирован только для ее обитателей и их клиентуры». Поскольку гостиница стоит почти на углу Лилльской улицы и улицы Восьмого Октября, я принадлежу к вышеупомянутой клиентуре: это своего рода право жительства, некая поблажка, которой я пользуюсь; на этой улице мне неплохо. Здесь есть магазины; каждую неделю я проверяю витрины; иногда они меняются. Когда какой-нибудь предмет залеживается, я, бывает, покупаю его, чтобы стереть с витрины, чтобы она побыстрее переменялась, потому что этот предмет начинает казаться мне трупом, костенеющим под стеклом, а я очень боюсь трупов.

Мне теперь еще более одиноко. Друзей у меня нет. По вечерам, в ресторане гостиницы, я вместо разговора прислушиваюсь к собственному жеванию. Время от времени официанты подходят к моему столику, надвигаясь из глубин огромного зала, еще пустого в этот час. Они что-то стряхивают со скатерти, или наполняют мой бокал, или меняют тарелки, если там хлебные крошки; потом удаляются, скользя по большим черным и белым плиткам, подобно шахматным фигурам. В их предупредительности я нахожу все-таки некоторое разнообразие после моих полуденных трапез; но порционные блюда дважды в день мне не по карману, так что предупредительность я приберегаю на вечер. Я пользуюсь ею; разыгрываю важную персону; вознаграждаю себя за все те случаи, когда мне намекают, что я лишний. Спрашиваешь в магазине, чтобы убить время, сколько стоит телевизор? Ты, любезный, тут лишний, не про тебя писано. Мне отвечают сквозь зубы. Ищешь в базарный день место, чтобы поставить машину на главной площади и поглазеть вокруг; изощряешься, совершаешь буквально чудеса, переключая скорости и выжимая сцепления, которые давно уже не в ладу друг с другом, вперед — отрывка, назад — отрывка; тем временем какой-то тип уже успел перехватить место, мерзавец! И тут ты лишний, любезный, лишний! Выражаясь высокопарно, я сказал бы, что это экзистенциальная тоска.

Так что в большом зале гостиничного ресторана я разыгрываю из себя набоба; поскольку я тут единственный, мне не приходится опасаться, что я лишний; к тому же четыре-пять официантов, суетясь вокруг меня, действуют успокаивающе, подтверждают, что я не ошибся помещением, что я действительно в ресторане. Рубои пахивают сыростью, как и в комнатах, но обслуживание первоклассное, приборы серебряные, и пища приемлемая; а главное — вокруг меня эти бедняги; я люблю бедняг: вы, друзья, лишние, как и я! Кажется, что они дрожат от холода в своих белых перештопанных куртках и только ждут моего знака, пожелания, приказа, который позволит им немного согреться.

У меня нет друзей, даже в техникуме; там есть, конечно, такие же, как я, парижане, которые еженедельно ездят домой, ухитряясь исправлять в поезде, на коленях, письменные работы; самые ловкие приноровились даже отрывать руку от тетради на стрелках. Но мы, хоть и болтаем, чтобы не быть в полном одиночестве, недолюбливаем друг друга. Каждый видит в собеседнике свое собственное отражение. А преподаватели, живущие в городе, смотрят на нас, как на своего рода временно исполняющих обязанности. Или вовсе не смотрят. Преподавате-

лями в полном смысле слова они считают только себя, поскольку во внеучебное время руководят местными секциями профсоюза или организуют культурные мероприятия для учащихся. Я не говорю, что они располагают какими-либо реальными привилегиями, но они всегда на месте, а тот, кто отсутствует, как говорится, всегда отчасти виноват. К тому же следует признать, что вышеупомянутые отсутствующие не проявляют особой активности и не гонятся за ответственными поручениями, которые отняли бы у них дополнительное время; парижане и сотанвильцы различаются между собой не просто по месту жительства; это вопрос жизненной позиции, вопрос глобального отношения личности к деятельности работника просвещения со всеми вытекающими отсюда последствиями: выбрать Сотанвиль — значит выбрать техникум, выбрать своих коллег, столовую, ботинки на меху, клетчатые носовые платки.

Вот почему парижане и сотанвильцы ощущают не просто разницу между собой, но и свою противоположность. Каждая сторона сделала свой выбор; этот выбор означает неприятие другой стороны и всего того, что стоит за ней.

Так что от сотанвильских коллег мне ничего не приходится ждать. От тех же, кто, подобно мне, приезжает из Парижа, я могу ждать одного — что они немного развлекут меня разговорами о нашей общей скуке. Преподавателям, живущим в Сотанвиле, нечего мне предложить, кроме своего озлобления по отношению к тем, кто не совершил решительного шага, который мог бы, чем черт не шутит, сделать их счастливыми.

Меня, может, самого тянет порой перекинуться на ту сторону. Соблазн или головокружение, усталость.

Что за бесплодная гордыня мешает мне удовольствоваться тем, что мне по плечу? Почему не примириться с самим собой, не принять своего положения рядового преподавателя философии в сотанвильском техникуме? Разве то, что я попал сюда по собственному недосмотру, дает мне право презирать это место? Сам виноват, надо было глядеть в оба.

Двое или трое уже перекинулись в тот лагерь. Нужно бы и мне последовать их примеру. От них исходит сияние умиротворенности. Разве мне не хочется того же? Зачем я сам себе навязываю этот безумный страх опоздать на шестичасовой поезд? Почему не попытаться превратить свою сотанвильскую жизнь во что-то иное, не в эту дыру между расписаниями, железнодорожным и учебным? Мне следовало бы выехать из гостиничного номера и позволить своей жизни хоть ненадолго вылезти из чемоданов, в которые я ее запихиваю.

Не нужно будет выходить из поезда перед немолчащим бурным кирпичом вокзала по утрам во вторник. Не будет этого невыносимого ощущения ирреальности. Я стану попросту самим собой.

Да, стану. Самим собой, а не сегодняшним мифом: точнее, вчерашним, раз уж я называю это «мифом»; не буду больше этим книжным существом, этим ходульным образом, этой фикцией «молодого левого интеллигента», «бунтаря» мая 1968 года. Перестану им быть; я уже и сейчас отчасти перестал, я уже больше не верю в это по-настоящему.

Да и верил ли когда-нибудь? У меня такое впечатление, что я всегда чуточку принуждал себя, втискивал, как тесто в форму, на которую хотел походить. И мне кажется, что таких, как я, немало. Но речь обо мне; именно обо мне; а не о стереотипе в свитере с завернутым воротом и закрученными штопором брюками и мыслями. Может, я на самом деле — это ботинки на меху, чистошерстяные брюки с несжимаемой складкой, шкиперская борода в стиле «учитель на празднике «Юма»», а летом сандалии и носки канареечного цвета. Без всякой утрировки, разумеется; речь идет не о том, чтобы сменить один стереотип на другой. Разве только моя подлинная сущность, наша подлинная сущность и есть стереотип. И никуда не денешься.

Станет еще хуже? А почему? Исчезнет ощущение, что сотанвильские улицы слишком широки для меня. Я куплю новую малолитражку. По воскресеньям стану ездить в лес Эрувилетт и начну ухаживать за одной из преподавательниц или за одной из учениц, чтобы не походить в точности на всех остальных; и потому, что восемнадцатилетние девушки кажутся мне привлекательней, чем тридцатилетние с пятигодовичным педагогическим стажем. Директор будет мною доволен; он собственноручно наделит меня традиционной гладильной доской. И я получу квартиру в стандартном доме.

В конечном итоге с учениками мне все легче и легче: это совершается во мне само собой, как и все остальное. Зачем мучиться? Зачем упорствовать, навязывать себе необходимость выбора? Мое существование мало-помалу само выбирает меня. Мой персонаж вырастает в меня, меня заполняет. Я ничем не отличаюсь от прочих и должен этому радоваться, потому что все мои тревоги в таком случае — всего лишь помехи в эфире; мое дело — не прислушиваться к ним, это в конце концов не так уж трудно.

Нужно продолжать беседы с учениками. Настанет день, когда я их пойму. И перестану быть, для них и для себя, неким мифом, явившимся из Парижа, с левого берега, превращусь про-

сто в их преподавателя. Они начнут слушать меня, а мне будет что им сказать.

Это немало: принести себя в жертву. Разве только мне нечего терять. В этом-то и вопрос; но вопрос ли это? Не знаю. И я внимательно прислушиваюсь к своим ученикам, когда они устаивают меня разговором, и начинаю находить больше смысла в их запинаящейся болтовне, чем в своих собственных, привившихся рассуждениях, — вот и ответ.

Не нравится мне этот ответ. Он мне осточертел. Да и они, мои дети пролетариев, предполагаемые революционеры, мои сыновья железнодорожников, рабочих, крестьян, служащих с ежемесячным окладом в полторы тысячи франков, на которые нужно прожить впятером, а то и вшестером, — они тоже не склонны подать мне милостыню и поверить мне так, за здорово живешь, или хотя бы прислушаться ко мне, к моим затверженным в университете буржуйским считалочкам о классовой борьбе, надвигающейся революции и роли, которую должны сыграть в этой революции они; они, снашивающие уже третью подметку на ботинках. Нет, они не подадут мне этой милостыни — им не из чего подать. У них и так слишком мало, чтобы пойти на риск потерять и это. У них чуть больше, чем у других, как раз настолько, чтобы за это держаться. Для них революция — это беспорядки; забастовка — встревоженная мать, раздраженный отец, приятель Сенже, который появился в дом и требует по счету, грозит. Так что из-за приятеля Сенже они — не революционеры. Революция — это дело преподавателя философии или тех, кому нечего терять. Но Сотанвиль богат; здесь нет безработицы, нет крайней нужды; жизнь трудна в меру: не чересчур, но и не недостаточно. Этой жизнью дорожат; в конце концов не так уже она сурова. Так что революцию предоставляют тем, кто обитает в северо-восточной части города, на окраине промышленной зоны, в бидонвилях; ее предоставляют всем этим арабам, португальцам, а также развращенным шахтерам соседних областей; всем этим людям, которых немного побаиваются; побаиваются, например, что придется разделить с ними то небольшое, чем владеешь. Побавляются также «коммунизма», про который известно — так говорят хозяин и недавно купленный телевизор, — что он не признает «собственности»; может, даже такой минимальной собственности, как полторы тысячи франков в месяц и телевизор, имея которые испытываешь смутное чувство вины перед теми, у кого нет ничего; перед теми, кого торопишься осудить, пока не осудили тебя самого.

— Но что такое коммунист?
— Это экстремист.
— Что вы понимаете под «экстремистом»?
— Коммунист ничем не владеет. Ему нечего терять. Мы видели это в мае; им все дозволено.

— Что вы думаете о мае?
— В первую неделю были настоящие требования, а потом ввязались политические партии.

— Считаете ли вы, что студенты принадлежат к тому же классу, что и вы?

— Нет!
— К какому же классу они принадлежат? Более состоятельному?

— Нет!
Тут я слышу чью-то реплику о тех, кто «протестовал, не вылезая из своего «ягуара»».

— Знает ли кто-нибудь из вас, в чем именно состояли требования студентов?

— Глупости все это! Что это дало? Увеличили заработную плату на десять процентов, а стоимость жизни возросла на двадцать.

Кто-то замечает, однако, что все дело в политике.

— Их одно интересовало — смена правительства... они анархисты... их ничто не могло удовлетворить. Стань все по-новому, они на минуточку успокоились бы на этом, а потом все равно...

В июне в техникум явилась некая парижская студентка, она критиковала «общество потребления». Ее спросили, что это такое. Она не смогла ответить.

— В капиталистической стране люди гораздо свободнее. У каждого капиталиста (под этим подразумевается каждый, кто живет в капиталистической стране) финансовая автономия... В социалистических странах все в руках государства. Как говорит М. Э. (преподаватель политической экономии), прибыли там большие, но эти прибыли не попадают в руки тех, кто работает, их забирает государство.

— Вы считаете, что в нашем обществе прибыль попадает в руки тех, кто работает на заводах?

Признают, что это не так. Прибыль в обоих случаях достается не тем, кто работает; простой народ всегда эксплуатируют; но в капиталистических странах жизнь лучше. Тогда я ставлю вопрос об ответственности хозяина-капиталиста в случае банкротства.

— Правильно, они (рабочие) потеряют работу, но ведь и он потеряет состояние.

Да! К состоятельным людям относятся внимательнее, снисходительнее, доброжелательнее, уважительнее, чем к нуждающимся. Но это, уточняют они, в порядке вещей. У моих учеников развито не столько чувство справедливости, сколько пристрастие к порядку. А порядок, естественный порядок,— это иерархия, неравенство; вот они и защищают неравенство.

Наконец я спрашиваю:

— Ну а вы сами, к какой социальной категории вы относите себя: к рабочим или к хозяевам?

Ни к тем, ни к другим, объясняют мне; к «среднему классу». И это действительно так, крайности им не по душе. Они, разумеется, не «хозяева», но и не «пролетарии». Отец, может, и работает на одном из машиностроительных заводов промышленной зоны, но это еще не делает его рабочим, или, точнее, Рабочим, соответствующим тому карикатурному стереотипу «рабочего», который до странности напоминает представления моего буржуазного детства. Но парадокс тут чисто внешний: в обоих случаях этот образ — стереотип буржуазный, у него одна и та же функция пугала; только я был нивой, драгоценной нивой, а мои ученики — птицы; полувороны, полуголуби.

И потом отец может быть рабочим, железнодорожником, мелким буржуа — неважно. Сыновья станут, как им внушают, «служащими», «средним звеном» промышленности или коммерции; они тоже будут жить на заработную плату, но на гораздо более высокую, чем у других. Их будущее обеспечено, умеренное и комфортабельное. В этом-то и состоит функция техникума; дать специальность, само собой. Но главное — привить всем этим молодым людям, быть может изначально непохожим, быть может честолюбивым, быть может даже способным на бунт, одну и ту же тягу к умеренности, к тому, что разумно, и «усреднено».

И упрекают меня, не смея упрекнуть вслух, как раз в том, что я со своей кафедры выступаю в роли Ореста или Эдипа; я принадлежу к породе, которая, так или иначе, порождает беспорядок; судьба, как известно, выносит свой приговор в обоих случаях с той только разницей, что одни просто лопаются как мыльные пузыри — вроде парижской студентки,— а другие сотрясают своим падением землю, как обанкротившийся хозяин.

Каждое новое сегодня обрушивается на меня поутру подобно судебному вердикту, подобно приговору. День развер-

зается передо мной головокружительной бездной, точно до вечера предстоит прожить тысячу жизней. До того момента, когда наконец наступит вечер.

Как-нибудь, возможно, я захочу, чтобы вечер наступил побыстрее; и покончу с собой.

Пойду сам навстречу вечеру; так некогда, ребенком, в приморском городке, я ходил смотреть на умирающее солнце. Я шел, шел совсем один по улицам, еще расширенным, как зрачки, маревом палящего дня; шел, чтобы увидеть, как под соснами тень сплетается с последними языками жаркого света. Шел, чтобы увидеть солнце, чтобы услышать его предсмертный изумрудный вскрик в минуту угасания, удушья в лиловом молчании моря.

Огромным, всякий вечер новым, всякий вечер ни с чем не сравнимым счастьем было видеть там, вдали, но и здесь, как раз перед моим взором, взором, как никогда безмятежным, эту пышную, беспредельную, бесконечную агонию, которую я охватывал единой мыслью, расширявшейся, возможно, до размеров Вселенной.

Ныне я утратил эту способность растягиваться, как вечерние тени, достигая самых дальних горизонтов, достигая миров, в иных условиях неподвластных воображению.

Ныне я боюсь всего, что по ту сторону. Нет! Я не покончу с собой.

Я утратил вкус к жизни, так как слишком боюсь смерти: это нераздельно. Я запутался в существовании, разучившись отвлекаться от него, хоть на мгновение, как некогда, по вечерам, у края ночи, позолоченной пены, горького мерцания небытия.

Каждый из моих дней — приговор, и я молю с надуманным ужасом, чтобы ни настал тот день, когда он будет приведен в исполнение.

Я прикрыл биде, поставил стол у окна и перевернул к стене обе картинки (их две) — ту, на которой голая женщина, и ту, на которой натюрморт. Служащие гостиницы промолчали. Каждый вторник, вернувшись в Сотанвиль, я нахожу биде снова открытым, стол — придвинутым к стене и обнаженную женщину, которая все больше смахивает на овощи; придя из техникума, я привожу все «в порядок», это занимает у меня не меньше четверти часа. После чего ложусь, накрываюсь с головой и жду наступления завтрашнего дня.

Гостиница необъятна, так как совершенно пуста.

Я чувствую себя все более и более полым. Просыпаясь утром, я вынужден думать о зиянии, которое нужно заполнить

до самого вечера. Разумеется, существуют лекции. Но о чем думать во время лекций? Если я думаю о том, что говорю, это бесполезная избыточность. Достаточно уже того, что я говорю.

Потом наступает время обеда. Мертвое время. Мертвое. Я слушаю, как зубы жуют пищу, или, вернее, стараюсь этого не слышать. Разницы никакой. В конце концов это еще не самое худшее. Время, которое я трачу на то, чтобы наблюдать, как функционирует мой организм, вычитается из времени, посвященного существованию. А существование здесь, в Сотанвиле, подчас трудно заполнить. Когда я вижу все эти немощующие дома на слепых улицах, где жизнь, насколько я могу себе представить, сведена, как и моя, к наблюдению за функционированием собственного организма, я чуть не плачу. Чуть.

Я утратил былую душевную широту; широту, которая позволяла мне смотреть прямо в лицо смерти дня и своей смерти, там за горизонтом. И вот теперь я осужден до конца дней бесконечно отсчитывать, дрожа от скупости, мгновения собственной агонии; агонии, питаемой этими отсчитываемыми мгновениями. Мне предстоит так жить до конца дней или умереть.

Ужинаю я в гостинице, каждый вечер. Я слишком много пью, умышленно. Грезы овладевают мной еще за столом, слегка отяжелевшие грезы; грезы, когда я еще сознаю, что грежу. Потом я потихоньку встаю, осторожно поднимаюсь по лестнице, чтобы не расплескать ни дремы, ни вина, подступающего к губам; и кляча моих ног приводит меня в свою конюшню, в мою конюшню — к кровати, где грезы и вино могут наконец занять горизонтальное положение.

Сотанвиль владеет мной слишком или недостаточно. Слишком, чтобы я мог заняться чем-нибудь, кроме выполнения своих преподавательских обязанностей. Недостаточно, чтобы я мог этим ограничиться. Вот я и совершаю под вечер слишком долгие прогулки, раздумывая о том, чего не делаю.

Я захожу в магазины; прикидываюсь, что намерен купить уйму вещей; часам к пяти отправляюсь в чайный салон на площади, долго выбираю пирожные, которые на сей раз заменят мне ужин. Потом покупаю газеты и возвращаюсь к себе, в постель. И все время думаю о том, на что мог бы употребить время, которое с таким трудом убил.

На чтение, к примеру. Зайти в муниципальную библиотеку и там почитать. Но нет! У меня все равно не хватило бы вре-

мени дочитать книгу до конца. Я ничего не сделаю. Я не могу ничего сделать.

Я теперь уже не единственный хозяин своего времени, как в былые годы, и я разучился управляться с тем, которое мне остается. С восьми утра до пяти-шести часов вечера я худо ли хорошо играю свою роль преподавателя. Спасибо и на этом! Позже я — никто. Мне хватает времени только на то, чтобы взять с вешалки пальто. Но не душу, если у меня еще есть таковая. Мне нужен был бы по крайней мере целый день, чтобы собраться с мыслями. Но когда такой день выпадает, я провожу его в поезде; и мчусь домой, в парижскую квартиру, в надежде на встречу с самим собой. Но я остался в Сотанвиле, на вешалке. Я прилип к Сотанвилю, как к клейкой бумаге. Пока я оторвусь от нее, от вешалки, можно трижды съездить в Париж и обратно.

Между техникумом, рестораном, поездами, гостиницей, складыванием и раскладыванием чемодана у меня остаются только клочки времени; корпия.

Я хотел познать «мир труда». Какая гордыня! Я обнаружил лишь труд, куски, которые отрываете от себя и отдаёте за право на жизнь. Таков всеобщий удел. Нужно быть ребенком, вечным ребенком, чтобы так и не смириться со всеобщим уделом.

Сколько я отдаю, сколько оставляю себе этих кусков своего существования? Я уже не знаю. Даже воскресенья, пресловутые воскресенья, которые я начинаю высматривать с другого конца недели, которых жду вплоть до ее разочаровывающего финала, вплоть до скуки этого самого воскресенья — даже воскресенья поражены этим недугом распада моего времени. Я стал скуп на время, трачу ли я его или экономлю. Задача состоит в том, чтобы не испортить себе светлый день еженедельного отдыха. Воскресенье — это подъемные на всю следующую неделю. За воскресный день в Париже нужно их подкупить. Я учусь прижимистости. Я звоню сиделке, той, что выхаживает мое безмолвие. Веду ее в ресторан. После обеда занимаюсь с ней любовью, поскольку знаю, что позднее у меня уже не будет желания.

Потом мы отправляемся к друзьям. Я предпочел бы остаться наедине с сиделкой, но она считает, что я должен встречаться с людьми; не думаю, что ей со мной скучно; нет, не думаю. Но ей нужны люди, чтобы разговаривать, «дискутировать», как она выражается. Раньше я тоже это любил; теперь, после мая, не так уж. Разговор всегда один и тот же. И к тому же у нее куча новых друзей, у которых сумбур в голове, меня

от них воротит: слишком у них много идей; люди с идеями — это опасно.

Есть среди них художники, кажется, писатели, бородатые, лохматые, есть молодые безработные (эти никогда ничего не говорят, ждут, пока их спросят; они всегда молчат, так что за них говорят остальные).

Раньше у меня были другие друзья, которые мне нравились; товарищи по факультету; но с ними мы видимся значительно реже, потому что они теперь «реак». И я тоже «реак», раз я зарабатываю себе на жизнь, вместо того чтобы готовить революцию, если не считать второй половины дня в воскресенье; я «реак», поскольку получаю ежемесячный оклад в две тысячи франков, не считая платы за дополнительные часы; чтобы искупить свою вину, я приглашаю вечером всех к себе, мы пьем; за это мне многое прощают.

Я не смею сказать сиделке, что меня воротит от ее друзей, она устроит мне сцену и потом заставит встречаться с ними еще чаще. Поэтому я слушаю их, пытаюсь понять и избегаю вступать с ними в спор.

Больше всего меня раздражает не смысл их речей, но манера, стиль разговора. Если их понимать буквально, следует завтра же выйти на улицу с оружием в руках, устроить засаду у дверей «Эрмеса» или «Эдьера», которые являются своего рода «Лютетией» новой оккупации. Да-да! Мы живем в период оккупации!

Ну а я, спрашивают меня, организую ли я должным образом Сопротивление в Сотанвиле? Смешно. Посмотрел бы я, что они станут делать с моими учениками, коллегами, инспектором; посмотрел бы я, как они станут организовывать Сопротивление!

Мне смешно также видеть, как они похваляются своими «молодыми безработными», выставляя их на всеобщее обозрение, совсем как показывали в старину «доброго дикаря» или жирафа. Ну, и черт с ними! Я всех кормлю и пою, все довольны: не такие уж они плохие люди, нужно только уметь с ними обращаться.

В особенности один испанец, высокий грустный парень, длинный, как пасьянс, он мне симпатичен, так как говорит о себе только, что он поэт, и ест с трогательной откровенностью, лиризмом и простодушием.

Но остальные и впрямь слишком агрессивны; они тоже едят, но с таким видом, точно хотят сказать: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», а сиделка подбадривает их взглядом. Ну и пусть! Не уташат же они, расходясь по домам, мою ме-

бель, чтобы набить себе руку в предвидении раздела земель и капиталов? Хватит и того, что они стибрили чайные ложечки, которые я привез из сотанвильской гостиницы: это, если угодно, даже справедливо. Но пусть ограничатся этим; на большее я не согласен, даже чтобы доставить удовольствие сиделке.

И потом они, может, и неплохие люди, как я стараюсь себя убедить, чтобы не взорваться, но все же они меня раздражают своим видом поборников справедливости: куда как легко судить людей, судить меня, меня в особенности, когда сам ни черта не делаешь. Я все же что-то делаю; пытаюсь что-то делать; может, и недостаточно; но в конце концов каждую неделю в Сотанвиле я из кожи вон лезу. На словах я, может, и не «завербовался», как они, но на деле «завербован» по уши. Взять хотя бы то, что они жрут, порицая меня и переделывая мир, как будто меня тут нет, а плачу за все я — рассуждение сволочное, не спору; но против этого не попрешь, нравится им или нет!

По этим причинам или по другим, но денег мне не хватает. Постоянно. Это не трагедия. Согласен. Мать говорит, что мне еще повезло, если я в моем возрасте зарабатываю столько, сколько зарабатываю. Большинству этого никогда не добиться. Это правда. И все же денег мне капельку не хватает.

Или, во всяком случае, у меня их мало, если принять во внимание, как я бьюсь. Вернее, не бьюсь, а подыхаю со скуки. Мне следовало бы получать не заработную плату, а возмещение за дни хандры. Если учитывать только часы, которые я провожу в техникуме, и тем более мои рабочие часы, я признаю, что не имею права жаловаться. Но остается ведь еще все то время, которое я трачу ежедневно, заставляя себя пойти в техникум; и время, когда приходится думать о чем-нибудь другом, после окончания занятий. Чем меньше ты приносишь пользы, тем выше должно быть вознаграждение; слишком уж тяжело бремя собственной бесполезности, от него нельзя избавиться. Контролерам в метро, например, нужно было бы платить целое состояние.

В общем, денег мне не хватает; и ничего удивительного. Настанет день, когда мне нечем будет покрыть мои чеки без обеспечения. И понятно, заставляют меня часами пробивать билетки метро и еще хотят, чтобы я возвращался домой с чувством исполненного долга, читал их газеты и смотрел их телепередачи; и радовался. Дудки. Когда я выхожу с работы, мной овладевает нетерпение, точно мурашки бегут, и они

хотят, чтобы на этом закончился мой день, чтобы я его прикрыл? Да это было бы смерти подобно!

Когда я выхожу из техникума, мне необходима разрядка. Вот я и делаю покупки. Покупаю всякую всячину: кучу носков, часы, костюм. А в результате мне нечем заплатить по счету в сотанвильской гостинице или сделать взнос за квартиру в Париже (да, я собственник; ну, пока еще не совсем). Вот я и повесил в Париже — у часовщика, сапожника, портного — объявление: «Дипломированный преподаватель философии дает уроки».

Месяц назад — первый клиент. Высоченное насекомое с длиннющими конечностями; в сопровождении мамыши, низенькой и жирной. Входите, входите! Усаживаю гусеницу и чешуекрылое к своему письменному столу. Сам, важный, почти как врач, занимаю место по другую сторону. Понимаете, говорит она мне, у сына трудности в лицее: теперь в лицеях учат уже не так, как прежде, не правда ли? Она вопросительно глядит на меня.

— Когда прежде?

Она вся напрягается на своем стуле — уж не из тех ли я преподавателей-протестантов, которые портят в наши дни молодежь? Понимаю, что совершил ошибку; вот черт! Мне необходимо продать свой товар, я на мели; так что я спешу поправиться: «Совершенно справедливо, мадам», и дальше в том же духе. Сволочь я! Ладно; она снова заводит свою шарманку: моему сыну в лицее не по себе. Двери и столы там слишком низкие, еда плохая. Посмотрите, какой он худенький! И учителя его не любят; это вовсе не значит, что он невнимателен, напротив; но разве сейчас добродетель в чести? Сами знаете! Добродетель нынче не вознаграждается.

Итак, снова заводится она: учителя его не любят. На днях преподаватель естествознания придрался к нему и к двум его товарищам; сын говорит, что они простояли целый час у стены не двигаясь. Но хуже всего обстоит дело с философией; не так уж она важна, эта философия (благодарю вас, дорогая мадам), но ведь экзамен сдавать придется, вы понимаете? Я-то понимаю, но урок обойдется недешево, старушка!

А он ведь такой прилежный, такой спокойный! Правда! Войдешь к нему в комнату, а он сидит за своим столом, думает, работает или еще там что, так тихо, так неподвижно, что не сразу поймешь, где спинка стула, а где он. Другие в его возрасте безобразничают, а ему только дай в руки книгу или газету, и его часами не слышно, не видно. Спрячется за обеденным столом или за подлокотником кресла до вечера. С места не сдвинется.

Он и в самом деле почти не двигается. Он такой, как говорит его мамаша. И чем дольше она говорит, тем больше и больше он становится таким, тем больше и больше сливается со спинкой стула.

«Удастся ли мне его разбудить?» Оказывается, да. Задаю насекомому вопрос, оно слегка шевелится, слышно легкое потрескивание мертвого дерева. Хорошо. Столько-то за час. Не слишком ли это дорого? Ну что вы, мадам, конечно, нет: не так-то легко будет в день экзамена придать жизни вашему неодушевленному предмету.

Частные уроки — это для меня своего рода проституция. Но кто себя не prostituiрует? У меня теперь двое учеников: заторможенное насекомое и грузная девушка, мучимая сексуальными и религиозными проблемами, которая требует, чтобы я толковал ее сны, — она ночи напролет кружит над Парижем, всякий раз обдирая кожу о шпиль Сент-Шапель. Ну что ж, я толкую сны, чтобы доставить ей удовольствие; делаю вид, что «раскрываю» «тайный» смысл ее навязчивых грез. Отдаю дань символическому, мистике и комплексам; взвинчиваю себя, как настоящий шарлатан.

С другим — с парнем — самое трудное не уснуть. Зато говорить можно, что в голову взбредет.

Я принимаю их по субботам, утром; первую — в восемь, едва пробудившуюся, еще совершенно отупевшую от сновидений и не смеющую мне признаться, что ее преследовал в переходе метро мужчина с револьвером в кармане; второй прибывает около десяти, тоже только открывший глаза и не вполне еще выкарабкавшийся из своего глубокого сонного одеревенения. Они сталкиваются в передней, парень сомнамбулически останавливает на девушке учтивую улыбку; девушка, восхищенная таким множеством прямых линий, жестких и подвижных сочленений, краснеет и фыркает от смеха.

Мне вручают конвертик от мамы. Спасибо. Кладу добычу в ящик, небрежно, чтобы мой письменный стол не слишком напоминал тумбочку у кровати; усаживаю мою грузную отроковицу. Выслушиваю очередной сон. Пытаюсь дать ей понять, что для такого рода снов существуют специалисты. Уйма специалистов. Моя роль не так легка, если оставаться в рамках приличий, разумеется. Но раз уже мне за это платят, плету свои небылицы: лететь над шпилем Сент-Шапель — это благодать; слово «благодать» ей нравится. Я сам уж давным-давно ни над чем не летаю. Так чем же мы займемся сегодня? Одним из положений Канта или взглядами Бергсона?

Куда там! Она пришла поговорить о своих снах; и, коль скоро мне за это платят, я вынужден слушать. И я слушаю. А мальчик, который ходит к вам после меня, тоже видит сны? Нет, не думаю! Да? Вот бедняжка. И в самом деле бедняжка.

Уже зима, здесь ведь всегда зима, и я вмерз в лед сотанвильской жизни. Я лишился подвижности: от гостиницы до техникума или от техникума до гостиницы, где я ужинаю и сплю, двигаюсь как автомат — одни и те же минуты, многожды повторенные.

Как далек месяц май, прекрасный месяц май! Я сожалею не о времени, которое ушло. Куда хуже: я угрызаюсь временем, которое есть, которое повторяет себя день изо дня. Что я минуту назад делал? Ничего! Ничегошеньки! И завтра больше нет, каждый день загнивает в своем накануне. Время гриппует.

Я недалеко от некоего подобия смерти; на манер насекомых, затонувших в прозрачном пластиковом кубе пресс-папье. Нужно спастись! Немедленно принять, например, очень горячую ванну. Но мне ни за что не смыть с кожи то, что прилипло.

Вдохнуть свежего воздуха, пробежаться под деревьями, кричать, кричать и опять бежать, чтобы ветер драл кожу, чтобы крик драл горло, растворить в беге, в ясном холоде всю эту жирную грязь; я и на вид становлюсь все более и более дряблым: я — тесто в тесте сотанвильского существования, где самое ничтожное происшествие оставляет глубокий след, точно палец в глине. Мне кажется, что я страдаю. Но палец, проникая вглубь, ни на что не натывается; внутри насекомого — пусто. Я болен изнутри, так болен, что утратил чувствительность к боли.

Вернуться в Париж? Позвонить инспектору, сказать, что хватит, что я не поеду в Сотанвиль, что мне там нечего делать, что я никому не нужен? Несерьезно.

И однако, это правда: я никому не нужен. Разве что сиделке. Ей я нужен; теперь я это понял. Ей нужно домашнее животное, которое можно гладить против шерсти, такое животное — я. Она и друзей-то своих навязывает мне именно для этого, чтобы меня позлить: я ей нужен. А мне она, напротив, не нужна; об этом следует поразмыслить на досуге. Если я, в самом деле, додумаю все до конца, я ее, конечно, брошу; но сейчас, с этим Сотанвилем, с поездом, с гостиницей, с письменными работами, которые нужно исправлять, мне некогда об этом думать.

Короче, если не считать сиделки, я никому не нужен, и это ужасно. Я обязан научиться смирению. Подлинному. Не сми-

рению монахов, для которых оно — призвание, предмет экзальтации; смирению бедняка, ничтожества.

Когда я возвращаюсь по вечерам в свой номер и сажусь за стол проверять письменные работы, я слышу, как стол смеется.

Невольно вспоминаю времена, когда вещи не были так ироничны. Я веду урок; через окно гляжу в даль, возможно дальше, чтобы вещи, которые я рассматриваю, в свою очередь не заметили меня. Вдоль дороги на Париж туманным строем тянутся деревья. Небо плоское и серое, словно водная пелена в паводок. Три часа, прошу зажечь свет.

И я говорю. Слушают меня — двое-трое; иногда — никто. Тогда я встаю и совершаю инквизиторский обход, я наказываю учеников тем, что читаю лекцию за их спинами. Угроза, нависшая над головой, вынуждает их записывать, но не слушать. Они умеют записывать, не слушая, но не умеют слушать, не записывая. И теперь, когда я убедил их своими заклинаниями, что записывать не стоит, а главное, заразил их своей скукой, они совсем перестали слушать. Да и так ли это важно? И могу ли я требовать от них интереса, раз сам его не испытываю? Я жду шести часов; по утрам жду обеденного перерыва.

Я теперь не обедаю с коллегами. В первые недели я питался в столовой техникума, там дешевле. Разумеется, поскольку я с дипломом и зарабатываю больше других, обед стоил мне четыре франка, что немало. Я получал талончик на четыре франка, красный; такой же, как у инспектора. У большинства талончик синий, на три франка пятьдесят сантимов; у технического персонала — на три франка. И так как я доплачивал еще пятьдесят сантимов за вино, чтобы не пить пиво, которое не выношу, то прослыл богачом и мотом.

Я стеснялся своих невольных роскошеств; но, вместо того чтобы проявить воздержанность и скромность, отказавшись от вина, которое действовало на меня усыпляюще и укорачивало послеобеденные часы, я предпочел дезертировать из столовой техникума. Теперь я обедаю в шоферской забегаловке на выезде из города и могу пить вино сколько душе угодно, не выглядя при этом барином.

Но тем самым я навсегда расстался с надеждой найти себе друзей среди коллег. Я по-прежнему здороваюсь с ними, болтаю с парижанами о возможных перспективах возвращения к родным пенатам или об отсутствии этих перспектив; но не так, как раньше. Я — отщепенец: это заметно хотя бы по тому, как сухо отвечают на мое приветствие. В эпоху пятидесяти сантимов за вино я пользовался известной популярностью; меня уважали за широту. Мне бы принять это уваже-

ние. А я пренебрег всеми законами приличия. К тому же стало известно, что я хожу к шоферам, совсем один; являюсь там со всяким сбродом, с водителями грузовиков. Если бы я еще выбрал приличный ресторан; тут я был бы в своем праве; каждый в конце концов свободен. Но шоферская забегаловка! Это переходит всякие границы. Это — вызывающее неуважение к коллегам. Каждый, конечно, свободен, но все же!

До сих пор меня считали оригиналом. Отныне меня рассматривают, как существо асоциальное, с извращенными и опасными фантазиями.

Сиделка пришла к нашим друзьям Б. за полчаса до меня; в те дни, когда она в настроении, оживлена и позаботилась тщательно навести красоту, ей вполне достаточно получаса, чтобы обрасти привычным кружком поклонников. Раскинувшись в кресле, очаровательно томная, чуть усталая, она представляла напоказ осиную талию, изнеженные бедра, икры, крохотные ножки, словно не созданные, чтобы касаться земли. Ее тонкие, изящные пальцы виртуозно постукивали по подлокотникам в такт болтовне. Увидев ее такой впервые — знаю по собственному опыту, — испытываешь острое желание, потребность овладеть этим предметом, коснуться его. Потом приходит раздражение.

Я приехал из Сотанвиля на поезде; я радовался встрече с людьми, в кои-то веки; не с образчиками, не с бородатыми воскресными пророками. У меня в руке еще был чемодан, и мне хотелось поскорее убрать его с глаз хозяйки дома, которая открыла мне дверь: «Прошу прощения, у меня не было времени заскочить домой». Но сиделка уже заметила меня из недр гостиной, так же как и я заметил ее, и я знал, что она сейчас даст понять своим поклонникам, привлекая ко мне их недовольные взгляды: «Вот человек, которого я впустила в свою жизнь, с его чемоданом, холодным носом, красными прожилками на щеках, с его шерстяными перчатками и ботинками на меху, с его повадками, все больше напоминающими коммивояжера. Оцените же мои заслуги!»

Хозяйка представила меня своим друзьям, довольно, впрочем, невнятно. Потом я расчистил себе местечко у ножек кресла сиделки, среди прочих, и мне вручили тарелку с толстыми ломтиками редьки, которую надлежало есть с солью и хлебом.

Как обычно в пятницу вечером, после восьми часов занятий и полутора часов в поезде Сотанвиль — Париж, меня ужасно клонило в сон. Я пялил глаза во все стороны, чтобы не

задремать. На стенах в качестве украшений были приколоты кнопками всякого рода афиши, красочные, яркие. Разглядывание афиш немножко оживляло меня. К тому же это отдаляло момент, когда придется посмотреть на людей. Со мной всегда так: я принимаю приглашение и сначала я радуюсь, мысль встретиться с людьми, с новыми людьми, веселит меня, возбуждает; я чувствую, что жизнь прекрасна. А потом, когда настает минута встречи, я вдруг впадаю в депрессию, внезапно, но неизменно. Мне хочется, чтобы все поскорее окончилось; я смотрю на часы, выжидая момент, когда можно будет уйти, не проявив невежливости.

Поскольку людей было гораздо больше, чем сидений, или мы на полу, кто усевшись по-турецки, кто полулежа, опершись на локоть. Я прислушивался или, вернее, пытался прислушаться к разговору; чтобы не уснуть, не поддаться убаюкивающему гулу перекрестной болтовни, я старался выделить одну из нитей разговора и крепко в нее вцепиться. Вокруг меня обсуждался вопрос о новом экспериментальном университетском центре, созданном в Шарантоне, и о коммунистах, с которыми там шла борьба за гегемонию: необходимо было обеспечить за собой новые посты, а главное — не допустить к ним «догматиков».

Коммунистам решительно не везет; я хочу сказать — коммунистам, которые в Партии, поскольку сейчас развелось множество всяких других. Охота за ведьмами не прекращается никогда. То их упрекают в том, что они революционеры, то в том, что они перестали быть революционерами; короче, они не умеют нравиться; этим они немножко похожи на меня; или я на них: стараешься, наводишь красоту, душишься, делаешь пробор точно посредине, поддвигаешь усы и получаешь ногой под зад. Бывают добрые намерения, которые никогда не вознаграждаются.

А мне нравятся коммунисты, которые в Партии; может, с самого детства: все дети неравнодушны к буке и злому серому волку; это благодарность за мурашки страха. И к тому же члены Партии мыслят вполне здраво; конечно, они слегка неотесанны: «Крупный капитал мы у вас, того, отберем, банки, значит, национализируем, в сейфы запрем гошистов, пусть там оглядятся, а вам сунем билетик метро за десять су, черт побери!» Ну и что! Нужно было самим раньше об этом думать!

Итак, речь шла о коммунистах и их честолобивых замыслах в Шарантоне, которые необходимо было сорвать. Однако коммунисты, эти болваны, располагали, как ни крути, органи-

зацией, дисциплиной, «аппаратом». А их противники вступали в бой нестройными рядами и рисковали потерять преимущество и справедливое вознаграждение за свои таланты. Им, то есть всем сегодняшним гостям и еще некоторым, которых подберут впоследствии, необходимо было объединиться против коммунистов. На карту было поставлено будущее Университета или, что то же самое, будущее по меньшей мере двух десятков людей, находившихся в гостинной. Но достичь согласия между этими двумя десятками ярких интеллектуальных индивидуальностей было не так-то просто. Как, допустим, примирить книгу такого-то со статьями такого-то?

Оказалось все же, что взаимопонимание возможно; я наблюдал в тот вечер волшебное сияние незлопамятности и всепрощения, озарившее некоторые лица нашего Университета, — раз уж без забвения давних обид нельзя было обойтись.

Один из гостей, молодой С., весьма пылко и весьма громко мечтавший об учреждении кафедры, заняв которую он мог бы в корне обновить лингвистику, предложил договориться о некоторых «общих эпистемологических посылах», что в конце концов было не так уж неосуществимо, поскольку все присутствующие являлись марксистами и оголтелыми антикоммунистами, сторонниками прогресса и строжайшей университетской евгеники в рамках самой широкой либерализации.

Так как я не открывал рта, сиделка склонилась ко мне и сердито шепнула: «Да прими же участие в разговоре!» Но мне слишком хотелось спать. И потом я не люблю, чтобы кто-то, помимо меня самого, устраивал мое счастье.

Однако сиделка, которая никогда не бросает начатого, все-таки исхитрилась, уж не знаю с помощью какой уловки, расколоть ряды шарантонского объединения и перенести всех в Сотанвиль. Я стал центром внимания. Меня расспрашивают. Охают, ахают. Как стать сотанвильцем? До чего же увлекательно! Делают вид, что завидуют мне. Какой интересный опыт! Мне следовало бы написать об этом книгу. Этнографическое исследование.

Разумеется, и ее напишу, эту книгу! Если я этого не сделаю, сиделка никогда мне не простит. Мать хотела, чтобы я прошел конкурс; сиделка требует, чтобы я писал книги.

Ладно, получит она свою книгу! И даже будет в ней сама, собственной персоной, во всей красе; там будут не только сотанвильцы, но и люди из этой гостинной: будет редька, ученая смесь табаков и идеологий, дымы всех сортов, девушки, ряже-

ные в занавески; весь этот зверинец. Там будет все, вперемежку, как взбредет мне на ум! Попробуй помешай.

Я не откажу себе в удовольствии всунуть туда и этого лохматого верзилу, который самозабвенно упивается сигаретами в маисовой обертке, втягивая в себя миазмы марихуаны, и четверть часа спустя, когда Сотанвиль уже вышел из моды и на чисто всеми забыт, а сиделка подчеркнуто делает вид, что со мной незнакома, говорит мне: «Все это тошнотворно, правда?» Отвечаю; что да. Он хохочет, говорит мне: «А хуже всех — я». Спрашиваю: «Зачем же вы тогда?» Не отвечает. Улыбается и пожимает плечами. Потом возвращается к проблеме поста в Шарантоне.

Отношения у меня с учениками не простые, но мне нравится, что они не простые. Слишком уж много сейчас вокруг простоты. Особенно в Париже, у людей, с которыми я вижу, которых знаю, которых знал. Простоты грубой, корящейся.

Мне легче найти общий язык с девушками. Среди них есть хорошенькие, я начинаю отдавать себе в этом отчет. Не знаю, к добру ли это; или, вернее, знаю, что теперь это уже не имеет значения (да и имело ли это значение?), раз уж я стал находить их хорошенькими: изменились-то ведь не они.

Меняюсь я; начинаю смотреть на своих учеников «в отдельности», как обещал при первом знакомстве. Иногда я на чисто забываю о Париже. Забываю о сиделке, забываю о воскресеньях. Я весь тут, в своем классе. Меня больше не удивляет, что я тут. Иногда я даже с некоторым нетерпением жду урока, когда увижу одну из моих любимиц.

Но именно с ними, с любимицами, я подчас особенно резок. Это доставляет мне удовольствие, это сильнее меня. Да и им тоже; они сами вызывают меня на замечания. Точно ищут в них — и находят — скрытое за учительским выговором мужское внимание; я не уверен, что умею по-настоящему скрывать его под маской строгого, чуть слишком строгого преподавателя. Мы заодно. Они мне дерзят и показывают коленки; короче говоря, выставляют себя напоказ, обнажаются; а я касаюсь их своим выговором. Ласкаю их.

Эротика — вещь двусмысленная, и она, безусловно, питается внешним воздержанием; взаимное влечение тем сильней и даже тем откровенней, чем строже цензура. Для меня все это открытие, поистине открытие. Я раньше всего познал любовь, в восемь лет; потом — секс, по крохам — между пятнадцатью и шестнадцатью; но эротика была мне

неведома; сиделка в этом ничего не смыслит, слишком она ученая.

Это напряжение, сладостное напряжение, которое мало-помалу усиливается, не находя разрядки, даже не пытаюсь найти разрядку; это игра, просто игра, бескорыстная, изощренно чистая.

С парнями у меня отношения труднее, чем с девушками. Что ни говори, в девушках нет ничего секретного; в восемнадцать лет у них вся душа нараспашку, и нет выше наслаждения, чем наложить на нее отпечаток, хотя бы беглый.

Парни кажутся более «замкнутыми»; а может, я недостаточно искусен, чтобы их раскрыть, поскольку меньше в этом заинтересован.

Но именно поэтому я мог бы также сказать, что мы с парнями лучше понимаем друг друга. В восемнадцать лет у них еще не полностью вылиняла наивная детская шерстка. Девушки уже хороши собой и развязны; может, даже слишком, и я вопреки собственным словам стараюсь сохранить известную дистанцию. Я укрываюсь на кафедре, как в крепости, за стеной со сторожевыми башенками для наблюдения, с бойницами — на всякий пожарный случай. Они ждут не моих уроков, им нужно мое внимание; возможно, мое мужское внимание; наверняка, мое мужское внимание! С тех самых пор, как они заметили, что я обращаю на них внимание.

Но от меня ждут также и суждений: например, такая-то умна, такая-то красива, такая-то одевается лучше, чем ее ближайшая подруга, такая-то дурнушка (на радость такой-то!). Я — ареопаг, пред которым мои Фрины обнажаются, в переносном смысле. Моя роль состоит в том, чтобы составить мнение о каждой и вынести свой вердикт; вот они и скидывают покрывала в надежде на комплимент.

Однако бывают дни, когда душа у меня к этому не лежит; и есть девушки, к которым я слишком уж безразличен; и тогда я заслоняюсь этим мерзким Кантом или Декартом. Во всяком случае, если меня не застают врасплох.

Двусмысленность моих отношений с учениками объясняется еще одной причиной, и тут я бессилен: мы говорим на разных языках, я обнаружил это, пытаюсь разговаривать с ними по-настоящему. Тут уж эротика ни при чем. Мои ученики говорят мало; вернее, я так считал, когда их не слушал. На самом-то деле они говорят, говорят даже много, если хотят; но слов у них мало. Это я понял не сразу, поскольку привык в силу своего социального положения к изобилию, к словесной

преизбыточности. Каждая из моих мыслей тотчас выстраивается в предложение, складывается в речь. Этого требует моя профессия; но также и мое происхождение, мое воспитание, что, в сущности, почти одно и то же. Мои ученики выражают себя иным путем; они отлично умеют выразить себя, если только понимаешь их язык и, главное, хочешь их «услышать», потому что они, если и говорят, то беззвучно. Слово — это звук; слово слышишь; слышишь того, кто произносит это слово; но других, тех, кто не смеет нарушать тишину, — не слышишь. Мои ученики тоже могли бы нарушить тишину звуками; дело только в привычке; но они не смеют; не смеют потому, например, что руки у них в машинном масле, а им внушили, что говорить можно, только когда руки чистые.

Смотрю как-то, стоят трое или четверо ребят из старшего класса «Е» самые «цивилизованные» на промышленном отделении, у кого в программу включена философия; сгрудились над большим листом миллиметровки с какой-то схемой, им задают такие схемы в мастерской промышленного черчения. И спорят, спорят с воодушевлением: покачивают головами, тычут указательными пальцами, мычат, перебивают друг друга; но ни единой фразы! Заинтригованный, подхожу, прошу, чтобы мне «объяснили».

Мой вопрос их поражает: уж не смеюсь ли я над ними? Могут ли меня, преподавателя философии, красноречия и хороших манер, интересоваться всерьез такие обыденные вещи? Но, в конце концов, почему бы и нет? Бывают же в Сотанвиле проездом, по дороге в Париж, англичане, которые задерживаются в городе, чтобы сфотографировать площадь Ратуши!

Они оборачиваются ко мне, водят пальцами по чертежу, вот шестерня, а здесь такая-то штука, шатун, что ли, а там, очевидно, кулак; и они возвращаются к своему спору, забыв обо мне. Но я не отстаю: «Что это за чертеж?» Сжалившись надо мной, один из парней извлекает из кармана мятую бумажку с заданием; ее разглаживают, потом, когда она принимает презентабельный вид, протягивают мне, все так же молча, доверяя, очевидно, моим предполагаемым, положенным мне по должности способностям понимания математических иероглифов моего коллеги.

Мне, естественно, остается только откровенно признаться, что я не в силах расшифровать эту кабалистику, даже если бумажка разглажена, и попросить, чтобы мне объяснили не задачу, которая все равно мне ничего не скажет, а решение.

Тут мои четверо подмастерий в полном отчаянии принимают все разом водить пальцами по схеме, приговаривая:

«Это вот — это... а это — это...», но смысл все равно от меня ускользает.

Я сделал еще несколько попыток, столь же безуспешных. Всякий раз я надеялся, что они наконец заговорят по-настоящему, связными предложениями; я надеялся, они приспособятся к моему уровню понимания; к уровню человека, который ничего не смыслит в этом деле; но в последний момент они уклонялись в сторону, точно натыкаясь на непреодолимое препятствие; они отказывались говорить, как лошадь отказывается взять барьер.

Некое подобие речи намечалось, но такое неполное — только намек; нечто замкнутое в себе! Замкнутое, отгороженное невидимым барьером. Преодолеть его должен был я сам, если смогу, я сам должен был проникнуть за загородку, в поле их подразумеваемой речи, только подразумеваемой, чтобы расшифровать смысл местных речений и тем самым придать им законченность, выразить их в словах.

Тогда все обрело бы ясность! Намеки, символы, жесты, знаки — все выстраивалось; все объяснялось и оправдывалось. Но сделать этот шаг должен был я, я должен был преодолеть дистанцию, осуществить перевод. А этого я не хотел, даже если бы мог. Я хотел, чтобы они сами разломали словесную изгородь и тем самым главное — изгородь социальную! Потому что это слово, загнанное за решетку, эта речь, замкнувшая самое себя, речь парализованная и как бы сведенная к нулю, были для меня, в моих глазах явным клеймом нравственной и социальной покорности моих учеников: таким образом уже сейчас заявляли о себе все их грядущие поражения, крах требований, выполнения которых они должны добиться от других, от буржуа, от тех, кто умеет выйти за пределы своей семантической околицы, своих профессиональных или классовых идиом; от тех, чей голос слышен далеко.

Наконец, чуть ли не после часа настояний и уговоров, я добился пусть и неуклюжей, пусть и робкой, пусть и не уверенной в самой себе, но все же по-настоящему полной речи. Хотя за указательным пальцем по-прежнему оставалась его магически-демонстрационная роль и «речь», в собственном смысле слова, так и не вышла за пределы некоего необязательного, избыточного словесного привеска, предназначенного лично преподавателю философии, в умственных способностях которого стали сомневаться.

Это, конечно, была победа, но сколь ничтожная! Я добился своего, но чего мне это стоило! Со мной заговорили словами, преодолев некий барьер, но только от отчаяния, только пото-

му, что ничего другого «не получалось». Значит, они могли говорить, они умели говорить. Но дело было не в этом, это ничего не решало: дело было в желании; в том, чтобы отважиться. Мои ученики могли говорить не хуже меня, нужна была только тренировка. Но они отказывались; вот в чем была загвоздка: они отказывались; они испытывали отвращение к речи, как кошка к воде. Речи не про них; про них — механика, «чертежи».

Однако с помощью своих «чертежей» мои ученики куда более ловко общаются с вещами, чем с себе подобными. Они умеют командовать только вещами. Но мир вещей — это как раз и есть мир пролетариев, мир темный, мир замкнутый, мир подчиненный.

Общаясь друг с другом, мои воспитанники также прибегают к своего рода «вещам», к чему-нибудь вроде чертежа, который мне показывали, или последней модели фотоаппарата, или задницы милашки Ф. из параллельного класса. Это язык примеров, язык осязания, действенный и безмолвный; язык исполнения, язык подчинения «силе» вещей, вот именно, пусть даже слову, если говорит хозяин; слову, которому его локальная плотность сообщает некую жесткость и «неоспоримость»!

Ставок больше нет, или, вернее, колода — крапленая: с этими людьми не беседуют, говаривал некогда мой отец, который отлично разбирался в вопросах эксплуатации; и правда, с пролетариями не дискутируют; да и как могут они ответить? Разве что забастовкой; но бастовать — это как раз и значит выражаться, прибегая к помощи «вещей». С рабочими не беседуют, от них добиваются — или не добиваются — покорности; покорности, потому что они не умеют ответить как нужно, а не ответить — значит покориться, хочешь ты того или нет.

Это-то мои ученики знают; вернее, подозревают, чувствуют, и я убежден, что они рады бы изменить положение, как рады бы уйти от своего класса, ускользнуть от многовекового ярма. Но им известны также и трудности, которые необходимо преодолеть; трудности обучения языку, никогда не бывшему для них «родным». И они даже преувеличивают эти трудности: вот в чем истинная трудность! Хорошо бы одержать победу, слишком хорошо! В последнюю минуту они отказываются поверить, что такая возможность существует, как отказались в тот раз говорить со мной. Мои ученики сами видят в себе «работников физического труда»; они забиваются в свое словесное и социальное гетто; и даже каются, не щадя себя, в

вине, которая вовсе не их вина, когда я, явившись с письменными работами под мышкой и плохими отметками в журнале, предлагаю им найти объяснение сделанных ими ошибок по учебнику грамматики. Но я знаю, что они к грамматике даже не прикоснутся. На что им грамматика? Грамматика — это для других, для отпрысков хороших семей!

Грамматика — для людей вроде меня, преподавателей; для меня, чья роль, чья единственная роль только в том, возможно, и состоит, чтобы подчеркнуть дистанцию между моими учениками, обреченными в нашем обществе на то, чтобы остаться «отстающими», и тем миром, который представляю я, — словом, чтобы внушить им социальное смирение.

Я не сразу понял это — вот в чем моя главная ошибка. Я чуть не оттолкнул от себя навсегда этих бесправных детей, упорствуя на протяжении многих недель со своими философскими речами, такими гладкими, отшлифованными, разыгрывая перед ними спектакль буржуазной «мистерии» с высоты своей кафедры, отстоящей далеко-далеко от немوتствующего стада молодых пролетариев, которым было отведено место внизу, на паперти.

Эта дистанция, при всей ее «нематериальности», выражалась в самой топографии класса: передо мной было три ряда пустых столов, меж тем как моя паства теснилась в глубине комнаты и проявляла свое растущее безразличие в непрерывном перешептывании на мирские темы, которого мне никак не удавалось прекратить. Я пытался привлечь внимание прихожан и добиться тишины, но мне выделяли лишь двух-трех самых отъявленных сонь: да и эти последние смеялись в порядке очереди, от недели к неделе, не оставляя ни малейших иллюзий относительно увлеченности моих подопечных.

От моего монолога, посягавшего на великие цели, мог быть толк лишь в особой ситуации, я хочу сказать в особой общественной ситуации; вне ее, здесь, он выглядел просто-напросто нелепым. Вот я и стал учиться у своих воспитанников, решив, что только у них самих и могу почерпнуть то, что должен им сказать. Мы стали просто болтать; на этих условиях они согласились со мной разговаривать.

И это далось не сразу. Я все еще был для них чужаком, хозяином. Чтобы обратиться ко мне, они собирались вдвоем, втроем. Возникало что-то вроде совета; они готовились. Потом один «делегат» набирался решимости поднять руку. Я произносил вопросительное «да?» в сторону всей группы, стараясь не адресовать его никому в отдельности. Ко мне обра-

щались. «Хотелось бы знать... Хотелось бы спросить...» — говорили мне.

Не была ли эта безличная форма своего рода рабом, вестником беды, посланным к Великому хану и отданным на произвол его гнева, именно потому, что его жизнь не имеет никакой цены?

Словесная форма душила подлинную речь каждого из них, ее я не слышал, она гибла под горой их собственных представлений о том, как следует говорить, и моих приговоров, роняемых с высот буржуазного Олимпа. Эту индивидуальную речь мне приходилось выкрадывать, улавливать по движению указательного пальца, по выражению лица, извлекать из «диких» разговоров.

Я все еще был гнетом для них, как я ни старался, даже и после того, как отделался от атрибутов «учителя» в той мере, в какой мог это сделать, не впадая в демагогическое кривлянье. Самое мое присутствие давило их тяжестью, как гора, душило. Тщетно я спускался с кафедры, ходил между столами — ничто не могло уничтожить барьера, классового взаимонепонимания.

Последние дни в Сотанвиле солнечно. Небо бледное, льдистое, но прозрачное, без обычной серой размазни. Скоро рождество. Под этим громадным солнцем, недвижимым, точно баржа, вмерзшая в лед канала, Сотанвиль принял праздничный вид, неумело принарядившись. От этого солнца, этого света, лишенного оттенков, как преувеличенный комплимент, кирпича домов, который вдруг кажется чересчур красным, словно слишком густо нарумяненное лицо, так и бьет в глаза провинциальностью. §

Да-да: провинциальность проступает на щеках ребенка, розовых, чуть слишком розовых от ледяного ветра, в возбужденных голосах картежников в «Благовесте», чуть слишком громогласных, чуть захмелевших. И даже в самом этом солнце, которое в порядке исключения с дружеской теплотой почти вульгарно похлопывает тебя по животу.

Сотанвиль готовится к рождеству. Мне кажется, что солнце припекает в последние дни не случайно: этот город, обычно такой угрюмый, такой тусклый, внезапно воодушевился. Он выплеснулся на улицы; разукрасился иллюминацией. Посредине главной площади устанавливают гигантскую елку. Ребятишки глазеют. Я тоже глазею. Вечера — непрерывный праздник. Магазины закрываются позже обычного. За запотевшими витринами — толкучка, все что-то покупают. А подальше, на узких плохо освещенных улицах, люди, нагружен-

ные пакетами, кажутся огромными и круглыми тенями, которые осторожно ступают по гололеду и тают во мраке.

Как плохо я знаю этот город! Достаточно было чуть открыться дверям, и его тепло просочилось на улицы, я ощущаю скрытое тепло Сотанвиля.

За этими стенами, за этими заиндевевшими стеклами должны быть просторные комнаты со сверкающим паркетом; кресла, подушки в бархатных и вязанных крючком наволочках; салфеточки; громоздкая пузатая мебель, надраенная до блеска; шкафы с постельным бельем, приданое, которое переходит от поколения к поколению; вышитые скатерти, к которым не прикасаются.

Учащиеся сгруппировались в глубине двора, точно прячутся от холода и завываний ветра. Я вышагиваю взад-вперед, обходя лужи. Рождество позади. Я вернулся к своему разбухшему черному портфелю и привычке обходить лужи. Жду, когда настанет время подняться в класс. В преподавательской обсуждают поломку автомата с горячими напитками. Винят учеников, их варварское обращение с вещами: как можно было доверить такой дорогой аппарат людям, которые вырезают ножом надписи и рисунки на школьных столах? Инспектор крайне озабочен. Я предпочитаю в это не вмешиваться. Тем не менее сегодня утром я обнаружил в своем ящике для почты циркуляр, ставящий меня в известность, что ответственность за «порчу казенного имущества», совершенную во время урока, будет нести преподаватель.

Лично я ничего не имею против вырезания рисунков на столах. Когда я был школьником, я сам так упражнял воображение. Я портил произведения своих предшественников или переделывал их. Я вырезал символы, понятные лишь мне, выражая свои упреки, и никому не приходило в голову ставить мне это в вину. Я знал даже преподавателей, которые были истинными ценителями этого вида искусства и делились с нами своим мнением о наших произведениях.

В порче столов проявляется вовсе не злой умысел, даже не «невоспитанность». И довод инспектора, что ни один ученик не позволил бы себе подобную «гадость» дома, на «своем» письменном столе (он полагает, этот инспектор, что у каждого из наших воспитанников есть «свой» письменный стол!), кажется мне особенно глупым: ведь ученики режут столы как раз потому, что это не «их» столы, и потому, что им хочется сделать эти государственные столы хоть отчасти «своими», так животные отмечают струей мочи «свою» территорию. Но у инспектора нет, очевидно, ни собаки, ни кошки, разве что

головастики в банке из-под варенья, и я умозаключаю, что он ничего не смыслит в законах природы. Ну и черт с ним!

Я расхаживаю взад и вперед по двору; тучи тяжело несутся над верхушками деревьев. Через пять минут я должен буду снова войти в свою роль: в ту, которая предписана мне циркуляром о порче столов; в роль человека, который проверяет, все ли присутствуют на уроке, и доказывает бытие бога.

Отныне и ежедневно — все те же сомнения: хватит ли мне на это мужества? Каждый час, каждая минута урока — всего лишь отсрочка, оттяжка расплаты, которая грядет: брошу все, уеду домой. Исчезну. Перестану быть их преподавателем. Я ничего не могу для них сделать.

Но что же будет со мной самим? Как и главное — кому объясню я свой отказ? Нареку его бунтом? Какое самомнение! Бунтом против чего? Если это бунт против невежества моих учеников, то разве не мой долг сделать их не столь невежественными? Но какой ценой? Могу ли я это сделать, не принуждая этих парней и девушек покориться в очередной раз ради получения образования ужасным, гнетущим нормам общепринятого; тем нормам, которые, следуя одной и той же «мудрости», во имя одного и того же порядка требуют в равной мере согласования причастий и согласия человека жить на шестьсот франков в месяц.

Я не знаю, кто я. Знаю о себе только одно: счастье не про меня. Это я знаю точно. Я даже как-то привык к этой мысли. Можно быть несчастным и жить, большинство людей так и делает. Впрочем, они делают это лучше меня: раз счастье не про них, они не позволяют себе о нем думать. А я о нем думаю чересчур много. Все еще чересчур много.

Я несчастен прежде всего потому, что не нравлюсь самому себе. Я мечтал совсем о другом. Не знаю в точности, о ком, но о другом. Ну и вот, поскольку я себе на нравлюсь, я стараюсь себя ликвидировать, так или иначе доконать себя. Например, делаю вещи, о которых сам впоследствии сожалею; или допускаю, чтобы подобные вещи со мной случались.

Я мог бы сказать себе, что, коль скоро не приемлю себя такого, как есть, самое разумное не терзаться попусту, а попробовать себя переделать, стать таким, каким я хочу быть. Мне отнюдь не по душе бесконечно терзаться из-за себя самого. Но, во-первых, я сам не знаю, каким хотел бы стать; и, во-вторых, знай я это, даже стань я таким, это наверняка не принесло бы мне удовлетворения; так что это пустая затея. Я вроде тех «анархистов», о которых мои ученики говорят:

«Стань все по-новому, они на минуточку успокоились бы, а потом...»

Вот в чем моя болезнь; и возможно; как принято выражаться, «болезнь века»; это — ИРРЕВОЛЮЦИЯ: полное противоречий движение, одержимое столь глубокой, можно сказать тотальной тревогой и критикой, что сами эти тревога и критика не могут устоять перед собственной едкостью и растворяются в кислоте самоанализа, самоизничтожаются.

Я хотел отказаться от преподавательской работы. Но если бы я сделал это, мне еще нужно было бы объяснить себе этот отказ, оправдаться перед самим собой. И я бы угрызался ничуть не меньше, чем сейчас.

Я вроде бы восстаю против социальной несправедливости, воплощенной с душераздирающей простотой и наглядностью в моих учениках; но я ничего для них не делаю. Хуже того — я убиваю время на медитации о том, что нужно сделать. Но сделай я что-то, я пришел бы все равно к выводу, что это ошибка, заблуждение.

Революция! Только о ней я и помышляю. Но что за революция? Какую революцию собираюсь я совершить. Не знаю; поэтому-то я и позволяю себе ничего не делать. А вы как думали! Слишком уж все сложно. Это и есть ирреволюция: революция, ставшая чересчур сложной. Видите, чего стоит только думать о ней. А уж делать... И потом, зачем ее делать, кто меня об этом просит? Никто. Вот уж в чем я по крайней мере уверен; меня убедил в этом Сотанвиль. Ну, я и не делаю ничего; как, впрочем, ничего не делал и раньше, в мае 1968-го. Я говорил; много говорил. И не для того, чтобы ничего не сказать, а для того, чтобы ничего не делать. Ибо главное — ничего не делать.

Я не один такой. Все мы в мае 1968 года жили ирреволюцией. Мы совершили ирреволюцию, а не революцию, потому что ни один из тех, кто должен был совершить эту революцию, ни один из нас не надеялся обрести в ней полное удовлетворение. Мы, может, и обладали тем, что нужно, чтобы изменить мир; но себя мы изменить не могли; мы остались бы прежними, мы, как и прежде, томились бы в этом новом мире, как и прежде, тосковали бы, что не совершили главного. Вот мы ничего и не сделали. Мы отпраздновали свой триумф, когда вышли на площадь Сорбонны, лохматые и расхристаные, — огромный дармовой «лупанарий», меж двумя рядами ухмыляющихся фараонов с дубинками у ширинок. На этом и кончился наш триумф, ибо ничто не могло, ничто не сможет разрешить наших противоречий; только эта сила подавления,

только она одна способна — и мы знали это в глубине души — спасти нашу самовитость революционеров ценой поражения нашей революции.

Но я, но моя ирреволюция — это не один май; это повседневность. Каждый день все та же повседневная скука, каждый день все тот же неизменный я; и все тот же страх утратить себя, если один из моих поступков, случайно вырвавшись из-под моего контроля, осуществится и заведет меня дальше, чем я хотел, чем я рассчитывал.

Сегодня — Сотанвиль; завтра — какое-нибудь другое место; какая разница? Я-то останусь самым собой; все так же буду жаждать перемен, все так же терзаться неутолимым голодом, что бы со мной ни случилось. Все мои потуги ни к чему, сколько я ни тру ластиком, на месте стертых линий я снова воспроизвожу то же лицо. И жду. Жду, как и прежде, когда «что-нибудь» произойдет, разрушит злые чары и вернет мне свободу движений, вернет мне жизнь. Но сумею ли я узнать это «что-нибудь», если оно действительно произойдет? А если узнаю, захочу ли смириться?

В прошлом году умерла Н. Я мог бы с ней познакомиться, она должна была стать моей ученицей. Подробности этой истории почти неизвестны; говорят только, что Н. ушла из дому, несколько дней пропадала, а потом ее нашли в номере гостиницы, в Дьеппе, рядом с умирающим любовником и с непременным пустым тюбиком из-под снотворного на ночном столике. Парня спасли, а девушка умерла.

— А вы его знали, ее любовника?

— Да, он был буржуа; хороший парень, по странный какой-то.

— Чем странный?

— Чокнутый.

— То есть?

— Ходил всегда грязный; и потом говорил, что буржуа — это... ну, это...

— Сволочи, полагаю. И это все?

— Нет, он говорил, что покончит с собой.

— А ваша соученица что об этом думала?

— Ничего. Она считала, он придушивается.

— И вы никому не рассказывали о том, что он вам говорил? Вам не пришло в голову, что нужно кого-то предупредить; кого-нибудь из преподавателей или родителей вашего товарища?

— Нет, раз он придушивался.

— Но теперь-то вы по крайней мере поняли, что он не придурился.

— Он ведь был чокнутый. Это одно и то же. И потом, когда мы что-нибудь говорили Н., она и слушать не хотела. Тронуть не позволяла своего типа. Задавалась очень, в последнее время особенно, глядела на нас свысока.

— Почему свысока?

— Потому что гуляла с буржуа.

— Это еще не причина.

— Ясное дело! Но все же.

— Ну а он, как вы думаете, почему он гулял с вашей соученицей?

— Он был псих.

— Вы считаете, что, будь он в своем уме, он не любил бы ее?

— Кто его знает. И вообще он, как ни верти, хотел одного — позабавиться с ней.

— Только и всего?

— Ну! В классическом лицее ведь полно девушек куда красивее и интереснее нас.

— Почему красивее и интереснее?

— Они лучше, ясно! Лучше одеты, интереснее.

— Но вы же говорите, что сам он одевался плохо.

— Да, но он был ненормальный.

— И однако, сейчас немало ребят, которые одеваются плохо, как он, отпускают длинные волосы, бороду, ходят грязными. Это модно.

— Может, и модно, но нехорошо.

— Разве каждый не имеет права одеваться, как ему нравится?

— Конечно! А все-таки нехорошо.

— Ну а как вы думаете, ваша подруга в самом деле хотела покончить с собой?

— Понятно, нет.

— Значит, это он?

— Ясное дело, он! Она просто делала все, что он хотел, потому что он был буржуа.

Тогда я задаю вопрос, который давно жжет мне губы: «Значит, вы считаете, что ваша подруга получила по заслугам?»

Мне дают понять, что да.

Собственная бесполезность давит меня с каждым днем все больше. Каждый день в особенности каждое утро, когда я через силу поднимаюсь, мне кажется, что на сей раз я опустошен до предела, дальше некуда. Я вбираю в себя воздух, чтобы

очистить горло от удушливой тоски, но легкие заполняются отпущением вины. Грудь болит, как будто она стянута слишком тесной кожей.

Нет тяжелее греха, чем жить, не принося пользы, а я совершаю его ежедневно. С тех пор как мне стала известна история чокнутого буржуа и девушки, покончивших с собой, я потерял последнюю надежду. Некая благодать хранила меня первые месяцы от того, чтобы услышать эту историю из уст моих учеников. Коллеги намекали достаточно невнятно о «наркотиках» и «самоубийстве»; но я не слишком вслушивался; я думал, что это обычное морализирование на тему о «позоре нашей эпохи» и «гошистах». И вот в один прекрасный день, не помню уж, в связи о чем, мои ученики по собственному почину выложили мне эту историю.

Самое печальное здесь даже не то, что произошло; но то, как мне об этом рассказывали. В тот день я принес в класс магнитофон — я иногда пользуюсь им, чтобы мои ученики-пролетарии могли услышать свои ошибки и исправить их. И невольно, совсем невольно я записал эту историю. Записал, а не просто запомнил: записал, записал слово в слово, записал впечатанную в их собственные слова обреченность этих девушек, которые не кончают с собой. И их жестокость, хитрую жестокость их существования, ставшую их собственной жестокостью.

Тут уж я бессилён, ничего не могу поделать — ничего. Это безмерно выше моих сил, моих жалких сил, моих двух часов «философии» в неделю.

Нет от меня никакого толку, со всем моим красноречием и тонкими софизмами. Не явись я в этот техникум, чтобы болтать обо всем этом, я, может, и остался бы в неведении; мне, может, выпала бы на долю такая удача. Но теперь — конец.

Нет от меня никакого толку. Я ничего не произвожу, ничего не создаю, не врачую; нет, я никого не излечу. Даже булавки — и той я не умею сделать. А вокруг меня вещи; великолепные вещи, созданные другими; машины, которые мчатся мимо, уродливые бетонные башни, которые высятся вокруг техникума. Все это производят другие, пока я, сидя на сделанном другими стуле, перед столом, сколоченным другими, сотрясаю воздух своими словесами.

И меня слушают. Правила требуют, чтобы меня слушали. Меня слушают два или три десятка парней и девушек, которые станут вскоре создавать собственными руками новые вещи, а я буду покупать эти вещи на деньги, заработанные сейчас, в эту минуту, когда я просиживаю стул, который тоже

вещь. Так по какому такому закону обязаны они меня слушать?

Если бы я мог еще приобщить их к своему искусству, к своей узурпированной власти. В этом был бы хоть какой-то толк. Предав гласности эту мошенническую операцию, я, быть может, искупил бы свой грех.

Но, похоже, они раскусили меня со всеми моими угрызениями совести и потребностью, возможно извращенной, заразить их, чтобы самому почувствовать облегчение. Они меня слушают, но не отвечают. Они не принимают участия в комедии, которую я разыгрываю. Я одинок; они обрекают меня на одиночество перед ними, перед самим собой, я остаюсь наедине со всеми моими словами — моими грязными сообщениями.

И все же эти слова, овладей они секретом их расстановки, сумей я найти средство передать им... Должно же существовать такое средство, пусть даже контрабандное; я обязан его найти. Тогда они наконец заговорят, мои маленькие немые: выскажутся, им ведь есть что сказать, это как раз то, чему я не могу их обучить, потому что сам должен этому у них обучиться. Настало время обучаться нам, буржуа!

Пусть они заговорят! Только бы они заговорили, и я буду вознагражден сторицей за все свои муки отчаяния. Пусть они заговорят, и я поверю, что для чего-то нужен. Пусть они заговорят, и вся моя идеология, весь мой набор революционных фраз приобретет, возможно, какой-то смысл! Они придадут всему этому смысл, я знаю теперь, что ни от кого, кроме них, не приходится его ждать, только бы они сумели его выразить. Но как им это выразить, если у них отнят даже последний уголок стола, где они хоть как-то могли высказаться?

Я теперь здороваюсь на улице с людьми, которых знаю. Сказать, что я их в самом деле знаю, было бы слишком смело. Они тоже меня не знают. Для них я имя и должность, «тот самый, который преподает философию моей дочери», к примеру. Для меня это люди, с которыми я уже где-то встречался и которые со мной здоровались. Я припоминаю, что они со мной здоровались: это люди, которые со мной здороваются.

В деревне каждый более или менее близко знает соседей — то есть всех: такой-то — рогоносец, такой-то — пьяница, такая-то — сумасшедшая; в этом есть даже что-то милое, и никто не придает этому значения: все в одном положении, на каждом оно написано. В Париже и в больших городах никто ни-

кого не знает: разглядывай вволю мою задницу, если угодно, раз не видишь моего лица! Здесь же, в «провинции», в городках вроде Сотанвила — с тобой здороваются. Мне это не по душе. Я не могу отделаться от ощущения, что меня разглядывают, что меня видят, тогда как я никого не вижу; и, зная, что за мной следят, я сам слежу за собой. Пытаюсь не выйти из своей роли — походить на известный им персонаж, на роль, в которой выступаю, на свой собственный миф. Это и есть провинция; театр без роздыха, непрерывный спектакль (не без мистификации, но на правду всем плевать; правда — чрезмерно или недостаточно плоска), в котором изображаешь себя для других, для тех, кого знаешь, и для тех, кого не знаешь, или только думаешь, что не знаешь, для тех, у кого ты все время на виду.

Взять, например, эту девушку за соседним столиком в «Глобусе»; она улыбается мне. Разве я ее знаю? Было бы плохо, если бы я ее знал. Я мог бы поговорить с ней. А вдруг я ее не знаю? Оглядываюсь по сторонам. Кажется, никто не обращает на меня внимания. В самом ли деле я в этом кафе один? Могу ли я заговорить с девушкой? Скажу ей, что одинок, что скучаю. Но нет! Я тут не один. Я знаю, на меня смотрят, я чувствую. Лучше воздержаться от разговора. Ага! Вон справа от меня человек, с которым я время от времени здороваюсь; один из тех, для кого мое определение сводится, должно быть, к пресловутому «тот, который преподает философию». И все. Я для него, например, существо бесполое — это входит в отведенную мне роль. Можно ли было бы иначе доверить мне свое дитя? Доверить этому негодяю, который смутно вожделеет, сѣдя за столиком в кафе «Глобус» и уставясь на девушку, на ее икры и ляжки под соседним столиком? А ведь она могла бы быть его ученицей! Какой позор! Нет, мне нельзя выглядеть «преподавателем философии, который в кафе щупает глазами девушек». Лучше уж уйти. Я адресую девушке бессильный взгляд, пытаюсь сказать ей глазами, что я очень хотел бы заговорить с ней, да не смею из-за этого субъекта справа и из-за всех прочих субъектов справа; но что она может выйти вслед за мной, если захочет, и тогда в темном переулке я поцелую ее в губы, прижмусь к ее грудям и животу, и мы сядем в мою машину, уедем на всю ночь в Камбре.

Но следом за мной выходит не девушка, а этот субъект. Он догоняет меня в дверях и говорит: «Простите, я не сразу вас узнал». Болван! И это еще не все: ему необходимо поговорить со мной о сыне, моем ученике. Нет уж, увольте. У меня сегодня нет времени. Ну, не беда! Он приглашает меня зайти к ним

на чашечку кофе, когда мне будет угодно. Мне, видите ли, очень трудно выкроить время. Неважно, он готов это сделать в любое удобное для меня время; я влип! В таком случае, чем скорее, тем лучше! Покончим с этим немедленно! Я иду с вами. Он приводит меня к себе; нам открывает толстуха. Она называет меня «мсье профессор». Ладно, пусть будет «мсье профессор», добрые люди! Нечего было заглядываться на ту девушку в кафе: это не к лицу «мсье профессору». Идут за сыном; он появляется, потирая руки, нос, губы, шею. Что вы о нем скажете, «мсье профессор»? Только хорошее, разумеется, только хорошее! Теперь кофе. Пожалуйста, не нужно кофе, мои нервы его не выносят. Рюмочку коньяку? Спасибо, самую малость.

Усаживаюсь поглубже в кресло. Это, конечно, не ночь в Камбре, о которой я мечтал, но в конце концов мне не так уж плохо. Тепло; в камине с газовым отоплением горит огонь: в мою честь зажгли даже красную мигающую лампочку в пластмассовых поленьях, установленных перед радиатором. Мальчик непрерывно переводит взгляд со своих часов на большой телевизор, стоящий на комоде. Бедняга — не будет сегодня телевизора! Папаша говорит мне о сыне. Он так хотел, чтобы я пришел, потому что ему необходимо поговорить о сыне. Толстуха разглаживает свою юбку и все больше расплывается на диванчике, точно устрица, раскрывающая створки. Парень ерзает от нетерпения. Он уже не смотрит на часы; должно быть, передача упущена. Он смотрит на пластмассовое полено, оно все еще мигает, и от него идет легкий запах гари. «Папа, полено сейчас загорится». Вот черт! Если уж поленья начнут гореть... Полено гасят. Папаша трет глаза в поисках мыслей, вернее, воспоминаний. Он принадлежит к тем, у кого вместо мыслей воспоминания. Опасная разновидность! Даже опаснее людей, у которых есть мысли, потому что воспоминания неопровержимы, их приходится выслушивать до конца! Он воевал. Потом четыре года — в плену. Там-то и познакомился с М. М., тоже преподавателем философии, как я. Я должен его знать. Нет, что вы! Откуда же мне знать всех преподавателей философии. В самом деле? Он обескуражен; толстуха тоже: мне полагалось бы знать М. М., это нехорошо, что я его не знаю. Парень бросает на отца взгляд, полный сомнений и тоски: кто-то из троих — отец, философ или я — обманщик, но кто?

Папаша не сдается: но книги-то М. М. вы по крайней мере читали? А если он «пишет книги», я, должно быть, их читал: этого требует мой престиж, поставленный сейчас под сомнение. Так что книги М. М. я читал.

Всеобщее блаженство. Папаша взволнован! Мир так тесен! Еще тесней, чем кажется. Он показывает мне книги М. М. Спасибо, не нужно! Я ведь их читал! Приходится тем не менее взглянуть на них: они с авторской надписью. Ладно; с этим покончено. Я свободен, могу уйти. Ну, до свидания, «мсье профессор».

Господи, до чего же холодно! На улицах ни души, десять часов. Ночь ложится мне на плечи влажной пелериной. Я снова прохожу перед «Глобусом» — на всякий случай. Но девушки там уже нет. С какой стати она там будет торчать до этих пор? И вообще мне сейчас слишком холодно.

На прошлой неделе сиделка приехала в Сотанвиль, чтобы провести здесь вместе со мной воскресенье. Я не без труда уговорил ее посетить мое чистилище, но сейчас, увидев ее, не так уж уверен, что сам этого хотел. Я люблю эту девушку только на известном расстоянии, но как дать ей это понять? Я говорю ей: приезжай; ей бы ответить: хорошо, приеду, но не приехать; тогда я мог бы ее ждать, но мне не пришлось бы выносить ее присутствие. Существуют тонкости, которые от нее ускользают. Она воображает, что любовь — это некое наваждение, всепоглощающая страсть — в стиле «наконец-то мы одни». Как бы не так! Любовь — это только воображение; поэтому сначала с человеком еще можно видаться, — пока не слишком хорошо его знаешь, больше придумываешь. А потом видаться не следует; видаться просто невыносимо — любимый человек разрушает собственный образ; в конце концов начинаешь его ненавидеть. Любовь — это отсутствие; не настоящее отсутствие, не подлинная разлука; но некое умение уйти в тень, своего рода сдержанность и способность принести себя в жертву своему образу ради другого; ради того, чтобы этого другого не слишком раздражало, что ты такой, как ты есть.

С сиделкой о подобного рода деликатности и речи быть не может, разве что на расстоянии ста пятидесяти километров, амортизирующих ее порывы и несдержанность. Она не поняла, что Сотанвиль наша последняя отсрочка, наш последний шанс, и вот явилась, идиотка!

Я злюсь на нее еще и потому, что она такая, каким был я сам несколько месяцев назад: она привязана невидимыми, но крепкими нитями к Парижу, к продуманному беспорядку своей квартиры, своих книг, своих теорий, своего времяпрепровождения, своих сумбурных и волосатых друзей, с которыми она уже не заставляет меня так часто видаться, но которых потчует в те вечера, когда меня нет, колбасой и редькой. Вот я и злюсь на нее за то, что она такая, каким я больше не хочу

быть; за то, что она для меня, во мне, воплощение моих прежних привычек, ничем не оправданных пристрастий и отвращений; я злюсь на нее за кино, за быстро, куда мы ходили вместе, за фильмы, которые смотрели. за пластинки, которые слушали.

Она приехала ко мне, окинула взглядом номер и сказала, снимая пальто:

— В сущности, ты здесь неплохо устроился.

Она пожелала тотчас заняться любовью, поскольку ей известно, что после ужина мне грош цена. Я тоже был не прочь заняться с ней любовью. Во всяком случае, я этого хотел, пока она не отпустила это свое «ты здесь неплохо устроился». Но теперь она была мне противна. Мне было противно ее тело. Она явилась, чтобы одарить меня милостыней своих ласк, продуманных, как и все в ней; и, поскольку не следует внушать своим беднякам дурных мыслей, она сказала, что, в сущности, я мог бы и обойтись без этой милостыни; что не так уж мне плохо, что на моих стенах, на моем окне, на моем столе, на моем лице она не прочла моего одиночества. Это она-то, которая и трех дней не прожила бы тут. Она, которая только и умела, что презирать и эти стены, и этот стол, и голую женщину в рамке, и, возможно даже, мою физиономию.

Так что я сам подал ей милостыню своих ласк, своей плоти. И потом ничего не сказал. Не сказал, главное, что я думаю о ее наигранно хорошем настроении; в тот вечер я не сказал ей, что думаю о мерах предосторожности, принятых ею, чтобы не проговориться, не ляпнуть, чего не следует, ни о гостинице, ни о ресторане, ничего такого, что могло бы меня ранить. Я позволил ей остаться при убеждении, что из нас двоих тяжелобольной — я, я тот кого следует щадить. Я и впрямь был болен; но не была ли еще серьезней больна она сама, с ее приглушенным хихиканьем, с ее тонкими шуточками в адрес неповоротливого метрдотеля, с ее манерой многозначительно наступать мне на ногу под столом, строить глазки и жеманничать, повергавшей меня в ужас, с ее игрой в «свадебное путешествие», которое забросило нас в этот гадкий провинциальный отель, но уже завтра мы будем в Венеции, и поэтому ничто не мешает нам теперь забавляться, разглядывая всех этих несчастных, всех этих бедолаг, не умеющих жить, то есть всех других, всех остальных.

Следовало бы ей изменить, бросить ее. Но это мне не удалось: я знаю, что, если брошу ее, стану скучать по ней; злиться на себя за то, что ее бросил: брось я ее, верх взял бы ее образ, а этот образ я люблю. Не так-то все просто; лучше уж пусть она меня бросит; чтобы мне не в чем было потом себя упре-

кать. Пока что я ей изменяю. Вернее, нет, это не называется изменять. На выезде из города есть что-то вроде кабаре. Я иногда заглядываю туда около полуночи; встаю с постели. Если вино, усталость и скука не смеют меня тотчас после ужина, мне не хватает мужества проделать в одиночестве переход в завтрашний день. И вот я встаю с постели и направляюсь к этому кабаре, которое известно всему Сотанвилю, но о котором не принято говорить вслух, потому что там есть две-три девушки, приглашающие вас выпить рюмочку по дешевке. Людей из приличного общества там не встретишь, только таких, как я, коммивояжеров. Как-то вечером, очевидно из чувства жалости, метрдотель дал мне этот адрес. И теперь я довольно охотно хожу туда; в такие ночи я ложусь спать позднее обычного, переход укорачивается; иногда и вовсе не ложусь. А на следующий день, к пятому, шестому уроку говорю себе, что никогда больше не пойду в это кабаре: язык у меня заплетается, и мои подкашивающиеся ноги корят меня самым искренним, но быстро преходящим образом.

Я мог бы изменить сиделке с одной из моих коллег или, скорее, если бы я набрался мужества, с одной из продавщиц в книжной лавке Куаньяра; это студентка философского факультета; она спрашивает у меня советы, я их даю, к тому же она мила, у нее узкие плечи, чуть-чуть слишком широкие бедра. Мы уже совершали с ней прогулки в лес Эрувилетт. Она рассказывает мне о своей жизни, я выдумываю о своей. Наши ступни утопают в подушках мертвой листвы; я держу ее за руку, иногда обнимаю за талию. Я ничего не испытываю. Ничего, кроме колкой улады холодного воздуха, наполняющего легкие. Приходится пролагать себе путь в зарослях кустарника; я широко шагаю, таща за собой подпрыгивающего, смеющегося зверька, который время от времени скулит, что я не придерживаю ветви и они бьют по лицу.

Я одержал победу. В техникуме вышел первый номер журнала.

Вот оно орудие, которое я так долго искал, уловка, разрешающая им наконец высказаться! Нужно, чтобы они заговорили? Так вот, они — пишут! И не так уж плохо в конечном счете.

Как-то утром я заговорил с ними об этом журнале; я сказал:

— Он даст вам возможность общаться друг с другом и даже с внешним миром, высказать то, что вас заботит, о чем вам хочется сказать.

Я отнюдь не был уверен, что у них вообще есть желание о чем-нибудь сказать. Но вот назавтра трое, четверо, шестеро

приносят мне с таинственным и робким видом: один — стихи, другой — заметку в рубрику «Свободная трибуна», кто-то — рассуждения о моде, кто-то — составленный им кроссворд... Не могли же они сделать это за одну ночь: значит, это лежало где-то, в ящике стола, в недрах портфеля, меж страниц книги; спало, но существовало: они писали стихи, мои неграмотные ребяташки!

И я оказался прав — им есть что сказать, у них даже есть для этого средства; нужен был только случай, только право; и это право дал им журнал. И они ждали этого права, даже не питая на него надежды,— ведь стихи уже лежали, ведь лирический порыв уже излился на клочке бумаги и сейчас, едва представился случай, был лихорадочно переписан набело! Этот клочок бумаги, может, так и провалялся бы всю жизнь понапрасну, не приди мне в голову, сам не знаю как, мысль предложить им выпускать журнал!

На последнем рубеже малодушия, на последнем рубеже сомнений я, может, наконец обнаружил, что на что-то все-таки го-жусь; значит, в мире все же существует место, принадлежащее мне, и я наконец нашел его. Так после нескончаемых блужданий и зигзагов находит свой номер шарик рулетки в казино. Может, я все-таки не окончательная пустышка.

Вышел первый номер журнала. Директор вызвал меня к себе в кабинет. Прежде всего он несколько натянуто поздравил меня с проявленной инициативой: весьма похвально, что преподаватель приобщает учеников к широким интересам, побуждает их к активности, которую можно расценить как «культурную»,— вопросительный взгляд.

Я отвечаю, что весьма тронут сочувственным отношением руководства к моему начинанию, которое я в свою очередь расцениваю как культурное, мечтая, чтобы на этом и завершился наш обмен любезностями.

Но это еще не все, за поздравлениями следуют советы, пожелания; почему бы не поручить руководство этим журналом «общественно-воспитательному центру» техникума, председателем которого является директор? Это избавит меня от бремени, по всей вероятности весьма нелегкого, не так ли?

— Почему же нелегкого? Ученики все делают сами.

— Тем оно серьезнее. Не забывайте,— говорит мне директор,— что молодым людям предстоит экзамен. Учеников необходимо занять, приучить к ответственности; все это прекрасно. Но не следует отвлекать их от основной задачи.

Тут я полностью согласен с директором, разумеется! Но как в таком случае поступить с журналом? Бросить эту затею?

Напротив, дают мне понять. Журнал необходимо расширить; открыть его рубрики родителям учеников, преподавателям, руководству. Несколько страниц, естественно, останутся ученикам. Но в их возрасте самое важное — это ведь получать советы, идеи, не так ли?

Значит, тут все дело в возрасте! Возможно. Я не отвечаю. Мне нечего ответить. А директор, чувствуя какую-то неувязку, снова переходит в атаку: он поговорит обо мне с инспектором округа, прельщает он; даже представит меня ему; мне будет весьма полезно, если тот познакомится со мной и узнает, сколь ревностно я отдаюсь воспитанию моих учеников, не так ли?

Так вот, нет! Пусть он катится подальше этот директор вместе со своей округлой улыбочкой, наподобие «академических пальм», со своими посулами квартиры в стандартном доме, со своими сюрпризными коробками, полными гладильных досок! Меня на эту удочку не возьмешь.

Вам не по нутру, что я даю ученикам возможность высказаться. Это не предусмотрено! Так не делается! Вы хотели бы, чтобы они занимались философией, потому что философия придает вес образованию, в особенности техническому; она полезна! Но она не должна внушать им идеи, намекнули вы мне, когда я прибыл в ваш техникум, не произнося этого вслух, по своему обыкновению, старый вы хитрец! Ну так вот, философией они занимались не слишком, но некоторые мысли она все-таки у них пробудила. Неплохие мысли! Вам тут нечего возразить, что вас и злит. Но ведь мысли, как ни крути? А мысли — дело темное: как знать, куда они могут завести.

Теперь вам хотелось бы взять мысли под свой контроль, так же как и все, что происходит в техникуме: внешний вид учащихся, посещаемость, нравственность, чтение, все вплоть до месячных у девушек, а почему бы нет?

А я этого не хочу; журнал, в порядке исключения, вам не захватить в свои руки, вы и носа в него не сунете: в порядке исключения, вам придется на сей раз промолчать и предоставить слово тем, кого слишком уж легко, на мой взгляд, притесняют под флагом образования. Значит, война? Ну и пускай! Война так война. И мои ученики должны знать, что, едва я вознамерился предоставить слово ученикам-котельщикам или секретаршам, нам была объявлена война.

Поэтому я собираю их и предупреждаю, какой риск они на себя берут. Им еще не известно, что их журнал, каково бы ни было его содержание, каковы бы ни были его намерения, яв-

ляется подрывной деятельностью: подрывной, поскольку вопреки обычаям, установленным здесь, в этой семинарии для пролетариев, где обучают прежде всего послушанию, где учат не говорить, а слушать, этот журнал опрокидывает принятую систему связей.

Я обязан им это сказать и предупредить, что свобода, которую они берут на себя, если решат не уступать давлению, уже испытанному лично мной, имеет пределы, и им не преминут об этом напомнить в их драгоценных зачетных книжках.

Они сделали выбор — готовят второй номер. Время от времени ко мне обращаются за консультацией относительно какой-нибудь стилистической или грамматической проблемы, но я даю советы довольно неохотно. Пусть обходятся без меня; это очень важно. И все же я радуюсь, когда они прибегают ко мне: я единственный из преподавателей, к которому они обращаются по поводу «своего» журнала; на этот раз мне кажется, что дистанция между мною и моими учениками-пролетариями в самом деле уничтожена. Они мне доверяют, они меня больше не боятся.

Я немножко ухаживаю за одной из своих учениц, восемнадцатилетней блондиночкой с молочно-белой кожей. Под предлогом исправления статьи веду ее в «Глобус». Мы болтаем до вечера: это приятно, это действует освежающе. Двое или трое коллег прошли мимо, делая вид, что нас не замечают. И пусть!

Зовут ее Сандрина; здесь, чем проще люди, тем невероятней имена, которые они дают детям: среди моих учеников есть Армели, Янны, Лоики, Серваны. Сандрина — дочь рабочего; ее отец работает на электрокабельном. И не только отец — вся семья, вся их деревня Фремон, расположенная в двадцати километрах севернее Сотанвиля.

Вот уже неделя, как мы с Сандриной видимся ежедневно. Мне полезно ее видеть; это своего рода противоядие против пяти последних месяцев взрослого существования, да и против сиделки тоже, против инспектора, коллег, всех этих сигарет, которые я выкуриваю в одиночестве. Она спрашивает меня, что я в ней «нашел», и, кажется, несколько удивлена, что ей не приходится защищаться от моей предприимчивости; я, как всегда, ничего не предпринимаю; дело тут не просто в моей инертности, мне хочется, чтобы она оставалась такой, как есть; было бы слишком глупо к ней притронуться, притронуться к ее чистоте. Не из-за ее возраста, не из-за того, что

она моя ученица, а потому, что она пришла из мира более чистого, чем тот, в котором погряз я.

Единственное, чего я прошу у нее, как милости,— это приобщить меня к ее миру. И вот как-то вечером мы отправляемся ужинать к ее родителям. Поначалу атмосфера несколько натянутая. Отец зарезал самого здорового петуха, а мать его пережарила, опасаясь, как бы он не оказался жестким. Дочка сгорает от стыда. Мать суетится, несмотря на мои протесты. Но после ужина все налаживается. После ужина заявляются два Сандрининых дяди с женами и детьми — взглянуть краешком глаза на «профа фило», который явился «на курочку» к рабочим. Пьем самогон. Плохой. Играем в белот: оба дяди против отца и меня. Сандрина веселится, глядя, как я проигрываю. Но я говорю, что ничего тут нет удивительного, поскольку дядья жульничают. Они и в самом деле жульничали, и довольно откровенно: им хотелось посмотреть, осмелюсь ли я сказать, что они жульничают; и, поскольку я осмелился, они прониклись ко мне симпатией. И принялись рассказывать свои обычные вечерние байки.

Дед Сандрины был лесорубом здесь же, неподалеку от Фремона. У него была лачуга, где родилась дюжина детей. Восемь выжили; остальные умерли от родимчика или поноса, потому что в те времена, сказал мне (не без гордости) Марко, отец Сандрины, дровосеки к врачам не обращались. Когда подходили роды, звали старую Агату, которая знала толк в травах и умела принять ребенка в свой большой передник, а если ребенка не хотели, могла и «отправить» его. А потом старая Агата померла, прожив лет девяносто на козьем молоке да на супе, которым ее угощали зимой в благодарность за отвары из трав и акушерские услуги. А потом в деревне построили большой завод, и все изменилось. Люди пошли на завод; они неплохо зарабатывают; на кухне, где я ужинал, стоял большой холодильник, стиральная машина, телевизор, и на полу, под столом, где под ногами у нас возились ребятишки и собака, было полно игрушек.

Теперь все не так, как прежде, и Марко грустит о былых временах, о лесной лачуге, о работе на вольном воздухе вместе с отцом и братьями. На заводе заработки хорошие, но чанешь, как в городе. Да и былой свободы нет уже.

И вот по ночам, если не слишком клонит ко сну и не очень набрякли руки от работы, братья еще ходят браконьерствовать с силками — «на кролика», — как в те времена, когда были дровосеками; Марко рассказывает мне об охоте «на кролика»; Марко явно любит рассказывать; он не говорит —

говорить он не умеет, он именно рассказывает; в сотый раз наверно, он рассказывает, как охотился вместе с братом Бальтазаром на кролика и как полевой сторож с бранью гнался за ними; он рассказывает это, как уже рассказывал сотни раз, теми же словами,— словами, воскрешающими ночь, словами, животворную магию которых я лишь смутно угадываю, словами, благодаря которым рабочий Марко и рабочий Бальтазар сами преображаются, становятся частью легенды, мифа о земле, земле — супруге дровосека, изнасилованной, а потом убитой двадцать лет назад камнем, кирпичом, бетоном, заводом.

Они браконьерствуют не ради дичи, может, даже не ради удовольствия. Бальтазар и Марко уходят ночью в лес, потому что лес, заросли, задышающийся бег во мраке, крики полевого сторожа за спиной — это их вольное детство; это последняя защита от телевизора, стиральной машины и заводского табеля. Силки — это свобода. Браконьерство, штрафы, жена, которая не спит, прислушиваясь вместе с детьми к каждому шороху в ожидании мужа, и даже дни, проведенные в жандармерии, если попадешься,— это последние крохи чудесного прошлого, уничтоженного высокими кирпичными стенами завода, прошлого, которое они иногда пытаются воскресить. Это последняя связь с отцом-дровосеком. Браконьерство, ночь, мрак, бег сквозь секущие лицо ветки, и силки, которые прячут в ныне уже пустой риге,— это последняя связь с прошлым, превратившимся в миф; с прошлым, о котором мне рассказывают смеясь, но в этом смехе прячется что-то серьезное: это прославление прошлого, прославление природы, предков; прославление земли, темной ночи. Потом племя отходит ко сну. Я уезжаю; завтра для них, как и для меня, наступит настоящее: клан распадется надолго, вплоть до следующей охоты на кролика или до следующей партии в белот. А потом, несколько лет спустя, со всем этим будет покончено навсегда; все забудется! Дети играют под столом и не слушают.

А я говорю Сандрине, что она должна слушать и что я завижусь Бальтазару и Марко. Но Сандрина говорит, что я над ней смеюсь. Сандрине это уже недоступно.

В четверг, после обеда, я не захотел встретиться с Сандриной. Слишком уж в тягость я был с утра сам себе; я ощущал себя взрослым и грузным. Не хочу, чтобы Сандрина видела меня таким вне моего учительского места, на кафедре.

Я сел в машину и уехал за город по шоссе, которое идет вдоль канала. Где остановиться, всегда решает сама машина —

запах разогретого масла бьет в нос, вспыхивают красные сигналы; одна лампочка приглядывает за маслом, вторая — за аккумулятором, третья — сам не знаю за чем. Итак, я останавливаюсь, поскольку машина угрожает мне по меньшей мере двумя авариями сразу; я даю ей остыть и немножко набраться сил. У стареющих механизмов появляется какая-то чувствительность, требовательность, и не стоит идти им наперекор. Они, как пожилые люди, ворчливы, упрямы, злопамятны и, главное,— эгоцентричны: тревожатся, что их забудут, отправят на свалку. Мне хоть я и не стар, все это тоже знакомо, поэтому я понимаю старые механизмы с полуслова.

Итак, в четверг я прогуливался вдоль канала, по дороге, некогда проложенной, чтобы тянуть баржи. День был молочно-серый, довольно холодный. Вода в канала свинцовая, плоская, гладкая, без единой морщинки; она казалась маслянистой, тяжелой, как растопленный парафин, который мне разрешали брать ложечкой в раннем детстве. По другому берегу с громким лаем бежал огромный пес, он кружил вокруг мужчины, а тот кружил над головой поводок, должно быть, чтобы согреться. Они шли гораздо быстрее меня, и полчаса спустя я уже не слышал лая; но еще долго видел их — они казались двумя точками, одна была как бы неподвижна, другая двигалась зигзагами, временами исчезая слева в темной массе тополей, неразличимых на этом расстоянии.

Я шел и шел, пока закатное солнце, стоявшее прямо перед моими глазами, в конце канала, и прикидывавшееся, что оно пылает в тумане, не затянулось на три четверти тучами, как зародыш на краю желтка. Тогда я повернул назад и долго шагал в обратном направлении; возвращаться в город не хотелось; не хотелось и тянуть прогулку, как не хочется читать дальше скучную книгу, которую тем не менее все никак не захлопнешь. Машинально я мерил тяжелыми шагами расстояние до машины. Надвигалась ночь, быть может еще более тяжкая, чем обычно; еще более беспросветная. Мрак сгущался вокруг меня. Мрак заполнял мир. Мне не было грустно; не хуже, чем обычно. Только это безмолвие было для меня чересчур необъятным; я слышал себя одного, свои шаги, свое дыхание; не следует, никогда не следует прислушиваться к себе в холодном безмолвии зимы, на берегу канала. Потому что трудно не думать, что и эти последние звуки в свою очередь неизбежно угаснут, как угасает день, как угасает само время, низвергаясь за горизонт. Потому что и эти звуки кажутся уже лишними; потому что они непристойны рядом с этим саваном безмолвия, словно болтовня подле усопшего.

А я кукарекал подошвами ботинок, скрипевших по гравии, подле усопшего широкого канала. Невольно. Я ведь еще дышал; ноздрями, пересохшим ртом я вбирал в себя всеобщее безмолвие. И мало-помалу пропитывался им. Недалек час, когда мое дыхание, мои шаги сольются с безмолвием.

Может, завтра и не наступит. Может, я исчезну где-то на берегу канала, как исчезают в чернильном безмолвии последние тополя. Может, завтра и не наступит, ибо эта бесповоротная ночь не потерпит никакой зари, никакого исключения. Завтра — это невозможное!

Произошло именно то, чего я боялся: второй номер нашего журнала «конфискован» администрацией. Иду к директору; он добился чего хотел не мытьем так катаньем: значит, катаньем; но какой предлог он нашел? Какую провинность какого из учеников он обнаружил?

Похоже, он ждал меня. Такой у него вид. Вид человека втайне довольного, плохо скрытая улыбка жандарма, который составляет протокол.

На сей раз, говорит он мне, учащиеся зашли слишком далеко. Слишком далеко, то есть именно туда, где нас поджидали. Вот мы и попались!

Директор протягивает мне преступную статью. Я ее не читал. Я соблюдал правила игры. Я не требовал, чтобы мне показали материалы до перепечатки. Ученики должны были сами установить границы собственной свободы. Я их предупредил. Они должны были понять, поостеречься.

Но и мне самому следовало поостеречься. Я ведь ждал того, что случилось. Более того — я на это немного рассчитывал. Мои ученики получают по рукам при первом удобном случае: это лучший способ показать им, что они получают «поднадзорное образование», что все мы получаем поднадзорное образование.

Но глядя на недобрую улыбку директора, человека, как я теперь знаю, достаточно ловкого и осторожного, чтобы не торжествовать раньше времени, я догадываюсь, что мои ученики не просто «слишком далеко зашли», что тут дело похуже.

И действительно, хуже некуда. Статья, о которой идет речь, на редкость неистова. В ней только и разговору, что о предателях, скотах, о великих мира сего, которые пьют народную кровь. Но всего хуже, всего непоправимей, что тираны, перечисленные в статье поименно, — это директор, инспектор и я сам; я, оказывается, «бутафорский» революционер, я «окопал-

ся». Это ерунда; я готов с этим согласиться. Но директор, к несчастью, «скот». Ищу под статьей подпись маленького негодяя, подорвавшего мою затею, скомпрометировавшего меня: какой-то Дювийяр. Такого среди моих учеников нет, это уже лучше; но откуда он взялся?

Видя мое недоумение, директор хохочет и говорит:

— Это сын фабриканта из Гиза: учится в Париже на архитектора. Благовоспитанный молодой человек, вы не находите? — Потом спрашивает меня: — Вам известно, через кого был передан этот шедевр?

— Представления не имею.

— Как бы там ни было, через кого-нибудь из ваших учеников.

Верно, ничего не могу возразить.

— Ну так вот, мы проведем расследование: найдем сообщника этого парижского дурня; вы же со своей стороны доведете до его сведения, что он исключен из техникума, это ведь ваше дело, не так ли? — заключает разговор директор.

Ну вот! Я дал себя обвести вокруг пальца. Моих учеников обвели вокруг пальца. Их журнал, наш журнал, в котором они наконец могли выразить себя, сказать о себе, освободиться от вековой немоты, этот журнал у нас, можно сказать, похитили; сам директор не мог мечтать о такой удаче! Статью написал не кто-нибудь из наших. Нет, это, как и всегда, человек с другого берега. Ничтожный балбес, которому ничто не угрожает в его парижской «студии». Сын фабриканта. Папенькин сынок.

И я, в сущности, человек с того же берега, что и он, я его объективный пособник. Да, пособник; именно я, а вовсе не тот, кого выставят из техникума, кто так и не получит своего диплома техника и, возможно, до конца жизни будет зарабатывать на пятьсот-шестьсот франков меньше бывших однокашников потому только, что мне вздумалось осуществить одну из своих прихотей. Сволочь я. Нечего было создавать журнал. Я обязан был предвидеть все возможные последствия, даже и эту: если я о ней не подумал, если не предусмотрел, что в Париже или еще где-нибудь может существовать гнусное хозяйское отродье, которому взбредет на ум разыгрывать из себя революционера за наш счет, значит, я не пожелал об этом думать. Я поставил на карту чужую жизнь. Это меня следует выгнать из техникума. Завтра я узнаю, кто должен уйти вместо меня; и у меня даже не достанет мужества попросить у него прощения.

Виновный обнаружен. Это толстый щекастый мальчик, который вдруг расплакался, когда я сказал ему перед товарищами, что он вел себя недостойно по отношению ко всем нам; что из-за него сорвалось начинание, на которое мы, в частности я; возлагали большие надежды, из-за него у нас не будет журнала. Я сказал ему, что у него дурные знакомства, что друзей надо заводить в своей среде; что теперь он научится знать свое место; что он позволил провести себя, как простофиля. И поделом ему! Наконец я сказал то, что велел мне сказать директор: он исключается из техникума. И даже добавил, чтобы не создалось впечатление, будто я действую по чужой указке, что полностью одобряю эту меру, пусть она и покажется некоторым чересчур суровой.

И тут мальчик попросил у меня прощения. Остальные молчали и внимательно глядели на меня.

В среду я решил уехать домой, в Париж. Горничная разбудила меня, как всегда, в семь, принесла мой обезкофеиненный кофе, печенье и апельсиновый конфитюр. В который раз я сказал ей, что не люблю апельсиновый конфитюр, пусть даст абрикосовый. Но она могла предложить мне только мед. Я воспользовался этим, чтобы заявить, что уезжаю; она заметила, что сегодня не мой день; я ответил, что могу уехать в любой день, когда пожелаю.

Я спустился вниз, и они дали мне счет за первые две недели месяца плюс ночь со вторника на среду. Я сделал вид, что проверяю его; выписал чек, стараясь писать как можно неразборчивей, так как не был уверен, что у меня на счете есть деньги: я всегда так поступаю в подобных случаях, то есть довольно часто. Не спорю, триста франков, выписанные неразборчиво, ни на су не меньше трехсот франков, даже если мое «ста» похоже на «дцать» и последний ноль загримирован под запятую, точку или черточку. Иной раз я не подписываю чека, а, когда мне указывают на это, ставлю просто закорючку. Как правило, это дает мне двухнедельную отсрочку, пока банк не напишет мне, чтобы я удостоверил свою фальшивку, и еще неделю, в течение которой я позволяю себе оттягивать ответ.

Я сел, как обычно, в свой «фиат-500», но, вместо того чтобы отправиться в техникум, поехал на вокзал. Машину я бросил у входа для пассажиров, на этот раз окончательно. Дверцу оставил приоткрытой, положил ключ, регистрационную карточку оставил на сиденье. Что-то меня кольнуло при этом. Не слишком.

Я вошел в здание вокзала и увидел на табло, что парижский поезд отходит через минуту. Тем лучше! Не останется времени на раздумья, сомнения, сожаления. Я помчался к подземному переходу, показав на контроле удостоверение, которое дает право на скидку, железнодорожник сказал, чтобы я поторапливался — билет куплю в поезде.

Я устроился у окна. Напротив сидел какой-то субъект, углубившийся в свои бумаги, заполненные цифрами, время от времени он отмечал какую-нибудь колонку толстым карандашом, предварительно пососав грифель. В другом углу купе спала, запрокинув голову, улыбаясь счастливой детской улыбкой и похрапывая, молодая женщина, довольно хорошенькая.

Я смотрел, как уплывает за окном сотанвильский вокзал, потом стал ждать прихода контролера, чтобы заплатить за билет. Отсутствие билета меня стесняло; оно делало мой отъезд как бы вдвойне противозаконным. Глупо; нужно только набраться терпения и потом заплатить; но контролер все не приходил.

К тому же этот субъект все отчеркивал и отчеркивал колонки цифр с усердием школьника; а я бездельничал — третья противозаконность. Я попытался уснуть, но не смог. Субъект время от времени выныривал из своих цифр, из толщи жилета, пиджака, пальто, шарфа, в которые были погружены его расчеты, и окидывал, проверял меня взором труженика. Тогда я вытащил из портфеля две или три письменные работы и заставил себя их выправить. Проверив очередную, я тщательно складывал ее вчетверо, точно собирался вложить в конверт, и вставал, чтобы выбросить через щель приоткрытого окна, игравшую роль прорези почтового ящика. Мой маневр привлек внимание субъекта с карандашом, который так и вперился в меня и не мог оторвать глаз, наблюдая с ошарашенным и мучительно встревоженным видом, как я пускаю на ветер плоды своих трудов. Потом, поскольку письменные работы кончились и я, вероятно, слишком уж пристально уставился на его бумаги, он вдруг засуетился и принялся остервенело запихивать все свои досье вперемешку в портфель, потом прижал его к животу и больше не выпускал из рук.

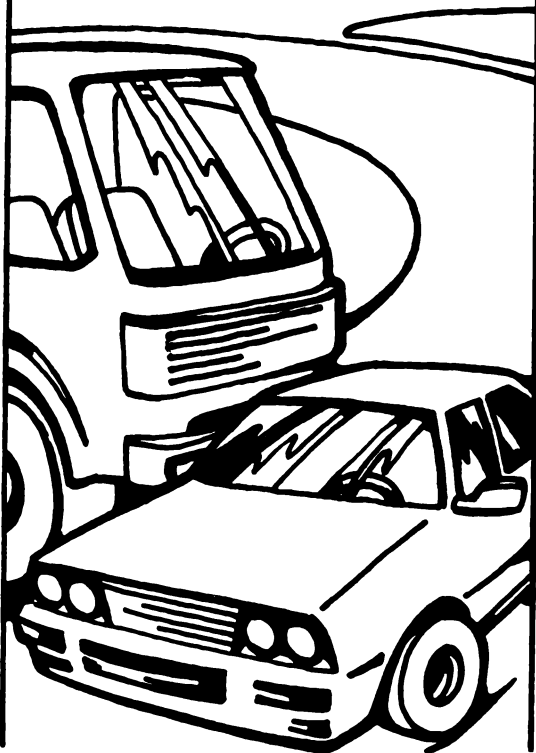
А контролер все не шел! Пока у меня нет билета, мне не удастся по-настоящему покинуть Сотанвиль. Это слишком глупо! Сцена с директором, сцена с мальчиком; и остальные ученики, молча смотревшие на меня. Все это не выходило у меня из головы. Потом на миг ушло куда-то, утонуло в прошлом, и я потерял уверенность, что все это произошло со мной, я был только свидетелем. Но внезапно какая-нибудь

фраза, какой-нибудь жест опять пронзали мою память, и я вздрагивал всем телом. Не раз, не два мне еще придется отнести к себе самому свои собственные слова, слова, безусловно произнесенные мной: «Это научит вас знать свое место», — сказал я мальчику. Ну а мое место, где оно? Не в техникуме, не в Париже, куда я не вправе вернуться. Может, в этом поезде, еще на полчаса; потому что поезд движется, он нигде. Но у меня нет билета.

Женщина перестала храпеть и глядела на меня еще сонным взглядом, неопределенно. Я говорю «неопределенно», потому что это ничего не значит и потому что я никогда не знаю, как истолковать взгляд женщины, когда он останавливается на мне. В иных случаях я проницателен, я люблю смотреть, как глядят женщины на других мужчин — заинтересованно, насмешливо, вопросительно, неодобрительно, якобы неодобрительно: мне кажется, я догадываюсь, что они думают, я с ними в сговоре, я на их стороне против дураков вроде меня. Зато когда на их лице нужно прочесть что-то о себе, я теряюсь. Я думаю, они это чувствуют, и я им забавен. Но иногда мне приходит в голову, что они вдруг вскрикнут от ужаса, станут вопить и корчиться в страхе, обомрут при виде моего лица, точно в нем есть нечто чудовищное, гнусное, похабное.

Так что сейчас я пытался истолковать взгляд молодой женщины, без особого, впрочем, интереса; но это помогало мне не думать о другом — о Сотанвиле, о контролере, который все не шел и не шел...

РАДОСТИ
БЫТИЯ



ПОЛЬ ГИМАР

Поль Гимар (род. в 1921 г.) — один из самых значительных современных французских писателей. Его перу принадлежат романы «Гаврская улица», «Ирония судьбы», книга очерков «Власть моря», две пьесы и несколько рассказов.

В 1957 г. роман Гимара «Гаврская улица» был отмечен премией «Энтералье».

Сюжет повести «Радости бытия», предлагаемой вашему вниманию, стал своеобразным символом хрупкости, незащищенности человеческой жизни. Поэтому неслучайно, что в 1970 году, когда эта повесть была экранизирована, фильм получил высшую во Франции премию Деллюка.

РАДОСТИ БЫТИЯ

*Памяти Лизон,
покойшейся в своей могиле*

Приверженность радостям бытия: это выражение — дань памяти Валери Ларбо, тоже утратившего дар речи чуть более полвека спустя после Бодлера... Язык человеческий отступился от него, ему осталась только фраза, исполненная пронзительной нежности: «прошайте, радости бытия». Этот всеобъемлющий, душераздирающий пароль сделался единственным средством общения парализованного писателя с людьми, удостоенными находиться подле него в течение тех долгих глухих лет, которые ему еще предстояло прожить.

Антуан Блонден. Бодлер.
(Серия «Гении и действительность»)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...и чудится мне, время опять стягивается, и приключение мое целиком умещается в упругую секунду, чудовищно растянутую, но вновь сжимающуюся до такой степени, что она и в самом деле оказывается всего-навсего одной-единственной секундой.

Марсель Эме. Прекрасный лик.

Именно Боб и научил меня охоте на пушных зверьков. Лучшее время для охоты — по первому снегу. Охотились мы вдвоем. Никто лучше Боба не знал нравы маленьких хищников из породы кошачьих и то, как их ловить. Вряд ли я когда-нибудь смогу еще насладиться такими славными утренниками. Боб умел выбрать самое подходящее место для засады, вблизи реки, там, где охотника скрывают высокие, но все же

достаточно редкие деревья, чтобы можно было издали запри- метить дичь. Действовали мы не слишком напористо. Спокой- но пропускали мимо себя одного или двух белых кроликов, недостойных украсить нашу коллекцию трофеев. Мы ждали, когда нападём на след американской выдры или голубого пес- ца. Боб не раз твердил мне, что, если не учитывать незначи- тельные отклонения, поведение пушных зверьков схоже меж собой, у всех у них острые зубки, и все они быстро выпускают свои коготки. Нам, однако, претила вульгарность всякого ро- да оружия и капканов. Мы вели королевскую охоту, голыми руками. Наметив дичь, следовало затем окружать ее не спеша, чтобы не спугнуть, потихоньку направлять ловкими маневра- ми к открытой местности, где она не смогла бы укрыться в норку. Остальное было делом терпения. Об опасности мы и не помышляли, целиком поглощенные буйной радостью охоты. Это должно было плохо кончиться. И это действительно пло- хо кончилось в тот самый зимний день 1939 гола, когда охот- ничий сезон, казалось, был таким великолепным. Мы спрята- лись в засаде на своем излюбленном месте, за Пале-де-Глас. Морозное солнце с трудом прорывало пелену утреннего тумана. Мы без особого пыла взяли след оцелота. Но, как это час- тенько бывает, хотя мех зверька и был роскошным, движен- иям не хватало юной грации. Внезапно Боб увидел — уж на этот счет глаз у него был наметанный — очаровательного белька, двигавшегося нам навстречу по Аллее Королевы. Не стовариваясь, поскольку тактика у нас была хорошо отрабо- тана, мы прибегли к испытанным приемам загона дичи, кото- рые позволяли нам, сделав ловкий контрмарш, оказаться на нужной дистанции от своей добычи. Зверушка попалась не из пугливых. У нее были очень светлые белокурые волосы и тон- кое личико городской хищницы. Когда она улыбнулась, раз- гадав наш маневр, я заметил мелкие острые зубки, и мне стало страшно. Я оказался прав. В тот же вечер Боб повесил шкурку белька на вешалку в своей комнате, а потом позволил со- жрать себя этому белокурому хищному лакомке, который не- сколько месяцев не покидал нашей берлоги. Охотничий сезон был закрыт, охотник сам угодил в капкан.

В ту пору нам обоим вместе было сорок лет. Сейчас мне од- ному уже за сорок. Какой пройден путь и как все изменилось!

Всякий раз, проезжая через Ле-Ман, я вспоминаю Боба, на- вечно сосланного американской бомбой, через несколько лет после нашей последней охоты, на это грустное и чистенькое кладбище. Ему нечего было делать в Ле-Мане в тот день, он оказался там проездом. Бомбе тоже нечего было делать в Ле-

Мане в тот день. Она упала случайно. Всего одна бомба, одна-единственная. Летчик наверняка забыл ее в бомбовом отсеке. Возвращаясь на базу и обнаружив свою небрежность, он побоялся прослыть нерадивым пилотом. Потом все уши прожужжат: «Не положено возвращаться с бомбами на базу». Он тайком, коварно избежал от бомбы, сбросив ее наудачу. К великому несчастью Боба, как раз оказавшегося в том месте. Я уже никогда не узнаю, почему он очутился в Ле-Мане, правда, в этой сумятице, среди хаоса войны, люди без особых причин приезжали и уезжали. Бомба упала в нескольких метрах от Боба, которому рукой было подать до кладбища, где он окончательно обратился в прах, лежа между фабрикантом тушенки и старшим мастером табачной фабрики.

А я тем временем играл в солдатики в маки Бретани, и тот сволочный пилот рикошетом попал и в меня, отняв у меня Боба. Двойное попадание! Когда первый острый приступ горя прошел, потому что все на свете проходит, я, чтобы не остаться увечным, пытался приживить себе новых друзей. И мне нередко казалось, что операция прошла успешно, но спустя более или менее продолжительное время ткань отторгалась и я снова превращался в калеку. Я поступаю как и другие люди — пользуюсь протезами дружбы, дающими иллюзию подлинности.

И сегодня еще, двадцать лет спустя, мне неприятно проезжать через Ле-Ман. К тому же теряешь бездну времени из-за красных огней светофоров.

Я слишком много курю. Одиннадцать часов... Если не наткнусь на караван трейлеров, я, как и предполагал, прибуду в Ренн к обеду. Когда перевалишь рубеж определенного возраста, воспоминания отяжеляют сердце. Если слишком пристально вглядываться в свое прошлое, начинаешь испытывать к себе подозрительную снисходительность. Элен упрекает меня в приукрашивании — она называет это «наложением грима» — своей юности. Элен — человек весьма трезвый, может даже чересчур трезвый, когда дело касается некоторых вещей. Культ юношеских лет ее раздражает. Она заявляет, что мифологизация юности ведет к старческому слабоумию. Я отказался от попыток объяснить ей... Впрочем, никому ничего нельзя объяснить. Просто оправдываешься с большей или меньшей убежденностью. И уж тем более ничего нельзя объяснить Элен. Чужие слова для нее всего лишь неясный шум, она стремится не столько понять другого, сколько добиться полного совпадения внешнего мира с собственными представлениями. Любой собеседник для нее потенциальный обвиняемый. Многие годы уже, дорогая Элен, я выступаю в роли защитника, но ты

никогда ни выносишь оправдательного приговора, ни мне, ни другим. Ты даешь отсрочку за недоказанностью вины. Судебный процесс, начатый тобой против других, не кончается. Я просто чуть меньше «другой», чем все другие, привилегированный обвиняемый, вызывающий снисхождение.

Приемник мой лучше работает в сырую погоду. Я сказал Мортрё, что буду у него раньше часа дня. Сто шестьдесят километров за два часа, спешить незачем. Мне нравится Франсуаза Арди, ее глуховатый голос, манера держаться, как у травести, играющей пажу, «длинные ноги олененка». И это упрямое движение головы в такт биению сердец ее паяцев, которые любят или уже не любят друг друга, плачут, обнимаются, уезжают, возвращаются. Она не похожа на всех этих распустех, вопящих истошными голосами о пылких чувствах.

Приемник лучше работает в дождливую погоду. Сырость облегчает устранение помех, вызванных статическим электричеством. Я вспоминаю об Орелии, чуточку из-за Франсуазы Арди, но главное, потому, что дождь намочил недавно скошенную траву. Ливень быстро кончился, уже проясняется. Над лугами по обе стороны дороги поднимается пар. Запахи, если это не просто ароматы, проникают в самые потайные уголки памяти. Они возвращают воспоминаниям свежесть новизны. Я все позабыл о своих первых школьных годах, и цвет стен в классе, и где стоял учительский стол, и какой там был пол, почти все позабыл, кроме запаха мела от тряпки, которой стирали с черной классной доски. И еле неповторимый затхлый запах моего промокшего картонного пенала! Я вспоминаю Орелию. На пастбище лежало скошенное сентябрьское сено. Колокольчики, росшие, как и сегодня, по краям оврагов, отзывались конец каникулам. И вот нависавшую тучу прорвало. Теплый стремительный ливень загнал нас в полуразвалившуюся овчарню. Выглянуло солнце, и от земли стал подниматься тот самый живительный запах. Со скоростью 150 км в час я пересекаю обширные пространства воспоминаний. У каждого свое заветное! Эта мокрая трава вызывает в памяти образ Орелии тех последних дней каникул, с ее улыбкой китайчонка и бледными веснушками. Окрестные поля и леса вступали в осеннюю пору, это было уже заметно. А мы входили в пору нашей юности, хотя сами о том не ведали.

Согласен, Элен, все это кажется таким банальным, когда взираешь с горной высоты своих сорока лет, удобно устроившись на сиденье-лодочке спортивного автомобиля.

Орелия спросила:

— Ты когда уезжаешь?

Ритм школьной жизни навязывает детям расставания, которых не выдержали бы взрослые. Все летние каникулы проводишь в неразрывной братской близости. А потом каждый возвращается к себе — в Париж, Орлеан или Нант, и весь оставшийся год довольствуешься жалкими писульками, которые начинаются со слов «привет, старина» и сумбурно рассказывают о главных или незначительных событиях жизни, своеобразно перескакивая с одного на другое: «...мне хотелось бы, чтобы ты познакомилась с моим приятелем Эрве... учитель географии просто скотина... вчера шел снег, это потрясающе... родители купили мне брюки-гольф в клетку... я научился плавать кролем... снова на меня Софи наябедничала... если я получу похвальный лист, папа обещает купить мне велосипед... я тайком прочел «Фантомаса», если смогу, перешлю его тебе... на следующей неделе напишу тебе обо всем поподробнее... родители ужасно нервничают из-за налогов... твоя карта Осгора сделана потрясающе... у нас один мальчик умер от тифа... а у меня растет грудь... мне не терпится поскорей оказаться в Лабаре... до чего же надоела математика... немало же времени тебе потребовалось, чтобы ответить мне... я видела такой страшный фильм... в конце-то концов, Эрве не настоящий друг...»

Каким-то чудом июль снова и снова сводил нас, Орелию и меня, так что даже огромный перерыв в целый учебный год не рождал между нами ни малейшего отчуждения и ничуть не менялись те простые бесхитростные чувства, которые мы испытывали друг к другу с раннего детства. И от одних каникул к другим мы все больше сближались, нам было приятно ощущать свое товарищество, погружаться в удивительное состояние невесомости, которое уже невозможно вернуть, переступив определенный порог, приятно было чувствовать себя в некоем сообществе, особенно прочном, оттого что покоится оно на неосознанном сговоре. Три месяца вместе, девять месяцев врозь — какой слепой садизм обрекает детей на подобные разлуки?

— Ты когда уезжаешь?

Клетчатое хлопчатобумажное платице на ней совсем промокло. Влажные пряди волос падают на худенькие плечики.

— Почему ты на меня так смотришь? Чего это ты?

До этого мгновения, до этого вопроса я был просто обычный верзила без всяких проблем. Почему я на нее так смотрю? Чего это я?

— Да ничего. С чего ты взяла, что я на тебя смотрю? Вот кретинка...

И мы, как всегда, подрались, просто для смеха, чтобы согреться. Но мне что-то совсем не хотелось смеяться. И ей тоже.

Я так неловко обхватил ее, что она легко могла бы вырваться. Мы боролись все более вяло, почему-то стараясь не отрывать друг от друга. Наконец мы совсем замерли. С другими девчонками, сестрами моих приятелей, я умел запросто обменяться поцелуем, задрать юбчонку. Но Орелия не была обычной девчонкой. Она была моим братом, моим лейтенантом во время наших набегов на сады и огороды, моим товарищем в разных проделках, но не девчонкой, главное, не девчонкой.

И вот теперь весь наш мир рушился из-за этого смятения, сковавшего нас, лежащих в обнимку на утрамбованной земле овчарни, молчаливых, вдыхающих запахи позднего сенокоса, которые сейчас, через столько лет, настигли меня на этой блестящей от дождя дороге. Мы сотни раз именно так и заканчивали свои сражения, сжимая друг друга в объятиях. И всегда поднимались на ноги, но на душе не оставалось ни малейшей царапины. Никогда еще наши тела не сплетались так надолго. Физическое наслаждение от борьбы покинуло нас, на смену ему пришло что-то грозное, подавлявшее нас. Орелия не смотрела на меня.

— Дурак. Ненавижу тебя.

Но она не сделала ни малейшей попытки высвободиться. Нами овладела какая-то непонятная слабость. А сердце оглушительно бухало в ушах! Вероятно, меня била дрожь. И я знаю, что дрожал я не от страха или холода, но от изумления. Чтобы разрушить эти опасные чары, требовалось мужество, на худой конец хоть немного сноровки, этому мы научились позднее в комнатухе Латинского квартала, где вместе продолжали свои занятия правом, создавая свой собственный мир... Этот запах мокрой травы, согретой солнцем, с неотвратимостью возвращает меня к тому двусмысленному мгновению, когда, предав наше детство, мы продолжали лежать, сплетая тела, не смея пошевелиться. Из-за хаоса неясных чувств выплыло одно: стыд. А может быть, негодование. Мы только что совершили подмену, нарушили некий договор. И ничего тут не могли поделать, разве что отказаться участвовать в этом превращении, потрясшем нас. Не мораль, не стыдливость заставили нас окаменеть в позе скульптурного надгробия. Эра взаимных изучений и исследований была давно пройдена. От меня Орелия узнала об этих странных крантиках, которыми снабжены мальчики, а наши запретные купания в пруду в Ла-Баре просветили меня относительно видимой стороны таинственной женской природы. Но любопытство наше не шло дальше шуточных выходов. Ничто не подготовило нас к тому страшному и притягивающему, что соединило наши тела. Мы не совершали ничего за-

претного, но мы были виновны. С нашей невинностью было покончено раз и навсегда. В глубине души мы чувствовали себя очень несчастными.

Я знаю, с воспоминаниями так же, как с огнями,— они сверкают особенно ярко, когда отдалены от нас. На большом расстоянии звезду не отличишь от электрической лампочки. Однако я уверен, что эти минуты двусмысленной близости, проведенные в овчарне, по-прежнему значат в моей жизни больше, чем я сумел бы выразить. Мы с Орелией никогда не вспоминали о них, даже ради того, чтобы пошутить. Несомненный признак того, что мы догадывались о всей их важности и непрочности. Не сомневаюсь, что и она порой вспоминает об этом в объятиях своего молодого генерала — слишком молодого для генерала,— который лихо, по-гусарски похитил ее у меня.

По правде сказать, я не вспомнил бы об Орелии, если бы не неотвязный запах скошенной травы. Кажется, она вполне счастлива со своим воякой.

Передают новости... Значит, я выиграл целых пять минут. Значит, я прибуду к Мортрё вовремя. И он в который уж раз разыграет передо мной скромного провинциального адвоката, принимающего парижскую знаменитость. Его жена закатит настоящий пир, как в день первого причастия. «Давай, старина, пообедаем чем бог послал». Поскольку он совсем не дурак, он даст мне понять, что знает дело лучше меня... «Попробуй-ка этот арманьяк, да нет, уверяю тебя, у нас еще есть время, председатель суда Машен обещал мне, что назначит слушание дела не раньше 16 часов...» Люсьена Мортрё была бы красивой женщиной, если бы ей прибавить килограммов пять и убавить двоих детей.

«Мы можем сообщить кое-какие подробности по поводу самоубийства продюсера Робера Алана...» Со вчерашнего дня весь Париж только об этом и говорит. Некоторые покойники пользуются бешеным успехом. Меня в качестве его привычного противника начнут интервьюировать. Когда в первый раз мне поручили вести против него тяжбу, это было... Это было давно. Я предъявил ему гражданский иск в связи с нелепой историей совместного производства. Дорого же я ему обошелся. Вечером после суда он пригласил меня пообедать в Вефуре. Чтобы сказать, что восхищается мною. Это не было с его стороны ни позой, ни провокацией. В силу обстоятельств мне известно было его положение и истинное состояние его дел. Я держал пари, что он не выкарабкается. Он засмеялся.

— Из чего не выкарабкаюсь? Игра не кончена, пока не брошена последняя карта. Наполеон никогда еще не был так бли-

зок к тому, чтобы стать властелином всей Европы, как в утро битвы при Ватерлоо. От банкротства к банкротству я поднимусь до самого верха башен собора Парижской богородицы, откуда открывается великолепный вид на Серебряную башню.

Я сдержался и не ответил, что в этой игре парящий орел довольно скоро начинает смахивать на петляющую лисицу. Такая беззаботность игрока, ведущего крупную игру, казалась мне довольно привлекательной. За внешней оболочкой комедианта-гастролера угадывалась яростная жажда человеческого тепла.

— Если бы это было возможно, я пригласил бы вас в качестве адвоката. Но не будем об этом. Оставайтесь моим любимым противником, но знайте: никогда я не стану считать серьезным провалом потерю чужих миллионов и своей собственной рубашки. Если в один прекрасный день я рухну, то причины тому будут весьма серьезные.

Я не удержался и спросил, какие именно. Он улыбнулся. Не той знаменитой «неотразимой» улыбкой, с которой он убеждал международных воротил вкладывать целые состояния в съемки фильма «Али-Баба против Клеопатры», нет, едва приметной, стыдливой, словно бы извиняющейся улыбкой.

— Знаете, дорогой мой, центр тяжести у людей легкомысленных совершенно непредсказуем.

«Робер Алан, которому приходилось бороться с многочисленными финансовыми трудностями, пустил себе пулю в сердце перед дверью начинающей киноактрисы, которая решила с ним расстаться. Полагают, что...»

Итак, сердце оказалось центром тяжести этого канатного плясуна. Столько объятий было открыто ему и столько постелей ждало его без всяких проблем! Лишь для того, чтобы все закончилось у закрытой двери какой-то девицы, о которой каждый спросит: «Что же в ней было такого, чего не было в других?» Да, конечно же, ничего, разве что только она и только для него олицетворяла в этом пустынном мире единственное, невыносимое поражение. То был своего рода способ спасти свою душу. Когда я вернусь, мне следует быть готовым к яростным препирательствам с Элен, которая, твердо стоя обеими ногами на нашей грешной земле, упростит донельзя причины этого самоубийства. Бедняге Алану придется испытать весьма скверные посмертные четверть часа. Меня не слишком-то волнуют всякие там юноши, «кончающие счета с жизнью». Они не из моей команды. Но поступок человека моего возраста, избравшего не запасной путь, а окончательный уход, завораживает меня больше, чем я мог бы предположить.

‘Я знаю людей, решившихся на самоубийство, но смерть пощадила их. Они кажутся мне навсегда отмеченными невидимой печатью. Мне хочется, чтобы хоть у одного из них нашлось мужество или просто возможность поведать мне, пусть немного, о своем душевном состоянии в тот миг, когда он решился на это. Человек в самом деле делает выбор, или это только следствие неизлечимой усталости? Принимает ли он совершенно сознательно решение умереть, или достаточно смириться с мыслью об этом? Несомненно, осознание реальной действительности поднимается над будничными обстоятельствами. Когда душа свыкается с умопомрачительным и манящим постижением небытия, остается только уничтожить телесную оболочку. Но бросает ли человек хотя бы мысленно в последнее мгновение взгляд на себя в зеркало? Отступает ли хоть на шаг, чтобы сказать самому себе «прости»? У всех неудавшихся самоубийц существует некая мертвая зона. Воскрешения целиком не происходит. По ту сторону рокового предела оставляют частицу самого себя, но какую? Алан не промахнулся. Такая смерть подходит ему куда больше, чем какой-нибудь рак легких. Я слишком много курю. Я всегда слишком много курю в машине. Председатель суда не любит, когда ему кашляют в лицо. Мортрё обязательно найдет случай сказать, прежде чем мы кончим закусывать: «Знаешь, старик, десять лет назад, проснувшись в одно прекрасное утро, я сказал себе: да ты, приятель, просто на ладан дышишь, до чего же ты надсадно кашляешь; и стоп! я решил сразу же бросить». — «Тебе здорово помогли фисташки»,— скажет Люсьена Мортрё. «Верно, фисташки помогли, но это прежде всего вопрос силы воли. Ты можешь положить сейчас под самым моим носом пачку сигарет, мне от этого ни жарко, ни холодно, да хоть сигары положи...» — «А ведь Поль обожал сигары,— скажет Люсьена Мортрё,— правда, Поль, ты обожал сигары...»

И они с гордостью посмотрят друг на друга, как два боевых соратника. Если мне покажется, что разговор может оборваться, я тут же вмешаюсь: «Да бросить курить легче легкого, я уже раз двадцать бросал». Они посмеются этой примитивной, как понюшка табака, шутке, потому что привыкли считать меня «сумасбродом».

«Нет, серьезно,— скажет Мортрё,— это вопрос воли».

Его любимое словечко. Жизнь Мортрё состоит из терпеливой тренировки воли на мелочах, так что у него почти не остается времени, чтобы выработать характер.

Будь у меня хоть немножко мужества, я бы вернулся в Париж этим же вечером. Слушанье дела кончится часам к пяти-

шести. Но я не вернусь в Париж сегодня вечером. Буду цепляться за любой предлог, лишь бы дотянуть до той минуты, когда кто-нибудь скажет: «Поздновато уже возвращаться сегодня в Париж». Я с некоторым сомнением взгляну на часы и в конце концов приду к заключению, что и в самом деле поздновато. Позвоню Элен, которая, прекрасно зная о моей склонности вырываться из привычной обстановки, по-матерински посоветует провести ночь в Ренне, убежденная в том, что я просто хочу отдаться порочной страсти к одиноким ночным прогулкам. Я и правда обожаю оказаться один в каком-нибудь чужом городе, неважно, Ренн это или Калькутта, единственно ради удовольствия — и даже чего-то более сильного, чем простое удовольствие, — сознавать, что это не вызвано какой-либо необходимостью, что я нахожусь во власти случая, что на каждом шагу может возникнуть непредвиденное, не приключение, а именно непредвиденное, то, *чего не предвидишь*, такая восхитительная открытость ко всему, которую повседневная жизнь держит на голодном пайке. Но в этот вечер во мне не будет той открытости, подозреваю даже, что, посмотрев какой-нибудь вестерн, съев свинину с кислой капустой, взяв в руки романчик «Черной серии» и приняв снотворное, я позволю себе подумать, что, в конечном счете, лучше было бы вернуться в Париж. Я лицемерно приписываю воздействию луны банальную потребность немного побыть одному. По правде говоря, я скорее нерешителен, чем лицемерен. Я скорее раздираем противоречиями между двумя возможностями, чем нерешителен. Я не могу покинуть Элен, не рухнув в пустоту, которую образует ее отсутствие, и в то же время я порой с трудом переношу неровность ее характера, вечное сознание своей непогрешимости, все это изнуряет, а мелкие оскорбления оставляют рубцы на сердце. Мне надо объясниться с ней. Но я все не решаюсь — из малодушия, из-за нежности к ней, потому что при всей внешней резкости и жесткости она в глубине души невероятно хрупка и уязвима и от огорчения ее фиалковые глаза словно бы выцветают, а этого я не в силах перенести.

Классический случай и уж тем более неразрешимый. Если бы в этих личных уравнениях имелось лишь два неизвестных, все расчеты были бы, конечно, гораздо проще. Хотелось бы мне, чтобы, как у животных, инстинкт определял мои потребности, все стало бы тогда очевидным и легким, не пришлось бы балансировать между нетерпением удовлетворить сиюминутные желания и неясным поиском истинных потребностей.

С удовольствием выпил бы стаканчик пива. У Мортрё пива не подадут. А в бистро до самого Ренна смогут предложить

лишь охлажденную конскую мочу. В то время как в самом худалом барё в Остенде или в Лондоне вам нацедят кружку свежайшего пива. Когда в будущем месяце я отправлюсь вести процесс в Лондон... Я разлюбил свою профессию, просто терплю ее. Кстати, все производные от слова «адвокат» какие-то уничижительные: адвокатишка, адвокатик и тому подобное. А вот Элен я люблю, но тоже терплю ее. Однако же я сам выбрал и Элен, и свою профессию. Выбирать — выражение несколько поспешное. Выбирать себе жизнь — звучит так, словно выбирать себе машину, но, в конце концов, по существу это одно и то же, выбор касается лишь деталей.

Мрачное наслаждение — хлеб насущный бессонницы и дорожного одиночества. На руках у меня темные пятнышки, которые скоро перестанут принимать за веснушки. А что, если вернуться в Париж сегодня же вечером?

Я слишком много курю.

Страшно хочется стаканчик пива.

Вот сволочь...

«МГ 1100» на скорости 140 км в час приближается к главному повороту у того места, которое именуется Провидением. Рельеф дороги допускает подобную скорость. Разметка на повороте была обычная, видимость хорошая. Желтый пунктир, разрешающий трехрядное движение, при входе в поворот сливается в одну сплошную осевую, запрещающую обгон. «МГ» предстоит на большой скорости пройти правый поворот. Для этого водителю надо будет только держаться ближе к обочине, слегка срезая траекторию, если он вдруг почувствует, что слишком сильна инерция, выталкивающая машину влево, на встречную полосу. После ливня земля была еще влажной и кое-где в выбоинах на дороге образовались лужи. Но нигде никаких знаков, предупреждающих об опасности заноса. Покрытие на этом участке автострады № 13 не повреждено. Водитель хотел было закурить сигарету, но передумал, чтобы держать руль обеими руками. Радио передает старую песню Шарля Трене «Вновь увидеть Париж». Снова выглядывает солнце и освещает окружающий пейзаж, в котором уже преобладают рыжие тона. Автострада и в ту и в другую сторону кажется пустынной. Но на самом деле на другом конце дуги едущий из Сен-Бриека грузовик со свежей рыбой тоже приближается к повороту Провидение, хотя водитель «МГ» его еще не может видеть. Он снова принимается насвистывать припев песенки «Вновь увидеть Париж». Это сорокапятiletний мужчина, о котором пока не говорят, что он «еще» выглядит молодо. Его лицо, сохраняющее

золотистый загар отпускных дней, лишено всякой слащавости. На лбу чуть выступает клинышек темных, коротко стриженных, уже редющих волос. Четкая прямая линия рта. Морщинки, расходящиеся в уголках глаз,— свидетельство скорее улыбок, чем раздумий. Тело удобно вписывается в пространство кабины, настороженное и в то же время раскованное благодаря той беспечности, которую создает многолетняя привычка к одним и тем же жестам... Руки, уверенно лежащие на руле, откликаясь на импульсы, автоматически удерживают машину на почти идеальной кривой. «Вновь увидеть Париж... небольшой ла-ла-ла-ла-ла...» Водитель улыбается, оттого что поет фальшиво. Улыбка застывает на его губах. Ветер, дующий в «ветровик», приносит с собой подозрительную теплынь отдаленной грозы. От влажной листвы веет свежестью. При такой скорости каких-то двести метров поворота проскочишь в мгновение ока. Водитель не успевает стереть с лица улыбку и шепчет:

— Вот сволочь!

На последней трети поворота автостраду № 13 пересекает второстепенная дорога. Знак «СТОП» предписывает водителям остановиться перед опасным перекрестком. Фургончик для скота с грузом свиней тормозит перед автострадой. Слева от него «МГ», который мчится очень быстро, но находится еще далеко. Справа — подъезжающий с противоположной стороны грузовик со свежей рыбой, он ближе, но он тяжело тащит свои двадцать тонн, преодолев на второй скорости семиградусный подъем. Шофер фургона решает, что у него хватит времени проскочить через автостраду. Он включает первую передачу и трогается с места. Именно в эту минуту водитель «МГ» и сказал:

— Вот сволочь!

Механизм мозга зафиксировал и сделал вывод почти без промедления. Ничего драматичного в исходных данных. Фургон *почти что* успевает пересечь автостраду. Он находится более чем в ста метрах от «МГ», но при скорости 140 км в час «МГ» приближается к нему с каждой секундой приблизительно на сорок метров. Дистанция безопасности уменьшилась, и «почти что» становится сомнительным. Тем не менее водитель «МГ» знает, что нет особой необходимости тормозить. Достаточно снять ногу с акселератора, и уменьшающаяся сама собой скорость снизит риск слишком близкого пересечения. В мозгу бессознательно уже зафиксировалась цепь последовательных действий: сбросить скорость до 100 или 110, нагнав фургон, перейти на третью передачу, дать несколько резких сигналов, похожих на ругательства... Вот и все. Он снял ногу с акселератора.

Как раз в это мгновение шофер фургона осознал свою неосторожность. Точнее, подверг переоценке определение расстояния и времени, смешанное ранее. Размышляет он по обыкновению медленно и тупо. Необходимость быстро отреагировать заставляет его мысль метаться в двух противоположных направлениях, на грани паники. Сначала он решает остановиться, потом сознает явную глупость такого намерения и жмет на акселератор, чтобы побыстрее освободить автостраду. И как логическое следствие этого — тяжело груженный фургон дергается, готовясь к прыжку, и мотор глохнет.

Шофер грузовика со свежим уловом рыбы, увидев, что фургон ~~намертво~~ застревает на самой середине автострады, оставив свободной полосу, по которой катит грузовик, полагает вначале, что водитель фургона, уважая преимущественное право проезда, освобождает ему путь, чтобы потом свернуть вслед за ним. Но почти одновременно, сверху, с высоты своей кабины, он замечает «МГ», который мчится навстречу препятствию в виде фургона и для которого вся правая полоса автострады оказывается перегороженной. Инстинкт приказывает шоферу грузовика затормозить, чтобы дать легковой машине возможность выехать на встречную полосу и объехать фургон, а потом снова вернуться в правый ряд. Шофер резко тормозит, но инерция двадцати тонн не позволяет быстро замедлить ход. Он жмет на клаксон, чтобы предупредить остальных об опасности, которую они, кажется, не осознают.

Застрав со своим фургоном посередине шоссе, свиноторговец грубо выругался. Приближавшийся справа грузовик не слишком его беспокоил, поскольку и тому оставалось достаточно места, чтобы проехать. Но вот легковушка... Он лихорадочно крутанул стартер. Мотор захлебнулся, чихнул раз, другой, потом затарахтел. Но все равно слишком поздно. Он уже не сможет освободить дорогу, *не успеет* проскочить перед грузовиком. Безумный страх пригвоздил его к рулю, парализовал, душа и тело замерли в ожидании.

Все это произошло в считанные мгновения. Прошло около двух секунд, как водитель «МГ» стал сбрасывать скорость, и тут перед ним застрял фургон. Инстинктивно он передвинул правую ногу, которую убрал с акселератора, к тормозной педали. Осознание непосредственной опасности обгоняет физическую реакцию. В какую-то незначительную долю секунды все исходные данные четко выстроились в уме. Машина движется еще слишком быстро — скорость 120 или 130 км в час — и находится всего в каких-нибудь шестидесяти метрах от препятствия. Водитель резко жмет на тормоз, но успеху этого ма-

невра препятствуют два обстоятельства. С одной стороны, «МГ» движется не по прямой, поскольку он уже вошел в поворот. С другой стороны, как это нередко бывает у машин с передним приводом, покрышки изношены неравномерно. Правое колесо тормозит чуть сильнее левого и, учитывая резкость торможения, тянет в ту же сторону что и сила инерции, увлекающая машину на внешний край обочины. «МГ» начинает сильно заносить, и это может кончиться тем, что машина перевернется, если водитель не вывернет в десятые доли секунды. Условный рефлекс срабатывает неплохо. Водитель выравнивает машину в десятую долю секунды. Машина снова движется по прямой, но она заметно отклонилась от профиля виража и теперь идет почти у желтой разделительной полосы, которая отмечает середину шоссе. При первом же признаке заноса водитель отпустил педаль тормоза и слегка нажал на акселератор, чтобы вернуть машине устойчивость, потом, когда это удалось, он снова жмет на тормоз до отказа, подстраховывая рулем от следующего заноса. Скорость падает до ста километров, но фургон теперь менее чем в сорока метрах. За сорок метров при такой скорости на еще мокром асфальте машину не остановишь.

Все это мозг водителя анализирует, рассчитывает и немедленно претворяет в действия. Психический строй некоторых людей таков, что адреналин, выделяющийся под воздействием страха, поступает в нервные центры со значительным опозданием по сравнению с восприятием события, которое его вызвало. Этот самый разрыв и есть то, что принято называть хладнокровием. Герои переживают потрясение *после* действия. Водитель объективно оценил исходные данные задачи, не испытывая смятения перед лицом воображаемых последствий. Чрезвычайные обстоятельства не только не ослабили всякими посторонними соображениями его способности, но, наоборот, обострили их. Обычные параметры времени словно бы растягиваются. Чтобы установить и определить эту сложную совокупность элементов, в нормальной обстановке ему потребовалось бы куда больше времени. А тут наоборот — все запечатлевается в сознании мгновенно. Он замечает даже множество несущественных деталей, словно бы остававшиеся ему мгновения не были трагически отсчитаны, чтобы предотвратить гибельную ситуацию. Подобно объективу фотоаппарата, сразу схватывающему весь пейзаж целиком в 1/200 долю секунды (и навечно), водитель фиксирует множество картин, попадающих в поле его зрения. Он отмечает, например, что фургон, выкрашенный в зеленый цвет, забрызган грязью, что перед дверью

стоящей справа в поле фермы вьются кусты роз, что там, дальше, на лугу, катается по траве жеребенок, что облако в небе похоже на подводную лодку, что на опушке рощицы бегают какой-то малыш. Все это проносится перед его глазами и в мозгу с бешеной скоростью.

Первая вероятность: машина не затормозит перед фургоном. Рассудок подсказывает ему: надо пересечь желтую осевую и выйти на встречную полосу, чтобы объехать препятствие. Он перестает тормозить и берет влево. Он уже начинает обходное движение, когда слышит клаксон грузовика с рыбой. И по мере того как он выполняет свой маневр, поворот, который до этого был загорожен фургоном, открывается ему целиком, и он видит тяжелый грузовик,двигающийся ему навстречу.

Другая вероятность: машина не затормозит перед фургоном, но, может быть, он успеет объехать его слева, потом перестроиться вправо, чтобы освободить дорогу грузовику. Грузовик явно тормозит изо всех сил, чтобы облегчить ему этот маневр. И все-таки, несмотря ни на что, грузовик приближается еще слишком быстро. Кроме того, «МГ» ведь тоже тормозил. При 140 км «ворота» оставались открытыми. А теперь уже слишком поздно.

Две вероятности: «МГ» не затормозит перед фургоном свиноторговца и не проедет перед грузовиком. «Ворота» захлопываются, тупик.

Только двадцать метров... десять метров... Цепочка психических импульсов водителя работает со скоростью света. Между неподвижным препятствием и опасностью, движущейся навстречу, следует избрать связанный с первым риск как наименьший. Тем более что существует, возможно, третье решение: вызвать торможением контролируемый занос вправо и, чем черт не шутит, попытаться направить машину на второстепенную дорогу, ту, откуда появился фургон для скота.

Резкое торможение, колеса заносит вправо. При скорости 90 км в час задние колеса «МГ» буксуют. На сухом шоссе машина наверняка перевернулась бы, но влажный асфальт позволяет ей держаться на всех четырех колесах, она скользит, наискосок, к фургону. Еще немного — и она бы прошла. Передняя часть корпуса минует препятствие, но задняя часть получает скользящий удар. Удар даже не очень сильный. Водитель «МГ» видит перед собой на мгновение красное, потрясенное, застывшее лицо шофера фургона.

Слишком это глупо. Я ведь в своем праве. Еду быстро, но по шоссе, по которому можно ехать быстро. Еще минуту назад, даже меньше минуты, никто не стал бы утверждать, что я

ехал слишком быстро. Вот так и происходят аварии по вине какого-нибудь олуха, который не умеет водить машину. Удивляются большому числу смертных случаев на дорогах, и вот вам пожалуйста — некий свиноторговец преспокойно останавливается прямо посреди автострады! Дорого бы я дал, чтобы понять, что происходит у него в башке. То ли он пьян — но все-таки не в одиннадцать же часов утра! — то ли чокнутый. Нет, люди непостижимы. Мне надо было бы сбросить скорость перед поворотом... Но если больше уже нельзя довериться праву преимущественного проезда, тогда лучше совсем отказаться от машины. А тот, другой, на грузовике, сигналил, словно я его не вижу. Лучше бы притормозил, чем гудеть. Да и он тоже не мог этого предвидеть. Я спрашиваю себя: ну кто бы мог вообразить, что какой-то свиноторговец застрянет вот так, поперек шоссе. Если обо всем этом думать, дня не хватило бы, чтобы доехать от Парижа до Ренна. Не притормози я, может, мне и удалось бы проскочить перед грузовиком. С другой стороны, затормози я раньше, я остановил бы машину! Я совершенно в своем праве, но я попал в западню. Я как раз еду чуточку быстрее, фургон как раз застревает чуточку поперек дороги, грузовик оказывается как раз чуточку слишком близко, шоссе чуточку слишком узко. Проклятие! Лишь одна вероятность на миллион, что все так скверно сойдется, но не на миллиард, и это неизменно обрушивается именно на того, кому не в чем себя упрекнуть, кто едет, правда, быстро, согласен, но не превышая дозволенной скорости. Найдется суд, который решит, что все несут равную ответственность, мол, каждый в любых обстоятельствах должен оставаться хозяином своей машины. Закон ни черта не стоит. Разве можно быть хозяином непредвиденного? Я знаю, все можно оспорить. Вот это-то и начинает меня угнетать в моей профессии. Веди я защиту этого свиноторговца, уж я бы нашел нужные аргументы. Аргументы всегда находишь. В конце концов диалектика начинает утомлять.

Несомненно, есть какой-то выход. Если бы заложить исходные данные этой задачи в электронно-вычислительную машину, она бы ее решила. Несомненно! А я вот колеблюсь, поскольку все это происходит слишком для меня стремительно. Пространство и время взаимодействуя, меняются в бешеном темпе. Будь у меня, время спокойно обдумать... Кто способен сделать разумный выбор в подобных обстоятельствах? И все-таки я должен решать, иначе... Этот свиноторговец на вид настоящий болван... Жилы на шее набухли как канаты, глаза вытаращены, рот разинут... Вот смеху-то будет, небось норма ал-

коголя у него в крови подлетела выше всяких норм! Он просто подыхает со страху.

Да и на меня вдруг накатило...

От удара о заднюю часть фургона «МГ» развернулась на 180°, потеряв таким образом всякую возможность выбраться на боковую дорогу. Скорость упала до 80—70 км в час. Машину занесло на правую обочину автострады. От удара чуть смяло левое заднее колесо, но машина катит сейчас по скошенной мокрой траве и шины почти не касаются земли. Шофер грузовика, который как раз в это время проезжает мимо обеих машин, решает, что все обошлось, и устремляет взгляд вперед, на дорогу, нисколько не заботясь больше о том, что происходит позади него.

Захлестнувший его страх ослабил рефлексy водителя «МГ», и он запаздывает крутануть руль влево, чтобы вновь вывести машину на шоссе. На обочине, перпендикулярно к шоссе, через равные промежутки прорыты канавки, предназначенные для стока вод во время дождя. «МГ» преодолевает первую канавку без особых неприятностей, однако затем машина подпрыгивает, и водитель теряет равновесие. Он инстинктивно вцепляется в руль, так что машина оказывается у второй канавки со слегка повернутыми колесами. Оба передних колеса проваливаются в канавку глубиной в двадцать сантиметров, и движение их вдоль ее русла чудовищно резко застопоривается; колеса поворачиваются до отказа, и правая ступица переламывается у самого основания оси.

Вырванного с места водителя отшвыривает на соседнее сиденье. Его целиком перебросило бы туда, не зацепись он ногами за рычаг переключателя скоростей. Верхняя часть тела скользит наискось к правому сиденью, и затылком он ударяется о стойку, разделяющую стекла окна. Удар довольно чувствительный и на мгновение оглушает водителя. Он выпускает руль из рук. С этой секунды машина целиком и полностью оказывается во власти законов инерции.

Передние колеса «МГ» застряли в канаве, и машина начинает стремительно переворачиваться, до тех пор пока правое заднее колесо не заклинивается в свою очередь в узкой колдобине. Переместившись таким образом за какую-то долю секунды в положение, перпендикулярное своей траектории (при этом ось ее скована, словно зажата в капкане), машина опрокидывается, совершая неизбежную «бочку». Из-за большой скорости она спланировала так, что боковая стойка с трудом выдерживает. Машина снова тяжело падает, теперь уже на

крышу. Относительная мягкость поросшей травой земли амортизирует удар, кузов не расплющивается, но он сильно покопчен. Лонжероны, которые обеспечивают жесткость крыши, не выдерживают. Ветровое и заднее стекло разлетаются вдребезги. Но в то же время наполовину опущенные боковые стекла выдерживают деформацию! Мотор, который работал на полных оборотах, когда переломилась передняя ступица, начинает замедлять ход. Левое неповрежденное колесо, которое все еще держится, крутится в пустоте. Шарль Трене невозмутимо поет «До свидания, Париж». Сварочный шов, соединяющий продольную опору крыши со стойкой ветрового стекла, с правой стороны расходится, и под чудовищным напором внутрь кабины просовывается острая железная полоса длиной со столовый нож. «МГ» подпрыгивает, продолжая «бочку», и падает на левый бок.

Когда машина опрокинулась, недвижимого водителя, лежавшего наискось между двумя сиденьями, силой его собственной тяжести начало резко стаскивать на пассажирское место. И тащит еще сильнее, когда машина переворачивается на правый бок. Но если левая нога водителя свободна, то правая зажата: ступню защемило между педалями акселератора и тормоза, икра застряла над переключателем скоростей. Мышцы ноги напрягаются, чтобы не поддаться напору. Но давление все нарастает, и малая берцовая кость переламывается. «МГ» падает на крышу. И тут сломанная нога высвобождается. Теперь ничто больше не удерживает водителя, и его отшвыривает на потолок, прямо на искореженные куски железа. Из-за того, что лежал он наискосок, он летит вниз головой вперед и вся тяжесть тела приходится на выгнутую шею. Третий и четвертый шейные позвонки искривляются, зажимая спинной мозг. Когда машина переворачивается на левый бок, водитель движется вместе с ней, и при этом железное лезвие, торчащее из крыши, входит в спину под лопаткой. Острый железный конец прокладывает себе путь меж ребер к верхушке легкого, разрывая его. Потом, поскольку тело скользит, перемещается поперек машины, острие выходит наружу и зубья этой пилы разрезают живую плоть спины, от одного плеча к другому. А когда машина падает на левый бок, правая рука, торчащая из разбитого ветрового стекла и свисающая вдоль кузова, оказывается раздроблена.

Завершая «бочку», «МГ» приземляется на три своих почти неповрежденных колеса и случайно поворачивается носом в том направлении, куда она ехала. В своем хаотическом движении машина удалилась от фургона метров на двадцать. Ось и

передача сломанного переднего правого колеса (само оно, подобно серсо, катит далеко впереди по дороге) вспарывают землю на обочине шоссе, заставляя «МГ» снова резко перевернуться. Но завершить этот кувырок так и не удается. Машину заносит вправо, она сползает на насыпь над канавой, за которой огороженный участок. И разносит на куски ограду. Одну из деревянных перекладин, которая проникла внутрь кабины, разбив левую дверцу, обезумевшая машина уносит с собой. Участок в шахматном порядке засажен яблонями. В силу какого-то ненужного сейчас чуда «МГ» минует первые две яблони и с ходу налетает на третью. Вся передняя часть корпуса смята. Шасси частично уцелело, но мотор, сорванный со своего крепления, мост и коробка скоростей, тоже оторванные, оказываются внутри кабины. Бензин через лопнувшие бензопроводы течет на раскаленные цилиндры, обращается в пары и возгорается. Радиоприемник обрывает музыку на середине ноты. Машина трещит, коробится.

Взломав дверцу машины, перекладина ограды проходит над самой головой водителя, скальпирует его, но не повреждает кость. Когда машина ударяется о яблоню, истерзанное тело выбрасывает в зияющий проем разбитого ветрового стекла, торчащие осколки которого вонзаются в него. Задев нижние ветви дерева, тело катится по склону и наконец замирает поодаль от обътой пламенем машины.

Не прошло и десяти секунд с того мгновения, когда, купаясь в лучах влажного солнца, «МГ» со скоростью 140 км подъезжала к плавному повороту у того места, которое именуется Провидением.

⤵

Костюм мой наверняка погиб, невозможно на ткани из мохера сделать незаметную штопку. Надо было надеть в дорогу спортивную куртку. Элен просто взбесится, ей так нравится этот костюм. Боли я не чувствую. И я в полном сознании, я могу рассуждать. Значит, я должен был бы чувствовать боль, а я не чувствую ее. Я в сознании, поскольку совершенно отчетливо вижу вновь правый поворот, перекресток, вижу фургон для скота, преградивший мне путь... Что с этим болваном? Раз я не потерял сознания, ничто не помешает мне открыть глаза. Меня, должно быть, здорово оглушило! Не помню, что нужно сделать, чтобы открыть глаза. Обычно ничего не делаешь, достаточно подумать: «хочу открыть глаза», и глаза открываются. Когда погружен во мрак, начинаешь терять самообладание. Но я же знаю, что с глазами у меня ничего не произошло, они не болят. Если бы я ослеп, я бы это почувствовал. Ав-

тострада, дорога местного значения, знак «стоп», чего еще нужно было этой сволочи? Он выезжал с боковой дороги на шоссе с преимущественным правом проезда, да, наконец, и знак «стоп» хорошо виден, у него нет ни малейшего оправдания. Я ему устрою — у него временно отберут права. Он, само собой, состоит в каком-нибудь распроклятом обществе взаимного страхования черт его знает какого профсоюза, и мне придется ждать два года, пока выплатят по счету из мастерской. Машина, верно, в чудовищном состоянии! Может, ее и починить нельзя.

Прежде чем открыть глаза, надо собраться с силами. Я нокаутирован. Я чувствую себя чудовищно хрупким. В ушах все еще стоит грохот катастрофы. Впрочем, не *один* какой-то звук, а целая гамма звуков: треска того, что давят, разрывают, гулко отдающегося скрежета и звона, хруста того, что ломают и гнут, — на редкость сложная гамма.

Я позвоню Мортрё. Ну и вид будет у Люсьены, когда она узнает, что напрасно провозилась со своими фазанами. Охотничий сезон открыт, Мортрё в воскресенье наверняка настрелял фазанов. Фазаны с тушеной капустой и заливная форель, как обычно! Форель можно поставить на холод, но фазаны? Бедная Люсьена! Я позвоню Мортрё и попрошу отложить на недельку слушание дела. Чрезвычайные обстоятельства. Пошлю извинения председателю суда.

Я испугался. Боли я не чувствую, но, конечно, я весь в ушах и царапинах. Завтра все тело будет болеть, так всегда бывает. У меня совсем нет сил, словно после тяжелой работы. Надо немного передохнуть, прежде чем я открою глаза.

Если бы я не задел заднюю часть фургона, думаю, я сумел бы вывернуть вовремя и не налетел бы на дерево. Задним числом всегда какое-нибудь непредвиденное событие предстает до смешного случайным, не таким уж неотвратимым, случайностью, которую вполне можно было избежать. Окажись я тут на две-три секунды раньше и я бы проехал, мне бы и в голову не пришло, что я чуть было не попал в катастрофу. Катил бы себе преспокойно в Ренн. И костюм и машина были бы целы и невредимы. Ел бы себе фазанов у Мортрё. Где-то я потерял эти три секунды. В центре Ле-Мана я замешкался перед желтым светом. Прибавь я скорости вместо того, чтобы тормозить, — и я выиграл бы те пятнадцать или двадцать секунд, что простоял перед красным светом. Нет, это уж чересчур, это совершенно изменило бы исходные данные задачи. Все решали две секунды. Хотелось бы знать, какие именно.

Я видел, что на меня надвигается дерево, но не смог бы назвать какое. Была ли то яблоня? Или дуб? Или платан? Нет, не платан. Может, липа? Если бы пришлось сию минуту давать свидетельские показания в связи с этой аварией, я не смог бы назвать дерево, о которое разбился. Я воспринимал его не как определенный вид дерева, но просто как некое препятствие. Оно было чудовищным, я хочу сказать чудовищно неподвижным и плотным. Я мог бы погибнуть. Я сказал себе, что сейчас погибну. Я подумал: «по-идиотски» погибну. «МГ» хорошая машина. Она до последней секунды была мне послушна. Я не совершил никакой ошибки за рулем.

Как прекрасно пахнет мокрой травой земля. Когда глаза закрыты, дышать легче. Точно такой же запах свежескошенного сена, как и в тот день, когда я был с Орелией, и во рту этот вкус падалицы, немного перезревших яблок. Да, конечно, это была яблоня. Я ощущаю блаженство, но я знаю, что долго это не продлится. Трава, яблоки и еще какой-то запах... где-то рядом со мной, совсем рядом, кустик этих цветов, чашечки которых свисают до самой земли. Элен потом скажет мне их название. Я называю их водосбором, из-за стихов, но я, конечно, что-то путаю, я всегда путаю названия цветов.

Меня и в самом деле сковывает невероятная усталость. Я вроде бы парю в воздухе, и в то же время тело мое словно налито свинцом. У меня нет желания пошевелиться. Но все же мне хотелось бы подвинуть левую щеку, которая лежит на чем-то колючем. Я сейчас подвинусь, вот только наберусь сил.

На шоссе резко тормозят машины. Люди обожают глазеть на аварии.

Слышу чьи-то торопливые шаги, они медленно приближаются ко мне, так бывает при съемке эпизодов в кино, когда глядишь в телеобъектив и видишь, как скачут лошади, насколько при этом не продвигаясь вперед, кажется, что они выбиваются из сил на одном месте. В ту самую секунду, когда я осознал, что нахожусь в опасности, мысль моя заработала стремительно и теперь несется не останавливаясь. Я думаю, перемалываю мысли с невероятной быстротой, внешнему миру меня не догнать, и это к лучшему. Я не испытываю ни малейшего желания говорить, объяснять, шевелиться. Мне только хочется переменить положение левой щеки. Я не знаю, что это, такое шероховатое, что мне мешает, — сухая ветка или камешек. Не считая этой мелочи, мне хорошо лежать в траве. Чтобы передвинуть щеку, надо приподнять голову, но тогда окажется в неудобном положении шея или спина. Редко удается лечь так, как надо. Сейчас я пошевелюсь.

Подходят. Разговаривают. Трещат все одновременно, совершенно бессвязно.

... Огнетушитель... Не приближайся, Жорж... Ой-ой-ой... по телеку говорили, главное, не трогать его... Странная у людей манера — орать во всю глотку, когда речь заходит о несчастном случае. Я не раз замечал подобную реакцию, это признак смятения. Голоса плохо поставленные, какие-то неестественные... Надо позвонить доктору... Уже сделано... Уже сделано?... Тот мсье на «симке» поехал звонить доктору... А полиция...? Да, надо предупредить полицию... Что за суматоха! Я единственный здесь спокоен... Ничего не мог поделать, у меня заглох мотор... Тут нет моей вины... Это наверняка свиноторговец. У него и голос такой же, как лицо, тяжелый, жирный, неповоротливый, точно не из глотки, а из задницы. Нарушение правил преимущественного проезда по автострате — и тут нет его вины? Я лично прослежу, чтобы его лишили возможности пако-стить в будущем. Нет его вины!.. Попробуйте-ка огнетушителем... Ну вот, видишь...! Нет, Луиза, не пускай сюда детей, нечего им смотреть... Нет, не надо его трогать, по телеку говорили... Где же полиция?.. Всегда так, когда они нужны... Думаешь, ему очень больно? Надо бы им сказать, что со мной все в порядке, пусть уезжают. Все же желательно, чтобы меня осмотрел врач, хотя у меня ничего не болит. А огнетушитель-то еще зачем?..

— Эх, черт побери, черт побери, если бы у меня не заглох мотор...

— Зачем вы переставили фургон, надо было дождаться полиции.

— Я хотел освободить дорогу...

Самое время освобождать дорогу! Он не дурак, этот свиноторговец, он надеется, что сможет потом оспорить месторасположение своего фургона, но ведь есть свидетели этого несчастного случая. В самом деле, есть по меньшей мере один свидетель — водитель тяжелого грузовика. Мне нетрудно будет его найти. До чего же колет левую щеку... Все же я здорово загремел... Т-с-с... Ну и разворочено... Не подходи близко, Жильбер, вдруг она взорвется... Это английская марка...? Попробуй тут угадай, когда машина в таком состоянии... Да-да, полицию уже поставили в известность... Он словно бы хочет что-то сказать... Мотор у меня заглох, чего уж тут... Я понял, что мне тут кажется странным. Эти люди говорят обо мне, но не со мной. Почему они не обращаются ко мне? Ведь именно я предмет их беседы. Предмет... Это ощущение мне смутно знакомо, оно связано с каким-то неприятным воспоминанием. Ну

да, конечно! Кабачок на Сен-Жермен-де-Пре, ссора с каким-то парашютистом из-за Алжира, я немного выпил, он тоже, мы все там перебили... А потом, пока мы ждали полицию среди обломков, да-да, я испытывал точно такое же ощущение, люди говорили о нас, как о неодушевленных предметах; стоя в двух-трех метрах от нас, они говорили: «Нет, начал вон тот высокий брюнет справа... Да, но тот, другой, сам его на это вызвал...» У меня тогда внезапно возникло такое чувство, будто я принадлежу к иной породе, нежели те, что называли меня «он», говоря обо мне. Они держали меня на расстоянии, как и сейчас, у меня не было ни с кем из них ничего общего, кроме парашютиста, моего противника, который стал в этом зале моим единственным ближним. Я теперь не такой, как те, кто не попал в аварию. Вот почему они говорят обо мне в третьем лице единственного числа, самом неопределенном из всех. Они относят меня к странной категории потерпевших аварию. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь обратился ко мне. Почему они оставляют меня в одиночестве?... *Да вам же сказали, что мсье на «симке» отправился звонить... Он был один в машине?.. Да нет, я не видел, как произошла авария, но я подъехал сюда сразу же после этого... О да, очень быстро, наверняка больше ста километров... Ну конечно же, больше ста, ведь это автострада! Они меня раздражают. Я устал... Осторожно, дайте ему пройти... Дайте пройти... Расступитесь... Тише... Ну помолчите же немного...* Наконец-то они замолчали. Их болтовня мешала мне прислушиваться к тому, как машины все тормозят и тормозят там, на шоссе. Хорошенькая же тут образуется пробка! Этот звуковой фон обретает весомость благодаря воцарившейся тишине, какой-то неестественной, искусственно созданной. Я решил бы, что оглох, не будь этого шума машин вдалеке. А потом внезапно рядом со мной, совсем рядом, чей-то голос, один-единственный. Почему он говорит так тихо? Я плохо разбираю слова: *megote... сольво... а! пека-ти сюис...* Что такое он говорит? *In nomine patris et filii et...*¹ На этот раз я понимаю, слишком хорошо понимаю: *ego te absolvo peccatis tuis...*² Да нет, это смешно, остановитесь, бог знает что они вам наговорили, извините их, я вовсе в вас не нуждаюсь, я сейчас все вам объясню, это же нелепо...

Я хочу открыть глаза. Совершенно необходимо открыть глаза.

Безумный страх охватывает меня.

¹ Во имя отца и сына и... (лат.).

² Отпускаю тебе грехи твои (лат.).

Два жандарма-мотоциклиста из Лаваля, патрулирующие на автостраде № 13, останавливаются рядом с последними машинами, застывшими на повороте возле пункта, носящего название Провидение. Жандармам известно об аварии лишь то, что доносят до них пересуды. Каждый автомобилист получает сведения от впереди стоящего и передает их тому, кто стоит за ним. Продвигаясь вот так вдоль вереницы неподвижно замерших машин, рассказ становится все более путаным и противоречивым, по мере того как искажаются плохо переданные или плохо расслышанные подробности. В конце цепочки жандармам сообщают лишь самые туманные гипотезы. Они решают распределить между собой работу. Один остается на месте следить, чтобы дорожная пробка не вызвала новых аварий. Другой снова садится на мотоцикл и едет к месту аварии, чтобы составить протокол. Когда он подъезжает к «МГ» машина дымится под слоем углекислой пены огнетушителей. Опасность пожара, кажется, предотвращена. Неподалеку группа людей окружает распростертое на земле тело. Жандарм отстраняет любопытных. Священник, стоящий на коленях в траве, поднимается, и тогда лежащий становится виден целиком. Жандарм, не удержавшись, даже присвистнул. Человек, распластанный на левом боку, не шевелится. Правая рука у него раздроблена. Вывернутая шея составляет какой-то неестественный угол с плечами. Из глубокой и широкой резаной раны на спине течет кровь, образуя лужицу, которую впитывает земля. Но особенно нелепый, какой-то гротескный вид придает этому распростертому телу волосяной скальп, почти полностью содранный с черепа и падающий на лицо, покрывая его, точно чудовищная, окрашенная кровью борода.

— Я соборовал его,— говорит священник.

Жандарм бросает невнятное «спасибо» и отдает ему честь, сознавая всю неуместность своего жеста. По правде сказать, он в нерешительности, не знает, как ему следует себя держать, что предпринять. Он молод, и ему еще не приходилось самому распоряжаться в подобной драматической ситуации. Он предпочел бы, чтобы рядом с ним был напарник. Вокруг в молчании стоят люди, по-видимому, ожидая, когда он начнет действовать. Ему нельзя оставаться бездеятельным, но прежде надо выстроить в уме логический порядок действий.

— Кто-нибудь вызвал «скорую помощь»?

Да, мсье на «симке» отправился звонить... Впрочем, вот и он сам, возвращается. Да, я дозвонился врачу, он будет через пять минут со «скорой помощью», еще повезло, что на ферме был телефон!

— Ладно, очень хорошо,— говорит жандарм,— очень хорошо.

Пять минут... Не может он оставаться в бездействии пять долгих минут, не зная, куда девать руки, то хватаясь за ремень, то опуская руки и опять хватаясь за ремень...

— Есть тут свидетели аварии?

Нет, свидетелей нет, я подъехал сразу же, как она произошла, и я тоже, я оказался здесь первым, но я не видел, как произошла авария...

— А я, само собой, видел, потому что это мой фургон...

Жандарм знал свиноторговца, это человек известный в здешних краях, как же его зовут? Он человек, пожалуй, даже влиятельный, со связями.

— Я даже и сообразить ничего не успел, он мчался как сумасшедший, что уж тут...

— Вы ехали по местной дороге?

Свиноторговец хмурится. У него было время поразмыслить. В конце-то концов, он единственный свидетель. Тот ведь не сможет оспорить его показания.

— Конечно, я заметил знак «стоп», требующий остановки. Но он налетел как сумасшедший. Ничего нельзя было поделать... Как сумасшедший!

— В принципе-то у него было право преимущественного проезда,— говорит жандарм.

— Ну это еще как посмотреть! — говорит свиноторговец.

— Надо что-то делать,— говорит священник.— Этот человек очень тяжело ранен.

«Еще бы! — думает свиноторговец.— Совсем спекся, это точно».

Жандарм и рад бы сделать что угодно, но все недавно приобретенные им знания по оказанию первой помощи кажутся ему такими бесполезными перед этим растерзанным телом. Его умение ограничивается несколькими неотложными мерами, а тут явно все сплошная неотложность. Как бы там ни было, тело нельзя трогать, об этом столько раз говорили по телеку. На всякий случай он пытается послушать, бьется ли сердце. Сердце бьется, но неровно. С тщательными предосторожностями жандарм пытается освободить лицо от покрывающего его скальпа. Толпа вздрагивает. Под этими отвратительными, как бы накладными волосами, которые жандарм сдвигает кверху, возникает лицо, испачканное, но неповрежденное.

Медленно открываются глаза, смотрят, потом закатываются, и веки опускаются.

Меня охватывает чудовищный страх. Становится ясен смысл всех шумов и слов вокруг меня. Я просто тешил себя тем, что считал их бессвязными, не желая принимать того, что они означают. Но я больше не могу отрицать смысл происходящего. Этот священник, бормочущий рядом со мной — в том мраке, где бьется моя мысль, звуковые пласты четко различимы, — этот священник, склоняющийся надо мной, открывает мне вдруг смысл тех обрывочных фраз, которые — я не могу больше не признать этого — таят в себе угрозу.

Я ранен.

Поскольку боли, происхождение которой я мог бы определить, я не испытываю, мне следует мысленно представить себе свое физическое состояние, раз уж тело мое, а его это касается в первую очередь, не дает мне никакой информации.

Надо во всем разобраться по порядку, спокойно.

Ego te absolvo a peccatis tuis... Значит, они полагают, что мне и в самом деле грозит серьезная опасность, раз заботятся о моей душе. Не будем отвергать гипотезу профессионального видения: для священника всякий лежащий неподвижно — потенциальный грешник, а соборование ни к чему не обязывает. Возможно, я просто в шоке, и это позволяет им думать, что... Боксеры рассказывают, что иногда при нокауте мозг жертвы сохраняет способность мыслить, в то время как со стороны кажется, что человек лежит без сознания. Подобное объяснение вполне подходит. Но в таком случае я не понимаю, почему никто не пытается привести меня в чувство. Это первое, что надо сделать. В тех словах, что доносятся до меня, о моем состоянии вроде бы ничего даже не спрашивают. Не говорят «что с ним?» или «он тяжело ранен?». Мое присутствие констатируется, определяется лишь какими-то восклицаниями. Какой из этого вывод...? Поостережемся поспешных выводов. У меня ничего не болит, вот достоверность, которой мне следует держаться. У меня ничего не болит, и я способен рассуждать здраво. Все остальное — второстепенно. Я выкарабкался из этого с минимальными потерями, ведь, если подумать, все чуть не закончилось катастрофой. Я ехал быстро. Ехал со скоростью, нормальной для автострады, где нет никаких препятствий, но ехал быстро.

Если бы я погиб, Элен обнаружила бы в кармане у меня это нелепое письмо. Какая невероятная глупость, что я его не уничтожил, ведь оно больше не отражает теперешних моих чувств, это всего лишь минутное неглубокое движение души, скорее даже просто дурное настроение, которое я излил в жестких словах. Следовало бы сжигать все письма такого рода.

Все они лгут, в силу анахронизма. Они свидетельствуют о состоянии души или сердца, слишком изменчивых, чтобы не устареть, не быть оспоренными в то самое мгновение, когда произносится последняя фраза. Я уничтожу это письмо.

Щека по-прежнему беспокоит меня. Я просто трус. Все отдаляю минуту, когда пойму, о чем говорят люди вокруг меня... *Ой-ой-ой... Нет, пусть дети не смотрят... Вот оно как, ну что тут скажешь...* Слова эти употребляются лишь в определенных обстоятельствах, всегда одних и тех же. Не станут говорить «ой-ой-ой...» и беспокоиться о том, чтобы увели детей, если человек просто потерял сознание.

Значит, ранение у меня скверное, и это видно. Но куда? Должно быть, лицо, раз это видно. Раны на лице всегда сильно кровоточат. Возможно, щека задета сильнее, чем я думал. Бывает, что раны поначалу совсем не болят. Изуродованное лицо как раз и объясняет слова «нет, пусть дети не смотрят». Что мне за дело, если я обезображен, я не люблю свое лицо. Сегодня косметическая хирургия не даст вам превратиться в чудовище. Останется только вполне приличный шрам, если повезет, он даже придаст моей наружности что-то привлекательное.

Я вот что сейчас сделаю: глубокий вдох, точно собираюсь броситься в воду, а затем заставлю себя открыть глаза. Мне этого совсем не хочется, я уверен, меня не ждет ничего приятного за пределами той защитной апатии, в которую я погружен. Придется выдержать бесконечные вопросы, назойливые заботы... Еще мгновенье, господин палач, потом уж не вернуться вспять. Аромат яблок и водосбора смешивается с затхлым запахом горячей смазки и какой-то химии. Они что-то говорили об огнетушителе, бедняга «МГ»! Облако, которое я заметил на горизонте как раз перед аварией, и в самом деле было похоже на подводную лодку. Страданий, по-видимому, мне не избежать. Но почему не подождать, пока страдания плоти заставят меня вернуться к реальности.

Нет, я запрещаю трогать себя. Я хочу сам выбрать мгновение, когда всплыву на поверхность. Оставьте меня в покое. Кто-то прикасается ко мне. Чья-то тяжелая рука проводит по моему лицу какой-то тряпкой или скорее губкой, да, волосатой губкой, пропитанной мягкой, липкой жидкостью. Я вижу. Я не ослеп. Я знал это.

Я уверен, что слышал *Ego te absolvo...* но вместо священника надо мной склонился жандарм. Значит, я грежу. Жандармы не разговаривают по-латыни. Этот не говорит ничего. Выражение озабоченности и сочувствия на его лице совсем не под-

ходит жандармскому мундиру. Он, видно, чувствует себя неловко в этой роли. Совсем еще молод, новоиспеченный жандарм в новехонькой форме. Я хочу, чтобы он убрал руку с моего лба.

А того типа я сразу узнал по его тупой морде, набухшим, точно канаты, венам и разинутому рту. Он просто весь пропитан вишневым ликером. Да, только что, сидя за рулем своего фургона, он особой сообразительности не проявлял. Рожа прямо для плаката, предупреждающего о дорожных происшествиях. Во время судебного разбирательства он станет спорить, изворачиваться, говорить, что я, мол, ехал на слишком большой скорости и он ничего не мог поделать... Грязная сволочь! Затормози он на две секунды раньше, проезд для меня остался бы свободным. Разрыв в какие-нибудь две секунды — и всего этого идиотства не произошло бы. Ненавижу случайности. У этого свиноторговца и в самом деле лицо судьбы. Пусть его уберут отсюда. Я не в силах видеть этого подонка, который глумится надо мной. Он несет за все ответственность, это он должен был бы оказаться на моем месте, лежать вот тут с изуродованной щекой.

Он смотрит на меня. Я ясно читаю его мысли в этих маленьких лилово-багровых глазках под редкими кустиками бровей. Он смотрит на меня внимательно, исподтишка, как враг. Он думает, что он мне ответит. Мог бы по крайней мере изобразить хоть капельку смущения, смирения. Ничуть не бывало, стоит себе, расставив толстые ноги, засунув руки в карманы. Без всякого стыда смотрит мне в лицо. Он меня ненавидит. Сигарета свешивается у него с губы, он не спеша посасывает ее, не отводя от меня взгляда, не переставая следить за мной. И я даже угадываю в нем чувство какого-то злобного облегчения, да, именно так, какую-то холодную злобность, молчаливое торжество человека, пережившего страх. Он ждет еще некоего подтверждения — но чего? — а в глубине души уже наслаждается чудовищной уверенностью. Не позволяйте ему смотреть на меня, он хочет меня убить.

Жандарм убирает с моего лба красную руку. Вытирает ее о траву.

Кто-то говорит:

— Он открыл глаза.

Новость перебегает от группы к группе, вырывается из толпы, скользит между застывшими машинами и в конце своего пути уже звучит так:

— Кажется, они пришли в сознание.

Второй жандарм, который старается восстановить движение на автостраде 13 с помощью свистка и громких выкриков, приказывает автомобилистам «освободить проезд». Женщины, воспользовавшиеся вынужденной остановкой, чтобы на минутку уединиться за изгородью, возвращаются на шоссе, убежденные больше чем когда-либо, что мужчинам живется несравненно легче. Представляя, какие выдумки породили их хождения туда и обратно, они гневными высокомерными взглядами отвечают на насмешливые улыбки наблюдающих за их маневрами водителей, во всяком случае тех из них, чьи пассажирки не были вовлечены в эти своеобразные *Steep1-chase*¹. Ну а другие водители подчеркнуто ничего не замечают. Облако, похожее на подводную лодку, вытягивает свой перископ в сторону солнца, готовясь вот-вот отгрызть от него кусок, а потом и вовсе закрыть его. Кто-то замечает, что «уже больше месяца не было ни одного солнечного дня». Обычно в подобных обстоятельствах, когда случай сводит вместе чужих друг другу людей, особенно охотно избирают для разговора вполне безобидные общие темы, которые позволяют выказать единодушие во взглядах. Беседа берет весьма удачный старт с рассуждений о погоде, стоявшей в ту далекую пору, когда времена года, в отличие от наших дней, отвечали своим названиям.

Жандарм, склонившийся над раненым, подумал было, что тот пришел в сознание, но надежда эта длится недолго. Блеснул на мгновение взгляд, и человек опять погружается в беспросветный мрак. И то, как он лежит на траве, свидетельствует о серьезности его положения. Мертвого от спящего можно отличить с первого взгляда, в позе спящего сохраняется все же некая скоординированность движений, ну хотя бы в том, что руки и ноги не полностью расслаблены, в них осталась какая-то чуткая настороженность мускулатуры, выдающая присутствие жизни на самом дне глубокого сна. И наоборот, состояние комы прерывает или упраздняет всякий контроль над телом, которое уступает своей силе тяжести. Жандарму это известно. Он задается вопросом, уместно ли будет изменить ненормальный угол согнутой шеи, переложить раздробленную руку симметрично другой, чтобы выправить застывшую жестикуюляцию этих конечностей. И главное, ему хотелось бы заговорить, ведь он знает, как следует обращаться к «жертве», а молчание не позволяет ему никак проявить себя. Он подумал было начать допрос свиноторговца, но опасается покинуть лежащего на земле человека, пусть даже его заботы о нем носят

¹ Скачки с препятствиями (англ.).

весьма платонический характер, а кроме того, он предпочитает предоставить своему более осведомленному во всех местных реальностях коллеге расставлять всевозможные ловушки для протокола допроса. Он подозревает, что водитель фургона пользуется в этих краях влиянием, и весьма значительным, в то время как «жертва»... Да, в самом деле, жандарм замечает, что желательно установить личность. В правом наружном кармане — ничего интересного, письмо, адресованное мадам Элен Жербье, улица Верней, 107, Париж, VII округ. Правый внутренний карман — сломанная пополам ручка и визитная карточка в обложке. Жандарм записывает в свой блокнот: Пьер Деломо, родившийся 3 марта 1923 г., адвокат кассационного суда, набережная Вольтера, 7, Париж, VII округ.

Адвокат апелляционного суда — еще одна причина, чтобы его коллега разделил с ним эту ответственность. Вместо того чтобы тратить время на свистки на шоссе, лучше бы подошел сюда помочь. Жандарм глядит на небо, потом на часы и выражает пожелание, чтобы «скорая помощь» явилась раньше, чем начнется ливень. Этот его жест побуждает собравшуюся на поляне небольшую толпу перейти от метеорологических соображений, не дававших пищи для длительной дискуссии, к обсуждению проблемы, насколько быстро оказывают неотложную помощь у различных народов мира. Согласно высказанным мнениям, Франция занимает в этой области позорное место, где-то перед Пакистаном или Кувейтом.

— *Взять хоть, к примеру, в прошлом году в Швейцарии, правда, Рози, а ведь случай был совсем пустяковый...* И следует рассказ, иллюстрирующий непреложную очевидность того факта, что Швейцарская конфедерация — подлинная купель самозарождения «скорой помощи» при малейшем известии о каком-нибудь дорожном происшествии.

Все единодушно отмечают, что установленные «скорой помощью» тарифы требовали бы максимума оперативности. При этом одна дама называет действительно непомерно высокую цену, какую с нее потребовали, когда она должна была «произвести на свет своего малютку Марселя, поскольку у нее на втором этаже универмага «Белль жардиньер» неожиданно прошли воды, она нуждалась в услугах свободной кареты «скорой помощи», которая доставила бы ее в родильный дом — всего в трех кварталах от универмага, не четырех, а трех!

«Скорая помощь» появляется в атмосфере всеобщего неодобрения. Врач, расчищая себе проход, спрашивает у жандарма:

— Что тут произошло?

— Несчастный случай,— отвечает жандарм, тут же пожалев об этой банальной фразе.

Врач удерживается от замечания: он, мол, и не предполагал, что его могут побеспокоить ради наслаждения народными танцами, которые к тому же не дают повода для беспорядков. Он опускается около раненого на колени. Множественные переломы или вывихи шейных позвонков... что касается черепа, ничего нельзя разглядеть из-за этого скальпа... с рукой дело безнадежное. В уголках губ розоватая пена: легочное кровотечение, а может быть, просто порезана губа... Пульс? Пульс нитевидный... Рефлексы — нулевые!

Врач поднимается с колен, лицо его кривится.

— Это серьезно? — спрашивает жандарм.

Врач не снисходит до ответа на столь нелепый вопрос. Он достает из чемоданчика ампулу с иглой для подкожной инъекции.

Конечно, камфара тут ни к чему, но надо же уважать правила игры! Люди в толпе отводят взгляды. Многих из тех, кто легко переносит зрелище ран и изувеченного тела и даже стремится это увидеть, пугает процедура укола. Но вот врач делает знак санитарам положить тело на носилки. Жандарм спрашивает:

— Вы отвезете его в больницу в Лаваль?

— Само собой,— отвечает врач,— что еще я могу сделать.— И, обращаясь к священнику: — Между нами говоря, господин кюре, он скорее нуждается в ваших услугах, чем в моих.

Священник огорченно воздевает руки.

— Мы с моим напарником будем расчищать вам путь,— говорит жандарм.

Врач кивает головой. Он думает, что, если не терять зря времени, у него есть шанс съесть жаркое горячим и не пережаренным. Должность главного врача в округе — это изнурительная череда всяких помех и задержек. Сколько раз сожалел он, что не хватило у него когда-то решимости поработать стажером в больнице. Стать врачом-специалистом в какой-нибудь супрефектуре — просто мечта, тогда не пришлось бы ночью месить грязь по дворам запущенных ферм или везти в больницу в Лаваль какого-нибудь автомобилиста, который наверняка не доедет туда живым. Но теперь, благодаря жандарму, он успеет добраться до дома, прежде чем подадут десерт.

Садясь на мотоцикл, жандарм бросает свиноторговцу:

— Вам придется поехать в уголовную полицию, дать свидетельские показания.

У свиноторговца отлегло от сердца. Дело вроде бы оборачивается не так уж скверно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Это страстное желание познать самого себя и понять окружающих должно было бы овладеть мною гораздо раньше. Появись оно у меня вовремя, возможно, я чего-нибудь и достиг бы (...). Сколько напрасно потерянного времени, сколько бездумно растраченного, мне казалось, что все у меня еще впереди. И теперь надо торопиться, остаются считанные минуты, а спешка не способствует серьезным изысканиям.

И о н е с к о. Обрывки дневника.

Когда я умирал в прошлый раз, три года назад, после того несчастного случая, трагичность моего перехода в иной мир страшила меня куда больше, чем сегодня. Особенно боялся я встречи со смертью, боялся точного соответствия мрачных народных легенд той реальности, в которой не мог усомниться. Стоило мне услышать скрип плохо смазанных колес, как я с устрашающей ясностью вспоминал о бретонской тележке-призраке, о последнем мертвеце, умершем в ночь святого Сильвестра, ночь под Новый год, и осужденном весь следующий год подбирать души усопших. Я сразу представил себе Луи Жуве, подталкивающего свою клячу к растерзанному телу Френе¹. Именно этот самый звук становился все явственней, и я, вопреки здравому смыслу, подумал, что вот сейчас Луи Жуве с его насмешливой и леденящей душу улыбкой пригласит меня занять место в своей тележке. И я никак не мог сослаться на то, что меня мучат кошмары. Я действительно, на самом деле слышал скрип колес. Я знал, что не сплю, голова моя четко работала, и лишь вмешательством сверхъестественных сил можно было объяснить тарактение плохо смазанной телеги, раздающееся на шестом этаже дома на набережной Вольтера. Я должен был признать, что все это происходит наяву и что ужасный звук и вправду становится все ближе

¹ Луи Жуве (1887—1951) — известный французский актер и режиссер. Пьер Френе (1897—1975) — французский актер.

и ближе, и через какую-то минуту Луи Жуве протянет ко мне свою грозную руку. Но передо мной не промелькнула в одно мгновение вся моя прожитая жизнь, как бывает в таких случаях. Я ждал в оцепенении, когда до меня дойдет, захлестнет меня отвратительный запах этого конвоира мертвецов. Жуве остановился прямо перед моим окном, и тут я вдруг вспомнил, что нахожусь в одной из клиник Триполи, куда я попал после вполне заурядного падения с лестницы. Беспечный араб, которого везет ослик, медленно проехал под моими окнами, и вместе с ним исчезли и скрип повозки, и страх, леденящий кровь. Мой скверный сон умер. А я ожил. Теперь мне следует подготовить себя к прямо противоположной операции.

Обычно не ты, а другие погибают в автокатастрофах.

Меня отвезут в больницу в Лаваль, станут обращаться как с неодушевленным предметом, и я, возможно, умру. Люди, разговаривающие вокруг меня, не подозревая, что я их слышу, видимо, не сомневаются в развязке. Расстояние между ними и мной вдруг стало каким-то неправдоподобно огромным. Этого врача отделяет от меня не полметра — он находится на расстоянии миллиардов световых лет, на планете людей, в добром здравии, по ту сторону этого бесконечного пространства в две секунды, из-за которых грохнулось на землю мое искалеченное тело. Впервые в жизни я понимаю, что значит настоящее одиночество.

Свиноторговец посасывает свою сигарету. Больше всего на свете мне хочется в эту минуту спокойно закурить. (Как раз перед самым столкновением я не стал закуривать сигарету, чтобы обе руки оставались свободными. Вернусь ли я в тот мир, где можно так небрежно закурить?) Эта туша даже не подозревает, как я завидую его раскованным движениям, каким чудом мне кажется возможность выпускать клубы дыма изо рта, думая о чем-то другом, или вот так топтаться на месте... А я по его вине лишился всех этих маленьких радостей. На самом деле я не верю, что могу умереть. Мне хотелось бы выкурить сигарету. Нет, прежде всего мне хотелось бы зажечь сигарету и поднести ее к губам и увериться, что я еще принадлежу к этому миру. И еще мне хотелось бы расквасить морду этой свинье, торгующей свиньями, который ведет машину как последняя скотина и опрокидывает тебя в кювет да еще дразнит своей сигаретой, торчащей из лживой кабаньей хари. Ох, как бы хотелось!

Жандармы на мотоциклах яростно сигналият, устраивая настоящий концерт. Машина «скорой помощи» вот-вот тронется. Я по-прежнему не могу понять, насколько серьезно мое по-

ложение. Тело не посылает мне никаких сигналов. У меня осталось только обостренное, хрупкое сознание, никакой материальной оболочки, один чистый дух. Если бы я и в самом деле должен был умереть, я бы почувствовал это. Больше всего я боюсь той минуты, когда все клетки моего тела затопит боль и я не смогу сдержать стонов. Эта минута неминуемо должна наступить. И бесполезно готовиться к ней. Нельзя подготовиться к страданиям, со временем к ним можно привыкнуть, но никакая предварительная подготовка не способна уберечь от этого потрясения, от чудовищного смятения, которое охватывает человека при первом приступе боли, тем более что она так многообразна и у нее множество оттенков. Все заплечных дел мастера знают, что мужество не есть что-то монолитное, крепко спаянное. Только внешне оно представляется единым и неколебимым, на самом же деле оно состоит из разнородного материала, который неодинаково прочен и подвержен эрозии. Тот юноша, обвиненный в предательстве, которого я защищал в военном трибунале, выдержал два «допроса», когда арабские палачи изобретательностью превзошли самих себя. Несмотря на сломанные ребра, раздавленные половые органы, несчастный малый мужественно продержался сорок восемь часов, пока один из палачей, больший психолог, чем остальные, не стал ему выкручивать мизинцы на ногах. И тогда он заговорил.

— Поймите меня, мэтр, я ко всему был готов, даже к тому, что мне выколуют глаза, но об этом я не подумал, этого я не смог вынести...

Вот я и жду пытки, только не знаю, какой. Я вовсе не стремлюсь казаться храбрецом, но меня страшит сама уродливость этого физического краха. Что они там говорят?

— *К чему мчаться с такой скоростью... мы того и гляди перевернемся... пятью минутами раньше, пятью минутами позже... какое это имеет значение...*

Вой сирены утомляет меня. Я попрошу, чтобы ее выключили. Тишина помогла бы мне привести мысли в порядок, а то они рассыпаются, едва я их сформулирую, какие-то обрывки мыслей возникают и тут же рассеиваются. Если бы я смог как-то собрать, согласовать все это... Мне нужно только немножко времени и тишина... *Пятью минутами раньше, пятью минутами позже, какое это имеет значение...* Я попрошу, чтобы сирена смолкла. Умоляю вас, пусть смолкнет этот ненужный вой. Вы слышите меня? Как заставить их услышать меня? Как узнать, понимают ли они, что я им говорю? Как убедиться в том, что я действительно это говорю? Во снэ так бывает, ка-

жется, ты что-то произносишь, но слова исчезают в пустоте... Вот вы, те, что сидите рядом со мной, умоляю вас, сделайте над собой усилие и услышите меня. Помогите мне. Вам ведь ничего не стоит прислушаться ко мне, силы ваши безграничны, а для меня пошевелить губами — нечеловеческий труд. Неужели я уже так далеко от вас, что мои крики не доносятся к вам, на тот берег? И какого черта я должен разбираться во всех этих перифразах и намеках? Неужели я и вправду скоро подохну.

— Смотрите-ка, он открывает глаза,— говорит санитар.

Врач, рассеянно глядевший в окно на проносящиеся мимо поля и деревья, перенес свое внимание на привязанного к носилкам человека. Поразительно, что он еще может приподнять веки, при такой черепной травме! Вероятно, это просто непроизвольное подергивание мускулов, если только исключить, что какая-то властная мысль заставила его собрать последние жизненные силы, чтобы открыть глаза. И в самом деле, в обращенном к нему взгляде врач читает внимание, проблеск какого-то немого вопроса.

— *Лежите, старина, спокойно, вы попали в автокатастрофу. Я везу вас в больницу. Там вами займутся.*

Эти слова невольно вырываются у него, просто как у обыкновенного человека. Но как врач он не верит, что лежащий перед ним может его услышать.

— Дать ему кислород? — спрашивает санитар.

А почему бы и нет? Да, конечно, кислород... Врач недоволен собой, недоволен тем, что в последние годы он утратил воодушевление, с каким прежде работал. В прежнее время он боролся бы за жизнь раненого из принципа, из уважения к незыблемым законам своей профессии. Двадцать лет работы сельским врачом не способствуют поддержанию энтузиазма.

Ему представляется нелепым фарсом то, как сейчас хирурги примут у него этого умирающего, будут ставить диагнозы, запустят весь огромный механизм — переливание крови, реанимация, искусственное кровообращение, станут методично делать бесполезные операции до самой последней минуты, пока будет теплиться жизнь... С одной-единственной мыслью: продлить агонию.

Если только клиническая смерть не наступит до того, как они приедут в больницу. Выдать свидетельство о том, что пострадавший поступил в больницу, или свидетельство о смерти — это займет одинаковое время.

— Да-да,— говорит врач,— дайте ему кислород.

Никогда в жизни не слышал я более прекрасных слов:

— *Лежите, старина, спокойно, вы попали в автокатастрофу. Я везу вас в больницу. Там вами займутся.*

Мной займутся. Значит, не все еще потеряно. Тем, кто в безнадежном положении, не занимаются. Мне придется выдерживать несколько трудных дней или даже недель, да и позже будут возникать какие-то осложнения, которые станут напоминать мне, что на одном из поворотов дороги на Ренн судьба моя зависела от нерешительности какого-то свиноторговца. Даже если бы я должен был стать отчасти инвалидом — ведь в наши дни никто не остается полным инвалидом, — все равно я согласился бы принять это во имя той ремиссии, что предоставляет мне случай. Мне, ненавистно было бы принять такой конец — гибель в автокатастрофе. Я не из тех, кто хочет внезапной смерти. Мне представляется верхом несчастья, чтобы обо мне могли сказать: «Какая прекрасная смерть, он даже не сознавал, что умирает». Смерть слишком серьезная вещь, чтобы встретиться с ней в такой спешке.

Мысль о долгом выздоровлении представляется мне соблазнительной по нескольким соображениям. Я бы смог наконец перечитать Пруста, или «Войну и мир», или какой-нибудь другой подходящий для послеоперационного периода шедевр.

Элен переберется ко мне на набережную Вольтера. Только бы не забыть уничтожить то письмо. Вот прекрасный сюжет для драмы: женщина узнает из письма, по оплошности оставленного в кармане, что человек, которого она любит, решил ее покинуть. Это решение совершенно устарело, человек написал письмо три месяца назад в минуту раздражения. Он не отправил письмо, потому что считает его глупостью, но кто об этом когда-нибудь узнает? И уж во всяком случае, не женщина, которая прочтет, потрясенная до глубины души.

Элен. (Я не мог написать «моя дорогая», а «дорогая Элен» выглядело бы нелепо при наших отношениях.) Мы решили не связывать себя семейными узами, чтобы избежать самого печального для любовников положения, когда они попадают в ловушки, которые им расставляют привычки и милый уют. (Что за чушь! Этот страх перед повседневной близостью — свидетельство скудости чувств. Как только встану на ноги, женюсь на Элен.) Но состояние постоянной тревоги, в котором мы живем, становится для меня невыносимым. (А что было бы для меня более приемлемым?) Я, пожалуй, предпочел бы, чтобы ты устроила мне настоящую сцену, глупую и гадкую, чем постоянно чувствовать на себе твое требовательное внимание, напря-

женное ожидание от меня того, что ты называешь «моими штучками».

Я настаиваю на своем праве иметь слабости и нахожусь порой невыносимой ценой, которую приходится платить за то, чтобы все время пребывать, как ты этого желаешь, на горных вершинах. (Цена, которую приходится платить... что за мелочные расчеты, как в бакалейной лавке!) Ты слишком жесткая, Элен, и не допускаешь никаких слабостей, что обычно признается высоким достоинством, но не облегчает жизнь. Нам не следует проводить вместе летний отпуск. (Ты сама видишь, что все эти рассуждения были несерьезны, ведь мы же тогда не расстались!) Мне самым примитивным образом (совершенно точно) необходимо вдохнуть свежего воздуха, оказаться подалеже от микроскопа, через который ты меня все время рассматриваешь. Я знаю, ты меня любишь, и я тоже люблю тебя, но (это «но» подлость. Я люблю тебя без всяких «но», «если» и «почему». Я люблю тебя, как любят хлеб и соль, я люблю тебя, дорогая моя) мне недостает какой-то легкости, без которой трудно дышать. Я хочу хоть немного пожить без всякого чувства вины. Мне слишком хорошо известно твое прямотушение, а потому я уверен, что ты стараешься все обдумать за время нашей разлуки. И только от тебя зависит, чтобы разлука наша стала просто антрактом, а не окончанием спектакля, что трудно себе представить. (Стиль немного кокетливый, чуточку шантажа, ну просто эталон жанра!) Ты сочтешь, что я поступаю как трус, посылая тебе письмо, вместо того, чтобы сказать тебе обо всем этом прямо в лицо. «Прямо в лицо» — излюбленное твоё выражение. Говоря профессиональным языком, я опасаясь эксцессов, которые могут вызвать прения сторон, но мы поговорим обо всем этом, как только ты пожелаешь. Обнимаю тебя. (И соблаговолите принять, негодяй вы этаким, хорошенький пинок в зад.)

Женщина читает это письмо, и земля уходит у нее из-под ног. Она не знает, что человек написал его в минуту мелочного раздражения и теперь не может ей об этом сказать и никогда уже не скажет ей этого, потому что сейчас тело его цепенеет в море. Минутная ложь превращается в конечную истину. Женщина сидит перед письмом, которое начисто перечеркивает всю ее жизнь. Она ничего не может понять, только чувствует: все, что озаряло ее прежнюю жизнь и было надежной реальностью, все оказалось ложью, двусмысленностью, обманом. Она вдруг обнаруживает, что после этого поражения у нее не остается ничего, даже облегчающей сладости слез, и что

ее фиалковые глаза так и выцветут сухими. Она только вступает на этот долгий и горький путь. И все это из-за сущей безделицы — ведь письмо это насквозь фальшиво и оставлено в кармане из чистого мазохизма, это лишь слабый налет окарины, подобный тем словам, которые иногда дети заносят в свой дневник после какой-нибудь школьной драмы: «Я ненавижу своего отца и свою мать».

Да, это один из тех мрачных фарсов, которые любит разыгрывать с нами зловредная пьяница судьба.

Первое, что я должен сделать, — отправить это письмо туда, куда следует, и спустить воду.

Как только приедем в больницу, попрошу врача оказать мне эту услугу.

А пока попытаюсь поспать несколько минут, чтобы убить время.

Заснуть мне не удастся из-за воя сирен. Я все еще пребываю в состоянии какого-то оцепенения, и всякие непрошенные видения лезут мне в голову. Драму смерти Жаме я старательно упрятал в самые дальние тайники своей памяти, и вот теперь она предстала передо мной, навязывает себя с чудовищной силой. Бедняга Жаме с его слишком длинными руками, срывающимся голосом, застенчивый, то и дело краснеющий и страстно желавший попасть в нашу компанию, что побуждало нас быть с ним суровыми. Все подростки создавали свои кланы, которые не превращались еще в нынешние банды, хотя они и старались подражать тайным обществам, имеющим свои пароли и подвергавшим испытанию тех, кто стремился вступить в них. Мы прекрасно знали, что Жаме готов пройти босиком по раскаленным углям, ради того чтобы удостоиться чести быть принятым в наше сообщество. Право, не знаю, кому пришло в голову предложить ему это безумное испытание. Когда, согласно предъявленным ему требованиям, Жаме «позаимствовал» одну из стоявших перед кинотеатром машин, нам всем захотелось, чтобы он «сошел со старта». Но хрупкий Жаме был не из тех, кто готов отступить, а ложный стыд не позволил нам отменить свое требование. Я готов был уже вмешаться, когда он тронулся с места в стареньком «ситроене» (я прекрасно помню, это был «Б-14»), я готов был вмешаться, но не сделал этого, ни у кого из нас не хватило бы на это мужества. Точно так же, как, верно, ни у кого из нас не хватило бы смелости выжать из этой старой развалюхи предельную скорость, направить ее с выключенным счетчиком к перекрестку, называемому Шесть Дорог, и пойти ва-банк — пересечь пло-

щадь в надежде на удачу. Я знал, что Жаме пойдет до конца. Налетевший на него на полном ходу молоковоз оставил от него мокрое место. Умри я сегодня точно так же, родители Жаме, в сердце которых не угасла ненависть к нам, убийцам их сына, родители его, так долго и яростно проклинаявшие нас, усмотрели бы в этом совпадении торжество справедливости и неотвратимость возмездия. Если бы они могли знать, как не похож человек, который чуть было не погиб сегодня, на шестнадцатилетнего подростка, вместе со всеми несущего ответ за эту бессмысленную трагедию! И в самом деле нас была ровно дюжина в нашей компании, совсем как в команде, которую отрядили для расстрела. И конечно, каждый надеялся, что стреляет холостыми патронами.

Умри я сегодня, как Жаме... Если бы я умер... Еще немного, и я присоединился бы к Бобу на кладбище Ле-Мана. Сначала он не знал бы, что я лежу здесь, в такой же, как и он, могиле. Но я нашел бы способ однажды ночью, во время какой-нибудь пляски смерти, узнать его и захватить врасплох. Он бы сказал мне:

— Ты постарел, Пьер.

— А ты, Боб, совсем не изменился.

— Естественно.

— Да, естественно, а я вот продолжал жить, от этого стареешь.

И так далее, как в какой-нибудь пьесе Ануя.

По правде говоря, Бобу Охотнику, в его теперешнем положении, наплевать, усну я в роскошном склепе или буду гнить на кладбище в Ле-Мане, в двух шагах от того места, где покоятся его кости. И Жаме не ждет меня на пороге вечности, чтобы сказать: «Послушай, Деломо, будь человеком, помоги мне войти в вашу компанию».

Я это знаю, но, когда дело касается смерти, мы рассуждаем на удивление наивно. Тот участок мозга, который занят этой проблемой, отстает от общего умственного развития отдельного индивидуума. Он навсегда застыл в зачаточном состоянии. Мы прилагаем немало усилий, чтобы получить о жизни, о любви, о справедливости, о дружбе, о войне и обо всем остальном верные по нашим меркам представления или хотя бы лишённые многих ненужных условностей и благоглупостей; но едва мы приближаемся к проблеме смерти, в нас сразу же просыпается пещерный человек, в голове которого теснятся какие-то неясные побуждения и примитивные образы, упрощенные видения иного антропоморфного мира, который подходит к наш мир, как его зловещий брат.

Мне хочется яблока. Но не того дурацкого, словно покрытого лаком яблока серийного производства, а настоящего рана, с тем самым запахом, который я только что вдыхал на лугу,— с желтой кожурой, лишь кое-где расчерченной более яркими, почти красными полосками, и едва начинающими выступать пятнышками тонкого серого налета. Эти яблоки, и только они, когда их надкусишь, сразу хрустят на зубах и тают во рту, и с первого же глотка ощущаешь всю их сладость и сочность. Этот звук, с которым зубы вонзаются в зрелый плод, хищный рот, впивающийся в мякоть яблока,— с каким аппетитом это делала Орелия, как никто! — все это словно противоядие против всякой мысли о смерти. Я был бы спасен, если бы Орелия протянула мне яблоко!

Я испытываю какое-то странное чувство, вызванное непонятной раздвоенностью и этим гипертрофированным ясновидением, которые нередко сопутствуют некоторым кризисным состояниям. Мне представляется, что я как бы отделился от самого себя на какой-то шаг, и эта непривычная дистанция позволяет мне впервые в жизни взглянуть на себя со стороны, я словно зритель. Если угодно, словно Нарцисс, но Нарцисс бесстрастный, просто чуточку заинтересованный.

Конечно, я знаю себя, но так, как знаешь черты своего лица в том облике, который являет нам зеркало. Другими словами, я знаю свое отражение. В то время как сейчас я от него отделился, нынешнее мое преимущество в том, что я могу находиться на нужном расстоянии от этих писем и разбирать то, что ускользает все это долгое время, пока наблюдатель и наблюдаемый остаются слитыми воедино, словом, на всем протяжении жизни! Я отнюдь не обманут галлюцинациями, рожденными нервным шоком или какой-то там лихорадкой. Я вижу все с потрясающей ясностью. Это необыкновенный и весьма ценный эксперимент. И действительно, ничего сенсационного: просто я стал лишь чуточку иным. Но иногда именно незначительное изменение в какой-то мелочи целиком меняет то представление, какое составляешь о себе.

У меня остается мало времени на то, чтобы завершить это открытие, поскольку совершенно ясно, что я умираю. Я знаю это с той самой секунды, как увидел лицо свиноторговца, парализованного страхом за рулем своего фургона, лицо самой смерти. Я пытался хитрить, цепляться за несостоятельные надежды, отыскивать какие-то оптимистические аргументы среди обрывков звучащих вокруг меня фраз, вместо того чтобы вслушаться в спокойный и глубокий голос, говоривший мне,

что я умираю, мой собственный голос, тот доверительный шепот, к которому так редко прислушиваешься. Всегда неизменно веришь, что смерть касается других людей, упрямо вопрошаешь, по ком звонит колокол, а вот теперь я внезапно должен предстать перед последним судом. И теперь я наклоняюсь над этим зеркалом, где впервые вижу себя, над этим безмятежным озером, спокойную гладь которого мне предстоит нарушить, прежде чем я сумею воспользоваться этой волнующей встречей.

«...И пусть вечер уже разлучит нас, Нарцисс, и меж нами скользнет нож, срезающий плод...» Увы, уже!

Какое облегчение не пытаться больше обманывать себя! Это упрощает все отношения.

Мне слишком хорошо известно, отчего я умираю. Уже несколько лет, как я втайне смирился с мыслью о собственной смерти. Было время, когда я просто-напросто отвергал такую возможность. В зрелом возрасте я решил не верить в это предстоящее свидание, не признавать, что все в один прекрасный день придет к концу. Я долго сохранял эту великолепную веру. То были мои доспехи, надежная защита. Здесь положен предел могуществу смерти, она ничего не может поделать с этой решимостью. Эта старая потаскуха нуждается в сообщничестве со своей клиентурой. Никто никогда не умирал против своей воли. Решительный отказ обеспечивает человеку большую безопасность, чем стены крепости. Снаряды летят только по предначертанной траектории, болезни прекращаются, микробы падают духом, свиноторговцы безоговорочно подчиняются знаку «СТОП». Но, чтобы утвердиться в этом отрицании, сила должна быть без изъяна. Стоит поддаться усталости — и ты уже капитулировал. Мысли мои стала занимать смерть. И тотчас же смерть занялась мной. Я проявил слабость, разглядывая ее, принимая, и это начало конца. Я расплачусь за свое неизбежное малодушие, и тем хуже для меня! Умирают только от усталости и смиренной покорности.

Я не даю себе права взбунтоваться. Это надо было делать раньше. Теперь же это бесполезно и не слишком прилично.

Уже несколько мгновений, как вой сирен становится глуше. Слепший, а вскоре и оглохший, я стал всего лишь неким мыслящим механизмом, это моя последняя связь с миром, который мне предстоит покинуть. Как все это происходит? Конечно, все окутывает туман, ускользают и не повинуются слова, начинают утрачиваться привычные связи, а потом? Вероятно, возникает искушение подумать о вечной жизни! В отро-

честве, когда я учился в колледже, я долгое время боялся ада, мне внушали, что первые плотские порывы грозят привести нас прямо в адское пекло, в это время одинокие уловки не дают еще наслаждения, но существует отчаянно необходимый грех, стыдный, сладостный, желанный и ненавистный. Я опасался, что настанет день, когда придется платить непомерно высокую цену за этот тайный трепет, а немного позже — за примитивные упражнения, которые позволяла мне проделывать в уголке у изгороди девица, чье имя я позабыл. Я был проклят отныне и навсегда и несчастен сверх всякой меры.

А потом я перестал бояться. Я думаю, меня отвратило от Бога, с его, как меня учили, бесконечным гневом и злопамятством, отвращение к тому, что ради спасения души необходимо испытывать угрызения совести. Совсем еще юным я принял твердое решение никогда ни о чем не сожалеть. Мне трудно было находить оправдания для своей нравственной позиции, но теперь я знаю, как и все на свете, что угрызения совести — всего лишь жалкая попытка «видоизменить прошлое».

И однако, как нам не надеяться на какую-то загробную жизнь? Но какую?

Сущим адом было бы встретить на каких-то там зеленых пастбищах разнородную толпу всех тех, близких или далеких, кто прошел через мою жизнь. Но страх перед пустотой побуждает нас придумывать себе какое-то общество. Хорошо бы иметь возможность выбора.

Я хотел бы предложить тому блондинчику, которого я убил в лесу под Фужером, некоторый реванш. Он не ожидал, что прямо перед ним появится вдруг этакий грязный Робин Гуд. Думаю, он предавался каким-то мечтам. Он вставил в петлицу своей зеленой куртки веточку вереска. Я тоже не ожидал, что наткнусь на одинокого немца. Они обычно остерегались из-за близости маки бродить по лесу в одиночку. Этот немец несомненно поддался приступу романтизма. К тому же вереск, прелесть подлеска... Долгое мгновение мы глядели друг на друга, не двигаясь. Он был моего возраста, с веснушками, как у Орелии. Мы раздумывали, о чем бы заговорить друг с другом, и найди мы нужные слова, все обошлось бы. Но в подобных обстоятельствах теряешь дар речи. Рука его потянулась к висевшему за спиной автомату и я выстрелил, первым подчиняясь правилам игры. Я целился в веточку вереска, он же схватился руками за живот; я вечно забывал, что мой револьвер всегда стреляет ниже цели. Парень упал в яму, но не мог же я оставить его вот так подыхать с пуль в животе. Когда я поднес дуло револьвера к его уху, он сдержал стон, обратив ко

мне выразительный взгляд, где я прочел даже не гнев, а только удивление и желание объясниться. Но время поджимало, звук первого выстрела мог привлечь сюда его товарищей. Я так и не узнал, что он хотел мне сказать. Мы были очень молоды, слишком молоды, мальчики, до срока попавшие на войну, которая превратила нас в преждевременно состарившихся юнцов. Да, мне хотелось бы вновь встретиться с этим неосторожным солдатом, который позволил себя увлечь ароматам мха и цветущего вереска. Бобу он наверняка понравился бы.

При непредвиденном путешествии чемоданы укладывают в спешке, из-за суматохи неожиданных сборов можно очутиться на другом конце света с двадцатью галстуками и без единой рубашки. Я также не готовился к ждущему меня путешествию, наудачу собираю свой багаж и забываю о самом главном. Воспоминания, которые я нагромождаю, подхватывая их на лету, я не выбираю, они сами предлагают себя, и, если получше приглядеться к ним, не такие уж они разнородные, как кажется: в них преобладает смерть.

Мысль о возможном небытии вызывает у меня меньше страха, чем я опасался, и меньше меня возмущает. Мне жаль этого изувеченного тела на носилках «скорой помощи», но странным образом во многих отношениях оно остается для меня чужим. Я благодарен ему за то, что оно не причиняет мне мучений, но оно предавало меня изо дня в день, тайком сдавало одну позицию за другой. Мне приходилось все больше хитрить с ним, прибегать ко всякого рода неприятным заботам, чтобы скрыть каждую новую его слабость. Поначалу я не остерегся этого. Потом стал замечать, как изменяются вокруг меня тела моих одногодков. Но главное, я увидел однажды работу времени, я застал его на месте преступления.

Она спросила меня:

— Почему ты так странно смотришь на меня?

Я не мог ей объяснить. Она была очень хороша, и ей так шла нагота. Но на этом теле, казалось, так хорошо мне знакомом, до малейшей складочки, я заметил уже следы каких-то изменений, скорее даже превращений.

Она сказала:

— Ты смотришь, точно оценщик на аукционе.

Существовали ли еще вчера эта чуть заметная осадка линий всего силуэта, эта плоть, не отзывающаяся мгновенно на игру мускулов, эта почти неуловимая вялость тела, находящегося еще в самом расцвете? Или, может, это лишь внезапное прозрение?

Я перевел взгляд на себя и неожиданно был потрясен, обнаружив, как мало я соответствую тому сложившемуся представлению, я хочу сказать, тому устоявшемуся образу самого себя, который я сохранял. Тело мое, поддаваясь легким мазкам кисти, начало без моего ведома долгий процесс отступничества, который заставит его в один прекрасный день окончательно покинуть меня.

Она сказала:

— Каким ты вдруг стал серьезным!

К чему даны молодым людям эти гибкие, упругие тела, которые они и не думают щадить, с наглой самоуверенностью полагая, что совершенство и послушность этой плоти вечны? Уж сегодня я сумел бы одарить свое юношеское тело, дал бы ему вкусить радости, которых оно заслуживает.

Следует навести какой-то порядок в этих слишком обильных и бессвязных мыслях.

Меня удивляет, что я так несерьезно приближаюсь к этому порогу — неожиданной смерти. Я не подозревал за собой такого неистребимого легкомыслия. И вовсе не потому, что я смирился со своей участью — стать анекдотической жертвой некоего свиноторговца. Мне хотелось бы, чтобы мне дали время умереть. Не знаю, как объяснить это «время умереть», как получаешь «время жить». Я давно для себя решил, что не присоединюсь к облезлому стаду стариков, которые упорно цепляются, держатся за жизнь. Я стал бы образцовым стариком, каждый день постепенно отдавая швартовы, стараясь сохранять равнодушие. Терпеливо обрывая тысячи нитей, связывающих с жизнью, я пришел бы к тому, что меня уже ничто не удерживало бы, кроме основного якоря, и я умер бы не то чтобы по своему желанию, но в конечном счете был бы как-то причастен к своему концу. Я умер бы сам, а не был бы убит, как сейчас!

Время, время, время больше ничего не значит, абсолютно ничего. Не знаю, сколько еще остается у меня времени, чтобы вот так пророчествовать во мраке, который отныне стал моей родной стихией. Кто станет считать минуты на пороге некой сомнительной вечности.

Пусть даже это напрасный труд, но мне хотелось бы определить свой истинный вес на этой земле. Ну хотя бы не ошибиться в выборе измерения. Вес этот равнозначен той пустоте, которая будет образована моим отсутствием в этом мире. Это старая задачка с резервуаром, наполненным водой; туда погружают некое тело, вода переливается через край, после чего

измеряется объем вытесненной воды и не знаю еще что... Да, это элементарно, мой вес определяется объемом чувств, которые моя смерть заставит перелиться через край.

Прежде всего Элен... Горе Элен будет глубоким и молчаливым. Она будет плакать в одиночестве, долго, горько, скрывая от всех свои кровоточащие раны. В ней главный залог моего удельного веса. Благодаря ей имя мое будет по-прежнему звучать (Пьер был, Пьер говорил, Пьер делал...), потому что все женщины, если они любили какого-то мужчину, становятся его хранилищем и музеем. Впрочем, Элен не принадлежит к той слабой породе, что позволяют горю и воспоминаниям окутать их жизнь. Но вот в чем проблема: Элен останется жить. Как останутся жить друзья, которые меня оплачут, женщины, которые вспомнят на своем теплом ложе, как ласкали меня, останется жить старейшина ассоциации адвокатов, который произнесет надо мной надгробное слово, и мои собраты адвокаты, которые разделят между собой мои дела. Как требовать от живых какой-то противоестественной верности?

Помню, когда я был ребенком и мы вернулись с кладбища, где лопаты засыпали землей гроб моего отца, меня возмутила одна деталь. Все мы, и семья, и друзья, сели за стол и стали есть. Никогда не забыть мне вкус этого святотатственного говяжьего языка, который старательно пережевывали наши рты. Я не переставал думать о том навеки замкнувшемся рте с синими губами, но я ел, и говяжий язык казался мне потрясающе вкусным. Он как бы узаконивал наше бесконечное преимущество, придавал мне уверенности, но какое же это было предательство, какое забвение!

Все те, кто меня любит, тоже станут есть потом, и это послужит убедительным доказательством относительности моего значения.

Только для меня одного остановится жизнь, и перед лицом этой истины любые сожаления мало что значат. Поэтому к смерти следует приближаться с величайшим смирением.

Бывают такие редкие дни поздней осени в Бретани, когда восход солнца напоминает картину, встающую сейчас перед моим мысленным взором. Западный ветер поднимается поздно, он еще дремлет. Солнце, скрытое далеко за горизонтом, косыми лучами слегка окрашивает пелену утреннего тумана. Оловянно поблескивающие море и небо словно слились в незыблемой неподвижности. Беспредельная тишина. Взгляд тщетно ищет, на чем остановиться, на чем успокоиться среди этого лишенного очертаний пространства. На равном расстоянии от

моря и неба плывет, словно призрак, корабль, зависший в перламутровой вселенной.

И я вот так плыву в некоем недвижимом мире, лишенном очертаний и звуков, на полпути между жизнью и смертью, еще не вырвавшись из жизни, но уже вступая в смерть. Где же горизонт?

Слабый луч, луч от зажигалки моего отца, освещает уголок истины. После кладбища и говяжьего языка дошла очередь до карманов покойного. Я забыл многие подробности этой инвентаризации, помню только о зажигалке, которую между всхлипываниями протянула мне мать: медная гильза, из которых обычно и мастерили зажигалки в траншеях первой мировой войны, в промежутках между побоищами. Папа дорожил этой зажигалкой в память о каком-то своем товарище, погибшем в битве на Марне, которого звали Альбер. Это была зажигалка Альбера — большая, тяжелая и уродливая штукавина. Даже наполненная до краев бензином, она лишь изредка давала какое-то зловонное угольное пламя. Папа испытывал почти ребяческую гордость, оттого что ему частенько с первого удара удавалось высечь огонь большим пальцем, который становился черным от копоти. Он говорил:

— Эта зажигалка слушается только своего хозяина.

И вот теперь я унаследовал эту нелепую реликвию. Десять раз без малейшего успеха я пробовал ее зажечь. Мамины рыдания сделались еще более бурными.

— Твой отец любил повторять: эта зажигалка слушается только своего хозяина.— И добавила:— Не вытирай грязный палец о чистый носовой платок.

Зажигалку убрали в ящик стола, и только сейчас я понял, что тем самым мы как бы еще глубже зарывали в землю моего отца и даже — отчасти — Альбера. Этот предмет, который был сделан с помощью тех примитивных инструментов, которыми располагал на войне солдат, мог существовать как зажигалка, только соединившись с чьей-то судьбой. Когда отца не стало, предмет этот вернулся в царство неживой природы. И я сразу же забыл о зажигалке. Она больше никому не была нужна. А вот мать была нужна и мне, и своему второму мужу, и своим друзьям. Конечно, мать занимала важное место в жизни моего отца, но, когда речь идет о его смерти, тут, мне кажется, зажигалка символически весит гораздо больше.

Точно так же какие-то предметы умрут вместе со мной, тогда как живые существа, любящие меня больше всех, останутся за пределами преисподней. В давние времена в Индии вдо-

вы всходили на костер. Этот ритуал отличался суровостью, но усопший оставался все так же одинок. В традициях Древнего Египта, где гробницы заполняли привычными для покойного предметами, чувствуется больше понимания смерти. Египтяне справедливо полагали, что такое дружеское окружение обеспечит своего рода продолжение жизни. Я жалею, что не положил рядом с отцом зажигалку Альбера и этот его нож за три су, с кольцом на рукоятке и с гербом в виде руки, увенчанной короной, на лезвии, он с серьезной тщательностью его натачивал, и никто в доме не имел права притронуться к этому ножу.

Пирамиды мне не воздвигнут. И не окружают меня всем тем, что вдруг представилось мне чудовищно важным, что дарует нам радости бытия:

водяные орехи, которые собираешь в сентябре в темных водах озера Пуатвиньер, плоть этих подводных каштанов прячется под колючками скорлупы, гладкой и твердой, точно старая кожа, это плод колдуний и браконьеров;

картина неизвестного художника (картины Шагала и других на чердак, конечно, не забросят), висящая слева от двери в моем кабинете, этот размытый пейзаж, который я так мечтал увидеть в реальности, чтобы убедиться, что тополя там и правда такие трепещущие, а холмы такие ласковые, чтобы передо мной наконец целиком предстал фасад дома, ведь художник оставил нам лишь краешек крыши, но и этого уже достаточно, для того чтобы составить представление о чудной гармонии, которая тоже умрет, как и зажигалка Альбера;

обжигающий сок дикого мангового дерева, что растет на острове Моореа, на берегу реки, где купаются косули;

шелест прибоя на Пандрукском пляже, подгоняемого теплым дуновением зюйд-веста, вечером, когда утихнувшие волны медленно выплескивают на песок бахрому пены;

запах тех цветов, который я только что, тысячу лет назад, вдыхал в поле после аварии, это не аромат водосбора, Элен назвала бы мне их имя — осенние колокольчики, которые прозвонили конец этой короткой передышке;

весь дом в Ла-Баре, потому что дома больше других окружающих человека предметов обречены на гибель, мгновение равнодушия ведет их к упадку, а потом и полному хаосу. Я видел, как ветшали и умирали в течение нескольких лет дома, которые были построены с таким расчетом, чтобы выдержать испытание временем, но которые не смогли устоять перед мигом забвения; что пользы от их прочности и крепости, если они заброшены, предоставлены самим себе. Кто сумеет за-

крыть балконную дверь, выходящую в сад, если дверных петель не хватает и петельные крючки крутятся впустую? Если, забывшись, толкнешь филенку и при этом одновременно не потянешь чуточку дверь на себя, эти железяки начинают болтаться, так что все выйдет из строя меньше чем за месяц. Не поручусь я и за долгую жизнь своего кресла, у которого расшатался левый подлокотник, только я умею с ним бережно обходиться, потому что знаю: под бархатом один штырь стал трухлявым и рассыплется в прах при первом же грубом прикосновении. А у Бертрана — просто мания усаживаться на ручку кресла... Бертран, ты никогда не узнаешь, как мало я думал о тебе в свой смертный час, и это к лучшему, потому что ты не понял этого кажущегося равнодушия, вернее, ты вывернул бы все наизусть. Ты — важная часть моей жизни, ты был самой большой ее частью. Вспоминаю тот день, когда на стене ванной комнаты, где я мерил твой рост, отметка показала метр, ровно метр. Я подумал, что ты для меня являлся чем-то бесконечно большим, чем просто десятиллионная часть четверти земного меридиана, ты был целой вселенной во всех ее измерениях, мой единственный эталон, мой единый самый точный справочник, мое золотое сечение. Но мы с тобой переживаем сейчас классически тяжелый период, когда отец становится обузой, в силу инертности, неспособности или же решительного отказа сопровождать свое вчерашнее дитя в ту обетованную землю, где нет места для двоих. Тот, кто умел быть другом мальчугана, сообщником подростка, не может уже предложить молодому человеку ничего, кроме более или менее сдержанных наставлений, бесполезность которых раздражает. Прости, Бертран, но я лишь теоретически люблю того юношу, которым ты стал сейчас, он мне во многом чужой, и я знаю, это ты сам отодвинул меня на второй план в мире своих чувств. Ты догадываешься, что я не люблю Беатрису. Это верно, она воплощает все, что я ненавижу, вплоть до самой ее красоты, я согласен, что она красива, даже в Ла-Баре, где она одевается, точно полячка, освобожденная из концлагеря.

— Ты в чем-то можешь ее упрекнуть?

Я отвечал тебе, что ни в чем, поскольку то, что мне не нравится в твоей жене, тебя, кажется, приводит в восторг, эта ее дурашливость мнимой девственности, ни намек на сексуальность, неповторимая улыбка, выработанная раз и навсегда, одна и та же на любой случай, эта ее манера, приближаясь к мужчине, таять словно плод, налившийся нежной сочностью, эта хрупкость хрусталя не-тронь-меня-не-то-разобьюсь, такие особы спокойно доживают лет до ста...

Но к чему все это, Бертран? Впрочем, испытание холодом и расстоянием наверняка неизбежно, и позже, уже на равных, мы вернулись бы к более теплым отношениям. Все это лишь наносная пена, но это и удаляет тебя от моего изголовья в те мгновения, когда мне нужно думать только о себе самом. Пойми это, Бертран, судьба моя сейчас решается, я на этих носилках совсем один, и я должен думать только о себе самом, ибо моя участь — одиночество. Я обрел это право — или это увечье, как тебе угодно! — из-за двух случайных секунд, которые вырвали меня из жизни и швырнули в эту передрагу. Узнаю ли я, когда именно счет этих секунд стал необратимым? Ты видишь, я ограничиваюсь довольно легкомысленными заботами, во всяком случае бессмысленными, поскольку эти секунды принадлежат вечности. Но шкала ценностей, если рассматривать ее с той точки, на которой нахожусь сейчас я, странным образом переключается с нуля к бесконечности, и слишком серьезное отношение к ней живых способно вызвать улыбку. Рождаешься в смерти и спасаешь себя напыщенными речами, которыми опьяняешь душу, и стараешься своими идеями вызвать как можно больше шума, который хотелось бы считать величавым, и довольствуешься этой жалкой суматохой до тех пор, пока не окажешься на границе истинного молчания. И вот я здесь, и будь у меня время, я объяснил бы тебе... Знаешь, в «Гражданине Кейне», когда Кейн умирает, он произносит «Rosebud»¹, и каждый спрашивает себя, какую весть содержит последнее слово этого титана, что представляет собой эта магическая формула, которая завершила столь необычное существование. В конце фильма мы узнаем, что «Rosebud» всего лишь имя, написанное на детских саночках, о котором взрослый Кейн, несомненно, ни разу не вспомнил за свою великолепную жизнь, но оно мобилизовало силы на последний сознательный поступок этого строителя империи. Это очень напоминает то, что мне хотелось бы тебе объяснить.

Я не создал своей империи, я только приобрел известность, со всем тем тривиальным, что приносит «успех», но когда я подошел к тому же пределу, что и гражданин Кейн, истина этого «Rosebud» поразила меня как откровение. Для мертвых имеют значение лишь забавные истории, лишь подробности, лишь предметы, но не идеи. Мне неизвестно, что меня ждет — небытие, топкая бездна или какой-то неясный Эдем, но во всех случаях какими ничтожными, ограниченными, устаревшими представляются человеческие знания!

¹ Бутон розы, красивая молодая девушка (англ.).

Я и не думаю внушать тебе, что все суeta суeta. Я люблю и слова, и идеи, их игру и их столкновения. Знай только, что в конце концов они ничего не стоят. Миллионы «других» продолжают возню с моими собственными словами, с моими собственными идеями о нравственности, о любви, о справедливости, о Юнге или о войне во Вьетнаме. Мое исчезновение не образует никакой видимой пустоты и не вызовет даже кратчайшей паузы в 1/8 в этом концерте, где исполнители взаимозаменяемы. В качестве реванша сожгут саночки «Rosebud», а ты сломаешь мое кресло, картина неизвестного художника из моего кабинета будет пылиться на чердаке, цветы, ароматы, разные предметы умрут, потому что вместе со мной умрет мое тайное пристрастие к ним и потому что только для них я незаменим. Ты, дорогой мой, не долго будешь страдать, благодарение Богу. (Мне не хотелось бы произносить имя Бога и еще меньше звать к нему. Слишком поздно или слишком рано. Скоро увидим.)

Мы утратили привычку разговаривать друг с другом, Бертран. Этот загробный монолог доставляет мне радость, несмотря на то, что он довольно бессвязен. Я прошу тебя только об одном: быть рядом и слушать. До чего нелепо, что я беспокоюсь о том, как они «приберут» меня. Санитары черт знает как причесывают людей. Знаешь, я, верно, буду выглядеть нелепо с этой непокорной прядью на левом виске, если не проследить, она торчит таким дурацким вихром, но точно так же нелепы слишком прилизанные волосы, я тогда похож на платного танцора в баре. Ты можешь мне сказать, что мне лучше было бы позаботиться о своей душе. Мне представляется, что я больше ничем не могу ей помочь. И потом мы вправе просить Бога не только признать своих, но и принять всех остальных.

Я заговариваюсь, Бертран, потому что устал и потому что страх рыщет вокруг. В моем возрасте нельзя уже требовать, чтобы мирно сосуществовали чистая совесть и хорошая память: полнейшая несовместимость! Память у меня хорошая.

Я тебе никогда не рассказывал об Орелии. Она теперь генеральша, я хочу сказать, жена генерала, а значит, генеральша. Прежде всего мы были молоды, у нее была легкая походка и длинные ноги олененка — помнишь, у Арагона... — и она проводила каникулы недалеко от Ла-Бара. Мама, так старавшаяся ни к чему не принуждать меня без надобности, не могла понять, до чего мучительной была для тринадцатилетнего мальчика обязанность собирать лошадиный навоз, чтобы удобрять цветы. Я ненавидел эту привычную фразу:

— Пьер, возьми старое ведро и черпак (никто не говорит больше «черпак», это плоская лопатка, совок для мусора) и пойди пособирай навоз для розария.

Надо было выходить на дорогу. Как-то Орелия застала меня за этим позорным занятием. Она ехала верхом на кобыле-полукровке, просто олицетворение золотой молодежи, великолепная, держащаяся с такой непринужденностью. Она остановилась передо мной, раздавленным стыдом, с ведром и черпаком в руках. Я сказал:

— Вот, собираю навоз.

Она сказала:

— Ну да, для розария.

В сельской местности занятие это никого не удивляло, и я наверняка был единственным, кто чувствовал себя униженным этим занятием.

Ее проклятая кобылица выбрала как раз эту минуту, чтобы выдать самую чудовищную кучу навоза — просто мечту садовода.

— Потрясающе! — воскликнула Орелия без малейшей насмешки.

И мне, багровому от бешенства, пришлось склониться перед своей амазонкой и собирать эту дымящуюся гору.

Возможно ли, чтобы мертвые были так легкомысленны, раз меня и до сих пор преследуют воспоминания об этом ужасном унижении, самом страшном в моей жизни, а я ведь взвешиваю свои слова.

Позже, в такой же день, как сегодня, я полюбил Орелию, из-за этого запаха свежего сена. Я полюбил Орелию, но женился на твоей матери, отчасти из-за тебя. Потом я оставил твою мать, а сейчас я думаю об Орелии. У меня нет времени объяснять тебе. Первое имя, запечатленное в сердце, растет вместе с самим сердцем.

Ты унаследуешь Ла-Бар. Мне хотелось оставить дом Элен, она посадила там камелию. Ты никогда ничего не посадишь в Ла-Баре, и уж тем более камелию, которая цветет как раз в то время, когда Беатриса нуждается в горном солнце Аворьяза — «Отец, как вы можете не любить лыжи?» — чтобы по контрасту казалась еще более хрупкой ее драгоценнейшая фигурка с белокурой головкой. Отдай Ла-Бар Элен, она взрастит там воспоминания обо мне. Я хотел это сделать сам, но адвокатам внушают ужас завещания. Они без смеха не могут составлять их.

Видишь, я уже начинаю изъяслять свою последнюю волю! Никто не может избежать условностей.

Когда я увидел, что фургон остановился на повороте посередине автострады, я думал лишь об условиях предложенной задачи: легковая машина движется со скоростью x км в час навстречу препятствию, находящемуся на расстоянии x метров. Рассчитайте время v , и т. д. Так я растратил секунды, когда я мог бы взглянуть на все, что меня окружало, зная, что это в последний раз. Я говорю: внимательно взглянуть, а не просто obeжать глазами. Я вел себя так, словно само собой разумелось, что я буду и впредь пребывать среди всех этих чудес света, и это мое неведение, эта небрежность лишают меня последних волнующих радостей бытия.

Рассказывал ли я тебе, как казнили одного из клиентов моего патрона, у которого я получал боевое крещение в качестве стажера? После начала войны гильотину из-за отсутствия бензина не могли перевозить, поэтому запросили взвод солдат Французских внутренних сил, чтобы заменить ее. Но палачом нельзя стать без подготовки, и все обернулось фарсом. Мы явились слишком рано на этот полигон для стрельбищ. Было еще темно. Мы ждали больше получаса (сидя в фургоне, чтобы не замерзнуть), смертник и все мы — жандармы, судья, прокурор, капеллан и я, замещающий своего патрона, который из-за сильной простуды не мог выйти на улицу. (Осужденному я сказал «из-за пневмонии», потому что зрелище адвоката, попивающего грог, накрывшись пуховой периной, казалось мне несколько шокирующим.) На площадке полигона нетерпеливо топтался лейтенант, командовавший взводом. Никто даже не подумал, что нужно было поставить столб, у которого расстреливают.

— Чем я завяжу ему глаза? — спросил лейтенант. — Что за бордель...

Один из солдат предложил свой носовой платок, «не слишком чистый, но достаточно большой, и уж во всяком случае...»

Прокурор, не зная, как себя вести, украдкой поглядывал на часы и великодушно протягивал осужденному пачку сигарет «Житан»...

— Да берите, уверяю вас, у меня есть еще...

Я молчал. Мне представлялось странным поведение человека, которого сейчас должны расстрелять. А сегодня я так хорошо его понимаю! Он знал, что скоро умрет, и он смотрел. Он не обводил взором все, что его окружало, но словно шел навстречу каждому предмету и с большим вниманием его разглядывал. Буквально останавливал свой взгляд на каждом и не спеша старался разгадать для себя его смысл. Вся его все-

ленная, ограниченная этим фургоном, слабо освещенным тускло горевшей на потолке лампочкой, не предоставляла ему особенно богатого выбора картин, но человек знал, что он в последний раз видел этот вот клочок молескина, поблескивающую металлическую ручку двери, жесты, движения людей, их лица, тысячу ничтожных подробностей, важных для него одного, потому что он подводил итог миру живых. Полагаю, он ни о чем не думал. Он запасался знаками, собирал весточки знакомого ему мира, и дух его укреплялся этим.

И только что на автостраде я должен был бы найти время взглянуться внимательно и в воду, и в ветер, и в деревья, и в крошечного малыша, бегающего у опушки роци, и в розы, растущие перед фермой. Невнимательность живых просто поражает. Они лишь слегка соприкасаются с окружающим миром, рассеянно проходят мимо. И в самом деле видят лишь то, что вписывается в пространство, ограниченное шорами текущих забот. Ты заметил? Если у тебя новая машина, пусть даже это редкая модель, видишь уже только машины этой марки. После того несчастного случая в Триполи, когда я ходил, опираясь на палку, Париж оказался населен сплошными инвалидами. Если отпускаешь бороду, вокруг обнаруживается в сто раз больше бородатых. И так не устаешь прокручивать для себя свой маленький чисто личный фильм. Я не раз в этом убеждался, когда на слушании дела в суде каждый из десяти свидетелей, видевших одно и то же событие, сохранял о нем в памяти лишь те его подробности или перипетии, которые соответствовали тогдашнему состоянию его души. Этот феномен избирательного видения универсален, и его бесхитростность просто ошеломляет меня. Столько чудес расточается впустую перед полужакрытыми глазами!

Мне хотелось бы, чтобы вы мне помогли, ты, Бертран, Элен, Орелия, Боб, врач, весь мир, потому что так ужасно умирать, это не общая участь, как подло утверждают, это каждый раз чудовищная личная трагедия. Я для себя — единственный, а не один человек из миллиарда других, которым предстоит умереть. Я умоляю вас всех, сделайте хоть что-нибудь, будьте здесь, говорите, жалейте меня. Разве существует что-то более важное, чем то, что должно со мной произойти? Что же такое тогда человечество, если оно не задержит дыхания, когда человек должен подохнуть? Сделайте хоть что-нибудь. вы все, ведь один из вас испытывает страх.

Льет дождь, когда карета «скорой помощи», впереди которой едут два мотоциклиста, подкатывает к больнице в Лавале

и направляется к отделению неотложной помощи. Быстро и без всякой суеты, как того требует процедура, больница открывает свои двери перед вновь прибывшим, принимает его и вбирает в себя. Можно подумать, что место для него здесь было предусмотрено с незапамятных времен. И в самом деле, Пьер Деломо, 44 лет, адвокат кассационного суда, проходит через ряд формальностей, великолепно продуманных специалистами. Статистики указывают, что больница в Лавале должна быть готова оказать неотложную помощь больным в течение двадцати четырех часов. Поскольку Пьер Деломо принадлежит к категории случаев «неотложных», его ждали, место для него было подготовлено. Статистикам было известно, что он прибывает, он или кто-то другой. Еще тогда, когда он мчался со скоростью 140 км в час к развороту Провидение, кровать в палате № 7 хирургического корпуса застилали чистыми простынями. Он стал уже номером 7.

Медицинская сестра звонит в отделение:

— Неотложная помощь, палата 7.

И хирург-стажер закрывает журнал, который он просматривал в ожидании Пьера Деломо или кого-то другого, кому в это утро выпало сыграть роль «неотложного» случая. Все в порядке.

Два жандарма ходят взад и вперед по коридору. Им хотелось бы знать, должны ли они составить рапорт об аварии со смертельным исходом или о несчастном случае с тяжелыми последствиями.

Врач, сопровождавший раненого, здороваётся со своим юным собратом и коротко сообщает ему о первых принятых им мерах.

— Я ввел ему камфару и дал кислород...

Стажер твердит «да... да...» и рассматривает лицо, которое сестра отмывает от спекшейся крови. Но раны на лице не видно. Стажер пытается вспомнить, где он уже видел эту голову.

— С вашего разрешения,— говорит врач,— я исчезаю.

Стажер говорит «да... да...» и роется в памяти. Скальп, откинутый набок на череп, образует как бы пыльный парик, но, несмотря на эти накладные волосы, стажер узнает его, ему кажется, что узнает... Лица известных людей, фотографии которых часто печатаются в прессе, кажутся какими-то близкими, даже если не можешь точно установить, кто это такой.

Две сестры знают наизусть два альтернативных заключения. Или случай безнадежный и надеяться нечего, или стажер скажет: «Что ж, приступим», и все автоматически закрутится —

определение группы крови, переливание, рентген, операционная...

Стажер не спеша обследует пострадавшего. Маловато шансов, что его удастся спасти, но как знать? Он должен вынести окончательное решение. Уйти и закрыть за собой дверь или привести в движение огромный механизм спасения с единственным шансом на...на...?

Стажер в нерешительности. Потом он приподнимает веки неподвижно лежащего человека. Глаза двигаются, какой-то луч света вспыхивает в них, искра, в которой еще теплится жизнь.

Стажер говорит:

— Что ж, приступим.

И в то же мгновение он узнает раненого, чей блеснувший взгляд пробудил воспоминания о недавних телевизионных дебатах по вопросу о смертной казни.

— Это Дело, адвокат. Позвоните патрону, он, конечно, предпочтет быть на месте. Надо полагать, чтобы дать сообщение в прессу, во всяком случае.

Стажер выходит из палаты, чтобы переодеться во 2-й операционной. В коридоре жандармы задают ему вопрос:

— Как по вашему мнению, доктор, что нам следует указать в рапорте?

Стажер кривит рот.

— Множественные ранения. Пока что ничего сказать нельзя.

Он удаляется. Старший из жандармов пожимает плечами. Что им, больше всех нужно, что ли?

— Напишем: пострадавший получил множественные ранения, доставлен в больницу.

Как фамилия того русского физика? После такой же, как у меня, автомобильной аварии он был мертв. С медицинской точки зрения мертв. Я читал об этом необычном случае. Советская наука мобилизовала все свои возможности, чтобы спасти выдающегося ученого. Обратились даже к иностранным врачам. Оживили этого мертвеца. Многие недели самые крупные хирурги мира сменяли друг друга у его изголовья. Четыре раза наступала клиническая смерть. Четыре раза подключали искусственное кровообращение, я забыл подробности, но помню, что как замороженный читал об этой борьбе против неотвратимости рокового исхода. Могила уже разверзлась, его силой вырвали оттуда. Он вернулся к своей работе в московском институте.

Я не умер. Врач не солгал. Я в больнице. Обо мне сейчас позаботятся. Позаботятся, чтобы я выжил. У них есть все для этого необходимое. Я открыл глаза и снова обрел свое место в жизни. Благодарю тебя, Господи, Творец Милосердный... Чудеса медицины... Я вижу человеческие существа. Мне кажется, я плачу, радость переворачивает душу. Этот внезапный свет, блеснувший мне в глаза, как первый глоток воздуха после удушья, вливает в меня необычайные силы. Я вынырываю из этой черной лужи, где безвольно плавал. Они сейчас готовятся спасти меня, они энергично стараются найти наилучший способ, выбрать из своего богатого арсенала наилучшие средства, прибегнув к хирургическому вмешательству, наиболее подходящему к данному случаю, к необходимым химическим препаратам.

Я больше не одинок в своей борьбе. Да и необходимо ли мне самому продолжать борьбу? Смена мне обеспечена, я могу положиться на них. Наконец-то положиться на кого-то и отдохнуть! Сколько буду жить, не забуду ни этой животворной вспышки света, ни этого белого плавающего силуэта, склоняющегося надо мной, доброжелательного призрака, посланного мне миром, который я уже почти покинул.

Пусть они поспешат. Впрочем, где доказательство, что они уже не закончили свою работу? Я потерял сознание, и они трудились, стараясь вернуть меня к жизни. В таком случае я сейчас просыпаюсь после операции. Реаниматор — какое величественное слово! — следит за тем, как я выплываю на поверхность. Сейчас он скажет: «Успокойтесь, операция прошла успешно, вы спасены». Я не различаю пока ничего, кроме отдаленного гула, даже не гула, а какого-то непрерывного шума, то нарастающего, то затихающего. И он не так уж неприятен.

Операция прошла успешно, раз после бесконечного мрака я наконец открыл глаза. Боли я не испытываю, поскольку мне ввели какие-то обезболивающие лекарства. Все, что последует дальше, — дело второстепенное. Конечно, будут тяжелые минуты, но зачем думать об этом переходном периоде? Жизнь лежит по ту сторону перехода, и каким бы долгим ни был путь туда, он покажется ничтожным.

Я возвращаюсь к жизни и на этот раз знаю в ней толк, скорее даже не возрождаюсь, а на самом деле рождаюсь заново, потому что человек, который сейчас приходит в себя после этого путешествия к неведомым пределам, уже не будет похож на водителя «МГ», подъезжавшего к повороту, но это не повлечет за собой невероятной способности к забвению. Я не забуду никогда.

Мне кажется, я люблю этого нарождающегося человека, который излечился, подвергся ампутации той части самого себя, что делала его калекой, и обогатился опасным опытом.

Как печати в паспорте, на теле его следы виз от путешествий в опасные края, куда ему пришлось заглянуть. Эти стигматы укрепят память. Свои новые знания он не сможет никому передать, ведь те, кто не совершал такого рода путешествия, считают эти знания банальными и общеизвестными.

Он, например, знает отныне, что каждая секунда может стать последней. Все это знают, но просто так, раз и навсегда. Он же, наоборот, не перестает ежеминутно узнавать об этом, здесь-то и заключается разница. В этой роковой возможности он и черпает динамичную истину и нравственную опору.

Тот, прежний, до поворота, нравился мне лишь частично из-за того, что наделен был самоуверенностью, из-за неясности своих устремлений и парадоксов своего ума. Однако он завещает своему преемнику неплохое наследство: ясное представление о малости того багажа, который он чуть было не унес с собой. Тот, прежний, в основном жил идеями и теоремами, до того мгновения, когда он догадался, что мог бы стать ничем, если смерть вела к небытию, или, наоборот, знал бы все, если принять как гипотезу загробную жизнь, где знания есть данность и дарованы свыше. Таким образом, все его философские теории становились в первом случае бесполезными, а во втором — теряли силу. Он, однако, придавал им чрезмерное значение, так что пренебрегал осязаемыми богатствами, которые дарил ему мир и которых теперь оказался лишен навсегда.

Тот, другой, который так никогда и не выберется из-под обломков своей машины, учит своего преемника понимать всю важность поступка Ундины, обреченной позабыть мир людей и бросившей в Рейн барочную мебель из замка, который она покидала навсегда, чтобы попытаться, несмотря на уничтоженную память, обрести в глубине вод благодаря какому-нибудь знакомому предмету смутное ощущение своего крошечного человеческого счастья.

Вот он, новый человек, владеющий сбереженным на крайний случай капиталом, который он не промотает, поскольку, когда грубо, со всей очевидностью вторгается несчастье, нужно быть начеку, чтобы не упустить хотя бы отблески счастья.

В последний раз ласкает он любимую женщину и сам отдается ее ласкам, и это волнение и наслаждение он неизменно дарит и испытывает в последний раз, в бесконечно последний раз. И нет больше места обыденности и привычке.

В последний раз, каждое летнее утро, в саду в Ла-Баре смотрит он, как рыжая самка черного дрозда разбивает клювом на камне раковины с улитками, которых заглатывает с пугливой птичьей жадностью. И розовый клевер, проснувшись, раскрывается, откликаясь на зов солнечных лучей. Человек старается угадать, откуда налетит первый порыв ветра и будет ли день тихим или ветреным.

В последний раз, чаще прежнего, садится он за стол с друзьями, которые находят чрезмерным то значение, какое он придает таким легковесным вещам, как сыгранная на гитаре мелодия, крепость вина, внезапно дрогнувшее лицо, мелькнувшая вдруг мысль, вырвавшееся слово, дух времени. Он угадывает и понимает их невысказанное обвинение в легкомыслии. Он и сам порой задается вопросом, чем обосновано подобное отношение ко всему. (И вдобавок еще, что означает «обосновано».) Он прекрасно понимает, что причины бывают плохими не сами по себе, а просто потому, что их не считают достаточно хорошими для себя. Он и правда непринужденно легкомыслен, отчасти в силу ярко выраженной природной склонности к эксперименту, отчасти из отвращения к попыткам воздействовать на чужую судьбу.

Итак, им будет руководить эгоизм, самая хулимая добродетель. Зная об одиночестве, что ждет его на пороге смерти, и понимая, что никто не сможет вместе с ним нести это бремя — поскольку даже сам Христос, взойдя на Голгофу (на этот раз он воистину человек), жаловался, что Отец покинул его, — он будет стараться обратить эгоизм в благотворный культ. Он будет отстаивать великодушный эгоизм, обогащающий, исполненный уважения к эгоизму другого. Стремление не причинять вреда есть начало истинной доброты.

Его сочтут болтливым, ведь, пережив угрозу вечного молчания, он будет в словах находить пищу, способную питать.

Он будет стареть, стараясь насладиться каждой минутой. Даже самое незначительное событие будет озарено солнцем и станет праздником.

Я пока что всего лишь хрупкая и угрожаемая основа этого нарождающегося человека. Мне хотелось бы даровать ему тело, которым он сможет пользоваться, не слишком опасаясь за него, такого спутника, исполненного доброй воли. Он это заслуживает.

Я представлю его Элен и буду присутствовать на их свадьбе. Она не догадается, что сменила возлюбленного, она найдет просто, что я изменился, но не сможет оценить всю огром-

ность этой метаморфозы. Мы вдвоем научим Элен любить жизнь так, как это умеют только мертвые.

Если бы не те несколько секунд, мой преемник не родился бы — упущенная возможность? И я продолжал бы свой незрелый путь до ближайшего свидания с судьбой. Следовало бы добросовестно постараться понять, что означают случайности, установить, может ли Провидение ошибаться в своих расчетах.

Какое-то определенное время протекло впустую, скорее неопределенное время, я не могу установить какое. Мне это не нравится. Гудящие волны в моей голове меняют тональность, становятся более низкими и в то же время более металлическими.

На фоне этого гула порхает одна мысль, жужжит как назойливая муха, садится, я прогоняю ее, она возвращается, упорная, отвратительная, а я не могу ее прихлопнуть. Одна мысль и одна картина: я сижу в своей машине, на набережной Вольтера, собираюсь отправиться в Ренн, мотор уже работает, я включил первую передачу, начинаю поворачивать руль, чтобы выехать, Элен стоит на тротуаре, она что-то мне говорит, я опускаю стекло, чтобы услышать, она говорит:

— Будь осторожен, не гони...

Я улыбаюсь, трогаю с места, я упускаю несколько секунд. В двухстах пятидесяти километрах от меня свиноторговец опрокидывает стаканчик кальвадоса. Я проиграл.

Неужели мы и в самом деле всего лишь марионетки, и кого развлекаем мы своей игрой?

Глубокий звук органа гудит у меня в ушах. Мне холодно.

Однажды я увидел зеленый луч, настоящий, вечером на море, на островах Индонезии, сразу после захода солнца, широкий и неправдоподобно чистого цвета, некое трепетание, чудовищная эссенция зеленого.

В другой раз, это было на Галапагосах, у самых моих ног разверзся кратер вулкана, хлынула раскаленная лава, вздулась пузырем сернистая масса, она тяжело растягивалась и с треском лопалась, обдавая мое лицо дьявольским газом, бродившим с сотворения мира, который рождает представление о всем многообразии форм гниения, словно в кошмарном сне.

Не следует предаваться этим воспоминаниям, здесь таится яд и белокурые волосы... Что я хотел сказать? Зеленый — ужасен, зеленый холод — самый худший. Зеленые водоросли, да, мой старый капитан! Что-то расстроилось в музыке органа, музыкант уснул, поставив ногу на нижнюю педаль, которая

чудовишно хрипит. Орелия ест слишком зеленые яблоки, от которых болит живот, живот Орелии, который так и не понес от меня, и как далеки теперь наши радости. Когда с востока поднимается ветер, балконная дверь в Ла-Баре хлопает на своих разболтавшихся петлях, и самое неотложное — получить ее укрепить. Мне многое нужно сделать, и я должен также сжечь одно письмо. Что-то разладилось в музыке органа. Органист разладился или организм. Организм органиста. Ничего не организовано, но надо жить. Без тела тот, другой, не родится, так и останется мертворожденным. Соус Мортё пропитан ароматом грибов. А некоторые из них ядовиты. Господин президент, я требую снисхождения к Пьеру Делоמו, он заслуживает смерти, как и все на свете, но нужна отсрочка. Он имеет право на отсрочку, ибо он поручил свою душу и великие планы своему преемнику, я мог бы сказать, своему брату. Прикажите позвать свидетелей, но скорее, потому что холод становится чудовищным. Даже звуки замерзают. Тишина. Как медленно... как тяжело.

Вот и смерть.

Со своей поганой харей.

Из гаража, куда он отвез свой фургон, чтобы выпрямить левое переднее крыло, свиноторговец звонит в Лаваль, в больницу. Он говорит:

— Я хочу получить сведения об одном пострадавшем в аварии этим утром... да, его друг...

— ...операция... к сожалению, сердце...

Он говорит:

— Ох!.. В конце концов, когда ничего поделать нельзя, ничего не поделаешь... Большое спасибо...

Он кладет трубку. Вытирает пот со лба и предлагает механику пойти пропустить по стаканчику белого сухого. Когда такая грозовая погода, все время пьешь.

На следующий день, когда стажер больницы в Лавале принимает эту женщину, он прежде всего замечает синяки под фиалковыми глазами. Он охотно отказался бы от этой тягостной обязанности, но, когда операции проходили неудачно, патрон избегал неприятных встреч.

У него имеется набор привычных слов, которые надо сказать, и он умеет их говорить; однако перед этой женщиной, которая не проронила ни слезинки, он чувствует себя менее уверенным, чем обычно. Красота придает горю особую значимость, подавляет.

Он что-то бормочет:

— ...сделали все, что... в человеческих силах... неизбежные осложнения... сердце... огромная потеря... печальная драма, ставшая сейчас слишком частой, увы... само собой, я в полном вашем распоряжении...

Потом он ухватился за нечто более надежное:

— Во всяком случае, мадам, могу вас заверить, он не страдал. С медицинской точки зрения он умер сразу. Он даже не успел осознать это.

Женщина поблагодарила его. Она уже собралась уходить, когда стажер спохватился.

— Мы нашли у него адресованное вам письмо. Я хотел сам передать его вам.

СОДЕРЖАНИЕ

Робер Мерль

ЗА СТЕКЛОМ. *Перевод Л.Зониной*.....5

Паскаль Лэне

ИРРЕВОЛЮЦИЯ. *Перевод Л.Зониной*.....305

Поль Гимар

РАДОСТИ БЫТИЯ. *Перевод Е.Бабун*.....395

Літературно-художнє видання

Бібліотека для тих, кому не спиться

Робель Мерль

Паскаль Лене

Поль Гімар

ФРАНЦУЗЬКИЙ РОМАН

Відповідальний за випуск

Г. Джапарідзе

Художнє оформлення

Т. Лесик

Оформлення серії

Б. Кравченка

Комп'ютерна верстка

О. Севастянова

Коректор

О. Соколова

€

Підписано до друку 16.03.95. Формат 84×108/32.

Папір друкарський. Гарнітура «Таймс». Друк високий.

Умов. друк. арк. 24,36. Умов. фарбовідб. 24,36.

Обл.-вид. арк. 26,13. Замовлення № 5—501

БМП «Борисфен». 252030 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 70.

Оригінал-макет підготовлено у КВЦ «Эй-Ди-Лтд».

121633 Москва, вул. Велика Фільовська, 35.

Віддруковано з оригінал-макету за замовленням БМП «Борисфен»
на матеріалах замовника на Головному підприємстві
республіканського виробничого об'єднання «Поліграфкнига».

252057 Київ, вул. Довженка, 3.

**Французький роман: [Збірник]: Пер. з фр.— К.:
Ф84 БМП «Борисфен», 1995.— 459 с. — (Б-ка для тих,
кому не спиться).— На тит. арк. тільки імена авт.:
Робер Мерль, Паскаль Лене, Поль Гімар.— Рос.
ISBN 5-7707-7635-8**

Книга містить твори відомих письменників другої половини ХХ століття, що представляють різні напрямки французької прози. Перші два твори присвячено травневим подіям 1968 року у Франції, що потрясли всю країну. В повісті «Радощі буття» автор висвітлює трагедію людини, що потрапила до автомобільної катастрофи, показує беззахисність людського життя.

Ф 4703010100—056 Без оголошення
95

ББК 84.4ФРА



ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН



БИБЛИОТЕКА ПОЛУНОЧНИКА

РОБЕР
МЕРЛЬ

ПАСКАЛЬ
ЛЭНЕ

ПОЛЬ
ГИМАР



ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН